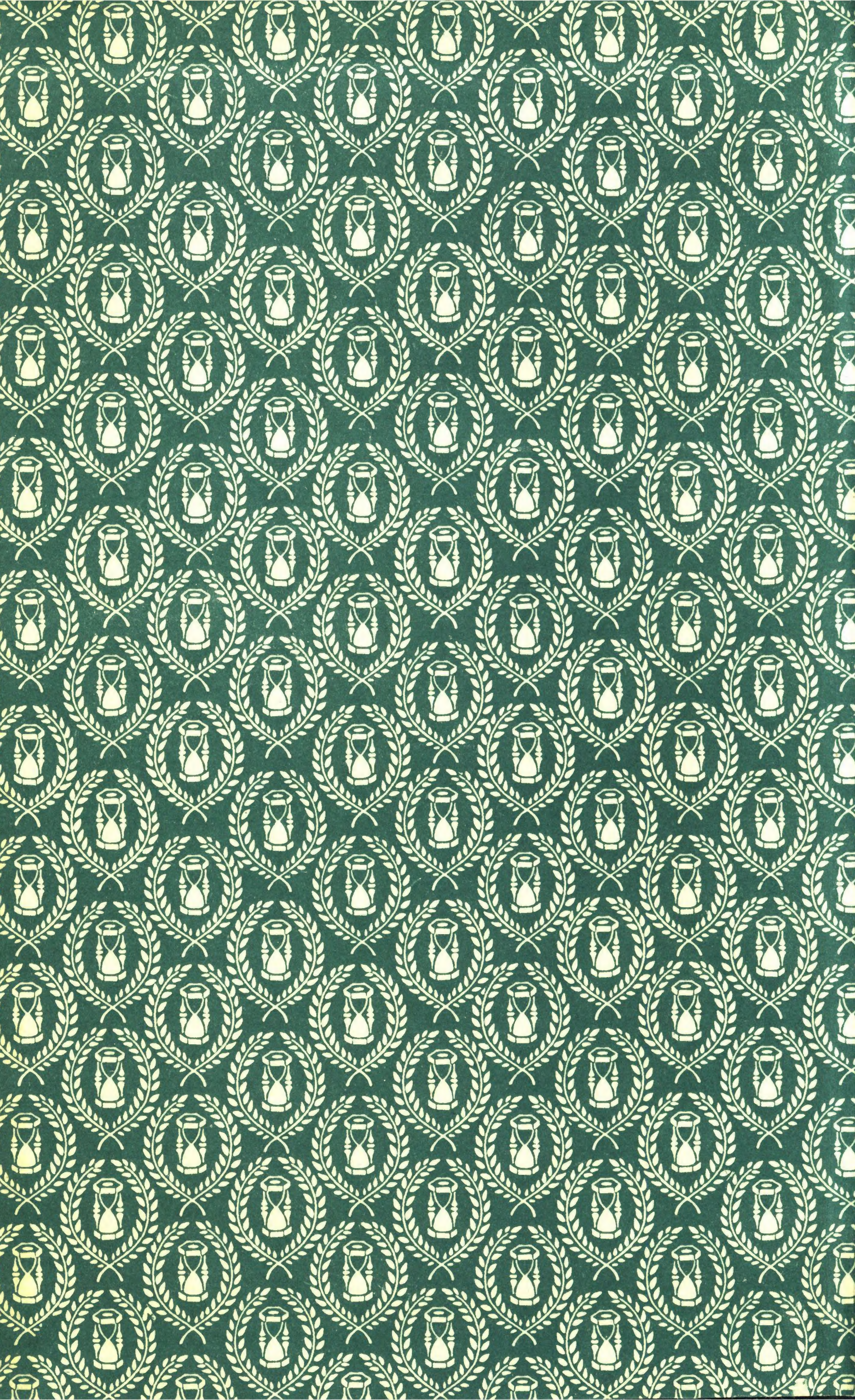
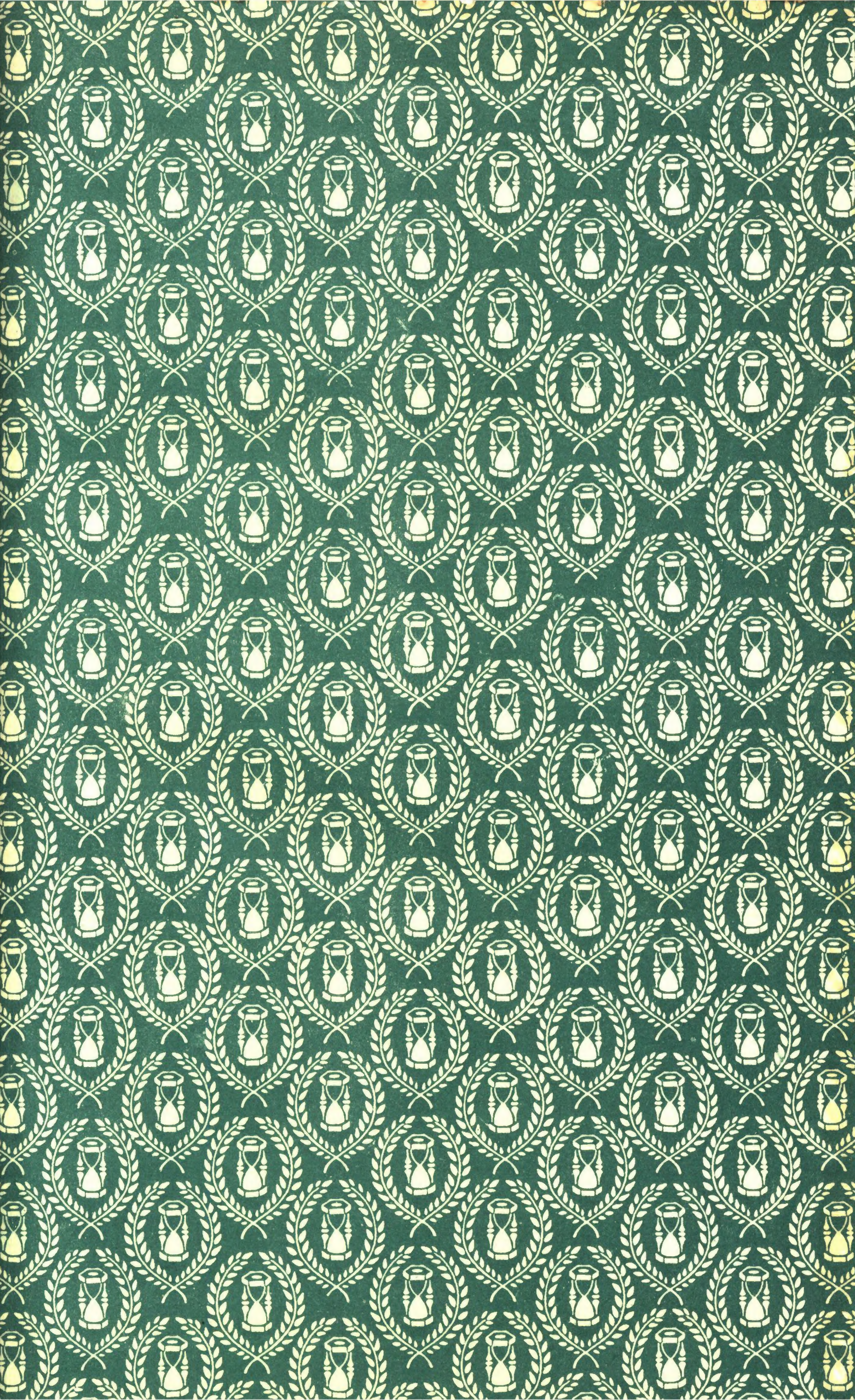
В. Т. НАРЕЖНЫЙ

Славенские вечера





В. Т. НАРЕЖНЫЙ

Славенские вечера

В. Т. НАРЕЖНЫЙ

Славенские вечера

Запорожец

Бурсак

Гаркуша, малороссийский разбойник

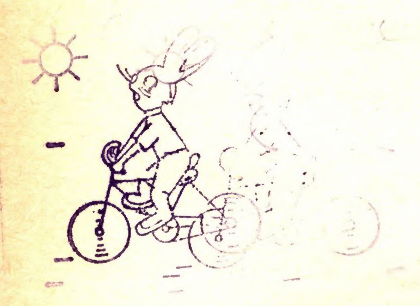
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

84 Р 1
Н 28

Составление,
вступительная статья и примечания
Н. ШАХМАГОНОВА

Иллюстрации художника
А. АННО

Оформление серии художника
Н. ЯЩУКА



Н $\frac{4702010100-1998}{080(02)-90}$ 1998—90

ISBN 5—253—00161—1

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РОМАНИСТ

Замечателен талант, необычайна судьба Василия Трофимовича Нарежного (1780—1825). В. Г. Белинский писал о нем: «Русских романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их родоначальник Нарежный... Появление Булгарина в качестве романиста было упреждено появлением на том же поприще Нарежного, человека с замечательным и оригинальным талантом»[1].

Почему же оказался забыт писатель? Ответ прост. При жизни он издавался чрезвычайно редко, а некоторые лучшие его произведения были долгое время запрещены.

И все же многие критики не обходили своим вниманием творчество писателя. Так, русский литературовед, академик Петербургской академии наук Н. А. Котляревский отмечал: «Нарежный был явлением редким, и среди наших позднейших реалистов николаевской эпохи мы не найдем достойного ему по смелости заместителя»[2].

Высоко ценил Нарежного И. А. Гончаров: «Нельзя не отдать полной справедливости и уму, и необыкновенному, по тогдашнему времени, уменью Нарежного отделываться от старого и создавать новое. Белинский глубоко прав, отличив его талант и оценив его как первого по времени русского романиста. Он школы Фон-Визина, его последователь и предтеча Гоголя. Я не хочу преувеличивать, прочитайте внимательно и вы увидите в нем намеки, конечно, слабые, туманные, часто в изуродованной форме, на типы характерные, созданные в таком совершенстве Гоголем. Он часто впадает в манеру и тон Фон-Визина и как будто предсказывает Гоголя. Натурально, у него не могли идеи выработаться в характеры по отсутствии явившихся у нас впоследствии новых форм и приемов искусства; — но эти идеи носятся в туманных образах — и скупого, и старых помещиков, и всего того быта, который потом ожил так реально у наших художников,— но он всецело принадлежит к реальной школе, начатой Фон-Визиным и возведенной на высшую ступень Гоголем. И тут у него в этом «Жилблазе», а еще более в «Бурсаке» и «Двух Иванах», там, где не хватало образа, характер доказывается умом, часто с сатирической и даже юмористической приправой.

В современной литературе это была бы сильная фигура.

Замечательны также его удачные усилия в борьбе со старым языком.., с педантизмом и вообще со всем устаревшим...»[3].

---

[1] Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 316.

[2] Котляревский Н. А. Н. В. Гоголь. Спб., 1903. С. 85.

[3] Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М: Гослитиздат, 1955. Т. 8. С. 474—475.

Можно привести и отзыв критика Н. И. Надеждина, который писал о произведениях В. Т. Нарежного: «Вот так подлинно народные русские романы! Правду сказать — они изображают нашу добрую Малороссию в слишком голой наготе, не отмытой нисколько от тех грязных пятен, кои наведены на нее грубостью и невежеством; но зато — какая верность в картинах! какая точность в портретах! какая кипящая жизнь в действиях!..» [1]

И при всем при этом Нарежный долгое время оставался мало известен широким кругам читателей, хотя, безусловно, каждый, кому доводилось читать его произведения, отдавал должное таланту самобытного русского писателя.

Его называли предтечей Гоголя. А ведь он был и земляком автора «Мертвых душ». Родился Василий Трофимович Нарежный в 1780 году в местечке Устивица Миргородского уезда Гадячского повета [2] Полтавской губернии. В 1786 году отец будущего писателя вахмистр Черниговского карабинерного полка Трофим Нарежный вышел в отставку и, дав обязательство «остаться вечно в русском подданстве», получил свидетельство на дворянство. В указе значилось:

«Объявитель сего из польского шляхетства Трофим Иванов, сын Нарежный, бывший на службе Ея И. В. в Черниговском карабинерном полку вахмистром, а ныне, по поданной от него челобитной, за имеющимися у него болезнями, далее воинской службы продолжать немогущий из оной на собственное его пропитание по обязательству его остаться вечно в российском подданстве с награждением карнетом мною уволен и по выключке из полку отпущен в дом его Киевского наместничества Миргородского уезда в местечке Устивице состоящий...» [3]

Итак, Василий Трофимович родился в дворянской семье. Но дворянской она была лишь по своему титулу. Нарежные не имели крепостных и собственным трудом зарабатывали себе на жизнь. Приобщился к крестьянскому труду и будущий писатель. Впоследствии в ряде своих произведений он отразил суровый быт малоземельных шляхтичей и мелкопоместных князей.

Достоверных сведений о том, где получил Нарежный первоначальное образование, позволившее ему в двенадцатилетнем возрасте в 1792 году поступить в Московскую дворянскую гимназию, не сохра-

---

[1] Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 95.

[2] В повет входило несколько селений и сотен. Гадячь, как и некоторые другие города, созданные из местечек и селений, не раз переходил то к киевскому, то к черниговскому наместничествам, позже оказался в Полтавской губернии.

[3] Белозерская Н. Василий Трофимович Нарежный. Спб., 1896. С.

нилось. Биографы Нарежного, изучая этот вопрос, пришли к выводу, что он скорее всего учился в черниговской бурсе и семинарии. Подтверждением тому служит роман «Бурсак, малороссийская повесть», в котором предельно точно, с мельчайшими деталями быта выписана жизнь бурсаков, среди которых, видимо, не один год находился автор. Черниговская семинария, бывший латинский коллегиум, была одним из старейших малороссийских учебных заведений. Основал его в 1700 году черниговский архиепископ Иоанн Максимович на базе старого училища, переведенного в Чернигов в XVII веке из Новгорода-Северского. В XVII веке коллегиум находился при черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре, а в 70-х годах того же века был окончательно переименован в семинарию.

О дальнейшей учебе Нарежного имеются уже более определенные данные. В 1792 году он поступил в дворянскую гимназию при Московском университете, где юношей готовили для поступления в университет. Помещалась она в одном здании с основными университетскими аудиториями. Единым было и подчинение. Из студентов университета назначались так называемые цензоры, которые наблюдали за поведением гимназистов и помогали им в приготовлении уроков.

Еще И. И. Шувалов, учредитель Московского университета, ввел в гимназии изучение новейших европейских языков, которое, по его мнению, давало все возможности «для изучения наук в их современном состоянии». Языки преподавались настолько серьезно, что гимназисты имели возможность заниматься переводами. Подобным образом зарабатывал себе на жизнь и В. Т. Нарежный.

Именно в стенах университета сделал он первые шаги на литературном поприще. В какой-то степени помогло знакомство с профессором П. А. Сохацким, редактировавшим в то время два журнала: «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена, или Утехи любословия». Профессор П. А. Сохацкий был инспектором греческих и латинских классов гимназии, преподавателем греческой и латинской словесности в университете. Коротко сойдясь с ним, Нарежный на первых порах находился под влиянием Сохацкого, поклонника классицизма и противника романтизма, входившего тогда в моду. В духе классицизма написано и первое литературное произведение Нарежного, увидевшее свет в те годы. Это поэтическое сказание «Сотворение розы», переведенное им с немецкого языка и опубликованное в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». А вскоре Нарежный сделал следующий перевод, теперь уже с латинского, «К Аристию» из Горация.

Но были не только переводы. В годы студенческие писатель создал свое первое авторское произведение — поэму «Брега Алты». Начиналась она следующими строками:

Взошед пресветлый Царь небес
И ризою своей багряной
Покрыл поля и дальний лес,
И Алты брег злато-песчаный.
Взошел и, робко путь свершая,
Открыл полки российских сил —
Недавно здесь Владимир грозно
Врагов кичливых полк разил...

И эта поэма, и следующая — «Освобожденная Москва», по стилю своему напоминающая первую, посвящены отечественной истории. Уже на заре литературной деятельности в творчестве Нарежного обозначилось историческое направление. Первым прозаическим произведением на историческую тему стал опубликованный в 1798 году в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» рассказ «Рогвольд», написанный в традициях литературы сентиментализма. Нарежный искал свой стиль повествования, но пока еще не был свободен от влияния поэзии Оссиана...

«Ночь была светлая. Майская луна величественно освещала лазоревое небо; Полоцк находился в глубоком покое; войско Владимирово в бездействии возлежало на обширных полях его...»

В основу своего произведения писатель взял реальный эпизод, известный ему по летописям и «Истории» Татищева. В 980 году киевский князь Владимир направил послов к полоцкому князю Рогвольду просить руки его дочери Рогнеды. Рогнеда отказала Владимиру, но дала согласие стать женой его брата Ярополка. Взбешенный Владимир напал на Полоцк, убил Рогвольда и его сыновей, а Рогнеду взял в жены. В рассказе Владимир изображен в муках раскаяния по поводу совершенного, его характер, мотивы поступков показаны достаточно убедительно.

Начиная с самых первых своих произведений, Нарежный стремился утверждать торжество добродетели. Поэтому он ради собственного замысла отступает от исторической достоверности. У Нарежного Рогвольд не только остается жив, но и встречается с Владимиром: Владимир кается, и Рогвольд прощает его.

«Рогвольд» оказался предтечей целого цикла произведений из истории Древней Руси, объединенных общим заглавием «Славенские вечера». Однако исторические новеллы появятся позднее, а в конце 1790-х годов писатель создает рассказы «Мстящие евреи» и «Римская ревность», последний из которых написан в псевдоклассическом духе и изображает подвиг Муция Сцеволы. Затем из-под пера его выходит трагедия «Кровавая ночь, или Конечное падение дома Кадмова», сюжетом которой явилась роковая судьба царя Эдипа и его детей.

Перечисленные произведения можно отнести к ранним, пробным. Немногие из них переиздавались впоследствии и входили в сборники и Собрание сочинений.

Студенческая жизнь Нарежного закончилась неожиданно. 10 октября 1801 года он «по прошению от университете уволен с обязанием дабы... в праздности не был, а явился к определению в службу, куда следует».

Причины этого шага неизвестны. Учился Нарежный прилежно, в 1800 году был награжден серебряной медалью и получил обер-офицерский чин. Вполне возможно, на решение оставить университет повлияло сложное материальное положение. Так или иначе, но еще 3 октября, по существу, за неделю до подачи прошения, Нарежный был зачислен на службу «у письменных дел» при будущем правителе Грузии Коваленском, и вскоре отправился в Тифлис.

Знакомство со страной, в которой предстояло работать, оставило удручающее впечатление. Кругом царили хаос и неразбериха, русская администрация, возглавляемая Коваленским, никак не заботилась об установлении твердого порядка в стране, чиновники большей частью злоупотребляли властью, не отставали от них и грузинские правители. Одни богатели, другие нищали. Именно тогда вывел писатель непреложное правило, которое, по его мнению, должно быть обязательным для всех: «Добродетели... должны быть общи всем добрым людям: крестьянину и помещику, вельможе и царю; и чем чья степень возвышеннее, тем круг их действия обширнее».

Уже во время службы в Грузии в должности секретаря Лорийской управы земской полиции Нарежный начал делать первые наброски романа «Черный год, или Горские князья».

Вникая в дела, постепенно разбираясь во всех нюансах политической обстановки, Нарежный все более удивлялся, почему правителем Грузии назначен именно Коваленский, алчный, корыстолюбивый, высокомерный, пренебрегающий местными обычаями. Ведь исполняя до этого назначения обязанности уполномоченного министра при дворе грузинского царя Георгия XII, он восстановил против себя и царский двор, и влиятельных людей, и общественность. В августе 1800 года Павел I отстранил Коваленского от должности уполномоченного министра, но после вступления на престол Александра I состоялось еще более высокое назначение.

Нарежный понимал, что деятельность Коваленского никак не способствует развитию дружбы русского и грузинского народов, поскольку она шла вразрез с официальным указанием на то, что его «собственное поведение и поведение всей его миссии должно было клониться к приобретению доверенности и любви грузинского народа и к доказательству расположения к нему русского правительства».

О том, как выполнял он эти указания, свидетельствуют документы, изданные кавказской археологической комиссией. Коваленский, значится в тех документах, «переезжая горы Кавказские, встретившись с послами, от грузинского царя в Россию отправленными, не сохранил пристойности и повелительным образом им приказал возвратиться, а к царю Георгию написал, что если послов своих его величество у себя не удержит до его прибытия, то он сам вернется в Россию и войскам то же учинить повелит. Царь оробел, и огорчение в сердце его запечатлелось».

Безобразно вел себя Коваленский и по прибытии в Тифлис. Все ожидали, что он явится к царю для аудиенции, однако этого не произошло. Встреча долго откладывалась под различными предлогами, а когда все-таки произошла, то не принесла желаемого результата. Коваленский явился в аудиенц-зал в верхней одежде, не сняв даже шубы и шапки, сел против царя так, что уперся коленями в его ноги, вел себя вызывающе, все время подчеркивая свое превосходство.

Затем прошел к царице, но там и вовсе разговаривать не стал, хотя она тоже ожидала беседы, а заявил, что уже полдень и, по обыкновению российскому, это — адмиральский час, когда надобно подавать водку.

Злоупотребления, творящиеся вокруг, давали почву для раздумий и, конечно, огромный материал для нового произведения.

14 мая 1803 года В. Т. Нарежный уволился из Лорийской управы, вернулся в Петербург и 1 сентября того же года поступил на службу в министерство внутренних дел писцом. В этот период он вплотную занялся романом «Черный год, или Горские князья». Произведение, на первый взгляд приключенческое, оказалось исключительно злободневным, сатирическим, разоблачительным, отражающим жизнь и быт горских народов, раскрывающим характеры не только исторических деятелей, но и простых людей.

Роман, очевидно, занимал все время, ибо данных о работе Нарежного над другими произведениями в период службы в министерстве внутренних дел не имеется. Известно лишь, что в 1804 году была напечатана трагедия в пяти действиях «Дмитрий Самозванец», написанная значительно раньше, еще до отъезда на Кавказ, в 1800 году. Это произведение критика сочла подражательным, созданным под непосредственным влиянием «Разбойников» Шиллера. Отмечалось, что в трагедии немало недостатков в правильности изображения русского быта начала XVII века, в воссоздании характеров исторических лиц.

Время окончания работы над романом «Черный год, или Горские князья» неизвестно. Скорее всего роман был написан до 1806 года.

так как именно тогда Нарежный занялся историческим циклом «Славенские вечера». Что же касается «Черного года», то работа над ним велась еще в течение ряда лет, но он так и не был опубликован при жизни автора. Возможно, помешал Коваленский, имевший большие связи, возможно, его высокие покровители, ибо во многих отрицательных персонажах, выведенных в острой сатирической форме, нельзя было не узнать и самого Коваленского, и его приспешников. Роман увидел свет лишь в 1829 году.

30 мая 1807 года, прослужив в министерстве внутренних дел около четырех лет, Нарежный перевелся в «Горную экспедицию Кабинета его величества». На новом месте оказались более благоприятные условия для работы, улучшилось и материальное положение писателя. Удалось больше времени уделить циклу исторических произведений «Славенские вечера», основную часть которых он завершил в 1808 году.

Некоторые критики считают, что замысел этих произведений родился под влиянием опубликованного в 1800 году «Слова о полку Игореве». Была и еще одна причина, по которой Нарежный, как истинный патриот, не мог не обратиться к героическому прошлому родины. В воздухе пахло грозой, чувствовалось приближение жестоких битв с наполеоновской Францией. Своими произведениями Нарежный стремился поднять национальный дух, пробудить национальное самосознание, еще раз напомнить о величии и непобедимости своего народа. Писатель широко использовал народные предания, ввел в повествование элементы устного народного творчества.

И вновь, после лестных отзывов критики на «Славенские вечера», провал в творческой биографии, вновь можно лишь предполагать, чем занимался писатель в последующие годы. До 1814 года о нем практически не было слышно. И вдруг появился новый роман «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Вышли в свет три первые части романа, остальные три были тут же запрещены. Отчего же? Быть может, сам Нарежный дал объяснение этому, отметив в предисловии к роману, что поставил перед собой цель «описывать беспристрастно наши нравы». Ведь в тот период стал входить в моду так называемый «нравоописательный роман». «Российский Жилблаз» заставил заговорить о Нарежном как о маститом писателе, сделал популярным его имя. Правда, критика тут же сочла, будто произведение написано по образцу известного в то время романа Алена Рене Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сантильяны», увидевшего свет в первой половине XVIII века, но не потерявшего популярность и в начале века XIX.

Сразу же после выхода французского романа разгорелись споры о его оригинальности, прошел слух, что он представляет собой пере-

вод испанского романа, изданного в начале XVII века. Оригинальность романа Лесажа была доказана значительно позже. Не избежал участи французского Жиль Блаза и «Российский Жилблаз...» Впрочем, Нарежный и сам признавал, что испытывал некоторое влияние французского романиста, что и заглавие не случайно избрал именно такое. По этому поводу он писал: «Я вывел на показ русским людям русского же человека, считая, что гораздо сходнее принимать участие в делах земляка, нежели иноземца. Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается. За несколько десятков лет и у нас нельзя было отважиться описывать беспристрастно наши нравы» [1].

Нарежный явно поторопился, утверждая, что в России настала пора писать то, что думаешь. Вскоре ему пришлось убедиться в обратном. В романе оказалось немало мест, вызвавших недовольство и цензуры и тех, кто жадною толпой стоял у трона. Это и вопрос о крепостном праве, описание вопиющих злоупотреблений, творимых помещиками, и разоблачение тайного «Общества благотворителей света», именовавшегося масонским. Н. Белозерская отметила, что «нападки на масонство... уже сами по себе были достаточны, чтобы навлечь гонение на книгу Нарежного» [2]. А разоблачительных сцен, выписанных ярко и образно, в романе оказалось достаточно.

Н. А. Белозерская высказала предположение, что под выведенным в романе «Обществом благотворителей света» Нарежный подразумевал некий «Еввин клуб». В исторической «Хрестоматии» А. Д. Галахова рассказывается об учреждении этого заведения в Москве в Немецкой слободе, в доме Годеина, где «ежедневно совершались лицами обоего пола, принадлежавшими к высшему свету, неслыханные сатурналии разврата и бесчинств, что продолжалось около двух лет».

«Еввин клуб» был закрыт по распоряжению Екатерины II в 1793 году, когда окончательно прояснилось, что члены «клуба» занимались и другими неприглядными делами,— в частности, грабили наиболее обеспеченных своих сотоварищей, так называемых братьев. Один из подобных «братьев» вынужден был в конце концов обратиться за помощью к властям.

Роман интересен не только своим разоблачительным характером. Это многоплановое произведение, позволяющее взглянуть на многие процессы, происходящие в российском обществе. Полностью роман увидел свет лишь в 1938 году.

---

[1] Цит. по: Белозерская Н. Василий Трофимович Нарежный... С. 78.

[2] Белозерская Н. Василий Трофимович Нарежный... С. 79.

Запрещение «Российского Жилблаза», естественно, не могло не сказаться на материальном положении писателя, тем более, что в 1813 году он женился и оставил службу в Горной экспедиции, решив полностью отдаться литературному труду. Увы, этого не получилось. Пришлось уже в 1815 году искать себе новое место. На этот раз он поступил в инспекторский департамент, который позднее был включен в состав Главного штаба. Там Нарежный прослужил вплоть до 1821 года.

Неудача с «Российским Жилблазом» не выбила из седла писателя. Он вновь обратился к жанру романа, и в 1822 году опубликовал новое многоплановое произведение «Аристион, или Перевоспитание», где разоблачались бездуховность и вред поверхностного обучения и воспитания подрастающего поколения. К сожалению, роман еще так и не увидел свет в советское время, а между тем он не утратил своей актуальности.

К «Аристиону» критика отнеслась неоднозначно, но и сторонники, и противники признавали, что в нем при всех его недостатках подняты животрепещущие проблемы.

В последующие годы В. Т. Нарежный работал с особенным упорством, словно чувствовал, что жить осталось немного, а сколько хотелось сделать!

В 1824 году началось издание нового цикла прозаических произведений «Новые повести». Сначала появились первые три — «Мария», «Турецкий суд», «Невеста под замком».

По поводу повести «Мария» в журнале «Благонамеренный» сообщалось, что рецензент, «журналист в зрелых летах, который и в ранней молодости своей не был плаксив, выронил поневоле несколько слез. Как хорошо знает сочинитель человеческое сердце. В каких трогательных положениях умел он представить героев своей повести...» В частности, рецензент отмечал: «Цель повести *Мария* самая полезная. Автор хотел показать, что самое лучшее воспитание, если оно не согласно с предназначением нашим в общественной жизни, бывает для нас пагубно и что любовь самая невинная, самая благородная между людьми, родившимися, по-видимому, друг для друга, но в разных или, так сказать, противоположных между собою состояниях,— есть ужаснейшее мучение, которое только одна смерть прекратить может».

В сборник, вышедший в 1824 году, включены были также повести «Запорожец» и «Заморский принц». «Запорожец» — повесть историческая, «Заморский принц» можно, как и повесть «Богатый бедняк», причислить к нравоописательным сочинениям.

Значительное влияние на Нарежного оказало Вольное общество любителей российской словесности. Не являясь официально его чле-

ном, он часто бывал на заседаниях, а 20 мая 1818 года даже выступил с чтением повести «Игорь», впоследствии включенной во вторую часть «Славенских вечеров». В том же году в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», издаваемом Вольным обществом, была опубликована повесть «Любослав», а в 1819 году — «Александр».

Предполагается, что именно в середине 1810-х годоз (1816—1817) Нарежный окончательно завершил работу над романом «Черный год, или Горские князья». Этот роман он передал для издания Вольному обществу. Но, увы, роман был отклонен. Рецензировали произведение по решению Вольного общества секретарь цензурного комитета М. М. Сонин и писатель А. Е. Измайлов. Сонин решительно выступил против издания романа, считая его слишком резким и осуждая Нарежного за нападки на власть предержащих. Измайлов не мог не отметить, что роман чрезвычайно занимателен и является едва ли не лучшим произведением русской литературы того периода, однако и он не решился рекомендовать произведение для издания. После отклонения романа Нарежный порвал всякие связи с Вольным обществом.

В 1824 году увидел свет роман «Бурсак, малороссийская повесть». Несмотря на уточнение — «малороссийская повесть», это, безусловно, многоплановое произведение, которое критикой определено как роман. Что же касается подзаголовка, то с его помощью Нарежный, не отступая от своих правил называть крупные произведения двойными заглавиями, акцентирует внимание на том, что это *повествование* о прошлом Малороссии.

Роман, по отзыву критики, предвосхитил появление гоголевского «Тараса Бульбы».

Следующим значительным произведением писателя, в котором он в острой сатирической форме изобразил поместное дворянство, стал роман «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», вышедший в свет через две недели после смерти писателя. В рецензии на «Двух Иванов» отмечалось: «В. Т. Нарежный, скончавшийся в июле [1] сего года, подавал некогда большие о себе надежды. Обстоятельства — тяжелая цепь, часто угнетающая таланты, остановила и Нарежного на его поприще» [2].

После смерти писателя остался незаконченный и неопубликованный роман «Гаркуша, малороссийский разбойник», роман, безусловно, исторический. Главный герой романа имеет реальный прототип, о котором даже существует специальное исследование Н. Маркевича

---

[1] В статье неверно указан месяц. Нарежный умер 21 июня 1825 года.

[2] «Московский телеграф», 1825, № 16. С. 346.

«Горкуша, украинский разбойник», опубликованное в «Русском слове» в сентябре 1859 года.

А. Смирдин, готовя Собрание сочинений В. Т. Нарежного, вышедшее в 1835—1836 годах, пытался вставить в него и «Гаркушу», однако цензор сделал заключение о том, что произведение «располагает к участию, даже к сожалению о главном лице, поелику злодейства, составляющие несчастие его, проистекали от обид и несправедливостей других людей. Такое направление романа может иметь само по себе вредное влияние на умы того класса читателей, для которого он предполагательно назначается».

Впервые роман увидел свет в 1950 году в издании «Русские повести XIX века» и печатался по рукописи, хранящейся в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Шесть романов, ряд повестей, рассказов и произведений других жанров — таков итог творческой деятельности В. Т. Нарежного, писателя необычного, самобытного и, к сожалению, незаслуженно мало издававшегося.

* * *

В 1990 году исполняется 210 лет со дня рождения Василия Трофимовича Нарежного. К этой дате приурочивается издание настоящего сборника, в который входят исторические произведения писателя. Открывают сборник «Славенские вечера» — цикл повестей, обращенных к героическому прошлому нашей Родины.

В начале XIX века многие русские писатели обратились к истории России. В 1800—1802 годах А. Н. Радищев создал героическую поэму «Песни, петые на состязаниях в честь древнейшим славянским божествам», посвященную исторической судьбе славянских народов, Н. М. Карамзин в 1803 году написал историческую повесть «Марфа посадница, или Покорение Новагорода», В. А. Озеров в 1807-м — трагедию «Дмитрий Донской».

И вот в 1809 году вышла в свет первая часть «Славенских вечеров».

Первые две повести цикла «Кий и Дулеб» и «Славен» посвящены событиям истории Древней Руси. Пользуясь древними летописями, изучая «Историю Российскую с самых древнейших времен» М. М. Татищева, другие документы, Нарежный, однако, не заботится о полной исторической достоверности своих произведений. Главная его задача — передать чувство восхищения героической историей своего отечества, дух овеянного романтикой борьбы прошлого «веков отдаленных». Он рисует вдохновенные образы Кия и Славена, все дела которых проникнуты заботой о судьбе своих народов, им противопоставлены мрачные фигуры Дулеба и кровожадного Радимира.

Временам Киевской Руси, правлению князя Владимира Святославича, борьбе с печенегами посвящены повести «Рогдай», «Велесил», «Громобой» и повесть без названия, обозначенная как «Вечер VI». Так, в «Рогдае» писатель касается осады города Белгорода печенегами, опять же не стремясь к точному изложению событий, а показывая величие патриотизма защитников земли русской, их стойкость и мужество, ярко выражающиеся в словах самого Рогдая: «Единственно отечеству посвящена жизнь витязя земли Русской».

Полностью вымышлен сюжет «Велесила», и лишь упоминание о междоусобицах между князьями Ярополком и Олегом, а также Ярополком и Владимиром свидетельствует о том, что автор имеет в виду время княжения Владимира Святославича. Повесть «Велесил» — яркий рассказ о любви мужественного и благородного русского витязя к прекрасной гречанке Софии, похищенной им во время одного из походов. «Вечера» написаны в форме рассказа в рассказе. Подобная форма изложения Нарежному была, безусловно, известна по «Деревенским вечерам» Карамзина, вышедшим в 1787 году. Она затем была использована Гоголем в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и Загоскиным в «Вечерах на Хопре». С помощью такого приема было легче преодолеть большие временные дистанции, брать эпизоды для повествования из различных эпох, оправдывая выбор вкусом автора. Нарежный как бы приглашает читателя: «При закате солнца летнего в воды тихие приходите сюда внимать моему пению. Поведаю вам о подвигах ратных предков наших и любезности дев земли Славеновой».

Повести Нарежного написаны прекрасным русским языком, они глубоко патриотичны и несут огромный нравственный заряд. Накануне Отечественной войны 1812 года была написана повесть «Любослав», в которой писатель поднял важную для того периода проблему мудрого руководства государством, убеждая читателя, «что не в победах бранных, не в торжествах кровавых, не в имени завоевателя приобретается счастье владык земли». Нарежный создает образ князя Любослава, жаждущего военной славы и ввергающего свой народ в бессмысленн: е кровопролития.

«Славенские вечера» были тепло встречены критикой и получили весьма лестные отзывы. Так, рецензент «Цветника» отмечал, что в этих произведениях «Нарежный открывает славные дела богатырей русских и приключения князей славянских... Кому не нравится такая превосходная проза! По крайней мере, мы, со своей стороны, считаем обязанностью отдать полную справедливость дарованиям г. Нарежного и сказать, что его «Славенские вечера» могут служить образцом чистоты языка и хорошего слога» [1].

---

[1] «Цветник», 1809. Ч. III, № 8. С. 263—264, 273.

Н. Греч, составляя хрестоматию русской прозы в 1812 году, включил в нее отрывки из повести «Кий и Дулеб»[1].

В наш сборник включено произведение из цикла «Новые повести» — повесть «Запорожец». Это своеобразный очерк истории Запорожской Сечи, но очерк опять-таки не строго документальный. Писатель использует народные предания, рассказы, но написанное прежде всего, конечно, плод его фантазии. Это отметил и рецензент «Отечественных записок», касаясь повести, это признавал и сам автор.

Первое издание романа «Бурсак, малороссийская повесть» было осуществлено еще при жизни автора. Особенность этого произведения, по отзыву рецензентов, в том, что писателю удалось впервые в русской литературе создать образ настоящего малороссийского бурсака, «наивного и добродушного, но проникнутого гордым сознанием своей учености». Нарежный мастерски описал жизнь бурсы, осветил ее быт и нравы, методы воспитания и обучения.

В журнале «Литературные листки» отмечалось: «Нарежный едва ли не один занимается сего рода сочинениями и в его произведениях видно много ума, много воображения... рассказ «Бурсака» жив, завязка занимательна, изображение Малороссии и запорожских нравов верно...»

«Русский оригинальный роман,— писал о «Бурсаке» рецензент журнала «Благонамеренный»,— есть необыкновенное явление в нашей словесности, несмотря на то, что у нас около полутора тысяч романов, по каталогам наших книгопродавцев,— но большая часть переводы. Русских же оригинальных едва наберется сто романов, и те, за небольшим исключением, можно причислить к самым плохим переводам... Утешимся надеждами на будущее.., а до того времени предлагаем любителям чтения новый роман Нарежного «Бурсак»... и ручаемся, что многие прочтут его с удовольствием... Характеры действующих лиц оттенены превосходно,— особливо характер гетмана... Малороссия, обычаи малороссийские, гетманский двор, шляхетство, сечь Запорожская и пр.— описаны превосходно»[2].

«Бурсак» стал очередным и очень серьезным шагом Нарежного в литературе. Следующий шаг сделан, безусловно, в романе «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», выхода которого Василию Трофимовичу Нарежному дождаться было не суждено...

---

[1] См. Греч Н. Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе. Спб., 1812.

[2] Цит. по: Белозерская Н. Василий Трофимович Нарежный... С. 131, 132.

П. А. Вяземский о двух последних романах Нарежного писал, что они «занимают видное место в числе замечательных произведений нашей ленивой и малоурожайной словесности», что Нарежный первый сумел наблюдения над народным бытом обратить в материал для составления русского романа.

Над романом «Гаркуша, малороссийский разбойник» Нарежный работал в последние годы своей жизни. В начале четвертой части рукописи сохранилась пометка «17 мая 1825 г.», сделанная рукой автора. Роман хоть и не закончен, но является вполне состоявшимся произведением. По мнению критиков, он относится к так называемым разбойничьим романам, особенно распространенным во второй половине XVIII столетия. Правда, роман Нарежного — произведение совершенно особенное, оно скорее историческое, нежели, как отзывались критики, разбойничье, ибо героем романа писатель избрал известного в ту пору разбойника Горкушу, предания о котором передавались из уст в уста. Горкуша прославился своими «подвигами» на большой территории от Умани до Полтавы и от Казани до Днепровского лимана. В 1782 году он был схвачен и выслан в Нерчинск, но память о нем долго еще сохранялась в краях, где он действовал.

Нарежный не стремился описать именно Горкушу. Он взял лишь самые общие черты характера знаменитого малороссийского разбойника, не следуя доподлинно его биографии. Реальный Горкуша после уничтожения Сечи стал контрабандистом, затем создал шайку из беглецов-крестьян, не стерпевших помещичьего гнета. В романе же главный герой — обычный пастух, честно зарабатывавший на хлеб. Доведенный до отчаяния бедностью и бесправным положением, он взялся за разбой. Да и то не вдруг, не сразу, а лишь поставленный в такие условия определенными обстоятельствами.

Гаркуша — человек честный, скромный, добрый, обладающий чувством собственного достоинства, гордостью. Достоинство и гордость не позволили Гаркуше сносить незаслуженные обиды, они взывали к мщению, по его мнению, справедливому. Вот как объясняет автор словами Гаркуши его решение: «Теперь уже я сам собою решаюсь сделаться — милосердный боже! — сделаться разбойником! Почему так? Кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пан, который за принесенное в счет оброка крестьянкою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержать на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит изобличенному в бездельстве компанейщику: «Что дашь, чтобы я оправдал тебя?» Не тот ли священник, который, сказав в церкви: «Не взирай на лица сильных», в угодность помещику погребает тихонько забитых батогами или уморенных голодом в хлебных ямах? О беззаконники! Вы

забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя?»

В этом романе, как и в других своих произведениях, Нарежный дает прекрасные картины крестьянского быта.

Немало в произведении и неправдоподобного. Взять хотя бы пропасть, неведомо как образовавшуюся в равнинной местности. Пропасть явилась плодом богатого воображения писателя и понадобилась ему, чтобы создать надежное убежище для разбойников. Нарежный великолепно описал ее, заставив поверить в подобное чудо природы.

Роман читается с интересом, словно остросюжетный детектив, но в отличие от большинства современных детективов, заполняющих рынки и не несущих, как правило, никаких нравственных зарядов и быстро по прочтении забываемых, отличается самобытным языком, яркими, выписанными с юмором эпизодами.

«Гаркуша, малороссийский разбойник» считается одним из наиболее значительных антикрепостнических произведений первой четверти XIX века. В советское время роман издавался неоднократно.

Творчество В. Т. Нарежного еще ждет более глубоких исследований, а произведения его — новых массовых изданий. Спрос на них велик, и все вышедшие сборники, несмотря на значительные тиражи, стали библиографической редкостью.

В. Г. Белинский справедливо называл В. Т. Нарежного человеком «с замечательным и оригинальным талантом». А полемизируя с теми, кто пытался сравнивать его творчество с творчеством других писателей, отмечал: «Все русские романы можно разделить на два разряда. Первый разряд их начинался «Бурсаком» и «Двумя Иванами» Нарежного, а заканчивался тремя попытками даровитого И. И. Лажечникова — «Последним Новиком», «Ледяным домом» и «Басурманом». Здесь не место сравнивать между собою таланты обоих романистов, довольно сказать, что эти таланты яркие, замечательные и что ничего общего, никакой исторической связи между ними нет» [1].

Нарежный шел непроторенными тропами. Ныне многотысячная армия писателей знает, как и по какой схеме строить произведение, чтобы и рецензент, и читатель, и критик могли сказать: «Да, это роман!» Нарежный был первым, ему было труднее, но он с успехом положил начало жанру романа в русской литературе. Сделать это было непросто, приходилось искать, размышлять, изучать зарубежные образцы нового для России и русской литературы жанра.

Зачастую критика была строга к нему, указывала на ошибки, на недоделки, но нельзя не признать, что в то нелегкое время, в тех не-

[1] Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 361.

легких условиях Нарежный справился с поставленной перед самим собой задачей. И современники отмечали его самобытный талант, наблюдательность, оригинальный ум, творческую силу воображения, «познание сердца человеческого, искусство ловить комические черты, рассказывать просто, занимательно».

Творчество В. Т. Нарежного оказало значительное влияние на развитие русской литературы, и писатель заслуживает того, чтобы имя его заняло достойное место среди выдающихся литературных имен XIX века.

Н. ШАХМАГОНОВ

СЛАВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА

На величественных берегах моря Варяжского, там, где вечно юные сосны смотрятся в струи Невы кроткие, в отдалении от пышного града Петрова и вечного грохота, по стогнам его звучащего, при склонении солнца багряного с неба светлого в волны румяные, часто люблю я наслаждаться красотой земли и неба великолепием, склонясь под тень дерев высоких и обращая в мыслях времена протекшие.

Там иногда сонм друзей моих и прелестных дев земли Русской окружает меня. Кроткое пение их разливается по берегу и, журча вдали среди кустов зеленых, теряется в пространстве воздуха.

Иногда берут они звонкие орудия и светлыми звуками их прославляют величие добродетели и верных друзей ее.

Потом — гласы их смягчаются, звоны орудий едва приметны. Они поют любовь невинную и ее приятности.

В кротком упоении души я вещал им:

«Видел я страны чуждые и красоты земель отдаленных; видел весну цветнее, видел лето блистательнее, видел осень обильнее благословениями полей и вертоградов, нежли в стране нашей; но нигде не видал я старцев почтеннее, мужей величественнее, юношей любезнее и дев прекраснее, как в земле Славеновой».

«Воспой нам,— вещали они мне,— воспой нам песни о доблестях витязей и прелестях дев земли Русской во времена давно протекшие!»

«Исполню желания ваши,— ответствовал я.— При закате солнца летнего в воды тихие приходите сюда внимать моему пению. Поведаю вам о подвигах ратных предков наших и любезности дев земли Славеновой».

Вечер I **Кий и Дулеб**

Гордо возвышались на берегах Днепровских грозные стены пышного города Киева[1]. Юный вождь юного еще народа с удовольствием Духа Белого[2] взирал на возрастающую славу своих тысячей. Народы иноплеменные, дикие и грозные толпы, скитавшиеся среди гор Днепровских, познали благо общежития и покорили умы свои Кию, мудрому князю полянскому. Он дал им мир и суд,— и сердце его веселилось их счастием. Один Дулеб, бурный вождь и князь свирепых племен, носивших имя его, не познал силы его оружия, не вкусил сладости в повиновении владыке мудрому.

Покрытый кожею сраженного им медведя, окруженный тысячами диких своих послушников, лютый Дулеб неоднократно нападал на селитьбы народа Киева, предавал все мечу и пламени, и свирепая душа его веселилась и кровожадные уста его осклаблялись при виде трупов, омытых кровию. Быстро потом укрывался он в вертепах гор своих и в шумной радости торжествовал бесчеловечную лютость свою. Он упивался кровью пленных, и дикий, неистовый вопль радости его народа мешался с ревом зверей пустынных, отдаваясь с шумом в дубравах отдаленных.

Но, к великому удивлению князя и народа полянского, когда уже трикраты нарождался и умирал месяц на небе полуночном, Дулеб пребывал покоен в недрах пещер своих.

---

[1] Князь Кий есть основатель города своего имени. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] Гений древних полян. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

«Благодарение Световиду,— вещал Кий к своим старейшинам: — Дулеб познал преступность своих деяний и покорился внушениям Духа Белого».

Среди града, на возвышенном холме, воздвигнут был храм Перуну, державному обладателю грома и молнии. У подножия храма сего, окруженный старейшинами и оруженосцами, сопровождаемый вождями племен чуждых, покорившихся законам Киевым, с появлением дня каждого, приносил князь жертвы — богу невидимому, но великому, и потом давал суд своему народу. Вдохновенный божеством, соприсутственным месту тому, Кий поучал народы свои познавать богов и чтить их веления. Он открывал им таинства, как земля, изрытая плугом, принимая в себя семена сельные, отдает их с лихвой своему попечителю. Он научил их, как крепкие сосны, падшие под острием секиры, быв соединены вервием, носятся по волнам днепровским и служат человеку способом сообщаться со странами, отделенными от него волнами глубокими. Он говорил — и тысячи мнили видеть в лице его юное некое божество, мудрое и благодетельное.

В единый день, когда Кий совершал по обыкновению великое дело владычествования, являются к нему два воина иноплеменные. Поляне толпились за ними, и воины Киевы провожали их к своему обладателю. Звериные кожи покрывали рамена пришельцев сих, отягченных луками и колчанами стрел смертоносных. Они опирались на огромные булавы дубовые, усеянные шипами железными.

«Повелитель племени полянского! — сказал старейший из них, приближаясь к Кию: — Владыке моему, могущему Дулебу, страшному врагам своим и высокоценимому друзьями, наскучили брани кровавые, и мышца его дарует покой тебе и твоему племени. Для сего хощет он заключить с тобой союз братства и утвердить его на времена грядущие. Отдай ему в жены Лебёду прекрасную, сестру твою».

Кий пребыл в молчании. Взоры старейшин и воинства устремлены были на вождя своего.

Кий вещал:

«Да изыдет Дулеб из вертепов своих на поля днепровские и поселится с народом своим на земле нашей; да преклонит колена пред изображениями богов наших и покорится законам Киевым; тогда вручу ему Лебёду, сестру мою, и обниму в нем брата дружелюбного».

«Дулеб никогда сего не сделает»,— отвечал посол его.

«Не отдам прекрасной сестры своей на жертву зверю лютому».

Дулебянин берет из колчана своего стрелу острую, преломляет ее наполы и один конец подает князю Кию. Стремительно принимает Кий знак брани кровавой, и полки его восшумели; загремели доспехи бранные, и звучный глас щитов, копьями ударяемых, разлился по стогнам града.

«Война свирепому Дулебу, обладателю вертепов мрачных; кровавая война лютому рушителю тишины благословенной!» — вещал Кий.

И воины иноплеменные с мрачною душою, со свирепыми взорами тихими шагами направили обратный путь свой.

День прошел в приготовлениях к битве.

Как скоро шумящий Днепр увенчался последними багряными лучами закатывающегося великого светила небесного, Кий с сподвижниками своими выступил из града, дабы в темноте ночной, при свете месяца среброцветного, пройти пространство земли своей и воспретить гордому Дулебу внести опустошение в его пределы.

Едва Зимцерла[1] златоблестящая, вечно юная, прелестная невеста Световидова, отверзла врата неба величественному жениху своему, едва начали померкать звезды небесные пред алыми ее ланитами, Кий и воинство его узрели мрачного Дулеба, выходящего из лесов своих с тысячами. Грозно, подобно буре, казалось чело его, когда узрел он, что уже подняты мечи на его поражение, направлены щиты для отражения мощного падения булавы его. Он идет, и вождь полянский выступил вперед; сонмы его за ним следовали — до тех пор, как глас каждого мог слышим быть врагом его и как пущенное копье могло вонзиться в груди неприязненной.

Они остановились.

«Владыка племени полянского и обладатель берегов Днепровских! — сказал Дулеб гласом, подобным реву горных ветров, стенанию волн во время бури.— Известна тебе крепость мышцы моей; подвиги мои не уклонились слуха твоего. Многие из сильных и могущих пали под ударом булавы сей, и путник не находит места, где тлеют разгромленные кости их. Велики и почтенны мои

[1] Аврора древних славен. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

приятели. Гордые цари града Константинова трепещут имени Дулебова,— и бесчисленная рать их не дерзает остановить на себе гневного взора моего. Избирай теперь: друга ли вижу в тебе или врага-противника?»

«Не ищу,— рек величественно Кий,— не ищу себе друга сильного; ищу друга мудрого. Покорись условиям, объявленным мною послу твоему,— и Кий познает в Дулебе брата своего».

«Никогда!» — возгласил Дулеб.

И ратники его подняли булавы на рамена свои; оба воинства двинулись,— и се —

От среды рядов Киевых отделяется и становится по среде обоих воинств старец, вооруженный доспехами. Белая брада его развевалась по груди, покрытой железными листами. Льняная мантия струилась на раменах его, подобно легкому туману, когда он, при восшествии царя светил небесных, колеблясь по вершинам дубов древних, спускается на траву злачную и обещает красной день трудолюбивому землепашцу. В деснице его сияла арфа работы иноземной; он шел, опираясь на копие, и взор его, устремленный к небу, был тих и величествен.

Воинства, как бы движимые внушением воли Невидимого, остановились. Взор и поступь мужа великого приковали булавы к раменам полчищ Дулебовых.

Старец налагает персты свои на златые струны,— раздался звон, стройный и сильный, кроткий в величестве своем. Он произносит слова, сопровождая их звуками приличными.

«Хвала и честь мужам мудрости! Гибель и поношение сынам гордости и неразумия!

Куда стремитесь вы, обитатели гор и вертепов? Чего ищете вы, бурные дети страстей своих?

Веселие питает душу земного странника; но веселие кроволитием не обретается! Радость свойственна душам нашим; но радость не обитает в долинах, устланных трупами! Необходимо для духа великого — искать блага; но кто обретет его в насилии?

Куда же стремитесь вы, обитатели гор и вертепов? Чего ищете вы, бурные дети страстей своих?»

Дулебяне опустили на землю булавы свои и, опершись на них, в изумлении внимали словам старца.

«Что есть настоящая радость ваша?

Она есть веселый вопль зверя пустынного, терзающе-

го в когтях своих добычу робкую! Но радость таковая не есть удел человечества!

Что есть слава ваша?

Слава Духа Черного, утешающегося бедствием и преступлением человеков! Но не таковая слава определена благороднейшему из созданий.

Что есть вся жизнь ваша?

Она есть мрак дубравной пещеры, в которой веют ветры бурные, раздается стон,— и дикие звери с ужасом уклоняются. Но таковая ли жизнь назначена наперснику небес?

Так судили боги, благие обладатели всей земли: боги полян и дулебян — боги стран отдаленнейших!

Вы возвращаетесь с полей битвы пораженные. И пустынные супруги ваши не прольют слезы сожаления! Вы не дали им познать радостей жизни и прелестей свободы!

Вы возвращаетесь победителями. И робкие подруги жизни вашей, и юные плоды любви вашей не встречают вас улыбкою! Они привыкли взирать на вас, победителей, как на буйных властелинов, прихотливых рабов гордости и жестокостей!

Что же вся жизнь ваша, когда солнце радости не озлащает дней ваших; когда месяц, протекая нощное небо ваше, изливает лучи свои на страну хладного уныния?»

Тишина душевная разлилась в свирепых взорах дулебян; мрак и зверство улетели мгновенно с ланит их. Легкий, кроткий гул разлился в воинстве.

Старец вещал:

«Обратитесь же, сыны мрака и горести, на путь жизни истинной; и вы будете мгновенно друзья и братья племени полянскому, вы учинитесь дети света и веселия. Улыбка воссияет на лицах ваших, и в дому вашем водворится цель жизни вашей, награда величия, утешение во дни мрака душевного, отрада во всякое время, водворится любовь со всеми своими прелестями».

Старец умолк; но звуки арфы его долго струились еще в воздухе и нежили слухи полчищ Дулебовых, подобно кроткому, сладкому дыханию ветерка, который, принеся к нам запах розы, пролетел мимо. Мы все еще чувствуем сладость ее благоухания и прохладу от легких крыл юного сына весны цветущей.

Длилось безмолвие в рядах Дулебовых. Мало-помалу прояснились взоры его ратников. Наконец некий восторг

одел их светом радости и сердечного упоения. Восшумели полки ратные — подвигнулись, и вопль их загремел в пространствах долины:

«Хвала и честь Кию, мудрому обладателю племени полянского! Мы хотим поклониться ему — и познать счастие жизни».

«Вы познаете его»,— вещал Кий — и обнял старейшин. Полчища смесились,— и оба воинства заключили друг друга в братские объятия.

Вдали стоял Дулеб на холме возвышенном. Поражающие взоры его обращались на отпадение своих воинов. Трикраты поднимал он булаву свою, дабы одному вторгнуться в ряды и поразить вероломных, и трикраты опускались мышцы его. Гордость и злоба волновали грудь широкую. Наконец — раздался грозный глас отчаяния:

«Не хощу быть рабом твоим, коварный честолюбец! Не хощу унизиться пред обольстителем народа!»

Стремительно берет он с рамен своих колчан великий, вынимает стрелу крепчайшую и вонзает ее в грудь свою. Раздался звон, и кровь черная пролилась на землю. Кий и старейшины устремились к отчаянному, но уже взор Дулебов закрылся, и бесчувственный витязь лежал на песке сыпучем. Вдали носилась хищная птица, готовая терзать бездушные остатки мужа сильного.

«Незабвенна да будет память твоя в родах отдаленных! — вещал Кий.— Свирепа была душа твоя, но ты был храбр во дни битв кровавых. Имена храбрых да будут священны для потомков!»

По его велению возвысился мгновенно курган высокий над телом Дулебовым — там, где кедры и сосны осеняют его подножие.

Часто, в бурную ночь, когда ветры потрясали в корне дерева сии вечнозеленые, когда молнии, рассекая небо, и громы, рыкая на вершинах гор, приводили в трепет неустрашимых странников, когда месяц, едва мерцая сквозь тучи свинцовые, бледно посребрял крылья их быстротекущие,— часто ловцы зверей и странные витязи видели, как дух Дулебов, в виде столба огненного, грозно носился над вместилищем праха своего, опершись на облака громовые.

Вечер II **Славен**

Мрачна душа моя, подобно дню осеннему; мысли мои рассеяны, как легкие струи тумана, ветром развеваемого; хладны чувства мои, как снега, покрывающие брега озера Ильменя, когда белая зима оденет их мразною ризой. Много великих и сильных склонили там главы свои, но где имена их? Процветали грады и веси многолюдные! но где места их существования? Увы! Се ли награда доблести? Се ли утешение в трудах, коими приобретается слава мира сего? — приобретается имя Великого?

Двадесять шестую весну жизни моей встречаю я на каменистом берегу сем, в который ударяются свирепеющие волны моря Варяжского. Дико воет ветер в ущелья креминистые,— и душа моя не находит мира и радости в обновляющейся природе. С тех пор, как впервые взглянул я на страну подлунную и первый вопль мой ознаменовал участь жизни, до сих минут, сколько пало царей с их престолами! Сколько областей вольных преклонили главы свои под цепями буйства и насилия! Сколько мужей славных и великих сокрыты в могилах или осуждены не видать страны отеческой, не дышать воздухом привычным, не зреть солнца над гробами отцов своих! Участь, ужаснейшая смерти!

Обновлю же в мысли моей воспоминания дел отдаленнейших, ратных и великих подвигов предков наших. Заглушу в душе моей именами их имена гордых властелинов сего времени, забывших права правды и человечества.

Приблизьтесь ко мне, юные дщери племени славенского, вы, коим за доблести предков — благое небо красоту и любезность сделало общим наследием. Раздадутся громкие звуки арфы моей, потрясут воздух и превысят звоном свисты ветров, играющих с вершинами дубов и кедров. Приблизьтесь! Я знаю, сколь приятно красоте внимать звучному пению о подвигах ратных.

«Возвратился ты с победой на поля наши! Пали многочисленные враги твои, как стада вранов хищных от

рьяного удара орла небесного. Не придут более гордые варяги нарушить спокойствие твоего народа. Надменный владыка их, Радимир, лежит окован цепями плена у ног победителя».

Так пели в восторге радости граждане благодарные, исходя во сретение князю Славену, текущему с победой над варягами. Они смешались с его ратниками, познали в них друзей и кровных, и гласы победоносные пресекли гласы радостные; — и Славен, подобно кедру высокому, коего вершина опалена уже пламенем молнии и лета пожелтили изумрудные ветви,— и Славен, покрытый сединою и ранами дней мужеских,— опершись на дебелое копие свое,— обратив к народу взор веселия, осклабив уста старческие улыбкою мира, повелел быть пиршеству великому под открытым небом, ибо чертоги владыки доброго не вместят в себе детей его — народа, ему подвластного.

Запылали дубы вокруг берегов озера Ильменя; свирепые валы реки Мутной[1] озлатились от огней пиршественных. Воссел Славен и старейшины его. У ног их лежал скованный Радимир, князь берегов варяжских и ужас соседей; вместе с ним вожди его. Юные сподвижники Славеновы, опершись на копья и луки, стояли вокруг в молчании и внимали жадно словам Славена и его советников, ибо в часы битвы кровавой и пиршества дружеского он не изменялся; мудрость вещала устами его.

Взошел месяц на небо лазуревое и осветил пурпур веселия на ланитах старческих Славена и друзей его.

«Хощу,— вещал князь,—хощу—да старейший из вас поведает в песнях мои подвиги. Не лести ищет старец, во бранях поседевший, но боги и мое сердце вещают мне: я был добр и любил славу моего народа. Да научится же Волхв, сын и наследник мой, что есть благо владетеля и слава народа,— и Радимир, дерзнувший нарушить тишину в стране нашей, да познает, что один стыд и унижение бывают наградой надменному, который дерзнет грозить владыке, любезному своим подданным, грозить князю Российскому».

Вещал,—

И мудрый Добромысл восстает в веселии. Он берет серебряный щит, ударяет в него трикраты копьем сталь-

---

[1] Так назывался в старину Волхов. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

ным,— молчание разлилось в долине, звуки песни его расслались по берегу и валам реки Мутной:

«Далеко отсель к востоку солнечному, за кремнистыми подошвами Кавказа-исполина, обитал народ от племени скифского, народ сильный крепостию мышц своих и дружелюбием, господствовавшим в недрах его отчизны между монархом и народом, народом и жрецами.

Долго длилось благоденствие в долинах наших, и древнейшие старцы вещали нам, юным, что шесть колен уже сокрыты в могилах, как оружие скифов было в покое: ибо ужас оного остановлял всякую дерзость. Но он не мог остановить надменного любочестия и корысти. Гордые властелины мира, потомки братоубийцы Ромула, всосавшие в себя кровожадность с молоком матерним, возжелали и нас ввергнуть в пучину бедствия, их обуревавшего. Они вторглись в пределы наши с мечом и пламенем,— и в один месяц непрерывной битвы пал повелитель наш, любезный богам и народу; он пал и с ним два старшие сына его, и с ними вместе народ скифский.

Хищники ушли, оставя нас в ужасе и унынии, и сей ужас и уныние до тех пор владели душами нашими, пока, по прошествии тридцати появлений месяца на небе нашем, явился к нам юный Росс, последняя отрасль злополучного нашего обладателя.

«Собери и утешь рассеянные толпы твоего народа, повелевай нами и соделай счастливыми»,— возопили старейшины, и Росс вещал:

«Народа счастие — в руке богов небожителей; вопросим их и помолимся, да научат меня и вас, как достичь счастия, нами утраченного».

Появление Россово украсило цветами надежды сердца наши. Слух о его прибытии разнесся во всех концах его владения, и с восходом светила дневного, на третий день, шатер его окружился тысячами избегших от поражения злодейского. Старцы и младенцы, матери и девы юные ожидали исхода Россова.

Среди леса дремучего, осеняемого кипарисами и соснами, была пространная долина, среди коей возвышался священный холм. Вверху его три огромные дуба, сплетшись своими ветвями, составляли седалище божества, обыкшего посещать места сии, склонясь на моления народа. Сюда притек Росс с своим народом вопросить богов и узнать судьбу свою. Сонм жрецов востек на холм, и старейший из них вещал, воздевши длани свои:

«Ты, повелевающий небом и землею, ветрами небесными и светилами дня и ночи! Склонись на мольбы наши и удостой место сие Твоим присутствием! Росс хощет вопросить Тебя».

Мрачная туча показалась на небе противу холма священного.

Жрец продолжал:

«Вопали и стоны чтущего Тебя народа, конечно, достигли слуха Твоего. С высоты горней Ты зрел токи крови мужей и слезы жен и матерей их. Росс хощет спасти их; он хощет вопросить Тебя».

Туча спустилась ниже,— и полет ее устремлялся с быстротою ветра.

Жрец вещал:

«Одни мрачные сыны земли питают гордость и неправосудие. Их только сердца спокойно взирают на поражение жертвы несчастия. Но не такова воля богов. Милость и щедрота есть свойство небожителей. Сойди же к нам, великий Повелитель неба, и объяви волю Твою. Росс хощет вопросить Тебя».

Он рек, и грозная туча разлеглась на холме; раздался звук грома, и струи молнии расстлались у подошвы.

«Приблизься, Росс!» — вещал глас с вершины дубов — и Росс с кипением груди и стеснением сердца бодро потек на священный холм — внять слова божества о судьбе своей и своего народа. Он взошел, поверг у корней дубов булаву свою, лук с колчаном, княжескую диадиму, и сам повергся лицом к земле.

Глас вещал:

«Возьми народ твой, жен и детей их и теки в страну иную. Славу твою и благоденствие твоего народа продлю до веков позднейших. Знаменем небесным открою тебе место твоего господствования. Теки по течению звезды северной. Ты обретешь народы дикие и испытаешь сердца оледенелые — укроти и просвети их. Прилежи к обработыванию земли — и научай знанию сему тебе подвластных: се есть верховная воля моя! В священных сновидениях открою тебе таинства сей науки».

Глас умолк. Росс восстает, и народ его. Туча священная уже сокрылась. Дневной свет озарил их паки,— и Росс зрит у подножия священного холма двух белоснежных тельцов, на выях их висел ярем, держащий стальной плуг со всеми орудиями.

Росс устремился в путь свой, и прежде нежели солнце совершило годичное свое кругообращение, достигли мы брегов Ильменя, там, где река Мутная вливает в него волны свои. Тут паки услышали мы глас небесный:

«Остановись, Росс! Се предел пути твоего. Землю сию даю в удел тебе и твоему племени!»

Тут нашли мы народ дикий, живущий без законов. Своенравие управляло делами каждого. Звериная ловля и хищничества продолжали жизнь их.

Долго вели мы брани с сим народом; наконец кротость и мудрость Россова победили их, когда оружия не сильны были учинить того. Мало-помалу они усмирялись, преклоняли выи свои под кроткий скипетр Россов и дивились, находя его орудием их счастия. Сперва с изумлением, а после с радостью и веселием взирали они, как мы, раздирая недра земные плугами, ввергали в оные семена; как они возникали, росли, зрели и наконец приносили в воздаяние трудолюбивого плод сторичный. Мир и доверенность водворились; два народа соединились в один,— и по истечении полвека никто не помнил прежнего своего состояния,— скифы, что бы они когда-либо вели брани с своими хозяевами; сии — что бы когда-нибудь могли дикостию и зверством раздражать Росса и богов небожителей. Соседи и народы отдаленные редко дерзали возмущать тишину нашу, ибо видели внутри нас мир и дружелюбие. В противном случае бедствие и раскаяние были их неминуемым уделом. Наконец все страны, ближние и дальние, пораженные удивлением к добродетелям и доблестям Росса, единодушно и единогласно нарекли его Славеном — и народ его славенами, любимцами славы. Росс, соглашаясь с волею богов, принял имя сие и град свой на берегах Ильменя нарек Славенском. И в преклонных уже летах своих, дабы теснее соединиться с новым его народом, по кончине первой своей супруги, взял он другую от семейства своих хозяев; и Всемила, плод любви их и краса страны нашей, была виною битвы после полувекового мира.

Радимир, со дней детства обитавший в стране отцов своих, положил славу в кровопролитиях и утехи свои в хищениях. Часто с дружинами своими востекал он на корабли быстроходные, предавался волнам ярящимся, противуборствовал ветрам гневным и опустошал страны прибрежные. Слух имени его ужасал храбрейших,— все трепетали его, кроме Славена и чад его.

Слух о красоте юной отрасли Славеновой, громкая слава о прелестях Всемилы достигли дикого слуха Радимирова. Возжелал он иметь ее супругою, но безнадежность успеть в сем привела его в неистовство. В первый раз Радимир оставил насилие и устремился к коварствам.

Собирает он отличнейших из дружины своей и назначает скрытное шествие ко граду Славенову. Один месяц и звезды небесные освещали пути его. Наконец прибыл он к пределам града и сокрылся в пещерах, осененных дремучими лесами. Оттуда устремлял он жадные взоры свои к девическому терему Всемилы,— и конечно, богам угодно было покрыть его вечным посрамлением: сего утра с появлением Световида великого возжелала княжна насладиться пением птиц воздушных и благоуханием цветов сельных. С верными своими рабынями и подругами ее девства исходит она из чертогов родительских ко брегам реки Мутной.

Сего ожидал Радимир неукротимый. Подобно зверю хищному, нападающему на жертву робкую, устремился он ко Всемиле, объял ее руками сильными и востек на коня своего, держа бесчувственную в своих объятиях. Пыль поднялась до облак от копыт коней ратных.

Болезненный вопль рабынь Всемилы разнесся по волнам речным и дошел до слуха Волхова, сына Славенова. Познал он вину сей печали и, подобно вихрю, устремился ко граду. Вострепетал Славен и весь град его об участи княжны прелестной. Мгновенно потекли они во след похитителей и в начале третией зари утренней настигли буйного.

Брань длилась до полудня. Тогда Радимир, отчаянный смятением своих сопутников, собирает последние усилия и возносит копие к челу Славенову. Мгновенно пораженный булавой Волхова — простерся по земле,— и бесчувствие надолго оковало его. Воины преклонили оружие — и нарекли себя рабами пленными».

Добромысл умолк, и сопиршествующие восплескали.

«Чего ожидаешь, Радимир?» — вопросил Славен, обратя к нему слово свое.

«Смерти лютой»,— отвечал сей со скрежетом и погрузил во прах главу свою.

«Не познал ты Славена,— вещал старец.— Смерть пленного навлечет на меня гнев богов и нарекание от потомства. Ступай с миром в страну свою,— и если, по

прошествии дванадесяти полных обращений месяца — услышим мы, что Радимир толико же велик в добродетелях мирных, колико грозен в бранях кровавых,— тогда прииди в мои палаты и требуй Всемилы. Она назначена быть наградой мудрого, а никогда свирепого».

Радимир потек в страну свою. Он оставил и воспретил другим хищничества. Обратил ум свой к познанию мудрости и сердце ко внушениям добродетели. Грады его отверзлись мирным мореплавателям — и украсились богатством, без пролития крови приобретенным.

Протекло время, Славеном назначенное. Радимир, окружаемый прежде буйными оруженосцами и грабителями неистовыми,— теперь в кругу старейшин, великих двора его по их отличной мудрости и доблестям, прибыл в град Славенов и преклонил колена пред обладателем.

Славен подал ему дружелюбно десницу свою, и — на третий день после пиршества великого Всемила, юная и прекрасная, украсила собою брачное ложе князя варяжского.

Вечер III **Рогдай**

Восшел Световид во славе своей над долинами полянскими. Багряная риза его разостлалась по небу лазуревому, ночной туман пал на лоно земли — и рассеевался в образе мужа грозного, изнемогающего от поражения.

«Близка смерть витязя сильного,— вещал Рогдай обратясь к Слотану, своему оруженосцу.— Вижу я густой туман, то предвещающий! Конечно, боги посылают мне знамение сие».

Он рек, и дума мрачная покрыла крилами своими взоры его. Буреподобный конь его шел медленными стопами — и грозно ударял копытами в землю твердую.

Слотан не дерзал нарушить молчания своего витязя.

Вдруг от леса со стороны десныя появляется и достигает их гонец земли Русской.

«Витязь! — возопил он,— если любезно тебе отечество и спокойствие князя Владимира,— теки поспешно со мною. Жестокие печенеги окружили Белград и, пользу-

ясь далеким отсутствием князя, грозят предать всех погибели, разрушить храмы богов и чертоги князевы; сокрушить все, не щадя теремов Владимировых, где укрываются триста наперсниц князя веселого».

«Велика ли сила неприязненная?» — вскричал Рогдай — и простер десницу к Слотану. Сей вручил ему копие тяжелое и булаву железную.

«Триста воинов в повелениях грозного Буйслава — хищного, подобно тигру ливийскому, неукротимому, подобно буре».

«Веди меня»,— вещал Рогдай; обнажил меч свой; повесил по бедре булаву и устремился в путь.

«Витязь! — сказал Слотан в недоумении.— Или не внял ты словам гонца белоградского? Триста воинов ожидают нас».

«Мольбы народа, на помощь коему стремлюсь, испросят мне у небес силы достаточные! Приятно, сладостно вкусить смерть за отечество,— говорили воины Святославовы и поражали робких греков, как поражает орел гор Днепровских слабых горлиц».

Вскоре достигли они до стана печенежского. Рогдай вострубил в трубу ратную,— и враги возмутились. Жители града услышали звук сей и познали крепкую грудь российскую. Они устремились на стены градские — зреть прю великую.

Буйслав со своими оруженосцами вышел к нему во сретение, на коне, питомце пещер Кавказских. Поражающи были взоры его; в них открыта была душа негодующая на дерзость Рогдаеву.

«Чего ищешь ты? — возопил он гласом бурным.— Чего ищешь, витязь незнаемый, в стане нашем? Труба твоя звучит брань свирепую; но она возвещает твою погибель неизбежную! Удались же, древний витязь! С мужами испытанными первых дней Владимировых испытывал я крепость копия своего и оставался непостыженным. Седый витязь! Ты зришь Буйслава и дружину его!»

Печенег умолк и с равнодушием извлекал великий меч свой.

«Рогдаю ли судили боги слышать гордость сию?» — возревел Рогдай и со всею крепостию мышцы своей поверг в него копье тяжелое.

Раздался треск сокрушенной брони Буйславовой, восколебался он — и мгновенно простерся на сырой земле, подобно утесу скалы дикой отторженному громом и по-

верженному в пенящиеся волны свирепеющего от ветров моря.

Быстро Слотан устремляется к оглушенному Буйславу и, связав его вервями шелковыми, прикрепляет к стремени Рогдаеву. Победитель течет ко граду. Тщетно ратники печенежские порываются на него с неистовством. Булава Рогдаева, свистя вокруг главы его, очищает путь ему и его сподвижнику. Кровь печенежская льется ручьями,— и болезненные вопли их смешиваются с радостными восклицаниями жителей града.

Они, узрев со стены падение Буйслава гордого, исходят с оружием и поражают неприятеля с тылу.

Печенеги, видя такое расстройство рядов своих, отчаялись получить спасение. Едва малая часть от них осталась.

Остановились, возвысили гласы умолительные, прося пощады, и вонзили в червленную землю мечи свои.

Рогдай опустил булаву и отер кровь и пот с лица своего.

«Довольно! — вещал он,— дерзость наказана и не восторжествует более. Теките с полей наших, безрассудные, и возвестите чадам своим, чего могут ждать неприятели на полях Росских».

«Витязь непобедимый! — воскликнули старейшины печенежские,— будь толико же великодушен, колико неустрашима душа твоя. Возврати нам бездушные останки нашего повелителя, да воздадим ему последнюю почесть по обычаю земли нашей. Ценой злата и сребра искупаем их».

«Никогда,— рек Рогдай,— не отважу жизни своей для сребра и злата; и последнюю каплю ее ценю дороже богатств всего света. Единственно отечеству посвящена жизнь витязя земли Русской — для него только проливается кровь его. Возвращаю вам Буйслава, вашего повелителя,— и оставляю себе меч его и броню железную».

Печенеги в знак согласия преклонили главы свои. Слотан совлек с Буйслава броню его и меч великий; вонзил их на копье свое, и тако все потекли к Белграду спасенному.

Жены, дети и старцы исшли им во сретение с веселием; и прелестный сонм любимиц князя Владимира, в одеждах брачных, проводили его в палату пиршества.

Долго после заката солнечного длилось оно; веселие носилось на взорах каждого; каждый воспевал любезность и прелести дев славянских; каждый восхищался, повествуя о подвигах ратных росских витязей.

Вечер IV Велесил

Едва Световид явился на долинах полянских во всем блеске своего величия, Велесил, один из древних витязей двора Владимирова, друг его на полях кровавых и пиршествах шумных его собеседник, Велесил, коему из всех храбрых владыки Киевского могли противоборствовать Рогдай и Добрыня, мужи непобедимые,— Велесил с Бориполком, своим оруженосцем, стоял у подножия холма высокого, и слезы струились по седой браде мужа великого.

На вершине холма того стоял кипарис возвышенный; на ветвях его висели доспехи ратные, булава и меч великий. С другой стороны низменный древесный крест, к дерну склонившийся.

Мрачный витязь длил безмолвие свое. Наконец, он поднимает тяжкую десницу свою, опускает ее со стремлением на широкую грудь — глухой стон раздался вокруг холма; Велесил вещал, указывая перстом на крест могильный:

«Тамо, Бориполк, там под полуистлевшим крестом сим сокрыто все, что было в мире сем прекраснейшего и драгоценнейшего для моего сердца. И любовь моя, безмерная, беспредельная любовь дней пылкой юности, повергла несчастную в обитель вечного мрака. Боже! Обладатель земли! Кто воззовет ее оттоле?»

Умолк; горестная тишина носилась по челу его. Се есть печать тоски неумолимой.

Бориполк восприял речь:

«Десятое лето служу я тебе, витязь непобедимый! Бывал с тобою в среде битв кровопролитных и при столах князя Владимира с красотами теремов его. Везде видел я горесть и уныние, царствовавшие во взорах твоих,— и до сей минуты не познаю вины истинной. Если благо

твое сокрыто в недре земли мрачной, се предел, коего преторгнуть не может ниже́ сила витязей величайших».

«Не может — ниже́ власть целой вселенной»,— возопил Велесил — и болезненно склонился к подножию холма на дерне зеленом.

«Воссядь,— вещал он оруженосцу,— и познай вину вечной тоски моей».

Бориполк последовал его велению, и Велесил продолжал:

«С седьмого-на-десять года жизни моей начал я следовать Владимиру, юнейшему сыну его родителя. Всем сердцем и душою возлюбил я моего повелителя и поклялся богами всемогущими — до конца жизни моей не покидать его ни в битвах, ни в веселиях.

Святослава не стало! Междоусобные брани возгорелись. Ярополк лестию и коварством любимца сразил брата своего, Олега,— и новгородский владыка, Владимир, любитель браней и веселия, восшумел оружием в терему красот Севера; он подвигся — Ярополк пал! — взошел Владимир на трон полуночи,— и я при дворе его явился в числе первых его витязей.

Недолго длилось общее спокойствие. Сын Святославов любил подвиги ратные,— греки нарушили условие, заключенное с бранноносным его родителем,— и мы с грозным ополчением двинулись наказать вероломных.

Подобно туче, носящей в недрах своих громы ревущие, протекали силы наши чрез области греческие; подобно молнии небесной, меч Владимиров поражал неустрашимейших. Не было препоны нашему шествию.

На берегу светлого Иллиса обитали пастыри дружелюбные. Глава их вышел к нам во сретение и предложил дары сельские.

«Не разоряй жилищ наших, князь непобедимый! — сказал он Владимиру, простершись во прах ног его.— Мы не имеем оружия, не знаем битв поражающих. Если нужно тебе успокоение,— хижины наши отверзты; плоды древесные и млеко стад наших утолят жажду и алчбу твою».

Князь склонился на слова старца, и ни один пастырь не пролил слезы горестной.

Но — что значит великость смертного в мире сем! Что значит его мужество, его терпение, его умеренность, все добродетели души его! Не есть ли они один призрак, вскоре исчезающий? одно мечтание, мгновенно проходя-

щее! один лживый блеск, который обольщает неопытного странника во время ночи? Владимир, великий во бранях и мужественный в горестях жизни,— Владимир обратил страстные взоры свои на Софию, юную дщерь старца гостеприимного.

Прекрасна была она, подобно цвету нежному, едва возникшему. Пленительны были взоры ее, и возвышенная грудь обещала эдем небесный счастливому смертному, который возбудит в ней о себе вздохи. Любовь, подобно быстрому стремлению стрелы, пущенной рукою витязя сильного, любовь пронзила сердце мое. Я устыдился сам себя, но тщетны были мои усилия; и Велесил, не находивший себе равного в пределах мира, Велесил готов был пасть пред робкою, кроткою девицею и повергнуть сильное оружие свое у ног ее.

Владимир, выведя меня из селения на берега реки серебристой, вещал дружелюбно:

«Велесил! знаю крепость руки твоей и твою любовь к своему другу и повелителю. Ты щит мой в часы битв и лучший цвет моего пиршества. Я теку на брань и побежду; хощу, да по прибытии моем в Киев, когда сердца народные упоеваться будут радостию,— хощу, да первый, кто поздравит меня с победой,— будет прелестная София. Исполни просьбу друга и непременную волю повелителя».

Он обратился к воинству и потек в дальний путь свой. Я, под предлогом болезни, остался в хижине моего хозяина, дабы вскоре повергнуть его в гроб похищением дщери, единственной отрады скорбной старости его.

На третий день, с появлением зари румяной, Блистар, оруженосец мой, оседлал мне коня ратного и препоясал меч булатный. Я воссел,— и юная София с отцом своим возжелала провести меня до брегов Иллиса, дабы там собрать себе цветов сельных. Несчастная! она не знала, что сие было собственное мое желание. Мы достигли берега.

«Прости, витязь благородный земли Русской»,— сказала София с кроткою слезой на глазах.

«Прости, прелестная!» — отвечал я и простер к ней руки свои.

Она подошла. Я склонился, обнял ее моими мышцами, посадил на коня и мгновенно, с быстротой вихря устремился вдоль берега. София без чувств пала ко мне в объятия — и смертная бледность покрыла ланиты ее.

Блистар долго слышал стоны и рыдания несчастного старца, отца ее.

Не буду описывать тебе тех воплей горестных, которые простирала София к небесам, умоляя их лишить ее жизни или поразить похитителя.

Многие соотчичи, слыша жалобы ее горькие, испытывали исхитить ее из рук моих силою оружия; но — боже великий! кто в свете мог произвести сие? Кто мог победить Велесила, когда София, объятая его рукою, сидела у груди его!

Мы прошли страны Греции, Сербии, Молдавии и вступили в пределы земли Славенской.

«Всякое чувство пременно в человеке: радость,— мыслил я,— превращается в равнодушие; печаль утоляется надеждою; все пременно, все временно!» — Я обманулся: горесть Софии была неизменяема.

«София! — сказал я,— воззри. И в стране нашей блистает солнце красное и светит месяц серебряный, благоухают цветы прелестные и птицы поют песни на ветвиях зеленых».

«Куда ты везешь меня, витязь?» — вопросила она.

«В терем князя Владимира»,— отвечал я со вздохом тяжким. Сквозь стальной панцирь видно было волнение груди моей и трепет сердца.

«О чем вздохнул ты, витязь?»

«София!» — отвечал я, и голос мой подобен был реву отчаянного. Я схватил ее сильными руками, обратил к себе,— и пламенный поцелуй запечатлелся на губах Софии.

Долго хранили мы молчание. Наконец она вещала мне:

«Я равнодушна! Владимир ли князь Киевский, или Велесил, витязь и друг его,— ни того, ни другого не будет любить сердце мое».

«Почему, София?»

«Поклонники идолов бездушных презренны в душе моей! Кровожадные убийцы не найдут места в сердце моем».

Таковы слова ее пременили мысли мои. Я забыл долг свой, свою обязанность; забыл Владимира и приязнь его. Одна мысль — обладать Софиею — была сильнее всякой другой мысли, и я утвердился на ней.

Видишь ли, Бориполк, два великие дуба сии? Тут сидел я единожды и под тенью их ожидал, пока раскален-

ное небо охладится. София сидела подле меня, в унынии. Я встал, взял ее в свои объятия, поднес к пещере сей и сказал, опуская на землю:

«Ты будешь моя, София!»

«Никогда»,— отвечала она.

Я послал Блистара в ближайший город привезти мне нужнейших украшений для сей пещеры. Скоро сделал ее удобною для жизни и оставил в ней Софию — одну с Блистаром и ее безмерною горестию.

Расставаясь с нею, я сказал ей:

«Иду на поля кровавые, под знамена Владимира. Образ твой, София, будет напечатлен в душе моей. С каждым появлением весны юной ты будешь видеть меня у ног своих. Надеюсь, время и любовь моя склонят тебя к соответствованию».

«Никогда!» — отвечала она.

И я с ядовитою горестию в сердце моем, с растерзанною душою устремился к своему повелителю. Он принял меня с распростертыми объятиями, и первое слово его было: утешилась ли София?

«Она там теперь»,— отвечал я, указывая на небо. И слезы сожаления пали на ланиту Владимира.

Звук брани, разнообразие мест, нами протекаемых, ослабили в Владимире чувство любви, и он скоро успокоился о потере. Но не таково было с другом его Веледилом. Пламень клубился в груди моей и пожирал мою внутренность. Образ слезящей Софии, прелестный, обольстительный образ ее носился беспрерывно пред моими глазами и во всяком изменении был драгоценен душе моей. С каждым новым днем я становился страстнее и — злополучнее. Часто покушался я оставить войско и Владимира — уклониться в уединение, испросить у христианского отшельника благословения и погрузиться в воду очистительную.

«Тогда-то,— мечтал я,— тогда-то буду благополучен! Один в своем уединении, один с своею Софиею, найду я блаженство небожителей».

Но в то же время грозная мысль изменить другу и богам отцов своих потрясала душу мою, и я оставался в прежнем положении. Подобно тигру упивался я кровию греков; свирепствовал — и был час от часу злополучнее.

Битвы кончились. Отягченные добычами и покрытые славою, возвратились мы на родину,— и я устремился к Софии. Бледно было лицо ее, и пасмурны ее взоры.

«Чудовище! — были первые слова ее.— Обагренный кровию, облитый слезами, покрытый проклятием моих соотчичей,— ты дерзаешь предстать глазам моим!»

«Удостой меня любви своей, София, и все изменится»,— отвечал я, простершись пред нею.

«Никогда!» — сказала она и отвратила взоры свои.

Так прошли лета многие. Я обращался в битвах, и отчаяние, водившее моею рукою, делало всегда меня победителем. Я погружался в веселиях,— и самый Владимир удивлялся неумеренности моей и благодетельным дарам небес, оградивших меня неизменною крепостию. Все испытал я, дабы погасить пламень, поедающий мою внутренность,— и опыты мои были тщетны. Час от часу я делался злополучнее и недовольнее своим существованием; всякую весну навещал я непреклонную гречанку и всякий раз находил ее бледнее, мрачнее и — непреклоннее. Подобно догорающей былинке, едва-едва мерцала жизнь в полуугасших взорах ее.

Часто, сидя в мрачном безмолвии подле Софии и видя, сколь горестна и плачевна жизнь ее и вместе сколь еще горестнее, сколь плачевнее собственная участь моя,— часто со стремлением извлекал я меч, дабы вонзить его в грудь свирепой и тем мгновенно окончить ее и свои мучения; но всякий раз невидимая сила останавливала буйную руку мою, и меч опускался,— и я удалялся, проклиная свое пришествие. Тако, Бориполк, так прошли многие годы.

Седины означили приближение времени преклонного; морщины открыли мне протекшие печали мои; но чувство любви оставалось в прежнем кипении. Небесных и преисподних богов умолял я истребить его, но мольбы мои оставались тщетными.

Кому не известно шествие Владимира на греков, когда он, после многих битв жестоких, дал им мир — от них принял крест и Анну, прекрасную сестру Кесарей?

С чувством неизъяснимого восторга погрузился я в купель священную, и, казалось, грозное бремя, меня тяготившее, пало с рамен моих.

С быстротой ветра устремился я к Софии; не знал отдохновения в пути моем; в зное полуденного солнца и во мраке глубокой ночи летел я на крылах любви и в тридесятый день увидел издали обиталище Софии.

Кто изобразит чувства души моей? Я оставляю коня, врываюсь в пещеру, и все громы великого миродержате-

ля, раздробясь над моею главою, не могли бы столько поразить меня.

На возвышенном одре лежала София, бледная, подобно месяцу в осень глубокую. Закрыты были уста ее и взоры. Цветный венец лежал на главе страдалицы, и малый крест в руках ее. Вокруг одра стояли возженные светильники. Седый Блистар сидел у ног ее, и горькие слезы старца лились по щекам его.

«Ее нет уже, витязь!» — сказал он, обратясь ко мне,— и я пал, подобно дубу высокому, громом пораженному.

С появлением третьего дня открыл я впервые взоры свои. Мертвая тишина господствовала в душе моей. Я не мог произнесть ни одного вздоха, ни одного слова. Все, всякое чувство во мне было сковано цепями неразрывными. Одно слабое движение показывало, что я еще не труп бездушный.

Исполняя последнюю волю несчастной, изрыл Блистар могилу подле сих дубов ветвистых. Тут предали мы земле прекраснейшее создание природы. Мы насыпали холм возвышенный, и я водрузил крест древесный.

Оставя Блистара хранить священное место это, обратился я ко двору Владимира, дабы по крайней мере сохранить мою клятву, ему данную, клятву — не оставлять друга до гроба.

Подобно скитающейся тени отверженного небом грешника, блуждал я по граду Киеву. Видел богатство и великолепие, видел пиршества и веселие, но ничто уже в мире не могло занять пустоты души моей. Тако правосудие горней власти грозно отмщает старцу за преступление юноши.

Протекли десять тягостных годов,— и Владимира — друга моего — не стало! Я отдал последний долг мужу великому и обратился к моей пещере, моему святилищу. Один ты, Бориполк, восхотел следовать витязю в его уединение.

Тут, на дубах сих, повесил я меч мой и копье великое; щит и колчан со стрелами быстрыми.

По кончине Блистара, ты один остался мне от всего мира пространного.

Тут — с вершины холма сего, у ног моей Софии, смотрю я иногда, как солнце выходит из-за лесов дремучих во всем блеске красоты своей.

«Таково было появление мое в мире сем»,— думал я, и священное безмолвие природы усугубляло восторг мой.

Иногда вижу я, как грозные тучи, собравшись вместе, закрывают солнце от взоров мира и покрывают природу горестным мраком. Вижу, как молнии, раздирая недра небесные, вьются по тверди подобно змеям зияющим: они летят, обрушиваются на кедры великие — раздается рев и треск, и растерзанное древо падает в корне своем. Тогда с стесненным сердцем падаю я на могилу Софии, обнимаю землю хладную и восклицаю к бунтующей природе: не се ли образ дней моих — во время старости?»

Умолк Велесил и с болезненным стенанием пал у холма. Бориполк преклонил колена, поднял седую голову витязя и сказал, указывая на полуденное солнце:

«Видишь ли, Велесил, сколь блистательно теперь шествие светила великого? Еще немного часов, и — оно закатится; природа во мрак облачится, и нощные привидения рассыплются на верхах гор и дерев высоких».

Вечер V **Громобой**

Владимир, сын Святославов, воссел на престоле единоначалия. Мятежи прекратились, спокойствие разлилось по челу России от пределов Севера к Югу и Западу. Утомленные мечи в ножнах покоились, вопли и стоны прекратились,— везде тишина благословенная.

В сие время мира всеобщего Добрыня, витязь, друг и дядя Владимира, господствовал в великом Новеграде. Душа его не привыкла к покою, и сердце трепетало радостно при звуках ратных. «Громобой! — вещал он своему оруженосцу,— седлай моего коня бранного, готовь меч крепкий и копье булатное; мы идем странствовать. Спокойствие в России воцарилось. Тишина господствует в палатах витязей и хижинах хлебопашцев. Но есть страны иные, есть люди не русские, есть области целые, где невинность угнетается, где доблесть не получает награды должной, где великие — исполнены лжи и жестокости, и князья — на тронах бездействуют; где льются слезы кровавые и болезненные стоны к небу возлетают! Седлай коня моего бранного и готовь оружие крепкое. Идем наказать власть жестокосердную и защитить невинность угнетенную!»

На утрие другого дня,— с появлением Зимцерлы румяной на светлом небе,— потек Добрыня путем своим. За ним следовал в мрачном молчании юный оруженосец его, Громобой, коему едва исполнилось тридесятое лето [1]. Волнистый туман плавал на траве злачной, и громкое пение птиц, вьющихся в пространном небе, казалось, приветствовало витязя в благонамеренном пути его. Много дней длилось их шествие; а доколе протекали они пределы земли Русской, мечи и копья их были в покое. Везде радость встречала их, везде провождали их рукоплескания. Наконец, к исходу двадесятого дня, при закате солнечном, приблизились они к рубежам России. Тут остановился витязь со своим оруженосцем, дабы дать отдых коням своим и решиться, в которую страну первее вступят они — в Косожскую или Печенежскую. Им предлежали границы обоих княжеств.

При входе в лес дремучий, на долине, усыпанной цветами благоухающими, при пенящемся источнике, воссели витязь и спутник его. Закатывающееся солнце златило края неба и доспехи странников. Веселием сияло лицо Добрыни; он снял тяжелый шлем свой и повесил на дубе.

«Громобой! — вещал он,— как прекрасно солнце при безмятежном склонении своем в волны морские! Таково уклонение в могилу витязя великого, когда жизнь его была подобна солнцу в возвышенном его шествии; когда любил он добродетель и жертвовал ей жизнию; когда награждал он доблесть, будучи чужд самолюбия».

Спокойствие разлилось на лице его, и сладкая задумчивость носилась в его взорах, подобно прибрежному цветку, коего образ представляют в себе кроткие волны.

«Куда направишь отесль шествие твое, витязь?» — вопросил Громобой.

«В землю Косожскую»,— Добрыня ответствовал.

Взор юноши покрылся мраком, и быстрое трепетание груди его возвещало бурю душевную.

«Оставим страну сию»,— сказал он в смятении, и вид его был робок и преклонен.

«Что значит это волнение души твоей, юноша? — вещал Добрыня.— Что значит брань, кипящая в крови твоей? — ибо я примечаю ее и хочу знать вину истинную».

«Воля витязя для меня священна,— отвечал оруженосец.— И сколь ни жестоко уязвлю я сердце мое воспоми-

---

[1] В то время мужчина в 30 лет почитался еще юношею. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

нанием прошедших горестей, но ты познаешь вину тоски моей; и если когда-либо был ты неравнодушен к силе прелестнейшего в мире сем, то ты простишь унынию, царствующему в душе моей!»

Кроткое осклабление разлилось по лицу витязя. Дружелюбно простер он руку к оруженосцу и вещал:

«Юноша! Я познаю болезнь твою: не любовь ли называется она? Но не тревожься. Это есть язва, общая всем, живущим под солнцем; но она — благодарение богам небесным — она несмертельна. Громы оружия заглушают вздохи, и блеск мечей затмевает ядовитый взор предмета любимого. Успокойся, Громобой. Болезнь твоя пройдет, как проходит всякое мечтание, горестное ли оно или приятное. Се воля богов! Было время,— не стыдясь возвещу тебе,— было время, когда и Добрыня, подобно рабу, ничтожному сыну Греции, носил оковы сей лютой страсти.

Вместо того, чтобы согласно великому назначению витязя и сродника княжего быть мне беспрерывно в битвах и трудах достойных моего имени,— я праздно покоился в объятиях красот Севера и забывал все, даже стремление прославить имя свое. Ничтожность одна была в уме моем и сердце. В один раз, нашед красоту суровую, скитался я в отчаянии по полям и дебрям с подобными мне безумцами. Ветр разносил вздохи мои, и один месяц был свидетелем моего неистовства. И от того-то друзья мои и товарищи, болезнуя о несчастном, составили язвительную песнь, будто Добрыня, чародейственно своей обладательницею, прелестною гречанкою, немилосердно превращен будучи в тура рогатого, скитается по полям и вертепам. Вскоре все киевляне воспели песнь сию, и я в моей пустыне услышал ее, устыдился своего безумия, возвратился к должности — и с тех пор дозволяю себе наслаждаться веселием, доколе оно не опасно для свободы духа моего.

Не могу тебе советовать идти верно по следам моим, ибо ты юн еще и неопытен; но поверь Добрыне, все пройдет, и воспоминание о страсти сей в лета мужества покроет румянцем стыда ланиты твои. То, что дано нам для увеселения, не должно быть страстию; иначе мы противимся назначению богов и достойно наказуемся».

«Разумны слова твои, витязь; но ты иначе судить будешь, когда познаешь всю сокровенность души моей»,— сказал Громобой.

«Хочу знать ее»,— рек Добрыня, и Громобой начал: «Я сын Любомира, вельможи двора Слотанова, князя Древлянского. Младенец был я, когда свирепые печенеги обложили престольный град с великою силою ратною. Князь Слотан и с ним родитель мой с избраннейшими из воинов пали на поле брани, защищая стены отечественного града, который вскоре наполнился пламенем и врагами кровожадными. Устрашенные обитатели с воплем устремились в бегство, и с ними вместе увлечен был я в леса, Искорост[1] окружающие.

Там, среди пастырей протекла первая юность моя. Наступило двадесятое лето жизни моей — и неизвестная тоска, стеснив грудь мою, давила сердце. Ясно чувствовал я, что не к мирной жизни пастырей судьбы богов меня назначили. Дабы сколько-нибудь дать отраду мятущемуся духу моему, я, вооружась булавою, ходил в непроницаемые места лесные, сражался с волками и медведями — и утешался, оставаясь победителем; и так проведя пять лет, оставил я жилища пастырей, и покровенный кожею зверя, мною сраженного, вооруженный одною булавой, устремился я в путь — совершать судьбу свою.

Ее велением, блуждая чрез страны и области, я нашел себя в пределах князя Косожского. Я устремился к двору его, отличил себя на единоборствиях,— и назначен князем в его оруженосцы, доколе подвиги мои дадут мне право искать достоинства богатырского.

Двор наполнен был славными витязями и князьями стран отдаленнейших. Они стеклись ратовать за княжну Миловзору, единородную дщерь обладателя. Долго искали они руки ее и сердца, но, видя непреклонность и равнодушие княжны прекрасной, начали искать одной руки ее. Князь предоставил выбор изволению свой дщери; и князья и витязи — одни удалялись в отчаянии, другие являлись с надеждой; но одинаковая участь ожидала их; и двор княжеский бывал или торжищем многолюдным, или пустынею дремучею.

Наконец, в великое празднество Лады, богини любви и веселия, я впервые узрел ее.

О витязь! И каменная грудь размягчилась бы, и стальное сердце забилось бы новою жизнию от взора ее!

Седьмая-на-десять весна жизни ее наступила. Подобно звезде утренней, взор ее был быстр и блистателен; по-

[1] Столица древлян. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

добно полной розе, цвели ее ланиты; и каждое ее движение, каждое колебание груди прелестной упоевало меня отравою. Я вышел из храма отчаянным и впервые возроптал на богов, почто не витязь я, почто не сын обладателя великого.

Уклоняясь под тень вязов и тополов, устремлял я жадные взоры мои к девическому терему Миловзоры. Подобно истукану бесчувственному, провожал я дни от явления зари небесной до глубокой ночи; и так протекла весна на долинах Косожских.

Настали дни знойные, пылающее небо изливало утомление на всю природу, но грудь моя дышала огнями жесточайшими, и приметно иссушила корни жизни моей. Много раз видал я княжну прелестную, и каждый раз становилась жизнь моя мучительнее.

В один день,— о! когда забудешь его, душа моя? — в один день, когда я в безмолвии лежал на берегу источника и помышлял о будущей судьбе моей, решительность наполнила меня крепостию.

Доколе, вскричал я, буду томиться в бездействии? и для того ли оставил я мирную жизнь пастырей, дабы здесь погрязнуть в уничижении и истаять в убивающей меня праздности? Я должен прежде совершить подвиги великие, должен прославить имя свое в битвах и тогда — помышлять о радостях мира сего!

Восстаю и зрю пред собою престарелого Витбара, чашника княжеского.

«Куда устремился, Громобой?» — сказал он мне с приветливостью.

«Искать подвигов, достойных мужа! — отвечал я.— Бездействие погубит меня».

«Мне нужно с тобой беседовать,— вещал он,— и сей ночью, когда звезда вечерняя взойдет над сими тополами, я надеюсь здесь найти тебя. С начала утра ты можешь располагать собою».

«Я исполню твое желание»,— сказал я, и он удалился; но смутное предчувствие воспламеняло кровь мою. Я ждал его с трепетом.

Воссияла звезда на небе лазуревом; природа в сладкой дремоте покоилась; не колебались листья на древах зеленых; и фиалка, кроткая красота ночи, подняв прекрасные листки свои, разливала благоухание. Одна душа моя подобилась небу, раздираемому ветрами во время бури; мысли мои колебались подобно волнам моря Ва-

ряжского, когда буйные чада грозного Посвиста[1] свирепствуют на челе его.

И вот престарелый Витбар явился, и с ним — совокупный блеск тысячи солнц не поразит так слепорожденного, коему благие небеса мгновенно откроют взоры,— и купно с ним — Миловзора!

«Громобой»,— сказала она и простерла ко мне руку свою!

Толико кроток, толико животворящ был глас Перуна, бога державного, по коему первобытная нестройность стихий пришла в порядок. Таково было движение десницы его, и погруженные на дно бездны светила дня и ночи возникли и засияли на тверди небесной.

«Что повелишь, прекрасная княжна Косожская?» — ответствовал я с трепетом.

«Чувствуешь ли величие в духе твоем и крепость в мышцах твоих?»

«Вели — и я устремлюсь противу целых полчищ!»

«Сочувствие,— вещала она,— сей дар, влиянный небом нашему полу, дал познать мне вину тоски твоей. Ободрись! Заутра искатели руки моей будут утверждать право свое силою оружия. Соединись с ними. Витбар вручит тебе доспехи богатырские. Облекись в них и, опустя наличник шлема твоего, сразись с ненавистными искателями. Если боги даруют тебе победу, тогда предстань моему родителю. Твоя храбрость и мольбы мои убедят его».

Она удалилась. Витбар поведал мне, как Светодар, князь Косожский, склонясь на мольбы своей дщери, объявил, что одна храбрость и победа над прочими даруют Миловзору ее искателю.

Я вооружился и, возлегши у дуба великого, ожидал восхода солнечного за три выстрела из лука от стен города.

Восшел Световид на небо голубое, и обрадованная природа воспела благодарные песни своему воскресителю. Я преклонил колена и сотворил молитву.

Неизвестная мне дотоле бодрость и надежда разлились в груди моей. Я сел на коня ратного, взял копье тяжелое, меч булатный, булаву крепкую — и медленным ходом обратился к городу.

Вскоре звук трубы бранной раздался в пространствах воздушных,— и я быстрее стрелы устремился.

---

[1] Бог ветров у древних славен. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

Уже влюбленные князья и витязи собрались на площадь пространную. Уже готовы были они метать жребий, но, узрев меня, остановились. Взорами вопрошали они друг друга: кто сей витязь незнаемый?

«Кто ты, витязь?» — обратился ко мне Буривой, князь печенегов.

«Соперник твой в любви и оружии!» — отвечал я.

Вскоре явился князь Косожский и с ними Миловзора.

Судьбы управили жребием, и я первый стал на месте битвы кровавой и поднял копие свое.

Подобно ветру быстрому устремился ко мне повелитель мерян и Белаозера; я пустил копье, раздался звук раздробленной брони его,— восколебался он, пал, подобно юному кедру, в корне сраженному, и смертные тени окружили его.

Участь сию испытали князья Полотский и Чехский, и многие из витязей стран отдаленнейших.

Подобно туче, готовой родить громы и молнии, мрачен, как глубокая ночь осенняя, тихими шагами потек ко мне Буривой, владыка свирепых печенегов.

Как два вихря противные, текущие сразить один другого, роют землю и исторгают древа великие на пути своем, наконец встретясь, борются и, уничтожа друг друга равною силою, исчезают; пыль подъемлется к облакам, и тишина наступает — так сразились мы с Буривоем. С первых ударов копья наши сокрушились, и кони пали на землю. Я схватил меч тяжелый и поразил в грудь врага жестокого; полилася черная кровь его по брони; но меж тем, подобно удару грома, булава его обрушилась над главой моей, расторглись ремни крепкие, рассыпалась сталь блестящая, и шлем мой, сокрушенный на части, пал на землю.

С яростным ревом поднял я булаву свою, но Буривой уклонился.

«Остановись! — вскричал он, опустя на землю булаву свою.— Оружие князя Печенежского не будет поражать оруженосца на единоборствии».

«Дерзновенный! — вещал ко мне князь Косожский.— Толико ль твое простерто ослепление! Ты не усомнился сразиться с князьями и витязями; ты — оруженосец — за княжну Косожскую, дщерь мою единственную! Прощаю безрассудной юности твоей. Спеши оставить страны наши и воспрети себе когда-либо касаться моих пределов».

Он удалился. Все уклонились во двор его.

Долго стоял я в бесчувствии. Казалось, земля подо мною разверзлась; я устремился погрязнуть в бездну, но небо было ясно, безоблачно; земля цвела в траве злачной, цветами испещренной.

Косными шагами уклонился я из града, в коем царствовали свирепость и жестокосердие. Подобно скитающемуся привидению блуждал я по степям и дебрям; день и ночь слились для меня воедино; я проходил горы кремнистые, долины песчаные; переплывал реки быстрые, и душа моя не чувствовала бытия своего.

Так провел я осень мрачную и зиму жестокую, пока не настиг тебя, витязь, как, сражаясь с лютым исполином, лишился ты своего оруженосца. Ты принял меня с кротостью,— я никогда тебя не оставлю!»

Умолк Громобой. Долго Добрыня хранил безмолвие. Дума тяжелая носилась по челу его. Наконец, обратясь к нему с кроткою улыбкою, вещал:

«Боги наказали тебя за твое неверие. Ты ли, быв при мне столько времени, не познал меня: не познал, что первое движение моего сердца есть — наградить доблесть истинную и первое движение руки — наказать гордость неразумную. Давно бы прошло твое уныние, когда бы имел доверенность к твоему витязю. Я протекал грады и веси, страны и области, ища невинных страждущих; ты был при мне — и молчал. Может быть, ты лишал меня лучшего утешения в жизни, лишая случая столько времени исполнить должность мою. Устремимся ко двору великодушнейшего моего князя Владимира. Он обратит на тебя взоры свои, и клянусь моим именем, ты первый будешь, кого он при появлении нашем опояшет мечем витязя и возложит на грудь гривну княжескую!»

Вечер VI

Между тем как Добрыня и друг его Громобой шли путем своим в престольный град Владимиров,— Буривой, князь грозных печенегов, и Бориполк, повелитель кривичей, блуждали окрест терема прелестной княжны косожской, и черная горесть теснила буйные сердца их, и мысли их

были пасмурны подобно облакам, носившимся в ночь ту по небу косожскому.

«Долго ли,— возопил Буривой, и взоры его подобно молнии засверкали во мраке ночи,— долго ли мы, князья и витязи, будем блуждать в стране чуждой, не иметь мира в душах наших и в сердцах покоя?»

«Мы соделались стыдом своих народов»,— ответствовал Бориполк.

«И будто бы наказанные великим Чернобогом[1] лишением рассудка, стремимся за привидением, всегда от нас уклоняющимся; пятое лето тлеем мы в бездействии — ни один подвиг не ознаменовал нашего существования!

Забудем же безрассудного Светодара, князя земли сей.

Забудем свирепую княжну и презренную любовь ее, и вкупе, союзными силами ратными возгремим оружием, низвергнем престарелого повелителя, и непреклонная дочь его да будет наградою — кому судьба богов бессмертных вручит ее по жребию!»

Тут князья, в знак согласия их намерений, в безмолвии подали друг другу руки и удалились в шатры свои. Возникающее солнце утреннее озарило их в пути отдаленном. Подобно вихрям на степях, прибрежных морю Хвалынскому[2], крутились они во страны свои, дабы, собрав рать сильную, исполнить уговор свой.

Светодар возвестил Миловзоре о их отшествии, и с давнего времени прелестная впервые улыбнулась.

Прошло лето знойное и осень суровая. Засвистали ветры лютые — и снега покрыли землю Косожскую.

Печально лицо земли во время зимы свирепой. Окованная природа в каждом дыхании ветра сетует о своем обнажении. Мрачные облака, отягченные снегами и бурями, каждое мгновение грозят ниспасть на лоно земли и погребсти все земнородное. Тщетно солнце стремится расторгнуть воздушную рать эту; оно уступает и от стыда покрывается мраком. Но — среди сих непогод и ужасов,— кто покоен в духе и мирен сам с собою, у того радость прозябает во взорах, и улыбка цветет на устах невинных. Таково было с прелестною княжною косожскою.

В сообществе подруг девства своего сидела она в безмолвном терему своем, и родитель часто присутствовал

---

[1] Бог, мститель порочных, у древних славен. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] Древнее имя Каспийского моря. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

при невинных их забавах. Тогда Миловзора, при радостном звуке цевниц и бубнов, подобно легкокрылому Погоде[1], носилась плавно по помосту терема, и каждым движением, каждым взором увлекала за собою всех взоры и движения. Или возвысив светлый, звонкий глас свой, воспевала она прелести весны благословенной, когда она манием очей своих сгонит с рамен земли льдистые оковы и повелит цветам возникнуть, древам опушиться в одежду зеленую и птицам воздушным воспеть торжество ее пришествия.

Тогда мнилось всем, что они внемлют сладкому пению певцов небесных и на грудах снега видят алую розу и белоснежную лилию.

Так прошла зима на землях косожских, и прелестный цветень[2] возвратился. Благоухание разлилось в долинах; поверх гор повеяли ветры кроткие.

Среди таковых невинных увеселений двора косожского, в единый день, когда Световид совершил половинное шествие свое, узрели из чертогов княжеских пыль высокую с двух сторон столицы. Вскоре засверкали вдали копья булатные, а стальные шлемы разливали огненное сияние. Два сильные воинства представились, и вскоре белые шатры воздвиглись на холмах в виду обитателей.

Шум и смятенный гул раздался по двору княжескому — и вскоре по всем стогнам града великого.

«Что значит пришествие рати иноплеменной?» — восклицали граждане, и беспокойство непогод военных раскинуло мрачные крила свои поверх чертогов княжеских и хижин землепашцев, поверх селения многолюдного и храмов богов отечественных.

Престарелый Светодар призывает к себе Витбара и вещает ему:

«Иди в стан пришельцев иноплеменных, и знамя мира да возвестит в тебе вестника дружелюбия. Чего хотят от меня вожди с их воинством?»

Витбар пошел и в середине стана совокупных сил вражеских, под шатром златотканым, познал Буривоя с Бориполком.

«Чего ищете вы в стране нашей с силою ратною? — вопросил он.— Чертоги Светодара всегда были для вас отверзты; столы его отягчались явствами избранными и пи-

---

[1] Зефир славенский. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*
[2] Так назывался апрель месяц. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

тьем сладким при вашем присутствии. Чего же ищете вы с воинствами и что возвещу о прибытии вашем повелителю?»

«Иди, Витбар! — рек Буривой,— возвести престарелому Светодару, что гордость его неугодна нам более, и непреклонность дщери его противна велениям небес и будет наказана. Возвести ему, что мир и война в десницах наших. Если спокойствие дома и народа любезно сердцу князеву, единое средство осталось продлить его, и средство сие есть: да изыдет он в стан наш с дружиною малолюдной, лишив себя всякого оружия; да изведет с собою горделивую дщерь свою, княжну Миловзору. Я и Бориполк кинем жребий, и тогда счастливый обладатель ее обнимет в Светодаре родителя высокого,— несчастный соперник в молчании отыдет во страны свои. Се воля наша непременная! Иначе — меч и огнь, гибель и опустошение вторгнутся в стены града вашего, и всеобщее разрушение накажет и повелителя высокомерного и народ, ему повиновавшийся!»

В горестном безмолвии прибыл Витбар в чертоги князевы и робкими устами поведал изволение пришельцев ратных.

Яростью воспылали взоры Светодара, и уста его покрылись бледностью гнева и негодования.

«Ослабела сила в мышцах моих,— рек он с грозою сильною,— но дух мой цветет еще пламенем юности. Любовь народа и милость богов защитят права невинного. Не допущу врага похитить силою то, что могу только дарить другу любезному. Война кровавая, брань и поражение!»

Кончина дня и ночь целая прошли в приготовлениях к битве. Везде слышны были звуки мечей и щитов тяжелых, звон стрел смертоносных и вопль народа раздраженного.

Светодар поднял знамя брани, и юноши и мужи окружили его. Старцы взошли на стены; все ожидали появления дня, дабы ознаменовать его сечею кровавою.

Миловзора, с блестящею слезой на глазах, с стесненным сердцем сидела в безмолвном терему своем, и тяжкие вздохи ее возносились к богам, да пошлют победу ее родителю.

Уже Зимцерла раскинула багряный шатер свой по небу голубому. Уже видны стали златоблестящие власы великого Световида. Туман поднялся в долинах и, носясь

в пространствах воздуха, образовал мужей великих и сильных, творящих брань совокупную.

Светодар двинулся с воинством.

Когда две тучи громоносные идут одна другой в сретение, сходятся,— разливается пламень в областях небесных, и треск раздается в горах и вертепах, дубы и кедры в корнях сокрушаются, и отторженные скалы гранитные рушатся в пенящиеся волны Днепра свирепого: тако сошлись два воинства.

Раздался гром и треск; рассыпались искры от булатных мечей и стальных шлемов, кровь багряная пролилась по песку желтому.

Издали слышны были вои зверей пустынных и крики вранов плотоядных, собравшихся терзать останки мужей падших.

Долго творилась сеча свирепая, и победа была сомнительна. Но наконец — вечный промысл богов небожителей! — наконец Буривой, подобно тигру, жителю степей африканских, собрав дружину крепкую, ринулся в средину воинства противного. Что могло противиться шумному движению меча его? Он идет — и гряды пораженных знаменуют сие шествие. Вскоре настигает он Светодара, и исторгает меч и знамя из рук его и отдает дружине своей влечь пленного в шатер свой.

Узрело воинство плен своего повелителя, и бледность покрыла ланиты неустрашимых, мечи и копья опустились, и робкие предались бегству. Народ, стоявший на стенах града, узрел сие, и вопль его возвестил погибель неизбежную. Они отверзли врата победителю, и старейшины преклонили колена пред Буривоем и Бориполком, прося пощады.

«Щажу,— вещал надменный победитель,— щажу кровь вашу, жен и детей ваших. Не крови жаждал я и не корыстей косожских — хотел наказать князя безрассудного и княжну высокомерную. Изведите ее из терема девического в княжеский стан мой. Там ждем ее, пока жребий расположит ею».

Рек и удалился. Тишина воцарилась, и робкие граждане, трепеща возобновление битв гибельных, идут во множестве в терем стенящей Миловзоры. Не взирая на ее стоны и вопли, не взирая на ее мольбы и коленопреклонения, малодушные облекают ее в одежды брачные и ведут в жертву зверям свирепым.

При узрении приближения ее к шатрам воинским, Буривой с Бориполком осклабили суровые уста свои. Воинство произнесло радостный вопль. Один злополучный ее родитель, обремененный цепями плена, стоял прикованный к дубу высокому.

Миловзора с горьким стенанием пала у ног старца злополучного.

«Княжна Косожская! — вещал Буривой: — Право войны отдает тебя в руки наши; право жребия доставит тебя единому из нас,— он будет твоим повелителем и разрешит оковы твоего родителя».

Он вещал, и великий первосвященник начал приготовлять жребий, моля богов наказать преступника, который дерзнет нарушить права, ими даруемые.

Но мгновенно — при самом стане узрели двух витязей, подъезжающих с двумя оруженосцами. Злато и сребро, украшавшее их доспехи, и златые гривны, висевшие на грудях, открыли в них витязей славных двора киевского. Наличники шлемов были опущены. Воинство печенегов и кривичей с благоговением открыло им путь к князьям своим.

«Приветствуем вас, витязи незнаемые,— вещал Буривой.— Какая вина вашего присутствия?»

«Я Добрыня,— вещал один из них,— и се юный друг мой. Хотим знать вину торжества великого».

Буривой поведал ее.

«Почто жребий?» — вскричал Громобой,— то был он,— и сильная грудь его затрепетала под тяжелым панцирем. Миловзора обратила на него взор кроткой благодарности.

«Такова воля наша,— ответствовал Буривой надменно,— и пременить ее ни что не сильно!»

Громобой вещал:

«Я витязь земли Русской и равен князю печенегов и кривичей. Разрушаю обеты ваши и сим мечем буду защищать княжну Миловзору от всякого дерзновенного, который пожелает найти смерть в ее похищении. Кинем жеребьи: кто первый из вас должен со мною ратовать?»

«Утверждаю слова его»,— вещал Добрыня.

Мгновенно разлилась тишина по всему воинству. Буривой и Бориполк в безмолвии опустили руки в сосуд священный, и Бориполк первый исторг меч свой.

Зазвенели трубы бранные: воители воссели на коней своих, приняли копья от оруженосцев и устремились друг ко другу.

Слаба и неопытна была десница Бориполкова. С треском пал он с коня крепкого на землю песчаную, и обагренного кровию отнесли воины в шатер его. Воинство издало стон — и Буривой с пылающим взором, с пенящимися устами сел на коня своего.

Они съехались,— и кони их пали на колена от первого удара. Витязи спешились. Уже мечи их багрели в крови противников: латы были во многих местах раздроблены; ярость усугублялась. Наконец Буривой, желая кончить прю великую, собрал все силы свои, поднял меч булатный, занес —

Громобой уклонился,—

и свирепый печенег, подобно кедру, расстлался по земле. Громобой устремился к нему,— и тяжкие оковы загремели на раменах кичливого.

«Рази,— ревел он к Громобою,— не хощу жизни, от тебя даруемой».

«Не жизни твоей искал я,— рек Громобой,— но желал отнять право на княжну прекрасную!»

«Боги, управлявшие твоим оружием, тебе ее даруют»,— вещал печенег, и кровавая слеза вылилась из глаз его.

«Я дарую тебе свободу,— отвечал Громобой,— будь друг наш и собеседник. Храбрость приятна для души моей!»

Он рек и уклонился к князю Косожскому. Разрешил оковы его, снял наличник шлема своего и преклонил колена пред Миловзорою.

«Громобой!» — возопила она — и в бесчувственной радости поверглась в объятия своего родителя.

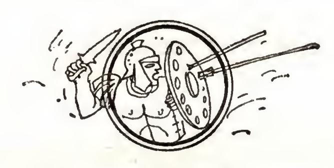
«Громобой!» — воскликнул Светодар и дружелюбно простер к нему руку свою.

«Се Громобой,— вещал Добрыня,— витязь Двора Киевского и друг Добрыни, дяди князя великого. Он избавитель твой и хочет получить в награду прелестную княжну, дщерь твою Миловзору».

Светодар радостно обнял Громобоя. С торжеством возвратились во град, и великий служитель Лады совокупил чету прелестную. Ночь прошла в пиршестве и веселии; один Буривой в стане своем пребыл мрачен, как ночь осенняя. С появлением звезды утренней воссел он на коня и обратился к своим пределам. Воинство его за ним следовало. Мир, прелестный сын неба, осенил златыми крылами Громобоя и Миловзору, и седовласый

Светодар купно со своим народом восслали мольбы сердечные к богам-покровителям и воздвигли истуканы Громобою и Добрыне.

Веки отдаленные! Времена давно протекшие! Кто из сынов Славена воспомянет об вас без кроткого трепетания сердца и благодарной слезы на глазах — в дань памяти предкам, великим своими доблестями? Тогда величие и крепость духа возводили на верх славы и счастия и красота была наградою достойною. Не обладал тогда древний, изможденный сластолюбец юными красами дщери славенской, хотя бы обладал он златом Востока целого. Веки отдаленные! времена давно протекшие! Когда возвратитесь вы на землю Славенскую?



Вечер VII **Ирена**

Прелестна заря утренняя, когда ланиты ее сияют на чистом небе; благоухающ ветр кроткого вечера, когда веет он с лона розы и лилии; блистательны прелести ваши, девы славенские, когда кротость души и спокойствие сердца изображают светлые взоры ваши!

Не подражайте дщерям земель иноплеменных, которые славу свою полагают в искусстве прельщать, не чувствуя влечения сердечного. Тщеславятся они числом побед своих, коварством приобретаемых. Прелестью жизни называют они свободу буйную не покоряться святым законам стыдливости, лучшему украшению пола прелестного. Не подражайте им, дщери российские. Внемлите древней песне моей. Вы познаете, что победы таковы непродолжительны. Время откроет коварство, разврат, сокрытые под личиною кроткой любезности. Тогда исчезнет торжество мнимое, и преступная прелестница будет жертвою несчастною своих замыслов!

Давно уже царствовало спокойствие и радость в престольном граде Киевом; веселие роскошно обитало в палатах князя Владимира; упоение пиршеств блистало во взорах княжеских и всех вельмож и витязей двора его. С появления Зимцерлы румяной до восхода звезды вечерней народ и воинство воспевали песни мирные; князь

ласково угощал каждого во дворе своем; витязи безоружны. Казалось, небо возжелало осчастливить народ, крепкий и твердый во бранях грозных, и мудрого повелителя их, неутомимого во дни невзгод военных, неподражаемого в часы веселия роскошного.

Вероломные греки обратили пасмурные взоры свои к светлому небу российскому, и черные души их наполнились завистью ядовитою,— они восстенали, зря счастье чуждое.

«Веселится грабитель богатств наших,— вещали повелители града Константинова.— Злато наше блистает в его чертогах; тканьми нашими украшает он стены теремов своих, и нашими перлами — камнями богатой Индии — освещает он любимиц своих бесчисленных. Пойдем наказать жестокого, пока не возбудился он от упоений роскоши, пока орды его послушников, рассеянные по долинам мирным, поют песни любовные!»

Вещал кесарь,— и полки греческие, подобно вранам хищным, стекаются под знамена вероломного рушителя слова своего царского, условий мира долговечного.

Тогда один от среды старейшин совета великого вещал:

«Не тако, повелитель, надлежит нам вести войну с Владимиром. Не рать его бесчисленная устрашала полки наши — его витязи, подобные столбам адамантовым, всегда были препоною победе. Опыты битв протекших уверят в сем тебя, твое воинство и мир подсолнечный. Доколе они окружают Владимира, нет в свете ему поборника. Отнимем прежде от него сию ограду крепкую, и тогда богатства российские отягчат твоих воинов; злато и камни самоцветные воссияют в твоих чертогах».

«Но кто отнимает у Владимира избранных друзей его?» — вещал коварный повелитель.

«Сила воинства великого сего не сделает,— ответствовал советник,— но душа князя Владимира тебе открыта. Подобно древнему Соломону, возлюбил он мудрость и блеск прелестей женских; непобедимый во бранях, теряет силу свою и мочь великую в объятиях теремов своих. Витязи его — ему последуют. Сим оружием нападем прежде на двор княжеский,— и пока не пробудился князь от сна, его упоевающего, отвлечем от него друзей преданных, и обезоруженный от богатырей своих, будет умолять о мире и помиловании!»

Речь сия понравилась. Собрался совет мудрейших и определил решительно отослать ко двору Киевскому опаснейшую из дев греческих, прекраснейшую солнца весеннего, коварнейшую самого ада, отослать Ирену, первую любимицу кесаря.

Она отправилась со свитою малолюдною. Прелести, кобарство — струились по следам ее.

Веселый Владимир не предвидел сего нового перуна, готового пасть на двор его из рук прелестной обольстительницы. Беспечно угощал он друзей своих и незнаемых: как вдруг, в один прекрасный день, узрели они — вдали Киева, на изумрудной долине, омываемой ручьями, подле рощ пленительных,— узрели они шатры белольняные, и в средине их один, с блестящею золотой главицей.

«Теки, Папаевич! — вещал Владимир одному из друзей своих.— Иди в стан пришельца иноземного; познай вину его пришествия на землю Русскую. Если он жаждет единоборства,— здесь есть витязи неробкие. Если ищет веселия,— палаты мои отверзты, и столы мои дубовые отягчены яствами и питием сладким».

Папаевич потек и вскоре возвратился! Кто опишет приятное изумление Владимира и его витязей?

Ирена,— не было в мире ничего ей подобного,— Ирена, в светло-голубой одежде, усеянной цветами златыми, медленными стопами шла во след витязю, в чертог пиршества. Таково течение месяца, когда он на светлом небе, окруженный звездами кроткими, смотрится в тихие струи днепровские.

Восшумели витязи; молнии засверкали во взорах каждого; пурпур разлился по ланитам их, и широкие груди роскошно волновались.

«Великий повелитель народа великого! — вещала Ирена, преклонив робкие взоры свои.— Не единоборства ищу я в областях твоих! Слава твоего имени и друзей твоих привлекла сюда стопы мои; я пришла увериться, справедлив ли слух о ласковом князе Владимире, когда он, забыв битвы кровавые, покоится мирно в своих чертогах?»

Владимир с кротостию подал ей руку свою, и уже неравнодушные витязи бросали на нее влюбленные взоры свои. Добрыня, Рогдай, Папаевич, Бурновей и многие не столь знаменитые, казалось, читали во взорах один другого: «Она моя, хотя бы должно сразиться с целою

вселенною!» — тако коварная прелесть эта мгновенно окружила их сетями цветочными. Один мудрый Велесил оставался дик и пасмурен. Казалось, присутствие прелестей гречанки умножало суровость его непобедимую.

Прошло тридесять дней пребывания ее на земле Киевской, и витязи непрестанно становились влюбленнее. Всякий из них мнил преимущественно ей понравиться, но красавица упорствовала объявить имя своего победителя.

«Вы все открыли мне любовь свою,— рекла она в один день кругу витязей,— прежде нежели изберу кого-либо себе повелителем, хощу опытов любви его. Завтра, с появлением зари утренней, сниму я шатры свои белые. Хощу видеть области других княжеств, Киеву сопредельных. Кто из вас будет моим путеводителем?»

«Я хощу быть им!» — разлилось со всех сторон.

Витязи взглянули друг на друга с негодованием, и впервые братская дружба их склонилась к расторжению. Смертоносная ревность начала точить сердца бесстрашные, и ненависть взаимная обнаружилась. Владимир вздохнул и удалился.

На утрие, едва небо киевское озарилось румянцем, уже не видно было блестящих шатров гостьи вероломной. Ирена, на гордом коне своем, удалялась от Киева, Сонм русских витязей в безмолвии окружал ее.

Осиротел Владимир в пространном дворе своем; грусть жестокая теснила доброе сердце княжеское.

«Таково,— вещал он, обратясь к Велесилу (он один только не оставил его),— таково, Велесил, сердце человеческое! Они оставили друга и благодетеля и устремились за бренными красами прелестницы».

Он обнял друга, и слезы скорби появились на глазах мужа кроткого.

Уже месяц совершил полное течение свое по небу российскому, и никто не мог возвестить ясно, что сталось с его витязями. Одни слухи народные возвещали, что они с повелительницею своею направили путь к Чернигову.

Ежедневно Владимир угощал по-прежнему своих и чужеземцев, но взоры его были пасмурны, и тень горести носилась постоянно по челу его.

Мгновенно является гонец с пределов областей Русских; пыль и пот покрывали вестника; взоры его предвещали невзгоды военные,

«Повелитель! — вещал он князю.— Греки с многочисленным ополчением вторглись в пределы земли Русской. Мечи их поядают твоих поданных; огнь вражеский истребляет жилища наши и храмы богов бессмертных».

«Накажем вероломных!» — рек Владимир, и по звуку трубы военной начали собираться ратники к чертогам княжеским. Там, у крыльца кедрового, развевались знамена войны кроволитной.

«Понимаю хитрость коварных греков,— вещал Велесил.— Теки, князь, с твоими тысячами! Я устремлюсь искать неблагодарных друзей твоих, найду их и возвращу тебе — к ужасу греков клятвопреступников!»

Князь с воинством устремился к пределам страны своей; Велесил с оруженосцем к Чернигову, склонясь на слухи народные.

Три дня провел он в поле; в четвертый узрел стены Чернигова и на берегу Десны кроткой, на улыбающихся долинах шатры Иренины.

Кто изобразит недоумение его? Он зрит: на шелковых златотканых коврах возлежит Ирена, в полном блеске красоты своей. В некоем отдалении стоят витязи, вооруженные доспехами, с обнаженными мечами. Кони их оседланы, и оруженосцы подняли копья для вручения их богатырям своим.

Смутились витязи преступные, узрев прибытие мудрого Велесила.

«Что значит намерение ваше? — вопросил он.— Я зрю приготовление к единоборству!»

«Ты прав,— ответствовал Добрыня с некиим смятением,— вскоре увидишь ты кровавые единоборства между витязей русских. Прелестная Ирена, всеми равно обожаемая, решила сего утра участь нашу. Тому отдает она сердце свое, кто явится его достойнейшим. Победитель соперников будет обладателем ее прелестей».

«Безумные! — возгремел Велесил.— Се ли любовь ваша к отечеству и признательность к державному благодетелю? Вы обольщены коварством греков, и эта преступная лесть их — орудие к общему погублению. Уже греки вторглись в пределы земли Русской, уже кровь невинная соотчичей наших упояет землю, ими возделанную; Владимир пошел наказать дерзких, но горесть о потере друзей раздирает сердце владыки доброго! Малодушные! ужели вы оставите его в часы смерти, оставите отца чадолюбивого в жертву врагам кичливым и преступным?»

Витязи возмутились; они опустили мечи свои, и тяжкие вздохи поколебали их груди.

«Устремите,— продолжал Велесил,— обнаженные мечи свои против греков! Пусть познают нарушители прав народных, что земля Русская имеет детей великих, что князь не лишился друзей от гнусного их чарования.

Впрочем, ведайте, что всякий из вас, забывший честь своего имени и желающий обладать сими красами, мертвящими величие духа Русского, всякий таковой да сразится прежде со мною и по трупу друга и брата достигнет прелюбодейного ложа ее. Пусть кровь моя озлатит руки ваши, се будет торжество сея ехидны, сего смертного орудия ненавистных врагов наших!»

Витязи познали мудрость слов Велесиловых. Мысли их озарились, чарование прошло, они устыдились сами себя и в безмолвном раскаянии пали в объятия Велесиловы.

«Познаю детей славы гремящей, подпор престола блестящего; друзей владыки великодушного,— познаю витязей двора Росского!

Теперь,—

Он подходит к устрашенной Ирене. Изумленная прелестница прочла осуждение свое в сверкающих взорах мужа раздраженного. Она преклонила колена, и трепещущие уста ее издали звук ужаса. Мгновенно голова ее отделяется мечом витязя и, поднятая на копье тяжелое, отдана устрашенным ее сопутникам.—

«Идите к преступным своим соотчичам,— вскричал Велесил,— вручите главу сию кесарю, возвестите ему, как наказано коварство его, и сие будет предвестием его собственного посрамления!»

Витязи устремились к полчищам княжеским. В третий день настигли оныя, в часы битвы смертоносной. Уже ряды Владимировы начали расстроиваться; уже князь, подобно льву разъяренному, поражавший врагов тьмочисленных, начинал чувствовать утомление, и взоры его простерлись к небесам, прося помощи.

И вот — воинство его возопило, князь обращает взоры и познает избранных друзей своих, вторгших смерть и опустошение в ряды греческие. Вид битвы мгновенно пременился. Робкие греки познали прибытие витязей, восстенали и обратились в бегство. До появления месяца преследовали их победители. Стон и вопль умирающих раздавался в долинах, в лесах и шумящих волнах Буга священного.

Владимир обнял раскаявшихся и разделил воинству добычи богатые.

Он обратился к Киеву; радостные песни победителей раздавались под небом безоблачным:

«Хвала и честь великому обладателю земли Русской; хвала и честь грозным витязям, друзьям его.

Подобно орлам небесным, вьющимся над вершинами Кавказскими, носились они по грудам тел бездушных греков. Враги рассыпаны, как рассыпается прах от дыхания бури.

Не возвеселятся дщери греческие о своих возлюбленных. Отцы и матери не прижмут ратников к родительским сердцам своим. Тщетно для них весна украсит поля и долины цветами благовонными; тщетно лето блестящее и златая осень предложат им багряные плоды свои; тщетно дев юных пышные груди возвысятся, подобно кротким волнам Дона по берегам цветочным,— лежат они повержены по холмам и долинам и не восстанут на вопль, их призывающий. Взойдет солнце и закатится; родится месяц и состареется,— они будут лежать, подобно древам, поверженным в пустынях чуждых. Громы небесные не возбудят их от сна долговечного. Чрева волков свирепых будут им могилами, и одни плотоядные враны воспоют им песни надгробные!»

Вечер VIII **Мирослав**

После грозной бурной ночи настало утро прелестное. Блистательно было солнце среди небес лазуревых, величественно в тихих волнах Днепровых, кротко в каплях росы, блиставшей на листьях поверженных дубов и тополей и скромной незабудки, безопасно проведшей ужасы ночи той, склоня низменную головку свою к матернему лону земли-защитницы.

Мирослав, вышед из пустынной хижины своей, взошел на холм прибрежный. Белая брада показывала в нем мужа древнего; чистый, светлый, спокойный взор его к небу означал мудрого, коего жизнь текла порядком устроенным.

Он, воздев длани, вещал:

«О ты, существо великое и премудрое! На закате дней моих я познал тебя, и душа моя обновилась; природа явилась мне в новом виде, и сердце мое стало биться жизнию, дотоле неизвестною. Благословляю тебя, существо непостижимое, но великое и благодетельное!

Грозно было чело твое в ночь протекшую; ты возвысил длань, и небеса воспламенились, произнесли стон и вопль, земля затрепетала, страшась своего уничтожения!

Увы! Познаю вину истинную, почто бог любви и милосердия ополчается гневом великим, разрушает жизнь, прежде дарованную, и приводит в трепет миры с их обитателями!

И теперь, когда гремишь ты в превыспренних, сгущаешь тучи железные, ниспосылаешь грады и наводнения, когда риза твоя горит огнями поражающими,— и теперь есть убийцы и хищники, есть клятвопреступники и обольстители! Что же было бы на земле несчастливой, когда бы злобные обитатели ее беспрерывно зрели вечную благость твою, никакими злодействами не изменяемую?

Благословляю тебя, существо непостижимое, но великое, благодетельное и правосудное!»

Умолк, пал ниц на землю, и мольбы его воскрилялись к престолу вечного.

Восстав от земли, узрел он двоих странников: юношу в броне богатырской, но без оружия и деву красоты отличной. Робость питала взоры пришельцев сих, движения их означали нерешительность; одежды показывали, что ночь целую провели они в странствии трудном и заботливом, под открытым небом.

«Странники! — возопил Мирослав,— се хижина старца отверзта. Не ищите неги и роскоши,— и вы покой обрящете».

Юноша косными шагами приблизился. Юная подруга его едва могла ему следовать, опершись на рамена возлюбленного. Каждый взор ее, к нему обращенный, каждое движение его показывало, что путеводитель ее — есть друг сердца, есть щит ее добродетели, бытия ее, отрада последняя.

«Почтенный житель пустыни безлюдной! — вещал юноша, приближаясь к Мирославу,— я познаю мудрость твою великую. Ты оставил людей с их злодействами. Ты

оставил прелесть роскоши житейской и наслаждаешься счастием. Боже великий! Почто не оставил я чертогов княжеских, злата и сребра, в них блистающего! Тогда я не познал бы бедствий, меня удручающих, и сей юный, прелестный цвет любви моей не томился бы пагубным бездождием!»

Он сказал, склонился на грудь прелестной сопутницы; слеза повисла на седых ресницах Мирослава; он произнес тяжкий вздох и заключил обоих странников в свои объятия.

«Кто ты, юноша благородный? — возопил он, проливая слезы.— Кто ты, дева прелестная?»

Юноша отер слезы свои, еще раз обнял старца и с сердечною доверенностью отвещал ему:

«Я Святослав, сын Владимиров!»

Мирослав в изумлении отступил от него:

«Ты — Святослав, убегающий злобы и мщения Святополка, брата своего! И невинная, юная, кроткая Исмения есть виною его неистовства! Но что Владимир, родитель твой?» — вопросил Мирослав с трепетом.

Святослав покрылся бледностию. Он возвел взоры свои к небу.

«Понимаю,— сказал Мирослав,— видел я звезду светлую, падшую с высот неба киевского. Кровавая туча заступила место ее; слышны были удары грома рьяного и блеск ослепляющей молнии! — Или и его...»

«Нет более!» — возрыдал Святослав и пал на колена; Исмения склонилась на выю его. Се мгновение грозного молчания!

«Тако оканчивается поприще жизни! — рек Мирослав.— Обладатель света и рабы последние склонят главы свои. Пройдет время недолгое — рассыплются памятники пышные, и путник не найдет места, где тлеют останки мужей великих. Участь мира подлунного! Но по что возненавидел вас Святополк, грозный сын кроткого Владимира?»

Святослав вещал: «Умоляю тебя дать убежище и покой утомленной моей сопутнице. После поведаю тебе вину горестного моего странствования из дому родительского, из града отечественного».

Он рек,— Мирослав взял Исмению за руку, ввел ее в хижину и предложил убогий одр свой. Она возлегла. Старец с Святославом взошел на прежний холм, возлегли там, и Святослав начал свое повествование:

«Склонилось солнце Владимирово к своему западу. Слабы стали мышцы старческие править браздами владения обширного. Померцающие взоры его с трудом уже отличали друга верного от льстеца коварного и гордое искание почестей от благородной любви к чести отечества. В таковое время жизни его возлюбил он, более прочих сынов своих, гордого, неукротимого Святополка и вверил ему покой и благо отечества.

Грозен, подобно туче, взор Святополков; бурен дух его, как вихрь, сын песчаных долин Днепровых. Не любил он покоя, и одни кровопролития веселили его. Он возбудил недоверчивость в Ярославе, старшем сыне Владимира, владыке великого Новаграда.

Развеял сей знамена бунта кроволитного, двинулись ко граду Киеву преступные полчища его, растерзалось сердце отца чадолюбивого, и грозное воинство, им предводимое, явилось на полях ратных. Победа увенчала седую главу рыдающего о ней Владимира.

Незадолго пред тем неопытный взор любви моей остановился на дщери благородного Леона, бывшего более друга Владимирова, нежели князя пленного, я возлюбил Исмению, и счастие мое исполнилось совершенно, когда познал я взаимную любовь ее.

Я пал к стопам родителя, и соизволение его возвеличило меня превыше всех обладателей мира. Господствующий Святополк, в свирепой душе коего никогда любовь не обитала, был беден, ничтожен в глазах моих. Увы! как мало постигал я вину исступления и свирепости Святополковой.

Подобно раскаленному жерлу горы Сицилийской, давно пламенело сердце его к прелестям Исмении; подобно стреле молнийной, которая, раздирая сгущенный помост неба, убийственными взорами ищет высот на земле устрашенной, находит и раздробляет древа и камни,— такими взорами провождал всегда Святополк юную подругу души моей, когда она шла по страну меня увенчанная цветами прелестными.

Он открылся Леону, греку честолюбивому, и владеющий злодей предпочтен им безудельному сыну князеву; он дал ему позволение искать ее соответствия, обещав по окончании браней междоусобных вручить ему и руку ее. Я также ждал сего, полагаясь на изволение родителя.

Владимира не стало! — Три дня рыдали осиротевшие дети и народ его.

В сие время Святополк собрал рать бесчисленную и ожидал приближения Ярославова. Сей прибыл в утро протекшее и стал по другую страну Днепра ревущего. Едва показалась заря на небе киевском, все предвещало ужасный день и ночь еще ужаснейшую. Мрачные облака носились на тверди и затемняли златые верхи храмов божественных.

«Исмения! — вещал я, подавая руку юному другу своему.— День сей решит судьбу трона и народа российского. Пойдем ко гробу великого нашего родителя; благословим память его и оплачем участь нашу горестную».

Мы пришли, пали на колена у подножия гробницы, и слезы наши полились градом.

«Великий родитель наш! — возопил я,— благослови нас теперь с небес, как благословлял некогда на земле; и умоли предвечного, да осчастливит Ярослава победою, землю Российскую падением свирепого Святополка!»

«Злополучные!» — раздался рев, подобно грому; он повторился меж сводов каменных, и ветви кипарисов восшумели.

Обратились мы,— ужас оковал члены наши; мы остались к земле пригвожденными.

Стоял Святополк, опершись на копие свое. Кровавые взоры его сверкали, подобно углям раскаленным. Он хотел продолжать, но гнев сковал уста его. Стража стояла за ним в безмолвии.

«Святослав! — наконец вещал он,— время уже открыть тебе твое безумие. Никогда не будешь ты обладать Исмениею, как дух отверженный света красами эдемскими. Мне будет принадлежать она! Се воля моя и Леона, ее родителя. Давно бы постигла тебя участь Глеба и Бориса, если бы любовь Владимирова была к тебе столь же неумеренна. Иду на битву кровавую — возвращусь победителем. Ты теки из владений моих, да не обретут тебя по моем возвращении. Кровию твоею омою я брачные одежды Исмении и взойду на ложе ее по твоему трупу; иди поспешно. Се последняя милость моя, крови родственной даруемая. Исмения в тереме будет ждать моего возврата с полей битвы».

Он рек и удалился. Некоторые из стражей повлекли Исмению во дворец; я остался один, бесчувствие покрыло меня своею дланию, целая природа для меня исчезла.

Ощутив себя, нахожу день уже склонившимся. Мрак господствовал в природе. Громы ревели на тверди, и молнии освещали ужас мятущегося неба.

Подобно исступленному, восстаю я от земли, бегу в вертограды княжеские, дабы в последний раз узреть при блеске молнии в окнах теремов рыдающую Исмению, узреть ее и железом пронзить сердце свое несчастное.

Я пробегаю из конца в конец, попираю ногами цветы и травы, насажденные руками Исмении, дотоле бывшие мне драгоценнейшими всех перлов Индии; имя Исмении взываю на каждом шаге, и свисты ветров тщетно оное повторяют.

Но кто изобразит прелесть моего исступления, когда я наконец узрел ее, ко мне пришедшую! Она пала в мои объятия.

«Кто возвращает мне Исмению?» — вопросил я небо. Удар грома мне ответствовал.

Я пал на колени и молился. Когда первое упоение свидания прошло, Исмения вещала мне, что бунт природы и беспрерывно переменяющиеся во дворе слухи об участи битвы породили смятение и беспорядок в палатах. Она воспользовалась, проникла сквозь сонм стражей, достигла вертограда, познала голос друга своего, и душа ее оживилась.

Мгновенно мы оставили вертоград, оставили двор родительский, оставили город, зревший рождение наше, храмы божии и прах великого Владимира.

Путями неизвестными устремили мы шествие по брегам Днепровым; я отвращал от Исмении препинание ветвей древесных, преносил ее чрез камни острые, согревал ее моими объятиями от хлада ночи бурной, и так мы к восходу солнечному пришли к обители твоей, старец благодетельный. Если любезна сердцу твоему память добродетелей моего родителя, дозволь в хижине твоей пробыть время малое несчастному сыну его!»

«Благословляю щедрое провидение,— рек старец с благоговением,— пославшее мне малый случай доказать сыну, сколь драгоценна для меня память его родителя».

И се — внезапно узрели они поднявшуюся пыль вдоль берега. Топот коней и шумный вопль ратников возвещали бегущих с полей битвы.

Старец и юный князь возникли.

Они узрели Святополка, покрытого ранами, облитого кровию, бегущего с малою дружиною, толико же пораженною.

«Се воля твоя,— стенал Святополк,— се определение власти твоей, бог гнева и мщения! Кровь Глеба и Бориса, на мне запекшаяся, омывается теперь моею кровию!»

Узрел он юного Святослава, оставил коня своего, приспел подобно вихрю шумному, и рев его раздался по брегу и водам Днепровым:

«Ты здесь, малодушный любимец счастия? Не возвратишься ты во двор княжеский веселиться с Ярославом; не будешь торжествовать бедствия моего у груди Исмении. Не возвеселится неблагодарная о твоем прибытии!»

Вещал, и тяжелый меч его водрузился в груди юноши. Он пал, и багряная кровь его оросила землю хладную.

Святополк быстро удалился. Издали слышны были тяжкие завывания груди его.

Вняла злополучная Исмения воплям и гулам ратным; востекла от ложа пустынного и быстро устремилась к старцу, стоявшему на коленях у охладевшего трупа Святославова. Она узрела,— бледностью покрылись ланиты ее и уста прелестные; поколебались колена, она пала подле друга, и дух ее устремился вслед за своим любимцем.

Долго пустынный житель хладными взорами смотрел на юные жертвы злобы и бесчеловечия землеобитателей. Он изрыл дряхлыми руками могилу, опустил в нее трупы любившихся, сделал насыпь высокую и усадил ее цветами благовонными.

Тогда пал он на колена, пролил впервые источники слез и, обратя полуугасший взор и трепещущие руки к небу, вещал:

«Тако восхотел ты, великий повелитель мира! Земля не достойна была украшаться прелестными сими цветами. Ты восхитил их в вертограды вечного эдема, да познают там счастие любви невинной. Вожделеннее для сердца чувствительного растерзаться у гроба любимца своего, чем с мужем его ненависти взойти на ложе брачное».

Вечер IX **Михаил**

Ты склоняешься уже, солнце небесное, от взоров наших! В последний раз сего вечера златишь ты жемчужные крылия облака легкого, на коем некогда, во дни давно протекшие, бесплотные духи витязей великих любили покоиться и в последний раз упиваться вечерним светом твоим.

Пошли же, солнце любезное, пошли к нам звезду вечернюю и месяц серебряный; я хочу петь о любви к отечеству, священной любви, достойной мужа великого, но и еще священнейшей — любви к вере отцов своих.

На западе разостлались розы зари прелестной, на востоке засребрились листья дубов и тополов от востекающего месяца. Нежны лучи его для взоров наших, любезно для груди дыхание ветра тихого, как он, развеясь по лицу земли, с кротким журчанием лобызает росу на лоне гордой лилии и кроткой гвоздики.

Такова была заря алая, таков был месяц светлый, когда пленный Михаил, князь Черниговский, стоял на берегу Дона тихого с другом своим и вельможею Феодором, под игом Батыя, царя гордого Золотой Орды. Рубища покрывали рамена их, ветр развевал власы их, пот и слезы струились по ланитам и, стекшись на запекшихся устах, умирали от дыхания пламенного стесненной груди витязей.

Михаил копал гряды для цветника царевны, сажал цветы, поливал их, берег, лелеял: это была должность его, наложенная ханом — победителем. Князь, лишась сладкого удовольствия управлять народом и делать его счастливым, смотрел с улыбкою, когда юная роза или лилия отверзали к нему свои объятия и кротко благоухали к своему творителю.

Михаил склонился; оперся на заступ свой, долго смотрел на небо лазуревое и на приманчивый свет месяца; на струи Дона тихого и листки фиалки, окропляющиеся росою.

«Творец мира сего,— вещал он, устремив взоры к небу и обратив к нему руки свои, как обращает юное алчу-

щее дитя к сосцам матери.— Творец мира сего и всех красот, в нем рассеянных! Почто все страны его населил ты радостию, и везде видна десница твоя отеческая? Почто в Орде кровожаждущей, среди народа дикого и зверского, непознавшего тебя и щедрот твоих, почто и здесь то же солнце, те же звезды, то же кроткое пение птиц и цветов благоухание, как и в России, где воздвигаются тебе храмы и на алтарях твоих курится фимиам сердечный?»

«Бог создал людей,— начал речь Феодор,— и оградил их крепостию мышц не для того, дабы они, подобно зверям хищным, ловили друг друга в добычу своему неистовству. Он повелел земле в недрах своих производить медь и железо для создания орудий к возделыванию земли, а не для того, чтобы мы мечами источали кровь один у другого и были виновниками бедствий взаимных!»

«Но что сделал я? — вещал Михаил,— почто привлек грозную десницу неба? Я любил мир, ибо я любил людей. Я жаждал покоя, награждал трудолюбие, и ни одна неистовая мысль любочестия или корыстолюбия не имела для себя ни одного биения сердечного. И оттого-то народ мой более уподоблялся пастырям стад, нежели воинам. Нашествие врага лютого погубило меня и всех совокупно».

«Предадим судьбу свою воле небес, и от них будем ожидать или отрады или конечной гибели»,— рек Феодор, подал с улыбкой утешения руку юному своему князю, и они воссели на холме, омываемом донскими струями, в безмолвии взирая на небо кроткое и волны едва зыблющиеся.

Уже ночь совершила половину своего течения, всеобщая тишина царствовала в долине, одни голоса пленников изредка колебали воздух; как вдруг узрели они: от шатров царских появились шествующая к ним царевна с своею верною рабыней. Белоснежная одежда ее, истканная серебряными цветами, украшенная драгоценными каменьями Востока, разливала вокруг ее сияние. Багряное покрывало висело по лицу ее. Она шла, очарование струилось по следам ее; легкое колебание груди подобилось пенистым волнам Дона, когда ветры раздирали воздух и громы ревели на тверди.

Такова была, повествуют греки, мать любви — Афродита, когда она впервые явилась в сословие богов небесных, и огнь восторгов просиял на лицах каждого, и солнце улыбнулось, и земля от веселия восколебалась!

Такова была, вещают славяне, юная Лада, дщерь Световида и царицы земли, когда она впервые, на берегах Буга, под счастливым влиянием неба, при восклицаниях целой природы, при кротком свете месяца открыла прекрасное лицо свое и дозволила счастливому Перуну, державному обладателю грома и молнии, разрешить девический пояс свой.

Такова была Зюлима в цвете юности своей. Она приблизилась к удивленным пленникам, остановилась и, одною рукой закинув свое покрывало, другую простерши к князю,—

«Михаил! — вещала она — и звук ее сладостного голоса был подобен звуку арфы под перстами опытного песнопевца мира: — Михаил!» —вещала она, сопровождая взором, пред которым бы звезды небесные преклонились, улыбкою, которою заря вечера кроткого никогда не озарялась.

«Зюлима! — вещал князь, восставая от земли с своим другом.— Царевна! что привело тебя в часы сии в места уединенные, к двум горестным пленникам? Или хочешь почерпнуть из сердец их сетования и, может быть, впервые узнать, что есть горесть жизни?»

«Когда ты,— рекла Зюлима,—в первый раз в шатре моего родителя говорил с ним, с тех пор начала я и никогда не преставала после того желать тебе счастия и удовольствия в мире сем, если только они еще для тебя существуют».

«Нет для меня более,— вещал Михаил,— на земле сей счастия и удовольствия!»

«Итак, ты все потерял?

«Все!»

«И невозвратно?»

«Как дни прошедшие!»

«Ты обманываешься»,— сказала Зюлима с кроткою улыбкою, и вскоре на ресницах ее засверкали слезы перловые, луч месяца осветился в них, они пали на ланиты ее, трепет разлился в груди Зюлимы, с жаром взяла она руку у князя.

«Ты обманываешься! — продолжала она,— ты был обладателем и опять будешь; ты был любим — и будешь еще более; ты был счастлив и можешь быть еще счастливее».

«Я?» — сказал князь с удивлением; и воспоминание дней прошедших разлило мрачное уныние на глазах его.

«Ты был князем Черниговским,— сказала Зюлима,— и будешь обладателем Золотой Орды; ты был любимым супругом, и Зюлима клянется любить тебя; она любит тебя со всем пламенем, какой может только вмещать сердце страстной женщины, дщери царя восточного!»

Ужас, недоумение, горесть разлились на ланитах Михаила и Феодора.

«Я не могу понять слов твоих»,— сказал князь, отступая от нее с трепетом.

«Вещай,— сказала Зюлима, обратясь к рабе своей,— вещай, верная Цара! От тебя не скрыта ни одна мысль твоей повелительницы, ни одно желание сердца ее».

Тут царевна опустила покрывало, села на холме благоухающем и оперлась рукою на померанцевое дерево. Михаил с Феодором стояли против нее. У всех сердца были сжаты, и одни тайные, едва приметные, но тем тягчайшие вздохи колебали их груди.

Цара начала:

«В начале весны протекшего года, когда Батый, державный родитель Зюлимы, возвратился на поля наши с победою, в пленных россиянах познали мы, что слухи о их варварстве и невежестве обличали нас самих в зверстве и невежестве. Царевна Зюлима любила говорить с ними и впервые познала связи народов образованных, связи семейные и государственные.

При первом появлении весны благословенной Батый начал снаряжаться под Чернигов, клянясь не возвратиться — не разорив города и не приведя князя Михаила на брега Донские служить ему вместо раба последнего!

Он двинулся; Зюлима в первый раз ощутила в сердце своем невольное трепетание; непостижимая тоска сопутствовала ей непрерывно.

«Кто таков Михаил?» — вопрошала она у россиян.

Громы похвал раздавались всюду, и царевна совершенно престала понимать свои чувства и отличать желания. Иногда, в неизвестном ей восторге, мечтала она видеть князя победителем; видеть, как он со знаменем и мечом в руках разгонял безобразные толпы ордынские,— и улыбка являлась на губах ее; но вдруг, представя неразлучные с победой россиян стыд и посрамление славы ее родителя, содрогание груди ее заставляло ее познать преступность своих желаний.

Иногда, вообразя погибель своих неприятелей, падение града их и священных храмов, омрачалась она горес-

тию, и слеза готова была пасть на зыблющуюся грудь ее; но представя князя пленником, представя, как она утешает его своими попечениями, как разделяет с ним тяжкое иго неволи и по времени заставляет его забыть отечество, дабы с нею познать счастие жизни, взоры ее пылали лучами радости, щеки покрывались пурпуром розы восточной и улыбка сияла на пламенеющих губах ее.

Среди таковых движений духа и сердца услышали мы приближения Батыя и с ним пленного Михаила с его избранными. Тогда никакая мысль не занимала царевны, кроме мысли видеть Михаила, и — на утро другого дня, как Батый, окруженный темными[1] вельможами двора своего, воссел на престоле величества, царевна Зюлима сидела по правую страну его; я стояла у ног ее.

Восклицания придворных и поздравительные приветствия их прекратились. Батый повелел, и Михаил, сопровождаемый Феодором и другими вождями, представлены пред лицо его.

Царевна взглянула на него; запылали щеки ее, сомкнулись ресницы, и она, раскрыв их чрез несколько мгновений, испустила вздох, мне одной только приметный.

«Пади ниц с твоими великими и ожидай повелений твоего обладателя»,— вещал Батый.

Михаил ответствовал:

«Я сын князя Российского и сам обладал народами, доколе гневный перст бога отцов моих не рассыпал грома над главой моею. Пред ним единым преклонял я колена, и ни пред кем более, ни пред повелителем целого мира!»

Ропот раздался в сонме вельмож; Батый дал знак, и молчание разлилося. Долго дума великая носилась по челу его; наконец суровый взор его осклабился.

«Неужели,— рек он к Михаилу,— неужели не познал ты силы руки моей и власти моей беспредельной?»

«Пройдет небо и земля, звезды и солнце, пройдет и власть человеческая! Поразить меня ты можешь, ибо я человек и слаб; победить меня — никогда, ибо я князь и христианин»,— Михаил ответствовал.

«Не противна мне речь твоя,— сказал Батый с кротостью, впервые в нем приметною,— люблю людей храбрых, и великость духа уважаю даже в побежденных. Надеюсь, ты переменишь мысли свои и тогда будешь первый

[1] Титло великости. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

после Батыя; теперь цепи спадут с рамен твоих; работа самая легчайшая на тебя возложится; в собеседники себе избери любимейшего из вождей твоих. Так велю я, ибо люблю людей храбрых и великость духа уважаю даже в побежденных!»

Долго Зюлима в шатре девственном на груди верной Цары рыдала об участи Михаила. С каждым наступающим днем возрастала мучительная тоска ее; с каждым восходом месяца удвоивались слезы ее, и наконец ясно познала я, что соболезнование к несчастному, но великому витязю обратилось в соучастие, соучастие в склонность, склонность в любовь, любовь в беспредельную страсть, ее пожигающую.

Сего вечера Батый, упоенный своим счастием и величием, повелел быть празднеству великому. Уже около торжественного ложа его воссели вожди и советники. Веселие разлилось на лице каждого: избраннейшие красоты Востока возлегли на златотканых коврах у ног владык своих и воспели песни сладострастные, сопровождая оные звуками бубнов и кимвалов. Шумная радость потрясла шатры блестящие, и сердце царево и великих двора его разнежилось.

Тогда Зюлима, подобно кроткой Гурии сада эдемского, берет арфу художеств цареградских, налагает на блестящие струны ее белоснежные персты свои; раздался звон сладостный, потрясающий, и тихий глас ее, подобный журчанию ветерка на листках юной розы, светлый глас ее коснулся слуху сопиршествующих. Все умолкло, дыхание каждого остановилось; Зюлима пела:

«Любовь! Не ты ли та повелительница мира, которой манием возникли из ничего народы с их племенами? Не ты ли созвала их воедино и дала почувствовать сладость общежития?

Ты связуешь сердца неразрывными узами сочувствия! Ты облегчаешь беды и горести! Ты возвеличиваешь счастие их и веселие!

Что может заменить тебя? Престолы и скиптры в глазах твоих ничтожны; власть и могущество, обладание целою вселенною не тронут сердца, тобою полного!

Что же может противиться тебе, любовь всесильная? Ничто! Встретит ли тебя свирепость кровожадная, власть ли тиранства воспретит тебе, гроб ли мрачный прострет к тебе свои хладные объятия: ты встретишь их со вздохом сердечным, с слезою блестящего и останешься победительницей».

Зюлима умолкла; но изумление господствовало, молчание царствовало.

Батый в восторге души своей простер к ней руку свою; Зюлима облобызала ее с детскою нежностию и преклонила колена.

«Что хочешь, Зюлима?» — вопросил он с величием.

Зюлима смежила взоры свои и склонила к персям главу свою.

«Сокровища мои у ног твоих, полцарства моего тебе да поклонится, да познают в тебе свою повелительницу»,— вещал Батый, поднимая ее в свои объятия.

«Сего мало для сердца моего, родитель! Я требую одного»,— рекла Зюлима, и невольным образом вторично колена ее преклонились.

«Чего же?»

«Возврати свободу пленнику твоему, князю Михаилу»,— вещала царевна, трепет потряс члены ее, она накинула покрывало и восстала в величии.

Хан и старейшины пребыли в молчании.

«Открыта предо мной душа твоя,— сказал наконец Батый величественно, но без гнева.— Я исполню желание твое, но потребую жертвы от Михаила».

«Какой, родитель мой?»

«Да поклонится Михаил Магомету и преклонит колена пред троном моим; тогда исполнится желание твое, ибо душа твоя открыта предо мною!» — вещал хан, встал от ложа своего и удалился в шатер покоя.

Цара умолкла. Колебание груди Зюлимы остановилось. Казалось, все существо ее устремилось к ответу Михаила. Он рек:

«Я славянин,— и это весь ответ мой!»

«Он очень темен»,— сказала царевна восставая, окамененная предчувствием.

«Как скоро начал я чувствовать себя, поклялся быть верен богу и отечеству, и с сим чувством сниду в гроб. Надеюсь, что мой бог и повелитель воздаст мне там, где цари и подданные, побежденные и победители явятся в природном образе своем!»

«Какой монарх на троне величия своего откажется быть обладателем Золотой Орды и Зюлимы!» — сказала она с кротостью, потрясшею душу Михаила. Жестокость не была основанием сердца его.

«Ни один! — вещал он,— кроме князя Российского, даже пленного!»

«И намерение твое непременно, вечно?»

«Как вечен бог, коему мы оба поклоняемся!»

«Я погубила тебя,— сказала Зюлима со вздохом,— я погубила тебя невозвратно; но и сама должна погибнуть. И если божества, создавшие россиян и ордынцев, освещающие Восток и Запад, если божества сии имеют между собою что-либо общее, то мы встретимся там, и, быть может, благость небесная тронет твое сердце!»

Она оперлась на руку Цары и удалилась. Издали слышны были глухие ее рыдания.

«Се жертва тебе, боже отцов моих! — вещал Михаил, и горькая слеза пала на грудь его,— се жертва тебе, мое отечество!»

Жестокое предчувствие объяло тоскою души Михаила и Феодора.

На утро следующего дня ввели обоих друзей в шатер ханский. Великолепие Востока блистало повсюду. Батый, окруженный вельможами, в царском венце блистающем, сидел на троне. Подле него Зюлима, бледная, как осенний месяц, трепещущая, как юный мирт от дыхания вихря.

Грозны и поражающи были взоры царевы; гром носился на губах его, и молния блистала в каждом взгляде.

«Недостойный раб! — возгласил он.— Небо уготовало тебе счастие, какого не получат все цари земли! Ты мог быть моим преемником и обладателем Зюлимы, дщери Батыевой, и ты ли отрицаешься?»

«Когда бы угодно было небесам,— ответствовал Михаил с твердостию,— чтобы ты соделался моим пленником, и после долгого томления предложил я тебе княжну от роду Славенского, был ли бы ты вероломным к божеству отцов твоих и поклонился ли мною исповедуемому?»

«Не требую умствований,— рек хан,— намерение мое твердо, и никакая власть света пременить его несильна. Вот трон мой, вот дщерь моя! Избирай: ложе ли брачное или костер пылающий!»

Феодор быстро взглянул на князя, пожал дружелюбно руку его и вещал хану, указывая на небо:

«Там наше ложе брачное!»

«Да будет так»,— вскричал Батый и восстал с ложа.

«Родитель мой!» — возопила Зюлима болезненно и обняла его колена.

«Не прикасайся ко мне, отверженная даже пленником! — вещал Батый, отторгая ее от себя.— Не прикасайся ко мне, пока не очищу твоего посрамления».

Он вышел, и все за ним.

Подле шатра царского, под открытым небом, возвышались два костра кедровые. Возженные пламенники вонзены в землю. Исполнители воли мучителя повлекли узников на костры, прикрепили вервиями руки их и ноги к столбам высоким. Пламенники коснулись кострам, и они воздымились; показался огнь и, восходя выше и выше, начал касаться несчастных. Ни один вздох, ни одна болезненная черта не изменяла лиц их!

«Еще время есть,— рек Батый,— спасти себя и друга; одно слово, и счастие окружит тебя своим сиянием!»

Узники хранили молчание; и се болезненный стон и вопль раздался среди народа и воинства. Телохранители раздвинулись, и Батый, обратившись, узрел — кто опишет ужас его и отчаяние? — он узрел Зюлиму, несомую четырьмя рабынями. Кинжал вонзен в грудь ее. Червленая кровь омывала сребристые ее одежды. Уста и глаза были сомкнуты.

«Злополучный я»,— возрыдал Батый и в изнеможении сил пал на руки воинов.

Царевну положили у костра Михаилова.

«Ты на месте смерти»,— сказала ей тихо Цара, и Зюлима открыла погасшие взоры свои.

«Михаил! — сказала она, простря к нему руку свою,— я отмщаю себе за твою смерть! Да будет душа твоя путеводительницею моей к жилищу бога твоего. В последние минуты жизни моей отрицаюсь веры ордынской. Помолись божеству твоему, да — простит детские мои заблуждения, наградит своим помилованием».

Таковы были последние слова умирающей.

Михаил, окруженный уже пламенем, его пожирающим, собрав последние силы свои, возопил:

«Боже! услыши молитву ее».

Его не стало, не стало и друга его, Феодора, и едва Батый отверз глаза свои, он узрел:

Огни уже погашены, и трупы Михаила, Феодора и Зюлимы простерты на земле.

«Их нет более! — восстенал он и растерзал ризы свои.— Христианин лишил меня дщери любезной. Он соделал меня несчастнейшим из подлунных обитателей. О! лучше бы Михаил похитил трон мой и достояние. В ле-

сах и вертепах скитался бы я с большим веселием, нежели царствовать над ордами всего мира. Да обрушится же гнев мой на Россию. Кровью жен и детей ее смою я с души моей пятна крови моей Зюлимы!»

Таковы были сетования его во дни горести лютой. Он не находил мира ни в кругу любимцев, ни красот двора его. Одни бранные звуки, ратные клики и кровопролития могли заглушить вопль совести и заставить забыть кровь дщери его, Зюлимы.

Он устремился на Россию. Долго свирепствовал в ней, пожигая грады и храмы божии; пока наконец праведное небо не послало мстителя. Кровожадный пал бедственно на полях Венгрии, и вскоре царство его, бывшее ужасом для стран отдаленнейших, рушилось от битв междоусобных.

Меж тем тела Михаила и Феодора, поверженные у холма прибрежного, покрыты были дланию вышнего. Тление с ужасом от них уклонилось, и они соделались алтарем, у коего правоверные потомки шлют мольбы свои к предвечному.

Вечер X Любослав

Прекрасная заря вечерняя воссияла на кротком голубом небе. Румяные лучи ее озлащали крепкие зубцы высоких башен града Турова и цветные кровли теремов князя Любослава. Игривый ветерок, резвясь в пространстве воздушном, колебал листья кедров высоких, спускался на розу благовонную и роскошно отдыхал в объятиях царицы цветов прелестных; вся природа, увеселяющаяся дневными трудами своими, простирала длани к вожделенному успокоению; один князь Любослав, подобно камню, ударом грома вседробящего отторженному от горной вершины, сидел у корня древнего дуба в глубоком безмолвии. Мрачное чело его подобно угрюмому холму, покрытому туманом осени дождливой, взоры его кидали молнии суровые, дыхание груди раздавалось окрест, как стон ветра в утлой гробнице безбожного! В пасмурном отдалении стояли погруженные в уныние два оруженосца

князевы: Велькар, отличный крепостью мышц своих, Зонар, славный мудростию советов.

Любослав восклонился на руку, подъял очи свои и воззвал к небу, звездами цветущему: «Почто, месяц любезный, так кротко помаваешь ты жемчужными власами, и вы, звезды сребристые, пускаете трепещущие искры над главой моею! Прелести ваши способны вливать в душу смертного радости живящие; но Любослав чужд всего, что называется радостию; в обширной стране своей он есть узник горести и томления. Покрой, о месяц, кристальное чело свое тучею непроницаемой; отклоните, звезды, яркие взоры свои от князя несчастного! Для духа моего способнее, вожделеннее блуждать в дубравах мрачных, под черным наметом пасмурного неба, озаряемым златою молниею. Велькар! Зонар! следуйте за мною».

Восстал и пошел, подобно столпу туманному, коего края озарены еще слабым светом заходящего месяца; спутники его за ним последовали.

Нощь прошла в путешествии. Северная звезда возблистала над востоком; полевые птицы воспарили к небу и воспели хвалу утреннюю непостижимому зиждителю всего прекрасного под солнцем. Спутники князевы хранили глубокое безмолвие; они не дерзали вопросить повелителя, куда направлены блуждающие стопы его? И се достигли они леса дремучего, готового принять их в мрачные недра свои. Князь хотел продолжать, как Зонар, достигнув его с преклонным видом, воспретил путь ему; удивленный князь остановился.

Зонар вещал: «Повелитель страны Туровской! куда направляешь ты стопы свои? или безвестно тебе, что благочестивый инок Иоил обитает среди дубравы сей?» — «Его ищу я,— отвечал князь,— с ним хощу беседовать, внять советам его и вопросить, как могу обрести паки утраченный покой мой. Ничто в мире сем не веселит меня. Я хощу уведать, не может ли надежда мира иного расторгнуть мрака, покрывающего душу мою. Шествуем!»

«Князь! — воззвал Зонар,— отец отца моего повествовал мне об иноке Иоиле; ни с кем не беседует он, как только с человеками! Совлеки багряницу с рамен твоих, отпояшь меч, щит и копие повергни долу: и тако быв человек, вопроси мужа мудрого о врачевстве для ран души твоей. Иначе шествие твое тщетно!»

Любослав, движимый некиим невидимым побуждением, впервые внял советам чуждым, совлек украшения блестящие и оружие крепкое и поверг у подошвы древа пустынного; оруженосцы подражали ему, и все вступили в обитель мрака дубравного.

До восхода солнечного продолжалось шествие их, и едва пурпуровые лучи вождя светил небесных озарили вселенную, они узрели долину злачную, в конце коей находилась пещера, дерном зеленым покрытая. По правую сторону оной извивался змиеобразный ручей, пенящийся по дну песчаному; по левую возвышался крест; у подножия его виден был малый алтарь, при коем, преклонив колена, праведный Иоил воссылал мольбы свои к предвечному. Путники не дерзали прервать благоговейных подвигов мужа древнего; в робком молчании ожидали конца жертвоприношения священного, а когда восстал он, князь Любослав, оставя оруженосцев при входе в долину, подошел к нему, преклонил чело до земли и вещал смиренно: «Святой обитатель дубравы! я пришел к тебе поведать скорбь души моей и просить совета: могу ли еще на земле сей обрести себе счастие? или оно уже не существует для меня в мире сем, исполненном неправды и разврата?»

Не мало мгновений праведный старец взирал на пришельца; потом, указав перстом на подножие жертвенника дернового, вещал: «Всякий несчастный есть любезный гость и сын мой. Сядь на сем камне и открой мне раны сердца твоего. Да познает врач великость болезни и тогда врачует! Владыка народа Туровского! еще есть время исцелиться: не удивляйся, что я познал тебя. Поседевший в испытании дел божиих не может не познать земного повелителя, хотя он обнажил себя от знаков власти и величия».

«Исполню повеление твое, священный житель дубравы; поведаю тебе состояние души моей»,— вещал князь. Старец сел на дерн воскрай повелителя и внимал словам его: «Десять раз уже земля умирала под жезлом зимы хладной и десять раз воскресала от животворного лобызания весны вожделенной, как я, по смерти родителя моего, воссел на престоле земли Туровской. С первых лет юности моей страстно возлюбил я славу бранную; взор отрока осклаблялся при блеске мечей булатных; слух его пленялся треском копий сокрушаемых; зависть терзала сердце мое, когда внимал я хвалебным песням

браннoносному Святославу или великому сыну его Владимиру или другим князьям и витязям земли Русской. Ближние двора моего юноши, мои наперсники проникли скорбь души моей и желали доставить ей успокоение. «Князь! — вещали они с доверенностью,— из светлых взоров твоих почерпаем мы жизнь и веселие; почто ж они помрачают души наши туманом уныния могильного? Что может беспокоить повелителя в прекрасных теремах его? Сила душевная и крепость телесная являются в каждом слове твоем, в каждом движении! Если красота некая уязвила браннолюбивое сердце твое,— повели, и одр твой примет ее в кроткие свои объятия прежде, нежели звезда полуночи осклабится на голубом небе. Друзей ли не достает тебе? Увы! сколь злополучны мы, если державный Любослав отвергает сердца наши, отвергает готовность нашу источить кровь до последней капли, если только возможем чрез то призвать радость в душу его и озлатить уста улыбкой удовольствия?»

«Верные друзья мои и товарищи! — ответствовал я сонму избранных,— благодарение небесам, я не могу роптать на недостаток в сердцах, мне преданных; мое же сердце затворено для прелестей девических! Славы жаждет душа моя, и я истаеваю в бездействии, подобно младенцу, рано отторгнутому от сосцов матерних; но не тщетной славы мирного пастыря, хвалящегося знанием слагать песни приятные,— славы бранной жаждет душа моя! Потомок Игоря, Олега, Святослава и Владимира не опочиет в мире, доколе страны далекие и народы разноязычные не вострепещут при одном имени его и вожди их не облобызают прах ног его! Но где открою я пути к славе сей блистательной? Пагубный мир в пределах Русских возгнездился; желанные брани умолкли; витязи остаются в забытии; сила и крепость преданы невниманию. Горе мне! кто покажет путь к снисканию славы воителя; кто успокоит душу мою в ее треволнении?»

Так беседовали мы в избранном круге друзей испытанных, за дубовым столом пиршественным, вокруг чаши меда сладкого, и в таких беседах протекли многие годы бездействия. Горесть моя с каждым днем возрастала и наконец готова была превратиться в отчаяние, как однажды Гломар, один из мудрейших в совете и отважных во бранях с вепрями и медведями, возвыся глас, вещал мне:

«Познаю из доблественных речей доблесть духа твоего; познаю в тебе великого потомка владык земли Славеновой. Не ропщи на мир губительный, оковавший славу твою цепями маковыми; мы должны расторгнуть их. Война, одна война может прославить имя мужа, не рожденного, подобно низкому пахарю, услаждаться постыдным покоем и негою.

Но да не признает тебя робкое малодушие соседей рушителем союза, ими любимого; изыщем способы, да другие начально воздвигнут на нас брань кровавую. Так великость их посрамления возвысит торжество наше! Достижение сей меты вожделенной беру я на свой ответ. На что и советники повелителю, когда не могут они изыскать средств к доставлению ему отрады сладостной? Вели седлать быстрых коней своих: мы отправимся на ловитву вепрей свирепых, к пределам лесов муромских, в дебрях непроходимых».

Вещал,— все мы склонились на желанные слова его: зазвучали рога, заржали кони на широком дворе моем; оруженосцы берут луки и копья, и дружина наша из тридесяти всадников оставляет Туров и обратилась к дубравам соседственным...

Два дня и две нощи пробыли мы под открытым небом; звери дубравные встречали нас ревом своим, мы напрягали луки крепкие; но Гломар советами своими останавливал руки наши. Пождите, вещал он; не расточайте стрел быстротечных; я найду для них мету лучшую.

С утренней зарей третьего дня стояли мы на самых рубежах муромских. Тогда всадники наши изгнали из лесного вертепа вепря свирепого: мы устремились к нему и, по желанию Гломара, преследовали его далеко за ров пограничный; вепрь сокрылся в дубраве; я устремился вслед ему; но верный Гломар, паки остановив меня, вещал: «Не для того третий день скитаемся мы в дебрях, сносим зной дня и хлад ночи, чтобы толикой дружине обогатиться добычей вепря единого. Князь! близко время славы твоей; окажи себя достойным потомком Святослава!»

По его велению мгновенно воспылал древний ясень и дуб ветвистый. В один час пламя показалось в двадесяти местах леса, ибо Гломар повелел возжечь огнь каждому из сподвижников, рассеянных по дебрям темных лесов. Ветр полуночный повеял: треск от пылающих дерев наполнил окрестность; искры налетели на нивы созрелые,

и все купно воспылало. Багровое зарево раскинуло крылия свои по небу муромскому.

Вскоре от весей соседних притекли пастыри и земледельцы отчаянные. С бледными лицами взирали они на огнь и простирали к нему руки, не имея других орудий к погашению. Они как бы умоляли его сжалиться над их хижинами, вблизи стоявшими. Гломар, приближась к ним на коне своем, вещал гласом угрожающим:

«Несчастные клятвопреступники! не господствует ли днесь союз мира между Туровом и Муромом? Не братская ли дружба заключена искони между владыками обоих княжеств? Почто же дерзнули вы вопреки условий пустить чрез рубежи свои вепря лесов Туровских и тако лишить нас славной добычи, а князя нашего желанного им увеселения? Вы еще не наказаны; если зверь, укрывшийся в дубраве сей, не будет вами живой или мертвый доставлен на границы наши, мщение жестокое, но праведное, постигнет тогда вас, жен и детей ваших!»

Мы оставили пораженных ужасом муромцев и с веселием пустились в обратный путь. Я не мог довольно возблагодарить мудрому другу моему, Гломару, за открытие толико близкого и надежного пути к храму воинской славы. С нетерпением юноши, когда он под кротким небом ночи майской, преклонясь к тополу серебристому, при каждом колебании ветвей его приятно содрогается, мня видеть идущую к нему его возлюбленную, давно ожидаемую: с таким точно нетерпением ожидал я послов от Миродара, князя Муромского. По велению моему рубежи туровские уставлены были полчищами юношей ратных; весь град наполнился звуком мечей, щитов и копий; везде раздавались песни победные, и я впервые опочил с сладостным биением сердца, мня вскоре видеть себя в венце победы.

Послы муромские не замедлили явиться на дворе моем; то были: старец, коего белая брада означала уже преклонность века, и два юноши в льняных одеждах, полувооруженные. Каждый из них имел по единому легкому копию, острием к земле обращенному.

Старец вещал мне: «Повелитель страны Туровской! Вина прихода нашего тебе известна; что угодно тебе: вонзить ли копия сии в землю, сокрушить ратовища и тако обнаружить добрый мир между народами; или острия их воздвигнуть кверху и дозволить брани насытить алчную челюсть свою трупами падших воителей? Ты разо-

рил часть владений наших; пожег пашни и хижины; священная справедливость требует да воздать должное обиженному. Миродар предает в волю твою: выдай нам три литры злата чистого или готовься встретить бурю военную. Народы отдаленные увидят тогда, куда промысл вышнего склонит перст победы!»

Речь сия, от лица владыки Муромского ко мне произнесенная, наполнила сердце мое восторгом радости. Гломар дал мне знак, и я принял вид гневный, раздраженный.

«Безрассудный старец!» — воззвал я с тесового крыльца своего.— Кто может предписывать мне законы, не испытав прежде крепости мышцы моей! Война кровопролитная да решит прю мою с Миродаром!» Послы подняли вверх остриями копья свои и медленно направили обратный путь. Тогда Гломар, осклабя уста свои, вещал: «Юный повелитель! не известны тебе хитрость и коварство Миродаровы. Познав, что ты ищешь состязаться с ним оружием, он мало-помалу будет понижать бесстыдные свои требования и тако отдалять минуту, когда должен ты венчаться венцом славы бранной. Благоразумие требует, да одним движением перста твоего пресечешь ему пути к миру, единому прибежищу для владык слабых».

Он востек спешно на коня своего и устремился со двора княжеского. Ратная дружина ему последовала.

Вскоре узрел я паки верного Гломара. Послы Миродаровы отягчены были оковами. Тщетно вопияли они о правах своих, нарицая их божескими. Ревностный друг мой не внимал буйным их умствованиям, и мрачная темница сокрыла их от праведного наказания за дерзость, оказанную ими в моем присутствии.

Свершив дело сие, я и воинство мое остаток дня провели в приготовлении к пути на брань свирепую. Раннее солнце озлатило шлемы наши вблизи рубежей граничных; к полудню хоругви наши развевались от воздуха муромского: толико спешно было шествие юношей, ищущих славы себе и своему повелителю.

С радостным предчувствием сердец вступили мы в землю враждебную и, не обретая никого, могущего нам сопротивиться, продолжали свое шествие. Внезапно небо померкло от стрел свистящих; топот и шум, треск и крик раздались отвсюду, и мы узрели себя окруженных ратию муромскою. Сеча была жестокая; кровь обагрила землю

злачную. Всадники мои падали стремглав с коней своих; изнеможенные утоляли жажду из ручья, текущего кровию друзей и неприятелей. Подобно вепрю уязвленному, вращался я во все страны; наконец конь мой пал, и я ощутил рану в бедре моем.

«Судьба неправосудная! — вскричал я в полной ярости своей,— неужели должно мне обратиться в бег постыдный?»

Собрав последние силы, оградясь щитом и воздвигнув меч, пробил я ряды вражеские и достиг рубежей туровских. Едва довлекся я до явора тенистого, силы меня оставили, меч и щит исторглись из рук моих, я пал на землю, и очи мои смежились бесчувствием. Падшая роса вечерняя раздражила рану мою; воспрянул я от сна смертного и окрест себя познаю Гломара и некиих из друзей моих. Огни возжены повсюду; ратники, разделенные на несколько дружин, возлежали на холмах и припекали раны тяжкие. В недальнем от меня расстоянии узрел я трофеи, составленные из одежд и оружий муромских; у ног моих стояло довольное число витязей вражеских, в одеянии блестящем; руки их скреплены были вервиями.

«Праведное небо! — воззвал я, обратясь к Гломару,— что значит все, мною зримое? или полчища мои?» — «Юноша неопытный! — ответствовал Гломар, заключа меня в объятия,— полчища твои рассеяны, как рассевается прах под крылом ревущего вихря, и се зришь ты остатки их на холмах. Но почто народу твоему знать участь, тебя постигшую, когда она неблагоприятна? Чело войны изменчиво. Сей раз воззрела она к тебе кровавым оком негодования за столь долгое твое бездействие; в другой раз осклабит к тебе уста свои, как невеста к жениху. Познай, что совершил я и что свершить намерен: муромцы, видя нас, одних поверженных, других рассеянных, спокойно направили путь к своей столице. Едва удалились они, я остановил ряды свои, собрал остатки воедино и паки обратился на поле битвы. По моему велению, все мертвые и раненые муромцы обнажены от одежд своих; оружие их тщательно собрано и, соединенное с оружием падших турян, воздвигло сей курган высокий. Тогда устремляюсь я к веси соседственной, похищаю старцев, юношей и пастырей безоружных, облачаю их в одежды знатных муромцев, коих лица представят они при торжественном вшествии твоем во град престольный. Уже посланы гонцы возвестить в нем твою победу и скорое возвращение».

Облобызал я Гломара, друга верного и вождя опытного. К ране моей приложено зелие целебное. Вся ночь прошла в беседе об ужасах дня минувшего. Наутро мы в торжестве двинулись к Турову; на третий день узрели высокие башни его.

Радостный вопль народа, мешаясь со звоном бубнов и кимвалов, колебал воздух. Старцы, юноши, жены и девы туровские вышли нам во сретение и усыпали путь цветами по моему велению; захваченные пастыри муромские — да не возвестят народу тайны сей победы — всенародно преданы острию меча. Взошел я в свои палаты белокаменные, и широкий двор мой покрылся пиршественными столами для воинства и народа. Яствы и пития были обильные; победные песни юношей услаждали слух мой. Торжественные огни воспылали на стогнах градских; упоенный радостию, возлег я на ложе свое. Колико сладостна мысль и о победе мнимой! Что же чувствует истинный победитель?»

Вечер XI

«Недолговременно было торжество мое. В часы той же ночи, при свете месяца полного, узрел я окрест себя тысячи теней окровавленных. Померкшие, свинцовые очи их ко мне обращены были. Тени простирали персты с угрозами, открывали изъязвленные перси и глухим, могильным гласом шептали: «Мы невинные муромцы, падшие под острием мучительного меча твоего! Кровь наша не отмщена еще!»

Хладный пот оросил чело мое. Члены мои отяжелены, как бревна дубовые. Мозг в голове моей превратился в лед. Мало-помалу начинаю ощущать биение своего сердца и, укрепясь бодростию, вопрошаю с гневом: «Чего хощете вы, ужасные изверги мрачного ада?» — «Твоего мучения!» — было мне ответствовано. Не прежде избавился я от сих мрачных духов-мстителей, как по явлении в чертоге моем зари утренней.

Но почто, праведный старец, удручать слух твой, обыкший внимать пению херувимов, обильным повество-

ванием моих горестей? С ночи той ужасной до сего времени враги мои меня не оставляют. В каждую ночь, едва возлягу я на ложе свое, они являются и время от времени становятся дерзостнее, неукротимее!

Бедствие мое поведал я верному другу моему, Гломару; удивление его было несказанно, и он вину всего возложил на мое малодушие. Изнемогая под тяжестию скорби, обтек я тщательно все храмы туровские, щедро раздавал дары обильные на украшение ликов угодничьих, чая получить и не получая облегчения.

Се зришь — я пришел к тебе. Если и твои молитвы не спасут несчастного, ему ничего не останется, как, повергшись в бездну отчаяния, совершить тако бедственную судьбу свою!»

Князь Любослав умолк. Он устремил в землю взоры свои и не дерзал воззреть на старца. Сей, пребыв некие мгновения в равном молчании, вещал:

«Державный повелитель земли Туровской! Прежде, нежели постигли тебя ужасы ночные, ты должен был помыслить, скольким ужасам дневным и ночным предавал ты на жертву своих подданных во все дни своего владычества? Ты жаждал славы. Похвально было стремление души твоей. Но разве слава приобретается хищением и убийствами? Какой злой дух внушил тебе сию мысль позорную? Не для того меч дан мужу сильному, чтобы поражать слабых и невинных; но да обороняет их от неправедных! Что есть князь славы? Он есть благодетель своих подданных! Кто жестоких честолюбцев называл славными? Нашлось ли хотя одно сердце, которое во внутренности своей благословляло бы неистового Нерона, безумного Калигулу, свирепого Тамерлана и бесчеловечного Аттилу! С ужасом и достойным проклятием произносятся имена сих извергов рода человеческого, и небесное проклятие опочиет на костях их до скончания веков! Неужели плавающее в крови человечество воздвигнет алтари чудовищу? Если бы ты дошел до такого безумия, что, подобно древнему Македонцу, коему гнусное ласкательство присвоило имя Великого, не ужаснулся наречь себя единственным сыном миродержателя, неужели возмнишь, что чернь, приносящая тебе жертвы, в самом деле боготворит тебя? Знай, честолюбивый юноша! почтеннее, стократ сладостнее остаться в хижине благим, добродетельным человеком, чем видеть воздвиженные себе алтари, в коих будут поклоняться тебе, яко

богу злобному, ненавистному. Что может прельщать тебя в участи дерзкого Светоносца, поставившего престол свой на Севере, напротив престола бога вседержителя, и после низверженного в пучины гееннские? Таковой-то славы жаждала душа твоя!

Итак, если ты хочешь исправить пути свои и быть счастлив, внемли, рассуди и повели: коварный потворник слабостей твоих, Гломар, со всею дружиною любимою, да изженется навсегда от двора твоего княжеского!»

«Как! мой друг, мой верный друг, Гломар!» — вскричал князь в недоумении и горести.

«Он самый! — ответствовал старец.— Он есть такой же друг тебе, как эдемский змей праматери Еве, когда он прельстил ее вкусить от плода познания добра и зла. На чреду Гломара возведи мудрого Дорада!» — «Как! того мужа сурового, который никогда не является ко мне без упреков?»

«Не делай преступлений, и упреки исчезнут! После сего иди ко князю Миродару; склони пред ним выю свою; награди семейства, тобою разоренные, заставь оные обилием своих благотворений забыть обиды, тобою учиненные; и тогда, надеюсь на благость небесную, ты можешь ожидать облегчения в своих горестях».

Князь вещал: «Таковое самоизвольное покорство пред князем муромским не покроет ли стыдом мою диадиму и не унизит ли славы моего народа?»

«Никогда! — верх славы порфироносца есть смирить себя в деле неправом. Такое пожертвование своим кичением любезнее пред взором судии звездного всех жертв твоих и коленопреклонений. Он воззрит к тебе оком отеческим, и ты примиришься с оскорбленным человечеством».

Вещал древний пустынножитель, и князь познал мудрость его советов. С благодарными слезами на очах пал он на выю его, и старец, исполненный духа провидения, сказал: «Сын мой! не истребляй теперешних чувств твоих, и ты будешь благополучен. О Любослав, потщись увериться в душе своей, что промысел вышнего не с тем посылает земле образ власти своей в равных нам сочеловеках, чтобы они искали мнимой славы в убийствах и опустошениях. Сын мой! каждая слеза подданного, невинно пролитая тобою, взвешена будет на весах бескорыстного правосудия. Сколь многими, сколь горькими слезами должен будешь некогда смывать следы своих заблуждений!»

Князь исторгся из объятий мужа священного и потек в свою столицу. Едва вступил он на пространный двор свой, повелел приблизиться к себе Гломару и избранной дружине его. Не знали тогда князи Российские ничтожной политики, греками изобретенной, чтобы отдалять от себя неверных подданных, не дерзая объявить вину своей немилости. Князь сам возвещал и гнев свой и милость. Любослав произнес пред всеми двора своего к Гломару речь сию:

«Ныне уверился я, что ты не можешь быть другом венчанного. Если б я был един из подданных, ты бы мог быть приятнейшим моим собеседником; но я повелитель, и ты не можешь быть другом моим; ибо любишь одного меня, а не целое отечество, коего главою поставлен я по воле провидения. Ныне признаю, что любящий в государе одного человека, не должен быть к нему приближен. Самая дружба, без всяких презренных побуждений корысти и любочестия, делает уже его льстецом опасным. Льстец, приближенный к повелителю, есть ядовитый змей, коего ласканиям никто верить не должен. Гломар! запрещаю тебе казаться взору моему совокупно со всею твоею дружиной; строгий муж, правдивый Дорад, да примет звание первенствующего вельможи при княжеском дворе моем».

Веления князей не коснели без исполнения: Гломар оставил Туров, и Дорад воссел на позлащенном стуле, в чертоге Совета. Вверив неутомимому Дораду бразды туровского правления, облеченный в броню ратника неизвестного, в сопровождении Велькара и малой дружины, Любослав оставил чертоги свои златоверхие, оставил врата туровские и устремился к лесам муромским.

Солнце небесное распустило уже власы свои багровые по небу вечернему. Оно готово было погрузиться в недра мрака вечернего. Унылый князь сошел с усталого коня своего и повелел у корней сосен и елей готовиться к провождению ночи. Мало-помалу ночь возлегла на лесах, холмах, долинах.

Князь вещал: «Не удивляйтесь скорби, наложившей печать свою на чело мое.— Целый день провели мы в путешествии, и ни одного туровца не встречали взоры наши с улыбкой веселия; всякий из них видел во мне своего повелителя, и все, издали узрев меня, укрывались в густоте древесной, как бы при встрече вепря лютого».

«И сие кажется дивно тебе, князь?» — вопросил Велькар с пасмурным взором.

«Не могу не удивляться; когда я с Гломаром исходил на ловитву вепрей и медведей, подданные мои стремились ко мне во сретение; восклицали радостными гласами, лобызали стремена у подошвы пят моих; веселие встречало меня и сопровождало до отдыха вечернего».

«Ныне,— ответствовал Велькар,— ныне истина начала тебе открывать чело свое. Или не сведом ты о средствах, употребленных для того, чтобы исторгнуть у народа знаки радости, прежде изъявляемой народом пред тобою? Познай же их: едва восседал ты на коня своего, а уже послушники Гломаровы, вооруженные бичами свистящими, рассыпались по граду, ударами принуждали мужей и жен идти тебе во сретение; научали их словам, каковые они должны были произносить пред тобою. Шуйцею отирая обильные слезы горести, десницу простерши к тебе в знак радости, окостенелым от ужаса языком они восклицали: здрав буди, князь благодетельный! И едва ты сокрывался, они падали на колена, воздевали длани к небу миротворному и с рыданием восклицали: «Боже праведный! или исправь его, или нас от него избави!»

Князь погрузился в думу тяжкую, и желанный сон далеко отлетел от места успокоения.

Протекли все пространство земли Туровской, и князь был встречаем одними зверями дубравными. Горе повелителю, когда подвластный ему народ страшится его!

От самых рубежей до града Мурома зрели они явления иные. Пастыри спокойно отдыхали при стадах своих и возвещали о страхе своем только при появлении волка или медведя. Витязи муромские, поражающие зверей кровоядных, познав в странниках послов Любослава, забыли вражду свою и обиды его. С братскою приязнию приветствовали они странников. Любослав вступил в чертоги Миродара и обрел старца, возлежащего при трапезе. Подле него, с правой стороны, восседали вожди и старейшины; с левой дщерь его единственная, голубоокая Гликерия, с подругами своими и нянями. На ланитах ее отливали розы весны пятьянадесятой.

Любослав вещал: «Повелитель земли Муромской! Державный владыка наш желает тебе мира и здравия. Если ты в чем обижен от него, он воздаст должное удовлетворение; ибо сердце его не жестоко. Возвести, чего хо-

щешь ты, и он склонится на твое хотение. Он хощет от тебя взаимно мира и дружбы долголетней!»

Престарелый Миродар ответствовал: «Послы неразумные! Неужели думаете вы, что князь, любимый народом, когда-либо может быть оскорблен иноземцем. Сердца подданных есть такой щит, которого никакие копья пробить не сильны! Не я обижен Любославом, но он сам собою. Так! он истребил часть лесов моих, разорил несколько моих подданных, но они нимало не несчастны. Для чего ж владею я народными сокровищами, как не для вспоможения им во время нужды? Се дщерь моя — Гликерия! Зрите ли хотя одно украшение на ней от злата, маргарит и камней цветных? Одна роза, возникшая под рукою ее, украшает грудь девическую. Из сего познайте вы, что даровать мне мир Любослав не властен. Я в мире сам с собою и с моим народом! Какого ж мира еще он может желать мне?»

«Но,— вещал удивленный Любослав, и смятение разлилось по высокому челу его,— он требует от тебя мира и дружбы!»

«Дарю мир, но не дружбу! быть другом честолюбцу и неразумному, неограниченному — и вредно и поносно».

«И се последние речи твои?»

«И твердые, как сей меч, висящий при бедре моем».

Любослав, преклонив выю, изшел из чертога с унынием. Дружина его за ним. Шли они посреди двора, и се настигает их чашник княжеский: «Мужи туровские! — воззвал он,— и вы и кони ваши от дальнего пути утомились. Миродар приглашает вас опочить в сей храмине, на дворе его. Вкусите яств и испейте меду сладкого. Князь наш обык не отпускать со двора своего утомленными и тех, кои притекают к нему с объявлением войны жестокой. Неужели сделает то с вестниками мира?»

Предложение принято с доброхотством. Три дня провели они в пиршествах. Любослав, восседящий за столом княжеским, с каждым мигом пролетающим более и более впивал в себя отраву любви из светлых взоров княжны прелестной. Познал Велькар новую язву сердца его, и князь поведал ее причину.

«Бежим, князь,— вещал он,— бежим поспешно, пока есть еще возможность. Миродар никогда не склонится наречь тебя сыном своим: толико и одно имя твое ужасно для его слуха. Тщетно будешь ты истаивать в мучи-

тельном томлении, и луч отрады не осветит мрака души твоей».

«Или погибну — или буду обладать красами Гликерии!» — сказал князь с решимостию и удалился в чертог покоя.

Но покой удалился от ложа его, и дремота сладкая не посетила вежд князя томящегося. Тысячи предприятий вращались в мыслях его. Едва останавливалась решимость его на одной мысли, внезапно с другой страны являлось сомнение; он отвергал первое и устремлялся к последнему.

Тако страждущий пловец, сражаясь с волнами моря бурного, между обломков корабля разрушенного видит доску утлую, слабую держать его на зыблющемся хребте бездонной влаги, и объемлет оную с веселием. Он оставляет ее, поспешая к древу огромному. Оно сильно сдержать его, но длани человека не могут обнять во всю толстоту его: они скользят, и несчастный по необходимости предается на произвол ревущей бездны.

В таковом состоянии духа был Любослав недоумевающий, как златое солнце простерло взоры свои в чертог покоя. Велькар с дружиною явился внять повелениям владыки своего, и князь воззвал: «Идем в чертоги Мородаровы. Хощу испытать, конец ли моим бедствиям или неумолимая доселе судьба до конца пролиет на меня фиал гнева своего».— Они приблизились к высокому престолу князя Муромского, и Любослав вещал:

«Державный повелитель Мурома! Доволен я твоим угощением; много обязан твоею ласкою. Но истинная вина моего прибытия доселе тебе не известна. Достоинства несравненной дщери твоей достигли до слуха моего повелителя. Он хощет сохранить с тобою мир и дружбу на времена грядущие.

Любослав моими устами предлагает тебе желание сердца своего разделить с нею престол и судьбу свою! Что возвещу я владыке Туровскому?»

Миродар пребыл в молчании. Взоры его обращались переменно то на мудрых советников и на милую дщерь свою, то на вестника Любослава. Наконец он ответствует:

«Возвести благодарность мою владыке Туровскому за его добрые мысли о дщери моей. Но купно уверь его, что она не создана сделать его благополучным. Она воспитана посреди мирных теремов моих и никогда не слыхала

звука трубы бранной. Подобно юной незабудке, цвела она под питательною тению любви родительской. Сердце ее ужасается природной мысли о кровавых подвигах. Любослав жаждет славы бранной, и громкие вопли победные нежат слух его, как журчание ручья кроткого услаждает путника во дни знойные».

Любослав вещал: «Повелитель мой пременил путь ко счастию. Душа его жаждет теперь тишины благословенной. Когда соединит он силы свои с силами муромскими, тогда хищные соседи не дерзнут подъять против кого-либо из вас копий брани, и так мир крепкий оградит сению своею оба княжества и их повелителей!»

«Что возвестит на сие дщерь моя?» — рек старец, обратясь к Гликерии.

«Родитель мой! — вещала княжна с преклонными взорами, и ланиты ее покрылись белизною лилии, сердце трепетало сильно в груди прекрасной.— Родитель мой! если и теперь будешь ты ко дщери своей толико ж милостив, колико был доселе, если насилие противно сердцу твоему, чуждо твоему родительскому, доброму сердцу, то не делай меня несчастною! Соединение с князем Туровским погубит меня, как погубляет блеск молнии едва возникшую из матерних недр земных юную незабудку».

«Не огорчу дщери единственной, дщери любимой,— рек князь и восстал с седалища.— Возвести о сем твоему повелителю».

Гликерия поверглась в отеческие объятия; советники радостно воскликнули. Любослав исторгся из чертога с дружиною; мрачная туча сердечной скорби покрыла чело его.

Вечер XII

Повелеть громам, пробегающим поверх утесов кремнистых, да умолкнут; или палящему перуну, да сокроет в облаках свинцовых смертоносные очи свои; или вихрю неукротимому, да сложит на чело земли крылия свои быстропарящие,— возможно власти единого миродержателя!

Повелеть буйному движению сердца своего, пылающего гневом или мщением, да укротит порывы неистовства; или духу своему мятущемуся кичением любочестия, да смирит его браздою любомудрия; или предрассудку закоренелому, да откроет очи дремавшие и узрит истину в свете ее,— достойно мудрости мужа великого!

И таков, ко славе своей и счастию народа подданного, явился Любослав и в духе и в сердце своем. Под различными предлогами отдалял он день своего отбытия из Мурома. Миродар был доволен его присутствием. Любослав повествовал ему и дщери его о доблестях ратных великих предков крови Славеновой, о их презрении к бедствиям, скромности в торжествах победных.

Миродар осклаблял старческие уста свои и наконец сказал: «Поразить злодея, умышляющего на нашу свободу; презреть пораженного и даровать прочный мир народам; в сем только полагаю я истинную славу мудрого ратоборца».

Наконец Любослав оставил чертоги Миродаровы. С каждым мигом, отдалявшим его от стен Мурома, гордость и надменность его исчезали. Достиг он рубежей туровских и воззвал к дружине своей: «Друзья мои и сподвижники! Да будете вы свидетелями клятвы вашего повелителя. Отныне славу свою да поставлю я в обладании народом счастливым; богатства мои да измерю любовию народа моего; победы мои да взвесятся на весах великодушия! Не сокрылось от взора моего, сколько в области Туровской полей невозделанных, лесов неочищенных; ибо руки, долженствовавшие управлять плугом и секирою, отягчены были мечами крепкими и копьями дебелыми: суетное украшение чертогов княжеских! одна любовь народа да будет отныне моею стражею!

Да изженутся из столицы моей певцы польские и плясавицы богемские! Они питались по́том моего доброго народа. Богатства мои бесчисленны: да идет един из вас и на рубежах женолюбивых греков обменит их на злато, и серебро, и сельские изделия. Познаю мудрость Миродара: все мое — не есть мое, а моего народа; я страж верховный и распорядитель его сокровищ».

Так вещал Любослав, и сопутники воссылали молитвы к богу милосердия за премену сердца его, толико вожделенную.

О, колико могущественна любовь в сердцах открытых, в душах мечтами невозмущенных!

Златовидное солнце бросало уже багряные лучи свои на вершины дубов и вязов, и князь, среди мрачной дубравы, совсем неожиданно узрел селение многолюдное. Там, где дикие вепри и медведи основали древле жилище свое, ныне ликовали мирные пастыри и оратаи. Старцы, увенчанные класами пшеницы, возлежали при корнях древесных. Юноши и девы веселились в плясках отцов своих. Отроки, украшенные цветами сельскими, стояли подле старцев с сосудами меда пенистого. Сладкие звуки свирелей окрест раздавались.

Един от старейших, узрев прибытие воинов незнаемых, вещал: «Кто бы вы ни были, странные витязи, воссядьте с нами. Се день торжества по окончании жатвы; се день благодарности нашей к богу милосердному и к князю Любославу, ущедрившему нас миром и счастием!»

Едва произнес он слова сии, сонм юношей возгремел в пении: «Да будет первая хвала богу великому и всеблагому, вторая — князю мудрому и милостивому. Долго стенали мы под тяжестию лат железных и не могли воззреть на солнце божие из-под тени шлемов наших. Се повелел владыка Туровский, и мы паки в объятиях родства, дружбы и отчизны».

Девы ответствовали им кротким, упоевающим пением:

«Долго сердца наши жертвовали тоске о вашем возвращении. Тонки и ломки стебли розы и лилии; настанет буря свирепая, куда они преклонят распускающиеся недра свои, если широколиственный дуб не укроет их под щитом крепости своей? Да будет первая хвала наша богу, вторая — князю!»

Крупные слезы пали из очей князя и струились по его ланитам. В первый раз познал он, сколь сладостно мужу венчанному быть между его народом во образе бога благости! Но он не постигал, как мог заслужить любовь всеместную, когда едва только предпринял о том помыслить.

Два дня шел он путем своим, и верхи стен Туровских возблистали. На каждом шаге зрел он подданных счастливых, веселящихся о князе своем.

И се железные врата столицы отверзлись. Старцы, мужи, жены и девы с отроками изшли ему во сретение. Седовласый Дорад, приближась к нему, вещал:

«Велик бог! О, князь земли Туровской. Я раб твой и готов облобызать прах ног твоих; но ты благороден,

я люблю тебя: дозволь пасть на выю твою. Под сим отверзтым небом, при взорах сего народа, я дам отчет в управлении моем твоим достоянием. Ни злата, ни серебра, ни тканей драгоценных, ни камней самоцветных нет у тебя более: все обращено на пользу, а не на суетность. Все обменял я на любовь к тебе народную!»

В величественном молчании князь низшел с коня своего, преклонил колена пред изображением божиим, держимым в руках верховного священнослужителя, и воскликнул:

«Туряне! народ храбрый, великодушный! Я, по богу, отец ваш. Дорад! благородный муж и друг мой! я буду в собственных глазах достойнее, когда удостоюсь получить от тебя имя друга и брата младшего!»

Проходя широкий двор свой, князь с удивлением увидел крайнее малолюдство. «Где же,— воззвал он,— телохранители мои многочисленные? где псари мои? где трубачи, всегда встречавшие меня у прага чертогов?»

«О, князь! — вещал Дорад,— всех зрел ты у врат двора твоего. Все излишнее, а потому и вредное, удалено от чертогов твоих. Я желал, чтобы телохранителями твоими были — все туряне, а ныне все они таковы. На что тебе звуки трубные? Глас любви народной стократно любезнее. На что тебе шуты дворцовые? Кто любим, тот не имеет нужды в постороннем рассеянии».

По крыльцу тесовому взошли они в чертоги пространные. Удивился князь, узрев послов всех соседних князей и даже от стран отдаленных. В знак чести достойной преклонили они главы свои, и един из них вещал: «Здравия и долгоденствия могущему Любославу, владыке Туровскому, желает повелитель мой и весь народ его! Се посылает он тебе дары свои и хощет слова твоего княжеского о продолжении к нему дружбы братской и мира для его народа!» — «Уста его изрекли и наши слова»,— воскликнули другие послы и предложили дары свои.

Любослав ласково принял предложения, повелел одарить каждого по достоинству и отпустил их, воссылающих ему хвалу и благодарение.

«Князь! — начал речь Дорад седоглавый,— се зришь ты разность между истинным и мнимым величием. Кто из владетелей российских искал доселе союза твоего и дружбы, когда ты появлялся народу, окружаемый стеною твоих оруженосцев? Днесь, когда нет при тебе ни единого телохранителя, днесь присылаются к тебе послы от

стран далеких, да испросят и мир и дружбу! Какая вина сему? Они познали, что теперь ты могущественнее всех их; ибо весь народ твой есть твой сильнейший телохранитель!»

Успокоясь от пути дальнего, князь воссел на престоле правосудия. Чертоги его были открыты всякому, не взирая на одежды златотканые или рубища ничтожные. Всякая неправда, пред лицом его произнесенная, достойно была наказана. Вскоре познали все, что князя Любослава обманчивою личиной обольстить невозможно, и преступления постепенно умалялись, и к исходу зимы суровой князь не зрел уже у подножия престола своего ни обвиняющих, ни обвиняемых. Одни друзья избранные, с искренними сердцами и светлыми лицами, окружали блестящий престол повелителя.

Воссияла весна желанная на лоне земли Туровской и кроткою рукой украсила холмы и долины, травою злачною и цветами прелестными. Забилось сердце повелителя с новою силою,— он вспомнил о Миродаре и о любезной дщери его.

«Седлайте быстрого коня моего,— воззвал он к Велькару и дружине,— заутра идем в страну Муромскую, к доброму князю, Миродару гостеприимному».

Паки седовласый Дорад принял в руки свои бразды правления. Князь и сопутники его отправились путем своим. Шествие их было мирно; хвалебные песни встречали их; благословения сопровождали.

Быстрокрылая молва, носясь по весям и дебрям, по холмам и долинам, возвестила всем о вступлении князя Любослава в пределы земли Муромской. «Благословенно шествие его,— вещал Миродар, обратясь к друзьям своим.— Ныне повелитель Туровский переменился; из надменного, гордого юноши он учинился примером вождей и повелителей. Если он и до сих пор не охладил любви своей к моей Гликерии, я, испрося благословения у небес, вручу ему руку ее и нареку любезным сыном своим! Идите, оруженосцы, ему во сретение. Поведайте, что врата двора моего отверзты и готовы столы мои с яствами обильными и питием сладким!»

Пала хладная роса вечерняя на лоно розы пустынной. Зарыдала Гликерия в девическом тереме своем. На влажных ресницах ее плавали сребристые искры месяца светлого; она вещала к нему: «Прелестен взор твой, светило любезное; катишься ты на равнинах неба безоб-

лачного! Никто не совратит тебя с пути избранного. Такова цвела я доселе, в чертогах отца моего. Но что зрю я? Почто ты дозволяешь облакам мрачным расстилаться по светлому челу твоему? Ах! видно и над тобою власть высшая».

«Прелестная княжна! — вещала к ней верная мама ее.— Что значит скорбь, носящаяся на лице твоем? Колико счастлива ты, если князь Туровский изберет тебя супругой! Прелесть власти и господства украсит жизнь твою».— «Увы! — Гликерия ответствовала.— Стократно была бы я счастлива, не быв дщерию повелителя! Познай, верная подруга детства моего и наставница,— скорее сойду я во гроб, чем опочию на ложе Любослава. Сердце мое невольно отдалось иному. Обладатель его есть бывший у нас вестник двора Туровского. Почто родитель мой дозволил мне видеть его? Почто ежедневно угощал его за столами нашими?»

Болезнующая мама идет в чертог своего повелителя тайными входами и поведает ему состояние души дщери его прелестной.

Несказанно поражен был князь во глубине души своей. «Что предприемлю я? Кого огорчить вознамерюся? Благородного ли соседа моего, князя Любослава, или дщерь единственную? В каком затруднении бывает иногде сердца родителя!» — Часть ночи провел князь в совещаниях с своими друзьями, и звезда утренняя нашла его бодрствующим.

Наконец вещал он: «Не забыл я слов родителя моего, вещавшего устами предков своих, что повелитель миров, если провидению его благоугодно поразить сердца смертных горестию, избирает предметом гнева своего мужей крепких.

Они поразятся, но не падут под ударом поражения. Сердце жены есть стекло ломкое: оно прекрасно, доколе не сокрушено; малейшая неосторожность — и его нет. Откажу Любославу в его требовании. Народ мой сжалится над старцем венчанным и не возропщет. Любослав мудр и не восхощет умножать моих горестей».

Тако рек князь, и широкая дверь храмины его отверзлась быстро. Окруженный юношами туровскими, Велькар является в броне блестящей. Он предстает князю и вещает:

«Мир и благоденствие и владыке и народу Муромскому! Князь земли Туровской, повелитель мой, притек

уже на широкий двор твой; но пиршества твои ему не надобны. Дотоле не сойдет он с хребта ратного коня своего и не вступит в светлые чертоги твои, доколе не наречешь его желанным зятем своим. Если сие не угодно тебе, он обращается вспять; но пребудь покоен, и желания отъезжающего будут исполнены сердечного желания тебе мира и благоденствия».

Умолк. По некотором размышлении Миродар ответствовал:

«Если бы соизволения судьбы сопровождали всегда желания смертных, то участь их была бы подобна блаженству жителей неба. Объяви повелителю твоему и дружбу и любовь мою братскую; но дщери моей не отдам ему. За счастие принял бы я от неба возможность иметь Любослава сыном своим; но он не восхощет насилия: сердце дщери моей передано уже Радиму, бывшему послу его при дворе моем. Клянусь прахом отца моего, Радим будет супругом Гликерии и наследником престола муромского».

Вняв речи сии, Велькар улыбнулся. Не сделав обычного преклонения пред повелителем, быстро исторгся он из храмины. Негодование разлилось во взорах князя и советников. Таковая дерзость была неслыханная, и Миродар предвидел в ней явное объявление войны кровавой. В кротком сердце его вращались чувства различные. Как соединит муж добродетельный две противоборствующие страсти: любовь ко дщери и любовь к народу! Он зрел милую Гликерию, со слезою восхищения восходящую на ложе брачное; но, увы! ложе сие плавало в крови народа, и огонь свирепствовал в чертогах.

Не мог он произнесть еще ни единого слова, как является витязь величественный, в стальной броне, украшенной сребром и златом. Вокруг тяжелого шлема его иссечена была хитрою рукой златая диадима княжеская. Приближась к князю, преклонил он колено и вещал: «Если правдивы слова твои, повелитель Мурома, что сердце Гликерии прелестной склонно к Радиму, то сей благополучный смертный предстоит пред тобою. Познай в госте твоем, Радиме — Любослава Туровского!»

Восстал он. Миродар с радостным криком пал на выю его. Витязи и советники восплескали; веселые трубные звуки раздались повсюду.

Скоро вняла Гликерия вине толикой радости, и сердце ее, дотоле оледенелое, сладостно затрепетало в груди лебединой.

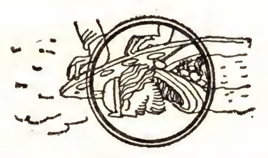
В тот же день благословение священнослужителя соединило их узами любви и счастия.

Так Любослав познал наконец, что единая кротость и милосердие к народу могут осчастливить повелителя.

Протекли дни пиршеств обычных, Любослав оставил веселые чертоги Миродаровы, потек ко граду отеческому и с кроткою, прелестною супругою воссел на престоле отцов своих. Явился к нему праведный пустынножитель Иоил и вещал:

«Благословение неба и земли да почиет на главе твоей, повелитель! Днесь уверилась душа твоя, что не в победах бранных, не в торжествах кровавых, не в имени завоевателя приобретается счастие владык земли! Пройдут месяцы и годы, пройдут веки целые; медь и мрамор сокрушатся, истлеют кости и в прах обратятся; все исчезнет, кроме воспоминания добродетели или злодейства. Отдаленнейшее потомство или прославит или предаст проклятию души наши».

Блажен, стократно блажен тот, кто целыми племенами, по разрушении земного бытия своего, от беспристрастного потомства наречен будет добродетельным! Истинный, великий судия мира не отринет его от отеческих взоров своих.



Вечер XIII **Игорь**

Быстротекущие крылия твои, о счастие! Полет твой есть полет молнии! Кто из сынов и дщерей земли дерзнет подать законы твоему стремлению? Кто из великих мира сего наложит цепи на легкокрылые ноги твои и прикует к жизненной колеснице своей? Никто, ниже́ из багряноносцев земли Славеновой! Единый перст обладателя вселенной указывает пути полету твоему, вратящееся счастие!

Туманом покрыты были власы востекающего над градом Киевом Световида. Сизый Днепр с глухим ревом медленно катил в берегах волны свои; умолкло пение птиц сладкогласных. Один вран чернокрылый издавал вопли по дубраве, и хищный волк вторил ему грозным завыванием.

Востекла юная супруга воюющего Игоря, князя Киевского, прекрасная Ольга, с одра златотканого. Мрачными взорами узрела она с высокого терема своего и горы и долы киевские, и волны днепровские, и дубравы тенистые. Воздохнула она об отсутствии супруга своего, ратующего в пределах земли Древлянской. Давно уже златоверхий терем ее обезлюдел, и ложе брачное охладело.

«Друзья мои советники,—вещала она к избранным старейшинам двора князева,— сердце мое ноет в груди мятущейся, и слезы текут из очей моих, дабы, подобно перловому ожерелью, унизать выю мою. Горькое чувство скорби непредвидимой ослабило руки мои, и я не могу простерть их для объятий юного Святослава. Знамения утра сего суть отголоски ночи той, в которую узрел меня впервые Игорь воинственный. Ах! они были тогда предтечами моего счастия; теперь должны быть, по вещанию премудрых, вестниками горести безутешной! Внемлите словам моим и, если можно, советами своими утешьте сердце жены любящей и любимой.

Ревел мутный Волхов в берегах своих; молнии терзали покров неба ярящегося; град сбивал ветви с дубов и елей долговечных: гром рыкал среди областей небесных ужасно и заглушал рев бесчисленных стай медведей, обитателей лесов великого Новаграда. В дожде беспредельном горько рыдала природа, подобно сетующей невесте, грядущей за гробом жениха своего, несомого с поля брани.

В утлой хижине отца моего обитала я на брегу Волхова. За две весны пред тем сошел он в могилу, оставя мне хижину, ладию и сети рыболовные — все достояние рыбаря убогого. С трепещущим сердцем, преклонив колена, воссылала я мольбы пред скудельным изображением Перуна громовластителя. Мгновенно дверь хижины растворяется,— и, при беспрерывном блеске молнии, я зрю юного витязя, в броне серебряной, опоясанного мечом грозным. Ни сам свирепый Ний [1] не потряс бы толико робкого сердца моего своим появлением.

«Дщерь славенская! — вещал витязь,— не покрова ищу я в хижине сей; сердце твое да успокоится! Воинства, мною предводимые, как скоро Зимцерла осветит мрачную ризу ночи сей, сразятся с врагами отечества. И враги и друзья на другом берегу Волхова. Без меня, вождя своего, рассеются они по дубравам и долинам, как

---

[1] Славенский бог ада. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

стадо голубей от стада вранов хищных. Громы и молнии, бури и сумрак не воспятят вождю Росскому притечь к воинству своему в часы битвы кровавой; я должен быть на другом берегу. Знаю, сколь мышцы твои слабы рассекать веслом волны пенистые; я управлю ладиею; ты объявляй мне путь, по коему может течь она, не подвергшись мелям и преткновениям».

Мы взошли в ладию малую. Витязь напряг крепкие мышцы свои и по моему указанию рассекал волны свирепые. Долго боролся он с враждебными стихиями; наконец — благодарение грозному Посвисту[1]! — восходящее из-за туч солнце осветило нас на другом берегу Волхова. Витязь долго взирал на меня взором внимательным и вопросил потом: «Имя твое, прелесть незнакомая?»

«Ольга, имя мое»,— ответствовала я; и непонятный трепет разлился в груди моей; и я чувствовала пурпур, озаривший мои ланиты.

«Кто располагает твоею участью?»

«Воля богов небожителей!»

«Богиня Лада не венчала тебя розовым венком своим?»

«Девический пояс мой не разрешен еще».

При сем витязь снимает с себя цепь златую, возлагает на выю мою и гласом, подобным гласу арфы сладкозвучной, вещает мне: «Ольга! я странник здесь и ничего не имею оставить тебе в знак памяти за твою услугу! Береги цепь сию. Если я паду теперь на битве кровавой, ты вручи ее жениху своему; если же останусь победителем, не замедлю явиться к тебе и обменю залог сей другим, тебя достойнейшим. Взойди в ладью свою и спеши в хижину. Скоро брега сии застонут от воплей поражающих и стонов пораженных».

Так вещал витязь, запечатлел поцелуй на ланите моей и скрылся в чаще дубравной. Медленно плыла я по укротившимся водам Волхова; течение струй его направляло ход ладии моей: ибо возможность управлять веслом моим — забыта.

В продолжении двух грустных дней, от зари утренней до зари вечерней, склоняся на пень дуба древнего, сидела я на брегу мутного Волхова. Прелестный Погода[2] развевал власы мои по груди трепещущей. Цветы благоухали; кроткие волны резвились в объятиях брегов сво-

---

[1] Славенский бог ветров. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] Зефир славенский *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

их; но я ничему не внимала. Блуждающие взоры мои обращены были на отдаленные леса и горы, отколе чаяла я узреть или любезного витязя, или величественную тень его: ибо он при расстании нашем обещал мне или то или другое. Мне казалось, что прощальный поцелуй его все еще пылал на моей ланите.

Настал и третий день, и при восшествии на небе нашем светила великого вняла я громким воплям на бреге отдаленном. Сердце мое содрогнулось, и я не дерзала возвесть взор свой на место опасное. Постепенно гул, шум и говор людской, ко мне приближающийся, меня ободряют; я восстаю от дерна цветущего — и зрю у ног моих витязя, мне любезного. Он окружен был мужами доблестными, в доспехах ратных. Изумление мое было неописано. Он берет цепь свою с выи моей и возлагает на свою. Снимает перстень с руки своей и, вручив мне, взывает: «Се залог благополучия славян и их племени. Ольга, сегодня будешь ты моею супругою! Я — Игорь, повелитель великого Новаграда и всей земли Славенской».

В полубесчувствии пала я в объятия витязя державного; последовала за ним во град великий, в чертоги княжеские, и с слезящим взором благодарности к богам покровителям воззрела на восходящую звезду вечернюю с высокого ложа Игорева».

Быстротекущие крылия твои, о счастие! Полет твой есть полет молнии! Куда отвращаешь ты ясные взоры свои от ложа Ольги державной?

Пыль подъемлется высоко на дворе княжеском, и задыхающийся вестник, вторгшийся к княгине, вещает: «Бери на руки младого сына своего Святослава и теки во сретение отца его. Он с дружиною стоит пред вратами града Киева. Грозно чело его, подобно туче, и безмолвны уста, кажется, предвещают удары гибельные. Иди ему во сретение».

Прижав юного сына к родительской груди своей, пораженная Ольга, в сопутстве бояр и детей их, исходит со двора княжеского.

Быстро протекает она стогны града обширного и является на брегу Днепра быстротечного.

Храбрая дружина узрела ее, и глубокий стон раздался по долине. Мрачные взоры воинов и крепкие руки опустились. Они разделили ряды свои, и се — на песку сыпучем, на четырех железных щитах распростерт был ви-

тязь, подобно крепкому кедру, падшему при корне от удара громового. Бледны были ланиты его; блестящие некогда доспехи покрыты пылью и кровию; сомкнувшиеся уста, казалось, грозили еще врагу дерзновенному; глава его покоилась на златом щите; у ног его лежали копие, меч и колчан без стрел.

Приблизилась Ольга к смертному одру витязя, преклонила колена, облобызала уста хладные, очи помертвелые, рану на груди, облитую кровию, и, встав, рекла к воинству: «Идем ко граду престольному! труп его хощет тризны, дух его алчет мщения! Тень великая, успокойся. Ольга доставит тебе и то и другое».

Она восстала в безмолвии; воины подняли на рамена свои одр витязя и обратились к Киеву. На челе Ольги не видно было ни черты горести; во взорах ее ни тени печали. Толико беспредельны были и горесть и печаль Ольги державной.

Познал Киев потерю свою невозвратную, и вопли скорби и сетования разлились на широких стогнах его. Быстро отверзлись врата железные, и мужи, и старцы, и жены, и девы, подобно валу Днепрову, гонимому крылом Посвиста, пошли на сретение дружины ратной. Воззрели они на одр высокий, и вопли и стоны потрясли ветви дубов и вязов прибрежных. Они воспели песни горести над прахом мужа великого.

Воины: «Пал витязь — и не восстанет от одра своего! Зазвучит труба бранная, и он не осклабится! Восстанут и возрыдают враги пораженные, и сердце его не затрепещет от радости! Уста витязя сомкнулись, сердце великого оледенело!»

Граждане: «Пал владыка Киева — и не восстанет от одра своего! Стекутся на широкий двор его и граждане и странники, и не возвеселится он за столами дубовыми! Воспоют ему песни похвальные, и он не отдарит их взором приветствия! Уста веселые сомкнулись, сердце гостеприимного оледенело!»

Воины: «Пал сильный — и не восстанет от одра своего! Пролетит средь неба гром побед сынов его, и он не совосплещет общей радости! Повергнут побежденные к престолу Росскому дани богатые, и он не простред к ним длани своей! Глубоко в земле простреться он; тяжелый курган наляжет на грудь его!»

Граждане: «Пал мудрый — и не восстанет от одра своего! Притекут ко вратам двора его и вдовы и сироты,

и он не изречет к ним: дети мои! Воздадут хвалу его кротости и милосердию, и он не воззовет к ним: друзья мои! Истлеет в утробе земли сердце благородное, один могильный холм возвестит векам: был он».

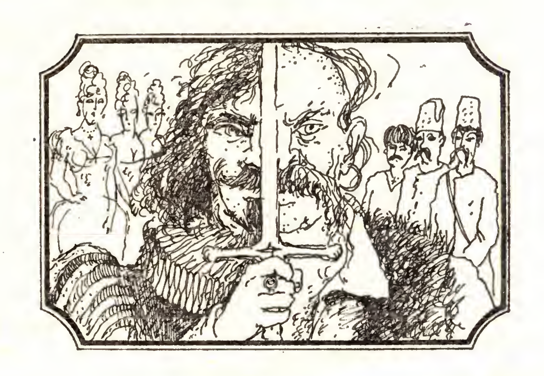
Все: «Пал Игорь — и не восстанет от одра своего! Пал витязь сильный, пал владыка мудрый! Тяжко оковал его сон смерти цепями железными! Не возбудится он и не восстанет на глас народа своего и воинства! Один могильный холм возвестит нам и родам отдаленным: был он — и нет его!»

Так пели воины и граждане, шествуя за прахом повелителя, и наполняли воздух плачем и воплем. Достигли они холма высокого, ископали на вершине его могилу глубокую и опустили в нее останки мужа сильного. Туда ниспущен любимый конь его, товарищ верный в битвах тяжких; туда повержены тяжелый щит его и меч булатный; туда вся збруя богатырская.

Златовласый Световид, спускаясь уныло за леса и горы, последним взором своим осветил высокий курган над трупом Игоревым. Но возвратясь паки на небо киевское, узрел он плач и внял стонам целого народа и воинства над могилою своего повелителя.

Смерть, обладательница всего живущего под солнцем! Кому из венценосцев ужасно острие косы твоей? Тому ли, который дни жизни своей исчислял числом благотворений? Тому ли, которого широкий двор был надежным убежищем сироты и вдовицы? Тому ли, который ополчался на брань и заключал союзы не по личной злобе или пристрастию, но единственно для блага детей своих и братий, для блага народа, ему подвластного? Нет! таковой вестника новой жизни встретит с улыбкой любви и надежды воздаяния. Одни подданные оплачут его и должны оплакать слезами горькими: ибо ясное, кроткое, благотворное солнце их закатилось, и они остаются во тьме сомнения, не будет ли на место его новое солнце, взошедшее на высоту поднебесную, покрыто тучами, в недрах своих скрывающими громы рыкающие и молнии смертноразящие!

ЗАПОРОЖЕЦ



Едва взошло осеннее солнце над необозримыми равнинами моря Черного, вся Запорожская Сечь зашумела. Бесчисленное множество народа толпилось на обширной площади, пред храмом угодника Николая. Громкой звон колоколов потрясал воздух. Звук труб и литавров далеко расстилался по ровному полю и гладкой поверхности моря. Радостный говор народа изъявлял всеобщее восхищение.

Что ж было виною сего торжества всеобщего? Еще на заре утренней прискакал гонец с радостным известием, что войсковой атаман Авенир Булат, по весне отправившийся с отборною дружиною для усмирения хищных закубанцев, возвращается восвояси с полною победой и богатою добычей. Он просил духовенство не начинать литургии, пока не вступит в Сечь, дабы воины, столь долго лишавшиеся счастия слышать слово божие, при самом появлении в пределы места драгоценного, могли сего сподобиться, облобызать крест господен и окропиться водою священною.

С постепенным возвышением солнца нетерпение народа возрастало. То глубокое молчание, то шумные восклицания измеряли время. Наконец, с восточной стороны поднялась в поле пыль высокая; еще одно мгновение, и все увидели развевающуюся в воздухе хоругвь Запорожскую. Кто опишет радостное смятение обитателей Сечи, их крики, вопли и завывания? Но увы! прибывший с радостным известием гонец, по именному велению атамана умолчал, что этот храбрый муж, этот достойный предво-

дитель получил две глубокие раны, одну в грудь, другую в голову. Не имея сил сам собою держаться на коне, он ехал, поддерживаемый с каждой стороны казаками; двое вели за узду унылого коня его. За ним несли хоругвь, и храбрая дружина следовала с поникшими взорами. Вздохи теснили грудь каждого, и щеки омочены были обильными слезами. Они не смели взглянуть на оставшихся в Сечи товарищей, стыдясь во взорах их встретить достойные упреки, что сами возвращаются в совершенной целости, кроме нескольких, падших на поле решительной битвы, а не умели сберечь храброго вождя своего.

Когда Авенир поровнялся с дверьми церковными, то по данному им мановению коня его остановили. Духовенство приблизилось к нему с крестами и хоругвиями священными. Но, взглянув на бледное лицо атамана, едва испускающего дыхание, оно остановилось с ужасом. Все людство, толпившееся вокруг его, узнав причину поражения духовных, восстенало, подняло вопль горестный и возрыдало. Мгновенно колокольные звоны и звуки трубные умолкли, и не было бы конца общему смятению, если бы сам Авенир не дал знака к молчанию. Глубокая тишина распростерлась; он собрал силы и — хотя голосом слабым, но довольно внятным — произнес: «Почтенные отцы духовные и вы, дети мои, казаки запорожские! Неужели последним подвигом не заслужил я, чтобы встретили меня с веселием, как всегда встречали доселе возвращавшегося из походов? Неужели раны, атаманом вашим полученные, могут пристыдить вас при свидании с родными нам малороссиянами или безбожными агарянами? Или дорогою ценой купил я победу и приобрел корысти? Обозрите все, сочтите — и будьте веселы! Двадцать храбрых казаков пали на месте битвы, до сорока ранены. Зато получили мы, если не навсегда, по крайней мере на долгое время, спокойствие; в плен взято около тысячи мужей, жен и детей обоего пола; отбито пятьсот коней, триста волов, бесчисленное множество овец, несколько дюжин ружей, пистолетов, сабель, дорогих ковров и связок шелковых и бумажных тканей. Посредством торга с соседними турками и татарами обратите всю добычу в серебро и золото. Десятая часть — по установлению нашему — да посвятится на украшение храма угодника божия, что достанется на мою долю, если к тому времени угодно будет провидению воззвать меня к иной жизни, да будет вручено по равным частям этим четве-

рым моим провожатым, сему старцу Вианору и этим юношам: Астиону, Эрасту и Крониду. Они же должны быть наследниками и прочего имущества, трудами моими приобретенного. Теперь уготовьте для меня одр у этих врат церковных. Возлежа на нем, я хочу услышать, может быть в последний раз, святое слово божие и помолиться благому милосердию об отпущении многочисленных грехов моих».

В ту же минуту исполнено было желание Авенира. Погребательный одр поставлен на месте назначения и покрыт ковром драгоценным. С величайшею осторожностью сняли его с коня и усадили на сем ложе. В головах стал знаменосец, имея по обе стороны Вианора и Астиона; в ногах стояли Эраст и Кронид; все воинство, бывшее с ним в походе, стало в полуокружии. Во время священнодействия глаза Авенира обращены были к небу; время от времени делал он крестные знамения довольно твердою рукою и, несмотря на раны тяжелые, кланялся низко. По окончании литургии духовенство вышло на крыльцо церковное, где, во-первых, отправлена панихида о успокоении душ воинов, на брани убиенных, потом пропето многолетие православному царю московскому, а наконец совершено водоосвящение, и все распущены по куреням. Знамя Запорожское торжественно внесено в церковь, а одр с атаманом поднят и отнесен в дом его, стоявший близ самого храма. Там уже дожидал его славный врач Сатир (славный потому, что был один во всем Запорожье, где каждый больной лечился как знает), польский уроженец, проживавший с семейством на хуторе. По осмотре ран и промытии оных Сатир сказал окружавшим постелю атамана: «Если бы раны были свежи, то я сейчас сказал бы, чего надеяться можно. Но как они довольно долго оставались без всякого врачевания, то будьте терпеливы до завтрашнего полудня. Мази мои спасительны и составлены по рецептам знаменитейших врачей, которые тех только не принимались пользовать, у коих головы были уже отрублены».

По окончании перевязок Авенир объявил, что чувствует наклонность ко сну, почему приказал удалиться всем, исключая престарелого Вианора, который при нем и остался. Врач Сатир, получивший за посещение щедрую плату, поскакал в хутор, а печальные Астион, Эраст и Кронид, повеся головы, побрели в курень свой, близ атаманского дома устроенный, где они, с тремя прислу-

жившими им казаками, все жили вместе. Кто ж такие, этот старик Вианор и эти трое молодых казаков, коих атаман отличал от прочих, имел к ним неизменную доверенность и обходился не как добрый начальник, но как самый ближний, нежный родственник, хотя они и сами не знали, кто такие были, откуда и каким роком в начале отрочества попались в Сечь Запорожскую? Это мы увидим впоследствии.

Под вечер они все трое получили повеление явиться к Авениру, которого и нашли гораздо в лучшем состоянии, нежели в каком оставили. Он сидел на постеле и в самом деле был бодр и весел, или только хотел таким казаться. Комната освещаема была слабым светом лампады, горевшей пред образом. Он указал пальцем на скамью, стоявшую в ногах постели, и они сели. Авенир стал подле них, опершись на столбик кроватный. Тогда Авенир, помолчав несколько, сказал: «Пора нам, друзья мои, короче между собою познакомиться. Хотя мы живем здесь около двадцати лет, но вы столько ж знаете меня, сколько один другого, сколько каждый знает самого себя, то есть нисколько. Будьте внимательны к словам моим; они очень для вас важны. Чтобы не расстраивать меня в сем болезненном состоянии, я требую, чтоб никто из вас не прерывал меня в повествовании, хотя бы некоторые обстоятельства сильно кого-нибудь из вас тронули. Слушайте.

Вы видите во мне единственного сына маркиза де Газара, богатейшего помещика в Лангедоке, но зато самого надменного, своенравного, непреклоннейшего из всей области. Обыкновенно половину года проживали мы в Париже, а другую в деревне. Находясь в городе, я занят был всегда то ученьем, то искусствами, то посещением домов, знакомых отцу моему, и время текло хотя единообразно, следственно — довольно скучно, однако сносно. До двадцатидвухлетнего возраста я не знал других чувствований, кроме страха к самовластному отцу, почтения к моему ментору и совершенного равнодушия ко всему, меня окружающему. Мне сказывали, что мать моя была добрая, кроткая, снисходительная женщина, а потому я мог бы ощущать и четвертое чувствование — любовь ко всему изящному, но она умерла, когда я ничего еще не мог чувствовать.

В 1-й день апреля, в который исполнилось мне двадцать два года, я позван был в кабинет отца моего. Об-

лобызав по обыкновению его руку, я равнодушно ожидал приказаний, мало заботясь об исполнении оных, ибо грозный, вечно недовольный взгляд отца мало-помалу произвел в сердце моем какое-то онемение, так что для меня все равно было слышать: «Леон! ты поступил в том и том очень разумно, я тобою очень доволен!» или: «Леон! ты сделал преглупый такой-то поступок, и маркиз Газар стыдится иметь тебя своим сыном!» или: «Леон! ты поступил в таком-то случае как настоящий мещанин! Если впредь также провинишься, то сошлю тебя в деревню и посажу в тюрьму на целые два года. Не забывай даже во сне, что ты теперь граф Бонвиль, а по кончине моей примешь на себя знаменитое имя маркиза Газара. Поди вон и целые два дня не смей показаться на глаза мои!» Я почтительно кланялся, уходил, и если бы он не призывал меня по прошествии сего срока, то я готов бы был не видать его хоть двадцать лет. Может быть, вы, друзья мои, подумаете, что бог одарил меня тем нравом, что я, смотря на предметы равнодушно, и в самом деле был бесчувствен? Совсем нет! Если можно иногда пылинку по подобию сравнивать с огромною горою, то я скажу, что сердце мое в тогдашних обстоятельствах подобилось горе Этне, покрытой снегом. Все на ней, по-видимому, покойно, но в недрах ее клубятся целые реки огненные, и как скоро прервут они оплоты, их удерживавшие, то какая сила человеческая остановит их порывы? Я сделал сие отступление нечаянно, но кстати. Теперь вы в начертанной мною картине видите отца моего и меня в настоящих видах.

Помнится, я остановился на том, что в день моего рождения потребован был к отцу. Он принял меня дружелюбнее обыкновенного, приказал сесть против себя и сказал: «Леон! с сего часа ты перестаешь быть мальчиком и делаешься настоящим молодым человеком, который имеет право управлять своими поступками под надзором одного отца своего. Вчера еще, одарив щедро твоего ментора, я отпустил его; составил для тебя особый штат и назначил в доме особое отделение. Живи как хочешь; но отнюдь не забывай, что ты граф Бонвиль и по времени будешь маркизом Газаром. Каждый шаг твой будет мне известен, и если хотя одним недостойным словом или низким взором обесславишь высокое свое звание, то от одного мановения моего все величие твое улетит дымом на воздух, вся знаменитость лопнет, как мыль-

ный пузырь. Через несколько дней мы едем в Лангедокский замок и пробудем там до осени. По возвращении в Париж я куплю тебе роту в котором-либо полку королевской гвардии или армейский полк, или камергерский чин, смотря по обстоятельствам; потом выберу тебе невесту, ибо у меня на примете есть две; ты женишься и будешь искать счастия или при дворе, или в поле. Это зависеть будет от выбора невесты».

Мы скоро прибыли в Лангедокский замок, и отец мой повестил о том соседнее дворянство заведенным порядком, т. е. приглашением на великолепный обед и просьбою, которая значила дозволение, посещать его во всякое время. Он и подлинно принимал всегда и всякого ласково, но никого не удостоивал взаимным посещением. Я занимался чтением, прогулками и охотой. Мне позволено даже было заходить иногда к кому-либо из дворян на завтрак и на обед. «Граф! — говорил мне отец однажды,— что было бы непростительно для меня, за то свет с тебя не взыщет. Ты еще не самовластный господин и не составляешь собою члена в государственном теле. Когда же сделаешься маркизом Газаром, то непременно должен совершенно перемениться. Смотри только внимательно на мое поведение и одного этого образца для тебя довольно».

В одно прекрасное утро, в средине мая, одевшись в охотничье платье, в сопровождении одной собаки вышел я из замка. Я не был страстным охотником, а потому мало заботился, что почти совсем не встречал дичи, а где и попадалась она, то я на воздух тратил заряды. С меня довольно было проходить прелестные поля, смеющиеся долины и привлекательные рощи, смотреть на все эти красоты природы, коими благое небо преимущественно одарило стороны полуденные. Идучи далее и далее, я наконец очутился в таких местах, где не бывал от роду. Новизна эта еще более меня пленила. Солнце было уже в полуденной точке. Голод и жажда начали меня беспокоить. Не может быть, думал я, чтоб в такой восхитительной стороне не было ни одного помещичьего замка или по меньшей мере аренды. Я бодро пошел далее, и, едва выбрался из тенистой липовой рощи, как в двухстах шагах представился мне небольшой, но красивый домик, а невдалеке деревня, прекрасно отстроенная. Я прислонился к дереву и размышлял: к кому мне пожаловать, к господину ли дома или к деревенскому старосте. Наду-

мавшись, я сказал вслух: «На что беспокоить помещика и притом незнакомого? Не лучше ли отобедать в деревне за деньги, так еще доставлю тем выгоду какому-нибудь поселянину!» — Я сделал шаг вперед и остановился, услыша по правую сторону голос: «Какие расчеты!» — Я оглядываюсь и вижу в пяти шагах от себя кавалера Ле-Льевра, человека пожилого, но самого забавного, шутливого. Он часто посещал замок Газар, и мы давно обращались с ним на приятельской ноге. «Как? — вскричал я, подошед ближе и обняв его,— какими судьбами вас здесь вижу?» — «Я с бо̀льшим правом могу вам сделать этот вопрос,— отвечал он,— ибо вижу вас от замка Газара за четыре добрые мили, а вы видите меня подле моей хижины. Вот она!»

Он, так сказать, потащил меня с собою; мы скоро вошли в гостиную, и я представлен был малочисленному семейству кавалера. Оно состояло из пожилой жены его, по виду женщины простой — во всем значении сего слова, молодого сына, служащего в армейском полку поручиком и обыкновенно во время отпусков проживавшего в отцовском доме, и дочери Юлии, прекрасной шестнадцатилетней девушки. Обед был небогатый, но весьма довольный. По окончании оного Юлия повела нас в сад, показала цветник ее саженья, кусты розовые и ясминные, за коими ходила; в беседке играла на лютне, пела прелестные романсы, словом — обворожила всех и в особенности меня. «Несравненная девушка,— говорил я, едучи около полуночи домой на верховой лошади кавалера,— как прекрасно цветешь ты в уединении! Какая из всех виденных мною красавиц парижских может сравниться с тобою в простоте, любезности, привлекательности?!»

Редкий проходил день, чтобы я не был в поместье Ле-Льевра; не было минуты, чтобы не думал о его дочери, и в течение трех месяцев любовь моя взошла на высшую ступень. Юлия была чистосердечна, как аркадская пастушка, и в первые недели знакомства нашего, когда я осмелился объявить ей беспредельную страсть свою, она со всею свободою невинности открылась, что с первого на меня взгляда полюбила от всего сердца и ничего столько не желала, как принадлежать мне. Чего не доставало к моему благополучию? Ах! весьма многого. Как ни стремилось сердце мое открыться перед маркизом, сколько раз ни решался я при первом свидании объ-

явить ему о своей страсти и умолять о согласии, но, увидевшись с ним, взглянув на гордую осанку, на свирепый или, по крайней мере, на туманный взор, я колебался, умолкал и приведение к концу своего намерения откладывал до другого времени.

В одно утро, узнав, что отец мой прогуливается в саду, я укрепился в сердце, нашел его и, несмотря на грозный взор, стал на колени и довольно твердым голосом сказал: «Ваше превосходительство! (Я никогда не смел назвать его именем отца.) дозвольте мне открыть пред вами сердце мое».— «Завтра! — отвечал он голосом пасмурным,— завтра я выслушаю тебя».— Он удалился, не удостоя меня дальнейшего объяснения. Боже! Что тогда чувствовал я в душе своей? Если законы природы неизменны, то почему одно лицо обязано любовью к другому, которое платит за то ненавистью? Тронутый таким хладнокровием отца, оставившего меня на коленах, не выслушав о причине такого унижения, я поклялся в душе моей — лучше погибнуть, чем оставить Юлию и жениться на невесте, какая мне предназначена будет упрямством гордого властелина.

На другой день, рано поутру, я получил повеление садиться в карету и ехать — куда повезут. Приготовив прощальное письмо к Юлии, в коем торжественно обещал ей свою руку, я сел в карету вместе с моим камердинером, Клодием, росшим при мне с самой колыбели. Он был несколькими годами старее меня, и его преданность, расторопность, всегдашняя готовность к услугам сделали его для меня необходимым. Нетрудно будет вам отгадать, куда снаряжена была сия поездка. Мы прибыли в свой парижский дом, и прежняя несносная жизнь началася. Однако надобно отдать справедливость, что отец мой день ото дня становился ласковее, приветливее. Под конец осени я немало был удивлен появлением доброго Клодия с новою парою блестящего мундира. «Поздравляю вас,— сказал он,— с королевскою милостью! Вы теперь полковник драгунского полка, расположенного недалеко от границ испанских. По воле его превосходительства, извольте одеться в это платье и явиться к нему».

С удовольствием принял я сей подарок (да и кого не прельстил бы он в мои лета?), поспешно оделся и полетел к отцу с благодарностью. «Граф! — сказал он с возможною важностью,— теперешним счастием своим обя-

зан ты другу моему, Д*, а вскоре, надеюсь, ты будешь благодарить его за больший знак милости. Мы сегодня у него в доме обедаем».

У маршала Д* я никогда не был и даже мало знал его лично, а потому во время езды терпеливо слушал отцовские наставления, как должен я вести себя в присутствии его светлости. Прибыв в палаты сего вельможи, я нашел огромное, блистательное общество, был представлен хозяину и его семейству, и не прошло часа, как я возненавидел маршала за непомерную спесь и самохвальство его, ощутил презрение к жене его, истинной кокетке, и еще большее отвращение к тридцатилетней дочери их, столь же надменной, как отец, и такой же кокетке, как мать. За нею увивалось множество щеголей разного рода, и она смотрела на искательство их как королева, удостоившая кого-нибудь из подданных милостивого взгляда. По окончании великолепного обеда гостей ввели в огромную залу, где увидел я воздвигнутый жертвенник и подле него епископа в приличном облачении. Не понимаю, как это случилось, только я, ведомый отцом за руку, очутился у алтаря, и в ту же минуту явилась подле меня Аделаида, дочь маршала. Я остолбенел, оцепенел, окаменел и тогда только несколько опомнился, когда сперва епископ, а после отец мой, а там маршал и многие из гостей начали поздравлять меня с благополучным совершением вожделенного брака. Аделаида с великою важностью подала мне руку для поцелуя; но я чувствовал, что губы мои дрожали и были как ледяные. Зачем описывать окончание сего горестного дня? Увидясь один на один с отцом, я сказал: «Вы сделали меня на всю жизнь несчастным, но не думаю, чтоб от того сами были счастливее». Свирепый взор его был ответом.

Среди беспрестанных горестей, тоски, мучения прошло более полугода, и Аделаида уведомила меня о своей беременности. Я не знаю, как назвать тогдашнее чувствование, какое ощутил я при сем известии. Это была смесь удовольствия, беспокойства, неприятности и досады. Однако с самого того времени я стал ласковее смотреть на жену свою, но вместе с тем приметил, что и она не менее ласково смотрит на статного, пригожего камергера Флизака, и надо отдать справедливость, что его геркулесова наружность была весьма обольстительна для всякой Омфалы. Открытие сие крайне меня осердило. Как, думал

я, будучи страстно влюблен в Юлию, я не дозволял себе даже и подумать о неверности, а ненавистная Аделаида — нет! Как скоро удостоверюсь в измене, то — погибель преступникам неизбежная.

По кончине отца решился я оставить опротивевший Париж и отправился к полку, на границу Франции. Тем самым думал я избавиться присутствия опасного придворного, не навлекая на себя нарекания, неразлучного с названием ревнивца.

Первые месяцы пребывания моего в полку прошли довольно спокойно, или — по крайней мере — сносно. Аделаида родила сына, которого нарек я Леонардом. Хотя я, по смерти отца, сделался маркизом Газаром и обладал весьма большим имуществом, однако, несмотря на все убеждения моей маркизы, настоятельно требовал, чтобы она кормила дитя своею грудью, в противном же случае грозил отнять от нее навсегда сына. Это устрашило Аделаиду: она решилась преодолеть отвращение и сделаться кормилицею. Это звание тем более пугает знатных женщин, что они в это время должны отказаться почти от всякого развлечения. Приятно ли в самом деле маркизе Газар, дочери маршала Франции, принять кого-либо из гостей, а тем менее побывать в каком-нибудь блестящем обществе с запачканным ребенком и дозволять ему пред всеми играть полусокрытыми ее прелестями. Она часто задумывалась, просиживала долгое время, не произнеся ни слова, или уединялась в свою комнату, по нескольку часов проводила там, запершись с своею верною Перретою, которая некогда нянчила ее на руках своих и была доселе в неизменной доверенности. Такие поступки жены моей я причитывал скуке и казал вид, что ничего особенного не примечаю.

Наконец, по прошествии года после рождения моего сына, по совету медиков, младенец отнят от груди, и жена моя в первой раз приятно улыбнулась. Она с приметным удовольствием передала его с рук своих в руки нянек и мамок и с величавым видом ушла на свою половину. Такой поступок матери мне крайне не понравился, но мало ли что не нравилось мне со времени роковой женитьбы! Я нимало не думал возбранять Аделаиде в принятии гостей и в разъездах куда хочет; а она с своей стороны не считала за нужное просить от меня дозволения посмотреть на свет после годичного своего заключения.

Недель около двух после этого, в одно прекрасное майское утро, вошел ко мне честный Клодий с видом крайне пасмурным. Хотя со времени моей женитьбы я никогда не видывал его прямо веселым, но также он не бывал и печален. Посему с удивлением я спросил: «Что это значит, Клодий, что ты в весеннее утро, под полуденным небом Франции, смотришь, как в зимнюю пору камчадал, одержимый цинготною болезнию».— «Ваше превосходительство,— отвечал он со вздохом,— дай бог, чтоб мой вид обманул вас и чтоб мое подозрение было не вернее, как грезы страждущего горячкою».— «Однако говори скорее,— сказал я решительно,— какое подозрение? в чем? на кого?» — «Мне больно,— отвечал Клодий,— сердце мое трепещет от ужаса, если я в доброе, невинное сердце ваше волью полную чашу горести; но что ж мне делать? Когда я, будучи лет пятнадцати, а вам было с небольшим десять, важивал вас в садах Газарского замка, с того времени поклялся неизменно к вам верностию, хотя бы кто потребовал от меня измены с опасением потерять жизнь. Слушайте:

Вчера, под вечер, зная, что за мною никакого не будет дела, пошел я в сад и, залегши в жасминных кустах у большой беседки, предался размышлению и неприметно задремал. Не знаю, долго ли я пробыл в сем положении, только громкий смех разбудил меня, и я начал прислушиваться. Вскоре различаю знакомой мужской голос, не могши припомнить, чей именно: «Ин прощай, верная Перрета! Вот тебе письмо и двадцать червонных. При первом удобном случае доставь письмо по принадлежности, а деньги возьми себе на башмаки. Будь уверена, моя дорогая, что услуга твоя забыта не будет, как и все прежние никогда не забывались».— «Простите, г-н Флизак,— отвечала Перрета,— и будьте уверены, что как прежде, так теперь и впредь я готова усердно служить благородным и благодарным людям. Надеюсь, что если не сегодня, то наверное завтра вы на опыте узнаете, можно ли всегда полагаться на обещания Перреты».

Они расстались, я немного приподнялся и видел, что г-н Флизак, приближаясь к калитке у ограды сада, отпер ее (вероятно, поддельным ключом) и скрылся. Перрета хотя проворно пробиралась в дом, но была мною настигнута на самом крыльце. Слыша топот бегущего человека, она оглянулась и, увидев меня, несколько изменилась в лице и спросила: «Ты где был, Клодий? и куда так спе-

шишь?» — «Прогуливался,— отвечал я простодушно,— в саду, вот там (указав в противную сторону той, где был камергер и Перрета); но, увидя издали, что бежишь в господский дом, почел, что маркиз меня, а маркиза тебя спрашивают, бросился со всех ног, чтоб опередить тебя и доказать, что я первому не менее предан, как ты последней».— Едва мы прошли коридором к парадному входу, как увидели, что карета маркизы быстро выезжала за ворота. Перрета показала недовольный вид и пошла на свою половину, а я от всего сердца радовался, что по крайней мере на сей день мой добрый господин избавлен будет от предательства.

Я пошел к крестовой сестре моей, Маше, которая выдана вами замуж за храброго Мартына, капрала полка вашего, упросил, чтоб она в сей же вечер назначила домашнюю вечеринку и самолично уговорила г-жу Перрету быть участницей в весельи. «Вот тебе на расход деньги,— сказал я,— но смотри,— никому ни слова». Как хотелось, так и сделалось. Я также присутствовал на этом пиру. Много было закусок, а вин и того больше. Когда готовились потчевать гостей шампанским, я, отведши Машу в другую комнату, сказал: «Налей для г-жи Перреты бокал побольше других и подай мне». Когда это было исполнено, то я всыпал туда заготовленный мною сонный порошок. Маша переменилась в лице и спросила: «Что это значит, братец?» — «Разве ты считаешь меня ядотворцем? — отвечал я строгим голосом.— Кажется, ты давно знаешь крестового брата своего! Успокойся, Маша! Этот порошок имеет силу, что тот, кто его выпьет, сделается гораздо веселее обыкновенного. Поди к Перрете, проговори почтительную речь и поднеси бокал, а я с большим подносом подойду к прочим гостям». По желанию моему все исполнилось. Вскоре Перрета начала зевать, жмуриться и потягиваться. «Что за напасть,— сказала она едва внятным голосом,— я, кажется, выпила не больше других, а сон так и валит с ног. Г-н Клодий! потрудись проводить меня до коляски».— «Г-жа Перрета! — Отвечал я с видом усердия,— что хорошего, когда я привезу вас в дом маркиза спящею и должен буду до вашей спальни нести на руках! Еще не поздно, и нас увидят все челядинцы. Явный соблазн! Не лучше ли вам часа на два отдохнуть на постели Машиной, а я даю честное слово дожидать вашего выхода».— Перрета лишилась употребления языка, сделала рукою знак согласия;

я и Маша повели ее в спальню и уложили на постель. Тотчас начал я шарить в ее карманах, с трепетом выхватил нужное мне письмо и спрятал. «Машенька! — сказал я изумленной сестре,— будь спокойна. Эта одна бумага и была только мне надобна. Вероятно, Леррета проспит до позднего утра; не беспокой ее. Когда ж проснувшись будет усиливаться уйти домой, то постарайся удержать ее, пока не явится сюда присланный от маркиза с дальнейшими приказаниями».

Вот все, милостивый государь, что я сделал; не знаю доныне и сам, хорошее ли или худое. Возьмите письмо и читайте. В ближней комнате буду ожидать ваших приказаний».

Клодий вышел. Я сидел в креслах, подобясь египетскому Мемнону, т. е. склоня голову назад, устремя глаза к небу и положа руки на колена. Мрачные мысли, подобно громовым тучам, клубились в голове моей. Холодный пот показался на лбу; сердце то непомерно трепетало, то совсем замирало. Какое ужасное положение!

Однако ж я скоро собрался с духом. Выражения отца моего пришли мне на память. Сердце наполнилось твердостью; я встал, начал ходить по комнате, вертя в руке проклятое письмо, говорил: «Будь мужествен, маркиз Газар! Прилично ли благоразумному человеку печалиться и впадать в мучительное уныние от того, что женщина, называвшаяся его женой, сделалась распутною, бесчестною! Разве тина, в коей погрязает она против моего чаяния, может опятнать почтенное имя мое?» — Конечно, по принятому мнению, мщение в таком случае необходимо; но благоразумие и справедливость требуют, чтоб мы как можно внимательнее рассматривали, в чем состоять должно это мщение. Я сел хладнокровно, по-видимому, в кресла, развернул письмо и прочел следующее:

«Милая, бесценная, но чрез меру жестокая Аделаида!

Когда я в прелестных объятиях твоих упивался блаженством неизъяснимым, я не жаловался, что ты, исполняя строгое повеление отца жестокосердого, согласилась сделаться женою неизвестного тебе деревенщины, но утешался мыслию, что я был любим тобою. Я также не жаловался, что ты, следуя глупому требованию твоего педанта, целый год решилась просидеть в скучном уединении, питая грудью сына твоего Аргуса. Теперь я имею полное право на тебя жаловаться. Как! Ты более двух недель выезжаешь из дому, а не вздумаешь навестить

приютной пустыни в полумиле от города, обитаемой твоим придворным затворником. Неужели Перрета подробно о сем тебе не растолковала? Не может быть! Проживая здесь около месяца, я более десяти раз с нею виделся и всякой раз получал удостоверения, что ты обо всем знаешь. Постарайся ж, обожаемая Аделаида, исправить свой проступок, и чем скорее, тем лучше. Я приложу все старание, чтоб вознаградить тебя за то мучение, которое неминуемо должна была ты чувствовать, находясь более года в пытке. Ах! Как героически ты умела перенести оную! Прости, дражайшая! Дети наши здоровы и заочно обнимают милую маменьку. Их хорошо воспитывают в известных тебе местах. Девятилетний Эмиль — настоящий я, а семилетняя Адель — истинный образ юной Аделаиды. До прибытия твоего в мою пустыню нетерпение мое прижать тебя к моему сердцу будет возрастать ежеминутно. A propos! Присланные тобою в начале минувшего апреля двадцать пять тысяч ливров, увы! улетели на воздух невозвратно».

Прошу вас, молодые друзья, судить о моем отчаянии, бешенстве. Я так поруган, обесславлен! И эта вероломная была уже дважды матерью до нашего ненавистного союза! И сделавшись женою, она не ужасалась быть прелюбодеицею! О отец мой! Как извинишься ты пред высшим правосудием, что сына своего сделал злополучным и, может быть, злополучным до гроба.

Пробыв около получаса в этом ужасном смятении чувств и предпринимая разные планы к отмщению, я наконец решился. Первый и ближайший предмет этого мщения была бесчестная Перрета, которая, по всему вероятию, повергла склонную к распутству Аделаиду в доме родительском в объятия порока, как сделала после в доме мужа и как готовилась и впредь делать.

Быв командиром полка моего имени и вместе комендантом города, им занимаемого, я написал приказание смотрителю смирительного дома, чтобы распутную Перрету, взяв из рук, приведших ее, держали там во всю жизнь ее. Призвав Клодия, я сказал: «Ты заслуживаешь всю мою благодарность за то, что еще довольно рано открыл мне заблуждение; и я спрашиваю, чего ты от меня за то просишь?» — «Того,— отвечал добрый Клодий,— чтоб вы никогда меня от себя не отдаляли, хотя бы судьба занесла вас в землю камчадалов или караибов; ибо, сколько могу догадываться, на этом месте вы недолго

пробудете».— «Даю торжественное слово исполнить твое желание,— вскричал я,— а теперь явись к капитану 1-й роты и объяви мое приказание — отпустить с тобою двух гренадеров; арестуй Перрету, отведи в смирительный дом и этот пакет отдай смотрителю оного».— «О! — вскричал радостно Клодий, схватив пакет,— это приказание исполню я с бо́льшим успехом и радостию, нежели если б вы сказали: «Клодий! поезжай в Париж и от банкира моего потребуй сто тысяч ливров. Вот тебе доверенность!» — Он выбежал из комнаты, а я продолжал обдумывать средства, как скорее и удобнее привесть в исполнение мои намерения.

В тот же день приготовил и отправил я к моему нотариусу, в Париж, форменное полномочие на продажу всего моего имения, исключая замок Газар, в коем покоились прахи моих предков, и на перевод вырученных денег в Мадридский банк. После этого, призвав Клодия, возвратившегося уже домой по точном исполнении моего приказания относительно Перреты, сказал: «Ты справедливо заметил, верный Клодий, что здесь случившееся и впредь случиться могущее не дозволяет мне оставаться долее в своем отечестве. Надо будет искать его под чужим небом. Но бог везде правосуден и благ, везде есть честные и бесчестные люди. Я думаю ехать в Испанию, как ближайшее королевство, из которого уже на корабле можно достигнуть всякого места, какого пожелаешь. Но должна ли непотребная мать спокойно смотреть на моего сына, играющего на ее коленах, и смеяться терзаниям отца его? Нет! Этого не будет! Сын мой должен предшествовать мне в Испанию. Надеешься ли ты, Клодий, что нянька Леонардова, Тереза, к которой он весьма привязан, согласится оставить с ним отечество? а к другой привыкать будет для него трудно!» — «Почему ж не так? — отвечал Клодий.— Впрочем, в ее согласии нет особенной надобности. В назначенный вами час подвезена будет карета. Тогда объявлю я г-же Терезе, что ваше превосходительство желает недели на две посетить свой прародительский замок Газар, но что вместе с тем требуете, чтоб и сын ваш был с вами; а потому благоволила бы ее милость сесть с своим питомцем и крестовою сестрою моею, Машею, в карету, а двое верных слуг, Петр и Никар, будут оберегателями их в дороге. Таким образом простодушная женщина и не увидит, как очутится за границею». Я одобрил план этот и приказал сколько можно

скрытнее готовить все, нужное к спокойному путешествию дитяти.

Сделав распоряжение о двух важнейших предметах, то есть о сбережении имения и сына, я стал с довольным спокойствием разбирать свое бюро, пересмотрел все бумаги, бесчисленное множество передрал, а остальные необходимые спрятал в небольшом ларчике. После этого собрал рассеянные по разным местам драгоценности, как то: брильянтовые и золотые вещи, уложил в другой ларчик, а все серебряные рассудил раздарить слугам и служанкам. Наличных денег было у меня до двух тысяч червонных: эту сумму полагал я достаточно на издержки до прибытия в Мадрид. В таких занятиях, конечно, горестных, прошел весь день, и я, подремав несколько в креслах, встал с самым рассветом дня, столько для меня незабвенного.

Едва узнал Клодий, что я уже проснулся, как предстал ко мне и объявил, что Тереза с малюткой и спутниками в дороге. Я велел собрать в зале всех моих домашних от мала до велика, заложить дорожную коляску и оседлать две верховые лошади. Между тем как я переодевался, все было готово. Я вошел в залу и сказал слугам и служанкам: «Друзья мои! По домашним обстоятельствам, я должен пробыть в моем замке Газар, может быть, немалое время. Я сей час отправляюсь туда, а до прибытия в дом жены моей вверяю оный твоему управлению, старый, добродушный Мишель, равно как и всех, живущих в нем. В этой корзине уложены все мои серебряные вещи и тысяча ливров. То и другое разделите между собою, смотря по должностям, вами отправляемым, и по возрастам. Прощайте!»

Сопровождаемый Клодием и Бернардом, я сошел вниз и сел в коляску, а сопутники мои, вскочив на лошадей, установились по правую и по левую сторону и поскакали в путь. Я забыл упомянуть, что на все догадливый Клодий, провожая устрашенную Перрету в назначенный для нее приют, угрозами вечного заточения и обещанием скорой свободы вынудил ее сделать такое точное описание жилища камергерова, что оное весьма нетрудно отыскать можно было. И действительно мы пробыли в дороге не более часа, как завидели искомый нами храм Бахуса и Венеры. Я приказал остановиться и вышел из коляски, имея под левою мышкой две шпаги, а в правой руке пару заряженных пистолетов. Случись же так, что, пробираясь

к красивому домику по краю перелеска, нашли на спящего Коллина, любимого слугу жены моей. Мы остановились с удивлением, и я сказал: «Вот счастливый случай без труда отыскать надобных нам людей! Клодий! разбуди его». Клодий пошевелил спящего уютною дорожною палкою; Коллин проснулся, привстал, осмотрел нас и задрожал. «Бездельник! — вскричал я с крайним гневом,— так-то ты верно служишь своему господину? Если не хочешь, чтоб я сейчас размозжил тебе голову, то проводи нас к бесчестному Флизаку так, чтоб он ускользнуть не мог».— «Милостивый государь! — отвечал Коллин дрожащим голосом,— требование ваше исполнить весьма нетрудно. Во всем доме одна старая стряпуха на кухне да мальчишка буфетчик, а я, два кучера, один г-жи маркизы, а другой г-на Флизака, и лакей последнего — Шарль были в городе за разными покупками. Как по милости госпожи мы не нуждаемся в деньгах, то и зашли в питейный дом. Пробыв там не более часа, я и Шарль догадались, что если еще пропируем хотя четверть часа, то уже нам не дойти домой до ночи, и потому отправились и полегли в этом прекрасном месте, я здесь, а Шарль несколько поодаль. Что же касается до кучеров, то они остались в городе и, вероятно, там заспались. Г-н камергер и г-жа маркиза во все время своего здесь пребывания пьют шоколад, обедают и ужинают в саду, под четырьмя прекрасными кедрами, образующими беседку, внизу коих разбросаны кусты роз и жасминов. Извольте следовать за мною».

Мы достигли садовой ограды; Коллин отпер маленькую калитку, и мы вошли в эту приятную обитель. «Вон,— сказал Коллин шепотом,— сказанные мною четыре кедровые дерева. Ступайте прямо, и вы найдете тех, кого ищите».

Я приказал своим сопутникам соблюдать самую строгую осторожность, и мы начали подвигаться вперед, останавливаясь на каждом шагу, так что около получаса прошло, пока мы пробрались не более десяти сажен, и тут остановились, услыша громкий разговор, сопровождаемый смехом. Я подвинулся еще шага на четыре и из-за стоящего передо мной каштанового кустарника увидел эту прекрасную чету. Они оба были в утреннем наряде. На камергере был штофной халат голубого цвета, а на маркизе розовое тафтяное дезабилье. Они оба сидели к нам лицами на дерновой скамье, за столиком с шоколад-

ным прибором. Камергер, обняв маркизу с движеньями, взорами и улыбкой Сатира, сказал: «Согласись, Аделаида, что хотя ты всегда прелестна, но третьего дня приехала сюда совсем в другом виде, нежели в каком теперь находишься. Пламень в глазах твоих потух, розы на щеках превратились в лилии; некоторая усталость, изнеможение разлились по всему лицу твоему. Хотя муж твой в таких делах не что иное как драгунский рекрут, никогда не прикасавшийся к лошади, однако, думаю, и он заметит сию перемену. Бог знает, чего не пожелал бы я, чтоб только быть свидетелем, как он примет тебя по приезде домой, с какою глупою заботливостью станет расспрашивать о здоровьи, с каким усилием будешь ты удерживаться от смеха и с какою величавою ужимкой потребуешь, чтобы он оставил тебя одну в покое по крайней мере недели на две, а между тем мы дремать не станем, и...»

Я кипел гневом и мщением. Руки и ноги дрожали, в глазах туманилось. Однако, скрепя сердце, я бодро выступил вперед, подошел к столу и положил на нем шпаги и пистолеты. Маркиза громко вскрикнула и упала в обморок. Камергер, помертвелый, трепещущий, уставя на меня неподвижные глаза, хранил молчание. «Бесчестный человек! — сказал я, наконец,— какой злой дух соблазнил тебя нанести мне такое оскорбление? Разве не довольно с тебя было, что ты обольстил эту несчастную, когда она не связана была никакими узами, кроме благонравия? Ты продолжал, злодей, и тогда оскорблять законы божеские и человеческие, когда она сделалась уже моей женою. Умри, чудовище, или умертви меня и тем усугуби свое беззаконие и жди двойного наказания от людей и от неба».

Камергер несколько опомнился, привстал и сказал с надменностью: «Разве не знаете, г-н маркиз, что нам, придворным людям, строго запрещено сражаться каким бы то ни было оружием? Нам представлено только ратовать языком. Итак, если вы считаете себя несколько обиженным, то подавайте на меня просьбу вышнему начальству и будьте уверены, что без ответа не останетесь. Я в полной надежде, что один из дядей моих — лионский губернатор, а другой дворцовый маршал...»

«Подлец! — вскричал я,— если ты не согласишься разделаться со мною честным образом, то прикажу слугам моим забить тебя до смерти палками! Гей! Клодий! Бернард! Будьте готовы».

Верные исполнители воли моей величественно подняли увесистые жезлы свои и медленными шагами начали подходить к столу. «А! если ты таков,— вскричал камергер с разъяренным видом,— так ступай в ад, где давно тебе быть бы должно».— Тут схватил он пистолет и, отбежав в сторону, остановился. «Отсчитай, щекотливый муж,— кричал он,— двенадцать шагов и стреляй первый».— Медленными, мерными шагами отсчитал я указанное расстояние, оборотился к нему и начал прицеливаться. Хотя я дрожал всем телом от бешенства, однако, утвердясь несколько, спустил курок. Раздался роковой выстрел, и противник стремглав полетел наземь; однако, лежа ли на земле или во время самого падения, я второпях того не заметил, и он сделал выстрел. Несколько минут я стоял неподвижно, не понимая и сам, чего ожидаю, как по левую руку раздался болезненный вопль и стон: я оглядываюсь и вижу, что жена моя силится подняться со скамьи, но не может. Я подхожу к ней и вижу — о небо! — кровь ручьем лилась на траву из левой ноги ее. Желая осмотреть рану, я нашел, что пуля пониже колена прошла насквозь и раздробленные кости высовывались из раны. Она продолжала произносить вопли. «Несчастная! — сказал я,— видишь ли, как правосудное небо, рано или поздно, наказует беззакония! Бесчестный сообщник твоего преступления погибает от руки моей, а ты, может быть, погибнешь от руки его!»

На звук выстрелов прибежали Коллин и Шарль. «Отнесите этих несчастных,— сказал я,— на постели, и кто-нибудь скачи в город за доктором. Может быть, искусство в силах будет спасти их».

Проходя мимо камергера, я нашел, что он еще жив. Хрипение колебало грудь его, и судорожные движения потрясали руки и ноги. Достигнув коляски, я сел; сопутники вскочили на коней, и все продолжали путь сколько можно поспешнее. К ночи мы проехали уже границу, и я велел остановиться в первой деревне, чтобы самим успокоиться и дать отдых лошадям, ибо, сверх того, во весь этот несчастный день ни люди ни лошади не ели и не пили.

Мы остановились у бедной деревенской корчмы, которая по наружности ничего хорошего не обещала; но та ли пора, чтоб прихотничать? Когда наш кучер ввез коляску под навес и все лошади снабжены были кормом, тогда и меня с Клодием и Бернардом ввели в комнату, которая

была довольно просторна, порядочно освещена и столь опрятна, что на скамьях не было комьев грязи, а на стенах охапок паутины; а я начитался и наслышался, что в испанских, даже городских гостиницах такие прикрасы за ничто считаются. Я сел за стол, покрытый чистою скатертью, и спросил у стоящего передо мной пожилого испанца с важным видом: «Я голоден и хочу быть сыт; скажи хозяину, чтобы приготовил самый лучший ужин для меня и для трех моих оруженосцев».— «Ваша светлость,— отвечал предстоявший,— вы изволите делать приказания самому хозяину Маттиасу де Фернандесу; хотя отсюда до Байоны и не близко, но вы не сыщете трактира столь запасного, как мой, и смело скажу, что если бы сам его католическое величество благоволил у меня откушать, то я нашел бы, чем употчевать его со всею свитой. Сегодня обедал у меня маленький французский маркиз с многочисленными сопутниками, и все довольны были моим угощением. Для маленького превосходительного приготовлено было...» — «Постой, дон Маттиас де Фернандес,— вскричал я,— скажи, сколько было сопутников у молодого маркиза и кто такие?» — «С ним вместе в карете,— отвечал он,— сидели две донны, одна средних лет, а другая гораздо моложе. По обе стороны кареты было по одному кавалеру, а на козлах сидел кучер в великолепной одежде».— «Итак, ступай же, дон Маттиас де Фернандес, и приготовь ужин, сколько можно лучший и изобильнейший».— «Все будет в одну минуту представлено вашей светлости, ибо я живу не без запаса»,— сказал хозяин, поклонился и вышел мерными шагами.

«Кажется, здесь обедали наши путешественники»,— сказал я, и Клодий отвечал: «Нет сомнения! Мы завтра же их догоним». Тут завелся было разговор об ужасных происшествиях сего утра, как вдруг хозяин явился с бутылкой вина и двумя хлебами, а за ним следовала служанка с большим блюдом. Когда сей припас уставлен был передо мною, то, выпив рюмку вина, принялся я за баранину с подливкою, вскипяченною в воде с коровьим маслом. Хотя такое блюдо во Франции и последнему из моих служителей показалось бы не по вкусу, но теперь я насыщался им с особенною приятностью. Вскоре поставлены были пара жареных цыплят и такой же заяц, там рыбное блюдо, а ужин оканчивался яишницею. Дон Маттиас де Фернандес, стоя поодаль, беспрестанно упра-

шивал есть и пить побольше, ибо де не во всяком трактире в королевстве удастся найти такой ужин. И действительно, не мог я надивиться запасливости хозяина и укорял в клевете тех писателей и путешественников, кои поносят испанские гостиницы как со стороны опрятности, так и угощения.

Как скоро я насытился, то встал и начал расхаживать по комнате, а на моем месте сели кавалеры Клодий, Бернард и вновь призванный кавалер Марсель, мой кучер. Хотя наставленного для меня кушанья осталось более двух третей, однако вновь принесенного было блюдо оллы потриды[1], три большие куска сыру, три хлеба и три бутылки вина.

«Кушайте, господа кавалеры, кушайте на здоровье и не говорите, что в трактире дона Маттиаса де Фернандеса можно так же хорошо поститься, как в Кармелитском монастыре».— Мои кавалеры и без потчиванья хозяйского не дали бы маху; они убирали все, как проголодавшиеся волки, и когда на столе ничего не осталось, то все расположились к покою, я в коляске, а прочие — где кто хотел. Перед выходом из корчмы я приказал Клодию честно рассчитаться с хозяином, ни мало не торгуясь, и как скоро рассветет, то, не дожидаясь моего пробуждения, ехать далее.

Утро было прелестное. По обе стороны дороги зеленели виноградные сады и оливковые деревья. Клодий и Бернард, кинув затейливую наружность, ехали позади коляски рядом и курныкали какую-то песню. Я предался размышлению и задумчивости, не могу сказать приятной, ибо воспоминание бедствия, так недавно случившегося, все еще стесняло мое сердце, все еще колебало мои мысли, но и не томительной, ибо я достойно отмстил вероломной женщине и гнусному ее обольстителю.

Около полудня Клодий вскричал: «Я вижу невдалеке деревню и пробирающуюся в нее карету».— «Так! — сказал Бернард,— я примечаю позади кареты двух вершников; это наши!» — Услыша эти слова, я с радостным биением сердца поднялся, взглянул вдаль в зрительную трубку и вскричал радостно: «Так, друзья мои, это моя карета: вот, по правую руку Петр, по левую Никар. Марсель! поспешай, сколько будет в лошадях силы».— Кучер присвистнул, взмахнул бичом, и коляска помчалась.

[1] Любимое блюдо у испанских простолюдинов: оно есть похлебка, составленная из разных мяс. *(Прим. В.Т. Нарежного.)*

Через полчаса и мы въехали в деревню и спешили достичь кареты, стоявшей не очень далеко у корчмы. Клодий и Бернард, как из лука стрела, пустились вперед, и когда моя коляска была от кареты саженях в десяти, то я увидел Терезу, спешащую ко мне с Леонардом на руках. Рядом с нею шла Маша, а за ними следовали все мои служители. Стремительно принял я с рук няньки сына, поднял его вверх и возгласил: «Отец щедрот и милосердия! призри бедного сироту сего! у него нет матери, а отец — изгнанник!» — Я не мог сказать более; слезы полились градом по щекам; в глазах потемнело; я пошатнулся; устрашенная Тереза выхватила дитя из рук моих, а Клодий и Бернард, поддерживая под руки, подвели меня к близ стоявшей скамье и усадили. Тут вся прошедшая жизнь представилась мне по порядку происшествий. «Правосудный и милосердный боже! — говорил я сам в себе,— если бы отец мой не был столь сурового нрава, то я имел бы обожаемую Юлию моею супругой, жил бы в кругу счастливого семейства, не был бы мужем развратной женщины и не пролил бы крови моего ближнего. Но таковы судьбы твои! я ничего не понимаю и безмолвно следую за рукою, меня ведущею».

Успокоясь несколько, я поднялся со скамьи и сказал: «Тереза, Маша и ты, Клодий, пройдемся немного по деревне; а ты, Бернард, закажи хозяину изготовить для всех нас хороший обед. Судя по наружности, эта корчма лучше Фернандесовой, так надобно ожидать и угощения лучшего». После этого началась наша прогулка. Ничего нет глупее и несноснее испанской спеси. Всякий бродяга носит предлинную шпагу, и владелец ветхой хижины и малого участка земли считает себя не менее гранда первой степени. Прошло около часа прогулки, как Бернард настиг нас и с превеликой важностью сказал: «Ваше превосходительство! Дон Гусман де ла Кодонос, желая вам здравия и долгоденствия, покорно просит в содержимую в замке его гостиницу пожаловать откушать».— После сего он, отворотясь, захохотал во все горло и бросился назад скорыми шагами. «Что бы это значило?» — спросил я у Клодия. «Не знаю,— отвечал сей,— а думаю, что недаровое. Пойдем и узнаем».— Когда вошли мы в столовую, то я увидел, что все мои служители имели красные глаза и платками вытирали щеки. После обеда, думал я, узнаю причину непомерной радости, и сел за стол, велев Терезе и Маше поместиться со мною. Я вы-

пил рюмку вина и сказал Клодию: «Ты, друг мой, все хорошо обдумал насчет нашего путешествия, но забыл, что французскому дворянину испанские вина...» — Дверь отворилась, и степенный старик, похожий на иссохшую ель, вошел в сопровождении служанки, несшей огромную глиняную миску. Когда она поставлена была на стол, то дон Гусман де Кодонос, подошел с улыбкою, сказал: «Уверяю кавалерскою честию, что это истинно княжеское блюдо! извольте откушать, ваша светлость, этих бобов вареных с оливковым маслом».— Я взглянул на него с удивлением и сказал: «Может быть, это княжеское блюдо и полюбится моим кавалерам, а мне, дон Гусман де Кодонос, прикажи подать что-нибудь другое».— Хозяин наморщился, отступил шага на два и сказал служанке: «Возьми, Марцеллина, и отнеси; а на место этого подай вторую перемену».— Марцеллина исполнила повеленное, и предо мной поставлено было сарачинское пшено, разваренное в воде и посыпанное изюмом. «Вот кардинальское кушанье»,— сказал хозяин. «Это кутья,— сказал я,— которую едят, поминая мертвых. Марцеллина! подавай-ка третью перемену, а это прелатское блюдо предложи моим кавалерам. Неужели я попал в монастырь кармелитов босоногих?» — «Никак,— отвечал хозяин,— у меня гащивали высочайшие чиновники королевства и были весьма довольны; не понимаю, как ваша светлость...» Третья перемена состояла в жареных каштанах. Я ахнул: «Что такое, дон Гусман де ла Кодонос, вы вознамерились меня и всех нас уморить с голоду?» — «Ах, господи! — сказал, вздохнувши, Гусман,— сколько испанские гранды снисходительны, столько французские взыскательны».— «Тут нет никакой взыскательности, дон Кодонос,— отвечал я снисходительно,— а простое требование, которое, конечно, может остаться и неисполненным. Как, например, не благодарить дона Маттиаса де Фернандеса за вчерашний ужин!» — «Маттиаса Фернандеса? — вскричал с крайним удивлением дон Гусман,— я бедняка этого довольно знаю и удивляюсь, что его ужин...» — «Да,— сказал я полусердито,— на столе у бедняка сего были баранина, цыплята, заяц, яишница, а не...» — «Праведное небо! — воскликнул дон Гусман со вздохом,— видно, вы околдованы были».— «Я разрешу эту загадку,— сказала Тереза с улыбкою.— Вчера, в обеденную пору, мы нашли у Маттиаса обед гораздо скуднее, чем здесь. Нам подано было дурное вино, черствый

хлеб и кусок заплесневшего сыру, а вместо десерта несколько головок луку. Я также удивлялась, как вы, г-н маркиз, удивляетесь теперь; а более всего меня тревожила мысль, чем накормить малютку. Недоумение свое сообщила я хозяину, сказав, что на руках моих маленький французский маркиз, который луку есть не станет».— «А, а! — вскричал радостно Маттиас,— если так, то все к вашим услугам: дайте мне реалов с двадцать или тридцать да в помощь двух ваших кавалеров, то увидите, что дон Маттиас де Фернандес наделает чудес».—«Браво,— вскричал Петр, схватя его за руку, пойдем же поскорее; у меня на руках все расхожие деньги. Никар, пойдем вместе».

Около часа не было об них слуху. Бедного малютку я потчевала хлебом, намоченным в вине. Наконец, мы увидели их, идущих по улице. Предводитель каравана сего Маттиас, неся на плечах крошню с курами и цыплятами, волок за рога большого барана, которого упорство было причиною к замедлению. У Петра за плечами был кузов с сыром и хлебом, а в руках лукошко с яйцами. Никар вез на тележке бочонок с вином, на верху коего прикреплена было корзина со всякими овощами и зеленью. Еще часа через два обед был готов, и мы были им весьма довольны. При выезде из той деревни Петр, давая Маттиасу целый червонец, сказал: «Смотри, хозяин, не прозевай. Сегодня к ужину или завтра к обеду будет к тебе знатный французский господин. На эти деньги приготовь для него стол, сколько можно лучший. Что ты скажешь? — «Если бы ваш знатный господин был сам дофин,— отвечал он с восторгом,— то на эти деньги употчую его не хуже, чем в Версали или Фонтенбло!»— С этими словами мы отправились вперед.

«Так вот! — вскричал дон Кодонос с восторгом,— вот и отгадка, отчего ваша светлость не пошли в спальню, покушав хлеба с луком. Если благоугодно вам, чтоб и в моем трактире вы угощены были не хуже...» — «Клодий!» — вскричал я с нетерпением,— и этот верный слуга, схватя за руку дона Гусмана, потащил из комнаты, а за ним и все мои служители последовали. Около трех часов мы никого не видали, и я начал выходить из терпения, как вдруг явился дон Кодонос с торжествующим видом. Шедшая за ним служанка была одета гораздо чище, чем прежде. Начался обед, и я должен признаться, что он был и изобильнее, и вкуснее, и даже затейливее,

чем вчера у Маттиаса. Обе сидевшие со мною донны очень довольны были и изъявляли благодарность хозяину; а он, ходя по комнате задравши голову, улыбался и закручивал усы.

Надобно было приготовляться в дальнейший путь. Дон Гусман, коему за труды и хлопоты щедро заплачено было, сказал: «Ваша светлость! до Байоны доедете вы не прежде как около полуночи и не найдете даже и того, что первоначально нашли у Маттиаса, то есть: ни хлеба, ни луку! Чтоб избавиться этого несчастия, осмеливаюсь представить вашей светлости, не благоугодно ли будет повелеть, чтоб двое из ваших кавалеров, отправясь теперь же в Байону, приискали хороший трактир, в котором можно б было хорошо поужинать и было б на чем отдохнуть?» — «Благодарю за совет,— сказал я с признательностью.— Петр, Никар! поезжайте с богом, и когда в городе все устроите, то один из вас пусть ожидает у городских ворот нашего прибытия».

Все устроено было по сему распоряжению, и в Байоне, во время двухсуточного нашего пребывания, мы находили в нашем пристанище все удобности жизни. До самого Мадрида не встречали никаких неприятностей, кроме небольших, сопряженных со всякою дальнею поездкою. Прибыв в эту столицу набожного и вместе спесивого народа, я остановился в доме, довольно удобном вместить меня со всем людством, ибо за два дня до моего приезда в город хлопотали о том Бернард и Клодий с утра до ночи. Целая неделя прошла сколько в отдохновении, столько и в расчетах. Надо было приискать несколько новых слуг, ибо Клодия нарек я управителем всего дома, а остальными тремя обойтись никак нельзя было. К Терезе приставил я также служанку, ибо Марья, при первой удобности, должна была возвратиться к мужу. Как бы то ни было, только в продолжении недели мы совершенно отдохнули и устроились так, как будто в Мадриде несколько лет постоянно проживали.

Первый мой выезд был к французскому посланнику при Мадридском Дворе. Этот достойный муж принял меня очень ласково и весьма терпеливо выслушал повесть о моих приключениях, заставивших бежать из отечества. Подумав несколько времени, он сказал: «По моим мыслям, самое затруднительное в вашем положении обстоятельство есть то, что вы без ведома начальства оставили полк свой, а что всего хуже, оставили полк, расположен-

ный на границе. Тестя вашего я весьма хорошо знаю. Он самолюбив, дерзок, но вместе с тем честен и неизменен в своих правилах. Совет мой будет состоять в том, чтоб вы уведомили его подробно о всем, с вами случившемся, и предоставили его справедливости исходатайствование всемилостивейшего прощения и дозволения возвратиться в отечество. Как скоро вы оное получите, то я обязанностью поставлю представить вас Двору Испанскому и уверен, что вы найдете при нем много таких особ, кои достойны всякого почтения; между тем дом мой прошу почитать своим».

Мы расстались с ним весьма приятельски.

Я думал и передумывал, каким образом писать к маршалу: употребить ли слог нежный, томный, умоляющий, какой приличен несчастному самоизгнаннику; или пламенный, резкий, непреклонный, изображающий человека твердого, оскорбленного, мало отмстившего за обиду, ему сделанную. По довольном обдумывании я избрал середину, изготовил послание, приложил к нему письмо камергера к Аделаиде и отправил на почту. Чтобы не быть в совершенной бездейственности, я начал ежедневно осматривать все достопамятности Мадрида и окрестности его. Каждую пятницу проводил я у посла, от обеда до глубокой ночи. Но как он, сообразуясь с испанскими обычаями, принимал одних мужчин, ибо все приезжающие дамы и девицы сейчас провожаемы были на половину его супруги, то сходбища наши скоро сделались для меня скучны. Ни о чем более говорено не было, как о политике и о торговле. Французы болтали безумолкно, а испанцы весьма мало. Однако ж из числа последних мне понравился один пожилой мужчина, по имени дон Альфонс де Квиринал. Он имел кроткий взгляд, тихий голос, степенную, но не гордую поступь и единственно из угождения надменному своему родственнику изредка упоминал о каком-то испанском князе, своем родоначальнике, за которого Сципион Африканский выдал свою племянницу и был посаженым отцом. Дон Альфонс также отличил меня от прочих французов и нередко, отозвав к стороне, по нескольку минут сряду со мною разговаривал. Это не шутка! Скоро открыл я в нем основательный ум, дар красноречия, довольные познания, и — вместе с тем — увы! где найдем совершенного человека? некоторые немаловажные недостатки. Он поступал во всем так, что если бы жил хотя за сто лет прежде, то та-

кие подвиги его были бы препрославлены. А теперь над ним бы смеялись, если б испанцы не считали великою непристойностью смеяться над кем-либо, а особливо над земляком. Но не столь разборчиво думали французы, и некоторые из них, бывшие помоложе, дозволяли себе всякого рода эпиграммы на счет вдохновенности этого полуправедного. Он принимал на одну минуту надменный вид испанца, обозревал насмешников с приметным негодованием и даже унизительным сожалением о их невежестве и, таким образом отмстивши, отходил обыкновенно в другую сторону и погружался в задумчивость.

Однажды, когда он более обыкновенного огорчен казался насмешками молодежи и сидел в углу крепко нахмурясь, я подошел к нему с истинным соучастием и сказал: «Что такое, почтенный дон Альфонс, заставило вас представлять здесь лицо древнего Гераклита и плакать о людских глупостях? Я думаю, что гораздо сходнее подражать Демокриту; а если это не нравится, то совсем их оставить и не казаться им на глаза».— «Господин маркиз! — отвечал дон Альфонс, улыбнувшись,— вы много ошибаетесь в моем нраве и образе мыслей, если сочтете меня способным оплакивать глупости человеческие или их осмеивать. Во мне нет ни того, ни другого. Я охотно подвергаю себя нападкам глупцов, чтобы тем испытать силу моего терпения, столь необходимого в том звании, в которое вступить надеюсь. Пойдем в сад, там скажу вам гораздо более, нежели сколько здесь сказать можно».

Когда уселись мы в дальней беседке, то дон Альфонс продолжал: «Я буду теперь откровенен, ибо считаю вас рассудительнее всех молодых кавалеров, при вашем посольстве здесь находящихся. По смерти отца я остался владетелем значительного имения. Все родственники и знакомые считали, что двадцатипятилетний Альфонс де Квиринал, пользуясь свободою, богатством и здоровьем, следуя примеру большей части себе подобных, со всего размаху бросится в омут и пустится обеими руками сгребать с себя излишества сих даров божиих, и увещевали меня быть осторожнее, но они ошибались. Я ни к чему не имел привязанности, хотя мне все хорошее нравилось. Таким образом я приобретал друзей без малейшего искательства и лишался их без соболезнования. Вскоре я женился, не чувствуя к жене и тени той любви, какую начитывал в наших романах и сам воспевал в балладах и романсах по требованиям старых красавиц и их дочек.

Вся жизнь моя была подобно пруду, осененнному высокими деревьями, которые хотя и защищали поверхность его от напора ветров, но зато не допускали и солнце освещать пасмурные берега его. Я жил, чтобы есть и пить. Наконец мне все надоело. По совету моего духовного отца пустился я путешествовать по Испании, посетил все святые места и умолял небо даровать мне наклонность к чему-нибудь, только бы избавиться мне несносной бесчувственности. Небо услышало мои молитвы и сжалилось надо мною. Однажды, размышляя о сей жизни и будущей, я почувствовал внезапно кроткий пламень, разлившийся в груди моей; мысли мои воспарили в высоту, и я ощутил непреодолимую наклонность посвятить всего себя небу и остальные дни жизни провести где-нибудь во святой обители. Но как достигнуть сей прекрасной цели? Я супруг молодой еще женщины и отец пятнадцатилетней дочери, Дианы. Хотя последнюю воспитал я с возможным рачением, внушая ей от самой колыбели все возможные добродетели, приличные полу ее, однако же нимало не помышлял сделать ее в цветущих летах отшельницей и тем добровольно лишнюю кучу грехов принять на свою ответственность. Я решился молчать о страстном своем предприятии и терпеть по-прежнему, хотя на душе моей было уже и легче, как скоро узнал предмет моей сердечной наклонности.

Спустя два года после сего перелома в моих чувствованиях жена моя умерла. Я оплакал потерю эту непритворно, не потому, чтобы страстно любил донну Сильвию, но потому, что нимало не любил ни одной посторонней женщины. По прошествии времени, установленного для наружного сетования, я с дочерью явился в свет, нетерпеливо желая, чтобы кто-нибудь из молодых кавалеров пленил невинное сердце ее. Вскоре приметил я с ужасом, что Диана смотрела на всех, как смотрит прекрасная статуя. Чтобы сколько-нибудь исподволь приучить к нежности это каменное сердце, я вызвал из Барселоны родственницу мою, Калисту, нежную, чувствительную, страстную ко всему хорошему. Диана полюбила ее как родную сестру и, казалось, для нее одной имела сердце. Калиста, следуя моему предписанию, читала ей самые нежные описания блаженства, во взаимной любви находимого, указывала на приманки любви сей во всей природе, на земле, в воде и в воздухе, и в жару восторга, коим пылала грудь ее, она не примечала, как Диана засы-

пала на ее коленах. Такая бесчувственность в молодой девице приводила Калисту в трепет, и она, рассказывала мне о том, проливала слезы чувствительности и досады. Так прошли еще два года, и я, к несчастью, не замечаю в бесчувственной никакой перемены: она и теперь столь же опытна в любви, как двухлетний младенец. Ах, маркиз! вот истинная причина моей горести и того равнодушия, которое столь смешным кажется землякам вашим!»

«Это весьма походит на роман,— сказал я, подумав,— и можно ли только было ожидать такого чуда под прекрасным небом Испании? Желал бы я хоть один раз взглянуть на донну Диану, чтобы, возвратясь в отечество, иметь право сказать: я видел в Испании такую редкость, какой никто, нигде, никогда не видывал!» — «Любопытству вашему удовлетворить нетрудно,— отвечал дон Альфонс.— Через три дня исполнится Диане двадцать лет; я сделаю небольшой пир, призову ближних родных и друзей и прошу вас также к обеду пожаловать. Вы увидите бесчувственную и — отдадите справедливость моему терпению».

Какая задача для молодого французского маркиза? Не славнее ли было бы для всякого рыцаря века Карлова одушевить мрамор, чем очарованным мечом разрушить такой зáмок? С нетерпением ожидал я рокового дня, и — наконец он настал. Имея довольно времени обдумать план нападения, я утвердился на том, чтобы равнодушную, бесчувственную донну Диану растрогать с такой стороны, откуда она менее всего ожидала приступа. На сем основании поступил я таким образом.

В надлежащий час я оделся в богатое, великолепное платье испанское. На шею повесил золотую цепь с таким же изображением Лудовика Святого, которое этот монарх подарил некогда дому Газаров за их услуги. Дорогие каменья блистали на кольцах и пряжках. В сем убранстве сел я на андалузского коня и в предшествии испанского скорохода и в сопутствии Клодия и Бернарда, также богато одетых в ливреи по цветам гербов моих, отправился к дому дона Альфонса де Квиринала. Проезжая мимо его окон со всею важностью гранда первой степени, я не мог не заметить, что все окна были наполнены людьми обоего пола. Верно, в числе этих любопытных была и Диана, думал я, слезая с коня: это не худо! Если хочешь тронуть сердце или по крайней мере занять

воображение женщины, то прежде всего надо возбудить ее любопытство. Хозяин с распростертыми объятиями встретил меня на крыльце, обнял дружески и — введши в гостиную — наилучшим образом представил многочисленному собранию. Дон Альфонс скромничал, сказывая мне за три дня, что на этот праздник пригласил только несколько друзей и сродников. Напротив, тут были собраны почти все лучшие люди из придворного сонма, из войска, из духовенства и гражданского сословия.

Когда я самым вежливым образом раскланялся с присутствующими, то дон Альфонс ввел меня в другой покой, где находились женщины. Подведя к одной, которой великолепный наряд прежде всего обратил мое внимание, он сказал: «Г-н Маркиз! это дочь моя, Диана; прошу быть к ней благосклонным». Следуя обычаю страны, в которой тогда находился, я почтительно стал на одно колено и поцеловал край блистательной ее одежды. Вставши, я начал говорить ей самое лестное приветствие, какое только щеголеватый маркиз в течение целых трех дней мог придумать, а между тем старался одним взглядом обозреть все совершенства или недостатки занимавшего меня предмета. Я поражен был удивлением; какой-то невольный трепет разлился в груди моей, и если я не спутался, не представил из себя смешного ротозея, то единственно обязан этим французскому воспитанию. Окончa приветствие мое донне Диане, я с величайшим почтением раскланялся с прочими доннами и с примерною важностью вышел из комнаты.

Следуя обдуманному предложению, я поступал так осторожно, что в течение обеда, прогулки, вечернего стола донне Диане не случалось слышать от меня ни одного ласкательного слова, не удалось поймать ни одного страстного взгляда; ибо, откровенно сказать, это первое свидание с нею решило участь моего сердца, и я без всякого упорства дозволил возложить на него прелестные оковы. Так-то иногда бывает, что маловажное начало ведет за собою весьма важный конец. Надо отдать справедливость, что до тех пор я не видывал особы столь совершенной, как Диана. Ее возвышенный рост, ее гибкий лилейный стан, ее томный взор, большею частию устремленный к небу или в землю, делали ее образцом красоты, скромности, невинности. Хотя первые чувствования мои к Юлии не совсем еще охладели, но как после разлуки с нею протекло уже более трех лет и я начинал те-

рять надежду о возможности когда-нибудь возвратиться в землю отечественную, то что могло удержать стремление мое к Диане; к тому ж какой молодой человек, а особливо француз, легко откажется от чести победить непобедимую красавицу? При расставаньи с доном Альфонсом я благодарил за величайшее удовольствие, доставленное мне в его доме. «Если у меня вам, г-н маркиз, не совсем было скучно,—отвечал хозяин, обнимая меня,— то от вас зависит сколько можно чаще посещать дом мой. Я буду очень доволен, доставляя некоторое удовольствие столь совершенному кавалеру».— Я благодарил за это ласковое приглашение, дал слово пользоваться оным и ушел, простясь с Дианою со всевозможною вежливостью, то есть с такою непринужденною холодностью, с такою тонкою надменностью, что хозяин и дочь его (как я узнал после) немало тому подивились, и последняя не без досады спросила у первого: «Не в таких ли поступках заключается столь прославленная у нас французская вежливость?»

Настала осень, почти неприметная в Испании, и мои посещения в доме дона Альфонса сделались чаще и продолжительнее. Любовь моя к Диане началась почти шуточно, как я и выше заметил, а впоследствии, становясь день ото дня сильнее, превратилась наконец в страсть необузданную. Я старался всеми позволительными в Испании средствами объяснить ей мои чувствования: почти каждый день провожал ее в церковь и из церкви, давал под окнами серенады, старался предупреждать малейшие желания. Но тщетно! Я не видел в ней ни малейшей перемены. Она прогуливалась, читала молитвы, пела духовные песни, играла на лютне, как бы при ней никого не было, хотя я и Калиста всюду следовали за нею, как тень ее. Я начал приходить в отчаяние. Подруга ее давно действовала в мою пользу, за что постепенно руки ее, уши, грудь и голова начали сиять в перлах и драгоценных каменьях. Но успеха не было. На каждую записку мою к Калисте (нам редко удавалось лично быть наедине, и то разве на самое короткое время) она отвечала готовностью удовлетворять моим страстным желаниям, но что надо подождать, пока откроется удобный случай.

Так прошла зима, и настала весна великолепная. Лимонные, апельсинные и множество других дерев усыпались цветами душистыми. Вся природа возбудилась

к новой жизни, любовь разлилась между небом и землею. Может ли один человек быть нечувствителен? Мне казалось, что я не переживу этой прелестной весны, если не получу от Дианы соответствия на пламенную любовь мою. Итак, я решился, при первом свидании с этою нечувствительною красавицею открыть ей все изгибы сердечные, все ощущения душевные. Присутствие безотвязной Калисты не должно меня удерживать, говорил я сам себе, идучи в сад дона Альфонса, когда в доме его объявили, что Диана с своею подругой там находится. Я нашел их в беседке, окруженной кустами цветущих жасминов и розмаринов. Калиста играла на лютне, а Диана пела новый романс. Никогда я не слыхал от нее другого пения, кроме псалмов и тому подобных стихотворений; итак, посудите, сколько удивлен, сколько поражен был я, когда услышал, как эта строгая, нечувствительная, или, лучше сказать, бесчувственная красавица нежным, томным, сладостным голосом изображала сладости и томления любви. Она продолжала петь:

Ах! если бы и он терзался,
Подобно мне, сей страстью злой,
Давно б уже мне в том признался
И с пламенной сказал слезой:
«Диана! кинем все сомненья!
Зачем нам бегать наслажденья?»

Кровь во мне закипела. Стремительно бросаюсь в беседку, падаю пред изумленною красавицей, обнимаю ее колена и — голосом, исполненным огня и восторга, взываю: «Диана! милая, бесценная Диана! бросим все сомнения!» — Быстро вскочила она, отступила на несколько шагов и приняла такой вид и положение, какое, вероятно, имела оскорбленная тень Юноны, вырвавшейся из насильственных объятий дерзкого Иксиона. Она скорыми шагами вышла из беседки,— Калиста, так же встревоженная, за нею последовала.

Кто опишет состояние моего сердца! Я так пристыжен, поруган! О женщины! Кто бы на моем месте не подвергся подобному ослеплению. Нет, ни сам Пигмалион не мог бы одушевить Дианы!

С мрачными мыслями оставил я жилище дона Альфонса, принесши клятву забыть Диану и всеми мерами стараться искоренить из сердца образ, недостойный моего обожания. Разумеется, что весь день провел я в тоске, а ночь в бессоннице. Чем более старался рассеяться,

тем менее успевал в том, и началом и концом каждой мысли была Диана. Тогда только испытал я, что любить непреклонную гораздо мучительнее, чем быть женату на ненавистной. Однако ж как дворянину не устоять в своем слове? Целые три дня бродил я по полям и рощам в окрестностях Мадрида и если принимал несколько пищи и питья, то единственно по неотступным просьбам всегда сопровождавших меня Клодия и Бернарда.

Так прошла целая неделя после глупого приключения в беседке; но у меня на сердце не сделалось легче, и я невольно вздрагивал при каждом о том воспоминании.

В одно прекрасное утро, когда я, погруженный в мрачную задумчивость, бродил по саду моего дома, вдруг увидел бегущего ко мне изо всех сил Клодия с большим свертком бумаги в руке. «Добрые вести, г-н маркиз,— кричал он издали,— вот вам письмо от его светлости, вашего тестя, что узнаю я по гербам печати».— Я задрожал и чувствовал, что сердце мое забилось сильнее прежнего. Взяв бумагу в руки, я сел на скамье и несколько времени пробыл в молчании; наконец разломал печать и прочел следующее:

«Господин маркиз!

Обстоятельства требовали, что я до сих пор не отвечал вам на письмо, писанное ко мне назад тому около года. Хотя вы знаете меня не много, однако надеюсь, знаете столько, что считаете человеком, любящим честь более всего на свете. Свидетельствуюсь моею совестью — это много сказано для маршала Франции,— что ничего не знал о бесчестных поступках моей дочери до тех пор, пока она за оные не наказана. Я послал в проклятый дом искуснейших врачей, чтобы приложили все меры к излечению преступников. Хотя одна пуля прошла сквозь бок гнусного камергера, а другая раздробила ногу вероломной женщины, но от таких ран не всегда умирают. Выздоровление извергов было весьма медлительно, однако ж они выздоровели. Камергер отделался тем, что на груди и на спине его выросли большие горбы, а дочь моя стала ходить с помощью костыля, на деревяшке. Этого только и ожидал я. Отправясь во дворец, я просил аудиенции, и тотчас допущен был к Королю. Я рассказал его величеству все случившееся в моем семействе и просил о правосудии. Он принял от меня просительную бумагу

и обещал сделать все, чего потребует его обязанность. Спустя три дня я получил, чрез королевского адъютанта, милостивейший рескрипт, при коем приложены были следующие бумаги: 1) пожалование маркиза де Газара генералом французской армии; 2) дозволение пробыть ему в чужестранных владениях, доколе пожелает; 3) брак его, по желанию отца маркизы Аделаиды, расторгнуть навсегда, и она обязывается остальную жизнь провести в монастыре безвыходно; 4) камергер де Флизак изгоняется от двора навсегда с воспрещением также проживать в столице или в окрестностях ее.

Вы можете заключить, господин маркиз, что я очень был доволен столь правосудным решением потомка Генриха Четвертого. Все в несколько дней приведено было в действие. Виновная дочь моя заключена в монастырь, а ненавистный обольститель оставил столицу. Кажется, вы должны быть спокойны и довольны. Маршал Франции иначе поступить не может и — не должен. Несчастных детей моей презренной дочери, Эмиля и Адель, я взял в Париж и буду воспитывать их сколь можно лучше. Они не должны страдать за беззаконие своих родителей, и хотя я из числа первых перов государства, но готов снизойти иногда и к низкому сословию людей. Господин маркиз! Все бумаги, какие вам могут со временем и по обстоятельствам понадобиться, посылаю к вам. По возвращении во Францию вы найдете во мне лучшего своего друга.

Маршал Д.»

Прочитав все бумаги, я ожил. Свобода представилась мне в виде прелестного божества, кроткого, улыбающегося. Бунтующая страсть к Диане, казалось, перешла в чувство простой склонности; образ юной, нежной, невинной Юлии носился перед глазами моего воображения, и я решился воспользоваться дарованным мне от неба правом на счастие. «Клодий! — вскричал я,— хочу и велю, чтоб через два дня все было готово к дороге. Мы опять увидим Францию, увидим Юлию и — будем счастливы».— «Господин Маркиз! — сказал с необыкновенною важностью Клодий,— я смотрю без очков, а потому думаю, что лучше вас вижу предметы как близкие, так и дальние. У меня в два часа все готово будет к отъезду; но справедливость требует, чтоб вы распростились со здешними друзьями, и в особенности с доном Альфонсом».— «Ты говоришь правду»,— сказал я, уложил полу-

ченные бумаги в карман и в сопровождении одного Бернарда полетел к дому Альфонсову.

Старик только что кончил свои молитвы и готовился завтракать вместе с дочерью и Калистою. Меня сейчас к нему допустили. Окинув всех одним взглядом, я заметил, что веселый дон Альфонс на сей раз был пасмурен, как западный ветер; дочь его подобилась увядающей лилии; на глазах Калисты блистали слезы. Я смешался и, не помня сам себя, бросился в объятия доброго Альфонса. «Что за новости? — вскричал старик,— с некоторого времени я завален загадками. Маркиз не кажет глаз более недели; дочь бегает меня, как алжирского дея; Калиста тоскует и плачет. Что все это значит?» — «Любезный друг! — отвечал я,— ничего не могу сказать насчет твоего семейства; но что касается до меня, то, надеюсь, ты примешь участие в перемене судьбы моей. Прочти эти бумаги. Ты увидишь, как решение неба правосудно. Через два дня лечу во Францию. Этот день я посвящаю дружбе и пробуду здесь до самого вечера».— «Ах, господи!» — раздался болезненный голос Калисты, я и дон Альфонс быстро оглянулись и оторопели, увидя, что бедная, бездыханная Диана лежала на коленях сестры своей. «Опять новости! — вскричал огорченный отец,— праведное небо! что из всего этого будет?»

После употребленных стараний Диана открыла глаза, и ручьи слез заструились по лилейным щекам ее. Она взглянула на небо, на меня, в землю, вздохнула — и опустила на лицо покрывало. Я не мог более удержаться. Какое-то неясное, но сильное чувство говорило мне: «Ободрись! ты любим!» Я бросился на колена, взял руку Дианы, поднял ее, осыпал поцелуями и вскричал к изумленному отцу: «Во имя вечной любви — благослови нас». Диана откинула покрывало, привстала, прижала руку мою к своему сердцу и, зарыдав снова, повerглась в мои объятия. Дон Альфонс протирал глаза, восклицал ко всем святым и, наконец, со слезами родительской любви обнял нас обоих.

Коротко сказать, объяснения следовали за объяснениями; все недоразумения исчезли, и я — к неописанному блаженству — узнал, что единственно мне принадлежит сердце нежной, страстной девицы, хотя иногда легковерной, мечтательной. Предупреждая все поводы, могущие тронуть безмерную чувствительность моей Дианы, я отправил своего Леонарда с Терезою в Рим, где предполо-

жено дать ему начальное воспитание. Свадьба совершена торжественно. Я утопал в блаженстве. Но есть ли что прочное под луною?

По прошествии полугода после счастливой моей женитьбы я узнал, что Диана будет матерью. Я не в состоянии изобразить нрав этой несравненной женщины. Если бы живописцу надобно было списать изображение нежности, то ему необходимо должно бы посмотреть на Диану, проникнуть в изгибы сердца ее, остановить на себе взор ее, взор ангела небесного. Милосердный боже! Для чего излишество, даже в добродетели, всегда для нас пагубно?

В определенное время Диана подарила меня сыном, которого, в честь его деда, назвал я Альфонсом. Мать и дитя были здоровы; дни мои текли по-прежнему: в мире, любви и довольстве. «Как справедливо утверждают,— говорил я нередко,— что благое провидение все устрояет к наилучшему концу. Что была бы вся жизнь моя, если бы Аделаида вела себя как должно? Не всякое ли утро встречал бы я мучением? не всякая ли ночь омрачила бы меня тоскою, страданием?»

Сколько я ни был счастлив, однако ж не мог не заметить, что моя милая Диана начала изменяться в лице и нраве. В ласках ее вмешивалось какое-то принуждение, какое-то неудовольствие, какое-то отвращение, и я очень встревожился. Со всею строгостью беспристрастного судии я пробежал в мыслях все поступки свои, все слова, все движения и не находил ничего, чем бы мог подать повод хотя к малейшему на себя нареканию. Я даже приметил, что и Калиста подвержена была равной со мной участи. Диана день ото дня становилась к ней холоднее; я старался отгадать тому причину, настоятельно расспрашивал, и бедная девушка всегда отвечала мне со вздохом: «Я думаю, что Диана нездорова! Как жаль, что она скрывает источник своей болезни!»

Сыну моему исполнился год возраста, и дон Альфонс расположил день рождения своего внука праздновать самым торжественным образом. Жена моя еще за три дня отправилась в монастырь блаженной Клары, дабы там попоститься. Тесть мой также вздумал набожничать и накануне праздника уехал в пустыню преподобного Франциска. Почему и не так? говорил я: что многие народы назвали бы излишеством, то для испанца составляет набожность.

Настал незабвенный для меня день — день рождения моего сына, день, встреченный с чувством истинной радости и проведенный в горести и сетовании. С восходом солнечным весь дом наполнен был суетою и приготовлением к празднеству. Прошел полдень, и гости начали собираться. Все изготовлено, и единственною остановкою было отсутствие жены моей и тестя. Солнце склонилось к западу, а ожидаемых нами особ нет как нет. Нетерпение и беспокойство разлилось по всему обществу; все попеременно подходили к окнам, выглядывали, пожимали плечами и не знали, что заключить об этой странности. Наконец, вошел старый Диэго, дворецкий дона Альфонса. Он с робостью осмотрелся, подошел ко мне дрожащими ногами, подал большой сверток бумаг, залился слезами и поспешно вышел. С неизъяснимым чувством тоски, горести и угрожающей беды я разломал печать и прочел следующее:

«Господин маркиз!

Наконец небо услышало мои молитвы, и я блаженствую. Когда вы читаете эти строки, то у вас уже не будет ни тестя, ни жены, а будут смиренные богомольцы Амвросий и Доминика. Так, господин маркиз, Диана поручила мне уведомить вас, что, не могши сберечь любви вашей, она не дорожит светом и жизнью. Она искренно желает вам счастия с Калистою, которая хотя преступила законы дружбы, родства, гостеприимства, но она прощает ее. Сына вашего, Альфонса, я делаю наследником всего моего имения и прилагаю законные на то свидетельства. Переписка ваша с неблагодарною Калистою также препровождается. Дочь моя в последний раз просит вас забыть о ней и не искать случая ее видеть. Она уверяет, что везде найдет блаженство, где только не будет встречать вероломного и вероломной. Будьте спокойны, г-н маркиз, если соблаговолит на то праведное небо! Вас не забудет. в молитвах своих, смиренный

Амвросий».

Кто опишет великость бедствия, столь мгновенно меня постигшего? Я лишился чувств и когда пришел в себя, то увидел, что лежу в постеле. Клодий и Бернард сидели у ног моих и плакали. «Милосердный боже! — сказал я, получив употребление языка,— или я видел ужасный сон, или и подлинно сделался несчастнейшим человеком!» Я не ожидал выздоровления и, однако ж, выздоровел и

на собственном опыте дознал, что как радости, так и печали житейские невечны. Первое употребление возвращенных сил было — лететь в обитель Клары; но мне было отказано в свидании с Дианою. Все мои письма к сей неумолимой возвращаемы были нечитанные. Плотные покрывала, в коих закутывались все инокини, не дозволяли мне отличить мною искомую. Каждый день я посещал сию обитель и каждый день возвращался домой в тоске и горести. Так прошло полгода, и — я получаю горестное известие о кончине Дианы. Мне дозволено было видеть ее в гробе: я видел, и ручьи горьких слез текли из глаз моих. Пребывание в Испании сделалось для меня нестерпимо. Куда же обратиться? В отечестве ожидали меня насмешки, а может быть, и оскорбления. Можно ли найти лучшее убежище, кроме Италии, где, вероятно, и не слыхали о похождениях маркиза де Газара? Чувство любви к сыну Леонарду оживилось в душе моей; я утвердился в этих мыслях, распродал имение дона Альфонса, простился с ним письменно и, оставя при себе одних Клодия и Бернарда, распустил прочих служителей и с маленьким Альфонсом отправился в столицу Христианства. Я предположил вести жизнь самую скромную, уединенную и остальные дни посвятить на воспитание сыновей своих.

Достигнув Рима, я остановился жилищем в предместии города, подле полуразвалившегося храма Дианы. Лучшим препровождением времени считал я блуждать среди этих обломков, обновлять в душе своей образ моей незабвенной Дианы, легковерной, мечтательной, но всегда драгоценной для моего сердца. Дети мои подрастали; снедающая меня горесть превратилась в томное ощущение потерь моих; я спокойнее начал смотреть на небо, на землю, на самого себя. Главнейшими занятиями моими были посещения библиотек, картинных галерей, музыкальных зал, церковных ходов и тому подобное. Так прошла часть лета, осень и зима. Проходили целые дни так, что я не прежде вспоминал об Аделаиде и Диане, как увидя Леонарда и Альфонса. Так-то подвержено все непрерывным переменам на лице земли.

В начале весны весь Рим возмутился. Причиною этому было появление прекрасной сицилиянки Лорендзы. Народная молва предупредила ее прибытие. Мне сказывали достоверные люди, что она за несколько лет была театральною певицею в Палерме и восхищала народ как

прелестями лица, так и приятностью голоса. Пожилой граф Тигрелли пленился ею несказанно и предложил к услугам ее свое золото. Против его чаяния и противу всех обыкновений красотка с презрением отвергла такое приношение, и бедный любовник в пылу страсти предложил ей свою руку. Его выслушали благосклонно, и вскоре прелестная певица сделалась графинею.

Достижение важного звания в обществе не всегда приносит с собою благоразумие. Лорендза и не думала переменить образа жизни и по-прежнему пела, но только не на театре и не за денежную плату, а в кругу знатнейших собраний — из одних лестных ей похвал и рукоплесканий. Сперва граф Тигрелли морщился и вздыхал, потом начал ворчать, а наконец браниться и грозить. Лорендза расплачивалась тою же монетой, и вскоре они совершенно друг другу опротивели. Граф, владея большим имением и пользуясь — по званию своему — знакомством и дружбой многих знатных и сильных людей, так умудрился, что прелестная супруга его ничего не предчувствовала, как получена была из Рима булла, в силу которой брак их расторгнут, и Лорендза одним разом потеряла и мужа и графство, но не бодрость. В жару гнева и негодования оставила она чертоги графские и вознамерилась веселою, непринужденною жизнию вознаградить себя за два скучные года, проведенные под властью угрюмого мужа. Граф, с своей стороны, был несколько причудлив. Сложив с себя охотно звание супруга, он никак не хотел оставить ревности и преследовал бедную Лорендзу в самых невинных удовольствиях ее. Каждый шаг ее был опорочен, каждое слово дурно перетолковано, словом — сколько было у нее прежде друзей, столько нашлось теперь врагов, гонителей. Она возненавидела неблагодарное отечество, которое увеселяла столько времени своими дарованиями, собрала все свое имущество, которого было на довольно значительную сумму, и отправилась в Рим, чтобы там проводить жизнь покойную, независимую.

Она не ошиблась в своем ожидании: где ни являлась прелестная сицилиянка, так обыкновенно ее называли, повсюду встречаема была восторгами удивления, всюду сопровождаема страстными взорами и вздохами. В первый раз я увидел ее в церкви Св. Петра и окаменел от удивления. Ничего подобного я в свете не видывал, ни таких пламенных глаз, ни такого ослепляющего бе-

лизной лица, ни такого стройного стану. «Нет,— думал я,— граф Тигрелли не так безумен, как говорят о нем! Чем бы не пожертвовал я, только б воспользоваться правами супруга Лорендзы!»

Я нашел случай войти в дом этой Нимфы-очаровательницы и умножил собою число страстных воздыхателей. Вскоре показалось мне, что и меня отличают от прочей толпы, и надежда придала мне смелости. При первой удобности я упал к ногам ее, открылся в пламенной любви и предложил руку свою, богатство и звание маркизы. «Государь мой! — отвечала Лорендза со всею прелестью чистосердечия,— я не так уже молода и неопытна, чтоб не заметила чувствований, какие вы с некоторого времени ко мне питаете; признаюсь охотно, что из всех мужчин, которые изъявляли здесь любовь ко мне, я отдаю вам преимущество и готова соединить судьбу свою с вашею. Однако ж, будучи несчастна первым супружеством, я старалась найти тому причины и нашла, что сколько ни виновен граф Тигрелли, но не меньше того и я сама. Я никогда не должна была забывать первобытного моего состояния и весьма не скоро вмешиваться в общества так называемого большого света. Чтоб роза могла цвесть долее и приятнее, не надобно ей беспрестанно стоять на солнце. Итак, г-н маркиз, если вы думаете быть со мною счастливы, то приищите где-нибудь в пределах Италии уединенное жилище, как можно отдаленнее от городов столичных. Там проживем мы если не всю остальную жизнь, то по крайней мере несколько лет, в продолжение коих исчезнет в памяти людской мысль о палермской певице Лорендзе, и если необходимо надо будет опять явиться в шумных обществах, то они встретят уже настоящую маркизу».

За такую милую откровенность я поблагодарил Лорендзу, осыпал руки ее страстными поцелуями и клялся, что предположенный ею план для будущей жизни совершенно согласен с моими склонностями. Мы условились, чтобы при посторонних людях ни мало не обнаруживать наших взаимных намерений.

Скоро нашелся случай обзавестись мне домом в Италии, и я считал, что прелестная эта земля сделается новым моим отечеством. Я купил в Калабрии богатое графство Жокондо и под этим новым именем отправился туда с обоими сыновьями в сопровождении Клодия, Бернарда и Терезы. В ожидании Лорендзы я сколько мож-

но лучше украсил замок, домашнюю церковь и обширные сады: нанял приличное число слуг и служанок и принял странствующего чичерона[1] Джиовано в качестве домашнего секретаря и рассказчика. По прошествии месяца пребывания моего в замке Жоконде прибыла прелестная невеста, и — я сделался счастливым супругом.

Не буду описывать того блаженства, коим наслаждался я в объятиях любви, мира, непрерывного спокойствия. Год прошел как один веселый день, и Тереза нянчилась уже с юным Пиетром, залогом взаимной нашей нежности. Общество наше составляли соседние дворяне, люди, конечно, простые, воспитанные среди лесов Калабрийских, но добрые, бесхитростные. В ведреные дни я нередко занимался охотою, а в ненастные беседою с Джиованом. Этот новый чичерон был довольно учен, много путешествовал и говорил приятно. Хотя я знал, что он не очень строгих правил, но мне какая до того нужда? Я всегда думал: не осуждай, да не осужден будеши!

Так прошел еще год, и я начал думать о поездке в Реджио, дабы милую жену мою позабавить городскими увеселениями, так давно ею кинутыми. В один день, когда я перед полуднем, сидя в беседке моего сада, делал расчет, чего будет стоить предполагаемая поездка, вошел ко мне Бернард и таинственно сказал: «Простите, г-н маркиз, если я, от избытка усердия, скажу что-нибудь, может быть, неосновательное. Незадолго пред этим я видел, что в каштановой роще, по дороге к селению, наш Джиовано от неизвестного господина принимал большой кошелек с золотом. Какая б нужда была сноситься незнакомцу с здешним чичероном? На что тут деньги, если дело чисто? Боюсь, не кроется ли тут измена?»

Едва кончил он слова эти, как в дубовой аллее раздался ужасный крик, вопль, рыдание. Я сильно встревожился и выбежал из беседки. Что ж увидел я? Клодий и Тереза в величайшем беспорядке, последуемые множеством слуг и служанок, спешили ко мне — ломая на руках пальцы. «Ах, г-н Маркиз! — вопиял Клодий,— теперь-то нужно вам все присутствие духа! приготовьтесь к перенесению самой большой потери, какой только могли вы страшиться».— «Что такое?» — спросил я и по-

---

[1] Так называются в Италии люди, кои показывают другим всякие редкости и рассказывают об них все подробности. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

чувствовал, что кровь во мне начинает леденеть. «Г-жи Маркизы...» — отвечал Клодий, и рыдания его усилились. «Говори,— закричал я вне себя,— что такое сделалось?» — «Ее нет более!» — сказала с воплем Тереза. Я окаменел; голова закружилась; в глазах потемнело — я лишился чувств.

Пришед наконец в себя, я приказал объяснить мне подробно, каким гибельным случаем лишился я жены и счастия? Клодий сказал следующее: «Сегодня, явившись к г-же маркизе для получения дневного приказа, я застал уже там Джиовано. Он рассказывал, что одна поселянка, готовящаяся к смерти, изъявила сильное желание повидаться с госпожою и вверить ей весьма важную тайну, отчего зависит спокойствие последних минут ее. «Хорошо,— сказала маркиза,— желание умирающих должны быть исполняемы. Клодий! Тереза! проводите меня».— «Богоугодные дела,— заметил чичерон с набожным видом,— не требуют свидетелей!» — «Однако ж,— ответила маркиза,— и благоприличия никогда забывать не надо. Клодий! Тереза! следуйте за мною».

Когда пришли мы в каштановую рощу, то откуда ни возьмись, как будто с неба, упало письмо к ногам маркизы. Я поспешил поднять и, видя надпись на ее имя, подал ей. Не без смущения развернула она бумагу и чем далее читала, тем приметнее было ее изумление; руки ее стали дрожать, и — вдруг — милосердный боже! раздается выстрел, и маркиза, обливаясь кровью, поверглась на землю. Чичерон поднял вопль и хотел бежать, но только не к замку, а в противную сторону. Я остановил его и закричал: «Нет, злодей! ты не уйдешь отсюда. Вижу, что это гибельное происшествие тобою приготовлено!» На общий наш крик и плач прибежали из деревни крестьяне и крестьянки. Мы положили бездыханные уже останки добродетельной маркизы на носилки и принесли в за́мок. Изверга Джиовано велел я запереть в башню замка впредь до вашего о нем повеления. Вот и роковое письмо, кинутое к маркизе невидимою рукой».

Я развернул гибельную бумагу и прочел следующее:

«Я не знаю, как назвать тебя, Лорендза! Назову неблагодарною, злобною, развратною, несчастною! Разве не довольно награждена была ты за оказываемые мне ласки не более двух лет, что и по расторжению нашего постыдного брака дозволено было тебе без наказания пользоваться имением, собранным на театре и в моем доме? Не

говорил ли я тебе в Палермо, не писал ли в Рим, что честь знаменитого моего имени требует, чтобы ты, хотя и оставленная супруга, не дерзала никому отверзать своих объятий, иначе погибель твоя неизбежна. Неужели думала, безрассудная, что слова графа Тигрелли только пустой звук, теряющийся в воздухе? Ты осмелилась презреть слова мои и должна в этом раскаяться. Очень лукаво поступила ты, скрывшись в трущобы Калабрии, и я очень долго искал тебя, пока нашел. Честный Джиовано доставляет мне случай видеть тебя в уединенном месте, наслаждаться неизъяснимым удовольствием рассматривать этот ужас, простершийся по лицу твоему, эту дрожь, потрясающую все члены твои, эти мутящиеся глаза, эти бледные полуотверзтые губы; — умри, несчастная!»

«Какое пагубное стечение обстоятельств! — говорил я.— Какой злой рок меня в женах карает! Я лишился и третьей, и все насильственным образом! Боже правосудный! за какие добродетели я имею троих сыновей? за какие преступления ни один из них не имеет матери?»

Я стенал, рвался и проливал горькие слезы. Никакие утешения окружающих меня не касались моего сердца. Я не хотел видеть детей, а особливо бедного, маленького Пиетро, и не знал, буду ли в силах взглянуть на ту, которая до сего времени составляла все утешение моей жизни, всю прелесть ее,— увидеть в гробе ту, которая за несколько часов была в моих объятиях! Ужасно! нестерпимо!

Развернув нечаянно роковое письмо, я нахожу приписку, всматриваюсь и читаю эти строки: «Предполагая наверное, что предыдущее письмо вместе с трупом преступной Лорендзы представлено будет маркизу де Газару, я долгом считаю с ним объясниться. Как дворянин, он должен знать, что и я также, как дворянин, не мог быть равнодушен к оскорбительнице моей чести, к поругательнице моего имени, перешедшей после моих в чужие объятия. Может быть, маркиз, как француз, вздумает горячиться, вопиять об отмщении; в таком случае напоминаю, что я сицилианец, а не грек, и ни пред кем в свете не уклоняюсь от вызова. Я родственник Этны. Однако по совести уведомляю, что битва наша будет весьма неровная. Если падет маркиз, то я без всяких дальних усилий от хлопот отделаюсь. Два кардинала—мои дяди; три архиепископа одолжены дому нашему своим возвышением; первый министр при неаполитанском дворе — мне двоюродный брат, да и сам я кое-что значу в Палермском Сенате;

пусть судит маркиз, сколько я найду ходатаев, защитников! Если же он останется победителем, то сколько явится к обвинению его сильных людей, которые ничего не пожалеют, только бы увидеть победителя моего на эшафоте. Итак, советую: приведши в порядок семейственные дела, приезжать в Венецию; там буду я ожидать его ровно четыре месяца, и меня можно будет найти в гостинице под вывеской Зеленой чалмы. Советую дружески, прежде нашей битвы найти корабль, отправляющийся куда-нибудь подальше от Италии, где бы уже власть графов Тигреллиев была безмолвна. Если ж, чего и ожидаю от благоразумия маркиза, по пришествии крови его в порядочное течение он опомнится и я не увижу его в Венеции во все свое там пребывание, то сочту, что он отдал мне справедливость, и не усомнюсь побывать в за́мке его Жокондо».

«Никогда,— вскричал я, вскочив на ноги в крайнем бешенстве,— никогда дыхание изверга не осквернит воздуха, коим дышала нежная Лорендза; никогда». Тут Клодий и другие слуги старательно посадили меня в кресла, и я опять погрузился в мрачное уныние.

Зачем представлять вам, друзья мои, ту горесть, ту отчаянную бесчувственность при всем чувствовании своих несчастий, в каких провел я первые три или четыре дня по плачевной кончине Лорендзы. В это время прекрасное тело моей супруги поставлено в маленькой капелле под сводами замка. Расторопный Клодий взял к себе ключи от этой печальней юдоли, дабы я не покушался более туда заглядывать и тем растравлять свои раны.

По прошествии некоторого времени, когда горесть непомерная превращается в кроткую унылость, и я начал уже думать и говорить о других предметах, кроме как о моей Лорендзе и об ее кончине, Клодий сказал мне откровенно: «Г-н Маркиз! по моим мыслям, время уже заняться делами вне вашего замка. Вы отец троих сыновей, это не безделица; вы дворянин и — обижены, это также дело нешуточное. Впрочем, воля ваша—наш закон! Если вы намерены графа Тигрелли оставить в покое, то займитесь по-прежнему приемом гостей, охотою, или...» — «Клодий! — вскричал я,— вероломного, хищного графа оставить без наказания? Да покарает меня бог и в этой жизни и в будущей, если я окажусь столь недостойным звания, в коем родился, воспитан, взрос и возмужал!» — Лучи удовольствия просияли в глазах Клодия, и он отве-

чал: «Если в эту минуту взирает на вас блаженной памяти родитель ваш, то дух его исполнится неизъяснимого удовольствия. Но, г-н маркиз! в продолжении двухлетнего вашего здесь пребывания вы успели узнать итальянцев. Я думаю, что никакая сторона Европы не спасет вас — рано или поздно — от аквы тофаны[1]».— «Как же быть?—спросил я с неудовольствием,— неужели для того, чтоб быть в безопасности, я должен заточиться в пустыни сибирские или канадские и погребсти там сыновей своих, а с ними все мои надежды на удовольствие, какое могу еще найти в свете?» — «Милостливый государь,— отвечал Клодий,— я знаю одно место в юго-восточном краю Европы, где может найти верное убежище всякий, такого ищущий. Это место называется Запорожская Сечь и лежит недалеко от порогов Днепра, где вливаются воды его в Черное море. Первоначально поселились там разного звания малороссияне, не находившие в отчизне своей ни крова, ни пищи. Чтобы предохранить себя от ссор, непорядков и раздоров, могущих небольшую республику эту ниспровергнуть, храбрые люди эти положили непременным законом не иметь при себе не только жен, но даже чтоб ни одна женщина не переходила ворот их города. Но как и самые небольшие общества имеют нужду в ремеслах, рукоделиях и искусствах разного рода, а посвятившие себя единственно военному делу, люди неудобно и неохотно могут заниматься чем-нибудь другим, кроме оружия, то запорожские казаки дозволяют и казакам жениться и заниматься куплею и продажею нужных вещей, но с тем, чтобы такие промышленники жили вне города Сечи, в предместии и на хуторах вместе с женами и детьми. Там дозволяется жить и торговать христианам всех исповеданий, магометанам разных поколений, жидам и язычникам. В приеме в казаки старшина[2] совсем не заботится, кто из желающих сделаться запорожцами—какой веры, какой земли, звания, поведения; равным образом, не выспрашивать, что принуждает кого, оставя отчизну, искать у них убежища. Там есть английские лорды, испанские доны, французские графы и маркизы и проч. и проч. Но при вступлении в это особенного рода общество, подобно как при посвящении в монашество,

[1] Самотончайший яд, действующий мгновенно или медленно, смотря по количеству данного приема. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] Этим именем вообще называются все начальники, как то: войсковой и куренные атаманы, судья и проч. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

надо оставить все прежние титла и знаки отличия; там все равны: сегодня кошевой атаман или судья, а завтра простой казак; при принятии нового собрата ему дают прозвание, какое вздумается, бреют голову, оставляя один оселедец[1], и этот профан в короткое время становится посвященным в таинствах запорожских.

Не доброе ли дело сделаете вы, г-н маркиз,— продолжал Клодий, воспламенясь собственным описанием прелестной Сечи,— когда прежде низложения нечестивого графа Тигрелли отправите с Бернардом и Терезою детей своих в пределы Запорожские? Там поселятся они или в предместии или на каком-нибудь хуторе. Старшие два сына ваши и до сих пор не знают, что вы отец их, а меньшой в таком еще возрасте, что ничего и понимать не может. Снабдите Бернарда достаточною суммою денег, дабы он мог явиться в Запорожье под видом иностранного купца. Он расторопен и скоро в каком-нибудь серомахе[2] признает или лорда, или дона, или маркиза и поручит ему воспитание мнимых детей своих. Если вы—от чего господь бог да сохранит—падете под ударами сицилиянца, то я, оплакав потерю эту невозвратимую, положу гроб ваш подле гроба Лорендзы и, взяв все имущество ваше, соединюсь с малютками и порассужу с Бернардом, что далее с ними делать. Если ж, чего и ожидаю и о чем молю бога, вы останетесь победителем, то мы вместе сядем на корабль и отправимся в землю гостеприимную».

Авенир умолк и устремил испытующие взоры на лица юношей. Они казались сильно пораженными; робко взглядывали на старца, друг на друга и потупляли взоры в землю. Астион первый оправился, встал со скамьи и изменившимся голосом сказал: «Как? милосердный боже! неужели наши родители, Бернард и Тереза...—ах! почтенный атаман! разрушь мучительное сомнение мое и моих товарищей!»—«Так!—сказал Авенир величественно, и взоры его заблистали,— так! приблизьтесь, дети, обнимите отца вашего».

Кто опишет восторг и вместе смятение, с каким молодые воины погрузились в объятия родительские! Все они проливали радостные слезы, целовали чело его, руки и не прежде отошли от одра недужного, как старый Вианор,

---

[1] На макушке головы небольшой клочок волос во всю их длину, который завивается за ухо. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] Так назывались казаки, кои по беспечной жизни не имели у себя даже необходимых вещей. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

не меньше их растроганный, сказал: «Как? неужели дети хотят несвоевременными ласками умертвить того, которого не могли низложить сабли турецкие и стрелы татарские?» — Юноши устыдились сего выговора, сели на скамье и уставили неподвижные взоры на лицо отца своего, ловя каждое его движение. «Молодые друзья мои,— сказал Авенир,— неужели сердца ваши не говорят вам ясно, кого видите вы в сем добродушном старце, который был вашим дядькою в младенчестве, вашим защитником в отрочестве, вашим руководителем в юности? Вы видите в нем моего друга, Клодия!»

Юноши опрометью бросились к старцу, повисли на шее его, и слезы свои смешали с его слезами. «Вианор!— сказал Астион,— все, что ты сделал для отца нашего и для нас, достойно имени верного дружества. Прими сердечную благодарность нашу и удостой прежней любви твоей. Но, родитель мой! кто же из нас...» — «Сядьте и успокойтесь,— отвечал отец,— вы услышите короткое описание дальнейшей жизни моей и последнюю волю мою. Ты, Астион, изъявил желание знать, кто из вас которую из жен моих имеет своею матерью? Самой возраст ваш показывает, что ты обязан рождением вероломной Аделаиде; ты, Эраст,— мечтательной Диане, а ты, Кронид,— пламенной, чувствительной Лорендзе. Успокойтесь и слушайте далее.

Я последовал совету добродушного Клодия. Снарядив детей в столь дальнюю дорогу, я поручил их попечениям верных слуг, Бернарда и Терезы, снабдив их достаточною суммою денег и пространными наставлениями, как вести себя в незнакомых землях и как уведомлять меня о своем состоянии. Расставшись с этими предметами, привязывавшими меня к жизни, я простился с драгоценным прахом незабвенной Лорендзы, воспламенил в сердце своем всю силу гнева и мщения к злобному ее убийце, отпустил италиянских служителей и, заперши со всех сторон замок, в сопровождении верного Клодия пустился в Венецию. Я достиг благополучно сей столицы купцов-сенаторов и остановился в гостинице под знаком Зеленой чалмы. Следуя внушению благоразумия, я решился никуда не выходить из комнаты и никому не сказывать настоящего своего имени, пока Клодий не отыщет корабля, отправляющегося или в Триест или в Стамбул. В этом, так сказать, всемирном порте я не долго ожидал сего случая. Менее нежели через неделю Клодий известил ме-

ня, что один надежный греческий корабль через день отправляется в столицу оттоманов.

«Ну,—отвечал я,—мешкать более нечего. Настало решительное время; или моя честь и честь моего отечества будут отмщены, или кости мои успокоятся на целые веки подле костей незабвенной Лорендзы».

Поутру следующего дня, условясь с Дамианом, корабельщиком, о цене за прием двоих нас на свое судно и за содержание во время пути, я тот же час велел перенесть на оное все свои пожитки и ждать нас на другой день рано поутру.

Вошед в огромную залу гостиницы, наполненную уже множеством народа, упражненного различными занятиями, я начал искать моего противника. Проходя мимо столов, из коих за некоторыми играли в карты, за другими пили кофе, за иными ели закуски и забавлялись винами, я увидел на конце залы, в углубленном нише, пожилого человека в богатом сицилианском наряде. Он был высокого роста, с бледными щеками, а черные густые брови, нависшие над мрачными, впалыми глазами, делали вид его столь мрачным, что я из любопытства остановился и пристально его рассматривал. Он также поглядел на меня внимательно, и вскоре глаза его заблистали, щеки покрылись румянцем. Он встал, подошел ко мне с горькою улыбкой и, устремив на меня взоры, сказал: «Я вижу, по вашей одежде, что вы иностранец: не могу ли чем услужить вам? я граф Тигрелли».

Хотя при первом взгляде на сего незнакомца сердце мое несколько стеснилось, но теперь, при звуке его голоса, при его имени, оно затрепетало, онемело, и я молча его рассматривал. В таком неприличном положении, может быть, я пробыл бы и долго, если б мой ангел-хранитель не шепнул мне на ухо: «Ты маркиз де Газар! припомни ж всегдашние наставления отца твоего».— Мгновенно я воспламенился и, подойдя поближе к графу, сказал равнодушно: «Я—маркиз де Газар!»—Граф взял меня за руку и, подведя к окну, сказал: «Благодарю, что не заставили меня долго дожидаться. Не знаю, каких вы мыслей в теперешних обстоятельствах, а думаю, что одних со мною. Путь, нами предпринимаемый, так далек и важен, что без хорошего запаса пускаться в оный считаю я делом крайне безрассудным; итак, окончание нашего спора отложим до завтрашнего дня, а весь сегодняшний я намерен посвятить посту, молитве, раскаянию и бла-

готворению. Завтра — самый отдаленный от Венеции островок по направлению к Истрии служит для здешних жителей кладбищем. Там нет иных обитателей, кроме одного старого монаха, проживающего в хижине подле обветшалой капеллы. На западном берегу у самого моря возвышается черная мраморная гробница. Сейчас я пошлю туда нарочных работников, кои выкопают могилу. Завтра поутру постарайтесь, г-н маркиз, быть там до начала обедни, чтобы приезжающие с трупами для похорон и отправления панихид над усопшими не помешали нашему делу. Я не возьму с собою более одного слуги, и вам, думаю, больше брать не надо. Согласны ли, г-н маркиз?» — «Совершенно!» — Тут он, поклонясь вежливо, вышел из залы; равномерно и я уединился в свою комнату.

Долго сидел я неподвижно, углубясь в размышления. Тень моей Лорендзы! улыбнись ко мне из селений райских; или кровь твоя будет отомщена, или я скоро соединюсь с тобою! Эта мысль делает для меня смерть не только сносною, но даже усладительною!

Написав завещание, в коем, разумеется, сделал Клодия душеприказчиком, подробно определил все статьи касательно детей моих и имения. Обедал с добрым вкусом. Под вечер был я в сборной комнате, но графа Розина там не видно было. В полночь я заснул, и во всю ночь мечталась мне Лорендза во всем блеске своих прелестей.

Едва взошедшее солнце осветило поверхность моря и кровли пышных палат венециянских, я вскочил с постели и начал одеваться, не дожидаясь Клодия; однако он скоро явился и известил, что у ворот дома уже готова гондола. Я вооружился шпагой и двумя пистолетами и, вышед из гостиницы, чтоб никогда уже в нее не возвращаться, сел в гондолу и пустился к кладбищенскому острову. Еще издали увидели мы черную мраморную гробницу. Признаюсь откровенно: доселе спокойное сердце мое сильно затрепетало от какого-то ужаса; от смерти и убийства кровь застывать начинала. Я тотчас вынул табакерку с изображением Лорендзы, и кровь снова воспламенилась в жилах моих. Я жаждал мщения, и в таком расположении моего духа пристала гондола к берегу, на который вышед, увидел, что граф стоял уже у вырытой могилы, держа под левою рукою обнаженную шпагу. В некотором отдалении стояли слуга его и старый инок. Последний был очень печален и казался молящимся.

Собравшись со всею бодростью, я подошел к графу и сказал дружески: «Какое прекрасное утро! Оно очень подобно тому, в которое разлилась по земле невинная кровь прелестной Лорендзы».— Лишь только последняя мысль, клянусь, нечаянно пролетела сквозь мою душу и в воздухе разнеслись слова — *кровь Лорендзы,*— как я наполнился бешенства и, отступая на несколько шагов, обнажил и свою шпагу. Тут граф, подняв на меня глаза, из коих выскакивали тусклые искры гнева и негодования, сказал: «Повремените, г-н маркиз! в этом почтенном старце видите вы отца Бартоломея, который, склонясь на мои просьбы, обязался предать земле останки того из нас, который падет на землю. Не щадите меня, ибо откровенно говорю, что и вас щадить не стану. Жизнь одного из нас была бы для другого вечным терзанием. Непременно надобно одному улечься в этой могиле до общего восстания; но совесть требует прав своих и хочет, чтобы и ничтожной части нас самих отдано было почтение, по обряду веры; итак, не противься отцу этому исполнить последний долг сей, равно как и я святым долгом поставляю совершить то же над тобою!»

Проговоря слова эти, он скинул на землю мантию и камзол; я то же сделал с своею одеждою, и мы начали бой.

Я не буду распространяться в описании сего ужасного происшествия; довольно сказать, что я в графе Розине нашел такого противника, какого не ожидал найти во всей Италии. С каждою проходящею минутою неистовство наше умножалось. Я ранен был уже в левую руку и в правой бок, и кровь моя полилась на землю. Это утроило мое бешенство, я собрал все силы, соединил их с искусством, отбил решительный удар, и шпага моя по самый эфес вошла в грудь противника. Кровь его брызнула мне в лицо и заслепила глаза. Все чувства мои взволновались с таким смешением, что я лишился употребления оных; машинально выхватил шпагу из груди графа, отскочил вправо шага на два, задрожал и упал на землю. Все это произошло в одну минуту.

Когда я приведен был в себя и встал на ноги, то первый предмет, мною усмотренный, был—охладевший труп графа Розина. Бартоломео и слуга его, стоя на коленях, проливали слезы. Я подошел к ним и также прослезился. Бартоломео, вставши, сказал: «Благодарите милосердное небо, которое, даровав вам эту победу, дает время на ис-

правление и на заглажение этого убийства. Спешите удалиться в верное убежище; я один с этим верным слугою отдам последний долг сему несчастному. Видите ли вдали развевающиеся черные флаги? Это знак, что погребательные суда уже в пути на этот остров. Если кто-нибудь вас здесь настигнет, то опасность неизбежна!» — С растерзанным сердцем бросился я с Клодием в гондолу, и мы пустились далее в море, к кораблю Дамианову, куда прибыв, взошли на оный; после сего тотчас началось предназначенное плавание.

Путешествующие по морю имеют гораздо более возможности предаваться размышлению, нежели проезжающие по сухому пути. В первом случае мы не видим ничего, кроме необозримой поверхности водной и бесконечного шара небесного; ничто нас не развлекает; самый шум волн, рассекаемых носом корабля, увеличивает наклонность нашу к задумчивости. Сидя один в своей каюте, я обозрел всю цепь жизни моей и нашел, что то чувство, которое столько прославлено во всех веках и у всех народов, которое кажется одною из важнейших причин, приковывающих нас к жизни, что чувство любви было для меня источником истинного мучения. Страстно любил я милую Юлию и принужден был, гордостью и высокомерием ее, оставить; со всею нежностью привязан был к прелестной Диане, и она оставила меня по внушению пагубного суесвятства; со всем пламенем сердечным боготворил я несравненную Лорендзу и жестоким образом лишился ее. О любовь, любовь! чувство сколь сладостное, животворное, столько горестное, смертоносное! Нет! никогда не поддамся уже этой гибельной страсти! хотя мне немного более тридцати лет, но должен быть доволен тремя опытами — продолжать еще испытания было бы безрассудно!

Сердце человеческое никогда не должно быть пусто; иначе оно уподобится древней гробнице, вмещающей в себя одно отвратительное тление. Итак, чтобы всегда быть заняту, я познакомился с одним пожилым греком Орестом и начал учиться от него языкам греческому и турецкому. Как корабельщик Дамиан, так почти все, находившиеся на корабле его путешественники, были купцы, а потому они по торговым делам останавливались у многих островов греческих, и мы не прежде приплыли в пролив Дарданельский, как чрез четыре месяца по выходе из залива Венециянского, и я столько ж успел в помя-

нутых языках, что мог довольно исправно вести простой разговор. По совету моего учителя Ореста я, будучи еще на корабле, переоделся в греческое платье; Клодий мне последовал. Это сделано не для того, чтобы в столице варваров не было европейцев, одетых в платья стран своих, но потому, что греков было более всех; следовательно, в этой одежде одетые менее обращали на себя внимания, а мне того и хотелось. При выходе с корабля, я и Клодий сказались также греческими купцами, получили от досмотрщиков пропускные виды, и прибыв в город, остановились на греческом подворье.

Приятели мои, греки, узнав, что имею значительную сумму как в наличных деньгах, так и в дорогих вещах, искренне мне советовали сделаться настоящим купцом, какое звание у турок гораздо почтительнее, чем в других землях европейских. Я охотно было склонился на такое предложение и готовился на две трети моих денег накупить товару, как разнесшийся по всему Стамбулу правдивый слух, что богатый жид Мисаил по доносу, что когда-то и где-то делал непозволительное предложение какой-то турчанке, лишился головы и все имение его отписано на султана, сделал меня благоразумнее, и я поудержался объявить о своем имуществе. Располагаясь всю наступающую осень и будущую зиму провести в столице оттоманов, я поручил Клодию съездить в Запорожскую Сечь и проведать, что делают Бернард и Тереза с детьми моими. Клодий отправился в путь, а я на место его нанял пожилого грека Кириака и начал вести жизнь тихую и скромную, тщательно избегая знакомства с турками, а и того более с турчанками.

Для знаменитого француза, привыкшего к шумным обществам, где женщины представляют первых лиц и разливают вокруг себя игры и смехи, проживать в Стамбуле значит почти то же, что томиться в пространной темнице. Самым занимательным препровождением времени для меня было посещать греческие монастыри и церкви или провожать султана от дворца до главной мечети и оттуда назад. Обращаясь беспрестанно с греками, я усовершенствовался и в языке их, а с тем вместе привык к обрядам их богослужения. Час от часу обряды эти мне более и более нравились, и наконец, я, нимало не обинуясь, в начале зимы торжественно посвящен в сыны греческой церкви и наречен Авениром. Немного времени спустя с нарочным посланным татарином получил я письмо

от Клодия, из коего узнал, что Бернард со всем семейством поселился в предместии Запорожской Сечи, и как ему показалось, что управлять семейством и упражняться в торговле гораздо удобнее двоим, чем одному, то он, женившись на сопутнице своей, Терезе, детей моих выдал за своих. Однако ж быв истинно мне преданными слугами, они не забыли происхождения сыновей моих и приговорили ученого казака, который некогда набирался премудрости в киевской бурсе и, избегая нищеты, обратился искать счастия в Запорожской Сечи. По ночам — ибо открыто заниматься учением почиталось в этой чудной столице большим беззаконием,— начал он учить их по-латыни и по-русски читать и писать, и успехи учения его были значительны. С тем же татарином я отправил к Клодию ответ, в коем поручал ему принесть благодарность мою Бернарду и Терезе за попечение о моих детях. Я приобщил подарки для всего семейства и объявлял, что с наступлением весны, а по последней мере лета, не премину переселиться к ним и основаться постоянным жилищем. Я строго наказывал, чтобы вам, дети мои, обо мне не иначе было напоминаемо, как о постороннем благодетеле, самом ближнем родственнике и друге отца вашего. Я также известил его о перемене исповедания.

К исходу зимы, в самые сумерки, Кириак ввел ко мне мальчика лет пятнадцати, в турецком платье. «Это несчастный,— говорил слуга с видом большого соучастия,— ищущий у вас покрова, по крайней мере, на одну наступающую ночь. Несчастия его так велики, что он теперь и описать их не в силах. Дайте ему убежище до утра, и вы не будете раскаиваться в содеянии добра невинно угнетенному».

Такие слова родили в сердце моем живейшее соболезнование, и я с участием друга подал руку молодому, робкому гостю. Мы ужинали вместе, и после, указав ему диван, я разделся, лег в постелю и уснул покойно, радуясь об услуге, оказанной ближнему, хотя и разноверцу.

В самую полночь я разбужен был сильным стуком в двери моей спальни. Встаю поспешно, ощупью пробираюсь и отворяю. Кто опишет мое изумление, когда за порогом увидел я при свете многих фонарей четырех вооруженных турок и в средине их кадия. Мгновенно ворвались они в мою комнату, осветили ее и подняли вопль, нашед моего гостя. «Славные дела производят христиане,— возгласил кадий,— вовлекая правоверных в гре-

хи, которых великий пророк никогда не прощает! Обыщите всю комнату тщательно, и что покажется подозрительным, возьмите с собою; немудрено, что такой дерзкий неверный имел намерение обольстить жен наших и дочерей и на этот предмет вел уже переписку. Не много будет, если осудят его испустить дыхание на коле».

Когда благочестивый кадий так проповедывал, сопровождавшие его янычары забрали мои баулы, в коих заключались все деньги и драгоценные вещи. Когда молодой турка оделся и вмешался в толпу этих извергов, то кадий сказал: «Ты должен остаться здесь под крепкою стражею до утра, ибо в делах такого рода поутру рассуждать гораздо пристойнее, чем ночью. Ты, Гассан, и ты, Омар, останьтесь за дверьми и блюдите крепко, чтоб преступник не ускользнул из рук правосудия, а мы отправимся куда надобно».

Они все вышли и заперли двери снаружи, оставив меня в темноте глубокой. Я сел на окне и все еще не знал, что мне думать о сем гибельном происшествии. Что, если молодой турка был не что иное, как гнусное орудие скрытого злодейства! Как мог проведать о том кадий? Где был Кириак во время всей суматохи! Истинно ничего не понимаю!

Я думал, передумывал и ни на чем не мог остановиться. Наконец рассвело, я осмотрелся и не нашел ничего из своих пожитков; даже карманные часы были похищены злодеями. Солнце взошло довольно высоко, а я все еще сидел в горестном безмолвии, ожидая, чем кончится моя участь. Наконец, около полудня, дверь комнаты моей отворилась, я вздрогнул, ожидая увидеть грозного кадия со стражею,— но обманулся; ко мне вошел приветливый хозяин гостиницы с письмом в руках. «Я несколько раз проходил мимо дверей твоей комнаты,— говорил он,— но, не слыша ни малейшего движения, почел, что ты спишь, а Кириак где-нибудь слушает обедню. Теперь только явился ко мне незнакомый жид с этим письмом, надписанным на твое имя, и ключом от твоей комнаты; прочти, пожалуй, и буде нет важной тайны, то скажи и мне, какой есть у тебя приятель в здешней гавани и не думаешь ли ты завести иностранную торговлю. Я родился, взрос и начинаю стареться в Стамбуле, так могу служить тебе добрым советом».

«Сколько мне известно,— отвечал я,— так в гавани нет у меня ни души знакомой. Но что делают двое яны-

чаров, оставленных ночью у дверей моей спальни на страже и скоро ли будет сюда кадий?»—«Янычары? Кадий?— спросил хозяин с изумлением,— ты, верно, эту ночь спал дурно, что и теперь еще бредишь! Читай-ка дружеское письмо, а я между тем изготовлю прибор самого лучшего кофе; как выпьешь чашки две, то вся дурь мигом из головы твоей вылетит».— Он вышел; я с крайним смущением развертываю письмо и читаю:

«Почтеннейший Авенир!

Прежде всего поздравляю тебя с совершенною безопасностью от кадия и янычаров. Я, нижайший слуга твой, и несколько искренних моих друзей дожили до седых волос, борясь с нищетой. Наконец, благое провидение внушило в тебя мысль иметь меня в услужении. Сначала я прельщался, восхищался, смотря на твое золото и драгоценности; вскоре ангел-хранитель мой начал шептать мне на ухо: «Фалалей! неужели с тебя довольно зевать только на чужое имущество? Чем ты не человек? и почему не можешь пользоваться оным, как и другие?» Я послушался этого спасительного гласа, отыскал четырех друзей моих и условился с ними, как действовать. Что могло быть разумнее нашей выдумки? Надобно было привесть тебя в такое положение, чтобы ты не осмелился произнесть ни одного слова, а что было бы удачнее, как не поднять у тебя молодого турка? Опыт доказал, сколько мы были догадливы. Чтобы запастись нужною одеждою и нанять корабль до Каира, я успел у хозяина гостиницы повытянуть две тысячи цехинов, и к ночи готовы были кадий, четыре янычара и турчонок, который в самом деле был молодой грек, продавший нам себя на целый день и ночь за четыре цехина.

Когда ты читаешь эти строки, то мы уже за сто миль будем от Стамбула по пути к Египту. По прибытии в Каир прежде всего намерены мы поклониться публично великому пророку, завести на общую сумму торговый дом, накупить прекрасных невольниц и зажить настоящими господами. Не должен ли ты восхищаться, что целых пять человек, беззащитных греческих бродяг, делаешь на всю жизнь счастливыми мусульманами. Когда вздумаешь посвятиться в монахи, к чему у тебя довольно склонности, то не забудь в святых молитвах своих смиренного

Кириака с братиею».

Я сидел в окаменении, как вошел веселый хозяин с кофеем. «Ну, что хорошего пишут из гавани?»—спросил он, присев подле меня. «Тайны никакой нет,— ответил я с притворным равнодушием,— а любопытного довольно. На, читай; тут кое-что и до тебя касается».— Он схватил письмо и начал читать вполголоса, а я, прикушивая кофе, смотрел в лицо его внимательно. При каждой новости улыбающееся лицо его делалось пасмурнее, и когда прочитал; *я успел у хозяина гостиницы повытянуть две тысячи цехинов,*— то он побледнел, задрожал всем телом, выронил из рук письмо и закрыл глаза. Я схватил его обеими руками. «Если и ты не лучше моего проводил, то выкушай чашку кофе; уверяю, что нашедшая на тебя дурь мигом из головы вылетит».— «Ох, горе! — сказал хозяин со стоном,— эти две тысячи цехинов составляли половину моего имущества! Что я, бедный, буду делать? Сейчас брошусь к кадию, отсчитаю пятьдесят цехинов и упрошу его уговорить, чтобы злодеев искали по всему Каиру, опечатали б все их имение».— «Пустое затеваешь,— прервал я,— разве для того грабители сделаются ренегатами, чтобы турки предали их в наши руки? Лучше всего успокоиться и поискать способов другим образом вознаградить свою потерю».— Грек оставил меня со стоном, а я отправился к Оресту, учившему меня на корабле по-гречески и по-турецки. При расставаньи нашем я, сверх значительного подарка, ссудил его тысячью червонными и на эту сумму надеялся удобно достичь Запорожской Сечи.

«Вот настоящая беда,— говорит мой педагог.— Два дня назад на все наличные деньги накупил я товару и караван отправил в Измаил, а завтра сам должен туда отправиться. У меня на дорогу не более осталось денег, как на прокормление себя и трех коней».— Подумав с минуту, я восхитился родившеюся во мне мыслию. «Хорошо, приятель! — вскричал я.— Ты едешь в Измаил, и мне нужно быть недалеко оттуда. Ты здесь не чужестранец, подобно мне, и легко извороτиться можешь. Найди для меня пятьсот червонных, мы сквитаемся и поедем вместе в дорогу».

Приятель мой весьма обрадовался столь выгодному предложению; в тот же день вручил мне требуемую сумму, и на другой день, оставя Стамбул, столько для меня памятный, отправились мы в путь в одной повозке. До конца нашей дороги не встречали мы ничего особенного.

В Измаиле пробыв до наступления весны, я отправился далее и в свое время благополучно прибыл в Сечь Запорожскую под видом греческого купца.

Тайно виделся я с Клодием, Бернардом и Терезою. Я нередко видел и вас, дети мои, не будучи вами узнан. Отрощенные усы, остриженные волосы и длинное платье вид мой очень много переменили, так что сначала и Бернард не узнал меня. Приведя в известность деньги, как оставшиеся у меня и у моих служителей, так и бывшие у них в товарах, я увидел, что их весьма недостаточно, чтоб всем нам проводить жизнь беззаботную. Обдумывая сей предмет с надлежащим вниманием и следуя всегдашней склонности к военной службе, которая одна удобна была залечить раны моего сердца, я решился просить войсковых старшин о принятии меня в сочлены. Меня благосклонно выслушали, вписали в список под именем Авенира Булата, и я вскоре явился в строю запорожцев, готовящихся выступить в поход против турок, вследствие полученных повелений от царя московского. Клодий, не желая со мною расстаться и следуя моему примеру, принял греческое исповедание и под именем Вианора сделался запорожцем и встал в строе подле меня. Не лишнее будет прибавить, что он, лишь только получил от меня уведомление о перемене исповедания, то и вас троих приобщил к греческой церкви. Что сказать вам, дети мои, о воинских моих подвигах? Десять лет прошли почти в беспрерывных походах против разных неприятелей, а иногда, не хочу греха таить,— иногда против самих малороссиян, хотя и против воли. Я постепенно был возвышаем в званиях и обогащался от набегов, хотя также без особенного искательства. Имя мое было прославляемо, и по кончине последнего атамана я единодушно всем войском избран в это верховное звание.

Хотя устроение Запорожской Сечи сделано на тот конец, чтобы храбрые казаки защищали пределы Российские от беспрестанных нападений соседей, всегда хищных, всегда вероломных, однако и самые эти защитники, сколько по уродливому образованию правления, столько и потому, что почти половина их состояла из иностранцев, для которых выгоды России или ничего, или очень мало значили, нередко бывали гибельнее для родных своих, чем неверные, а потому я для отведения от войска угрожавшей бури два раза бывал в Москве, и всякий раз мне счастливилось гнев царя православного обращать на

милость. Я был приглашаем к столу его и на охоту и был столь счастлив, что заслужил его благоволение, а от окружающих его бояр приветливость и дружбу.

Узнав обстоятельно весь образ правления в Сечи, источники общественных и частных доходов, нравственность чиновников и простых воинов, я сказал самому себе: когда знатнейшие царства и республики пали в свое время, то как не последовать этого и с Сечью Запорожскою? Пройдет столетие, и, может быть, одним только географам будет известно место, где стояла некогда Сечь Запорожская. Мне о самом себе заботиться еще нечего, но у меня подрастают три сына, которых благосостояние от меня должно зависеть. Обдумав предмет сей со всех сторон, я в последнюю бытность при дворе московском купил большое и богатое поместье в области Тульской и утвердил его на имена ваши, дети мои, имена, полученные вами в недрах греческой церкви. Я предположил продержать вас при себе до совершенного вашего возраста; но как во все это время проживать вам при Бернарде и Терезе и заниматься торговыми делами было бы для будущего состояния вашего бесполезно и несообразно с вашим происхождением, то я приблизил вас к себе, сделал своими оруженосцами, брал с собою при всяком походе и был совершенно доволен вами после каждого сражения. Может быть, я и теперь еще вам не открылся бы, по ранней вашей молодости, ибо тебе, Астиан, только двадцать три года, тебе же, Эраст, двадцать, а тебе Кронид, осмнадцать лет; но настоящее положение мое того потребовало и вы знаете обо мне и о себе все, что вам на первый случай знать нужно. Если угодно будет всевышнему призвать меня к жизни, то я испрошу от войска всем нам увольнение, и мы отправимся в Тульское наше поместье; если же по всесвятой его воле ангел смерти смежит глаза мои, на такой конец объявляю вам последнюю волю мою:

От Вианора получите вы ключ от потаенной двери, ведущей в обширное подземелье под моим домом. Там, под видом хранения вина и других жизненных припасов, хранится весьма довольное имущество, в оружии, в серебре, золоте и драгоценных каменьях состоящее. Там же найдете вы большое число книг и рукописей, собранных мною в Москве, а что всего важнее, там найдете вы ларец из черного дерева и в нем все бумаги, свидетельствующие о вашем происхождении и о правах на владение

купленным мною поместьем. Вианору поручено доставить вам способ отсюда освободиться и спасти все оставляемое мною имущество. Заклинаю вас, дети мои, жить между собою в согласии, без всякого раздела и даже не мыслить о том: это мое, это твое. Вы, конечно, будете иметь супруг и детей, но и этим последним завещайте, именем моим, исполнять эту волю мою до совершенного истребления нашего рода. Теперь ступайте в свой курень и ожидайте моего призыва».

Юноши пали на колена у одра недужного; с пролитием горьких слез облобызали руки его; он благословил их, и они удалились.

На другой день, около полудня, они, быв призваны к отцу, нашли его спокойным и даже веселым. Подле него стоял медик Сатир с видом самодовольствия. «Друзья мои! — сказал он, протянув руку,— если положиться на уверения этого пана доктора, то Запорожье не лишилось еще своего атамана».— «Так,— молвил Сатир, закручивая усы,— я божусь памятью Иппократа, что через две недели ты будешь бодро сидеть на коне, кушать наливки и курить тютюн; только надобно поостеречься и за все не приниматься вдруг совокупными силами».— «Будь уверен,— сказал Авенир с улыбкою,— что совет твой с точностью исполнен будет». Он дал знак Вианору; этот вручил эскулапу кошелек с золотом, и веселый медик удалился.

Предсказание его сбылось. Авенир день ото дня становился здоровее и точно через две недели мог уже довольно бодро прогуливаться, заглянуть раз-другой в кубок и выкурить трубки две табаку. Во всей Сечи повещано было, что в первый воскресный день Авенир будет в соборе публично благодарить бога за выздоровление, а после торжественно на церковной площади говорить речь к воинам, наконец же, он пригласил всех куренных атаманов и все войсковое начальство к себе на обед, а для простых казаков в каждый курень пошлется по бочке вина. С каким нетерпением все ожидали сего радостного дня! И он наконец настал.

Излишним считаю описывать, с каким торжеством Авенир, сидя на сильном турецком коне, окруженный всеми наличными чиновниками в Сечи, прибыл ко храму. По окончании благодарственного молебствия звон колоколов и гром из мущиров[1] поколебали воздух и стены

[1] Так называются небольшие чугунные мортиры. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

храма. По выходе на крыльцо Авенир дал знак рукою, и все мгновенно умолкло. Он поклонился на три стороны и произнес: «Дети мои, казаки запорожские! двадцать лет я живу между вами и десять лет атаманствую. Я всегда был доволен вами; были ль вы всегда довольны мною?» — «Ура!» — загремело со всех сторон, и тысячи шапок поднялись на воздух. Авенир продолжал: «Благодарю бога и вас за то несравненное удовольствие, какое вы мне теперь доставляете. Вы сами, конечно, чувствуете, что после его для меня было бы смертельным ударом лишиться хотя отчасти вашей благосклонности. Но ах! это неотменно должно последовать. Вы видите, волосы мои белеть начинают. Признаюсь откровенно, что взоры мои темнеют; рука моя слаба уже наносить врагу такие удары, какие прежде наносила. Итак, дети мои, чтобы мне и в гроб взять с собою воспоминание любви вашей и признательности, я теперь — в виду всеблагого бога, в виду священнослужителей алтарей его, в виду всего войска Запорожского — слагаю с себя торжественно звания не только атамана, но и простого воина».

Он умолк. Глубокое молчание господствовало повсюду. Какое-то унылое негодование распростерлось на лицах каждого. Все взглядывали друг на друга и с робостью потупляли взоры в землю. Авенир продолжал:

«Храбрые запорожцы! в этих трех молодых воинах вы видите трех родных сыновей моих. В московском царстве есть у меня поместье, достаточное прокормить меня с семейством. Вся цель остальной жизни моей заключается в том, чтобы сыновей своих видеть при дворе царя благоверного. За все труды, понесенные мною в войске чрез двадцать лет служения, я прошу от вас, дети мои, согласия на удаление мое отсюда с детьми моими, с Вианором и тем имуществом, которое получил я от вас же при разделе добыч воинских. Благодарность моя за ваш подарок пойдет со мною за пределы гроба!»

Долго длилось глубокое, мрачное молчание. Наконец первенствующий священнослужитель, возвыся голос, произнес: «Я осмеливаюсь думать, что с нашей стороны была бы величайшая несправедливость воспрепятствовать знаменитому Авениру в исполнении его желания. Не имел ли он тысячи способов успеть в этом, не говоря никому ни слова? Итак, советую вам произнести свое

согласие, я умоляю всеблагого бога — благословить оное!»

«Согласны! согласны!» — раздалось отовсюду; опять колокола зазвучали, мущиры загремели, и Авенир, сопровождаемый многочисленною свитою, отправился в дом свой.

Великое пиршество продолжалось до самой ночи, и все разошлись по своим местам, довольны праздником.

Следующий день прошел в приготовлениях к дороге; и когда настало утро третьего дня, Авенир, его сыновья и Вианор пустились в путь. За ними нанятые чумаки вели двенадцать коней, навьюченных пожитками. Бесчисленное множество народа провожало их далеко за город, а всех далее рыдающие Бернард и Тереза и их дети.

БУРСАК

Василию Михайловичу Федорову

Милостивый государь Василий Михайлович!

Дружеская благосклонность, коею почтили Вы меня с начала довольно давнего уже нашего знакомства, без всякой со стороны моей заслуги, налагает на меня приятный долг благодарности. В засвидетельствование сего я имею честь посвятить имени Вашему сочинение мое, под заглавием: «Бурсак». Примите сей малый опыт моей преданности со свойственным Вам великодушием.

Августа 4 дня 1822 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I Бурса

Блаженной памяти отец мой, дьячок Варух Переяславского полка, в селе Хлопотах, был великий мудрец в науках читать, писать и распевать на крилосе. Он так был громогласен, что когда в часы веселые взлезет, бывало,

на колокольню и завопит, то рев его был слышнее, чем звон главного колокола, и это звонарю крайне досадно было.

Как у Варуха, кроме меня, детей не было, то он, презрев тогдашний обычай, чтобы не заставлять учить ничему детей до двенадцатилетнего возраста, принялся за меня по прошествии шести лет с такою ревностию, что в двенадцать я уже читал и писал не хуже его и пел на крилосе на все восемь гласов. Слава моя не мало утешала отца; но к чести его скажу, что он сим не ограничился и захотел сделать меня, по словам его, настоящим человеком.

Он имел друга в келейнике ректора переяславской семинарии и посему, запасшись рекомендательным письмом от богатого пана, проживающего в Хлопотах, к сей высокой духовной особе, отправился со мною в город, отстоящий от села верст на десять. Лето было в половине и день ясный.

— Неон! — сказал дорогою Варух,— когда ты будешь столько счастлив, что дозволят тебе учиться в семинарии, то смотри не ленись, и бог тебе поможет. Там-то будешь иметь случай набраться всякой мудрости, о коей нашему брату и подумать страшно. Отличась в науках, ты можешь надеяться — велика власть господня! — надеяться быть со временем в каком-нибудь селе дияконом! Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!

Рассуждая таким образом, добрели мы до города, и я разинул рот от удивления. Какие церкви, какие домы, какие сады и огороды! Проходя улицы, я поминутно дергал отца за полу, спрашивая: «Это что?» Он молча продолжал путь с великою важностию, как будто ничто его не трогало. Это был субботний день, и народ расходился от вечерень. Какое множество людей обоих полов! какое великолепие в нарядах!

Подошед к одной церкви, отец мой постучался у ворот маленького домика.

— Это жилище хорошего моего приятеля, дьячка же, Варула, где мы переночуем и посоветуем о нашем деле.

В сие время вышел к нам низенький толстый человек об одном глазе. Он тотчас узнал отца моего, оскалил зубы, поздоровался, ввел нас в светелку и усадил на лавке.

Когда Варул подробно узнал намерение Варухово относительно меня, то объявил, что оно очень не худо само по себе, но весьма худо потому, что вручить рекомендательное письмо отцу-ректору очень трудно.

— А келейник его высокопреподобия, всечестный Паисий, что такое? — вскричал отец мой.

— Ты, видно, давно с ним не видался,— отвечал Варул,— теперь и всечестный Паисий, как и все другие, взялся за ум, и кто приходит к нему с пустыми руками, для того и ректор не видит и не слышит.

— Подлинно, что худо,— сказал Варух, понизя голос и почесавши в затылке,— я и не знал, что старинный друг мой так переменился; правду, однако, сказать, что и мы, хотя также всечестные люди, а даром ни для кого и рта не разинем. Любезный друг Варул! ссуди мне рубль денег, так я поднесу его другу Паисию.

Варул, в свою очередь, задумался и также почесал в затылке. Наконец глаз его просветлел, он протянул к отцу моему руку и сказал:

— Изволь, друг Варух, ссужу тебя деньгами; но я коечто выдумал и надеюсь, что тебе это будет не противно. Возьми половину сих денег, ступай к знакомой тебе шинкарке Мастридии и купи добрую меру пеннику да другую вишневки; я же побегу к Паисию и приглашу его на ужин. На такие звы он не причудлив и отказываться не охотник. Дорогою искуплю я на другую половину пару кур, утку и гуся. Тут-то поговорим мы с Паисием о нашем деле и, надеюсь, не без успеха; а мы с тобою будем иметь тот барыш, что и сами поедим и попьем по-дьячковски.

Не для чего пространно рассказывать о пирушке, происходившей в доме Варула; за полными чарками заключен союз, целию коего было определение дьячковского сына Неона в семинарию. К концу сего ночного празднества восторженные друзья, обнимаясь между собою и обнимая меня, поздравляли с поповским саном. На другой день отец Варух с своим сыном представлены ректору, приняты благосклонно, и Неон получил дозволение набираться мудрости в семинарии и жить в тамошней бурсе.

Есть многие сельские и иногородные отцы, кои, охотно желая видеть сыновей своих учеными, по бедности не в силах содержать их в городе, где понадобилось бы платить за квартиру и за пищу. Чтобы и таковым доставить посильные способы к образованию, то помощию вкладов щедрых обывателей и по распоряжению монастырей при каждой семинарии устроены просторные избы с печью или двумя, окруженные внутри широкими лавками; на счет также монастырей снабжаются они отоплением, и более ничем. Сии-то избы называются бурсами, а прожи-

вающие в них школьники — бурсаками. Старший из студентов, по воле ректора, управляет другими, неся величественное имя консула, в том предположении, что и начальный Рим был не что иное, как бурса.

Варух и Варул ввели меня торжественно в сей вертеп премудрости и отрекомендовали консулу и будущим совоителям; а чтоб я милостивее был принят, то отец мой вручил консулу полтину денег, прося приготовить праздничный ужин. После чего, снабдя меня соломенным мешком и какою-то латинскою книгою на польском языке и благословя гривною денег, сказал:

— Неон! не печалься, друг мой! Я оставляю тебя в надежном пристанище. Бойся бога, чти старших и слушайся, не лги и не крадь,— тогда ты угоден будешь и богу и людям. Учись прилежно, когда хочешь быть благополучен. Каждый месяц ты меня увидишь или, по крайней мере, обо мне услышишь. Друг мой Варул не оставит тебя своею милостию. Прощай.

Обняв меня, оба друга удалились. Стоя у дверей бурсы, я провожал их слезящими глазами; когда же скрылись, то я вздумал осмотреть кругом новое мое обиталище. Это был сарай, состроенный из плетня, обмазанного изнутри и снаружи желтою глиною; крыша была соломенная; двери и четыре круглые окна освещали сие здание. Впереди имело оно обширный пустырь, поросший высоким бурьяном, однако торчало на оном с десяток полуусохших шелковичных деревьев; с задней стороны примыкалось к высокому берегу реки Десны; правая боковая сторона граничила с забором огромного сада, принадлежащего монастырю, в коем помещена и семинария; левая — с чьим-то пространным огородом, на углу коего стоял шинок.

Осмотрев сие пленительное место, я вошел в бурсу и уселся в углу на лавке, на своем ложе. Консул — это был высокий, дородный, смуглый мужчина с большими черными усами — лежал на лавке на войлоке, склонив голову на связку травы и держа в руках претолстую тетрадь. Из двадцати пяти моих товарищей, кои все были гораздо возрастнее меня, человека с четыре уже усланы для закупки вещей, нужных к ужину, а остальные заняты были различным образом. Иной басил ужасным голосом духовную песню; другой бренчал на балалайке, под звук коей человека два-три скакали вприсядку; некоторые боролись или бились на кулачках; словом, всякий делал что хотел, при всем том один другому не мешая.

Солнце клонилось к западу; купчины возвратились, принесши с собою полбарана, мешок со пшеном и деревянную баклагу с пенником. Консул сейчас вскочил и, овладев баклагою, отведал; и, похваляя напиток, пошел с нею на берег Десны, куда и я, по данному знаку, вместе со всеми ему последовал. Три кашевара развели огонь, утвердили треножный таган, рассекли баранину на куски по числу братии и начали стряпню. Между тем консул, отделившись с шестью товарищами, сел на берегу и начал целоваться с баклагою, не забывая своих собеседников; прочие, позади коих был и я, разлегшись на траве, точили балы, рассказывали сказки и присказки и производили самые чудные телодвижения. Видя, что консул не делал их участниками в осушивании баклаги, я у соседа своего спросил тому причину.

— Мы еще не имеем на то права,— отвечал он с тяжким вздохом,— ибо мы все только этимологи, поэты и риторы, и оттого-то не смеем, под опасением строгого наказания, пить вино, курить табак и отращивать усы. А как консул Далмат и его товарищи все философы, то они на сии преимущества имеют всякое законное право.

Не понимая, что значат сии неслыханные мною слова, я замолчал и продолжал внимательно смотреть и слушать. Каша поспела, и котел поставлен на лужайке. Консул с своими товарищами сели около него, а прочие составили второй круг; всякий вытащил из кармана длинную ложку и начал упражнять свои челюсти сколько было силы. Хотя отец мой и забыл снабдить меня ложкой, но консул приказал младшему из бурсаков делиться со мною своею. Котел опоржнен; все удалились в бурсу и полегли на лавках. Я также растянулся на своем мешке и скоро уснул крепко.

На следующее утро консул, сопровождаемый своими подчиненными, отправился в семинарию и представил меня префекту. Это был преважный протопоп и составлял второе лицо после ректора. Меня отвели в надлежащий класс, где и начали преподавать латинскую, польскую и русскую азбуку. Менее нежели в час прозорливый учитель, католический монах, догадался, что я церковные книги читал столько же проворно и внятно, как стихарный дьячок, а посему дальнейшее в сем упражнение признано излишним, а советовали мне всеми силами налечь на изучение языков латинского и польского. Перед полуднем раздался на дворе семинарском звон коло-

кола; учитель и ученики поднялись с мест, и первый дал мне знак приближиться к нему и протянуть обе руки, распрямя ладони. Я исполнил, и наставник с улыбкою удовольствия влепил в каждую ладонь по полдюжине резких ударов деревянною лопаткою. После сего пропета торжественно молитва, и всякий пошел домой, а я в бурсу. Дорогою нагнал меня один из моих товарищей, по имени Кастор, которому со слезами рассказал я о наказании, невинно полученном от учителя.

— Друг мой,— сказал он засмеявшись,— ты еще нов и неопытен. Дюжина добрых ударов, тобою полученных, совсем не есть знак учительского гнева, а, напротив, доказательство особенного благоволения. Здесь теперь такое заведение, чтобы всякого ученика, вступающего в сей храм мудрости, приучать к кротости и терпению. Хотя обыкновение сие почти ни одному новичку не нравится, но к нему привыкают, а особливо, зная, что количество полученных ударов приближает каждого к лестной цели быть скорее диаконом или и попом.

— Но,— говорил я подумавши,— отец мой сказывал, что в семинарии обучается много дворянских и купеческих сыновей, которые никогда не думают быть ни дьяконами, ни попами.

— О,— сказал товарищ,— на таковых наше начальство не обращает никакого внимания. Впрочем, заметь, Неон,— я по дружбе тебе это открою,— если ты будешь терпелив, послушен и совершенно предан воле учителя, то испытание сие продлится недолго; в противном случае оно будет бесконечно, и ты в тридцать лет будешь не что другое, как сельский дьячок, сколько бы учен ни был. Обладая же помянутыми мною добродетелями, ты скоро получишь выгодное место.

Разговаривая таким образом, вступили мы в бурсу.

Глава II Способы к содержанию

Привыкши у отца никогда желудок не доводить до ропота, я крайне запечалился, не видя и следа обеда; но, вспомня, что у меня в кармане целая гривна, я тотчас

сделал план к удовлетворению алчбы и, вышед из бурсы, опрометью бросился к площади, граничащей с семинарией, где поутру еще мельком заметил множество торговок с хлебом разного звания. Я купил за целую копейку большую булку и принялся насыщать себя с великим удовольствием; еще добрый ломоть оставался в руке моей, когда вступил я в свою обитель. Немало испугался я, взглянув на консула. Он ходил по сараю большими шагами и, обратясь ко мне, спросил свирепым голосом:

— Где был ты, негодница?

С трепетом показал я остаток булки и не мог промолвить ни одного слова, сколько от испуга, столько и от того, что рот был полон.

— Понимаю,— вскричал он,— сей бунтовщик, никому не сказавшись, ходил на рынок. Ликторы! сейчас нарежьте два пука крапивы и накажите виновного!

Двое из бурсаков, которых называли риторами, бросились в бурьян и вмиг возвратились с пучками зрелой крапивы; двое других кинулись на меня, повалили на пол и разоблачили, а первые двое начали хлестать весьма исправно. Я кричал как отчаянный; но они не прежде выпустили меня из рук, пока не увидели, что крапива измочалилась. Уединясь в темный угол, я плакал неутешно. «Если такими средствами,— думал я,— приобретается премудрость, столько прославляемая отцом моим, то пропадай она, негодная. В тысячу раз лучше оставить всю надежду быть когда-либо дияконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».

Быть может, я и надолго остался бы в таком пасмурном расположении, если бы не рассеял меня вошедший бурсак Кастор, которого за веселый нрав полюбил я с первого еще раза.

— Что это значит, Неон? — спросил приятель,— что ты и до сих пор печалишься о безделице? Поверь, друг мой, что такие происшествия не заслуживают внимания.

Вместо ответа я показал ему спину.

— Да,— продолжал он с важностию,— ты изрядно исписан; но это пройдет, и не заметишь, как пройдет.

Когда я жаловался, что консул во зло употребляет возраст свой, силу и право пить вино, курить табак и носить усы, Кастор сказал мне:

— Напрасно так думаешь, приятель, и, видно, не знаешь наших постановлений. Послушай же: почтенное со-

словие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим, и консул управляет оным вместе с сенатом. В консулы избирается старший из богословов, а прочие богословы и философы образуют сенаторов; риторы составляют ликторов, или исполнителей приговоров сенатских; поэты называются целерами, или бегунами, которые употребляются на рассылки; прочие составляют плебеян, или чернь — простой народ. Видишь, как все это прекрасно устроено! Если бы консул сделал какое позорное дело, то сенаторы доносят о том ректору, и тот немедленно снимает с него сей величественный сан и, наказав по мере вины палками, розгами или и батожьем, обращает в звание сенатора. Зато и консул имеет свои выгоды и преимущества. Именно: если кто провинится из нас, но немного, как, например, сегодня ты, то он один своею властию определяет меру наказания; в случае же вины важной он созывает сенат и с ним вместе рассуждает о деле и произносит кару. Кроме одежды и обуви, у нас все общее и хранится в каморке, пристроенной к бурсе, а ключ всегда у консула. Главный промысел наш состоит в пении под окнами мирян церковных песней или — если кто столько смышлен — в проворстве рук. Мы получаем мукою, свиным салом, птицами, зеленью разного рода и отчасти деньгами, которые обыкновенно переходят от нас в руки шинкарки Мастридии, торгующей вблизи от нас. По сим основаниям самыми злыми преступлениями почитаются у нас, если кто изобличен будет в утайке хотя одной добытой копейки или попадется в сети на ручном промысле.

Так поведал Кастор о законах сего малого Рима, как прибежал целер с объявлением, что каша готова.

— Ин пойдем, Неон,— сказал Кастор, вытаскивая из кармана ложку.

— Спасибо за ласку,— отвечал я,— пропадайте вы все и с кашею; мне есть не хочется.

— Упаси тебя угодник божий, соименитый тебе Неон, нейти со мною! Разве тебе хочется еще раз быть сечену?

— А за что?

— За то, что не хочешь с нами есть каши; это значило бы противиться уставам общества, о чем ужасно и помыслить.

Нечего было делать: я участвовал в общей трапезе, а после в купанье и отдыхе. Но лишь только раздался звон

колокола на семинарской колокольне, как и в бурсе раздался басистый голос консула:

— Ребята! на работу!

Тотчас четыре философа, взяв на плеча по огромному мешку, стали поодаль один от другого. Консул, стоя против них, начал пальцем указывать то на того, то на другого из прочей ватаги, и вмиг к каждому мешконосцу присоединилось по нескольку риторов, поэтов и инфимов. Я попал под команду Сарвила, философа веселого, смелого, собою дородного и сильного, но весьма вспыльчивого, так что, кроме сенаторов, все в бурсе его трепетали. Отряды сии двинулись в молчании, и младшие шли впереди, за ними старшие, а ход заключался философом. Как скоро прошли мы свой пустырь, то разделились на четыре части, и каждая небольшая шайка сия пошла по особой улице. Мы шли тихо, а философ, наш вождь, мерными шагами и с великою важностию, повертывая голову направо и налево. По приказанию его мы остановились под окнами одного видного дома, и он, подозвав меня, сказал:

— Это дом зажиточного купца; поди спроси.

Опрометью устремился я к воротам, отворил калитку и вошел на большой двор. У самого входа в дом стоял большой стол, за коим сидели: хозяин, судя по платью, жена его и дети, и все полдничали. Сняв бриль, с робостию подошел я к столу и трепещущим голосом сказал хозяину:

— Тебя приказано спросить.

— О чем и кто?

— Философ Сарвил, а о чем — не знаю!

Купец и жена его улыбнулись, а дети захохотали.

— Твой философ,— сказал хозяин,— по-видимому, не весьма разумный человек, что посылает спросить у меня, не сказавши о чем. Где этот философ?

— За воротами!

— Так поди же ты спроси, чего он от меня хочет?

Я выбежал на улицу и на вопрос: «Что сказал хозяин?» — отвечал с потупленными глазами:

— Он сказал, что ты, по-видимому, не весьма разумный человек, когда послал меня спросить у него, не сказавши о чем.

Философ заскрыпел зубами.

— Ах ты, проклятый,— вскричал он и такую отвесил мне пощечину, что у меня глаза ушли под лоб и я опрокинулся на землю.

— Поди ты,— сказал он другому бурсаку,— и спроси.

Сей бросился как стрела, в один миг возвратился и воззвал громогласно: «Дозволяется!»

Скинув бремя, вступили мы на двор и стали полукругом около стола сажени за две. Тут раздался ужасный рев Сарвила, так что все вздрогнули, прочие ему подтянули, и начался духовный концерт. Я взглянул на своего вождя, и ужас обнял меня. Представь себе, кто хочет, высокого черного мужчину, с разинутою пастью, выпучившего страшные глаза и дерущего горло, шевеля длинными усами. Трепеща всем телом, я вообразил: что будет со мною, если сей ужасный философ даст другую пощечину? Я погиб невозвратно! Тут не мог я удержать слез и утирал их кулаками.

Концерт кончен. Сарвил, подошед к самим хозяевам, протянул руку и проговорил речь, которую кончил желанием хозяину и хозяйке с чадами и домочадцами счастия и многолетия. Едва замолк он, как вся ватага воскликнула многая лета.

Когда все утихло, то ласковый хозяин поднес философу большую чарку водки и сунул в руку сколько-то денег; по приказанию доброй хозяйки в наш мешок высыпана мерка гороха, впущена часть свинины и оставшийся от полдника большой кус жаркой говядины.

Когда философ низко кланялся хозяевам, призывая на дом их благословение божие, хозяйка, подозвав меня, спросила весьма ласково:

— О чем плачешь, мальчик?

— О том,— отвечал я, взглянув на Сарвила,— что не знал, зачем был сюда послан.

— Разве тебя за это побранили?

— Побили, и весьма больно!

— Это нехорошо,— сказала она Сарвилу,— и тебе бить такого мальчика даже стыдно.

После сего она, взяв со стола небольшой пирог, подала мне, сказав:

— Поешь, голубчик, и не плачь.

Мы торжественно отправились на улицу. В то мгновение, как услышал я стук запертой калитки, к величайшему удивлению почувствовал, что вишу на воздухе на аршин от земли и верчусь кругом; невидимая рука держала меня за пучок, и ловкий удар поразил по макуше. Я поднял такой пронзительный вопль, что демон, меня ис-

тязавший, опустил на землю и поставил на ноги. Едва я мог стоять. Вдруг слышу голос:

— Какой ты бессовестный студент, что так мучишь безвинного малого!

Это был голос ласкового купца.

— Постой,— продолжал он,— я сейчас иду к ректору и посмотрю, как он рассудит об этом поступке.

Философ переменился в лице и стоял неподвижно. Хотя для меня и ужасен был Сарвил и, конечно, не худо было бы, если б его порядком пощуняли, но имя ректора было для меня еще ужаснее. Посему я отведен был в бурсу и отдан консулу, коему объяснено бесчеловечие, оказанное мне моим полководцем. Консул обещал воздать удовлетворение и, по выходе доброго купца, лег на свой войлок и закурил трубку, не говоря мне ни слова и даже не глядя на меня.

По закате солнечном все четыре ватаги наши почти в одно время возвратились. Кисы их были довольно наполнены, и когда все осмотрено и деньги вручены консулу, то он отвел в угол Сарвила и начал с ним шептаться. По прошествии малого времени консул громко произнес:

— Не правда ли, братцы, что для перемены в пище не худо было бы на вечер сварить кашу тыквенную?

Все одобрили такое предложение. Тогда он возгласил:

— Неон, Памфил, Епифан и Аверкий залезут в ближний огород и будут рвать там тыквы и что попадется, ибо все устроено на потребу человека, а риторы, Максим и Лукьян, станут у забора с мешками для принятия добычи.

Когда смерклось, то будущие мои товарищи в сем ночном подвиге начали приготовляться, то есть скинули халаты и засучили рукава. Хотя для меня крайне было ново и отвратительно такое художество, но что будешь делать? Я приготовился по их примеру, и все отправились на место атаки. Риторы, яко старшие, назначили каждому из нас место, где должно перелезть плетяной забор, и мы мигом очутились на огороде.

Случись же, что передо мной простирались гряды с арбузами, дынями и огурцами. Давненько не случалось мне отведывать плодов сих, и, рассчитав, что добычи трех моих сотрудников достаточно будет на всю нашу ученую шайку, я, в нескольких саженях от забора, севши на гряде, начал нысыщаться огурцами, предположив, по окончании сей первой потребности, сорвать пару хороших ар-

бузов и дынь и предаться с ними бегу. Когда огурцы уже более не шли мне в горло, то я, оторвав по преднамерению по паре арбузов и дынь, хотел встать; но не тут-то было: нога моя была прикована к земле. Ужас обнял меня, и я испустил резкий вопль. Товарищи мои как прах рассеялись, и из борозды, подле самых ног моих, поднялся преужасный мужичина с престрашными усами. Я оцепенел и сидел на гряде неподвижно.

— Как осмелился ты,— спросил он грозно,— молодой мошенник, залезть в огород сей и делать в нем такое опустошение? Кто ты?

Пришед понемногу в чувство, я встал, поклонился ему в ноги и рассказал все похождения, случившиеся в сей несчастный день до настоящей минуты.

— О, проклятые бурсаки! — вскричал он,— вы для огорода моего гибельнее, чем воробьи и грачи для вишневого сада! Но мне тебя жаль! Ты еще молод, может быть, рожден с честными склонностями, а попавши в скопище воров и мошенников, рано или поздно, непременно сделаешься нарядным плутом. Хотя я тебя и прощу, но все товарищи приколотят тебя до полусмерти. Постой, я нашел средство избавить тебя от беды; но только дай мне слово никогда не посещать моего огорода. Когда захочешь полакомиться арбузом или дынею, приди явно в дом мой — вот в конце огорода — и попроси: никогда не откажу. Если же еще поймаю на воровстве, то пребольно высеку, а в бурсе и того более тебе достанется. Поди перелезь через забор и жди меня, а я сорванные тобою арбузы и дыни передам тебе. Когда тебя спросят о причине произнесенного вопля, то скажи, что в ноге сделалась судорога, и ты, не могши встать, боялся быть пойман. Ступай с богом! Помни: имя мое Диомид, по прозванию Король.

Как сказано, так и сделано. Когда я подошел к берегу реки, то при свете разложенного огня увидел полный сенат, собранный для моего суждения. Приметив меня, все подняли смешанный вопль; но когда я подошел к огню ближе и консул усмотрел мою добычу, то радостно вскрикнул и спросил:

— Каким чудом вырвался ты из рук лукавого хозяина?

— Я никогда и пойман не был!

— Отчего же так горестно возопил, что все товарищи твои разбежались?

— Вольно им было разбежаться; а я вскрикнул от внезапной боли в ноге, в коей оказались судороги. По окончании оных я встал с своею добычею и счастливо переправился через забор. Я принес бы всякой всячины горадо больше, но не в чем было, а в пазухе и в руках никак нельзя более.

— Верю,— отвечал ласково консул,— но и сего довольно. Вперед только будь осторожнее и пустяками не пугай товарищей.

После ужина все улеглись; но происшествия дня сего были для меня так диковинны, что голова кружилась, и я не мог заснуть гораздо за полночь.

Глава III Неудачи

На другой день явился я в классе. Помня вчерашние Касторовы рассказы, что здесь бьют по рукам лопатками за излишнее внимание и прилежность, я решился избежать сей лестной награды и начал беспрестанно вертеться на скамейке, толкать товарищей, без нужды кашлять, чихать и делать всякие непотребства. Учитель только смотрел на меня, не говоря ни слова. Когда урочное время прошло, то он по-прежнему подозвал меня к себе, велел протянуть руки и разнять ладони; после чего влепил в каждую по дюжине уже ударов лопаткою. По пропетии молитвы все разошлись по своим местам.

— Что за диковинная вещь! — говорил я со слезами, потирая горящие ладони,— за прилежание бьют и за леность бьют! Видно, товарищ мой Кастор сам ничего не знает. Нечего уже у него более и спрашивать, кроме разве о уставах бурсы.

Точно так прошли остальные три дни в неделе; но как я — сколько малолетен ни был — догадался, что если уже необходимо должно мне быть биту, то пусть лучше бьют за прилежание и успехи, нежели за леность и невежество: почему знать, думал я, может быть, за это скоро удостоен буду в диаконы!

На сем основании я сделался столько прилежен, внимателен, рачителен ко всему, преподаваемому в классе,

что не мог бы уже увеличить сих качеств, хотя бы отбили лопатками обе руки по самые локти; но, к великому моему удивлению и горести, удары каждый день увеличивались, так что к субботе ладони мои распухли, как подушки. В сей роковой день, по окончании классного учения, двое сторожей внесли скамейку и поставили посередине комнаты, двое явились с пуками лоз. По мановению наставника они схватили меня, разложили на скамье и начали оказывать удальство свое. Нет! это уже не крапивные удары в бурсе!

Разумеется, что я вопиял сколько сил доставало, призывал всех святых во свидетели своей невинности; тщетно: удары сыпались градом, и вскоре я не мог уже кричать. Истязание прекращено, я снят со скамьи и одетый подведен к наставнику; но как не мог держаться на ногах, то два сторожа меня поддерживали. По данному знаку все школьники удалились, и тогда учитель взглянул на меня с милостивою улыбкой, произнеся:

— Я тобою весьма доволен, Неон Хлопотинский! Ты учился весьма прилежно, вел себя скромно и в течение всей седьмицы доказал примерное терпение и послушание,— добродетели, необходимые для всякого человека, грядущего в мир, а особливо для готовящего себя в духовное звание. Сей день есть последний день твоего испытания. Продолжай учиться с возможным рачением, веди себя скромно и честно, повинуйся установленным над тобою властям, и ты будешь счастлив. Я уже наказал твоему консулу, чтобы он имел особенное за тобою наблюдение. Вот тебе злотый[1]. Употреби его на сродные летам твоим лакомства. Я буду иметь особенное к счастию твоему внимание. Прощай и иди с миром.

Я поцеловал руку сего пастыря, встал, вышел и в один миг выбежал за монастырские ворота. Вертясь на незабвенной скамейке, я думал, что не скоро в силах буду и ползать, а теперь сделался столь тверд на ногах и крепок во всем теле, что мог скакать, как жеребенок. На рынке купил я две булки — одну для себя, а другую для Кастора, ибо в продолжение целой недели он более всех оказывал мне доброхотства.

С сего самого времени консул Далмат и сенаторы обходились со мною милостивее противу прежнего. Учение, отдыхи, пение по дворам и под окнами — все шло наилуч-

[1] 20 копеек серебром, польская монета. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

шим образом. Когда моим начальникам приходило в голову полакомиться арбузами или дынями с огорода нашего соседа и я назначаем был в числе прочих рыцарей к сему завоеванию, то всегда отговаривался неудачею первой попытки, происшедшей от судорог в ногах. Казалось, они довольны были моими причинами. Однако же, помня благодеяние, оказанное мне Диомидом, я жалел о убытках, какие причиняли ему мои товарищи, и решился быть благодарным.

В скором после сего времени, когда уличные певчие должны были отправиться на работу, я объявил консулу, что чувствую боль в горле и не могу участвовать в общеполезном деле, почему просил позволения проходиться по городу. Получив оное, я с осторожностию дошел до дома Королева и вошел на двор. Первый предмет, представившийся глазам моим, был молодой парень, занимавшийся чем-то в открытом сарае, наполненном огородными орудиями и самыми плодами.

— Что тебе надобно, мальчик? — спросил он.

— Я хочу видеть хозяина!

— Ему недосуг — он спит, дабы не спать ночью. Пора за ум взяться!

— Однако же ты должен разбудить его, и он скажет тебе спасибо!

— Да ты можешь и мне все сказать.

— Никак нельзя!

— Хорошо; пойдем же вместе. Если он меня выбранит, то я порядком намну тебе чуб.

Дом Короля был довольно просторен; он разделялся на две половины сенями. По одну сторону была кухня с перегородкою для работника или работницы, по другую — светелка, также с перегородкою. В сей-то половине отдыхал Король, и работник разбудил его. Хозяин вышел, и я, поклонясь ему в пояс, сказал:

— Знаешь ли ты меня?

— Нет!

— Я тот маленький вор, которому некогда оказал ты столько милосердия, отпустив с двумя арбузами и столькими ж дынями.

— Помню, помню,— сказал Диомид весело,— я обещался тебя потчевать, только бы ты не крал. Кузьма! принеси из сарая хорошую дыню!

Кузьма удалился.

— Нет, Диомид,— говорил я,— не с тем пришел к тебе, чтоб лакомиться, а попросить у тебя совета. Всякий раз, когда бурсаки делают заговор опустошать огород твой, я бываю сего свидетелем. Мне больно слушать, как они условливаются обижать такого доброго человека; но как помочь тому? Как я могу тебя о том предуведомить? Вот зачем я пришел к тебе.

— Ты — добрый малый,— сказал Король, осмотрев меня внимательно.— Как твое имя и чей сын?

Узнав и то и другое, сказал:

— Я знаю Варуха, ибо иногда случалось мне бывать в селе Хлопотах, и я не мог надивиться его громогласию. Послушай же! Когда пожелаешь уведомить меня о злоумышлении против огорода, то возьми камешков по числу заговорщиков, подойди по берегу Десны к углу плетня и старайся ударить ими в стену дома; тогда я сейчас возьму свои меры.

Между тем принесена дыня и съедена.

— Я дал бы тебе на дорогу и две,— сказал Король,— да боюсь, чтоб твои товарищи не возымели подозрения.

— У меня есть свои деньги,— сказал я с простосердечием,— и они о том знают.

— Хорошо,— молвил Диомид,— пойдем же, ты получишь обещанное.

Получив две большие спелые дыни, окольными улицами пришел я в бурсу и одну из них подарил консулу. Приняв сей дар с улыбкой, он спросил:

— Где ты взял такие прекрасные дыни?

— Ты знаешь,— отвечал я,— что у меня есть собственные деньги и что на рынке всего довольно.

Когда возвратились певчие и открыли свои сумы, то в числе прочей провизии было несколько арбузов и дынь, но очень малых и незрелых. Консул, с торжеством показывая свою дыню, спросил:

— Какова?

— Хороша: но где ты взял?

— Мне подарил Неон.

— А он где взял?

— Купил на рынке.

— Так купил же! Если нам покупать дыни и арбузы, то от нашей бурсы панье Мастридии ни копейки в год не достанется!

— Но что нам мешает,— воскликнул сенатор Сарвил,— не платя денег, иметь такие же хорошие дыни?

Разве огород не под боком? Клянусь, что в эту же ночь после ужина я иду сам на охоту; кто со мною?

— Я, я, я! — отвечали в один голос сенаторы Софрон, Мигдон и Никанор.

В короткое время присоединились к ним два ликтора: Маркелл и Макар. Все они были люди взрослые и дородные. Беда огороду Королеву!

Когда настали сумерки и очередные братия стали на берегу Десны варить похлебку, а прочие занимались чем кто хотел, я собрал шесть камушков, закрался на угол огорода и все удачно перекинул к дому Короля. Вмешавшись потом в толпу собеседников, я нашел, что уже принесена была баклага с вином для придания бодрости будущим собирателям пошлин, и хотя, по закону бурсы, риторы не имели права прикасаться к оной, но на сей раз сделано исключение, и обрекшие себя на подвиг были сопричислены к сонму избранных.

Полночь наступила. Шесть дынеграбителей, скинув сертуки (ибо, по званию философов и риторов, им предосудительно уже ходить в халатах), отправились к своему делу, а человек десять, в числе коих был и я, любопытствуя знать, что из сего будет, с мешками подошли к забору в разных местах, означенных самим консулом, который в таком важном случае быть свидетелем почитал за долг и удовольствие.

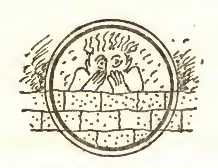
Находящиеся в огороде сначала рассыпались в разные стороны. При свете луны видно было каждое их движение. Они терзали растения, коренья и что им ни попадалось. Наконец, обремененные добычею, соединились и в порядке шли к забору. Вдруг, саженях в пяти от оного, как грибы из земли, человек с двадцать и более возникли с рогатинами, палашами и окружили онемевших философов и риторов.

— Сдавайтесь!— вскричал грозным голосом Король, взмахнув над головами их саблею,— иначе вы погибли.

Храбрые бурсаки затрепетали; из рук их покатились тыквы, арбузы, дыни; посыпались огурцы, морковь, свекла и репа. Каждого из них взяли под руки и повели к хате Королевой; оставшиеся без дела караульные забирали в полы платьев своих оброненные овощи. Они все скоро скрылись, и всеобщая тишина водворилась.

Консул Далмат, скрежеща зубами и кусая губы, тихими шагами приближался к бурсе; мы все в глубоком молчании за ним следовали. Двери были заперты накреп-

ко; на печку поставлен ночник, чего по летнему времени доселе не случалось. Нам, то есть остальным риторам, поэтам и низшим, повелено занять свои места на лавках, а консул с несколькими сенаторами держал тайный совет в другом углу храмины. В чем состоял совет сей и чем кончился — мне неизвестно; ибо я, радуясь, что храброму философу Сарвилу за данную мне пощечину и поднятие за пучок на воздух изрядно отплачено будет, спокойно растянулся на своем соломенном ложе.



Глава IV Безначалие

И действительно. При собрании всей семинарии и бурсы наши философы и риторы добрым порядком были истязаны. Консул поведен был к ректору, и приметно было, что ему за слабое смотрение и потворство не менее досталось, но только келейно. В бурсе водворилось глубокое уныние, и наши уличные певчие целую неделю не смели показаться на улице, опасаясь насмешек от семинаристов, с которыми была у нас непримиримая вражда. Мы оскудели в жизненных припасах, и ропот обнаружился; да сего и ожидать должно было, ибо с голодом труднее ладить, чем с чертом. За что в такой беде приняться?

Консул собрал сенат, дабы поразмыслить о сем деле. Они все были люди неглупые и потому рассудили, что приняться по-прежнему за пение под окнами и сказывание речей гораздо безопаснее, чем лазить по ночам в чужие огороды. Вследствие сего определения в начале другой недели после истязания наших охотников до лакомства раздались по-прежнему завывания наши на городских стогнах, и недостаток в припасах прекратился. Дела восприяли обыкновенный ход; успехи мои в учении день ото дня увеличивались, а с сим вместе и любовь ко мне учителя возрастала. Время от времени он делал мне небольшие подарки, чему мои товарищи немало завидовали. Так прошло блестящее лето, и наступила благословенная осень.

Говорит же пословица: *горбатого исправит одна могила*. И это справедливо: не Сарвилу ли философу доста-

лось за разорение огорода Королева, однако ж с прошествием нескольких месяцев все забыто. В один вечер перед ужином, когда мы в ожидании оного на берегу Десны куролесили различным образом, Сарвил, возвыся голос, сказал:

— Друзья мои! после осени настанет зима, и запас нужен. В сале и пшене, конечно, недостатка не будет, если мы все не онемеем, но не мешало бы позапастись кое-чем и другим. Обходя не один раз около ограды женского монастыря, я заметил великое множество груш и яблонь, обремененных спелыми плодами; ветви касаются земли. Что, если мы похлопочем несколько четвериков насушить на зиму, а?

— Конечно, весьма бы не худо,— сказал протяжно консул,— но кто возьмется за сие дело?

— Я заметил,— продолжал Сарвил,— что из всей нашей братии нет такого удалого молодца лазить по заборам и деревьям, как Неон Хлопотинский. Это не малый, а сокровище в подобных случаях. Мы с ним отправимся. Я помогу ему перелезть ограду, через которую, впрочем, и борзая собака перескочить может. Он нарвет яблоков и груш целый мешок, который возьмет с собою, передаст ко мне посредством веревки, которую опущу к нему, а после и его вытащу. Не обдуманно ли мое предприятие?

Мне крайне страшно было отваживаться на такое дело; я возражал сильно; но никак не мог противостоять красноречивым доводам моего философа. Мне представилась мысль, что не проведал ли он хитрости моей, которая доставила ему изрядные побои, и не хочет ли теперь отомстить; но как сказать о сем явно? Не значило ль бы это себя обнаружить? Ничего не оставалось, как только повиноваться!

Около полуночи прибыли мы к стенам монастырским, окружающим садовую сторону. Светлый месяц катился по голубому небу; глубокая тишина царствовала по всем окрестностям. С помощью Сарвила спустился я в сад и начал щипать яблоню в данную мне торбу[1]. Как скоро она была полна, то я, посредством сказанной веревки отправив ее к Сарвилу, ожидал, что он опять спустит ее, дабы вытащить меня; вместо сего он бросил мне назад пустую торбу и сказал:

[1] Небольшой мешок. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

— Теперь нарви дуль и посылай ко мне.

Хотя неохотно, но должен был исполнить требуемое. Кинув опять ее пустою, он сказал:

— Ты знаешь, что у меня довольно большой мешок, и две твои торбы не составляют половины: по крайней мере надобно еще две. Набери теперь яблоков, а после того опять наберешь дуль.

Я крайне рассердился, видя, что он так забавляется мною, а может быть, умышляет что-нибудь и худшее. Сейчас родилась во мне мысль о мщении. Подошед к стене, я сказал:

— На низких ветвях я более не нахожу уже ни дуль, ни яблоков, а до верхних без помощи других не могу добраться. Спустись, пожалуй, в сад и пособи мне взобраться на вышние ветви.

После небольшого молчания я увидел, что мой философ перекинул веревку и по ней немедленно спустился.

— Где же ты?

— Здесь!

Когда он пробирался на голос и был уже саженях в трех от стены, я стороною на цыпочках добежал до веревки, взобрался на стену как кошка и лестницу сию подобрал к себе.

— Где же ты?

— Здесь!

— Кой черт,— сказал во гневе Сарвил, приближаясь к стене,— где ты?

— На стене!

— Сейчас спусти веревку, или я тебя...

— Нет,— сказал я с видом добросердечия,— я набрал торбу яблоков и торбу дуль; так справедливость требует, чтобы и ты потрудился набрать хотя одну, а после вылезешь по веревке.

— Постой же, бездельник,— проворчал он,— дай мне до тебя добраться; чуб твой не чуб и пучок не пучок!

Едва произнес он последние слова, как невдалеке послышался говор людской, ближе и ближе к нам подававшийся. Сарвил, подобно рыси, вскочил на вершину яблонного дерева, а я притаился за один из зубцов, коими украшена была вся монастырская ограда.

В скором времени, при полном сиянии месяца, увидел я ужасного дьявола, с хвостом и с рогами, тащившего под руку женщину в одной рубашке, с распущенными волосами, из чего заключил я, что она ведьма. Колени у

меня задрожали и пучок поднялся дыбом. Я стиснул зубы и крепко уцепился за стенной зубец.

— Нет сил более, любезный Леонид,— говорила слабым голосом ведьма, подошед под яблоню, на коей скрывался Сарвил, вероятно, не в лучшем положении, как и я на стене.— Просидев в монастырском заточении более двух лет,— продолжала ведьма,— я ослабела и не могу идти далее!

— Любезная Евгения! — сказал страстным голосом черт,— съешь хотя одно яблоко с сего дерева, и оно подкрепит твои силы.

При сем, сорвав пару яблоков и подавая ведьме, говорил:

— До угла сей ограды несколько шагов; там стоит моя бричка. В двадцати верстах отсюда нашел я место, по-видимому, сделанное для нас нарочно и природою и искусством; там назначил я дом для себя и поселил с десяток совершенно преданных мне челядинцев. Жилище сие укроет нас от несправедливого гонения отца твоего. Там будем мы прославлять благость провидения, любить друг друга и делать ближним столько добра, сколько можем.

— Так, друг мой,— сказала ведьма, обнимая черта с нежностию,— как скоро я теперь тебя вижу, держу в своих объятиях, то почла бы себя благополучною, если б жестокая потеря сына не терзала меня беспрестанно. Ах, Неон, Неон! (При произношении ведьмою сего имени я вновь задрожал, и пучок целым градусом поднялся выше.) Что, дражайший друг! ты ничего о нем не проведал?

— Почти ничего,— отвечал демон с тяжким вздохом,— а что и узнал, то служит только к большей горести. Беспутной вдовы-попадьи, попечению коей вверили мы новорожденного, уже нет на свете, а перед смертию она призналась на духу, что из корыстолюбия повергла дитя наше на распутье и о последствиях ничего не знает.

Ведьма, слушая сии слова, вероятно, тихонько плакала, ибо я приметил, что она, склонясь на грудь дьявола, утирала рукавом глаза. После сего злой дух взял ее в охапку и понес к углу ограды. Не понимаю, каким образом они вдруг очутились на верху стены — да и чего не может сделать сила нечистая? — и я вскоре услышал топот лошадей и стук колес.

У меня отлегло на сердце, колена перестали дрожать и пучок улегся по-прежнему. Осмотревшись кругом, я

увидел, что Сарвил, наклав вне ограды кучу разного дрязгу, легко мог взмоститься на стену, и, утвердив за зубец веревку, спуститься по ней в сад. Если и теперь спустить ее, то он, конечно, сейчас взберется наверх и, будучи в сердцах и в испуге, исполнит с лихвою обещание, и пучку моему быть оторвану с корнем; будучи же высок, а притом в саду довольно найдет способов избавиться от хлопот, взобравшись на ограду и спустясь наниз по веревке.

После сего краткого рассуждения я спустился наниз, взвалил на плеча мешок и бросился бежать со всех ног. В бурсе все спали. Съев вдоволь принесенных мною плодов, я уложил мешок под лавку и лег опочить от толиких ночных трудов, размышляя попеременно о черте, ведьме и Сарвиле.

Уже было довольно не рано, но я находился в глубоком сне, как разбужен был ужасным смятением, происшедшим в бурсе. Продираю глаза и вижу монастырского слугу, пришедшего звать или, лучше сказать, вести консула Далмата к ректору. Консул недоумевал, что бы за причина была такой ранней повестки. Проходя мимо меня и видя под лавкою знакомый ему мешок, спросил со смущением:

— А где Сарвил?

— Не знаю! я оставил его в саду монастырском.

— Ну, беда неминучая,— сказал консул со вздохом,— верно, он захвачен и представлен ректору. Но что принудило вас разлучиться? ты здесь, а его нет!

— Нас разлучил дьявол Леонид и ведьма Евгения. Они, видно меня увидели, что называли даже по имени. Я испугался и бросился лететь; а что сталось с Сарвилом — мне неизвестно.

Консул отправился к ректору, а мы все в классы.

Возвратившись в бурсу, мы немало опечалены были, не нашед консула.

— Что будем есть?— сказали мы все в один голос; ибо известно, что ключ от кладовой всегда у него хранился. Сейчас собрался сенат и единогласным решением определил отбить замок и, взяв сколько нужно припасов, приготовить обед. Определение произведено было в действие. Но тут-то увидел я, что значит временное правление вельмож без настоящего правителя. В котел сверх обыкновенной порции свиного сала впущена добрая часть баранины, и один из философов предложил, что из боль-

шого куска телятины, который бережен был к праздничному дню, сумеет сделать хорошее жаркое, что также было принято. Третий представил, что наличной общей суммы столько, что если вынуть из оной потребное количество на покупку целой баклаги пеннику, то еще довольно останется. Сие предложение одобрено единогласно и с восклицаниями. Такого пиршества давно в бурсе не бывало.

Глава V Геройские подвиги

К ночи возвратился консул Далмат пасмурен, как ненастная ночь осенняя. Он ни с кем не говорил ни слова и растянулся на своем войлоке, стеная и охая. Я сам был в сильном смятении, страшась, не оговорил ли и меня Сарвил; ибо я точно был уверен, что консулу досталось по сему делу. Следующий день был праздничный, и я прямо из церкви побежал к Королю. Вошед в комнату, немало подивился я и оторопел, нашед хозяина в синей черкеске [1] тонкого сукна с двойными рукавами, обложенной по швам серебряным снурком; он препоясан был пребольшою саблею.

— Чему ты так удивляешься, Неон?— спросил он с улыбкою, закручивая большие усы.— Знай, друг мой: было время, что и я в малороссийском войске нечто значил. А что теперь видишь меня огородником, так это моя добрая воля. О, если бы от огорода зависело мое содержание, поверь, бурсакам не удалось бы поживиться ни одним огурчиком. Кстати! нет ли чего нового в бурсе?

— Ах! — отвечал я с тяжким вздохом.— много, очень много нового, и притом худого.

— Расскажи-ка!

Я чистосердечно поведал ему о ночном походе в сад монастырский, о видении дьявола Леонида и ведьмы Евгении, об участии сенатора Сарвила и положении консула Далмата. Король задумался и погодя спросил:

---

[1] Верхнее платье, которое носят достаточные люди. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

— Каковы ж показались тебе дьявол и ведьма?

— Ах! — отвечал я перекрестясь,— мог ли я смотреть на них без ужаса? Я стоял на ограде, держась за зубец, зажмуря глаза и трепеща всем телом. Но как ушей заткнуть было мне нечем и я слышал весь разговор нечистой силы, то и могу пересказать тебе его до слова.

Во время моего рассказа Король ходил по комнате большими шагами, ломал пальцы и после, остановясь, ударил себя кулаком по лбу, схватился за чуб и вскричал:

— Так! не будь я Диомид Король, если это не они! Но зачем таиться перед людьми, которые для их удовольствия всем пожертвовали?

Он продолжал шагать, повторяя время от времени:

— Да! это они! Подожду! Нельзя статься, чтоб мое местопребывание надолго им неизвестно было!

Успокоясь несколько, он спросил:

— Итак, тебе ничего неизвестно, что сталось с Сарвилом?

— Ничего!

— Ну, ин я скажу о сем, ибо очевидным был свидетелем последней награды, сделанной главному губителю садов и огородов. Всякое утро имею я обычай относить к настоятелю здешней обители и вместе ректору семинарии Герасиму корзину с произведениями моего огорода. Сей достойный духовный столько прост и кроток, хотя весьма учен и умен, что дозволяет мне вход во всякое время, если бы даже был он в своей опочивальне. Вчера поутру, когда я принес к нему корзину с арбузами, дынями и кое-чем другим, то, вошед в большую приемную комнату, немало подивился, увидя, что ректор, префект, келарь, игуменья, диаконша, несколько монахов и монахинь сидели в полукружии. Посредине стоял Сарвил со связанными назади руками. Служители обоих монастырей находились позади его. Поодаль с поникшей головою стоял ваш консул Далмат. Начался допрос по форме и продолжался немалое время; потом осудили Сарвила на изгнание.

Таким образом среди всегдашней бедности и временного довольства, среди ученья и шалостей протекли восемь лет. Я оканчивал уже курс философии, а потому, пользуясь неупустительно правами философа, и я пил вино, курил табак и носил усы. Много перебывало у нас консулов, и в последнее время друг юности моей, Кастор, нес

на себе сие великое звание. Отец мой, честный дьячок Варух, посещал меня не часто, но зато всякий раз щедро награждал благословениями и советами. У друга его дьячка Варула и последний глаз закрылся навеки. Я весьма нередко, можно даже сказать, весьма часто посещал честного Короля и день ото дня находил в нем более достоинств. Бывали случаи, что он, забывшись, обнаруживал свою ученость, которая при его опытности гораздо мою превосходила; но он скоро опомнивался, и я никак не мог дознаться, кто он подлинно, ибо не хотел верить, чтоб простой казак полка гетманского, как он о себе сказывал, мог разуметь философию и говорить так логически. «И то правда,— думал я иногда,— может быть, и он такой же бурсак, как Сарвил, о коем мы со дня изгнания из семинарии ничего уже не слыхали».

В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое намерение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому. Такие слухи более и более усиливались и доводили поляков до неистовства. Старый киевский воевода принял деятельнейшие меры воспротивиться таковому предприятию гетмана, низложить оное и еще более поработить Малороссию. Гетман тайно начал готовить войска.

В сем положении были дела народные, и всякий, кто только имел какую-нибудь собственность, принимал в них живейшее участие. Последний казак, у коего ничего не было, кроме плохой свиты и сабли, с презрением смотрел на нарядного поляка, и в шинках нередко доходило до поволочек. В одной блаженной бурсе господствовали прежние свобода и спокойствие. Мы, по заведенному порядку, пели под окнами, а иногда и проворили, но гораздо реже, чем прежде, и с того времени, как начал я подрастать, огород Короля сделался неприкосновенным; зато добрый старик время от времени добровольно наделял нас нужными огородными овощами.

В один зимний день, когда я возвратился только из классов в бурсу, нашел уже в ней Вакха, пастуха из селения Хлопот. Он тотчас повестил, что отец мой при смерти болен и желает меня видеть. Я всполошился и не знал, что делать. Как в трескучие морозы пуститься в поле в одной рубахе и легком байковом сертуке? Оставить

же отца умирать, его не видя, казалось для меня делом безбожным, а между тем и мысль,— признаюсь в грехе,— что по смерти его должно же что-нибудь остаться, а это что-нибудь для человека, у которого нет ничего, много значит, и что сего остающегося я наследником, побуждала меня к походу.

— От чего же так скоропостижно захворал отец мой? — спросил я у Вакха, грея руки у печки.

— Подлинно скоропостижно,— отвечал пастух,— ибо без несчастного случая он мог бы прожить еще очень долго.

— Случая?— вскричал я,— случай, или судьба, или что мы, ученые, называем fatum turcicum [1].

— Провались ты с твоею латынью,— сказал сурово Вакх,— идешь ли ты к умирающему отцу или нет? Теперь не лето; если запоздаем, то достанемся на ужин какому-нибудь голодному волку.

— Погоди немного,— сказал я и бросился к Королю.

Когда я рассказал добродушному человеку о своем затруднении, как середи зимы пуститься в дальнюю дорогу в летней одежде, он принял важный вид, сел на лавку и сказал:

— Спасибо, Неон, за чистосердечие. Открывать о нуждах своих людям неизвестным и глупо, и вредно, и именно оттого глупо, что вредно; но скрывать оные от человека, известного нам по своему доброхотству, из одного ложного стыда, также неразумно, потому что такая скрытность может довести до края пропасти. Так, друг мой, ты должен видеться с отцом своим до его кончины. Спеши взять от префекта увольнение и возвращайся ко мне.

Увольнение мое заключалось в нескольких словах: «Ступай с богом, да напрасно не трать времени!», и я в тот же час возвратился к Королю. Он облачил меня в овчинный тулуп, надел такую же шапку и, дав в одну руку два злотых, а в другую вместо палки рогатину, благословил в путь. Мы с Вакхом были догадливы. По пути зашли к шинкарке, а после, запасшись несколькими булками, пустились в дорогу. Не прежде как булки были съедены — так-то физика берет верх над метафизикою,— спросил я с воздыханием у Вакха:

---

[1] Судьба, рок (*лат.*).

— В чем же заключается тот несчастный casus, который преждевременно доводит отца моего до вод Стигийских?

Вакх молчал.

— Каким определением рока,— продолжал я спрашивать,— отец мой должен последовать сыну Маину, который передаст его с рук на руки угрюмому *Хорону?*

Вакх продолжал хранить молчание.

— Естественные ли силы или сверхъестественные,— возвыся голос, спросил я,— указывают отцу моему берега реки Леты, из коей, испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и клирос, и колокольню?

Вакх, не взглянув даже на меня, продолжал путь. Такой стоицизм вывел меня из терпения, и я спросил отрывисто:

— Скажи, пожалуй, отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?

— Давно бы так, глупый человек!— отвечал Вакх, — зачем тебе говорить чертовщину, которой я благодаря бога совсем не понимаю! Как скоро же теперь понял, то и удовлетворю справедливому твоему желанию. Знай: в минувший праздник угодника Николая отец твой Варух несколько не остерегся и позабрал в голову лишнее. Когда пономарь начал благовестить к вечерням, он мигом очутился на колокольне, стал подле звонаря и так завопил, что и действительно голос его был слышнее, чем звон колокола. Звонарь, у которого голова была в не меньшем коловращении, как и у Варуха, крайне сим оскорбился. «Любезный собрат,— сказал он с приметным негодованием,— не годилось бы, кажется, нам друг над другом кощунствовать. Это явный соблазн и огорчение всем прихожанам, которые не могут не досадовать, что звон колокола, от щедрости их повешенного, гораздо слабее голоса охмелевшего дьячка Варуха». Отец твой, вместо того чтобы послушаться благого напоминания, вознесся гордостию сатанинскою и так заревел на разные гласы, что и трезвону слышно не было. «О! — вскричал звонарь, воспалясь гневом,— ты, видно, забыл, что не на крилосе? Ступай же туда и горлань, хоть лопни, а мне здесь сам батька не указчик!» С сим словом он стукнул Варуха по затылку и так небережно, что бедняк полетел с лестницы вниз головою.

Лестница — ты знаешь — крута и высока; суди же, чего стоило несчастному Варуху достичь до последней

ступени. Кровь лилась из него ручьем. Звонарь — человек не злой — первый поднял вопль, бросился к Баруху и нашел его без чувств. На крик сбежалось множество прихожан, шедших к вечерням, и пораженный отнесен домой. Тотчас призван был знахарь, осмотрел поврежденные части и нашел, что у него левая рука переломлена, правая нога вывихнута, а на голове три неисцельные язвы довершали опасность. Нашептывания и примочки имели свою силу. Варух опомнился, равнодушно выслушал о своем сомнительном состоянии и, призвав меня, просил сходить за тобою.

— Вот какова жизнь человеческая,— примолвил Вакх со вздохом,— живи, живи, да и умри! Что, господин студент, не поворотить ли нам направо по этой утоптанной дорожке?

— А куда ведет она?

— Разве не видишь там, подле лесу, большой хаты? Это шинок, и в нем всегда можно найти преизрядное вино. Если ты, по примеру всех бурсаков, путешествуешь без лишней копейки и от подати, заплаченной Мастридии, ничего не осталось, так пастухи в сем случае догадливее. Пойдем-ка!

Мы своротили с дороги, подкрепили силы и пустились далее. Чтоб доказать Вакху, что бурсаки не все одинаковы, я оставил в шинке половину злотого. В глубокие сумерки дошли мы до хаты Варуховой, которой не видал я целые восемь лет. Сердце мое билось сильно. С каким восхищением переступил бы я порог родительского жилища, если бы мысль, что прежде всего встречу умирающего хозяина, не разливала трепета во всем моем составе! Однако я призвал на помощь тени Сократа, Катона и Сенеки, сих мучеников древности, ополчился философиею, вошел в избу и упал на колени перед болезненным одром отца моего. Варух умилился, протянул ко мне правую руку, обнял с нежностию и, приказав сесть у ног своих, сказал присутствовавшему пастуху:

— Добрый Вакх! поди на кухню и вместе с старым батраком моим приготовьте сытный ужин. К вам придет также и пользующий меня знахарь. Не забудь припасти хорошую меру пеннику. Хочу, чтоб всего довольно было. Надобно, чтоб эта ночь, которая, может быть, есть последняя в моей жизни, проведена была сколько можно веселее. Дни прошедшие, о коих имел я время размыслить теперь обстоятельнее, текли не очень хорошо, не

очень худо, и за то да будет препрославлено имя господне!

Вакх с приметным удовольствием оставил нас одних, дабы с батраком заняться делом полезнейшим, чем слушание последних слов дьячка Варуха. Когда старик увидел, что мы одни, то, помолчав несколько, начал говорить:

— Сколько я могу припомнить, то дед мой и отец были такие же дьячки, как и я, и при сей же самой церкви. В тридцать лет я женился и скоро овдовел,— да будет хвала милосердному богу! — ибо супружница моя и образом и нравом уподоблялась сатанинской дщери. По смерти родителя я поставлен дьячком.

В одну летнюю светлую ночь, возвращаясь из города в великой задумчивости, вдруг выведен был из оной воплем младенца. Озираюсь кругом и вижу подле дороги, несколько в стороне, прекрасную корзинку, прикрытую алым шелковым покрывалом. Подбегаю, срываю покров, и глазам моим представился мальчик примерно шести или семи недель. Ничего не думая, взял я корзину под мышку и полетел домой. По прибытии тотчас вручил я дитя своей матери, еще здравствовавшей, чтобы она делала с ним, что знает. На шее у младенца на шелковом снурке висели два золотые кольца, в середине коих по ободкам вырезаны незнакомые буквы. Под подушкой в корзине нашел я записку, не знаю, на латинском или на польском языке, и более ничего, что бы могло обнаруживать о происхождении младенца. Тогдашний священник в селе Хлопотах был великий грамотей. Поутру я бросился к нему с кольцами и запискою. Объявив вчерашнее происшествие, показал я принесенные вещи и просил объяснения. Осмотрев оные внимательно, он сказал: «Из букв, на кольцах вырезанных, ничего заключить не могу, и они должны быть заглавные имен родителей дитяти; записка же гласит, что новорожденный есть законный сын, что крещен в греко-российской церкви и что имя ему — Неон». Так, любезный друг, ты не сын мой, а только приемыш.

Я остолбенел от удивления. Разные мысли быстро клубились в голове моей. Я взглянул на болящего Варуха, и слезы горести полились по лицу моему. С непритворным сетованием облобызал я руки его и сказал:

— Клянусь угодником божиим Николаем, что всегда буду чтить и любить тебя, как отца родного, дал бы бог только тебе оправиться. Зачем буду я заботиться о тех,

кои, дав мне жизнь, чрез целые двадцать лет не заботились узнать, существую ли я на свете? Ты сделал для меня более, чем они: ты призрел чужое дитя, поверженное на распутии на произвол случая; ты вскормил оное и воспитал по возможности. Я останусь благодарен тебе до гроба!

— И я благодарю бога,— сказал тронутый Варух,— что он даровал тебе благодарное, следственно, доброе сердце. Это дороже всей твоей философии. Однако, Неон, долг, налагаемый на тебя самим богом, обязывает не оставлять случаев отыскать своих родителей. Почему знать? Может быть, они в таком стесненном положении, что имеют нужду в твоей помощи. Ах! ты еще не испытал, как сладостно сделаться полезным для своих родителей! Хотя они тебя и кинули при самом, так сказать, твоем рождении, но знаем ли мы тому причину? Может быть, это сделано для того, чтобы спасти тебя! Да и какой отец, особливо какая мать, без ужасного насилия своему сердцу может отлучить из объятий своих плод любви супружеской? Так, Неон, выздоровлю ли я или умру, но ты должен отыскать своих родителей, и кажется, что начальные буквы имен, на кольцах вырезанные, и записка о твоем крещении подают в сем некоторое облегчение. Там, под образами, лежит маленькая сумка, в которой хранятся кольца и записка. Возьми ее и повесь на шею на том самом снурке, на коем висели кольца, когда я нашел тебя.

Я исполнил его волю: снял сумку и открыл ее. На одном кольце стояло: «L—d 1679», на другом—«Е—а» и тот же год. В записке на латинском языке сказано: «В мае месяце 1679 г. Крещен по правилам греко-российской церкви, законный сын дворянина L—d и дворянской дочери Е—а, причем наречен Неоном».

Когда я повесил сумку на шею, то вошедший Вакх повестил, что ужин готов и что знахарь сидит уже за столом.

— Подите, друзья мои,— сказал томным голосом Варух,— ешьте, пейте и веселитесь, от того и мне будет легче.

Завещание сие исполнено было с великою точностью. Мы бражничали до вторых петухов, а тут, вздумав успокоиться, зашли все проведать о немощном. Варух уже оледенел. Надобно думать, что он скончался в самую полночь. Сон убежал от глаз наших, и мы подняли такой вопль, что немедленно вся изба наполнилась любопытными.

Глава VI Сирота

Я плакал горько и нелицемерно.

— Не плачь, Неон,— говорил тут же бывший дьякон,— Варух оставил тебя не ребенком, и ты уже сам собою можешь промышлять хлеб. Ты, наверное, заступишь его место и счастливо проведешь жизнь свою под сенью сего мирного крова. Ах! когда б знал ты, как завидна участь сельского дьячка! Дело другое быть диаконом. Проклятая разница! Сколько надобно учить наизусть! А дьячок? Читай и пой себе по книге, вот и все тут!

— Покойник не так думал,— отвечал я и помогал опрятывать тело.

На другой день оно опущено в могилу, и при сем случае, с дозволения священника, я говорил речь, сочиненную по всем правилам риторики.

По окончании похорон и поминок я начал думать о дальнейшей судьбе своей. Священное сословие немало подивилось, услыша, что я решительно отрекаюсь занять прелестную должность отца моего.

— Что такое, господин бурсак,— сказал дьякон с язвительною улыбкою,— уж не норовишь ли ты где-нибудь в селе попасть во дьяконы?

— Ниже в попы,— отвечал я с обидным телодвижением и взором на священника.

— Ба-ба!—сказал праведный отец,— не далеко ли, свет, заезжаешь? Такая спесь должна найти на себя узду!

— Может быть,— отвечал я с большим еще равнодушием.— Что будет, то и будет.

В течение недели продал я все имущество покойного Варуха и выручил за оное сто злотых: сумма, доселе мною даже и не виданная. Я всячески остерегался, чтобы не проведали, что я совсем не сын его, и не отняли на законном основании моего сокровища. В день выхода из села Хлопот я отслужил торжественную панихиду о успокоении души Варуховой и пустился по дороге в город.

Когда я поровнялся с тропинкою, ведущею к знакомому шинку, где за неделю утешал меня Вакх в печали о

болезни отца моего, то лукавый соблазнил меня. Мне показалось, что я все еще очень печалюсь, а притом и озяб, а потому благоразумие требовало поискать способов к утешению сердца и к отогрению желудка.

Я достиг своей цели и пропустил в себя не одну чарку утешающего лекарства; но оно не возымело своего действия. «Видно, сложение мое очень крепко от природы,— думал я, наливая кубок,— что не чувствую утешения от таких приемов, от коих по крайней мере пять других печальных запели бы и заплясали». Я продолжал лечиться, и когда осушил всю кварту, то, припомня все благодеяния Варуховы, мне оказанные, а притом и знатное наследство, мне же оставленное, зарыдал горько.

— Ба! — вскричал хозяин, видя сию комедию,— что это, господин студент, значит?

Видно, Вакх в первый еще раз уведомил его о моем звании. Я сказал, что вишневка его очень плоха, ибо, сколько ни пью, не могу утешиться о кончине отца моего.

— Пустое,— отвечал он,— это-то самое и доказывает изящную доброту. Поешь-ка чего-нибудь да усни, так и увидишь, что к утру вся печаль твоя исчезнет вместе с ночною темнотою.

На еду я склонился, но на ночлег никак. Я велел еще подать вишневки и начал насыщать себя жареною уткою. Первые петухи криком своим возвестили полночь, и ужин мой кончился. Добросовестный хозяин, хотя и литвин [1], опять попытался уложить меня в постелю, представлял сильный мороз, опасность от волков, от воров и оборотней, но ничто не помогло. Я уверял, что не боюсь ничего на свете: что от мороза защитит меня принятое лекарство, от воров — рогатина, а от оборотней — крестное знамение.

— Когда так,— сказал сердито хозяин,— то ступай хотя в омут! Такое упрямство должно быть наказано.

Я расплатился с ним и вышел за ворота.

Или голова моя сильно кружилась от излишества принятого лекарства, или был я в великой задумчивости, не знаю настоящей причины, что я и не чувствовал сильной вьюги, обвивавшей всего меня снежною пылью. Приметив сие, я остановился, протер глаза, раздвинул прикипевшие к губам усы и силился рассмотреть, где я. Пере-

[1] Литвины в Малороссии считаются обманщиками и бессовестными людьми, так что назвать кого-либо литвином почитается ругательством. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

до мною не было никакой тропинки. Хотя было довольно светло, но за вьюгою не видно ни звезд, ни месяца. Постояв несколько минут, я перекрестился, сотворил молитву и пустился напрямик. Скоро представился передо мною лес, и я опять остановился. Подумав несколько, я сказал сам себе: «Так! видно, я сбился с дороги; однако надеюсь попасть на другую». Я очень помню, что, будучи еще поэтом и ритором, нередко посылаем был консулом и сенатором на озера, в сем лесу находящиеся, красть дворовых гусей и уток[1]. Посредине его лежит большая дорога к Переяславлю, которая приведет меня в город, только к противоположному въезду; ибо, видно, я и не приметил, как перешел Десну. Таким образом, подкреплен будучи надеждою скорого прибытия в бурсу и собравшись с силами, бодро вступил я в лес и побрел, держась левой стороны, упираясь на рогатину и без всякой досады выдергивая из снегу ноги, вязнувшие по колени. Однако чем далее шел, тем лес становился гуще, а снег глубже. Я должен был чаще останавливаться для необходимого отдыха и на досуге предавал проклятию все шинки, где продают пенник и вишневку, и всех тех, кои надеются, вкушая сии пагубные изделия, утешиться в скорби своей; мало-помалу начал я выбиваться из сил. Нередко падал в снежные рытвины и стучал лбом о деревья. Уже рассвело, но я не чувствовал никакой отрады. Я вышел, или, правильнее, выполз из лесу, и необозримая снежная равнина представилась моим полусомкнутым глазам. Я уже не чувствовал, есть ли у меня руки и ноги; сердце билось слабо, взор померк; я сделал усилие податься вперед и пал на снежное ложе. Хотя я не мог пошевелить ни одним членом, но несколько минут еще не совсем лишился чувств. Краткое время сие провел я в молитве, прося у милосердого бога прощения за все грехи, мною соделанные. Наконец я обеспамятел.

Пришед в чувство и открыв глаза, я увидел, что лежу в большом корыте нагой, осыпанный с головы до ног снегом. Два черноморских казака, люди пожилые, терли всего меня суконками, и так усердно, что я вскрикнул.

— Господа!— спросил я,— что вы со мною делаете и где я?

---

[1] В Малороссии и доселе в обыкновении по наступлении весны выгонять в места, где есть озера или речки, гусей и уток, которые и остаются там до глубокой осени. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

— Если ты останешься жив,— отвечал сурово один из сих медиков,— то скоро узнаешь, что мы с тобою делали и где находишься.

После сего начали они тереть еще ревностнее, так что я не утерпел опять несколько раз вскрикнуть.

— Кричи, друг, сколько хочешь,— отвечали мне,—это нам любо, ибо значит, что ты близок к спасению.

Когда им показалось, что я вне уже опасности, то унялись от трудов своих, вынули меня из корыта, положили на постелю и, одев теплым покрывалом, посоветовали отдохнуть и удалились... Я был как помешанный. Прошедшее представлялось мне подобно страшному сновидению. Я вообразил очень ясно все вчерашнее похождение и содрогнулся, вспомня ту опасность, какой был подвержен. Я осмотрелся кругом, и робость стеснила сердце в груди моей. Большая холодная комната, в коей лежал я, походила на кладовую. Одна стена от пола до потолка увешена была оружием всякого рода, другая унизана одеянием на разные покрои. Там были платья малороссийские, черноморские и польские.

«Ну,— сказал я сам в себе,— попался из огня в полымя! всего вернее, что я теперь гощу у разбойников. Бедные мои сто злотых! кому-то вы достанетесь? О, проклятый шинок! до чего ты довел меня! что со мною будет?»

Встав с трепетом с постели, которую составлял большой сундук, покрытый тюфяком, и, завернувшись в одеяло, я подошел к окну и еще более удостоверился в своей догадке. Дом, в коем находился, стоял в преглубоком овраге, покрытом деревьями, так что летом не скоро его и приметить можно. В недальнем расстоянии рассеяно было до десяти хат. Дым, клубившийся из труб, доказывал, что они обитаемы.

Рассмотрев все внимательно, я вздохнул тяжко; но, порассудив обстоятельнее, говорил: «Что ж такое, если хозяева мои и в самом деле разбойники? Когда они столько прилагали старания возвратить мне жизнь, то из логики заключить можно, что отнимать оной не станут. Они завладели моими злотыми. Бог с ними! И я не имел их до сего времени, и был очень доволен своею участью. Пусть только отдадут сумку с кольцами и запискою; эти вещи для них ничего не значат, а для меня очень много. Как бы мне хотелось повидаться с атаманом, поблагодарить за гостеприимство и поскорей убраться из ненавистного жилища».

Когда я сочинял в уме речь, которую буду говорить разбойничьему атаману, вошел ко мне один из медиков, неся в руках рубаху тонкого холста, и сказал:

— Платье твое так намерзло, что не скоро высохнет. Наш пан Мемнон дожидается тебя в своей комнате. Надень эту рубаху, выбери любую пару из висящих на стене платьев и одевайся.

С трепетом повиновался я и снял черкесское платье кармазинного цвета. Мне приходило на мысль спросить своего собеседника, какого нрава их пан Мемнон, каких лет, давно ли упражняется в разбое и с которого времени атаманствует, но робость оковала язык мой. Однако ж, когда совсем был готов, то дрожащим голосом произнес:

— У меня на шее висела сумка с...

— Да, да,— подхватил казак,— я и забыл. Вот она.— С сим словом откинул угол матраца, и я увидел свою драгоценность, схватил и спрятал в карман. Угрюмый черноморец повел меня к своему господину.

Прошед несколько покоев, я введен был в комнату, великолепные уборы коей меня поразили. Там, в больших креслах, какие только случалось видеть мне у ректора семинарии, сидел мужчина лет под пятьдесят в дорогом польском платье. Вид его был величествен, взор внушал благоговение. Хотя я сначала совершенно смешался и дрожал во всем теле, однако скоро, ополчась философией, подошел к нему, выпрямился и, заикаясь, произнес:

— Могущественный атаман! хотя ремесло твое таково, чтобы отнимать жизнь у людей, но ты столько великодушен, что иногда и возвращаешь оную, как доказал то надо мною. В знак благодарности охотно отступаюсь от ста злотых, бывших у меня в кармане, дозволь только сейчас отсюда удалиться, нет нужды, что платье мое еще мокро. Пусть один из твоих разбойников выпроводит меня из сего вертепа на дорогу в город.

Мемнон смотрел на меня с удивлением, потом ласково усмехнулся, протянул руку и, указав на стул, произнес:

— Садись. Мне очень было бы досадно, если бы такой молодец был убит, а ты, правду сказать, недалек был от этого. Люди мои объявили, что невдалеке примечены следы медведя. Сегодня на утренней заре снарядились мы на охоту. Подходя к ближнему от нас лесу, увидели подле оного нечто лежащее на снегу. Один из охотников вскричал: «Вот медведь!» — и прицелился. Я, удержав

его, сказал: «Перестань! стыдно стрелять по сонному зверю; надобно прежде поднять его». Таким образом, держа ружье на втором взводе, тихими шагами пошли мы на зверя и нарочно кричали громко, но он не поднимался. Мы подошли близко и увидели тебя — окостеневшего. Я приказал приложить все попечение, дабы возвратить тебя к жизни, и, слава богу, труд был не напрасен. Скажи же теперь, кто ты таков, где был и как забрел в такое место, которое, по-видимому, тебе совершенно незнакомо?

Глава VII Ошибочная наружность

Со всею искренностию начал я рассказывать все, что только знал о себе, и когда дошел до того места, где дьячок Варух, лежа на смертном одре, объявил, что он не отец мой, что я найден им подле большой дороги в корзине, что на шее моей была сумка с двумя золотыми кольцами, а внизу подушки записка, то Мемнон изменился на лице, вздрогнул, вскочил с кресел и уставил на меня столь страшные глаза, что я затрепетал во всем теле и, думая, что он гневается, считая меня лжецом, опустил трепещущую руку в карман, вынул сумку и, стараясь ее развязать, косноязычно произнес:

— Изволь, великий атаман, рассмотреть сам, и ты уверишься, что я говорил тебе сущую правду!

Мемнон выхватил из рук моих сумку, разорвал ее, взглянул на кольца, на записку, потом на меня и спросил:

— Ты — самый тот, который найден в корзине подле дороги?

— Тот самый, к несчастию; потому что лучше иметь отцом добродушного дьячка, который бы любил меня, нежели дворянина, который в безгласном младенчестве моем, предав на съедение собакам и коршунам, нимало и не думает, что сталось с беспомощным творением.

Мемнон сильно ударил себя кулаком в лоб и, сказав страшным, дребезжащим голосом: «Побудь здесь и жди меня!» — быстро вышел, и я остался в ужасном недоумении.

— Почему знать,— говорил я,— что сей Мемнон не есть заклятый враг моим родителям и не собирается теперь все мщение свое обратить на их жалкого сына? О, проклятый шинок! если б ты не стоял на перепутье, я теперь был бы в бурсе и, имея в кармане сто злотых, чего бы ни наделал! А теперь, того и смотри, что погибнешь, а что всего больнее за чужую вину.

В сем мучительном положении пробыл я около двух часов, которые показались мне веками страданий. Наконец Мемнон вошел, и вид его был довольно покоен, что несказанно меня обрадовало.

— Из собственного твоего повествования,— сказал он,— и из бывших при тебе доказательств видно, что ты действительно дворянского происхождения, почему носить тебе дьячковский пучок уже неприлично. Реас!

Один из моих лекарей вошел, и Мемнон сказал:

— Возьми сего молодого господина и убери голову его по-дворянски.

Реас дал мне знак за ним следовать и опять привел в ту комнату, где я лечился. Проворный казак два раза давнул ножницами и, увы! увесистый пучок мой, столько лет с нежностию лелеянный, как негодная вещь, полетел на пол. Волосы мои подстрижены, затылок подбрит, и я не опомнился, как превращен был в малороссийского пана. Когда вошел я к Мемнону, то он, обняв меня, сказал весело:

— Ну, вот! тот же, да не тот! Пойдем обедать.

Вошед в столовую, я увидел у окна женщину в совершенных летах, высокого роста, величественного вида, с кротким, нежным взором; она держала в руках белый платок и утирала слезы; подле нее сидела за пяльцами девушка лет шестнадцати. При вступлении нашем они обе встали и старшая хотела что-то сказать мне, но остановилась и смотрела так пристально, что я смешался.

— Это жена моя, а это дочь,— сказал Мемнон.

А я вместо приветствия пробормотал несколько слов, и притом довольно глупых, и потупил глаза в землю.

— Будь смелее, Неон! — сказал хозяин довольно весело,— ты теперь не дьячок и не в келье твоего ректора. Поцелуй руки у обеих госпож сих, как следует учтивому дворянину.

С трепетом подошел я к матери; она подала мне руку, и когда я поцеловал ее, то чувствовал, что она дрожала, и слеза пала на мою щеку. С девицею обошелся я не смелее.

Вскоре сели за стол, и в продолжение оного хозяин был беспрестанно весел, хозяйка часто на меня взглядывала и вдруг потупляла глаза; Мелитина, дочь ее, также часто на меня взглядывала, улыбалась и молчала. Я уподоблялся каменному истукану. Тщетно призывал я на помощь свою философию; ни одно путное слово не приходило мне на мысль; а если и припоминал что-нибудь такое, то, взглянув на важного Мемнона, на кроткую жену его и на прекрасную дочь, терялся совершенно. «Возможно ли,— думал я,— чтобы у разбойничьего атамана было такое милое семейство? Ах! как жалка участь жены и дочери! Рано или поздно, а должны будут разделять с ним наказание, назначаемое разбойникам законами. Ах! если б можно было спасти их, а особливо дочь, как охотно взялся бы я за сие доброе дело! Почему знать, может быть, и сам Мемнон, уже набогатившись, согласится кинуть гибельное ремесло свое. Что, если я об этом намекну ему?»

По окончании стола Мемнон сказал:

— После обеда я привык несколько времени отдыхать, а сверх того, мне нужно о многом посоветоваться с женой. Неон! побудь с Мелитиной и чем-нибудь займитесь.

Он вышел с женою, и я остался, как на иголках. Иногда взглядывал я на девушку, и она улыбалась, а сего и довольно было, чтоб заставить меня мгновенно потупить взоры. Несколько раз покушался я что-то сказать, но язык мой деревенел, и я только шевелил губами. Наконец красавица первая собралась с силами и довольно смело спросила:

— Скажи, пожалуй, как это сделалось, что ты было замерз? Ах! как было бы жаль, если б тебя съел медведь!

Я поблагодарил за такое участие и рад был случаю рассказать свои похождения. Мелитина от чистого сердца смеялась, слушая про мои бурсацкие проказы. Когда я кончил, то показалось, что за таковую откровенность имею право и на ее доверенность; а посему, сделав самое плачевное лицо, сказал:

— Как мне жаль тебя, Мелитина!

— Жаль? Отчего?

— Что ты живешь в таком мерзком месте и имеешь такого отца!

— Напрасно! Это место очень хорошо, а весною и летом даже пленительно. Что же касается до моего отца, то он наилучший из людей, каких я только видала!

— Ты смотришь на него глазами дочери, взгляни, буде можешь, как посторонний зритель, и ты ужаснешься, вострепещешь!

— Я тебя не понимаю!

— Ин я буду говорить яснее. Давно ли отец твой упражняется в богомерзком ремесле своем?

Она с изумленным видом отступила назад и спросила дрожащим голосом:

— В богомерзком ремесле? В каком же?

— Разумеется, в разбойничестве!

Мелитина устремила на меня глаза, помолчала и, наконец, засмеялась. Это меня крайне изумило. Однако, подошед к ней ближе, сказал:

— Так, прекрасная девушка! с первого взгляда на сие жилище видно, что оно есть вертеп разбойничий, а отец твой есть атаман. Хотя правда, что дети не отвечают за преступления своих родителей, если сами в них не участвовали; однако ж посуди о тех мытарствах, какие должна будешь пройти, как скоро отец твой попадет в руки правосудия!

Мелитина опять засмеялась и удалилась от меня, не говоря ни слова. Я спохватился и каялся в своем неразумии; но уже поздно. «Она, верно,— думал я,— одобряет поступки отца своего, расскажет ему все, и он за ругательства мои, конечно, не похвалит. Не глуп ли я, что вздумал увещевать дочь разбойничьего атамана. Почему знать? может быть, она совсем не так невинна, как с первого взгляда кажется! может быть, она служит приманкою для легковерного странника! Ах! как жаль, как жаль!»

Погружен будучи в глубокую задумчивость, сидел я у окна, размышляя о способах, как бы вырваться из сего логовища. Вдруг увидел я всадника, спускавшегося в ров по косогору. Это был вооруженный усач в крестьянском платье. Он медленно подвигался к атаманскому дому, и когда проезжал мимо окна, у коего я сидел, то, к великому недоумению моему и ужасу,— в крестьянине узнал Короля, своего друга. Волосы стали у меня дыбом. «Боже милосердый! — думал я,— кому бы поверил я, что и Король, которого всегда считал богобоязненным, честным, добрым человеком, находится в связи с злодеями?

С сих пор, дай только всевышний уплестись отсюда поздорову, никогда нога моя не будет в пагубном доме его».

Сумерки покрыли овраг мраком, а я не видал никого. Наконец поданы свечи, и Мемнон, последуемый женою, дочерью и Королем, вошли в комнату.

— Здравствуй, Неон! — сказал Король, обнимая меня,— как же ты принарядился! От сего друга моего знаю я последнее твое похождение и радуюсь, что порода дает тебе право отличаться на полях брани саблею. Что же так печален?

— Он еще не может забыть прошедшей ночи,—сказал Мемнон,— и подлинно, если бы не следы медвежьи нас подняли, то и следа Неонова не оставалось бы на земле. Будь веселее, друг мой! Завтра чуть свет выйдем мы на промысел.

Мемнон и Король занялись игрою в шахматы, жена Мемнонова, которую звал он Евлалией, за особливым столиком низала жемчуг, а Мелитина играла на лютне и пела прелестно на малороссийском и польском языках; один я не находил ни в чем отрады. Я взглядывал то на мать, то на дочь и страдал в душе своей. Вздохи невольно колебали грудь мою. Я чувствовал на сердце что-то такое, чему не знал имени и что вместе разливало в нем какую-то сладость и его терзало; самое даже мучение было для меня приятно. Ни за что в свете не хотел бы я получить прежнее спокойствие. Я не знал, однако, кого мне больше жаль, матери или дочери.

По прошествии вечера и части ночи и по окончании ужина меня отвели в прежнюю комнату, где нашел уже очень порядочную постелю и шелковое покрывало. По желанию моему свечка при мне оставлена.

В самую полночь, когда казалось мне, что все в доме погружены в глубокий сон, встал я с постели, дабы попытаться, не сыщу ли способа уйти. При мысли, что поутру и я должен буду выйти с разбойниками на промысел, мороз разливался в моих жилах. Хотя бы сама Мелитина была наградою за успехи мои в разбое, то и для нее не поступлю я против моих обязанностей к богу и ближнему. Дело иное — накрасть где-нибудь дынь или арбузов, в таком грехе можно еще покаяться; но принять на душу свою смертоубийство — нет, нет! голова человеческая не арбуз!

Говоря сии слова, я силился отпереть дверь; но не тут-то было. Уверившись, что она заперта извне, я тяжко

вздохнул и решился ожидать утра. Когда рассвело, то ко мне вошел Реас.

— Пора вставать,— говорил он сурово,— все уже готовы идти на охоту. Оденься, вооружись и ступай с нами.

— Проклятая охота! — ворчал я про себя.— Неужели и ты,— сказал я,— будучи довольно стар, не сомневаешься участвовать...

— Что ты затеял? — вскричал он с ужасною улыбкою,— да я стреляю в цель не хуже всякого молодого; ты увидишь на деле.

Он помог мне одеться во вчерашнее платье, сверху накинул черкеску на крымском меху, опоясал патронным поясом, привесил кинжал, дал в руки ружье и повел в столовую. Там уже сидели в таком же вооружении Мемнон и Король, а подле них стояли трое слуг. Евлалия и Мелитина в утренних платьях встретили меня с улыбкою, и мать подала руку, которую поцеловал я теперь с большею ловкостью, нежели вчера. Дочери сделал я учтивый поклон и отвернулся, дабы не приметили моего тяжкого вздоха.

Настал день; лучи светлого солнца заблистали на снежных краях оврага, мы пустились в путь. Когда выбрались из своего провалья, то я отстал от прочих под видом исправления некоторой нужды. Видя, что они отошли саженей на сто, я ударился бежать по дороге в противную сторону и скоро потерял их из виду. Тут пошел я обыкновенным шагом и примерно через два часа увидел перед собою большое село, ничуть не меньшее села Хлопот. «Ах! — думал я,— как досадно, что нет со мною моих злотых! как бы плотно пообедал я; ибо, правду сказать, вчера не давали мне есть мысли то о Мемноне, то о Евлалии, то о Мелитине».

Машинально опустил я руку в карман черкески и, к великому удивлению, вытащил изрядный кошелек с серебром, и когда высыпал его в шапку, то увидел, сверх того, несколько золотых денег. Раздумье взяло меня, пользоваться ли сею находкою или нет. «Почему же и не так,— сказал я,— ведь деньги награбленные, и Мемнону не более принадлежат, как и мне». С сими словами вошел я в село, допытался корчмы и заказал изготовить сытный обед, и когда оный подан был на стол, то хозяин-жид, будучи великий пустомеля, пристал ко мне с расспросами о том и о сем; и я, чтобы скорее от него отвязаться, рассказал обстоятельно, каким образом попал в руки раз-

бойников и как счастливо вырвался из оных. Жид слушал меня с прилежным вниманием и иногда качал головою.

— Ты не веришь,— вскричал я,— что я был в вертепе разбойничьего атамана Мемнона? Так знай, что все одеяние, какое на мне видишь, принадлежит ему!

— Это я очень знаю,— сказал жид,— ибо нередко видел в нем пана Мемнона.

— Как? — спросил я с удивлением,— и он осмеливается в таком большом селе разбойничать?

— По крайней мере он в корчме моей не разбойничает,— отвечал лукавый жид,— а если иногда, возвращаясь с охоты, удостаивает посещением, то за всякую чарочку наливки платит весьма щедро; да и все мы вообще считаем его самым честным и добрым человеком.

Когда жид говорил сие с видом значительным, вдруг вошли в комнату четыре крестьянина и сели за один стол со мною. Они внимательно рассматривали меня с головы до ног, и после старший из них, закручивая усы, сказал:

— Клянусь ангелом-хранителем, что все это платье не раз видел я на пане Мемноне!

— И я, и я! — вскричали прочие.

— Пан староста! — сказал один,— поговори-ка с его милостию; а я готов удариться об заклад, о чем хочешь, что сей щеголь один из шайки разбойников, уже несколько лет грабящих в наших окрестностях!

Староста, обратясь ко мне, спросил надменно:

— Молодец! где взял ты это дорогое платье?

— А тебе какая надобность? — отвечал я со всею спесью философа.

— Ба, ба! — сказал староста, язвительно улыбаясь,— старосте не надобно знать, где кто мошенничал! Спрашивать больше нечего; все ясно, как этот день! Ребята! делайте свое дело!

Вмиг все пришельцы на меня бросились и завернули руки за спину. Жид подал веревку; меня скрутили и усадили на лавке. После сего староста, опустив в карман ко мне руки, вытащил кошелек. Все подняли радостный вопль.

— Видно, приятель,— сказал староста,— ты запасся не на шутку! Как же благодарен будет пан Мемнон, когда возвратим ему потерю. Однако ж путь не ближний, и надо подкрепить свои силы. Жид! давай вина и что-нибудь перекусить.

Бездельники начали пить вишневку и есть заказанный мною обед. За каждою чаркою они желали мне здоровья и большей удачи. Я сидел потупя глаза, и хотя мне совестно было показаться на глаза Мемнону, которого перестал уже почитать разбойником, но не было другого способа освободиться от рук старосты. Наконец их бражничанье кончилось. Заплатя жиду из моего кошелька за угощение, они поднялись. Один взялся за конец веревки, коею связаны были мои руки, и мы все торжественно отправились к жилищу Мемнонову.

Глава VIII **Двоякая любовь**

Мы прибыли к жилищу сего господина, но он еще не возвращался. Мелитина, увидя меня в таком положении, ахнула, и слезы показались на прекрасных глазах ее.

— За что вы его связали? — спросила она у старосты.

— За то,— отвечал сей с важностию,— что он — уличенный вор и, верно, скрытный разбойник!

— Вот видишь, Неон,— говорила она томным голосом,— как наружность обманчива. Незадолго перед сим ты честнейшего человека считал за разбойника, а теперь другие сочли тебя таким же. Развяжите его!

— Никак,—говорил староста с поклоном,—это может сделать один отец твой или мать.

Мелитина тотчас бросилась из комнаты и вмиг показалась с матерью; но не успела та вымолвить и одного слова, как с другой стороны вошли в покой Мемнон и Король, обвешанные зайцами, тетеревами и рябчиками.

— Что это значит? — спросил Мемнон с удивлением, и староста отвечал, что привел вора, причем показал и кошелек с деньгами.

— Видишь, Неон,— сказал хозяин с усмешкою,— что жилище мое околдовано, и без ведома моего никто отсюда уйти не может.

Король не был так умерен, как друг его. Охотничьим ножом перерезав веревку, коею был я связан, он начал крестить сперва старосту, а потом и прочих по чему ни попало.

— Ты для того избран старостою, а вы сотскими и десятскими,— приговаривал он,— что должны быть расторопнее прочих. Можно ли неизвестного человека счесть разбойником и вязать только потому, что он в чужом платье и что в кармане у него есть деньги!

Приведшие меня, видя худую благодарность за усердие, опрометью бросились из дому и, не оглядываясь, пустились из буерака. Я бросился к ногам Мемнона и чистосердечно повинился в грехе своем. Он меня поднял и начал разговор об охоте. Уверившись, что нахожусь в доме честного дворянина, я сделался веселее, говорил не меньше других, и мне удалось сказать несколько острых слов, заслуживших общее одобрение. Ввечеру я под игру Мелитины пропел несколько духовных песен, ибо в числе прочих занятий в семинарии принужден был учиться и пению по нотам. Ночь прошла в сладостных мечтах, свойственных пылкому человеку в мои лета: я записывался в войско, сражался как лев, побеждал целые полчища, получал почести и богатства и в награду толиких заслуг просил руки у Мелитины. Можно ли отказать в чем-нибудь такому достойному человеку?

Поутру, едва только я оделся, как вошли ко мне Мемнон и Король, одетый опять в крестьянское платье. Первый сказал:

— Ну, Неон, ты теперь отправляешься в город с общим нашим другом. Он насказал о тебе столько доброго, что я принимаю в тебе истинное участие. В бурсе ты более жить не будешь, и Король найдет для тебя приличное место; а покуда ты пробудешь у него в доме. Платье, которое на тебе, есть твое собственное, равно как вчерашняя черкеска и кошелек с деньгами. По временам ты будешь навещать меня в сем уединении, а по прошествии зимы все займемся отысканием твоих родителей, на каковой конец кольца и записка у меня останутся. Теперь позавтракайте и — с богом.

Трапеза наша продолжалась довольно долго. Для меня оседлан был недурной конь, и мы выехали из сего хутора близко полудня и не прежде прибыли в город, как к ночи. Король оставил меня до утра в своем доме. Лежа в постели, я мучился догадками, зачем Мемнон не дозволил мне проститься с его женою и дочерью.

На другой день явился я к настоятелю монастыря отцу Герасиму, у которого Король предварительно извинил меня в продолжительной отлучке. После обеда он сказал мне:

— Неон! я нашел для тебя весьма хорошее место. Пан Истукарий считается первым помещиком во всем городе и во всей округе. В доме его можно научиться благопристойности и вежливости более и скорее, чем во всяком другом месте, а это для дворянина необходимо. За содержание твое он не берет ничего, а хочет только, чтоб ты надзирал за его сыном, мальчиком лет шестнадцати, который, по словам отца, имеет великие способности. Отец готовит его ко двору гетмана. Пан Истукарий человек весьма обстоятельный, хотя довольно горд и напыщен. Жена его, Трифена, весьма набожна, хотя довольно вспыльчива и охотница до ссор. Но тебе какая до того нужда? Сверх того, живет в доме дочь их, молодая вдова Неонилла, воспитанная в Киеве на польский образец. Она недурна собою, молода, весела и обходительна. В сем-то доме можешь ты образовать свой вкус и научиться на опыте, как должно вести себя благорожденному человеку. Завтра мы отправимся к пану Истукарию.

В тот же день Король изготовил для меня хорошую постелю, накупил белья и обуви, и наутро представились мы помещику. Он был человек за пятьдесят лет, но здоров и крепок; взор его был несколько угрюм и самая улыбка неприятна. Жена его, судя даже с первого взгляда, была хозяйкою дома, но состояла под самовластием мужа. Дочь Неонилла, осьмнадцати или девятнадцати лет, превосходила описание, Королем о ней сделанное. Сын Епафрас показался мне настоящим ротозеем. Он был малого роста, курчав, губаст, и когда смеялся, то ржал, как жеребенок. Слуг и служанок в доме было весьма довольно.

Хозяева и их дети приняли нас очень ласково, а особливо Неонилла, сейчас показала, что воспитана в Киеве. Мне отвели небольшую, но хорошо прибранную комнату, окнами в сад, и я тогда же переселился в оную.

Пан Истукарий столько считал себя знатным человеком, что стыдился отдавать сына в семинарию; для образования молодого Епафраса приходили особенные учители, как светские, так и духовные. Мне особенно нравились искусства биться на саблях, стрелять в цель и ездить верхом, и я начал упражняться в оных с особенным старанием. День проходил за днем, неделя за неделею, и так прошел месяц. Я был очень доволен своим положением; казалось, что и мною довольны были. Хотя вышло, что Епафрас не что другое, как лентяй, повеса, но мои

глаза — не отцовские и какая мне до того нужда? Довольно, что родители не могли им налюбоваться. Хотя прелестная дочь Мемнонова не выходила у меня из мыслей, однако и живая, веселая, прекрасная Неонилла немало забавляла меня своими резвостями. Она иногда так была непринужденна, что, казалось, забывала о разности наших полов. Какое прелестное воспитание!

По прошествии месяца Король отпросил меня на целые сутки, и мы пустились в хутор к Мемнону. Сердце сильно билось в груди моей, когда я вступал в дом, в коем обитала прекрасная Мелитина. Какая разница между ею и Неониллою! Но и то правда, одна была робка, неопытная девица; а другая вдова, и притом — воспитанная по-польски. Мемнон, жена его и дочь приняли нас с непритворною радостию, и я как тот вечер, так и весь следующий день провел с несказанным удовольствием. Проживши целый месяц в пышном многолюдном доме Истукария, я приметно переменился: сделался противу прежнего гораздо свободнее и не один раз осмелился намекнуть Мелитине, что она прелестна и что я почту благополучнейшим того смертного, на которого кинет она благосклонный взор свой. Мелитина на такие рыцарские напевы всегда отвечала непринужденною улыбкою, и это меня расстроивало.

Под вечер другого дня я опять завел речь о моих родителях.

— Я должен признаться,— говорил Мемнон,— что знаю твоих родителей, равно как и друг мой Диомид; но обстоятельства требуют, чтобы ты поумерил свое желание узнать их. Так, друг мой,— продолжал он,— я имею право открывать только свои тайны, а чужие считаю неприкосновенною святынею. Довольно с тебя уверения, что ты когда-нибудь о них сведаешь, если своими поступками будешь того достоин.

Я должен был удовольствоваться сим малым сведением. Перед отъездом Мемнон подарил мне еще полную пару платья, на коем по всем швам нашит был золотой снурок и висели сзади такие же кисти. Чтоб сделать убор мой совершенным, он опоясал меня богатою саблею.

Мне так полюбилось препровождение времени в доме Мемноновом, что склонил Короля ездить туда чрез каждые две недели. Зима прошла, и наступила весна цветущая. Мелитина говорила правду, что весною жилище их прелестно. Зимою и не обратил я внимания на обширный

сад, наполняющий все дно оврага; но когда дерева покрылись цветом, тогда я не мог не восхищаться, а особливо прогуливаясь с нежною хозяйкою или прелестною ее дочерью. С каждым днем любовь моя, неразлучная, однако ж, с неограниченным почтением, умножалась к Мелитине; однако она всегда казалась мне существом высшего рода, о привлечении коего в соответствие на чувства, общие всем существам смертным, и подумать страшно; сверх же того, красавица сия на мои нежные слова, на пламенные взоры и на томные вздохи отвечала всегда невинною улыбкою или даже смехом. Это приводило меня в досаду, и я самому себе давал слово и видом не обнаруживать моей склонности. С таким расположением духа почти всегда оставлял сей очарованный хутор.

Теперь приступаю к описанию одного из важнейших происшествий в моей жизни, имеешего великое влияние на дальнейшие случаи.

В один весенний месяц как-то случилось, что, прохаживаясь в обширном саду Истукариевом, я столкнулся с милою его дочерью. Она начала, по обыкновению, резвиться, я подражал ей; распростершаяся темнота придавала мне смелости. Красавица бросилась бежать и скрылась в самой дальной беседке: я ударился вслед за нею и вступил в сие убежище прелестницы, без труда нашел ее, притаившуюся на софе в углу.

— Ах, Неон! — сказала Неонилла,— любишь ли ты меня?

— Более, нежели самого себя!

— Ах! будешь ли ты и впредь таков?

— Всегда! всегда!

— Будь же осторожен! Ты знаешь, как батюшка горяч и щекотлив. Сохрани бог, если он проведает!

— Ведь мы не дети! — сказал я, поглаживая усы. С сим мы расстались, условившись в эту же самую ночь видеться на сем же самом месте.

Свидания мои с Мемноном не прерывались. Как друг мой Король занят был своим огородом, то я большею частию езжал в хутор один и каждый раз открывал в Евлалии новую ко мне благосклонность, а в Мелитине новые прелести, новую любезность; но чем более любовь моя возрастала, тем становился я боязливее и не смел даже к ней прикоснуться. Я пылал и всячески старался таить сие пламя. Она была для меня нечто более, нежели женщина, и при одной непозволительной мысли насчет сей

невинности я покрывался краскою стыда и негодования на самого себя. Но такова молодость! Едва являлся я в саду Истукариевом, кроткая Мелитина бывала забыта, а при мысли о живой, пылкой Неонилле я сломя голову бежал к знакомой беседке, где нередко меня уже ожидали.

Лето было в половине. В одну светлую прекрасную ночь я и Неонилла роскошно отдыхали на софе в беседке. Вдруг послышался невдалеке мужской голос, а вскоре дверь тихонько отворилась, и вошли двое, хотя мы и не успели рассмотреть, кто такие были досадные посетители. Мы притаили дыхание.

— Милая Христодула! — сказал мужчина, и мы сейчас узнали Епафраса, а в любовнице его — пожилую девку, служащую Трифене,— сядь на софе, а я выну из шкафа кое-что поесть и выпить...— Не правда ли, что я догадлив в таких случаях? Еще днем урывками припрятал здесь довольно пирожного и бутылку доброй наливки.

Он отпер шкаф и вынул свой запас, как дверь у беседки опять отворилась, и еще пожаловали двое, мужчина и женщина.

— Прекрасная Кириена! — сказал голос, и мы вмиг узнали Истукария и молодую девушку, наперсницу Неониллы,— садись сюда — на софу, а я посвечу.

С сими словами открыл он потаенный фонарь. Пусть, кто может, представит тогдашнее общее смятение! Неонилла в самом ли деле упала в обморок, или такою представилась, только глаза ее были закрыты и дыхание остановилось.

Истукарий прежде всего осветил Епафраса, держащего в одной руке бутылку, а в другой—блюдо с пирожным.

— Бездельник! — вскричал отец в великом гневе и поразил его кулаком по макуше так ловко, что и блюдо и бытулка выпали из рук, а он посередине их растянулся.— С кем ты здесь, негодный? — продолжал старик с бешенством,— возможно ли? В твои лета? Не знаю, чего смотрит за тобою Неон. Он что-то часто повадился рыскать со двора.

Говоря сие, он осветил софу и — окаменел. Христодула и Кириена сидели рядом на софе и закрывались передниками: милой, жалкой Неонилле нечем было сего сделать.

Мой добрый дух благовременно вразумил меня. Пользуясь окаменением Истукария, я вскочил с софы, треснул

его по руке, отчего фонарь полетел на пол и погас, вылетел с быстротою вихря из беседки, запер дверь за собою на замок, в коем оставил ключ, и побежал домой. Припрятав прежде всего кошелек с деньгами и увязавши платье и белье в узел, я опоясался саблею и пустился к дому Королеву. Дорогою пришло на меня желание позабавить себя зрелищем, которое должны представлять мои пленные. Пришед на двор, я ношу свою и деньги спрятал в сарае, а сам пустился в дом Истукария. Разбудив старуху, надзирающую за служанками, я с видом крайне напуганного человека уверял ее, что видел в саду двух оборотней женского пола, которые околдовали господина и его сына, уволокли их в крайнюю беседку сада и там заперлись. Старуха ахала, крестилась и, казалось, не совсем доверяла словам моим; когда же я подтвердил клятвенно справедливость сего доноса, то она вскочила с постели и бросилась уведомить Трифену о сем чуде. Вскоре вышла и сия в одном спальном платье со свечою в руке, и я донес ей то же, прибавя, будто послышалось мне, что оборотни приняли меры к изнасилованию отца и сына, ибо я слышал в беседке стук, треск и визжанье.

— Что за вздор! —вскричала Трифена со гневом,— не грезишь ли ты, господин студент?

— Стоит только поверить слова мои,— сказал я хладнокровно,— так правда и откроется.

— Ин пойдем поищем их в доме,— говорила хозяйка со вздохом.

Старуха понесла впереди свечу; я и Трифена за ней последовали. И действительно, постели Истукария и Епафраса были не тронуты, а я с простосердечием заметил, что, проходя девичью, не видал ни Христодуллы, ни Кириены.

— Ах, седой бездельник! — вскричала с бешенством Трифена,— возможно ли было думать? Он же и сына научает таким мерзостям! Только это мне непонятно, на что ему понадобился Епафрас? Дела сего рода свидетелей не требуют.

— Может быть,— заметил я с важностию,— это сделалось и нечаянно: отец, сделав назначение своему оборотню в беседке, не знал, что и сын для своего назначил то же самое место,— и они столкнулись.

— Это всего вернее,— говорила Трифена, задыхаясь от гнева.— Варвара! возьми фонарь и веди меня к той

беседке; а ты, Неон, пожалуй, будь на сей раз моим сопутником.

Мы отправились. Подошед сколько можно тише к месту наших поисков, я отворил дверь, в которую опрометью влетела Трифена, а за нею и старая Варвара с фонарем. Я легонько притворил дверь и запер.

— А,— раздался громоподобный голос раздраженной супруги и матери, и как град посыпались пощечины. Надобно думать, что первое стремление бури обращено было на бедных девок, ибо они подняли плач и вопль.

— Ба! Неонилла, ты, голубушка, зачем здесь?

— Да,— сказал муж, пришед в себя,— эту голубушку застал я здесь под крылом ястреба; жаль только, что успел ускользнуть, проклятый! Но он мне попадется, и клянусь вырвать у него усы и обрубить нос и уши.

— Да какой это у тебя ястреб с усами и ушами? — спросила жена.

— Кому быть иному, кроме злодея Неона,— отвечал муж, скрежеща зубами.

Тут начались объяснения, и муж так был лукав, что всю вину свернул на меня и Неониллу, а себя и сына выставил только сыщиками виноватых.

— А эти две мерзавки зачем здесь? — спросила стремительно жена.

— Они случайно попались нам в саду,— отвечал муж весьма спокойно,— и я приказал им быть свидетельницами уличенного преступления.

Таким образом, преступный отец для собственного оправдания должен был выгораживать распутного сына.

После сильных угроз, произнесенных горько плачущей Неонилле со стороны отца и матери, они вздумали выйти; но не тут-то было. Скоро они уверились, что были заперты.

— Ах! проклятый мошенник,— вскричал Истукарий,— он в другой раз нас запер! Постой, постой! дорого заплатишь ты за все эти пакости! Что будем делать?

— Ничего больше,— сказала жена,— как выломить окно.— И спустя минуту от сильного удара — вероятно, стулом — посыпались стекла и затрещала окончина.

Я ударился бежать, благополучно достиг дома Королева и улегся отдыхать в сарае на рогоже.

— Ах, Мелитина! — сказал я, вздохнувши,— сколько я виноват перед тобою! Но и то сказать, я ничем не обязывался. Ты, может быть, и не знаешь, сколько я люблю

тебя! Если когда-нибудь удостоишь меня соответствия, клянусь, тогда ни одна красавица не обратит на себя моих взоров. Бесподобная девица! скажи только: «Неон! я люблю тебя!» — и счастливый Неон твой навсегда, твой нераздельно.

Мечтая таким образом, я уснул крепко. Хотя попеременно представлялись мне кроткая Мелитина и пламенная Неонилла, но труды и беспокойства ночные так меня утомили, что я проснулся уже гораздо после солнечного восхода.

Глава IX Необдуманные затеи

Поутру Король весьма удивился, услыша от батрака, что я сплю в сарае. Когда я пришел к нему, то он спросил:

— Что это значит? Конечно, ты с кем-нибудь поразладил и, видно, дрался,— недаром при сабле.

— Ты отгадал,— отвечал я,— именно поразладил я с одними за то, что с другими слишком уже много поладил.

Тут откровенно рассказал я о связи моей с Неониллою и о последствиях сего знакомства. Король, выслушав повесть мою терпеливо, сказал весьма важно:

— Согласись, Неон, что ты поступил очень дурно, неблагодарно! После поступка твоего в доме Истукария я вправе заключить, что ты в состоянии бы так же поступить и в доме Мемнона, если б Мелитина была менее невинна и добронравна. О! сохрани тебя милосердый бог о том и подумать!

— Почтенный друг мой! — сказал я,— какая разница! Одна вселяет любовь почтительную, невинную, святую, а другая обещает чувственные наслаждения!

— Ты уже не ребенок,— сказал Король,— и очень понимаешь, что сколько бы ни прелестен был плод и сколько бы ты голоден ни был, но если он в чужом саду, то его трогать ненадобно. Прошу тебя, Неон, в подобных обстоятельствах быть осторожнее. Конечно, ты молод и здоров, обольщения сего рода довольно сильны; но еще повторяю, что ты уже не ребенок и рассуждать учился. Посуди только о последствиях, и кипение крови тво-

ей уймется. Неужели ты до сих пор не помыслил, что мудрая природа, вложив в оба пола стремление одного к другому, имела в виду одно ничтожное наслаждение? Совсем нет! Цель ее есть размножение существ живущих. Подумай же, чего должен ожидать ты, если Неонилла сделается матерью?

Я задрожал, потупил глаза в землю и молчал. Потом, с чувствительностию обняв опытного друга, обещался приложить все старание избегать впредь сетей соблазна.

— Еще согласись,— продолжал Король,— что знатный и богатый Истукарий никак не простит тебе обиды, нанесенной ему в лице дочери. Падением ее, без сомнения, хвастать не будет; но он имеет множество случаев отомстить тебе тайно. И для того, пока я не придумаю, что нам полезнее делать, ты будешь жить у меня сколько можно скрытнее.

На другой день, в самые полдни, когда Король отлучился зачем-то на базар, работник принес мне письмо, объявляя, что маленькая девочка просила его вручить мне оное и ожидает на улице ответа. Я вскрыл письмо и читал с жадностию следующие строки:

«Любезный друг Неон!

Батюшка был очень сердит, но, наконец, примирился и дал слово не упоминать о прошедшем. Матушка еще более снисходительна. Целый день провела я без тебя в несносной скуке. Около полуночи приходи в сад наш к известной беседке, и тебя ожидают объятия твоей

Неониллы».

Я призадумался. Что, если это козни старого Истукария, чтобы заманить меня в свои когти? Хотя я в доме его прожил более полугода, но рука дочери его совершенно мне незнакома. Однако думаю, что с помощию истинной философии могу наслаждаться утехами любви, не подвергая себя опасности. Все равно, на каком бы месте ни приносима была жертва; и огород Королев не менее к тому удобен, как и сад Истукария. Я написал в ответ:

«Прелестная Неонилла!

Заключить тебя в свои объятия для меня составляет блаженство; но в сад отца твоего не пойду. Не безопаснее ли, моя любезная, будет, когда ты пожалуешь ко мне в огород друга моего Короля? Соломенный шалаш, в коем иногда отдыхает он после трудов, столько же удобен

для любви, как и богатая беседка в саду твоего отца. Приходи, моя бесценная, и ты успокоишься в объятиях твоего верного

Неона».

Запечатав сию записочку, я выбежал за ворота и отдал маленькой вестнице для доставления Неонилле, а притом подарил ей два злотых. Король пришел домой уже под вечер, и с ним человек шесть крестьян.

— Неон! — сказал хозяин, поглаживая чуб,— случайно проведал я, что соседи мои бурсаки расположились сею ночью в огород мой пожаловать, так надобно угостить их по достоинству. Эти добрые люди примут побратски. Думаю, что эта ночь будет последняя, которую проведем мы в сем городе.

Я не знал, что мне делать с моею тайною. Прежде и не думал открывать ее кому-либо; но теперь, видя, что по нечаянному стечению обстоятельств она сама собой выйдет наружу, я решился во всем признаться Королю и просить у него совета.

— Ты говоришь, друг мой,— сказал я непринужденно,— что мы в последний раз ночуем в Переяславле. Как думаешь? Ведь не мешает эту ночь провести повеселее?

С сими словами я подал ему письмо Неониллы. Король прочел и сердито пошевелил усами.

— Что же ты отвечал? — спросил он.

Я подробно рассказал ответ мой

— Мне кажется и даже уверен,— говорил Король подумавши,— что это сети Истукариевы. Как бы Неонилла пламенна ни была, то все так скоро после бывшего происшествия, по всем отношениям весьма незабавного, трудно пускаться на новое; впрочем, она молодая женщина и воспитана по-польски.

Он ходил большими шагами по горнице, как работник доложил, что какая-то старуха стоит за воротами и желает поговорить со мною. Король остановился и сказал, потирая лоб:

— Введи сюда старуху, объявив, что я с вечера уехал в чей-то хутор и до утра не возвращусь.

Работник вышел, а Король скрылся в боковой горенке. Старуха не замедлила войти, и я узнал в ней Варвару. После первых приветствий она сказала с улыбкою:

— Куда как счастлив ты, Неон, что такая молодая и прекрасная госпожа, какова Неонилла, столь горячо тебя любит! Несмотря на все запрещения строгих родите-

лей, она решается посетить тебя на огороде. Но рассуди сам: дело ее женское, время ночное, место мало известное: чего только не должна она, бедная, страшиться? Чтобы быть ей поспокойнее, следовательно, способнее слушать любовные твои напевы, она просит дозволения взять с собою трех горничных девушек, совершенно ей преданных. Они — девки сметливые и не только не будут помехою вашим разговорам, но вместо того — стражами вашей же безопасности.

Несмотря на вид истины, с коим говорила старуха, я начал ощущать подозрение. Однако, не находя причины бояться чего-либо в доме моего друга, я принял лицо восхищенного любовника и, сунув сей устарелой Ириде в руку несколько злотых, сказал:

— Объяви прелестной Неонилле, что я около полуночи ее ожидаю и что касается до трех ее спутниц, то и на сие совершенно согласен.

Старуха удалилась, будучи очень довольна и мною и собою, а Король явился.

— Что,— вскричал он, остановясь передо мною,— ты ничего не предчувствуешь?

— По крайней мере ничего ясного!

— А я, напротив, готов уверять, что это затеи Истукария, и бедная дочь его ничего о сем не знает. Послушай! ступай в бурсу и скажи приятелю твоему консулу Кастору, что намерение его сделать в эту ночь атаку моему огороду мне уже известно и что я приготовил нужное число храбрых молодцов для надлежащего отпора. В одну ночь, а случиться может и в один час, иметь сражение на разных местах — опасно. Надобно прежде управиться с одним супостатом, а потом уже противостать и другому.

Поручение Короля исправлено мною скоро. Консул Кастор и прочие бурсаки благодарили меня от чистого сердца за такое дружеское предостережение. Я возвратился домой. Король изобильно угощал приведенных гостей и питьем и едою. Когда все были довольны и время приближалось к полуночи, то я с шестью сподвижниками отправился в огород. Они полегли в бурьяне позади шалаша, а я начал около оного похаживать, попевая тихонько и посвистывая. Сколько ночь ни была мрачна, однако я скоро приметил нечто мелькающее на заборе и осторожно спускающееся на землю; за сим видением перелезли еще три особы, и все тихонько начали к шала-

шу приближаться. Я стоял у самых дверей и продолжал легонько свистать. Неонилла подходила ближе и ближе и, наконец, пала ко мне на руки; вздохи оковали язык ее. С быстротою молнии уволок я красавицу в шалаш, усадил на большом снопе соломы и напечатлел страстный поцелуй на толстых губах ее.

В ту минуту догадался я, что имею дело с негодяем Епафрасом, а посему смекнул, что должно заключить и о мнимых спутницах. Не обнаруживая сомнения, я, сидя на соломе, обвил руку вокруг шеи моей новой любовницы.

— Ах, Неонилла! — сказал я,— зачем обрезала ты прекрасные свои волосы и всю голову завила в пукли?

— Теперь такая мода в Варшаве,— отвечали мне шепотом.

Я надрывался с досады и не знал, что начать. Тут подошли к отверстию шалаша провожатые моей любезной, и одна притворным голосом сказала:

— Тебе здесь, Неонилла, хорошо, а нам на открытом воздухе холодно; но нельзя ли и сопутницам твоим погреться под соломенною крышею?

— Почему и не так! — отвечала моя подруга,— тут места довольно; полезайте!

«Ну,— думал я,— вот настоящий приступ к делу».

— Постойте, девушки, немного,— вскричал я,— дайте нам прежде расположиться так, чтоб и в самом деле для всех было удобно.

После чего я свистнул громко три раза; мгновенно послышался шум; любовница моя задрожала.

— Что это значит? — спросила она заикаясь.

— Это подоспели мои уже провожатые,— отвечал я,— коим можешь ты безопасно ввериться, как я вверился твоим. Пойдем ко мне в дом; там и теплее и покойнее.

С сими словами взял я соседа за курчавый чуб и, приговаривая: «Сюда, сюда! милая Неонилла!», волок его из шалаша, причем не преминул оделять пощечинами и позатыльщинами с таким проворством, какое может только внушить оскорбленная любовь и обманутое ожидание.

Когда в шалаше происходил сей поединок, то вне оного совершалась целая битва. Горничные девушки Неониллы сражались как львы, зато и мои телохранители уподоблялись голодным медведям. Не малою помощию для

последних было то, что шесть человек ратовали противу трех. Когда я, держа за остаток волосов жертву моего мщения, выполз из шалаша, то увидел, что враги наши были в таком же положении. Торжественно вступили мы в покой Короля, где нашли довольное освещение. Мы сняли руки с голов сопротивничьих и начали их рассматривать. Я очень знал, что не ошибся в своей догадке. Епафрас, с пораженным в разных местах лицом, в растерзанном платье сестры своей, стоял передо мною в самом жалком положении; в спутниках его признал я двух кучеров и стремянного Истукария, одетых в девичьи платья, кои были также в клочки изорваны.

По решению Короля сопутники Епафрасовы отведены в сарай и заперты. Оставался один молодой пленник, и начался допрос с увещанием сказать всю правду, под опасением за скрытность неминуемого истязания. Молодец, видя, что дело взяло оборот довольно важный, клялся сказать всю истину и говорил следующее:

На другой день после суматошной ночи, столько всем нам памятной, рано поутру мой раздраженный отец отвез Неониллу в дальний хутор наш по дороге к Пирятину и оставил ее под строгим надзором неумолимой скотницы и ее семейства, объявив твердое намерение не давать ей свободы прежде, пока не приищет для нее жениха приличного. По возвращении домой он начал вымышлять способы, как бы залучить Неона в свои руки, дабы совершить над ним примерное мщение. Он остановился на том плане, исполнение коего теперь только все видели. Я под руку сестры подписался довольно исправно, и дело пошло было на лад: но не знаю, какой злой дух предуведомил о нашем намерении, и мы, шедшие сюда с тем, чтоб возвратиться с пленным Неоном, сами попались в западню и сделались пленниками.

— Что же бы отец твой думал со мною делать,—спросил я,—если б залучил в свои руки?

— О! — отвечал Епафрас,— план мщения его довольно замысловат. Он хотел отвезти тебя также в хутор, по дороге к Киеву, там выбрить голову и усы, потом приковать к стене против портрета Неониллы, дабы при каждом на нее взгляде казнился ты, сравнивая прошедшее с настоящим. В комнате, для тебя назначенной, стояла бы великолепная кровать, между тем ты должен почивать на соломе. К обеду и ужину набирали бы стол с изобильными яствами и напитками, а ты должен утолять го-

лод сухим хлебом и жажду водою. В сем положении должен бы ты пробыть до тех пор, пока Неонилле не сыщется муж. После ее бракосочетания целую неделю, в такую пору, когда новобрачные уходят в опочивальню, тебе влепляли бы в спину по сто ударов сухими воловьими жилами. По окончании свадебных праздников тебе следовало обрить голову и усы, окорнать оба уха и полунагого выгнать батогами вон из хутора.

Я закипел гневом и мщением, хотел тут же броситься на Епафраса, но Король, удержав меня, сказал:

— Чем же виноват этот глупец? Я посмотрю, что с ним делать. Теперь заприте его в чулан, где и пробудет впредь до нового приказания.

Глава X **Благовидный побег**

После ночной тревоги я проспал довольно долго. Когда, одевшись, вошел в комнату Короля, то застал его за завтраком. Указав мне пальцем место за столом, он говорил:

— Неон! после всего случившегося с тобою в сем городе, согласись, что оставаться в нем долее было бы весьма опасно. Рано или поздно, а Истукарий тебя достанет, а тогда прощайте усы, нос и уши! Притом же ты в таких летах, что пора вступить на дорогу, ведущую к общей цели человека-гражданина,— к цели быть полезным своему отечеству. Приносить пользу можно бесчисленными образами; но как ты способен к военным подвигам, а притом дворянин, то и должно саблею прокладывать себе стезю к будущему счастию. Время к тому самое удобное. Гетман, согласясь с послами царя российского, положили непременно обязанностию освободить Малороссию из-под ига польского. Обстоятельство сие не есть уже тайна. Храбрые малороссияне, чувствующие в сердцах своих отвагу пожертвовать жизнию за свободу отечества, толпами стекаются на полях Батуринских и жаждут битв кровавых. Неон! там ожидает тебя или смерть, или слава и счастие! Я будут твоим путеводителем; я сам не усомнюсь вступить в давно

забытые битвы и саблею моею прочищу тебе дорогу ко храму славы. Может быть, ты, столько лет видя во мне огородника, считал человеком бедным, питающимся трудами рук своих; нет, я тебе за восемь лет нечто о сем заметил, но ты был слишком молод и не мог понять меня. Так, я столько богат, что, кроме самого себя, могу содержать и тебя в надлежащем довольстве, и сегодня же дом мой и огород со всеми орудиями и плодами дарю таким людям, которые, может быть, чрез сие самое перестанут быть негодяями и ворами, именно — дарю бурсакам. Вот и письменное на это свидетельство, утвержденное ректором семинарии и всею градскою думою. Пойдем к ним!

День был праздничный, и мы застали консула со всем сенатом, окруженного ликторами и целерами. Все несколько смутились, увидя Короля, вошедшего к ним в полном вооружении. Им представился вчерашний замысел загулять в огород его, и они не без причины ожидали сильных упреков, а может быть, чего-нибудь и худшего. Король сказал:

— Друзья мои, бурсаки! Десять лет живем мы по соседству, и вы согласитесь, что в течение сего времени наделали мне тысячу пакостей. Вы не столько крали плодов из моего огорода, сколько портили растений. Я отсюда отъезжаю надолго, а может быть, и навсегда. При прощанье хочу сделать вам добро, надеясь, что вы будете это помнить, и не иначе станете кормиться, как честными трудами. Дом мой хотя не велик, но все больше этой хаты, а притом устроен весьма выгодно. На дворе есть сарай, наполненный огородными орудиями, самый огород изобилует плодами всякого рода; все это дарю я вам, всем вообще. Довольны ли вы?

Бурсаки, поражены будучи такою неслыханною щедростию, таким неимоверным великодушием, потупили в землю глаза, наполненные слезами. Король продолжал:

— Консул, как и ныне, будет иметь главный надзор за новым имением; все же вы, наверное, станете прилежно смотреть за целостию вашего имущества, дабы другие не делали вам таких же опустошений, какие вы мне делали. Вот, консул, возьми сие письменное свидетельство, коим я навсегда делаю всех вас моими законными наследниками, и вот двадцать злотых, на которые завещаю приготовить сытный обед. Через час, или и бли-

же, я с другом Неоном оставляю город, и вы в то же время можете переселиться в новое свое жилище.

Король умолк. Тут консул Кастор мерными шагами выступил вперед, распрямился и, левую руку приложа к груди, а правую возвыся наравне с головою, произнес:

— Великодушный Король! что мы чувствуем в полной мере раскаяние за причиненные тебе обиды, то видишь ты из глаз наших. Принимаем щедрый дар твой с благодарностию. Если ты отправляешься в путь, то да будет господь бог и к тебе столько милосерд и благ, сколько ты к нам таковым оказываешься!

— Довольно! — сказал с кротостию Король, обнимая Кастора,— и я умоляю бога, чтобы он благоволил внять доброму желанию всей братии. Простите!

Я также с братской нежностию обнял друга юности моей, и мы с Королем вышли из бурсы.

— Теперь надобно еще разделаться с нашими пленными,— сказал старик,— и мы расквитаемся с Переяславлем.

Вступив на двор, я увидел у крыльца два добрых коня в дорожном уборе, а на крыльце сидели шесть вчерашних гостей. По приказанию хозяина, Епафраса первого вывели из заточения. Он сильно переменился в лице; растерзанное женское платье делало его похожим на пугало.

— Сын Истукариев! — сказал Король,— хотя ты и стоишь наказания за соучастие в злом умысле отца своего, но кажется, что ты и так уже достаточно наказан. Покажите мне прочих!

Когда выпустили из сарая трех телохранителей, то мы ахнули. Они были так избиты, измяты, истерзаны, что более походили на теней, вышедших из чистилища, чем на людей православных. Ни одного чуба, ни одного уса не осталось в целости; лица их, испещренные язвами, походили на зрелые мухоморы.

Король, осмотрев каждого порознь, сказал, покачав головою:

— Не рыть было другому ямы! Ступайте к своему пану Истукарию и скажите ему, что видели и слышали.

Бедняки поклонились в ноги великодушному врагу своему и, подобрав остатки висевшего на них женского платья, бросились со двора и пустились по улице.

Король, дав еще денег услужливым крестьянам, велел им идти в корчму и попировать за его здоровье; сам же, сопровождаемый мною, вошел в светелку, пал на колени перед изображениями угодников и начал молиться. Я следовал его примеру. По исполнении сего приятного долга вышли на крыльцо, сели на коней и пустились со двора, а там из города.

Когда мы были от оного верстах в пяти, то дали коням отдых и поехали шагом. Мы продолжали путь свой местами прекрасными, каких я до того времени не видывал. Небольшие холмы, пересекаемые долинами, покрыты были благословенными нивами, и взору представлялось необозримое золотистое море; кое-где по дороге росли вишневые и шелковичные деревья, могущие под тенью своею успокоить усталого путника или хлебопашца. Я любовался сею прелестною картиною и не мог насытить своего зрения; но, взглянув на Короля, с удивлением заметил, что он тяжело вздохнул. На вопрос мой о причине такового уныния при воззрении на смеющиеся виды он отвечал:

— Увы! может быть прежде, нежели трудолюбивый селянин соберет в житницу свою сии плоды потовых трудов его, они будут преданы на жертву пламени или потоптаны конскими ногами и окроплены кровию человеков. Такова всегда участь войны. Необходимость иногда заставит выжечь собственное поле и обрушить свое жилище.

Слова сии разлили уныние и на моем лице. Несколько времени ехали мы в молчании, и наконец я спросил:

— Куда мы едем?

— Разумеется,— отвечал Король,— что я не оставлю сей стороны, не простясь с другом моим Мемноном; но сию околичную и дальнюю дорогу избрал я нарочно для избежания погони от Истукария. Неужели думаешь, что сей надменный пан равнодушно снесет свою обиду, которая и в самом деле не есть мнимая, и простит тебя великодушно за то, что ты ускользнул от него небитый и с целыми ушами и усами? Никак! Если два человека, а особливо когда в сем числе будет женщина, знают какую-либо тайну, то она останется тайною не более суток, хотя бы обнаружение оной влекло за собою беду очевидную; посуди же, могут ли остаться скрытными происшествия в беседке и в моем огороде, где столько народу участвовало? Я уверен, что о сем трубят в целом Переяславле,

в домах, на улицах, на базарах и в шинках. Как же Истукарию оставаться спокойным слушателем? Это было бы несогласно ни с его нравом, ни с достоинством дворянина, ни с чувствами всякого отца, справедливо раздраженного! Однако солнце гораздо за половину, и надобно дать коням отдых. До хутора Мемнонова еще не близко, однако же сегодня доедем. Мне довольно знакомы места сии. Кажется, за тем молодым лесом есть деревушка и корчма. Спросим-ка у этого крестьянина, который пашет землю, вероятно, для посева гречихи.

Мы поворотили коней с дороги. Крестьянин, который был от нас саженях в двадцати, кинул свой плуг и волов, опрометью бросился к телеге и скрылся за нею. Я хотел спросить у своего спутника, чего сей мужик испугался; но он, усмехнувшись, сказал:

— Я догадываюсь, что это шляхтич.

Минуту спустя последовало превращение. Из-за телеги показался и шел прямо на нас мужчина в синем поношенном жупане; длинная сабля волоклась за ним. Довольно издали он снял шапку, поклонился с ласковою улыбкою и вскричал:

— Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалею, что замок мой не близко отсюда, а время настает полдничать. Во время полуденного зноя я немного уснул, а бездельники, мои подданные, воспользовались сим случаем и разбрелись до одного. Впрочем, господа, если вы чувствуете позыв на еду, то милости прошу пожаловать к моей бричке. Там найдете вы свиное сало, мягче и вкуснее всякого масла, довольное число преизящных луковиц, величиною с рослую репу, и хлеб, какого лучше не ест и сам гетман.

Король, расспросив его о ближней деревне и узнав, что он не обманывается, опустил в карман руку и вынул два злотых, сказав с великою важностию:

— Господин кавалер! просим извинить, что мы у тебя полдничать не будем, ибо спешим к месту, где нас ожидают; однако ж ты представь, что мы поели твоего хлеба-соли, и в знак памяти прими сию малость.

Тут опустил он свои злотые в шапку нового знакомца, а сей, поклонясь учтиво, сказал:

— Ин прощайте, господа кавалеры! Деньги же сии я отдам первому прохожему, который пособит мне сесть на иноходца. То-то добрый конь! Ни у кого из соседних дворян нет подобного.

Он положил деньги в карман и с великою важностию пошел к своей бричке, а мы далее поехали.

— Что за оборотень! — вскричал я, не могши удержаться от смеха.

— Этот бедняк,— отвечал Король,— заражен язвою, которая из Польши перелилась в Малороссию и великое множество крестьян лишила рассудка. Обработывание отеческих полей показалось им низким занятием. С ущербом большей части имущества каждый из таковых безумцев достал себе какие-то свидетельства на дворянское достоинство — и ходит при сабле; но как терпеть голод никому не хочется, то они, хотя с отвращением, должны обработывать свои нивы, не пропуская, однако ж, случая выказывать мнимое свое благородство. Пробыв в поле или в лесу целую неделю, занимаясь паханьем земли или рубкою дров, в воскресный день таковой дворянин является в церкви при сабле, с закрученными усами; курительная трубка и мешок с табаком заткнуты за пояс, и он выступает как вельможа.

Отдохнув в сказанной деревне, мы пустились в дальнейший путь и еще засветло прибыли в хутор Мемнона и приняты как друзья и родные. Евлалия была очень ласкова, а прелестная Мелитина весела и внимательна к доставлению нам возможного удовольствия. По предварительной просьбе моей Король ничего не говорил сему любезному семейству об истинной причине удаления нашего из Переяславля. К немалому моему утешению, следующие три дни были самые ненастные, и так я беспрестанно имел случай наслаждаться рассматриванием прелестной Мелитины. Я часто бывал с нею один на один, собирался открыть весь пламень моего сердца и всякий раз откладывал до другого времени — непонятная робость оковывала губы мои: я довольствовался смотреть ей в глаза, ловить милую улыбку и восхищаться втайне.

Настало ведро. Ах! какими пасмурными глазами смотрел я на все предметы, освещаемые солнцем. Час отъезда настал. Я проливал слезы, и мне показалось, что и Евлалия и Мелитина несколько раз отворачивались в сторону и утирали глаза свои. В беспамятстве бросился я на коня и, сопровождаемый Королем, выехал из жилища, где оставались все мои радости, все надежды на блаженство.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I Пустынник

С самого утра до заката солнечного мы почти не слезали с коней.

— Я решился,— говорил Король,— в этот еще день поспеть в село Глупцово, дабы от Переяславля по дороге к Пирятину быть в таком же расстоянии, в каком были мы, находясь в усадьбе Мемнона. Надобно было ехать обратно почти мимо самого города; но я Истукария не боялся. Если он искал нас столько времени тщетно, то, наверно, теперь оставил уже намерение найти. Мы недалеко от упомянутого села, следовательно, почти в тридцати верстах от Переяславля.

Когда он говорил сии слова, то лошади остановились, подняли уши и попятились назад. Осматриваясь кругом, мы увидели, что под диким вишневым деревом лежал пожилой казак с протянутою рукою.

— Милосердые господа!— говорил он томным голосом,— если в глазах ваших чего-нибудь стоит человек, изувеченный за честь своей отчизны, то не оставьте меня в сем жалком положении без помощи. Взгляните на мои раны и умилосердитесь!

Он хотел было распахнуть грудь, но Король, быстро к нему подъехав, вскричал:

— Не надо! мы не хотим, чтобы ты для приведения нас в жалость растравлял свои раны. Скажи, где и как получил ты оные?

Казак, принеся богу благодарность, что нашел таких великодушных людей, кои, не осмотрев даже и ран его, склоняются на милосердие, сказал:

— Принадлежа, по благости промысла, к сословию дворянства, но не имея никакого имущества, кроме сабли, я вздумал воспользоваться обстоятельствами и пойти в Батурин для присоединения к ратникам гетманским. В одной корчме, недалеко отсюда, столкнулся я с несколькими польскими всадниками. Они стали насмехать-

ся надо мною, и это я снес терпеливо, ибо и в самом деле одет и вооружен был хуже последнего из них. Снисхождение мое, видно, приписали они трусости и вздумали озорничать. Повертывая меня на все стороны, они, будто нечаянно, щипали за волосы, дергали за усы, толкали под бока, словом, старались вывести из терпения. «Правду сказать,— вскричал один из нахалов, захохотав во все горло,— если гетманские витязи все таковы, как сей богатырь, то мы у его высокомочия пострижем лишнюю шерсть, ибо он не что иное, как мохнатый баран». — «Если и так,— сказал я, подняв вверх взъерошенные усы,— что гетман наш есть баран, то в повелениях его находится много волков и медведей, которые в состоянии оторвать головы польским зайцам и лисицам». Такое удачное сравнение их взбесило. Сперва в действии были одни кулаки, а вскоре дошло и до сабель. Не хвастовски сказать, я ратовал храбро, и кровь польская разливалась по полу; но что может сделать самый смелый и сильный медведь против великого множества собак? Они непременно его одолеют. Так вышло и со мною. Супостаты меня обезоружили, изранили и, отняв кошелек, в коем было медными деньгами не менее пяти злотых, вытащили из корчмы и кинули середи улицы. Теперь я по необходимости должен возвратиться на родину; но без помощи милосердых людей не могу сего сделать.

Во время такого плачевного рассказа Король несколько раз опускал руку в карман и вынимал полную горсть денег, но, к несчастью, они все были золотые.

— Неон! — спросил старик,— нет ли у тебя серебряных денег?

— Ты знаешь,— отвечал я,— что они уложены в дорожной суме.

— Как же быть?— сказал он сраженному воину. — Ночь на дворе, и тебе не оставаться в поле. Попробуй дойти с нами до ближнего села; там мы тебя накормим и дадим на дорогу денег.

Больной с благодарностию на сие согласился, коекак поднялся на ноги и, опираясь на костыль, побрел за нами. Мы нарочно ехали шагом, а иногда и останавливались, дабы не потерять его из виду, и в сумерки прибыли в село, где, остановясь в корчме, заказали ужин и велели хозяину накормить нового нашего знакомца, коему дав, сверх того, несколько злотых, отпустили с миром. Он, пожелав нам за таковую щедрость седмерично-

го воздаяния от праведного неба, удалился. Мы провели вечерок в разговорах самых разумных и уснули весьма покойно.

Поутру, когда я и Король, сидя у окна в ожидании завтрака, припоминали прошедшее и я собирался уже просить его об извещении меня, кто таковы мои родители и кто он сам таков, вдруг корчмарь ввел старика степенного вида в простом платье. Он поклонился нам со смирением и сказал:

— Мой честнейший пан Урпассиан желает вам здравия и долгоденствия. Он прислал меня просить вас всеуниженно почтить день его рождения и разделить сельскую трапезу.

Мы взглянули друг на друга и не знали, что отвечать посланному от неизвестного пана Урпассиана.

— А кто таков господин твой?— спросил Король,— и почему нас знает, когда мы в первый раз о нем слышим?

— Он вас довольно узнал сего самого утра,— отвечал незнакомец.— Израненный казак, коего вчера призрели вы и облагодетельствовали, случайно прибился к летнему жилищу нашего господина и все подробно рассказал ему. Этого достаточно было, чтобы тронуть великодушное сердце его, и он тотчас велел мне взять лошадь, скакать сюда и умолять вас не презреть его приглашение. У него лишних людей не будет, а только несколько неимущих братий, которые привыкли посещать его временно и безвременно и которых он всегда угощает с добродушием.

— Но кто он таков,— спросил Король,— и где его жилище?

— Он,— отвечал слуга с тяжким вздохом, — был такой же витязь, как и вы; служил при дворе, сражался и в поле и везде заслужил отличие. Но злобная жена и распутные дети сделали свет для него омерзительным, и он решился остаток жизни провести в уединении и пещись о спасении души своей. Он продал все свое имение и зиму провождает с верными служителями где-нибудь в монастыре, а весну и лето — в садах и рощах. Теперь обитает он в недальней прелестной роще, где и вас нетерпеливо ожидает. Если вам у него полюбится, то можете прожить сколько хотите; если же нужда заставляет спешить куда-либо, то из-за обеденного стола изволите сесть на коней — и с богом. Он никого не неволит.

Король, подумав несколько, сказал:

— Последнее условие мне нравится, ибо мы и подлинно спешим достичь до назначенного места. Но тебе нас дожидаться долго, ибо обеденная пора настанет не скоро. Поезжай к своему господину, объяви наше почтение и готовность разделить его трапезу, а около полудня приезжай сюда опять, дабы проводить нас.

— Господа! — воззвал слуга,— пока будете вы завтракать, что и я намерен сделать, пока подбреют вам усы и чубы, пока оседлают коней, то будет около полудня, и мы поспеем к Урпассиану в самую пору.

— И то правда,— сказал Король.

Слуга Урпассиана не обманулся, ибо, пока мы собрались, то было уже не рано; итак, не мешкав нимало, мы отправились. Пробыв около получаса в дороге, мы подъехали к дремучему лесу.

— В сей-то роще,—воззвал слуга,— спасается теперь господин мой. Он молится богу, прогуливается, читает душеполезные книги, угощает бедных и странных и не видит, как день проходит за днем. Хотя он довольно достаточен, но с богатыми людьми не ищет знакомства, разве о ком прослышит что-нибудь необыкновенно доброе и великодушное, как, например, о вас. Как же он рад бился в такую трущобу? Здесь скорее встретишься с медлись посетить его пустыню.

Говоря таким образом, мы продолжали путь, беспрестанно виляя то направо, то налево, ибо ехать прямиком было невозможно по причине густоты леса, переплетшихся кустарников и опрокинутых деревьев.

— Не охотник ли господин твой ходить за дикими зверями,— спросил Король с некоторою досадою,— что забился в такую трущобу? Здесь скорее встретишься с медведем, чем с человеком!

— Слава богу,— отвечал слуга,— мы про зверей не слыхали и живем здесь, как в самой лучшей крепости.

Промаявшись в сем лесу более часа, на каждом шагу защищая лицо, чтоб сучья не выбили глаз, очутились мы у входа в приятную долину, испещренную различными цветами. По одну сторону оной раскинута была просторная палатка при корне древнего развесистого дуба, откуда вытекал источник чистой воды; по другую сторону человек около полусотни нищих и увечных всякого рода сидели кружком на траве, ели и пили. Едва мы,

подражая слуге, соскочили с коней и привязали их к древесным ветвям, как показался из палатки пан Урпассиан. Он был пожилой, но крепкий мужчина, одетый в купецкое платье, с полуседою бородою. Подошел к нам быстрыми шагами, обнял обоих с сердечным добродушием и сказал:

— Стократно благодарю вас, что вы не презрели приглашения простого пустынника. Правду сказать, узнав вчерашний добродетельный поступок ваш с раненым земляком нашим, я ожидал от вас сего великодушия; а притом на опыте знаю, что люди, обыкновенно проживающие среди городского шума, находят иногда удовольствие провести несколько часов в старческой келье. Прошу за мною, дорогие гости. По ту сторону палатки, под ветвями великолепного дуба, готовый обед нас ожидает.

Мы сели на траве и начали насыщаться. Как в пище, так и в питье было великое изобилие. Хозяин с минуты на минуту становился веселее и, как приметно было, хотел и нас видеть веселыми. Он беспрестанно потчевал самыми вкусными наливками.

Во время сего лесного пиршества, которое ни в чем не уступало городскому, Король несколько раз заводил речь о таком чудном роде жизни и изъявлял желание знать обстоятельные тому причины; но вежливый хозяин вопросы сии отклонял весьма искусно и наконец сказал с откровенною улыбкою:

— Почтенные гости! хотя я возымел об вас по одному слуху самое доброе мнение, а с первого взгляда полюбил от всего сердца, однако согласитесь, что мы еще не столько знакомы и уверены один в другом, чтобы не было ничего между нами тайного и что прилично только между друзьями, давно испытанными.

Король весьма похвалил такое благоразумие, и мы встали, чтобы поблагодарить бога за дары его. Я чувствовал, что не твердо стою на ногах; голова кружилась, и глаза слипались. Король объявил, что точно то же чувствует.

— Любезные гости,— сказал пан Урпассиан,— прошу не принуждать себя! Я сам привык после сытного обеда несколько отдохнуть, а потому советую и вам подражать моему примеру.

Я хотел что-то сказать, но язык не двигался, ноги поколебались, и я, опускаясь на траву, успел только приметить, что друг мой Король лежал уже растянувшись.

Когда я пробудился и открыл глаза, то удивление было не малое. Густой мрак окружал всю природу; глубокая тишина господствовала; небо усеяно было звездами. Я привстал, перекрестился и начал осматриваться кругом. Скоро я мог уже различать предметы, и прежде всего постиг, к великому ужасу, что сижу в одной сорочке; недалеко от меня храпел Король точно в такой же одежде; на обоих не было даже шаровар и сапогов.

«Что за диковина! — думал я,— неужели заботливый Урпассиан велел раздеть нас почти донага, дабы могли мы спать покойнее? И для чего не прикрыть чем-нибудь? Пора ночная и места лесные». Осматриваясь далее, я ничего не видал, кроме деревьев и кустарников; на месте, где стояла палатка, торчали одни колья. Я в другой раз перекрестился, встал, обошел кругом всю долину, но нигде не видно было ни следа существа живущего. Облокотясь на пень дуба, служившего мне покровом во время задачливого отдохновения, я силился обдумать все части сего происшествия, и наконец должен был сознаться самому себе, что мы с Королем порядочно одурачены. «Точно так,— сказал я вполголоса,— вчерашний израненный казак есть не что другое, как мошенник из шайки Урпассиана, который, как по всему видно, есть начальник оной; во время обеда в подносимые нам наливки подмешано было сонное зелье. Пусть я, неопытный бурсак, привыкший видеть всегда открытые лица своих товарищей, мог обмануться в сем случае, но Король, прошедший, по словам его, сквозь огнь и воду, и сам Король также не мог заблаговременно спохватиться!»

В воздухе начало сереть, и холод стал ощутителен; я нарвал несколько охапок травы, прикрыл оною своего спящего друга, и сам, зарывшись в такое же одеяло, с нетерпением ожидал зари утренней. Пение лесных птиц возвестило восшествие на твердь небесную лучезарного светила, и я опять поднялся на ноги. Осматривая вновь пагубное место сие, я увидел на нижней ветви дуба повешенное на нитке письмо. Зная наверно, что оно принадлежит нам, я снял, развернул и прочел следующее:

«Любезные друзья!

Вы зашли в сию прелестную рощу по моему приглашению, так справедливость требует, чтобы я помог вам и выйти из оной. В двух саженях от знакомого вам дуба увидите старую липу; ступайте прямо по направлению от дуба до липы, и вы скоро выйдете из леса, а

там достигнете и селения, где за день останавливались. По пробуждении вы найдете себя в такой легкой одежде, что соблазнительно было бы являться на глаза целомудренных женщин; для избежания сего прикройтесь одеждой, которую найдете в дупле упоминаемой липы, где хранится для вас и завтрак. Хотя вы вчера и хорошо покушали, но все-таки не мешает на дорогу подкрепить силы. Видите, как я великодушен! На прощанье даю вам, а особливо тебе, старый фалалей, добрый совет, не быть слишком легковерным и не думать, что накормить голодного и дать ему несколько злотых есть такое великое дело, что слух о нем пронесется до концов вселенныя.

Урпассиан».

Глава II Новый друг

Когда я кончил чтение сего ругательного письма, то Король чихнул, потянулся и открыл глаза. С удивлением осматривал он самого себя, меня и окрестные предметы. Наконец встал, отряхнулся и, подошед ко мне, спросил:

— Что это значит?

— Не больше и не меньше,— отвечал я,— как что мы оба — набитые дураки.

С сими словами я подал ему письмо. Король прочел и, сердито потирая рукою чуб, произнес:

— Проклятый обманщик! Возможно ли обокрасть так хитро? Он, однако, говорит правду, называя нас дураками, а особливо меня. Куда теперь пустимся без денег, без коней, без оружия?

Он задумался и, с важностию закручивая усы, медленными шагами ходил вокруг дуба. Я машинально следовал по пятам его, и когда Король оглядывался назад, то мы печально смотрели друг на друга и продолжали хранить молчание. Так прошло около получаса, и друг мой, остановясь, сказал:

— Нечего больше делать! Оденемся в оставленное нам платье и пойдем в село Глупцово. Слава богу, что мы вчера не совсем одурели и не взяли с собой дорожной сумы. Там найдем по паре хорошего платья и не-

сколько сотен злотых. Я найму коня и с половиною денег поскачу в хутор к Мемнону, а ты останешься на месте и меня дождешься.

— Почему же и мне не ехать вместе с тобою? — спросил я торопливо.

— Совсем не для чего,— отвечал он довольно сурово,— ты будешь мне только остановкою в пути; а потом не забудь, что должно ехать почти мимо самого Переяславля.

Я вздохнул и дал согласие терпеливо ожидать его возвращения.

Осмотрев пространное дупло липы, мы нашли, что на связке платья, покрытой древесными листьями и травою, лежал кусок жареной баранины, две булки и щепотка соли, а в углу стояла небольшая сулея с вином. Вынув сей завтрак, вытащили и связку; но кто опишет изумление наше, когда, развернув ее, нашли одно платье монашеское, а другое женское, крестьянское. Мы не могли удержаться от смеха.

— Ах, насмешливый злодей! — вскричал Король,— как мы в сем уборе покажемся в люди? Не сочтут ли нас самих или сумасшедшими, или мошенниками?

— Не лучше ли мы сделаем,— сказал я, приняв вид глубокомысленного,— когда, одевшись и поевши хорошенько проберемся только до конца сего проклятого леса, а к селу пойдем ночью. Пусть же посмеется над нами один жид с семейством, а не целое селение.

Король похвалил мое предложение, и мы превратились — он в смиренного инока, а я в стыдливую красавицу. Совершив сей подвиг, мы принялись за сулею, булки и баранину, не переставая удивляться своей оплошности и лукавству Урпассиана, который, по всему вероятию, проведав о нашем имуществе от мнимого раненого казака, который в самом деле есть его сообщник, выдумал средство постричь нас в болваны.

Среди сих рассуждений и замыслов о будущем послышали мы невдалеке разные смешанные голоса и вскоре увидели множество людей, прямо на нас бегущих. Они были исправно вооружены, итак, немудрено, что мы сочли их за разбойников. Когда сии пришельцы нас окружили, то начальник подошел с язвительною улыбкою и сказал:

— Хлеб да соль, честный отче! В какую обитель провожаешь ты эту прелестную девицу? Как же хороша

она! какой щегольский чуб! какие нарядные усы! Не хочешь ли, преподобный, прогуляться с нами в город Пирятин, где войсковой старшина давно уже приготовился принять тебя в свои объятия!

— Не для чего,— отвечал Король равнодушно,— мы и без тебя знаем дорогу, которой идти надобно.

— Не упрямься, богобоязненный отшельник,— говорил пришлец,— если не хочешь, чтобы тебя поволокли туда связанного.

— А какими ты нас почитаешь? — спросил Король. взглянув на него сурово.

— Отвечать немудрено,— сказал тот,— вы мошенники и разбойники, которые прославились во всей здешней округе. Неужели думаете, что, нарядясь не в свои платья, можете обмануть есаула Кошку? Нет, друзья мои! не на такого напали! Полно вам проказничать: пора приняться за покаяние.

Король, видя, что от есаула Кошки не легко отделаться, почел за лучшее рассказать ему обстоятельно случай, познакомивший нас с плутом Урпассианом, а в доказательство истины подал ему письмо. Есаул, с сомнительною улыбкою оборачивая хартию на все стороны, спросил у подчиненных, нет ли кого из них, который умел бы прочесть? К счастию, такой мудрец нашелся, и письмо прочтено во услышание всех.

Есаул долго стоял задумавшись и наконец сказал:

— Очень жаль, если ты говоришь правду и вы в самом деле честные люди; но в этом надобно удостовериться; ибо Урпассиан ваш имеет более сотни имен и столько же разных облачений. Он является поляком, черноморцем, туркою, паном, нищим, молодым человеком, стариком — чем вздумается,— и под сими прикрасами грабит честных людей и веселится на их деньги. Он имеет многолюдную шайку, состоящую из отличных плутов разного рода, которые, по примеру своего начальника, расползаются повсюду, по хуторам, селам и городам, обманывают, крадут и делают бесчинства неслыханные. Если и подлинно вы оба не сего участка люди и одурачены плутом, то стоит вам дойти с нами до села Глупцова, и как скоро там подтвердится, что теперь слышу, то ступайте, куда хотите, а мне придется опять заботиться о поимке мошенника.

— Но как,— возразил Король,— в столь неприличном наряде показаться нам середи дня между народом?

— Если вы честные господа и не скупы, то горю сему пособить можно. Двух человек из моих подчиненных раздену до сорочки, и в их платье вы можете одеться, а пришедши в корчму, пришлю оное сюда обратно.

Король обещал за каждую пару по два злотых и тотчас получил желаемое; мы переоделись и отправились в село Глупцово.

Прибыв на место, мы многолюдством своим привели всю корчму в волнение. Жид объявил всенародно, что нас знает, что мы у него ночевали и что ездили куда-то в гости.

— Теперь ясно,— сказал есаул, потирая лоб,— и вы оба свободны; оденьтесь в свои платья, а эти отошлем хозяевам.

Король велел принести дорожную суму, и жид всполошился.

— Как! — воззвал он, повертывая на голове еломок свой,— не вы ли вчера, несколько за полдень, присылали сюда того самого слугу, который с вами отсюда поехал, чтобы он привез вам и суму, у меня оставшуюся?

— Бездельник! — вскричал Король с великим гневом,— как смел ты чужие пожитки отдавать неизвестному человеку без подлинного на то приказания?

— Но он сказал,— продолжал жид,— что вы оба то приказывали! Чем я виноват? Почему мне знать, что человек, с которым вы вместе едете, незнаком вам совершенно?

Король шумел, бранился, грозил; но все взяли сторону жида, а нас единогласно обвиняли в легковерии и глупости. После нескольких споров, упреков, несогласий жид решился дать Королю сто злотых в долг за христианские проценты на шесть дней за тридцать злотых, а я должен оставаться вместо залога. С есаулом Кошкою разделались честно, дали вдвое сверх условленной платы, только бы платья, на нас бывшие, продержать могли целую неделю; а сверх того, как он, так и сопутники его щедро употчеваны. После сего Король не хотел медлить ни одной минуты; он отсчитал мне двадцать злотых, сел на жидовскую клячу и отправился в путь.

Остаток дня проведен мною очень скучно. Живя в бурсе, а после в доме Истукария, я привык к многолюдству, и оставаться совершенно одному было для меня тягостно; почему на другой день вздумал осмотреть на досуге все окрестные места и попытаться, не открою ли

где следов грабителя Урпассиана и не найду ли способа возвратить потерянное. В сем намерении вышел я из селения и побрел куда глаза глядели.

Шатавшись более трех часов, я почувствовал усталость и жажду. Осматриваясь кругом, увидел недалеко подле проселочной дороги корчму и с радостию направил к ней стопы свои. Я не мог не заметить в стороне богатого хутора. На возвышенном холме расположен был господский дом, наружным видом походивший на укрепленный замок, могущий выдержать упорную осаду; в некотором отдалении разбросано было до двадцати крестьянских хат; синеющиеся рощи и сады со всех сторон окружали сию усадьбу и широкая речка протекала вдоль всего поместья. Сидя под навесом корчмы, я забавлялся вишневкою, и мне пришло на мысль тут же и отобедать, а к ночи только возвратиться на свое пепелище. Когда я давал о сем приказания своему хозяину, вдруг явился перед нами дородный мужик, неся на плечах стреноженного барана.

— Жид! — сказал он,— купи у меня барана, молодого, жирного барана!

— Нет, Влас, нет! — вскричал жид, пятясь назад,— мне во всю жизнь не забыть, что я прошлого лета купил у тебя корову. Пан Истукарий взял с меня втрое дороже, нежели чем она стоила бы в самое дорогое время. Убирайся с своим бараном далее или приноси что-нибудь свое, а не панское, ибо я знаю, что баран сей не твой.

Сказав сие, жид вошел в избу, а мужик со вздохом сложил со спины барана на землю, развязал и дозволил бежать к стаду, пасшемуся на лугу в виду нашем. Имя Истукариево меня поразило, и я тотчас мог догадаться, что видимые мною хутор и господский дом принадлежат ему и, почему знать, может быть, тут-то заключена нежная, пламенная Неонилла! Надобно воспользоваться случаем!

— Влас! — сказал я,— для чего ты, зашед в корчму, ничего не выпьешь?

— Ох! — отвечал он пасмурно, на это есть самая законная причина!

Тут выворотил оба пустые кармана.

— Ты будешь пить самый лучший пенник,— сказал я,— если согласишься побеседовать со мною, а между тем и пообедаем вместе.

Влас оторопел от радости и удивления. Получив от меня деньги, бросился он в корчму и возвратился под навес вооруженный сулеею и чаркою. Когда опорожнил он два раза сряду сию меру, то с улыбкой обтер усы и, севши на лавку против меня, сказал:

— Куда как милосерд господь бог, что даровал бедным людям такой дорогой напиток! Если я опорожню одну чарку, то пан Истукарий не кажись мне и на глаза; как раз утру нос!

Следуя моему намерению, я почтевал Власа щедрою рукою, и когда мы окончили обед, то он был в самом лучшем расположении духа. От него узнал я, что Неонилла и действительно заключена в сем хуторе и находится под неослабным надзором его жены, ее сестры и матери, которые все, по словам его, были совершенные ведьмы.

— Днем,— говорил Влас,— они поочередно стерегут молодую госпожу, а мне дозволяется в это время спать, сколько душе угодно, и за стадом смотрит один брат мой Вукол; зато уже ночью Влас не дремли. Я безвыходно должен быть в передней господского дома, и без моего ведома не прокрадется во внутренние покои и муравей.

— Хлопотлива же твоя должность! — сказал я,— ты, верно, охотно бы от нее отказался?

— Все бы ничего,— отвечал Влас,— если бы во время ночного бдения была со мною сулея с добрым вином; а то, посуди сам, если ты человек крещеный, каково мне сидеть одному в маленькой горенке, впотьмах, с засохшим горлом? Да я к тому ж не понимаю, зачем стеречь так строго Неониллу? Люди и без того ее не видят; а если нечистая сила вздумает загулять к ней, так и сто таких Власов, как я, не усмотрят.

У меня сейчас родилось прекрасное намерение воспользоваться простотою сего человека и хотя однажды взглянуть на нежную красавицу, страдающую за то, что я сильно ей полюбился. Тут сожаление, чувственность, гнев на притеснителя и обиженное самолюбие начали действовать надо мною соединенными силами.

— Послушай, Влас! — сказал я,— ты человек добрый и умный, и я полюбил тебя с первого взгляда. Товарищ мой, с которым еду в Батурин, возвратится ко мне в село Глупцово не прежде трех или четырех дней. Доволен ли будешь ты, если предложу тебе быть ночным твоим собеседником? Вина у нас всегда будет вдоволь;

мы станем попивать, рассказывать друг другу были и небылицы и не увидим, как пролетит ночь, сколько б длинна ни была она. Рано поутру я отправлюсь каждый раз сюда, а вскоре прибежишь и ты. Мы поедим и попьем исправно и поспим сколько нам вздумается. Ну, дорогой Влас, нравится ли тебе мое предложение?

— Как бы не нравится,— отвечал он, потупя глаза на землю и чешась в затылке,— но как сему поверить! С какой стати делиться тебе со мною вином, когда имеешь полное право пить его один? Видно, ты вздумал надо мною насмехаться?

— Напрасно так думаешь, Влас,— говорил я со всею искренностию,— я человек такого разбора, что не могу пропустить в горло ни капли вина, ни проглотить куска хлеба, если, по несчастию, сижу за столом один. Если бы и сегодня ты со мною здесь не столкнулся, то подозвал бы одну из дворовых собак и стал бы угощать ее, дабы придать себе к еде охоты. Сверх же того, я уже сказал, что полюбил тебя с первого взгляда и охотно бы хотел на несколько ночей быть твоим собеседником.

Влас не такой был дурак, чтобы заставить долго просить себя попить и поесть. Как скоро уверился, что над ним нимало не шутят, то обнял меня с нелицемерною радостию и условие заключено.

— Послушай, брат Галик (так я назвал себя),— сказал он,— проходить тебе до моей передней через весь пространный двор несколько опасно. Положим, что все люди будут уже спать; но кто усыпит проклятого Барбоса с детьми его и женами? Они такой поднимут содом, что весь двор встрепенется!

— И прежде замечено,— говорил я, подавая ему полную чарку,— что ты человек нарочито разумный. Вижу, что двором проходить неудобно. Нельзя ли через сад?

— Это-то самое и я хотел сказать,— отвечал Влас таинственно.— Дня еще осталось довольно, и ты успеешь обстоятельно рассмотреть нашу усадьбу. Идучи около сада стороною к полю, ты увидишь в углу забора старый огромный тополь, на коем иногда филин поет по ночам песни. Как скоро смеркнется, ты можешь перелезть со всем своим запасом через плетневый забор и засесть у корня сего дерева в густом бурьяне. Едва замечу я, что в хуторе все спят, то войду в сад, проберусь к тополю, прокричу трижды голосом филина, и ты выйдешь ко мне.

На сем глубокомысленном преднамерении мы остановились, обнялись по-братски, и Влас удалился. Лишь только солнце закатилось, я запасся изрядною баклагою лучшего вина и, освещаемый яркою зарею, пустился в путь. Мне весьма нетрудно было распознать описанный тополь, а перелезть через плетневый забор для всякого бурсака дело не хлопотливое. Усевшись в бурьяне, я предался сладостным мечтам о наслаждениях, меня ожидающих. Я нимало не сомневался в нежности прелестной вдовы. Я сочинял страстные речи, придумывал пленительные телодвижения и самому молчанию придавал значительность взорами и вздохами. Я погружен был в сей обворожающей дремоте, как внезапно прокричал подле меня филин. Тотчас догадался я и избавил Власа надуваться напрасно для второго и третьего возгласа: я выскочил из бурьяна и при свете месяца узнал верного друга. Прежде всего я подал ему баклагу и просил отведать доброты вина. Когда он высуслил примерно четвертую долю напитка, то остановился, вздохнул и, утирая усы, сказал:

— Ты, друг Галик, знаток в вине; лучшего во всю жизнь пивать мне не случалось. Пойдем на место.

Пробираясь к дому, я выспросил у Власа, в котором месте опочивает Неонилла, долго ли поутру не выходит из спальни, в которую пору сменяет его жена или мать ее и проч. Наконец мы достигли передней и сели на лавке у окна, поставя между собою возлюбленную баклагу.

Глава III Решительная любовница

Ночь была самая прелестная, из числа таких, какими древние и новые стихотворцы описывают те, в кои влюбленная Артемида ниспускалась с небесных сводов на долину Корийскую, дабы под тихим помаванием зефиров, при очаровательном сиянии звезд, дошед до кущи пастуха Эндимиона, напечатлеть поцелуй на устах счастливого смертного.

Я открыл окно и, обняв собеседника, говорил с набожным видом:

— Не правда ли, любезный Влас, что господь бог устроил все премудро? Согласись, что теперь, при чистом голубом небе, освещаемом серебристым месяцем, гораздо покойнее, приятнее, веселее пить хорошее вино, чем в жаркий полдень, когда человек дышит огненным паром? Выпьем же, милый друг, выпьем; а я между тем расскажу тебе повесть о золоторуком звере.

Я представился, что пью с великой жадностию, хотя не пропустил в горло и двух капель; зато нелицемерный Влас тянул вино, как грецкая губка, и после второго приступа, подобно ей, опустился. Во время чудесного моего повествования при каждом необыкновенном подвиге Влас с восторгом вскрикивал, и я в тот же миг приставлял отверстие баклаги к отверстым губам его. Он это заметил и стал чаще восхищаться, следственно, чаще лобызался с баклагою и к полночи ошалел совершенно, не дождавшись окончания замысловатой повести.

— Влас! — сказал я,— не умнее ли сделаем, когда перестанем пить и рассказывать сказки. Я думаю, что лучше бы поотдохнуть. Ведь до солнца еще далеко.

— Теперь и я вижу,— пробормотал Влас,— что ты также неглупый человек!

С сими словами растянулся на лавке и захрапел.

Не теряя времени, я приступил к исполнению своего намерения. Проходя из комнаты в комнату, скоро очутился в той, где покоилась нежная Неонилла. Месяц светил прямо в окна спальни. Подошед к кровати, жадными глазами рассматривал я прелести спящей красавицы; кровь кипела в жилах моих, дыхание было прерывисто, и я запечатлел поцелуй на губах ее и стал на колени.— Она вздохнула, открыла глаза, привстала и, увидя меня, ахнула и опрометью опустилась опять в постелю.

— Милая Неонилла! — сказал я вполголоса,— неужели не узнаешь твоего верного Неона?

Она спросила трепещущим голосом:

— Как? это ты? Не верю?

Скоро Неонилла уверилась, а потом, привед чувства в порядок, спросила, каким образом удалось мне проникнуть в ее темницу.

— Любовь и не такие чудеса делает! — вскричал я с жаром молодого стихотворца.— Прочти Овидиевы «Превращения».

— Пропадай они! — сказала красавица, прижав меня к своему сердцу.— Зачем мне смотреть чужими гла-

зами и ощущать чужими чувствами? У меня есть все свое, и этим своим хочу располагать по своей воле. Если я, будучи еще ребенком, в угодность родителям вышла замуж за ненавистного мне человека, то это было в первый и последний раз. Теперь, будучи возрастна и нося прозвание покойного мужа, кажется, без упреков совести могу воспротивиться незаконной власти. Помоги только избавиться из сей неволи, и ты увидишь, что не одним мужчинам дарована свобода располагать собою!

— Прелестная Неонилла! — сказал я голосом и с ужимкою философа,— ты рассуждаешь весьма разумно, но несколько не сообразясь с обстоятельствами. Самое важное препятствие к приведению себя в свободное состояние будет то, что ты одна и — без полушки денег! Итак, если душа твоя не терпит ига неволи, в коей тебя заключили, то благоразумие требует, чтобы ты обеспечила будущую свободу и на сей конец должно тебе притвориться, будто совершенно покоряешься воле твоих гонителей. Пользуясь общею доверенностью, можешь ты упрочить себе часть принадлежащего тебе имения, исправно позапастись деньгами и тогда уже объявить торжественно, что, кроме собственной воли, не хочешь знать ничьей посторонней.

Мысль сия показалась Неонилле премудрою, и мы тотчас составили план, как удобнее действовать в исполнение оной. Среди резвостей всякого рода мы и не видали, как прошла ночь и показалась заря утренняя.

— Любезная подруга! — сказал я,— время нам расставаться! Ах! сколько разлука сия ни терзает мое сердце, но необходимость не знает законов. Этому верили и древние философы, а новые и подавно должны верить.

— Я уже сказала тебе,— отвечала с живостию Неонилла,— что не хочу знать ни стихотворцев, ни философов. Видишь ли эту маленькую дверь? Она ведет в небольшой чулан, в коем хранится лишнее платье мое, отца моего и брата. Ты из него можешь сделать покойную постелю и провести там день; мое дело будет снабдить тебя питьем и пищею. Хотя, конечно, там не очень весело, но, вспомня, что вся будущая ночь совершенно наша, ты и скучать много не станешь.

Согласиться на такое предложение было с моей стороны, без сомнения, малодушно; но кто не знает прав красоты и молодости? Я не успел, так сказать, опомниться, как прошли уже три дня и три ночи, посвященные восторгам, упоению.

От моей любезной сведал я, что Влас и вся его семья, которой рассказывал он свое похождение, сочли меня за оборотня и, нигде не видя на другой и третий день, перестали и вспоминать о сказочнике.

В четвертое утро, едва убрался я в свой чулан и, разлегшись на связке белья и платья, хотел предаться покою после бодрственной ночи, вдруг слышу в опочивальне моей Неониллы необыкновенный шум и сейчас же распознаю ужасный голос Истукария.

— Преступная дочь! — загремел он,— мое родительское сердце смягчается, и я о тебе милосердую. Этому две причины: первая, что начального виновника нашего посрамления, нечестивого Короля, я сейчас достал в свои руки, и он заперт уже здесь в овине, где находиться будет впредь до повеления на хлебе и на воде; а вторая, что ты имеешь достойного жениха, с которым весьма скоро соединишься узами брака. Едучи сюда, чтоб тебя о сем важном деле уведомить, я настиг на дороге Короля, и как я сопровождаем был двумя слугами, то без дальнего труда и пленил супостата. На нем-то намерен я выместить за все хлопоты, какие наделал нам беззаконный бурсак Неон. Будь готова послезавтрашнего дня встретить здесь жениха своего, пана богатого и знатного, человека с совершенным рассудком, словом — пана Варипсава.

— Праведное небо! — вскричала Неонилла.— Как? за того безобразного карлу?

— Какая тебе нужда до мужнина роста? — отвечал с досадой отец.

— Но он семидесятилетний старик!

— Тем скорее околеет и тебе достанется осьмая доля его имения. Впрочем, дочка, не забудь, что похождение твое с проклятым бурсаком известно целой округе, и это не бездельное обстоятельство! Но что пустое говорить! Дело это конченое! Вот тебе кошелек с тысячью червонными от нас на булавки, а этот ящик с бриллиантами прими от имени Варипсава. По некоторым причинам он желает, чтобы свадьба играна была в сем доме. Завтра я пришлю сюда всю кухню, буфет и нужных людей; послезавтра я, жених и все наше родство приедем с несколькими друзьями сюда же. Вы будете обвенчаны в ближнем отсюда селе Глупцове и, пропировав здесь дня два или три, возвратимся в Переяславль. Во время дней пиршества я хочу над плутом Королем потешиться.

В палате веселия он будет связанный лежать под лавкою, и при каждом питье за здоровье получит в спину по удару арапником. О, если б злодей бурсак попался в мои руки, уж я знал бы, что с ним делать! Прощай, дочка! Я дал приказание не держать тебя взаперти более, и ты можешь прогуливаться, где пожелаешь.

Тут настало молчание, и не прежде как через четверть часа Неонилла вступила в мое узкое обиталище. Она смотрела на меня несколько времени молча, а я сидел на куче платья с потупленными глазами.

— Ну, Неон! — сказала она, наконец, весьма равнодушно,— что будем делать?

— Более ничего, прелестная Неонилла,— отвечал я с печальным видом,— как только выпустить меня отсюда и дать свободу моему пленному сопутнику.

Она довольно долго опять молчала, потом сказав, «Жди меня здесь!», быстро убежала.

Я не успел еще обдумать плана к своему освобождению, как Неонилла возвратилась и, отворив мою келью, вскричала:

— Поднимайся на ноги и выходи в спальню. Она заперта изнутри, и не ворвется никто незваный.

Я исполнил ее приказание. Не быв никогда днем в сем очаровательном месте, я начал теперь оное рассматривать и нашел прелестным. Кровать, вместилище прелестей и утех, по убранству своему доказывала богатство Истукария и вкус его дочери; вдруг сия последняя предстала, и — к удивлению моему — с двумя связками платья.

— Вот тебе,— сказала она поспешно,— полная малороссийская пара отца моего: одевайся; а я надену сию польскую моего брата.

С сими словами начала она приводить в порядок свою будущую одежду и вскоре, сказав: «Одевайся, времени терять ненадобно!», скрылась за кровать свою. Когда я, повинуясь решительному приказанию Неониллы, переоделся, то и она явилась также не в своем виде.

— Неужели ты, милый друг,— говорила она,— мог подумать, что я, в моих летах, с моим нравом, соглашусь быть женою дряхлого карлы? Избави меня всевышний от сего несчастия! Мне такой муж надобен, как ты. Слава богу, у меня теперь более денег, нежели сколько надобно, чтоб доехать до Киева. Тамошний воевода давно

меня знает. Посредством сего вельможного пана я надеюсь выхлопотать следующую мне вдовью часть из имения покойного мужа, а ее достаточно будет, дабы содержать себя пристойно, пока судьба не соединит меня с таким мужем, какой собственно мне понравится, а не родне моей. В сем доме только и есть двое мужчин: Влас и брат его Вукол. Последний всякий день с утра до ночи со стадами в поле; а чтоб удалить и другого, то я, пользуясь данною мне свободою, подарила ему несколько злотых, завещав пропить их и проесть в корчме жида, где ты с ним познакомился. Я Власа знаю и уверена, что он до ночи не возвратится, а чтоб которая-либо из здешних женщин нас не обеспокоила, то я всех их заняла урочною работою.

Когда переодевание и вооружение кончилось, то мне вошла в голову предорогая мысль. Я сел за письменный столик и написал к Истукарию письмо, которое Неонилла хотела прочесть, но я в том отказал ей.

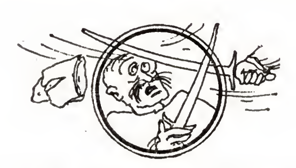
— Любезная,— говорил я,— эта записка к твоему отцу и, признаюсь, не очень учтивая. Мое дело — другое, я не сын его; но тебе, согласись, не очень прилично читать шутки над родными, а особливо в таком случае, каков теперешний.

Неонила охотно согласилась, и письмо положено на стол нечитаное.

Мы уже готовились выйти, как сопутница моя, вдруг остановясь, сказала:

— Мы забыли самое важное. Платья Королева и денег он, наверное, не тронет, но оружие отнимет, да и должен это сделать при таком случае; возьмем и для него саблю, кинжал и пару пистолетов.

Я выбрал сие оружие, и мы вышли из дверей.



Глава IV Беспокойная ночь

Нам необходимо должно было проходить всем двором, чтобы добраться до юдоли, где Короля заключили. Все женщины нас увидели и тотчас узнали Неониллу. Они крестились, видя сие превращение, и не иначе сочли ее,

как оборотнем, а меня — самым злым чародеем; также пугало их, что не видят Власа, который считался во всем доме человеком нетрусливым, а посему заключили, что и он, бедный, превращен в какую-нибудь мышь и спрятался под пол.

Я и Неонилла, достигнув овина, без труда отбили двери и вошли. Король ходил взад и вперед большими шагами. Увидя меня, он подбежал, обнял и спросил:

— Как, Неон! неужели и ты в плен попался?

— Напротив,— отвечал я,— мы пришли освободить тебя из плена. Вооружись (он и действительно был обезоружен) и ступай с нами; дорогой узнаешь больше.

Король был неленив: он препоясал меч-кладенец, заткнул за пояс кинжал и пистолеты (которые, впрочем, как и наши, были пусты, ибо во всем доме не нашли ни свинца, ни пороха), и мы все трое быстрыми стопами вышли из господского дома, а вскоре и из хутора и пустились по дороге к Пирятину.

— Чтобы нам не чувствовать усталости,— говорил я,— то любезный друг Король потрудится рассказать случай, по коему попался в полон.

— С охотою,— отвечал он и начал так:—Расставшись вчера с Мемноном и милым его семейством и получив все, что нужно к совершению предназначенного пути, то есть деньги и коня, я ночевал недалеко от Переяславля, а сегодня продолжал путь по дороге к селу Глупцову, где ты по условию должен был меня дожидаться. На половине дороги наехав на корчму, я вздумал позавтракать и кормить своего гнедого; почему, вручив его служителю, сам вошел в хату и велел изжарить дюжину перепелок. В скором времени в ту же комнату явился казак и, осмотрев меня внимательно, учтиво поклонился; я отвечал ему тем же. Когда принесен был завтрак и я принялся за него со вкусом мореходца, то пришлец сказал: «Ты соблазнил меня, пойду и себе заказать такое же блюдо!» Спустя немного времени по выходе он возвратился и, сидя подле меня, внимательно рассматривал мое вооружение. «Твоя сабля,— говорил он,— судя даже по ножнам и ефесу, должна быть хорошей доброты».— «Ты отгадал!» — «А пистолеты?» — «Не худой!» — «Я страстный охотник до хорошего оружия,— продолжал он с жаром,— и, не хвастая, скажу, что знаток в оном. Позволь мне посмотреть и полюбоваться!»

Говорится же: «И на мудреца бывает довольно простоты». Я, вынув из ножен саблю и из-за пояса пистолеты, ему отдал, а сам продолжал управляться с перепелками. Незнакомец подошел к окну, осматривал с видом удивления, делал разные пробы и, потихоньку приближаясь к дверям, мгновенно скрылся. Я оторопел и не знал, что об этом думать. Вдруг двери быстро открываются, и — представь мое удивление — я вижу врага моего, проклятого Истукария.

Тут я толкнул его в бок.

— Что ты толкаешься?— спросил Король и продолжал: — Вижу врага моего, проклятого Истукария, входящего с великою яростью в сопровождении двух казаков, из коих в одном узнал я похитившего мое вооружение и тотчас догадался, хотя и поздно, что они — его слуги и чего я ожидать должен. Истукарий, уподобляясь бесхвостому и комолому бесу, подбежав ко мне, возопил: «Наконец я поймал тебя, бездельник! Как осмелился ты ввести в почтенный дом злодея Неона, который обольстил дочь мою Неониллу, нещадно побил сына моего Епафраса!» — «Лжешь ты, старый дуралей,— сказал я равнодушно,— твоя Неонилла...»

Тут я в другой раз толкнул его сильнее прежнего.

— Да что ты опять толкаешься? — спросил Король и продолжал: — «...твоя Неонилла обольстила Неона, а сквернавец сын твой Епафрас побит за то, что осмелился с дурным намерением залезть ночью в чужой огород. Стыдись, подлец!» — «Праведное небо, что я слышу и от кого!» — вскричал Истукарий и, подскочив ко мне, изрядно грянул по макуше. Я также приподнялся, запустил правую руку ему в чуб, и — по крайней мере третья часть оного полетела на воздух. Тут началось истинное побоище. Ты поверишь, надеюсь, что я сражался храбро; но где же одному медведю управиться с тремя волками? Меня сбили с ног, связали, выволокли на двор, взвалили на корчмареву телегу и повезли. Прибыв таким образом в хутор мошенника Истукария, меня внесли в овин, развязали и заперли. Вот тебе и повесть о моем плене; теперь твоя очередь рассказать, каким образом очутился ты в дьявольском доме и с помощию сего молодого человека освободил меня.

— Не премину сего сделать,— отвечал я,— но как уже полдень и обеденная пора приблизилась, то о сем важном деле надобно прежде всего подумать. Я вижу там

в стороне от дороги нечто похожее на хату; вероятно, это корчма. Мы поедим, отдохнем, и я расскажу тебе — с позволения сего молодца — повесть о случае, приведшем меня в дом друга нашего Истукария.

Сопутники мои согласны были на сие предложение, и все пустились к усмотренному убежищу, но на деле вышло, что оно было гораздо отдаленнее, чем нам казалось. Однако ж мы дошли и, к немалому неудовольствию, увидели, что это не корчма, а пустая хата, которая, как казалось, служила в случае нужды пристанищем дровосекам.

— Что ж будем делать? — сказал Король с досадою,— пойдем далее. Жаль, что, издали глядя на сию хату, мы соблазнились. Но это почти всегда случается с теми, которые, смотря на вещи издали, заключают о их доброте.

После сих слов мы пустились вперед.

— До Пирятина лошадей не найдем,— говорил Король,— итак, Неон, в другой раз не оплошаем. В первой корчме заведемся сумою и будем всегда иметь в ней дорожный запас, дабы не ложиться спать без обеда.

Идучи далее и разговаривая о всякой всячине, мы неприметным образом дошли до необозримого дремучего леса, облегающего пройденную нами долину целым полукругом.

— Куда занес нас лукавый?— ворчал Король.— Тут не скоро доберешься до какого-нибудь ночлега. Не лучше ли возвратиться назад и воспользоваться по крайней мере приютом в оставленной нами пустой хате? Теперешние обстоятельства, столько смутные в отношении к общему спокойствию, породили многие шайки разбойников, которые — как нам с тобою, Неон, и на опыте известно — под многоразличными видами производят грабительства всякого рода. Солнце клонится к закату. Кто скажет нам, куда выберемся в лесу сем? Немудрено напасть на другого Урпассиана, который не будет доволен нашими деньгами и одеждою. Пойдемте назад,— я лучше ничего не придумаю, хотя бы думал до самой глубокой ночи.

— Ах! я не в силах,— сказала Неонилла томным голосом,— сегодня ни одна кроха хлеба не была во рте моем. Я не могу идти далее.

— Стыдись, молодой человек,— сказал Король довольно сурово.— Когда я, старик, у коего поизломаны кости во многих сражениях, который в течение жизни сво-

ей прошел столько тысяч верст, и я решаюсь для общей безопасности пройти еще часа два, три, а ты...

Неонилла вздохнула, потупила глаза в землю и оперлась на плечо мое. Ах! как показалась она мне тогда прекрасною! Где прежний огонь, в глазах блиставший, где пленительная улыбка ее, где розы, алевшие на щеках ее? При всем том она была не менее прелестна!

— Король! — сказал я, распрямя усы и раздувши ноздри,— перестань упрекать молодого друга моего слабостию! без его решительности, без необыкновенной бодрости ты долго бы насиделся в овине, а по времени изрядно был бы потчеван арапниками. Ты видишь перед собою Неониллу.

Король изменился в лице и отскочил назад. Потом, собравшись с духом, подошел к застыдившейся красавице, обнял ее и, поцеловав в лоб, сказал:

— Прости меня, молодая женщина, что я, рассказывая случай, затащивший меня в овин отца твоего, не очень почтительно говорил о нем. Хотя я никогда не одобрю сего твоего поступка, потому что он по всем отношениям безрассуден; но, помня оказанную тобою услугу, готов и тебе служить верою и правдою. Знаю, что целый день провести в дороге не евши и для крепкого воина довольно тягостно, каково же должно быть для нежной женщины, с самого младенчества привыкшей ко всем удобностям жизни. Скажите же, однако, что будем делать?

Меж тем как мы, стоя на одном месте, рассуждали, на что решиться в таких сомнительных обстоятельствах, солнце закатилось, и настали сумерки.

Вдруг невдалеке раздался громкий свист, и у меня колени задрожали; вскоре послышался свист с другой стороны, и Неонилла, с судорожным движением схватив меня за руку, произнесла со стоном: «Разбойники».

— Немудрено,— сказал Король, закручивая усы.— Неон! — продолжал сей друг, обратясь ко мне,— ты еще нов в деле ратном, и я не осужу, если при первой стычке сердце в груди твой затрепещет. Но припомни, что в жилах твоих обращается кровь благородного, воинственного моего друга. Если дело дойдет до драки, ты смотри на меня, как на пример тебе. Знай, что и я был некогда старшиною в войсках малороссийских, был во многих битвах, получал раны тяжелые, но никогда ни у кого не просил пощады, никому не отдавал сабли своей.

Едва проговорил он слова сии, как показались из леса два казака при саблях. Увидя нас, они остановились, взглянули один на другого, смигнулись и подошли к нам шагов на десять.

— Что вы за люди?— спросил один.

— Мы можем такой же вопрос вам сделать,— отвечал Король хладнокровно.

— Хорошо! Мы — лесные смотрители!

— А мы — прохожие.

— Но прохожие должны ходить по дорогам, а не прямиком. Сколько перетоптано травы!

— Что ей сделалось?

— Нет, такой ответ недружеский. Надобно заплатить убыток!

— А сколько следует денег?

— Сколько у вас есть, все без изъятия, да, сверх того, в придачу уступить нам свою одежду и все оружие.

— Вы ошалели?

— Так вы на предложение наше не согласны?

— Нашли дураков!

— Еще повторяю!

— Хоть до завтрева.

— В последний раз!

— Хоть осипни.

Тут вопроситель свистнул посвистом Соловья-разбойника. Король с быстротою молнии исторгает саблю, кидается на противника и повергает его к ногам своим; я, приметя первое его движение и ему последуя, устремился на другого и рассек ему голову, хотя он и успел было обнажить саблю. Дабы не оставить никакого сомнения, мы повторили свои удары. Король, сняв шапку, пал на колени, перекрестился и произнес с умилением:

— Слава тебе, господи!— Вставши и оборотясь ко мне, сказал:— Спасибо, Неон! из тебя со временем человек будет; дай руку!

Оборотясь назад, мы ахнули: Неонилла без чувств на траве лежала.

— Милосердое небо! — вскричал я, бросился к ней и упал на колени.

— Вот видишь, молодой человек,— говорил Король с душевным огорчением,— до чего первая безрассудность довести может! Произнесенный падшим разбойником свист не будет тщетен; может быть, через минуту или две мы будем окружены целою толпою им подобных.

Если б мы были одни, то, наверное, спаслись бы в лесу, а теперь?

Не отвечая ему ни слова,— скорбь, сожаление, отчаяние оковали язык мой,— я схватил Неониллу в объятия, положил на плечо и пошел скорыми шагами подле самого леса, осматривая, сколько ночная пора то позволяла, не сыщу ли места, где можно бы с безопасностию скрыться до восхода солнечного. Король в молчании следовал за мною, поддерживая опустившуюся голову бесчувственной. Я прошел шагов с пятьсот и начал ослабевать под своим бременем, колебался и наконец пал на колени. Король сказал:

— Подай ее мне!

Он переменил меня, и мы продолжали путь, но, к несчастию, ничего не видали, кроме сосновых, осиновых и дубовых дерев, не могших служить нам надежным убежищем. Наконец, к великой радости, достигли мы пространного участка земли, поросшего самым густым орешником, окруженным калиновыми кустами. Я раздвигал сию подвижную стену, а Король следовал за мною. Когда мы прошли саженей десять и притом увидели род маленькой лужайки, то остановились, сложили на траву свое бремя и сами уселись. Король хранил глубокое молчание, а я, признаюсь в слабости, я плакал неутешно. Не зная, что делать с нашею бесчувственною, мы придумали следующее: Король качал ее легонько с боку на бок, а я тер виски и ладони. Природа ли подействовала или наше врачевство было сильно, только Неонилла вздохнула, открыла глаза и спросила томным голосом:

— Боже мой! где я?

Я не мог удержаться, чтобы не обнять ее с нежностию и не запечатлеть страстного поцелуя на холодных губах ее.

— Ты с своими друзьями,— отвечал я,— и, кажется, в безопасном месте. Утешься, милая Неонилла! От главной опасности милосердый бог нас избавил; будем же надеяться, что он, по благости своей, избавит и от дальнейших.

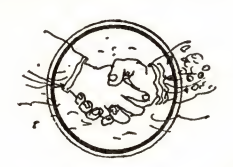
— Ах! — говорила она,— когда я сегодня поутру оставляла дом отеческий, то думала ли видеть столько ужасов? Неужели я, уклоняясь от исполнения жестокой воли несправедливого отца, хотевшего сделать меня на всю жизнь несчастною, неужели я прогневила тем небо и навлекла на себя его мщение? Неужели я виновата, если

явилась в мире с таким сердцем, с таким нравом, что терпеть не могу старика, который захотел бы сделаться моим мужем?

Она вздохнула и замолчала; мы с Королем также молчали. Горестное состояние!

Начала показываться заря на восточном небе, и я, по совету Короля, легонько выбрался из своего убежища с тем намерением, чтобы осмотреть наше местоположение и поискать надежнейших способов выйти из сего проклятого лабиринта. Когда я, озираясь направо и налево, осматривал все окрестности, к великому удовольствию моему, увидел огромную лесную яблоню, обремененную зрелыми плодами. С какою жадностию я начал насыщаться и наполнять карманы, и как скоро сделался сыт и нагрузился запасом изобильно, то с неописанным торжеством продрался к бедным моим сопутникам и предложил им свою скудную трапезу. Ах! за день перед сим с каким бы презрением отвержена была пища сия, и особливо нежною Неониллою, и с каким восторгом теперь принята всеми. Я сел подле своей любезной и выбирал для нее самые спелые плоды, а в награду за то получал нежную улыбку и признательный взор.

Когда, таким образом, все подкрепили силы свои, то, принесши господу богу благодарение и испрося содействие его на дальнейшее путешествие, мы вышли из своей засады и наудачу пустились в левую сторону краем леса.



Глава V Старые знакомцы

Мы не прошли и четверти версты, как увидели идущих прямо на нас человек около двадцати, одетых, как вчерашние лесные надзиратели, и вооруженных весьма исправно.

— Ну,— сказал Король,— теперь всякое сопротивление тщетно! Предоставьте все мне и ни во что не мешайтесь!

Неонилла опять прижалась ко мне и вздыхала.

— Ах, Неон! — шептала она,— как небо жестоко наказывает за непозволительные удовольствия!

Мы сошлись с лесными рыцарями и поздоровались. Одетый несколько поотличнее других весьма учтиво спросил, каким образом так рано очутились мы в сем месте и куда шествуем?

— Мы в сем лесу и ночевали,— отвечал Король,— дабы рано поутру удовлетворить желанию видеться с начальником некоторых храбрых людей, которые, по общим слухам, в летнее время здесь занимаются охотою.

— А на что надобен вам начальник сих охотников? — спросил предводитель.

— Это одному только ему знать должно,— отвечал Король.

— Однако ж посторонним людям видеть его не только затруднительно, но даже едва ли и возможно.

— Мы настоятельно сего требуем, и если не исполнено будет наше желание, то не быть бы в опале тому, кто нам в сем попрепятствует.

— Да какое вы имеете до него дело?

— Я сказал уже, что он один о том знать может.

— Так и быть. Мы исполним ваше требование и проводим к своему начальнику; но вы будете идти не иначе, как с завязанными глазами: сего требует непременный устав нашего общества!

Король, подумав несколько, согласился на предложение; нам всем троим завязали глаза, и мы пустились с провожатыми, ведшими нас под руки. Я не дозволил никому из злодеев прикасаться к робкой Неонилле, а, подав одну руку проводнику, другою вел и поддерживал свою любезную. Дорогою спросил у Короля по-латыни:

— Диомид! какое твое намерение? Мы совершенно предаем себя в руки извергов!

— Это я и без тебя знаю,— отвечал он,— но я всегда был той веры, что с одним начальником-злодеем, каков бы он ни был, гораздо легче поладить, чем с десятью подвластными злодеями. Если уже несчастная судьба попутала нас на пути сем, то почему не пожертвовать деньгами, только бы сохранить жизнь. Более всего не должно забыть, что в покровительство наше отдалась женщина благородная, и мы обязаны не щадить жизни своей для спасения ее жизни и чести. Хотя в строгом смысле, конечно, нельзя назвать ее благородною, потому что преступила пределы добродетели; но опять большая разница, если я имение свое отдаю кому хочу, или если меня принуждают отдать оное тому, кто мне ненавистен.

Во время разговора моего с Королем Неонилла, держа меня за руку и крепко пожимая, время от времени вздыхала тяжелее, и наконец вздохи ее превратились в стоны. Для ободрений робкой милой подруги я старался идти сколько можно отважнее и, выступая с щегольскими ухватками, говорил ей на ухо по-польски: «Любовь не знает опасности».

После ходьбы, более часа продолжавшейся, нас остановили, развязали глаза, и мы увидели себя внутри небольшой палатки.

— Господа! — сказал наш путеводитель,— побудьте здесь, а я пойду доложить о вас нашему начальнику; между тем у меня позавтракайте, и мои люди будут вам, как самому мне, прислуживать.

Король представлял лицо самого веселого и сговорчивого человека. Он охотно согласился на предложение, и мы принялись за завтрак, который после слишком постного яблонного ужина показался весьма вкусным. Король и я добрым порядком осушали чарки с вишневкою и другими наливками; даже Неониллу принудили мы отведать сего живительного эликсира. Словом, угощение было так хорошо, как бы в городской корчме.

Наконец наш хозяин, вошед, объявил, что можем допущены быть к их самовластителю. Мы пошли за ним и увидели прекрасную равнину, окруженную дремучим лесом. На восточной стороне стоял большой шатер; в некотором отдалении от него несколько других, но поменьше. На сторонах западной и южной видны были маленькие шалашики, сделанные из древесных ветвей. Мы введены в шатер атамана. Он разделялся красною крашенинною занавесью на две половины. От проводника своего мы узнали, что та, в коей тогда находились, служила приемною, столовою и для общих собраний; другая же гораздо меньшая, была опочивальня, где также держали тайные советы. Атаман заставил нас ожидать себя более получаса, вероятно для того, чтобы, придав себе более важности, увеличить нашу робость; или, может быть, и в самом деле ему было недосужно, ибо держал тайный совет с первым своим есаулом. Наконец полы занавеси распахнулись, и скорыми шагами вышел к нам высокий, дородный, смуглый мужчина. Глаза его блистали — по крайней мере мне так показалось — мрачным, убийственным огнем; усы его простирались до ушей. За ним следовал пожилой мужчина среднего ро-

ста, лицо коего показалось мне несколько знакомо. Атаман, подошед к нам с важностию князя, рассматривал внимательно каждого порознь, зато и мы не оставили его без внимания. Чем более соображал я все черты лица его, рост, взор, тем казалось мне достовернее, что сей великий атаман разбойничий есть не иной кто, как философ переяславской бурсы — Сарвил.

Атаман, осмотрев нас достаточно, спросил:

— Кто вы, господа? откуда? чем себя содержите? по каким причинам пожелали его видеть?

Услыша его голос, я совершенно удостоверился, что это Сарвил; почему, приняв веселый вид, сказал:

— Прежде нежели что-нибудь отвечать станем на вопросы великого атамана, позволь обнять в тебе славного философа Сарвила! Узнаешь ли во мне верного послушника твоего Неона Хлопотинского?

Он сперва изумился, бросил на меня быстрый испытующий взор, потом ласково улыбнулся и, обняв по-братски, сказал:

— Добро пожаловать, однокашник! Кто бы мог узнать? Так вырос, возмужал! Скажи же, какими судьбами ты забрел сюда?

— Я удовольствую справедливое твое желание,— сказал я,— но позволь прежде рекомендовать общего нашего приятеля Диомида Короля, огороду коего довольно от нас доставалось!

— Как! это он! — вскричал атаман засмеявшись.— Обнимемся, старик! Как же он принарядился! Право, я теперь столь живо припоминаю прошедшие случаи, что мне мечтается, будто все еще богословствую в проклятой бурсе! И этот молодой человек не был ли также знаком мне прежде?

— Никак,— отвечал я,— и я признаюсь тебе, Сарвил, с прежнею доверенностию, что этот молодой человек есть жена моя и для некоторых важных причин носит не свое платье.

— Благодарю за доверенность,— сказал Сарвил,— хотя, впрочем, она для меня и не необходима. Конечно, я не мог знать, что сей молодец есть жена твоя, но с первого взгляда не скрылись от глаз моих проткнутые уши и спрятанные под платьем длинные волосы. Есаул Ариан! прикажи набрать стол.

— Мы уже завтракали в его палатке,— сказал я.

— Не мешает,— отвечал он,— после завтрака у есаула можно посидеть за столом у атамана.

Есаул вышел.

Король, приняв веселый вид, подошел к другому есаулу и, обнимая его, с комическою нежностию сказал:

— Почтенный друг Урпассиан! позволь поблагодарить за угощение! Ты недавно так был скромен, что лишил нас сего удовольствия.

— Как! — вскричал Сарвил, захохотав во все горло,— так это были вы, которых полюбил он за великодушный поступок, оказанный израненному казаку? Можно ли было это подумать! — Он продолжал хохотать.

Урпассиан, хотя и его атаман приглашал к завтраку, отговорился, представляя, что он, перехватя в своей палатке на скорую руку, должен сделать известные распоряжения во вверенной ему роте. Он удалился, стол приготовлен, и мы четверо уселись. Сначала Сарвил ел как голодный бурсак, приглашенный к столу зажиточного гражданина; после кушал с перемежкою, пил наливки и нас усердно потчевал. В это время много шутили насчет прежней жизни. Говорено было о Королевом огороде, а особливо не позабыто чудное приключение в саду благочестивых стариц.

— Ты изрядно подшутил тогда надо мною, Неон,— сказал весело Сарвил,— и если бы в то время попался мне, как из монастыря выгнали шелепами, то действительно быть бы тебе без пучка; но теперь за то искренно благодарю. Если бы я не был выгнан, то теперь бы где-нибудь в бедном селении дьяконствовал, а много-много что поповствовал; а вместо того теперь я живу достаточнее всякого архимандрита.

— Но так же ли покойно? — спросил Король, наливая чару.

— Почему же и не так? — возразил Сарвил,— в жизни нашей, конечно, много опасностей, но зато не мало и удовольствия; в монастырской жизни нет никаких опасностей, зато вечная скука.

— Итак, ты не намерен переменять образа теперешней жизни? — спросил Король.

— Не думаю! — отвечал Сарвил.

Стол кончился, и мы встали.

— Я надеюсь,— сказал Король с видом искреннего доверия,— что Сарвил, как человек честный и ученый, не

сделает нам притеснения и, по старинному знакомству, прикажет проводить на большую дорогу.

— С великою охотою,— отвечал Сарвил,— но теперь еще довольно рано, и мне хотелось бы рассказать вам случаи моей жизни и каким образом я из философа сделался великим разбойником.

Хотя было бы нам гораздо приятнее убраться как можно скорее из сего опасного места, однако отказом опасались оскорбить атамана, почему с веселым видом изъявили желание слушать его рассказы, и он начал:

— Вам обоим известно, когда и за что выгнан я из семинарии шелепами. Выбежав за монастырские ворота, быстрыми шагами шел я сколько можно далее, не оглядываясь. Пришед на паперть церкви преподобного Вавилы, я сел и задумался. «Что буду делать? — говорил я сам себе.— У меня нет ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Куда приклоню бедную свою голову? Данных мне, по милости добродушного отца Герасима, пяти хлебов и нескольких плодов ненадолго станет. Я мог бы, конечно, и один распевать под окнами, но не смею; ибо если в ремесле сем поймают меня прежние товарищи, то накажут жесточее, чем правительство наказывает за кормчество; просить милостыни — стыдно!»

Начали звонить к обедням. Хотя никто еще из прихожан не успел узнать о моем посрамлении, но мне казалось, что оно написано на лбу моем; почему, отошед в уголок, сел подгорюнившись. В сем углу обыкновенно становились нищие. Я намерен был отслушать обедню и попросить у бога благословления на дальнейшие пути жизни моей. Я исполнил свое обещание и молился усердно. Когда обедня кончилась и почти все богомольцы разошлись, я вздумал удалиться в какое-нибудь уединенное место, пообедать и подумать о ночлеге. Поднимаю кису: ба! совсем не моя! Заглядываю внутрь и вижу три ломтя черного хлеба и несколько луковиц. Одурь взяла меня, и слезы на глазах показались. Вместо прекрасных монастырских хлебов и садовых плодов грызть корки засохшие, подобно крысе, конечно, больно. Я бросил нищенскую торбу с презрением на землю и вышел за церковную ограду. Бродя из улицы в улицу, с одного базара на другой, видя везде красные щеки, толстые чрева и чувствуя голод, какой только может чувствовать человек в двадцать пять лет, я в первый раз ощутил ненависть к человечеству и поклялся жить впредь на счет его каки-

ми бы то ни было способами. Наконец солнце закатилось, и густые пары меня окружили. Вы припомните, что это было около половины августа месяца. Однако ж голод не безделица, и ложиться спать не поевши самое дурное дело, почему и решился я идти на прежнюю паперть и поесть своих корок с луком. Прихожу, ищу своей торбы, но не тут-то было. Это меня не столько уже поразило. Я зарылся в густой бурьян, росший у забора, сотворил молитву и улегся.

Хотя в ночь сию никто не прерывал сна моего, но он был легок, как у птицы, и прерывист, как у преступника. Звон к заутреням разбудил меня. Я выполз из бурьяна и вошел в церковь помолиться. Еще никого не было, кроме пономаря, засвечавшего лампады. Мне случилось стать у тарелки, на коей лежали деньги, принесенные правоверными в дар господу. Лукавый как раз предстал ко мне, шепча на ухо: «Глупец! Почему ты не пользуешься? Не упускай случая, какого, вероятно, не скоро найти можешь!»

Так шептал мне бес, и я послушался льстивого гласа его. Пользуясь случаем, что пономарь ушел в придел, я опустил обе руки в тарелку, захватил по полной горсти денег и, смиренно вышед из церкви, спрятал в карманы. Сошед с паперти, я бросился бежать со всех ног. Колени подгибались, в ушах звенело, в глазах мерещилось; мне казалось, что преподобный Вавила гонится за мною. Таково мучит совесть при соделании первого преступления; при втором разе она вопиет менее внятно, при третьем еще менее, а там мало-помалу совсем замолкает.

Глава VI **Ярмарочный приятель**

Пришед на самый дальний базар, я купил булок, меду и слив. Это было в конце успенского поста, как вам и прежде сказано. У ближней шинкарки я выпил добрую меру пенику и, уединясь в бурьян, начал насыщаться. Мед показался мне весьма горек; почему я, уложа его и булки на листок лопушника, побежал опять к шинкарке и потребовал мерку полынной водки, дабы одною горечью

отбить другую. И действительно, после сего опыта мед показался мне сладок. Насытившись, начал я считать казну свою. Высыпав из карманов деньги, я счел около двадцати злотых как серебряною, так и медною монетою. Какая бездна денег!

После сего я шатался по городу где ни попало. Заходил к разным шинкарям и шинкаркам, покупал на базарах вареных рыбу и раков и, словом, так пиршествовал, как никогда в бурсе. На дворе сделалось темно, и тут-то я вспомнил о ночлеге, ибо в другой раз спать в бурьяне мне уже не нравилось. Думая да гадая, где бы приклонить голову, я вспомнил, что в Переяславле нет ни одной души мне знакомее, как шинкарки Мастридии, и я надеялся, что она дозволит мне [остаться] хотя на чердаке. С сими мыслями побрел к дородной вакханке.

Приказав подать полкварты вишневки, я начал точить лясы и рассказывать всякие были и небылицы. Как ни красноречиво разглагольствовал, однако время было ночное, и посетители, подобные мне, все разошлись. «Пора и тебе уйти, Сарвил,— сказала Мастридия,— приходи завтра досказать свои повести!» — «Никак! — отвечал я,— надо же допить вишневку, а там и повесть кончится». Таким образом продолжал я помаленьку пить и врать, а между тем родились у меня в уме кое-какие замыслы.

Говорить много нечего. Поутру отведен мне маленький чуланчик и приготовлена войлочная постель, каковой у меня отроду не бывало. Я начал хозяйничать, когда мне того хотелось, то есть отбирал деньги у питухов и частию отдавал хозяйке, частию клал в свой карман. Податливая Мастридия одела меня с ног до головы в новое платье, ел я сытно, пил со вкусом, чего ж больше надобно? При наступлении зимы сделан жупан на овечьем меху, дабы я мог удовлетворить охоте своей шататься по городу; словом, ничего не упущено, чтоб доставить мне жизнь довольную, веселую. Там прожил я до самого мая месяца другого года и в это время должен был оставить такую жизнь. Отчего же? В шинок наш начал учащать один черноморец, настоящий гигант Енцелад. Когда он шел, то земля стенала; а когда, бывало, наполнясь хлебной эссенции, всхрапнет, облокотясь на стол, то стены дрожали и звенели окна. Самых бесстрашных одним помаванием усов приводил в трепет, подобно древнему Юпитеру, колебавшему всю природу движением бровей своих. День ото дня посещал он шинок наш чаще,

и день ото дня Мастридия делалась к нему благосклоннее.

В один вечер черноморец, празднуя победу свою над турецким наездником, который вызвал на поединок двадцать человек, заказал домашний банкет, на коем я и Мастридия были первые гости. Съедено и выпито не мало, и веселье было не хуже свадебного. Проснувшись поутру, я удивился, видя, что лежу в чулане на войлоке и — один.

Первое ощущение мое было — бешенство, второе — мщение. Ярость обуяла меня; но вдруг представился мне стол, покрытый сулеями, бутылками и разной меры флягами с различными напитками. Выпив две чары запеканной водки, я одумался. «Что хочу делать? — мыслил я.— Почему знаю, что и я в известное время не сделал бы кому-нибудь такого же подрыва, какой мне теперь делает черноморец? Да и что пользы от их смерти? Одна беда, и беда не малая!»

Видя, что две чарки запеканной столько придали мне ума и великодушия, я осушил еще две, дабы сделаться и того умнее и великодушнее. Последствие оправдало мою догадку. Я нашел топор, взял его в руки и пошел в каморку, где, разломав сундук, пересыпал из кошельков золотые и серебряные деньги в свои карманы, и вышел из дому, а там и из города, направя путь по дороге к городу Пирятину.

Идучи до самого вечера, я не чувствовал усталости, подкрепляя силы пищею и питием в попадавшихся мне шинках. Пришед в село Швитково, верстах в тридцати от Переяславля, я не остановился бы на ночь, если бы не соблазнила меня случившаяся там ярмарка. Осведомясь тщательно, где продают тютюн и вино, я скоро нашел и то и другое. Запасшись сими дарами природы и искусства, а сверх того, кое-чем и для ужина, я избрал местом ночлега пустой, кинутый огород, поросший превысоким бурьяном. Я забрался туда со своим запасом, поужинал как нельзя лучше и, пожелав Мастридии и сию ночь провести столько же приятно, как прошедшую, я растянулся и захрапел.

Крик, шум и гомон разбудили меня с восшествием солнца, а сие значило, что ярмарка опять открыта и торгаши выставили свои товары. Я прошел рядом и не мог налюбоваться великолепием, мною доселе не виданным; ибо хотя и в Переяславле бывают ярмарки, но бурса-

кам строго запрещено посещать оные. Всего охотнее искал я глазами вчерашнего шатра, где так весело провел вечер. Сейчас я нашел его и принялся за пиршество. Но как и веселиться одному довольно скучно, а особливо человеку с моим нравом и привычками, то я в сей же раз свел тесную дружбу с Арефою, дьячком из села Хитрова, который показался мне не последним весельчаком. Я с немалым удовольствием потчевал его блинами и пирогами, вином и наливками, а он еще с большим повествовал мне разные небывальщины. Проводя так день за днем, я прожил тут три дни, время от времени крепче прилепляясь к моему искреннему другу дьячку Арефе, от которого даже не скрыл, что у меня в карманах есть до пятисот злотых, следовательно, он может без зазрения совести на мой счет веселиться.

В сумерки третьего дня дьячок Арефа сказал: «Любезный друг Сарвил! я так доволен твоим потчеваньем, что хочу и сам угостить тебя. У знакомой мне шинкарки Дросиды, очень близко от спальни твоей, в пустом огороде, заказал я сытный ужин, который прошу разделить со мною. В напитках недостатка не будет». Я охотно склонился на дружеское предложение, и мы отправились в шинок. И действительно, друг мой Арефа говорил правду. Я очень доволен был его ужином, а и того более напитками. Мы бражничали до полночи и должны были выйти насильно, ибо Дросида совсем не походила на Мастридию. Посему друг Арефа, из угождения мне, согласился провести ночь в бурьяне вместе со мною. «Куда как люблю я,— говорил он,— после доброго ужина уснуть в летнюю пору под открытым небом! Здесь же и то еще угодье, что под боком шинок. Как скоро проснемся, то сейчас поздороваемся с Дросидою». Вследствие сего мы оба заползли в бурьян, растянулись и вскоре започивали.

Когда я проснулся и поднялся на ноги, то увидел, что солнце было около полудня. Друга Арефы подле меня не было. Я потащился к Дросиде и приказал подать что-нибудь позавтракать, а между тем, поставя подле себя сулею с запеканною, потчевал сам себя, пропуская чарку за чаркою. Когда сулея была высушена и поданная сковорода яичницы съедена, то я вздумал расплатиться и идти на ярмарку и поискать своего друга. Опускаю руку в карман — пусто; опускаю в другой — ни копейки; выворачиваю карманы — одна пыль и хлебные крошки по-

сыпались. Я делаю то же с шароварными карманами, и — следствие одно. Меня ударило в пот. Дросида, прилежно взиравшая на каждое мое движение, сперва покраснела, а после побледнела. Я смотрел на нее печально, она на меня и того печальнее. Известно, что шинкарки во всем свете красноречивы и храбры. Дросида, поправя очипок[1] и засуча рукава, подскочила ко мне, и топая ногами, закричала: «Как, злодей! ты только любишь веселиться на чужие деньги? Нет! этому не бывать! Что вчера ужинал на счет какого-то дьячка, так сегодня вздумал завтракать на мой счет? Нет! этому не бывать! Сейчас подай свой бриль!»

С сими словами она бросилась к столу и протянула руки; но я так ловко ударил ногою ей под ноги, что она со всего размаха стукнулась носом о скамейку, и кровь брызнула; я сделал ораторское движение рукой, и она полетела вверх ногами. Тогда, пользуясь обстоятельствами, я схватил бриль и давай бог ноги, а выскочив за порог дома, зацепил в обе руки по доброй сулее с разными водками. Добежав до конца улицы, я оглянулся. Дросида, стоя у порога, протягивала ко мне кулаки и болезненно вопила. Я бросился в другую улицу, а там в третью, где и пошел уже скорым шагом, поворотя окольною дорогою назад к месту ярмарки. Кто опишет мое удивление и ужас, когда я ничего не взвидел! Все разъехалось, разошлось, расползлось. «Стало быть, и тебя не сыщу,— вскричал я горестно,— о неверный друг Арефа! это все твое дело! Сохрани тебя ангел хранитель, когда мне попадешься! Сейчас иду в село Хитрово, отыщу церковь, где ты дьячествуешь. Куда я теперь сунусь? Что начну делать? Да будет проклята ярмарочная дружба!»

После сих слов напала на меня благородная решительность; я высуслил примерно чарки две запеканной, вышел из села Швиткова и дал волю ногам своим брести, куда они хотели. Я шел недалеко большой дороги, и, как в полдень порядком позавтракал, а за пазухою был в довольном количестве другого рода запас, то я не заботился о дальнейшем.

Я шел до глубоких сумерек, не видя никакого селения, а если бы и видел, то что пользы? У меня не было ни полушки, а не везде так дешево можно разделывать-

---

[1] Род чепчика, употребляемого мещанками. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

ся, как в селе Швиткове с шинкаркою Дросидою. Почему, забравшись в рожь, лег на борозде и, прежде облобызавшись с сулеею, уснул крепко.

Глава VII Прекрасная жидовка

Я разбужен был пением жаворонков. Лежа на спине и смотря на голубое небо, алевшее со стороны востока, слушая пение разных птичек, то порхающих, то летающих, то прыгающих по земле, я задумался. «Участь моя довольно горька,— говорил я вслух, ибо не опасался быть подслушанным,—но она несравненно отраднее, чем прежняя в бурсе, ибо я — свободен, как и эти птички. У меня есть еще сулея, полная водки; если б к сему послал всевышний ломоть хлеба, то чего мне более? У Мастридии, конечно, жил я в неге и довольстве, но зато не дешево платил за каждый кусок жаркого и чарку наливки».

Встав, вышел я на полянку, усыпанную цветами разного рода, под листками коих рделась спелая земляника. Не имея хлеба, я начал собирать ягоды. В это время очутился молодой человек в хорошем охотничьем платье, с котомкою за плечами. Он прицеливался в парящего в небе жаворонка. «Эй, не попадешь!» — сказал я. Он выстрелил и в самом деле не попал: однако ж неудача его не огорчила: он вторично зарядил ружье. «Государь ты мой! — сказал я, приближась к охотнику,— зачем терять заряды?» — «Разве ты лучше потрафить можешь?» — «Надеюсь!» — «Возьми ружье, посмотрим!»

Только лишь получил я в руки свои ружье, как родилась и мгновенно укоренилась мысль овладеть оным. Поставя сулею на землю (другая, яко бездушная, оставлена на борозде, где ночевал), я сказал: «Молодец! выкушай-ка сколько-нибудь из сего дорогого сосуда, ты, верно, устал». Он с охотой исполнил приглашение. Тогда я, отошед шагов на десять, прицелился в него и вскричал сердито: «Сейчас скинь и положи подле сулеи свою суму и пояс с зарядами, иначе я тебя убью!» Молодец мой оцепенел и не знал, что делать. Я вторично воззвал: «Исполни мое приказание и не дожидайся третьего возгласа,

или ты погибнешь!» Молча, трепещущими руками снял он с себя суму, отстегнул пояс, уложил и то и другое возле сулеи, поклонился низко и пошел по дороге к селу Швиткову, а я, с восторгом бросившись к суме, развязал и, к неописанной радости, нашел в ней жареную индейку и несколько белых булок.

Утолив голод, я пошел далее. Пока велся запас, то я мало заботился о будущем; но как скоро сума и сулея сделались пусты, то я весьма ясно почувствовал, что пока в карманах будет свистеть ветер, то и на желудке будет тошно, следовательно, так или сяк, а надобно добывать денег. Составя план к обогащению, в глубокие сумерки вступил я в богатое село Вороново, дошел до церкви и под крыльцом улегся, но во всю ночь не смыкал глаз. Немного за полночь, зная, что пономарь скоро появится с ключами, и помня, как удачно представлял я злого духа, пошел ко рву, окружавшему паперть, где после бывшего дождя стояло несколько воды. Я разделся донага и весь с головы до ног выпачкался грязью; после сего подвига, взяв с собою одну суму, а платье сложив у ограды, притаился у крыльца церковного. И действительно, пономарь не замедлил показаться с фонариком, бренча ключами. Как скоро он вступил в церковь и поставил фонарь на пол, я ворвался вслед за ним и закричал так неистово, что самому стало страшно. Пономарь, увидя страшилище, затрепетал, поколебался и пал на землю, бормоча невнятно молитву. Его же поясом я связал ему руки; потом, взяв ключи и фонарь, отыскал церковный сундук, отпер и начал наполнять суму злотыми и червонцами, что было весьма удобно, ибо золотые и серебряные деньги лежали отдельно от медных. Когда в сундуке не осталось ни одной монеты, я вышел из церкви, запер дверь и ключи закинул в бурьян. С трепетом — мне казалось, что в меня действительно вселился бес,— бросился к платью, вымылся наскоро в луже, оделся и пустился в поле.

Когда совсем рассвело, то я счел свою казну и нашел до тысячи злотых. Какое несметное богатство! Тут родилась мысль кинуть наружность дьячковскую и преобразиться в пана. На сей конец в первом селении, к коему я прибился, велел содержателю корчмы призвать бородобрея и лишился без всякой жалости толстого пучка, отращивание коего стоило мне великих трудов и долгого времени.

Чтобы денег своих не тратить даром, таскаясь по полям, лесам и селам, а проживать их прямо по-дворянски, то я решился идти немедленно в Пирятин и там себя показать и других посмотреть. До самого города не случилось со мною ничего достопамятного. По прибытии в оный я нанял уютный чуланчик в корчме жида Измаила и приложил первое попечение одеться как можно щеголеватее. В богатой черкеске, с подбритым затылком и усами, опоясанный саблею, начал я разгуливаться по городу. Я посещал базары, шинки и церкви, и что мне нравилось, за то платил щедрою рукою. В дни ненастные, оставаясь в корчме, беседовал с приходящими в оную утоплять в вине скорби душевные, или — если никого не было — с Измаилом, или женою его Сарою, или с дочерью их Сусанною, милою, прекрасною Сусанною. Она была по шестнадцатому году, и, признаюсь, я ничего прелестнее до сих пор не видывал. Когда ее не было в обществе, то я чувствовал какую-то пустоту в сердце: разговоры мои делались сухи, мысли рассеянны, все поступки принужденны; зато когда милая девушка являлась с шитьем (отец ее, между прочим, был женский портной и в сем мастерстве помогали ему жена и дочь), тогда глаза мои воспламенялись,— это я чувствовал,— щеки покрывались багряною краскою и язык делался гибче и поворотливее вьюна. Я рассказывал им о домовых, леших и оборотнях разного рода и о пакостях, какие строят они правоверным, об удальстве старинных наших витязей и о проказах злых духов и чародеев. Невинная Сусанна слушала с открытым ртом, с устремленными на меня взорами. Она дышала нежностию, и каждый взгляд ее сыпал пламенные стрелы в мое сердце. Я не на шутку влюбился и сделался мечтателем. Сусанна являлась мне во сне так ясно, отдельно, как бы наяву. Сонный был я отважнее, ибо, не обинуясь, объявил ей любовь свою, слышал о ее соответствии, пользовался ее нежностию и утопал в блаженстве; просыпаясь, тщетно ловил я прекрасную тень, призывал ее страстным голосом, простирал трепещущие руки: она отлетала так, как тень Евридики от певца Орфея, и никакие заклятия не могли возвратить ее.

Так прошло лето, так прошла осень и зима. Томления мои с каждым днем увеличивались, и, наконец, я сделался сумасбродом. При самой веселой беседе корчемных посетителей я сидел в углу подгорюнившись, как столетний инок; в другой раз, будучи один в своем чулане, подни-

мал хохот, заводил пение и скачку. Хозяева, зная, что я один, не раз покушались думать, что состою в связи с демонами и на досуге забавляюсь с ними.

Между тем казна моя приметно умалялась; итак, у меня завелись вдруг две заботы: первая — об удовлетворении страсти моей к Сусанне, а вторая — о наполнении мошны. Оставив последнюю статью без особенного внимания, я занялся первою. «Что, если я тайным образом, для одного вида, сделаюсь жидом,— думал я иногда,— и потребую у Измаила руки его дочери? Опасность очевидна! Об этом проведают, безмерность любви отнюдь не послужит оправданием, и я погиб невозвратно. Как бы Сусанну сделать христианкою? Родители ее ни за что в свете на сие не согласятся. Ах! какой злой дух наустил меня поселиться в корчме сей!»

В противоположном конце города жил золотых дел мастер жид Исаак, родной брат Сары, жены Измаиловой; у сего Исаака был сын Товий, малый лет двадцати, статен и пригож. Их обоих видал я иногда в корчме нашей, но не находил никакой надобности знакомиться. С самого начала апреля месяца сей Товий каждый день посещал своего дядю и приметно увивался около Сусанны со всею жидовскою нежностию. Сначала приписывал я сию вольность званию брата и нимало не беспокоился; но вскоре увидел нечто совсем другое. Сусанна охотно оставалась с ним наедине, охотно слушала его напевы и за поцелуи также охотно платила поцелуями, и это происходило иногда в присутствии родителей и даже посторонних. Я взбешен был до бесконечности и не знал, что думать о сей небывалой странности. Скоро сам Измаил вывел меня из мучительного недоумения. «В непродолжительном времени,— сказал он в один вечер,— ты, пан Сарвил, будешь веселиться у нас на свадьбе».— «На какой свадьбе?» — «Мы выдаем нашу Сусанну за брата ее Товия. Не правда ли, что настоящая пара?» Я так был ошеломлен, как бы кто молотом огрел меня по затылку. «Да!» — отвечал я улыбаясь; но целая буря ревела в сердце моем, и я насилу мог произнести это слово. Потом, сказав, что у меня заболела голова и что иду спать на сенник, оставил влюбленных с их семейством.

Я принадлежу к числу людей, которые, видя вдали грозящую им опасность, нимало о том не беспокоятся и не прежде начинают принимать какие-либо меры к отвращению оной, как увидят, что со всех сторон опутаны

уже сетями бедствия. Это, конечно, неблагоразумно; но что ж делать?

В течение почти целого года молчаливой любви моей я довольствовался взглядами, вздохами, а изредка двоесказательным словцом; теперь же, как скоро узнал, что и сих невинных знаков моей нежности делать уже не удастся, а более всего мысль, что Сусанна, милая, прекрасная Сусанна, будет принадлежать другому,— все сие ускорило мою деятельность, и я составил план к отвращению бури и удовлетворению пламенных желаний; посему в третий раз решился представить в лице своем злого духа. Дело происходило следующим образом.

Недалеко от корчмы стояла кузница. Я бросился туда и за один злотый нанял у хозяина самое запачканное платье до утра. С сим приобретением пустился я на пустырь, где некогда — во времена самые давние — была церковь и кладбище, чему теперь и следа не осталось, а известно только по преданиям, однако ж на месте сем никто из православных селиться не хочет; оно стоит пусто и поросло бурьяном; сюда-то залез я в ожидании полночи, ибо заметил, что влюбленный Товий не прежде сего времени оставлял корчму, да и то по неоднократным напоминаниям дяди, тетки и самой невесты.

В глубокие сумерки я переоделся и ожидал своей жертвы, запасшись вместо всякого оружия одними ножницами. Вдалеке услышал я пение петухов, и Товий показался. Он шел тихо, вероятно, мечтая об утехах, какие скоро будет вкушать с Сусанною. Поровнявшись со мною, он остановился, услыша кряхтенье, скрежетанье и щелканье зубами. При свете месяца приметно было, что еломок на целые полвершка поднялся выше. Вдруг я выскочил и к нему устремился. Первым движением бедняка было бежать; но я вмиг догнал его, вскочил на спину и ухватился руками за пейсы. Молодой человек, не стерпя такой тягости, а притом будучи объят ужасом, повалился на землю. Тут началось истязание. Я попеременно бил его, давил, щекотал и потом опять щекотал, и, продолжая комедию сию с час времени, довел бедного жиденка да бесчувствия. Тогда, намереваясь прежде обрезать одни пейсы, я остриг ему всю голову до самого темени и отволок в бурьян; потом, наскоро одевшись в свое платье, занятое припрятал, дабы поутру возвратить хозяину, после чего, пришед домой, перелез через забор, забрался на

сенник и уснул спокойно, будучи уверен, что свадьба поневоле отложена будет на несколько месяцев, ибо с остриженною головою, без драгоценных пейсов как можно показаться в люди?

Я встал не рано. Когда явился в корчме, то первый представившийся предмет была плачущая Сусанна. Хотя я и очень знал причину слез сих, однако спросил с соучастием друга. «Увы! — отвечала томная красавица, утирая слезы,— видно, участь моя подобна жалкой участи дочери Рагуиловой, ибо и в меня влюбился злой дух, который сею ночью измучил до полусмерти жениха моего Товия».— «Скажи, пожалуй, как это было?» — спросил я с нежностию, взяв ее за руку. Она рассказала мне то, что вы уже знаете, и присовокупила, что с восходом солнца бедный Товий, к ужасу родителей, явился в дом свой в виде пугалища. Он тщательно подобрал свои пейсы, валявшиеся в пыли, и ими утирал слезы. Все предались горести неизреченной и совершенно не знают, что делать и даже думать.

Родители жениха и невесты присудили, чтобы для утешения больного, изуродованного Товия Сусанна посещала его каждодневно хотя на несколько минут, что и начато того же самого дня. Не видать Сусанны и знать, что она находится подле жениха своего,— адское мучение! Я стократно жалел, что не защекотал его до смерти, ибо думал, что умертвить жида не грешнее, как и полюбить жидовку.

Глава VIII Неожиданное спасение

На ту пору жил в Пирятине пан Докиар, муж отличный по многим отношениям. Он был довольно богат, иногда довольно сговорчив, а иногда довольно вздорен. Узнав образ его мыслей, привычек, препровождения времени, я предстал к нему. «Честнейший господин! — говорил я,— ты видишь перед собою такого человека, который готов умереть за православие. У меня на примете есть жидовка, которая нетерпеливо желает приобщиться к сонму правоверных. Благоволи подать к сему способ».

«Чем же я могу служить тебе?» — спросил Докиар, опоражнивая чару. «Православный господин! — говорил я, изогнувшись в дугу,— у тебя есть хутор на острове реки Удая; ближнее к нему селение принадлежит тебе же. Напиши к священнику села того, чтобы он, окрестив жидовку, соединил меня с нею узами законного брака; а между тем дозволь на хуторе твоем прожить несколько дней, пока в жидовских головах не пройдет буря».

«Хвалю молодца за обычай,— сказал Докиар, разглаживая усы,— именно так поступать надобно! Сейчас писарь мой Евграф настрочит грамотку к управителю, и дело сделано будет как нельзя лучше».

И в самом деле вышло по-сказанному. В то же утро отправился нарочный в село и в хутор с предписаниями; окончание дела относилось уже ко мне. Я сказал, что Сусанна каждый день навещала жениха своего Товия; на сем обстоятельстве основал я план своего действия. «Измаил! — сказал я в тот же вечер хозяину,— ссуди меня твоим возком с лошадью на одни сутки, а я тебе заплачу за то пять злотых. Меня приглашает приятель к себе на хутор, а отказаться мне не хочется». Жид, получив в то же время обещанную плату, несказанно восхитился, сам впряг лошадь, подал мне вожжи и выпроводил за ворота, желая мне хорошо повеселиться.

Настали сумерки. Достигнув жилища Исаакова, я объявил Сусанне, что отец ее, неизвестно мне для чего, желает ее сейчас видеть и для того прислал возок. Жиды легко дались в обман, и милая девушка села со мной, ничего не подозревая. «Куда же ты едешь?» — спросила она, видя, что мы выехали из города. «В самое безопасное место,— отвечал я.— Сусанна! участь твоя и моя решена! Ты должна сегодня же сделаться моею женою!» — «Я? твоею женою? — спросила она с ужасом.— Но разве ты забыл, что я жидовка?» — «Это главному делу не мешает,— отвечал я,— мало ли из вашего народа есть таких, коих память и мы, православные, ублажаем! Как бы то ни было, сего еще вечера ты будешь христианкою! — С сими словами вытащил я из-за пазухи пистолет и взвел курок.— Сусанна! — продолжал я свирепым голосом,— из теперешнего поступка ты можешь понять безмерность любви, коею наполнено к тебе сердце мое! Намерение твердо. Ты будешь моею женою, или нас обоих не будет на свете». Сусанна тихо плакала, стенала, но

я был непоколебим, как утес гранитный. Мы прибыли в обетованную землю; священник, получив писание пана Докиара, принял нас с отверстыми объятиями. Кум и кума были готовы, двери церковные отверсты. Не прошло и часа, как Сусанна превращена в Серафину и счастливый Сарвил сделался нежным супругом. Я не пожалел злотых. У священника приготовлен великолепный ужин, причем и напитки забыты не были. На ночь отправился я в хутор пана Докиара, где и нашел все приготовленным к нашему приему.

Семь дней провел я в совершенной неге и довольстве. Сусанна начала привыкать к новому образу жизни, читала исправно по утрам и вечерам христианские молитвы и была наилучшая жена. Она до крайности была тиха, кротка и послушна. В осьмой день после свадьбы я переселился в Пирятин и пристал прямо в дом пана Докиара. Он принял меня с женою весьма сухо и, приказывая дворецкому отвести нам на первый случай жилище в курятнике, молвил: «Надобно признаться, что ты, молодец, с женитьбою своею поступил опрометчиво. Какова бы ни была жена твоя, но все она никогда не забудет, что родилась и выросла жидовкою. Я дозволяю вам пробыть в моем доме целую неделю, а там убирайтесь хоть к черту в омут».

Такая неожиданная встреча немало меня подивила. Я сейчас составил план, как провести дозволенное мне время в доме Докиара, и, занявшись ласками моей Серафины, не видал, как летело время. На ту пору случилась в Пирятине ярмарка, и стечение народу было чрезмерное.

Серафина, приметив, что кошелек мой с наступлением каждого дня делается тощее, сказала: «Друг мой! как ты думаешь? Не постараться ли нам поладить с отцом моим?» — «Разве ты считаешь это возможным?» — «Почему же и не так? Хотя он и жид, однако и отец, а я у него единственная дочь. Как бы хорошо было, если бы он усыновил тебя!» — «Ин попробуем!»

Вследствие общего соглашения Серафина отправилась к родителям с мирными предложениями. Она не замедлила возвратиться и обрадовала меня несказанно повествованием о ласковом приеме, какой ей был сделан. Измаил совершенно покорился судьбе своей и, видя, что порчи никак уже поправить нельзя, признал меня за своего зятя и приказал просить в дом свой. Хотя такое сми-

рение обиженного жида сначала меня удивило, но жена ласками своими умела отклонить всякую недоверчивость. В тот же день мы отправились в корчму и расположились в отведенной нам комнатке. Измаил и жена его рассыпались в учтивостях всякого рода, и первый объявил за тайну, что он — может быть — и сам скоро окрестится, и тогда заживем все как нельзя ладнее. По случаю ярмарки он отсчитал Серафине сотню злотых на мелкие покупки. Из денег сих взял я на свою долю целую половину и пошел шататься по базару, стараясь тщательно не проминуть ни разу прелестного шатра, где разливался пенник и заседало самое великое общество, коему имел я случай поведать об удальстве своем касательно обращения Сусанны в Серафину и моей женитьбы, о примирении с тестем и переезде в дом его на жительство. Под ночь я опочил мирно в объятиях жены-любовницы, и никакая забота меня не тревожила.

Пение петухов возвестило полночь, и я проснулся. Хочу потянуться, но не тут-то было. Приведя несколько в порядок свои чувства, ощущаю, что я, связанный крепко за руки и за ноги, нагой лежу на холодном полу. Такое состояние крайне меня изумило. «Неужели тесть мой изменник? — говорил я, барахтаясь по полу,— неужели он намеревается мстить своему зятю?»

Когда я не знал, что и подумать, вдруг отворяются двери, и в мою опочивальню входит с полдюжины жидов. Принесенными свечами они осветили комнату, и я, к неописанному ужасу, увидел, что каждый из них вооружен был изрядною плетью, из сырых кож сплетенною. Тесть мой и его шурин Шаах предводительствовали сим отрядом. И самый недогадливый на моем месте сейчас бы догадался, к чему дело клонится. Жиды с возможным смиренномудрием окружили меня, подняли вопль и начали стегать по чему ни попало. Я свирепствовал, силился разорвать свои оковы, но тщетно! С четверть часа продолжалось жестокое истязание и кровь моя текла ручьями. Наконец руки мучителей устали, и они захотели отдохнуть. Тогда Измаил после долгого бормотанья на неизвестном мне языке, обратясь ко мне, говорил: «Ты погубил единственную дочь мою, изменник, так справедливость требует, чтобы и сам погиб злою смертию. До тех пор будем терзать тебя, пока приметно будет в тебе дыхание. Пусть нечестивая кровь твоя источится по капле! Друзья мои, начнем сызнова!»

С сими словами они подняли плети, намереваясь продолжать угощение, как послышавшийся в сенях великий шум и стук остановили сих извергов. Двери быстро отворились, и мгновенно появилось к нам более двадцати черноморцев, исправно вооруженных. «Если вы — христиане,— возопил я болезненно,— то спасите собрата своего от мучительских рук жидовских! Посмотрите, что сии неверные со мною сделали!»

Оторопевшие евреи несколько поокравились. Измаил храбро подступил к начальнику казаков, изогнулся в пояс и произнес: «Если вы, честные господа, зашли в корчму мою попить и погулять, то я очень рад, хотя, правду сказать, теперь несколько еще рано. Прошу не удивляться, что мы несколько строго поступаем с сим бездельником. Если вам рассказать его злодеяние, то чубы ваши станут дыбом!» — «Не трудись рассказывать,— вскричал начальник,— нам все известно. Обратить жидовку к православию и потом на ней жениться есть подвиг истинно славный! Ребята! перевяжите всех жидов, осмелившихся пролить кровь неповинную, а если кто из них отважится пошевелить губами, не только языком, у того сейчас не будет ни губ, ни языка». Сказав сии грозные слова, он обнажил саблю и начал махать ею над головами устрашенных. Часть казаков начала перевязывать жидов, а начальник первых, перерезав веревки, меня удручавшие, и подняв на ноги, сказал: «Не правда ли, дорогой приятель, что теперешняя услуга моя стоит не менее двух или трех сотен злотых, которые нашел я в твоих карманах после ужина у приятельницы Дросиды? Узнаешь ли во мне ярмарочного друга твоего Арефу?» — «Праведное небо! — вскричал я, обнимая его,— какими судьбами тебя здесь вижу и кто ты таков подлинно?» — «Любопытство твое удовольствую после,— отвечал он,— а теперь надобно похлопотать об общей пользе. Жид Измаил! подавай ключи от сундуков твоих, не дожидаясь, чтобы мы их разломали».— «Честнейший господин! — отвечал жид со смирением,— что значит мой ничтожный скарб для твоего великолепия?» — «Не мешает,— отвечал Арефа,— и малому есть счет».

Тут началось опустошение дома Измаилова. Жиды, лежа связанные на полу, вздыхали и плакали, однако сколько можно тише. Я собирался было добрым порядком наградить своего тестя за угощение, но Арефа отклонил кровопролитное намерение; я удовольствовался

тем, что у каждого из супостатов приказал остричь голову и бороду. После сего он сказал мне: «Сарвил! из последнего похождения твоего вижу, что ты человек отважный и рожден к великим подвигам. Оставаться в Пирятине для тебя опасно и даже, может быть, гибельно; я предлагаю тебе мою и товарищей моих дружбу. Если еще твоя жидовка тебе не опротивела, то возьми и ее с собою. Жизнь, какую мы проводим, конечно, не без хлопот, но кто избежит их? И сам великий гетман малороссийский не может похвалиться всегдашним спокойствием, а тем менее веселием!» Я сейчас догадался, какого покроя были товарищи Арефины и кто он сам таков. Будучи уверен, что если стану вести жизнь открытую, то жиды рано или поздно меня доконают, и я склонился на предложение нового знакомца. Отыскав Серафину в мучном анбаре, я взял ее с собою, и все, обремененные пожитками сынов Израиля, отправились в путь.

Дорогою Арефа рассказывал следующее: «Прибыв с частию товарищей на ярмарку в Пирятин для обыкновенного своего промысла, я тотчас узнал тебя под шатром и намеревался открыться, но поопасся твоей запальчивости и чтоб ты, мстя за похищение злотых, не наделал мне великих хлопот; почему решился ждать случая, пока увидимся наедине. Частию от тебя самого, а частию от других, я узнал все обстоятельства, предшествовавшие и последовавшие твоей женитьбе, и немало подивился твоей оплошности, что ты вверился тестю, жиду оскорбленному. Поутру еще принято нами намерение в наступающую ночь посетить Измаилову корчму, как богатейшую во всем городе, а узнав, что там найду и тебя и могу предостеречь от очевидной опасности, я был еще решительнее на сие приятное и полезное препровождение времени. Согласись, Сарвил, что без нашей благовременной помощи ты погиб бы невозвратно».

На другой день под вечер прибыли мы на это самое место. Дремучий лес, простирающийся от Пирятина до Переяславля по берегам рек Десны и Удая, служит нам надежным убежищем. Около полуверсты отсюда, на прекрасной долине, со всех сторон окруженной непроницаемым лесом, расположены хаты, в коих проживают наши жены и дети. В течение четырех лет моей пустынной жизни я умел отличить себя мужеством и расторопностию. После печальной кончины храброго Арефы, вознесенного в Киеве на виселицу, все товарищество еди-

нодушно провозгласило меня своим начальником. Первое попечение мое было вкоренить в головы моих сотрудников, что смертоубийство не доказывает ни ума, ни храбрости, и потому я запретил оное под смертною казнию; удальства всякого рода были только у меня в чести. Как, например, не похвалите вы образцовой комедии Урпассиана, в которой сами представляли первые лица? Я живу в изобилии и не беру на свою душу ни одной капли человеческой крови. Общество наше гораздо расширилось, но порядок нимало не нарушен. Летом живем мы, по подобию древнего Израиля, в пустыне, а зимой соединяемся с женами под одними кровлями. Серафина родила мне двух прекрасных детей; чего ж еще желать более?

Тут Сарвил окончил свою повесть. Мы поблагодарили его за доверенность и возобновили просьбы отпустить нас восвояси; он склонился на представление и дал в проводники двух товарищей. После братских объятий мы отправились в путь и при солнечном закате вышли из ужасного леса. Проводники, указав нам вдали на верх колокольни, объявили, что далее идти не осмеливаются. Поблагодарив за услуги, мы пустились к указанной цели.

Глава IX Нечаянная женитьба

Уже ночь раскинула по небу мрачные тени, как мы приближились к селению. Король остановился, прищурился и, ударя себя по лбу, сказал:

— Видно, Неон, мы околдованы! Примечаешь ли ты эту церковь и колокольню? Не знакомы ли они тебе несколько?

Я пялил глаза и скоро догадался, что мы опять в селе Глупцове.

— Ах, боже мой! — воззвал я,— это самое то место, где сегодня назначено было бракосочетание Неониллы!

— Слава богу,— говорила она,— что день сей прошел не хуже. Для меня во сто раз приятнее было провести ночь в дремучем лесу на сырой земле, а день среди разбойников, чем с дедом Варипсавом!

— Однако, Неонилла,— заметил Король,— на хуторе отца твоего теперь изрядная суматоха, и если не сделана погоня, то неотменно последует. До корчмы добираться нам нечего: она самое ненадежное убежище. Я думаю остановиться в сем ближнем доме и щедро заплатить хозяину за скромность и укрытие нас на некоторое время.

В сем намерении мы постучались в ворота, и встречены стариком в литовском платье. Нас ввели в светелку и подали ночник.

— Хозяин! — сказал Король, усевшись на лавке,— мы надеемся, что ты человек честный, а потому будем говорить с тобою откровенно. Мы имеем в сем краю злого неприятеля, который ищет погубить нас. Хотя в каждом городе мы не имели бы причины его опасаться, но в селениях и в поле он может нам сделать насилие. Вот тебе десять червонцев за то, что в доме своем дашь нам пристанище и никому не объявишь, что у тебя есть кто-либо посторонний. За всякую же пищу, какой потребуем, будет особо заплачено.

Хозяин, приняв деньги и уложа в карман, сказал с улыбкою:

— Господа! я также надеюсь, что вы честные люди, и даю слово, что доверенность ко мне вас не обманет. Хорошо, что вы не пожаловали сюда раньше, а то неотменно не миновали бы рук панов Истукария и Варипсава.

— Как? что такое? — вскричали мы все трое в один голос.

— За два дня,— продолжал хозяин,— уже все селение знало, что сегодня назначено быть бракосочетанию дочери Истукария Неониллы с Варипсавом. Все собрались в церковь, любопытствуя видеть обещанное великолепие. Богослужение кончилось, мы все ожидаем долгое время жениха с невестою и со всем родством, но тщетно. Наконец прискакали верхами Истукарий, Варипсав, Епафрас со многим множеством вооруженных друзей и служителей. «Не видал ли кто из вас,— вскричал отец к собравшемуся народу,— беглой дочери моей Неониллы, злодея бурсака Неона и старого плута, Королем называемого? Кто мне откроет следы их, тому дарю пару лучших волов из моего стада и дюжину овец с двумя баранами». Все поселяне с недоумением глядели друг на друга и пожимали плечами; наконец священник отвечал

за всех, что о таковых беглецах и не слыхали, иначе не для чего было бы православным собираться и в церковь. «Надобно их преследовать и поймать,— вопиял с бешенством Истукарий,— и я дозволю выщипать себе весь чуб по волоску, если не отомщу за себя примерным образом».

С сими словами Истукарий и все сопутники выбежали из храма, бросились на коней и поскакали по дороге к Пирятину. Теперь видите, дорогие гости, что я узнал вас с первого взгляда; но божусь, что не изменю вам ни одним словом. Я должен о людях заключать по себе. Каково было мне на сердце, когда покойные родители хотели меня в двадцать лет женить на сорокалетней вдове-шинкарке? Я бросил все и убрался в Запорожчину, где и пробыл до тех пор, пока не дозволено было взять за себя любимую мною Марину. У меня в саду есть маленькая хата, где помещу тебя, Неон, и тебя, Неонилла, а ты, Король, выбирай любое — или на сеннике, или на гумне. В сих убежищах никто не вздумает вас обеспокоить.

— Ты добрый человек,— сказал Король,— и будь уверен, что при расставании без надлежащей награды не останешься.

После легкого ужина, состоящего из древесных плодов, сыра и яиц, всякий из нас отправился на покой, который после прошедшей суматошной ночи был весьма нужен. Я и Неонилла рано поутру разбужены были ужасными ударами грома и бурным свистом ветра. В маленькое оконце видно было, что потоки молнии не оставляли небосклона; деревья скрыпели, дождь и град бил в крышку и стены нашего убежища, и я каждую минуту ожидал, что оно взлетит на воздух.

— Не правда ли, Неон,— сказала Неонилла со вздохом,— что с тех пор, как я тебя полюбила и отдалась влечению сей страсти, злой дух путает каждый шаг наш? Кажется, идешь вправо, а очутишься с левой стороны!

— Не совсем справедливо, любезная,— отвечал я,— и нам грех роптать на судьбу свою. Сколько раз грозили нам опасности, и мы от них нечаянно избавлялись. Даже самая прошедшая ночь, если б была подобно этой, то нам в лесу было бы гораздо хлопотливо. А теперь о чем думать? Мы сухи и согреты, а сверх того, такая погода

поубавит в упрямом отце твоем охоты гоняться за нами, и он прежде времени поспешит в Переяславль.

Сими словами я успокоил красавицу, и мы очень терпеливо ожидали рассвета. Наконец настало утро во всем блеске и величии; громы и свисты бури умолкли, и лучезарное солнце величественно катилось по небу голубому. Мы оделись и вышли в сад. «Как прелестна природа после бури! Такова-то кажется нам всякая тихая минута после житейского ненастья. Не будем же роптать на мудрое провидение, если не все дни наши будут ясны; видно, таково изволение всемогущего. Он знает, когда беспечный слух наш поразить ударом грома и когда сумрак души нашей озарить лучами своей благости!» — Так мыслил я и старался мысли сии перелить в душу своей подруги.

В сем гостеприимном доме провели мы около недели, боясь показаться даже на улице, дабы не напасть на Истукария или кого-либо из знакомых. Хозяин и его домашние служили нам, как ближним родственникам, за то и мы не были скупы. Король на досуге беседовал с ними как истинный философ, проведший жизнь посреди испытаний. Словом, если бы нас не занимала мысль скорее достичь Батурина, то мы очень были бы покойны в своем убежище.

В пятые сутки хозяин, по наущению Короля, ходил в хутор Истукария, дабы от говорливого Власа проведать, что можно, о его господине. Под вечер он возвратился с веселым лицом и сказал:

— Отец твой, красавица, вчера еще отравился со всеми домашними в Переяславль, обещая сыну своему Епафрасу сделать его единственным наследником всего имения, исключив непослушную дочь от всякого в том соучастия.

Последняя угроза нимало нас не потревожила. Нам казалось, что денег, какие у нас были, станет на всю жизнь, хотя бы мы прожили Мафусаиловы лета. На другой день поутру назначено быть походу, почему Король, опасаясь, чтоб и впредь не довелось так же поститься, как в день побега из хутора Истукариева, и ужинать лесные яблоки, купил у хозяина торбу и баклагу и пошел в корчму заказать кое-что съестное и запастись добрым вином.

Оставшись одни с Неониллою, мы пошли в сад. С некоторого времени начал я замечать в ней скуку и уны-

ние, а иногда видел слезы на прелестных глазах ее. Пользуясь случаем, я приступил с вопросами. Долго она стояла молча и вздыхая, наконец спросила с необыкновенною ласкою:

— Разве ты не примечаешь в наружности моей никакой перемены?

— Совсем никакой! — отвечал я.— Ты так же прекрасна и любезна, какою казалась мне за четыре месяца пред сим, при начале любви нашей!

— Ты обманываешься,— говорила она, потупя взоры,— всмотрись в меня хорошенько: огонь в глазах начинает меркнуть, свежесть в лице исчезает, стан не так строен и гибок, как был прежде. Увы, Неон! я — беременна.

Я оцепенел от ужаса и едва мог на ногах удержаться. Облокотясь о дерево, я смотрел на нее неподвижными глазами. Теперь и я начал уже примечать в ней действительную перемену. Я не мог различить чувств своих. Горесть, раскаяние, жалость и любовь терзали сердце мое то порознь, то совокупно. Тут Неонилла, приняв боязливый вид, сказала вполголоса:

— Ах, как я злополучна! Вместо того чтобы сею вестию обрадовать любезного, я его огорчаю! Ах, Неон, Неон! что со мною будет? Куда я денусь? Что сделаю с несчастным залогом преступной любви моей?

Тут она зарыдала и, вскричав: «Неон! не погуби меня и своего дитяти!» — упала к ногам моим и обняла колени.

Я вышел из своего бесчувствия; бросился в ее объятия, поднял и спросил с чувством, более горестным, нежели нежным:

— Что же велишь мне делать, моя Неонилла?

— Как? И ты спрашиваешь? — отвечала она.— Долго ли нам еще преступничать? Разве в селе сем нет храма божия, разве нет священнослужителя: пойдем предстанем пред алтарем господним и освятим любовь свою взаимными клятвами в вечной верности.

— Но, Неонилла,— сказал я заикаясь,— в этом наряде священник не узнает в тебе женщины!

— Это препятствие самое ничтожное,— отвечала она, ласкаясь ко мне со всею нежностию,— одна из дочерей нашего хозяина в мой рост. За небольшую плату я достану у нее на вечер праздничное платье. Милый друг! пойди к священнику предуведомить его об

этом; вслед за тобою и я буду со всем здешним семейством.

Я так ошеломлен был всем виденным и слышанным, что, не отвечая ни слова, побрел к священнику.

«Вот тебе и на! — думал я дорогою,— кто б мог подумать, что я сделаюсь зятем надменного Истукария. Но Мелитина, милая Мелитина! Что ж такое? Невинная девушка не дала мне на себя никакого права. Она, вероятно, и не знает о любви моей. А Неонилла! Ах! она всем для меня пожертвовала: добрым именем, отцовским имением, она мать моего дитяти! права священные, неотъемлемые!»

Посетив священника и положа пред ним горсть злотых, я сказал:

— Честный отец! рассуди меня с моею совестию. Я заезжий пан и не без достатка. В сем селе проживая по некоторым обстоятельствам довольно долго, я влюбился в крестьянскую девушку, умел и сам понравиться неопытной красавице, обольстил ее и сделал матерью; теперь я намереваюсь загладить грех свой и на ней жениться: хорошо ли я делаю?

— Самое спасительное дело, свет мой,— отвечал священник,— и я не знаю другого способа загладить пред богом такое грехопадение. Приводи в церковь свою невесту, и я соединю вас узами брака.

— Она и сама скоро будет,— говорил я, и мы отправились во храм.

Неонилла не заставила себя долго дожидаться. Она появилась в сопровождении всей хозяйской семьи; бракосочетание совершено, и мы сделались супругами. Признаюсь, что я все еще не знал, радоваться ли мне, или печалиться,— однако ж заметил, что Неонилла в женском платье, хотя и крестьянском, обворожила всех своею красотою и любезностию. Не дожидаясь Короля, я велел изобильно подать наливок и закусок и сел за стол с женою рядом, как водится, а вокруг нас расположилось все семейство. По мере того как полные чарки были опорожниваемы, мы делались веселее, и уже две хозяйские дочери и две невестки начали мурлычать свадебные песни, а мужья их стучать ногами такту, как вдруг Король, обремененный поклажею, ввалился в свадебную комнату.

Глава X **Невежливый жених**

Увидя такое неожиданное явление, Король остановился у порога и протирал глаза. Его молчание смутило меня и Неониллу. Я протянул к нему руку и сказал:

— Любезный друг! обойми жену мою и садись веселиться.

— Как? — спросил он довольно сурово,— какую жену?

— Неониллу!

— Когда успел ты?

— Сего вечера мы обвенчаны!

Он крепко потер свой чуб и молча вышел.

— Неон! — сказала жена моя,— если Король тебе друг, то, узнав причину, для чего мы поторопились, долго упрямиться не будет; если же вздумал бы и оставить нас, то неужели моя любовь не заменит его любви? Будь покоен: я беру на себя помирить его с нами.

Тут она встала и вышла, а мы продолжали веселиться, мало заботясь, сердится ли кто на нас, или нет. Однако ж, к большей еще радости, Неонилла скоро возвратилась, ведя Короля за руку.

— Неон! — сказал старик, обняв меня,— я теперь узнал причину, по которой ты обязан был жениться на Неонилле, если не хотел сделаться злодеем, недостойным ни милости от неба, ни от людей помощи. Дай бог, чтобы все обратилось к лучшему! Велика власть и милость господня!

Король принял участие в общем веселии, которое продолжалось гораздо за полночь. Путешествие отложено еще на целый день. Как мы не опасались уже ни обысков, ни погони, то порядочная брачная постеля была нам приготовлена в светелке, а Король переселился на ночь в садовую хату.

Наутро Неонилла, осыпав меня ласками, сказала:

— Друг мой, я заметила, что в женском платье нравлюсь тебе более, чем в мужском,— да это и естественно; а потому сегодня поутру надену мужское в последний раз. А как в своем путешествовать пешком или вер-

хом для меня весьма неудобно, то я нашла средство отвратить и сие затруднение. На известном тебе хуторе отца моего есть прекрасная бричка; мы запряжем ее в четыре надежных коня, уложим мою постель и весь платяной наряд отцовский, матернин, братнин и мой. Не правда ли, что моя выдумка весьма разумна? Как скоро все приведено будет в надлежащий порядок, я переоденусь опять в свое платье и никогда более не скину. Где будешь ты, там буду и я. На отца и брата я мало надеюсь; но что касается до матери, то она меня не оставит. Она сама говорит, что я — настоящий образ молодых лет ее, за что всегда жаловала меня особенно.

Я похвалил такую разумную догадку моей дорогой половины. Одевшись, соединились мы с Королем и открыли ему предположение свое путешествовать с лучшею удобностию. Он сначала заметил, что такое приобретение походить несколько будет на воровство.

— Никак! — возразила Неонилла,— я дочь Истукария и могу воспользоваться кое-какими вещами из его дома, тем более что во власти его осталось много дорогих вещей, собственно мне принадлежащих, которые гораздо дороже стоят тех, кои теперь возьму я себе по нужде.

Король принужден был согласиться на сии доводы, и мы, взяв с собою старшего хозяйского сына, отправились в хутор. Пришед в господский дом, нашли двери на замках, почему принуждены были искать Власа в людской избе. Нашед всех за делом, Неонилла спросила важным голосом:

— Узнаете ли дочь вашего господина?

Все ударились бежать, крестясь и отплевываясь.

— Куда? — вскричала Неонилла, заградив им дорогу,— неужели платье могло так переменить лицо мое, что вы не узнаете уже своей Неониллы? Влас! сию минуту впряги в новую бричку четырех коней и подъезжай к крыльцу господского дома, а между тем отдай мне ключи, если не хочешь, чтобы мы отбили двери и тебе порядком досталось от отца моего.

Влас, трепеща всем телом, подошел к Неонилле и, вручая ключи, сказал:

— Если ты и в самом деле не оборотень, то бога ради перекрестись!

Жена моя охотно исполнила благочестивое сие желание, и бедный Влас сделался посмелее. Он пошел в сарай и начал впрягать лошадей вместе с сыном нашего хозяина, а мы отправились в дом и начали укладывать пожитки. Занятия наши недолго продолжались. Бричка подвезена, и все порядком уложено, а особливо пышная постеля, столь необходимая утварь для нежной замужней женщины. Для утешения бедного Власа я дал ему несколько злотых, и он, забыв все, след за нами поплелся к очаровательной корчме. Мы перед обедом поспели в село Глупцово, целый день провели в пиршестве и решились, не откладывая вдаль, наутро пораньше пуститься в дорогу. Посему я и Неонилла положили эту ночь провести в бричке.

На другой день, проснувшись, я почувствовал легкое колебание нашей колесницы, которая вскоре и остановилась; Неонилла покоилась еще сладким утренним сном; приятная улыбка блистала на полуотверстых губах ее, на щеках играл прелестный румянец. Ах! как она показалась мне прелестною и как я благодарил судьбу, соединившую меня с сею красавицею! Я вышел из своей походной спальни и нашел, что лошади были уже выпряжены и пущены на траву. Подле тенистой рощи бодрственный Король приготовлял обед.

— Ты долго спишь, приятель,—сказал он,— человеку, готовящемуся вступить на поприще брани, надобно приучаться к бодрствованию! Мы уже от села Глупцова отъехали двадцать верст и к ночи будем в Пирятине.

— Когда я буду на поле брани, то, верно, подле меня не будет Неониллы,— отвечал я.

Он улыбнулся и продолжал свое дело. Скоро вышла и наша хозяйка, совсем одетая. Мы уселись на траве и обедали с великою охотою, после чего Король улегся отдыхать, а я с Неониллою вздумали прогуляться недалеко от становища.

— Друг мой! — сказала жена,— я сделалась твоею по особенной любви и доверенности, совсем не зная, кто ты подлинно. Расскажи мне теперь о своих родителях.

— Увы! — отвечал я,— и мне совершенно неизвестно, кто они и где находятся. Хотя Король и друг его Мемнон об них знают, но, несмотря на частые мои докуки, ничего не объявляют.

Тут я рассказал все что знал о самом себе.

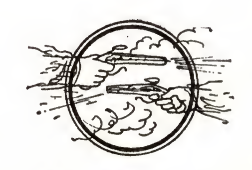
— Что ж делать? — сказала Неонилла.— Довольно, что родители твои люди благородные, и никто из родных не упрекнет меня, что вступила в союз неравный. Будем ждать и надеяться.

Поговорив о сем предмете, я изъявил желание знать и ее историю.

— О! — сказала Неонилла улыбаясь,— моя история хотя не длинна, но также довольно любопытна. В угодность твою я открою, между прочим, нечто, чего никто, кроме меня, не знает. Может быть, тебе уже известно, что отец мой молодые лета свои проводил в Киеве, как в таком городе, где достаточный человек может найти все веселости. Там женился он на моей матери, и там родились я и брат мой Епафрас. Мне было уже шесть лет, когда правительство назначило отца старшиною в Переяславль. Он отравился к должности с моею матерью и братом, а я, с общего согласия, оставлена для воспитания в доме дяди, богатого гражданина пана Тивуртия. У него часто собирались гости самые знатные и образованные, и от них-то научилась я той свободе и непринужденности в обращении, которые отличают городских жителей от деревенских. До шестнадцатилетнего возраста я и не знала никаких печалей и огорчений. Я понемногу училась, часто играла на лютне, пела и плясала. Кто ни приезжал к дяде и куда он ни возил меня, везде встречала я одни ласки, похвалы и приветствия; если же от кого и досадно было мне слушать ласкательства, так это от знатного и богатого пана Памфамира. Он был не стар, но так изуродован, что страшно было на него глядеть. Оспа налепила на один глаз бельмо и все лицо испестрила разноцветными сшивками; вдобавок красные волоса его съежились и переплелись, как у арапа. Когда он смотрел на кого пристально, то глаз его воспламенялся и быстро двигался во все стороны, как у колдуна. Нежные слова и ласковые приветствия сего человека, как я уже заметила прежде, были для меня несносны. Хотя я никого не любила, но чувствовала, что пана Памфамира способна ненавидеть. От встречи с ним убегала я весьма тщательно, с нарушением иногда учтивости, и тогда страшный глаз его блистал гневом и мщением. Мне исполнилось шестнадцать лет, и отец мой с матерью приехали в Киев и остановились в доме дяди. На другой день я позвана была пред родителей, и отец говорил:

«Неонилла! ты уже невеста, и мы приехали к тебе на свадьбу. Через неделю ты будешь женою предостойного мужа. Он молод, богат, знатен, храбр и умен: видишь, сколько достоинств в одном человеке. Хотя, правда, он не совершенный красавец; но в мужчине красота не есть достоинство. Он более года вел со мною на сей предмет переписку; но я взял за правило не выдавать тебя раньше шестнадцати лет, и он должен был смириться предо мною».— «Кто же мой жених?» — спросила я. «Выбрать тебе мужа было мое дело, а твое будет за него выйти. Мне всегда нравились такие девицы, которые не прежде узнавали женихов своих, как под венцом. Кротость и стыдливость суть лучшие украшения всякой женщины».

Как я никого не знала, кто бы особенно был мне по мысли, то весьма равнодушно выслушала сие предложение. Срочная неделя пролетела как вихрь. Каждый день я занята была с утра до вечера примериванием дорогих платьев и других уборов. Настал роковой день, и я, одетая великолепно, отвезена в церковь дядею Тивуртием. Когда меня подвели к жениху, я взглянула на него и оледенела,— это был ненавистный Памфамир. Дрожь разлилась по моим жилам, холодный пот оросил лицо мое, руки и ноги дрожали. Меня поставили у налоя, и торжество началось; не успела я опомниться, оно уже и кончилось. Со всеми сопутниками отведена я в великолепные палаты моего мужа и усажена за богатым столом.



Глава XI Муж по имени

Во время брачного торжества я пребывала в глубоком молчании и с стесненным сердцем рассуждала о горькой своей участи. Наконец, напала на мысль, которая мне понравилась, и я решилась: отгадай, на что? Я решилась лучше пойти в монастырь или даже и умереть, чем сделаться настоящею женою ненавистного человека. «Довольно с него и одного названия мужа; но чтоб он владел моею особою — никогда, никогда!» Утвердясь в сей

мысли, я сделалась покойнее, и румянец гнева покрыл бледные щеки мои. Муж, толкуя перемену сию в свою пользу, рассыпался передо мною в учтивостях. День прошел, настала ночь, и нас отвели в опочивальню.

Когда я с мужем осталась одна, то он с щегольским видом подскочил ко мне и хотел помогать раздеваться; но я, отступив на несколько шагов, сказала с возможною важностию: «Остановись, пан Памфамир! и не смей подступать близко. Хотя ты и об одном глазе, но мог приметить, что я нездорова. Пока совершенно не оправлюсь, будь уверен, никакая власть не принудит меня сделаться настоящею твоею женою; будь до времени доволен и одним названием мужа!» Вот тут посмотрел бы кто, как он изменился. Глаз его сверкал, как раскаленный уголь, губы дрожали. «Понимаю! — произнес он наконец,— что значит это упрямство; но я докажу, что уже не ребенок и дурачить себя не дозволю. Оставайся здесь, а я найду себе место». С бешенством выбежал он из спальни, и я, скинув головной убор и верхнее платье, легла в постелю.

Легко представить можно, сколько ночь та была для меня горестна. Я просыпалась каждую минуту и к утру почувствовала себя действительно больною. Родители, вошед ко мне, поздравляли с благополучным окончанием брака, из чего заключила я, что Памфамир скрыл от всех истину, и в первый раз почувствовала к нему некоторую благодарность.

Свадебные праздники прошли; родители мои и гости разъехались, и я осталась одна оплакивать свое горе. Всякую ночь муж, провожая меня в спальню, спрашивал: «Все ли еще ты нездорова?» — «Да!» — отвечала я, и он с крайним огорчением удалялся. Так проходил день за днем, неделя за неделей, так прошло три месяца.

Сия чудная супружеская жизнь не мешала моему мужу давать частые обеды и ужины и везде возить меня в гости. При посторонних ни одним взглядом не обнаруживал он неудовольствия; но когда оставались одни, то я терпела от него ругательства и угрозы. Известно, что муж, чувствующий себя недостойным любви жены своей, всегда бывает рабом ревности.

В сие время показался в киевских обществах граф Хмаринский, племянник воеводы. Он был молод, пригож и великий угодник женского пола. Все на него заглядывались, так мудрено ли, что и я наряду с прочими зевала

на искусные танцы его и охотно слушала нежное болтанье, коему научился он, воспитываясь в Варшаве. Муж мой скоро приметил его взгляды, на меня обращаемые, и пожимание руки в танцах. Он бы охотно запрятал меня в один из хуторов своих, но стыдился признан быть ревнивым; сверх того, опасался отказать Хмаринскому от своего дома, по его близкому родству с воеводой, который мог бы навлечь ему великие хлопоты. Так прошли, как я сказала прежде, с небольшим три месяца после мнимого моего замужества.

По случаю святочных праздников и всерадостного дня рождения Памфамирова он назначил у себя в доме пир великолепный. В сумерки собралось множество гостей, и в числе их молодой Хмаринский. Загремела музыка, и начались танцы. Когда я сошлась с моим волокитою, то он сунул мне письмецо в руку. Я так была нова и неопытна в подобных приемах, что муж тотчас приметил сии шашни. Он подошел ко мне с изменившимся видом и грозно сказал: «Подай!» Не без замешательства я отдала роковую записку, и он удалился в свой кабинет. Происшествие сие, почти всеми гостями виденное, остановило танцы и родило на лице каждого горестное уныние. Скоро появился Памфамир, подошел к Хмаринскому и сказал вполголоса: «Мне нужно слова два сказать тебе наедине». Молодой человек язвительно улыбнулся, подал ему руку, и они скрылись в кабинете. Некоторые из гостей хотели было следовать за ними, но нашли двери назаперти. Глубокое молчание царствовало в танцевальной комнате, музыка остановилась. Вдруг раздается выстрел; все вздрогнули и подняли крик. Многие бросились к дверям и опять остановились, услыша другой выстрел. Шум, тревога и смятение потрясали стены; служители сбежались, и, по приказанию моего дяди, двери от кабинета Памфамирова выломлены. Боже! какое ужасное зрелище представилось! Два бесчувственные трупа плавали на полу в потоках дымящейся крови. Я едва могла стоять на ногах, побрела к столу, взяла роковое письмо и сожгла на свечке не читавши. В одну минуту собраны были медики польские и жидовские. Они принялись осматривать тела, и женщины удалились. Дядя мой Тивуртий при свидетелях опечатал все в доме, а меня отослал в свой. Я не могла прилечь, да и все не спали, пока не приехал дядя. «Что? что?» — вскричали в один голос жена его, дети и я. «Очень худо,— отвечал он печаль-

но.— По надлежащем осмотре тел найдено, что у Хмаринского раздроблено левое плечо, но он еще жив, почему со всею бережливостию отнесен в палаты своего дяди. Над Памфамиром возились долее, и когда он начал уже леденеть, то врачи догадались, что он умер и что ему нужен гроб, а не лекарства». Приготовление похорон дядя Тивуртий предоставил себе.

На другой день я получила назад свое приданое, на третий похоронила мужа, умолчав пред всеми, что он никогда таковым не был. По совершении сего печального обряда я возвратилась к отцу.

Тут Неонилла остановилась, и я заключил ее в свои объятия. Бричка была готова, и мы отправились в дальнейший путь. До самого Батурина, в продолжение четырех дней, не встретили мы ничего, достойного внимания и рассказа. Мы были здоровы, веселы, довольны. Подъезжая к городу при благовесте к вечерням, Король сказал:

— Я думаю, что о жилище мы не должны беспокоиться. За двадцать лет с небольшим оставил я в Батурине приятеля, который, надеюсь, не позабыл еще моей услуги. Я коротенько расскажу вам его повесть.

Когда я был еще в уважении при дворе гетмана и в доверенности на его советах, то, возвращаясь однажды из дворца, нашел у ворот моего дома мужчину лет в тридцать и женщину в двадцать с маленьким дитятей на руках. Они были босы и в лохмотьях; бледные лица и впалые глаза ясно изображали истощение сил их. На вопрос мой, что они за люди и чего хотят, мужчина отвечал: «Я — черноморец и жил в Сечи Запорожской. Имя мое Ермил. Бывая нередко в походах, я познакомился с казацкою дочерью Глафирою. Мы понравились один другому и сделались мужем и женою. Вместо того чтоб мне изредка навещать свою Глафиру, я был столько неразумен, что, презрев один из коренных законов черноморского войска, захотел быть с нею неразлучен. Тайно ото всех я из внутренности моей землянки выкопал другую и, пользуясь темнотою осенней ночи, умел проводить туда Глафиру. Пока мы были одни, я мог скрывать ее пребывание. Я ловил рыбу, крал у малороссиян овец, и мы были сыты. При начале сего лета жена родила мне сына, которого я в честь деда назвал Муконом. Я плакал от радости и прискорбия, ибо сердце мое предчувствовало близкое несчастие. Пронзительный вопль младенца услы-

шан был прохожими; донесено куренному атаману[1]; в землянку мою вломилась целая толпа, и Глафира найдена. Ужас сыщиков был неописанный. Они удивлялись, что Сечь не провалилась еще сквозь землю или не сожжена небесным огнем, подобно Содому, за то, что женщина присутствием своим осквернила освященное место. Я взят под стражу, и войсковой атаман дал повеление, наказав меня примерно за такое непростительное беззаконие, выгнать с женою и младенцем из Сечи. Вследствие сего меня вывели на публичную площадь и при стечении бесчисленного народа выбрили голову и усы, а в заключение, влепив в спину сотню ударов киями[2], прогнали за самые ворота. Я взял плачущую жену за руку, и мы — как и следовало — направили путь к жилищу моего тестя. Пришед на место, мы его не узнали; все селение представляло груды золы и угля. От пастухов, вблизи со стадами находившихся, мы узнали, что за месяц перед тем крымские татары напали на селение, часть жителей побили, другую увели в плен и, разграбив жилища, сожгли оные. «Что нам, бедным, делать?» — «Постой, Глафира, не плачь,— сказал я жене.— Не одни черноморские казаки на земле существуют; есть другие, кои не запрещают держать при себе жен и воспитывать детей. Пойдем в Батурин! Имя божие нас доведет туда».

Мы пустились в путь; но он не ближний. Надежда на бога нас не обманула, и мы пришли сюда живы; но — взгляни на наше состояние, милосердный пан, и сжалься над нами».

Так говорил Ермил, и я чувствительно был тронут горестным его положением. Они введены в мой дом, накормлены и одеты благопристойно. Когда муж и жена пооправились от дороги и продолжительного поста, я, призвавши их обоих, сказал: «Добрые люди! надобно иметь кусок хлеба, но надобно и трудиться. Недалеко от Батурина есть у меня большой хутор, где находятся стада рогатого скота. Хочешь ли, Ермил, быть главным смотрителем над пастухами, а ты, Глафира, надзирательницею за коровницами?» Они упали к ногам моим и благодарили со слезами за милость. В тот же день они отправлены на хутор и пробыли там пять лет. Во все это

---

[1] *Курень* — значило отделение некоторой части казаков и жилища куренного атамана. Все Запорожье разделено было на курени. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] Посохи, у коих на верхнем конце бывает или природная, или приделанная головка. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

время я весьма был доволен их усердием и верностию. Стада мои приметно умножались, ибо бдительный Ермил пресек всякого рода кражу, и пастухи не смели уже продать ягненка под предлогом, что его съели волки, а прежде это было весьма нередко. Время от времени я награждал мужа и жену одеждою и небольшими деньгами. Они — по собственным словам — жили как в раю господнем.

Глава XII **Благодарные**

По прошествии сих пяти лет поднялась над головою моей буря, сделавшая в жизни великую перемену. По делу отца твоего, Неон, в коем я принимал великое участие, о чем узнаешь в свое время, гетман Никодим рассвирепел на меня несказанно. Он собрал на совет всех полковников Малороссии и предложил им рассмотреть мой поступок. В угодность властелину судии объявили меня недостойным носить почтенное звание войскового старшины и с тем вместе пользоваться своим значительным имением и проживать в Батурине, где, конечно, могу повстречаться с гетманом и оскорбить взоры его. Таким образом мой городской дом, мои хутора со всем имуществом объявлены принадлежностию отечества, а я изгнанником из столицы. К счастию, я имел друзей, которые о сем решении уведомили меня заблаговременно, и я мог все свои деньги и дорогие вещи спрятать в надежные руки. На другой день явился ко мне Ермил с женою и сыном. «Диомид! — сказал он,— хутор, где жил я с семейством, тебе более не принадлежит. Все пастухи остаются на своих местах и притом охотно, надеясь, что собственность отечества красть удобнее, чем господскую. Что касается до нас, то мы на хуторе оставаться не хотели. Когда ты был богат, то делал нас счастливыми; теперь стал беден, но это не дает нам права тебя оставить. Где ты, там и мы, и по самую смерть твои верные слуги. Где-нибудь найдем же себе убежище. Мы будем работать и кормить тебя, а когда поустареем, то подрастет Мукон; мы его женим; ты без услуги не останешься». Такая благодарность трону-

ла меня до слез. «Друзья мои! — сказал я,— вы ошибаетесь, считая меня бедным. Я имею более денег, нежели сколько мне нужно по будущему образу жизни, и я вам докажу это сегодня же. Побудьте здесь и дождитесь моего возвращения».

У меня на примете был продажный домик в конце Батурина с небольшим садом и огородом; я тотчас купил его на имя Ермила и снабдил всеми принадлежностями. Устроя все как следовало, я привел туда нового хозяина с женою и сказал: «Этот дом принадлежит вам. Ты, Ермил, так хорошо управлял чужим хозяйством, что стоишь иметь свою собственность. Все, чего я от тебя требую, состоит в том, что если судьба приведет меня когда-либо в Батурин, то дать мне в сем доме убежище». Ермил и Глафира плакали, целовали мои руки и осыпали благословениями. Я обнял каждого из них, простился и — выехал из столицы. Хотя более двадцати лет я не видал Ермила, но уверен, что он не переменился и от чистого сердца рад нам будет; если же его нет более на свете, то его сын, надеюсь, не менее отца будет добр, чувствителен и благодарен.

— Но, почтенный друг! — говорил я,— ты нам сказал, что при выезде из Батурина имел довольное количество денег и дорогих вещей; что же принудило тебя сделаться в Переяславле огородником, чтобы каждое лето сражаться с бурсаками?

— На это были основательные причины, о коих расскажу в другое время,— отвечал Король, и мы въехали в город.

Неонилла, воспитанная в Киеве, мало на что обращала внимание, зато я пялил глаза на все встречающиеся предметы. Какая разница во всем против Переяславля и Пирятина! Мы ехали тихо вдоль города, и на конце оного остановил Король лошадей у ворот не нового уже, но красивого и порядочного дома. На стук Короля в ворота вышел молодой человек, видный собою и дородный.

— Как тебя зовут, молодец?

— Муконом.

— Отпирай же ворота, я привез гостей.

Ворота отперты, мы въехали на двор, я и Неонилла вышли из брички, и Король сказал:

— Мукон, жив ли отец твой Ермил и мать Глафира?

— Живы и здоровы!

— Где они?

— Мать прядет в избе, а отец собирает плоды и овощи для продажи завтра на рынке.

— Ну, Мукон, побудь же у лошадей, а мы пойдем к отцу твоему.

— Анна!— закричал Мукон у окошка, и вмиг выскочила на крыльцо молодая, пригожая крестьянка,— проводи сих господ в сад к отцу,— сказал он,— а я распрягу лошадей и поведу под навес.

Анна пошла вперед, а мы за нею последовали.

— Не жена ли ты Муконова?— спросил Король.

— Жена.

— Давно ли замужем?

— Около пяти лет, и у меня уже трое детей.

— Согласно ли живешь с мужем?

— О чем нам спорить!

Мы вошли в садик, который был невелик, но преисполнен всяких плодовитых дерев. Прошед до конца, мы не видали хозяина, и Анна должна была вскричать громко:

— Батюшка! Где ты?

— Что ты, Анна?— раздался голос с вершины кудрявой яблони, и мы подошли под самое дерево.

— Сойди на низ,— кричала Анна,— к тебе пришли гости.

— Скажи им, что скоро буду; дай ощипать эту только ветку: ведь не в другой же раз лазить.

— Гости здесь,— продолжала Анна,— и они приехали в бричке в четыре лошади.

— Лезу, лезу!

Ермил медленно спускался с дерева, ибо ему быть проворным мешала большая торба с яблоками, привязанная к поясу. Став на земле, Ермил отвязал торбу и положил на траве, а сам бодро, с веселым видом подошел к нам, поклонился с козацкою ухваткою и ласково спросил:

— Что вам, господа, от меня угодно?

Король несколько времени молча его рассматривал, и Ермил также с приметным смятением глядел ему в глаза.

— Как, Ермил,— сказал Король,— ты не узнаешь уже своего старинного приятеля?

— Мати божия!— говорил вполголоса Ермил,— как лицо переменилось; но голос, голос все тот же! Так!— вскричал он, бросился к Королю и, став на колени, обнял ноги его.— Ты наш благодетель,— говорил он,— наш ангел-хранитель, ты Диомид Король.

— Диомид Король! — вскричала Анна и со всех ног бросилась из саду.

— Встань, друг мой,— говорил растроганный Король,— встань! Я не с тем к тебе приехал, чтобы привести в смятение, а единственно для сего молодого человека, моего родственника, который желает определиться ко двору гетмана. В сей госпоже ты видишь жену его. Встань же, Ермил, встань, друг мой, дай обнять себя!

Ермил продолжал обнимать колена своего благодетеля, и седые усы его напоены были слезами. Вдруг раздался вопль позади нас; мы оглянулись и увидели, что пожилая женщина — я сейчас догался, что это Глафира,— бежала к нам опрометью, за нею следовали сын и невестка, и все трое очутились на коленях подле Ермила, плакали и простирали к Королю руки.

Я не мог быть равнодушен при таком зрелище и, чтоб скрыть свое смятение, отворотился; но глаза мои тут же встретились со слезящимися глазами Неониллы. Она улыбалась, но слезы продолжали орошать прекрасные щеки ее. Бросясь в объятия, я сказал:

— О милый друг мой! видишь ли награду благотворения? Я уверен, что чувств, какие теперь наполняют душу нашего Диомида, не можно купить за все золото Малороссии; это блаженство есть награда одной добродетели.

— Я чувствую справедливость слов твоих,— говорила Неонилла,— и молю всеблагого бога, чтобы он когда-нибудь даровал и нам возможность вкусить подобное счастие!

Она погрузила лицо свое на груди моей, и мы в положении сем пробыли несколько мгновений.

Когда оправились, то увидели, что хозяева наши были уже на ногах и Король с нежностию обнимал каждого поочередно. Ермил успел уже повестить семью свою о ближнем родстве моем с Королем, почему все теснились к нам с приветствиями. Подражая своему другу, я обнял Ермила и Мукона, и Неонилла ту же ласку оказала Глафире и Анне.

Мы отправились в дом, и введены прямо в чистую, светлую и красивую комнату. Ермил, подошед к образу спасителя, произнес громко:

— Благодарю тебя, создатель мой, что ты сподобил меня еще в жизни сей увидеть моего благодетельного господина! О сем молил я тебя каждодневно, вставая ото

сна и отходя ко сну, и молитва моя услышана. Боже! благодарю тебя!

Король, я и Неонилла уселись на широкой чистой скамье у стола. Ермил, поклонясь, сказал:

— Позволь мне, Диомид, на минуту отлучиться. Вы с дороги устали, так не худо раньше поужинать и успокоиться.

— Постой! — вскричал Король,— я тебя понимаю! Сегодня середа, а в саду твоем пруда нет, нам же хотелось бы поесть чего-нибудь рыбного. Покуда мы живем у тебя в доме, я требую, чтобы ты ничего на нас не тратил, и это непременная воля моя!

После сего Король, вынув из кармана горсть злотых, сказал хозяйке:

— Глафира! пошли сына или невестку на базар достать живой рыбы и изготовить хорошую похлебку да еще что-нибудь; а ты, Ермил, останься с нами.

— Хорошо!— сказал последний,— я тебя послушался; не препятствуй же и мне кое-что от себя сделать.

Сказав сие, он со всею семьею вышел, и не успели мы выговорить полсотни слов, как уже и возвратился, держа в руках большую сулею вишневки и чарку, а за ним шел четырехлетний мальчик, неся миску с сотами и большую булку.

— Это пусть будет вместо полдника,— сказал Ермил и по точному приказанию сел на другой лавке против нас. Дорожным людям такой полдник не по нраву, и мы с Королем принялись за сулею, а жена моя за соты и булку. По окончании сей монашеской трапезы Ермил предложил осмотреть на досуге дом его и выбрать спальни. Все с охотою на сие согласились, а особливо Неонилла. Чистая половина дома состояла из трех покоев, и жене моей понравился самый дальний, в коем были два окна — одно в сад, а другое на улицу. Комната сия утверждена за нами.

— А я давно уже назначил себе опочивальню,— сказал Король,— которая мне весьма нравится. В саду твоем, Ермил, заметил я в углу клеть, где вероятно, хранятся садовые и огородные орудия. Если они разбросаны, то вели собрать в одно место и уложить в стороне, а на другой постлать побольше свежего сена. Приятнейшей спальни ты для меня во всем Батурине сыскать не можешь.

— Быть по-твоему,— сказал Ермил и вышел.

В скором времени явился он с сыном и работником, несшими топоры, гвозди и доски. Вошед в мою спальню, принялись за работу и, не будучи плотниками, в скором времени уставили у задней стены прочные подмостки. После сего началась выгрузка нашей брички, в чем и я с Королем участвовал, а Неонилла, оставаясь на месте, раскладывала приносимые нами вещи и приготовляла постелю. Мы так были трудолюбивы, что до заката солнечного не только моя спальня, но и Королева были совершенно готовы.

Ужин наш прошел весело. Ермил и его семейство окружали нас и прислуживали, стараясь предупреждать и малейшие желания. По окончании стола все распрощались. Анна, по приказанию свекрови, готовилась идти за Неониллою, дабы служить ей при раздеванье; но сия отговорилась, сказав, что с некоторого времени привыкла все, до нее лично относящееся, делать сама. Уединясь в спальню, мы принесли милосердому промыслу душевное благодарение за все помощи, доселе нам оказанные. После сего предались покою безмятежному.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I **Гетман и двор его**

Поутру все в доме занялись делами: Ермил поехал на базар с возом садовых плодов и огородных овощей; Король скрылся, не сказав куда и зачем; Глафира начала стряпать, а я с Муконом и Неонилла с Анною отправились за разными покупками. В полдень все собрались вместе. В привезенный мною шкаф уложены платья; в небольшом ларчике спрятаны деньги и дорогие вещи; в особенном сундучке находились женины снадобья, как-то: нитки, шелки, иголки и проч.; словом, мы спальню свою убрали так, как прилично семейным людям. Вечернее время проведено в саду вместе с хозяевами, из коих

каждое лицо, не исключая и четырехлетнего сына Муконова, старалось нам услуживать, сколько было сил у каждого. После ужина Король сказал:

— Через два дня, в наступающее воскресенье, ты увидишь, Неон, в церкви нашего великого гетмана Никодима. Он будет во всем блеске и великолепии. Друг мой! заклинаю тебя моею неизменяемою дружбою, полюби сего державного старца, при лице коего служить намереваешься. Так он сделал мне немало зла, но он действовал как оскорбленный отец и повелитель. Я охотно его прощаю и сделаю еще более: я стану сражаться под его начальством, ибо знаю, что знамена, его осеняющие, суть знамена моего отечества. Сколько противен мне Никодим лично, столько священно для меня его звание — гетмана всей Малороссии. Неон! привяжись к нему сердцем твоим и с его пользами соедини неразрывными узами свои пользы!

Так говорил Король, и взоры его казались воспламененными. Я приступил было к нему с вопросами; но он удалился, сказав:

— Что ясно, то не требует пояснений.

Не знаю, почему, но я охотно согласился с его мыслями, ибо чувствовал, что они не есть цель какого-либо честолюбия или своекорыстия, но побуждение одной любви к отечеству, стенающему под игом иноплеменным.

Настал первый день сентября, день воскресный, день нового лета [1], день рождения гетманова, коему исполнилось тогда шестьдесят два года. Сколько причин к торжествам всякого рода! Я оделся в богатое кармазинное платье, подаренное некогда Мемноном; Неонилла нарядилась в золотое парчовое. Она была так прелестна в моих даже глазах, что казалось, будто в первый раз вижу нимфу Овидиеву. Приметная округлость стана делала ее в глазах моих драгоценнее всего на свете. Кроткая, милая Мелитина, если иногда и приходила на мысли, то на одну только минуту, и то в виде какого-то воздушного явления.

Король, отпуская меня с Неониллою, Ермилом и Муконом в церковь, затуманился, и слезы навернулись на глазах его. Я не утерпел спросить: что за причина такой чувствительности?

---

[1] Известно, что до 1701 года новое лето начиналось 1 сентября. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

— Сын мой! — сказал он вполголоса, — позволь назвать тебя сим именем в награду моей любви к тебе, Неон! ты увидишь гетмана, увидишь человека, которого и я любил некогда, как отца своего! Я хотел бы тебе сопутствовать, но не должен! Сила закона всегда священна для душ непреступных. Меня выслали из Батурина для того, чтобы появление мое не огорчило взоров гетмана. Довольно дерзости с моей стороны, что прибыл в сей город; зачем же казаться в тех местах, где — как известно мне — непременно будет повелитель?

Пришед в соборную церковь, мы увидели чрезмерное стечение народа. Великолепие блистало со всех сторон. Уставив Неониллу среди женщин [1], я постарался найти себе место поближе к тому, где становится глава народа. Оно устлано было богатым ковром и осеняемо сверху покровом малинового бархата с золотою бахромою и такими же кистями. Вскоре суетливость духовенства и народа возвестила прибытие великого гетмана. Молчание распростерлось повсеместное. Сначала показалось около полусотни телохранителей, одетых в богатые черкески; они последуемы были важными чиновниками в блестящем убранстве, за коими шествовал державный старец. Стопы его были медленны, величие блистало во взорах, возвышенный рост и стройная осанка отличали его от всех прочих. Шествие заключалось знатнейшими гражданами Батурина и других городов Малороссии. Когда гетман проходил мимо меня, я почтительно преклонил голову и потупил глаза в землю; однако ж сие положение не мешало мне приметить, что Никодим кинул на меня благосклонный взор и сделал легкое потрясение головою. Во время священнодействия, хотя я усердно молился господу богу, благодаря его за все блага, столь нечаянно и незаслуженно на меня излиянные, однако сие не мешало мне почти беспрестанно смотреть на гетмана и ловить каждый из его взоров. По окончании богослужения он вышел из храма тем же порядком, как и вошел. Я вмешался в толпу его провожающих и последовал за ним до крыльца церковного. Тут подвели ему богато убранного коня; он сел и, окруженный телохранителями, медленно возвращался в свои палаты при пушечном громе и колокольном звоне. О, как наружное великолепие и блеск

[1] В Малороссии и до сего времени большею частью сохраняется обычай, чтобы в церквах женщины стояли от мужчин отдельно. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

умножают в нас благоговение к державным особам! Какая разница между гетманом, окруженным своими телохранителями, сопровождаемым знатнейшими лицами и бесчисленным множеством народа, и консулом переяславской бурсы посреди своего сената, окруженным ликторами и целерами, хотя и последнего власть довольно значительна на своем месте!

Соединясь с Неониллою и своими спутниками, я собирался отправиться домой, как подошел ко мне незнакомец и сказал отрывисто:

— Великий гетман Никодим обратил на тебя высокое внимание и желает знать, кто ты, откуда и зачем прибыл в столицу?

Будучи гораздо прежде научен Королем, как поступать в подобных случаях, я отвечал непринужденно:

— Имя мое Неон, по прозванию Хлопотинский, по месту рождения принадлежу я Переяславскому полку. Отец мой был шляхтич и умер в походе противу татар, матери также я лишился; а приехал в Батурин посвятить себя на службу отечеству и желал бы определиться в полк гетманский.

Получа сей ответ и расспрося о месте моего жительства, незнакомый удалился, и мы возвратились домой.

На другой день все принялись за работу. Неонилла, отобрав платья своей матери, атласные, бархатные и парчовые, нашла, что они, несмотря на ее беременность, гораздо широки; почему и начала переделку по своим девическим платьям. Сидя подле нее, я читал вслух патерик, Минеи-Четьи и другие церковные книги, ибо достать светских на польском языке нельзя было иначе, как покупкою на ярмарках, бывающих в Батурине два раза в году, по зиме и по лету. Король большею частию находился в саду, где помогал Ермилу и Мукону собирать остатки плодов и овощей и учил обоих, как сохранить оные без вреда до новых. Так прошло время в продолжение всей недели, и в воскресный день я и Неонилла в сопровождении по-прежнему Ермила и Мукона отправились в церковь. По совету Короля я и жена моя оделись гораздо простее противу прежнего. Гетман также был во храме в одеянии, мало чем отличающем его от высоких сановников. Он заметил меня и, возвращаясь из церкви, сказал мимоходом одному из сопутствовавших войсковых старшин: «Представь ко мне сего молодого человека во дворце». Мгновенно четыре телохранителя окружили меня, и я — едва

успел сказать Неонилле: «Ступай домой и жди меня» — должен был идти с ними по следам гетмана.

Вошед во дворец, я могу сказать, что не был ослеплен великолепием оного. Блеск и богатство, всюду мною виденные, были так велики, что я сейчас решился ни на что не обращать особенного внимания и тем предохранить себя от неизбежного замешательства и насмешек.

Гетман с приближеннейшими своими удалился во внутренние покои, а я остался в огромной комнате, где множество знатных людей, малороссиян, черноморцев и поляков, в блестящих одеждах, взад и вперед разгуливали. Иные были веселы и мололи всякий вздор; другие задумчивы и неохотно отвечали на делаемые вопросы; третьи попарно, или по три и по четыре человека, отошед в угол, шептались между собою; четвертые — казавшиеся совсем без нрава и занятия — похаживали важно по комнате, смотрелись в зеркала, закручивали усы, полуобнажали сабли и явно всем рассказывали, каких трудов стоило им изучение искусства биться на поединках, зато и сделались они совершенными наездниками. Между тем придворные служители набрали большой стол и уставили оный водками, винами и разными кушаньями, каких прежде я и не видывал. Все многолюдство обратилось к сему привлекательному предмету,— да, правду сказать, и время такое было. Один я, не смея даже шевельнуться, и подавно не осмеливался приблизиться к цели общего обольщения, а стоял у окна, как на горячих угольях. Вдруг входит странный человек, который привлек все мое внимание. Летами казался он немного моложе гетмана. Росту был несколько ниже малого, но зато плотен, даже толстоват и одет великолепно. Верхнее платье его было бархатное; правая сторона красного цвета и вышита золотом; левая — синяя, вышитая серебром. Сапог на правой ноге был черный с преогромною серебряною шпорою, на левой — красный с такою же золотою; парчовый пояс унизан был жемчугом и каменьями. Едва показался он в комнату, как со всех сторон поднялся вопль: «Куфий, Куфий! милости просим!» Куфий поворачивался на все стороны, подавал с благосклонным видом руки свои то тому, то другому и, дошед в таком торжестве до стола, опорожнил золотой кубок водки. После сего, разгладя ужасные усы, висевшие на целую четверть ниже челюстей, сказал:

— Что слышно нового?

— Кому лучше и скорее знать всякую новость, как не тебе, Куфий? — отвечали знатнейшие из присутствующих.

— То-то и диво,— говорил Куфий,— что я сегодня в немилости. Когда проснулся, то гетман был уже в церкви, а теперь он так пасмурен и дик, что, лишь только я показался, сейчас приказано выйти и без особенного позволения к нему не являться.

— Вот подлинно новости! — вскричали многие.— Бедный Куфий!

— Нет,— отвечал сей,— Куфий не так-то беден, как вы думаете! Берегитесь, чтоб кому-нибудь из вас не быть в накладе!

— С кем теперь гетман?

— С одним Еварестом, полковником стародубовским. Но кто этот молодой казак, у окна стоящий? Как он зашел сюда? Для чего не пригласите вы и его к завтраку?

— Это,— сказал пожилой польский сановник,— по-видимому, какой-нибудь малороссийский шляхтич, который приехал ко двору предложить посильные услуги, лишь бы его одели, дали клячу и — кусок черного хлеба.

— Все не мешает, пан Казимир,— сказал Куфий.— Пусть он и нищий дворянин; но как скоро господь бог сподобил его взобраться в чертоги своего гетмана, то не должен выйти из них с засохшим горлом и пустым желудком. Ах! сколько наш старый простак Никодим питает польской саранчи, которая за его же хлеб-соль над ним издевается и строит козни!

С сими словами он налил золотой кубок какого-то напитка, подошел ко мне и сказал:

— Будь веселее, молодец; ты в доме честного старика Никодима. Выпей и ступай к столу. Не смотри, пожалуй, на этих польских хвастунов и подражателей их, безмозглых земляков наших.

Едва я протянул руку, чтоб взять кубок, как быстро вошел Еварест — имя его узнал я вскоре — и, приближась ко мне, спросил:

— Ты тот молодой человек, которому гетман велел следовать за собою?

— Я!

— Ступай за мною!

Следуя за сим проводником, я успел заметить, что

толпа знатных собеседников находилась в крайнем изумлении. Полные чарки, быв поднесены ко ртам, остановились в руках, и, по установлении снаряда сего опять на подносы, каждый шептал своему соседу во услышание всех: «Возможно ли? Кто этот молодой шляхтич?» В третьей уже комнате Куфий нагнал меня, обнял и сказал весело:

— Добрый знак! Пойдем вместе. Где допускается приезжий, там искренний друг и подавно не лишний!

Глава II Есаул

Прошед длинный ряд комнат, одна другой пространнее, одна другой великолепнее, вступили мы в небольшой покой, в коем находился гетман. Я стал в отдалении и в безмолвии ожидал повелений. Куфий подошел к нему и с соучастием сказал:

— Ты мне кажешься, Никодим, с недавнего времени или не совсем здоров, или сердит. Неужели затеи поляков тебя беспокоят? Плюнь на этих бестолковых и более надейся на свое храброе, верное войско. Божусь, что если до чего дойдет, то я сам, вот этою рукою, не одному поляку намну чуб и растреплю усы. Жаль только, что русский царь позамедлил; зима на дворе, а зимою хорошо только сидеть в теплой хате и пить наливки или заморские вина.

Гетман, осмотрев меня внимательно, дал знак, и я предстал к нему твердыми шагами.

— Имя твое, молодой человек?

— Неон, по прозванию Хлопотинский.

— Имя отца твоего и матери?

— Отца моего звали Ипполитом. Он урожденный шляхтич Переяславского полка. Находясь в последнем походе против крымских татар, он умер от ран; мать моя, Анфиза, получа о сем сведение, последовала за ним во гроб. Оставшись сиротою, я продал наследственное имение и, слыша, что ты готовишься к войне, явился в Батурин, чтобы умножить собою число храбрых сподвижников за свободу и честь отечества.

— Не правда ли, Еварест,— спросил гетман после некоторого молчания,— не правда ли, что сей молодой человек имеет чрезвычайно сходные черты в лице с двумя известными тебе особами? С первого взгляда я поражен был сим необыкновенным сходством и покушался думать, что он сын их; но теперь вижу, что обманулся. Как многоразлична природа в своих изменениях! Итак, ты, Хлопотинский, желаешь служить под знаменами Малороссии противу ее утеснителей? Хорошо! Наружность твоя мне нравится, ибо она обещает мужество души и крепость тела. Я принимаю тебя в число ратников полка моего. Завтра поутру явись к полковнику Еваресту, яко главному твоему начальнику, и он прикажет дать тебе приличную одежду и вооружение.

После сего он кивнул головою, я сделал почтительный поклон и намеревался выйти; но Куфий, подскочив ко мне с веселым видом и схватив за руку, сказал:

— Пойдем вместе; наш завтрак пропадать не должен!

Он повел меня обратною дорогою, и когда достигли мы прежней комнаты пиршествующих, то Куфий вскричал:

— Посторонитесь все! Никодим поручил мне попотчевать сего молодого шляхтича, яко нового своего телохранителя, и не будь я Куфий, если он в скором времени не выскочит в люди!

Прочие собеседники, предполагая ласковый прием гетманский, о чем безошибочно заключали из ласк и приветливости нелицемерного Куфия, стали обходиться со мною вежливее, чем за полчаса дотоле; однако еда и питье не шли мне на ум: я нетерпеливо желал рассказать Неонилле и Королю о следствиях свидания моего с гетманом, простился с добрым Куфием и бросился к жилищу Ермилову.

Всякий догадается, с каким нетерпением дожидались меня милая жена и добрый друг!

— Ну, Неон,— сказал последний, выслушав рассказ о моем приеме у гетмана,— теперь уже от тебя зависеть будет идти ко храму счастия проложенною дорогою; помни мои наставления, тебе деланные и какие впредь сделаю. Сколько приметно, то наступающая зима пройдет в мире. В течение сего времени приготовь себя исподоволь ко всем неприятностям, какие неминуемо встретят воина на полях брани.

На другой день рано поутру, когда Неонилла покоилась еще сном безмятежным, я оделся и быстро пошел ко двору гетмана. Мне нетрудно было найти жилище полковника Евареста, жившего во дворце, и как скоро объявил свое имя, то стоявший у дверей часовой велел мне войти в ближнюю комнату, переодеться в приготовленное платье и вооружиться. Я исполнил по сему приказанию, надел синюю куртку, такие же шаровары и черкеску красного цвета, препоясался саблею и в руки взял копье. Когда я был готов, то вошедший есаул (о звании его я сейчас догадался по наставлению Диомида) велел мне следовать за собою. Мы прошли обширным задним двором и очутились на пространном лугу, где увидел я более тысячи подобных мне рыцарей, гордо сидевших на конях и оказывающих удальство свое различным образом. Мне также подвели коня; я сел и начал, подобно другим, кружиться, скакать, обращаться назад и опять скакать с быстротою ветра. В сем занятии провели мы часа два, и громкий звук трубы раздался по лугу. Мы построились все в ряды, и полковник Еварест, в сопровождении сотников и есаулов, явился перед нами. Он проехал насквозь ряды и движением сабли разделил на шесть частей, означив каждой время должности. После сего мы спешились, и я со многими другими поведен ко дворцу. Некоторые из моих товарищей расставлены у разных входов на дворе, другие — у наружных ворот в сад, а я введен во внутренние покои. Уставя меня у дверей великолепной комнаты, провожающий нас сотник сказал:

— Должность твоя, Хлопотинский, состоит: в эту комнату, непосредственно ведущую во внутренние покои гетмана, не пропускать никого, кто не покажет на бумаге слепка сей печати, висящей у дверей на золотом снурке. Из сего исключаются только полковник Еварест, Куфий и дневальные: войсковой старшина, сотник и есаул, которых безошибочно узнать можешь по золотым поясам. Здесь пробудешь ты четыре часа; после чего я сменю тебя другим, и ты пойдешь куда хочешь. Завтра, едва лишь рассветет, являйся опять на гетманский луг и жди новых приказаний. Вот вся твоя должность, пока гетман или Еварест не возложат особенной.

Я провел у сих дверей объявленные мне четыре часа, то стоя на месте, то сидя, то похаживая взад и вперед. Многие важные чиновники, как малороссийские, так и польские, проходили заповедные двери, показав нужные

отпечатки, которые давали им на то право. Пред окончанием моих служебных часов Куфий появился, узнал меня, весело подошел и сказал:

— Здравствуй, Хлопотинский! Приятна ли показалась твоя должность?

— Как скоро мое занятие составляет должность,— отвечал я,— то оно не должно быть скучно или тягостно.

— Браво! — вскричал Куфий,— за такой ответ ты достоин быть поскорее есаулом! Ах, как мне хочется дождаться весны, когда начнут резаться храбрые люди. Что касается до меня, то я — несмотря, что слыву недальним человеком,— считаю себя умнее многих тысяч так называемых умников. Я люблю смотреть на сражения издали. Если наших поколотили, я по крайней мере остаюсь цел; если же мы возьмем верх, то первый явлюсь на торжественных пиршествах и наемся и напьюсь исправнее тех, которые вышли из сражения кто без руки, кто без ноги, кто без глазу, без носу, с оторванными усами и взъерошенными чубами.

В самую сию минуту явился гетман. Я распрямился как стрела и приклонил к ногам его копье свое. Он взглянул на меня благосклонно и, обратясь к моему собеседнику, сказал:

— Куфий! если у нас дойдет до войны с кем-либо из соседей, то мне советуют вверить тебе целый полк, доказывая, что ты — храбрец первостатейный.

— Если советники твоего высокомочия,— отвечал Куфий,— полагают храбрость с жареными индейками, курами и зайцами, то они правы, и я на сем поприще не уступлю и Александру Македонскому; если же в драке с чужеземными забияками, то они солгали, и ты будешь очень прост, если им поверишь. Нередко приходило мне на ум осмотреть всего себя внимательно, и, воспламенясь жаром воинственным, я спрашивал: «Скажи, любезный друг Куфий, которого из членов, данных тебе природою, охотнее согласишься лишиться на сражении?» После сего щекотал у себя ребра, дергал за волосы, щипал ляжки, кусал на руках пальцы и чувствовал, что везде больно. Будучи нарочито не глуп, я тотчас смекнул, что милосердый бог создал меня человеком во всем совершенным не для того, чтобы я, по дерзости и безрассудству, делался калекою и оборотнем.

Гетман улыбнулся и, уходя, сказал:

— Куда как много было бы хорошего, если б все так думали, как ты!

— Гораздо более было бы добра,— вскричал вслед ему Куфий,— если б на земле не было других жителей, кроме хомяков, кротов, зайцев и других им подобных, нежели когда бы населена была одними волками и медведями.

Урочные часы мои прошли; я сменен и, увязав домашнее платье в узел, пошел домой. Как был я весел, как легок и свободен. Из сего заключил я, что точное исполнение обязанностей, возлагаемых на нас отечеством и нами признанных справедливыми, есть великое утешение во всех обстоятельствах жизни. Неонилла и Король встретили меня с отверстыми объятиями, и все семейство Ермилово приносило нелицемерные поздравления о счастливом начале моего служения.

Как сей день, так — или почти так — прошли пять месяцев. Мне случалось отправлять службу то у самой опочивальни гетмана, то у его конюшен, у сада, под открытым небом, и я, несмотря на трескучие морозы, на бури, вьюги и всякого рода непогоды, никогда не терял своей бодрости. Когда руки и ноги от холода костенели, я говорил: «Потерпи, Неон! Неонилла отогреет тебя в своих объятиях!» Сия мысль вливала теплоту в кровь мою; я напевал духовные песни, и неприятные часы неприметно пролетали.

Во второй день февраля, в праздник сретения, лишь только появился я на сборном лугу, как дневальный сотник приказал идти за ним. Я вошел в приемную палату, и о сем доложено дневальному старшине, который по порядку пошел уведомить полковника Евареста.

— Зачем меня сюда призвали? — спросил я у сотника.

— А какая мне и тебе до сего нужда? — отвечал он,— про это знает старший.

Не прежде как через час меня представили гетману.

— Хлопотинский! — сказал он милостиво,— я службою твоею доволен и хочу наградить. Поздравляю тебя есаулом в полку моего имени.

Я пал пред ним на колени и с безмолвным умилением облобызал десницу старца.

— Встань, есаул! — говорил он,— если ты и впредь с таким же старанием, ревностию и терпением будешь проходить военное поприще, то без воздаяния не оста-

нешься. Поверь мне, что в молодые лета и я немало вытерпел, пока отечество поручило в распоряжение мое судьбу свою. И я перенес много горя, пока препоясался мечом гетманским и взял в руку булаву повелительства. Ступай к новой своей должности.

Едва дошел я до прежней палаты, как приведший меня сотник взял за руку, поздравил с милостию и ввел в особую комнату, где я переоделся в другое платье, соответственное новому званию. Оно было точно такое же, как и прежнее, но сукно гораздо тонее, и черкеска по краям выложена золотым галуном, а за спиной висели две такие же кисти. Копье не принадлежало уже к моему вооружению.

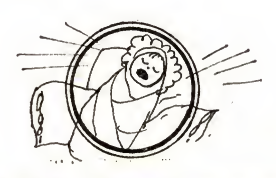
— Сегодня,— продолжал сотник,— со вверенными пятьюдесятью всадниками будешь провожать гетмана до соборной церкви. Для услуг тебе назначен конный казак, который навсегда при лице твоем и останется, пока будешь сам на службе.

Я взлетел на хребет коня своего, коего убор нарядностию отличался от убора коней всадников низшей степени. Когда звук колоколов раздался по стогнам батуринским, гетман, имея по левую руку стародубовского полковника, сопровождаемый множеством войсковых старшин и сотников, сошел с крыльца и сел на коня. Я, последуемый моею дружиною, поехал за ним сколько можно чиннее. Мне казалось, что взоры встречавшегося народа устремлены были не на великого гетмана Никодима, а на нового есаула Неона. «О родители мои! — думал я,— если бы видели теперь своего сына, то вам не для чего было бы стыдиться!»

Подъехав ко храму, мы спешились и торжественно вошли во внутренность. Тщетно оборачивался я на все стороны, чтобы увидеть Неониллу, или Короля, или Ермила, или по крайней мере кого-нибудь из его семейства; никого не было. Тут спесь моя исчезла, а вместо оной тоска стеснила мое сердце. Я не предвидел причины, для чего бы набожная жена моя могла пропустить такой великий праздник, не отслушав обедни, а особливо в ее положении, которое день ото дня становилось затруднительнее. Более всего тревожило меня то, что я не видал ее с самого вечера, ибо Неонилла, будучи еще так неопытна в настоящем состоянии своего здоровья, с нескольких недель уже ночевала одна в своей спальне, имея в той же

комнате или Глафиру, или Анну, спавших на полу возле кровати; а я с Королем опочивали в небольшом теплом чулане, примыкавшем к кухне, куда друг наш переместился из сада при наступлении глубокой осени.

По окончании священнодействия я проводил гетмана до дворца, а там и до приемной палаты; когда же он удалился во внутренние покои и посетители, по обыкновению, окружили стол с завтраком, я, несмотря на все приглашения приятеля Куфия, выбежал вон, бросился на коня и, подобно стреле, пущенной рукою сильного наездника, в сопровождении приставленного ко мне казака пустился к своему пристанищу.



Глава III **Новое торжество**

Надобно думать, что Король видел меня в окно; ибо, едва только вступил я в сени, как он меня встретил и поздравил с повышением.

— Это очень хорошо,— говорил он,— но в жилище нашем найдешь ты нового гостя, прибытию коего не меньше рад будешь, как и новому чину.

— Кто же такой? — спросил я, вступив в светелку и стирая снежную пыль с усов и чуба.— Неужели Мемнон с Евлалией и Мелитиной? Правда, я очень люблю сие почтенное семейство; но желал бы, чтоб посещение оного было сделано гораздо позже, именно, когда Мелитине сыщут достойного жениха и выдадут замуж.

В самую ту минуту боковая дверь отворилась, и Глафира вошла к нам, держа на руках спеленного младенца.

— Неон,— сказал Король,— вот гость, который задержал дома Неониллу. Обойми своего сына!

Я обомлел от радости, поцеловал со слезами дитя, благословил его и бросился к Неонилле. Взоры ее были томны, щеки бледны; но никогда милее, никогда драгоценнее она мне не казалась. При воззрении на меня она протянула слабую руку, которую в безмолвии осыпал я поцелуями.

— Неонилла! — вскричал я с восторгом.— Ах! сколь-

ко счастливым ты меня делаешь! Да будет над тобою всегдашнее божие благословение.

— Друг мой! — сказала она тихо,— чтоб в полной мере чувствовать радость, нам необходимо нужно иметь и родительское благословение. В те минуты, когда я давала бытие новому жителю мира и не уверена была в своей собственной жизни, весьма чувствовала истину слов, сказанных в Святом писании: благословение отца и матери строит детям домы, а их клятва разрушает оные. Как скоро даст бог мне оправиться, мы оба пошлем в Переяславль к отцу моему повинную и с покорностию будем умолять о прощении.

— Все это сделаем,— сказал я,— но в свое время; теперь будь покойна и не тревожь себя мрачными мыслями.

Священник прибыл, и по моему настоятельному требованию дитя названо Мелитоном.

— Пусть по крайней мере,— говорил я Королю,— это имя припоминает мне всю красоту, любезность и невинность, кои некогда прельщали меня в виде девицы, которую и теперь еще люблю со всею нежностию брата.

На другой день усердный денщик мой, Сисой, раз двадцать должен был напоминать, что пора ехать во дворец. С неописанным чувством сожаления расстался я с Неониллою и сыном; да и то Король принужден был вывести меня из спальни за руку. Дорогою ехал я шагом, и должность моя в первый раз показалась тягостною. Вступив в приемную палату, я не сделался веселее. Посетителей время от времени набиралось более и более; они шутили, рассказывали забавные происшествия, накануне в столице случившиеся; но меня ничто не трогало; мне беспрестанно мечталась Неонилла, держащая у груди маленького Мелитона. Хотя я знал и был уверен от Глафиры и Анны, что как мать, так и дитя вне всякой опасности, однако же вздыхал и беспрестанно погружался в задумчивость. Около полудня я разбужен был от такого усыпления легким ударом по плечу; осматриваюсь — и вижу Куфия, кивающего головою с видом удивления.

— Что это значит, пан есаул,— сказал он со смешною важностию,— что на другой день после производства ты так расстроен, как будто обошли тебя! Более двадцати лет верчусь я во дворце гетмана, а такого дива не видывал!

— Друг мой! — отвечал я со вздохом,— иногда человек невольным образом кажет вид печальный, когда можно бы и усмехнуться.— Тут рассказал я о домашних обстоятельствах.

— Ба, ба! — вскричал Куфий,— зачем же давно о сем меня не уведомил? Я знаю Никодима, как самого себя. Хотя он любит строгий порядок в службе, но никогда не забывает человечества. Останься здесь и жди меня.

Около часа я пробыл в неизвестности, что Куфий собирался для меня сделать. Наконец появился он, таща за руки полковника Евареста и дворцового казначея Уврикия, которые не могли довольно насмеяться его суетливости.

— Чему смеетесь вы, пустоголовые? — говорил он.— Если б кто сказал: «Уврикий! ангел-истребитель посетил кладовые, смотрению твоему вверенные, и половины гетманских сокровищ не стало!» А тебе: «Еварест! ангел-хранитель ниспослал благодать на дом твой: все твои кобылы родили жеребенков из чистого золота с жемчужным прибором!» Что бы вы сделали? Не каждый ли из вас сломя голову бросился бы один в подвалы, а другой в конюшни? То-то же, бестолковые!

Когда сии сановники подведены были ко мне, то Еварест, приняв степенный вид, сказал:

— Неон! Великий гетман по случаю рождения у тебя сына оказывает новые знаки особенного благоволения: он желает быть восприемником новорожденного и приказывает мне совершить его именем святой обряд сей; на память же таковой милости увольняет тебя на три дни от должности и дарит жене твоей два куска парчи, а тебе двести злотых. Ступай теперь за Уврикием и возьми подарки. Завтра, во время вечерен, присылай в соборную церковь сына, а я, по окончании обряда, буду в твое жилище. О приискании кумы не беспокойся; я привезу с собою сестру свою Асклиаду.

С сими словами он пошел назад в покои гетмана, а я — пораженный такою неожиданною милостию властелина — поплелся за Уврикием в его кладовые. Он выбрал два куска прекрасной парчи, один золотой, другой серебряный, испещренных цветами, каких лучше и блистательнее в самой природе едва ли сыскать можно, и, вручив мне оные вместе с двумястами злотых, расстался. Отведши Куфия на сторону, я просил его принять поло-

вину подаренных мне денег. Он отскочил на три шага и, помолчав несколько, сказал полусердито:

— Ты должен быть не очень разумен, когда в целые почти полгода так мало узнал Куфия! Не верь, когда говорят тебе, что веселые люди, забавляющие знаменитых особ в часы скучные, от которых и они не могут укрыться, ничего доброго даром не делают. На все есть своя уловка. Если бы Еварест за какую-нибудь услугу, мною ему оказанную, предложил пятьсот злотых, я сказал бы ему в глаза: «Бесстыдный скряга! этого очень мало!» Но от Неона Хлопотинского, который только что начинает подниматься на ноги, взять сто злотых, может быть, половину всего имущества, для Куфия кажется слишком много. Ступай с богом к своей жене и не трать по-пустому данных тебе трех дней на веселье; а если на четвертый служба ничего не потерпит, то ты преисправный малый, какого только желать надобно. На крестинном пиру и я побываю.

С каким восторгом скакал я к Неонилле; мой казак Сисой едва издали мог за мною следовать. Хотя жена моя в нарядах, а я в деньгах не имели никакой надобности, но мысль, что везу с собою знаки особенной милости повелителя, давала мне новую бодрость, новые силы. Если бы в то время кто-нибудь сказал: великий гетман Никодим хочет, чтобы ты, Неон, с высокого утеса бросился в пропасть, думаю, что ни одною минутою не замедлил бы исполнением. Так-то оковывает сердца наши благодарность за благодеяния.

Я предложил Неонилле подарки и Королю объявил о всем бывшем.

— Это очень хорошо,— сказал Диомид после некоторого молчания,— но мне очень досадно, что не могу быть с тобою в такой радостный день!

— Как! — вскричал я,— мой друг, мой вернейший друг не будет участвовать в таком торжестве, которое возрождает меня в другом виде? Нет, Диомид! я не выпущу тебя из своих объятий, и ты непременно будешь на крестинах.

— Неон! — сказал Король,— конечно, чтобы не показаться странным, я обязан сказать причину моего поступка. Знай же: Еварест — второй друг мой после Мемнона, а сестра его Асклиада была некогда моею невестою. Связь моя с отцом твоим лишила меня имения и жены, ибо вскоре после моего изгнания из Батурина Ас-

клиада вышла за Марсалия и теперь мать многих возрастных детей. Во всем Батурине, кроме Евареста, Куфия и Ермила с семейством, никто не знает о моем здесь пребывании, и если Еварест объявил тебе, что сестра его будет кумою, то сим самым потаенно давал мне знать, чтобы я на ту пору, как она будет в сем доме, скрылся. Как Асклиаде не узнать Диомида, а она ничего не должна знать о сем. Да, Неон! если гетман так скоро обратил на тебя милостивое внимание и отличил от прочих, хотя — согласись сам — ты не имел еще ни времени, ни случая порядком отличить себя, то сим обязан ты стараниям Евареста и Куфия, которые знают твоих родителей и всячески пекутся помирить их с гнетущею судьбою. Ты понимаешь, что обнаруживать сего перед ними отнюдь не надобно, а должно продолжать обращение попрежнему, как с посторонними людьми. Ты не смотри, что Куфий нарядил себя в шута: это сделано в угодность гетмана, которому хотелось — в самом начале его господства — иметь человека, который бы, не навлекая на себя злобы и мщения, мог всенародно пристыдить знатного бездельника и оправдать невинного несчастливца; а до того времени Куфий служил в полку телохранителей сотником и отличал себя остротою ума и добросердечием. Один гетман и его приближенные сановники настоящим образом понимают Куфия; все же прочие считают самым злобным шутом и боятся его, как огня, наводнения и язвы.

На другой день, едва раздался звон вечернего колокола, в жилище наше прискакал есаул с несколькими казаками объявить, что Еварест и Асклиада отправились уже в соборную церковь. У нас все было готово; бричка подвезена, и укутанный малютка на руках Глафиры отправился во храм, а я с целым домом начал приготовляться к приему гостей. Когда все приходило к концу, то и не заметил, как Диомид скрылся. Сколько остававшаяся при жене моей Анна его ни искала, но тщетно. Наконец Еварест, в сопровождении множества гетманских телохранителей, показался, за ним следовала Асклиада. Я встретил их с надлежащим почтением и дружески обнял Куфия, который, прыгая пред Глафирою, несшею нового христианина, вскочил в светелку. Весь вечер до самой ночи, проведен очень весело. Еварест, при всей важности, был ласков и вежлив. Смотря на его открытый вид, его благосклонные слова ко всякому, даже

к Ермилу и жене его, я говорил сам себе: «Кто подумает, что это старший полковник во всей Малороссии и по кончине Никодима, вероятно, провозглашен будет великим гетманом? Не скромнее ли он, не приветливее ли, чем самый скромный и приветливый консул в переяславской бурсе? Чудное дело политика, которой учили меня в семинарии, и я ничему не научился».

К полуночи все гости разъехались, и почти в ту же минуту явился Король. Домашнее веселие началось снова, но ненадолго, и когда мы отправлялись в свою опочивальню, то товарищ сказал:

— Неон! ты уволен от должности на три дня, докажи, что умеешь беречь время, и завтра явись во дворце.

Я дал слово — и сдержал его. Еварест при многочисленном собрании похвалил меня за такую ревность, а Куфий, вертясь на одной ноге, провозгласил:

— Божусь, что на его месте другой, а особливо воспитывавшийся в Варшаве, утянул бы четвертый день и нашел чем отговориться.

По прошествии нескольких дней Неонилла настолько оправилась, что могла уже участвовать в наших беседах. Взоры ее стали проясняться, и румянец поалил щеки. По ее замечанию мы обязаны были о настоящих своих [делах] уведомить Истукария и Мемнона, первого как отца, а второго как друга, принимающего в судьбе нашей истинное участие. Вследствие сего нанят был надежный казак, который и отправился с нашими посланиями, моим — к Истукарию, а Королевым — к Мемнону. Я не преминул извиниться пред тестем, сколько можно учтивее, называл его высокопочтенным мужем, жену его милосердою госпожою, а сына их молодцом милым, храбрым, разумным. Говоря о благосклонности ко мне властелина, я не преминул употребить самых звонких выражений, а надежду на будущее представить в самом блестящем виде. Неонилла приготовила особое письмо, в коем также, не унижаясь, впрочем, ни на вершок, оправдываясь в своевольном поступке, просила прощения и возврата родительской любви. Она заключила следующим замечанием: «В шестнадцать лет я не понимала сама себя и по воле вашей, родители! отдала руку ненавистному Памфамиру. Каждый день, живучи в его доме и слывя женою, не будучи таковою ни на одну минуту, я проклинала жизнь свою, ибо она исполнена была страданий. И самый маленький червяк копошится и хло-

почет, если встретит притеснение. На девятнадцатом году я стала несравненно умнее; сердце мое само собою отдалось предмету любви его. Вы хотели, родители, соединить меня опять с бездушным и бестелесным Варипсавом, но Неонилла была уже не шестнадцати лет. Со слезами прошу у вас прощения и надеюсь получить его. Если же сердца ваши отвердели подобно камня, то я и тут унывать не буду: под сению любви, дружбы, душевного спокойствия невинных радостей я надеюсь быть счастливою! Каков бы ответ ваш ни был, любезные родители, я всегда благословляю память вашу и молю бога о вашем здравии и смягчении сердец, если они в самом деле окаменели».

Ровно через месяц, в семнадцатый день марта, посол наш возвратился и привез целый узел писем и посылок. Евлалия, жена Мемнонова, при особом письме прислала небольшой образ в золотом окладе, осыпанный дорогими каменьями, несколько ниток жемчугу и мешок с золотыми деньгами. Такая щедрость заставила нас удивляться и в безмолвии благодарить бога, даровавшего таковых благотворителей. Мемнон писал к Королю, и хотя в словах его проскакивала тень какого-то неудовольствия насчет скоропостижной моей женитьбы, однако оно растворяемо было кротостию и любовию. «В отношении любви,— писал он, между прочим,— никто не избежит судьбы своей, никто не должен говорить: я поступил бы иначе, гораздо умнее, расчетистее. Где расчет, там нет и тени любви. Весь ум Неониллы да заключится в том, чтоб заставить мужа любить себя постоянно. Когда сего достигнет, то оба счастливы, и на сем да оснуется общий расчет их».

Вельможный пан Истукарий не столько был сговорчив. Он удостоил нас следующею грамотою:

«Беспутные! ты, бурсак Неон, и ты, беглянка Неонилла.

Вы осмеливаетесь называться детьми моими. Но, кроме Епафраса, я детей не имею. Была у меня и дочь, но она погибла невозвратно. Кто передо мною произносит ваши гнусные имена — если он чужой, я нечестно выгоняю из дома; а если свой, то даю ему добрую пощечину. Вперед ко мне не пишите, я и без того найду вас, и тогда — Неонилла в монастыре оплакивать будет свое безумие, а бурсак поплатится и дороже».

Глава IV Поражение

В продолжение зимы гонцы царя русского беспрестанно приезжали в Батурин с уведомлением, что вспомогательное воинство готово немедленно отправиться в путь. Настала весна; леса опушились зелеными листьями; ледяные оковы растаяли; вся Малороссия возмутилась. Полковники со своими полками разбили шатры на полях батуринских, полчища охотников к ним примыкались; гетман ожидал только появления московитян, чтобы со своим полком двинуться из стен столицы и, совокупя все силы, идти по дороге к Киеву.

Между тем один из евреев, посланный примечать за всеми движениями поляков, возвестил, что киевский воевода, исполняя повеления двора варшавского, собрал небольшое ополчение и выступил с ним в поле, ожидая значительной помощи. Никодим, получа о сем сведение, встрепенулся; жар юности озарил румянцем его ланиты; он препоясался мечом и, окруженный сонмом избранного воинства, выступил в поле. При сем случае я пожалован в сотники на место одного поляка, который наряду со всеми одноземцами своими взят под стражу. Гетман объявил всенародно, что начальство и угнетение со стороны Польши поставили его в необходимость искать защиты у царя православного, что помощь сия готова и скоро появится, а между тем и одних собственных сил достаточно, чтобы напору буйных врагов поставить преграду.

Я не буду описывать слез, пролитых мною и Неониллою при расставанье. Мы оба очень чувствовали, что ими хода дел не переменим. Я вырвался из ее объятий, благословил сына и — со вверенною мне сотнею примкнулся к полку гетманскому, предводимому самим повелителем и составлявшему средину воинства. Над правым крылом начальствовал Еварест, а над левым — Полтавского полка полковник Каллистрат. Король, окруженный дружиною собранных им охотников, следовал за гетманом. Звук труб, ржание коней, говор воинства и резкий стук оружия наполняли воздух. Необыкновенное волнение

крови произвело в груди моей трепетание сердца. Я горел нетерпеливостию сразиться, но непонятная робость, ненадеянность на свои силы повергали меня в уныние; однако ж один взор Короля возвращал душе моей прежнюю бодрость: я чувствовал себя богатырем, досадовал, что не встречаю неприятеля, и молил бога представить его поскорее.

Молитва моя услышана. Немного за полдень третьего дня, когда и людям и лошадям нужно было отдохновение, мы получили приказ остановиться в тени густого леса, в виду нашем синевшегося. Увы! проклятый сын Евера, по рассказам коего мы действовали, жестоко обманул нас. По уведомлению сего жида, употребленного, как сказано выше, шпионом, не прежде думали встретить неприятеля, как на пятый или шестой день похода; а вместо того, едва только остановились, как туча ядер и пуль на нас обрушилась. Мы все оторопели и совершенно не знали, что делать, ибо, кроме деревьев и кустов, ничего не видали перед собою; люди падали, беспорядок умножался. Гетман дал приказание отступить и построиться; но едва мы обратились к лесу тылом, как неприятельская конница, подобно ужасной волне, показалась из лесу и на нас устремилась. Мы опять начали обращаться, дабы сколько-нибудь защитить себя. Побоище сделалось ужасное, но неровное. Ряды наши расстроились; один сражался, как лев, а двое бежали, как зайцы; гетманское знамя пало на землю и скоро развеялось в руках неприятельских. Король поражал, как стрела молнии; но что значит один орел противу огромной стаи ястребов? Конь под ним убит, и он опрокинут на груду пораженных. Я получил в левую руку рану от ружейной пули, и саблею рассекли мне лоб. Льющаяся кровь заслепила глаза; я оборотил коня и дал ему свободу скакать по его усмотрению. Целое поле усеяно было беглецами.

Верстах в пяти от сего пагубного места рассеянные толпы начали собираться. Еварест, подобно уязвленному вепрю, метался во все стороны и соединял в одно место рассеянных сподвижников. Время от времени толпа наша увеличивалась, ибо сей полковник послал во все концы небольшие отряды, которые должны были приводить к нам шатавшихся по полям и лугам и скрывавшихся в буераках. К величайшему моему удивлению и радости, вскоре после солнечного заката явился Король, которого считали погибшим. Он был ранен в щеку и

грудь, однако казался бодрым, как будто после одержанной победы.

— Итак,— сказал он, обняв меня и Евареста,— первая попытка наша неудачна! Сами виноваты! Как можно, положась на слова одного изменника, жертвовать тысячами? Надобно поправить ошибку, хотя и трудно!

Вдруг ужасная весть погрузила всех в отчаяние. Достоверно узнано, что гетман не избежал плена; верный Куфий, не отстававший от своего повелителя в самом пылу сражения, пропал без вести. Все смотрели друг на друга помертвелыми глазами. Ночь настала, и никто не придумал, что начать, на что решиться. Мы походили на неоперенных птенцов, у коих мать хитрым охотником поймана в сети.

Среди сего беспорядка, тревоги, горести и уныния Король не лишился присутствия духа.

— Если дурного дела не постараемся исправить,— говорил он к собравшимся полковникам, войсковым старшинам, сотникам и есаулам,— то оно скоро и неминуемо обратится в дело гибельное. Пока жив гетман, то он еще не потерян; однако, пока он лишен власти, да примет Еварест начальство над войском! Рассуждать много там, где надобно действовать, есть глупость, и мы постараемся от оной остеречься.

Еварест тут же провозглашен военачальником, и войско несколько оживилось; огни разведены во многих местах, и все начали осматривать один у другого раны и врачевать их по усмотрению. По совету Короля посланы вокруг нашего становища верст за пять вооруженные отряды, дабы к утру припасти достаточно пищи для войска и представить всех возрастных жидов, каких только встретить могут. Нужное число стражи расставлено со всех сторон для неусыпного наблюдения. Вожди и войско разлеглись на долине. Король, опускаясь на траву, сказал мне:

— Не робей, Неон! бог все устрояет к лучшему! Я видел, как ты сражался, и не мог не похвалить. Хотя чуб твой, правда, стоял дыбом, так что и шапка свалилась, но это ничего; в другой раз ты не пошевелишь и усом, занося саблю на неприятеля и видя льющуюся кровь свою.

Всякий поверит, что сон наш был не что иное, как беспокойная дремота, каждую минуту прерываемая ужасным представлением настоящего положения. Едва по-

казалась на небосклоне заря утренняя, мы все были на ногах, и долина, избранная нами для отдыха, подобилась купели Силуамской, куда собирались калеки всякого рода в ожидании возмущения воды. К удивлению заметил я, что собравшиеся в сие убежище большею частию были раненые, из чего заключил, что те, у коих после сражения все члены остались в целости, заблагорассудили убраться далее.

При восхождении солнца посланные отряды возвратились. Они привезли великое количество хлеба и несколько подвод с вином, а сверх того, представили пред Евареста до двадцати жидов, не знавших, чего ожидать им — смерти или помилования. Привезенный запас разделен был по полкам и роздан в сотни, евреи поставлены в строй, и Еварест, окруженный сановниками и телохранителями, произнес к ним следующую речь:

— Чада Израиля! один от сонма вашего сделался предателем, подобно Иуде Искариотскому. Мы дались в обман и чрезмерно много потерпели. Изменник скрылся, и теперь отыскивать его некогда. Согласитесь, что правосудие есть добродетель, людям полезная и богу угодная. Изберите между собою одного, коего считаете расторопнее других, и пусть он сейчас — в виде ли польского шляхтича, или малороссийского переметчика, или как хочет — отправляется в стан польский, осмотрит положение войска и его силу, узнает намерение воеводы и положение нашего гетмана и тогда верно обо всем нас уведомит. Сроку на сие дело целого дня для доброго жида весьма довольно, ибо в сумерки он непременно должен возвратиться. Все вы, сему избранному единоплеменные, останетесь здесь вместо залога. Если он возвратится с желаемым успехом, то получит богатую награду, а все вы — свободу; если же, обольщенный золотом и обещаниями, вздумает обмануть нас, то клянусь вездесущим, что все вы с родом и племенем сожжены будете живые!

У евреев еломки на макушках пошатнулись. Они смотрели один на другого туманными глазами и не могли промолвить ни слова.

— Время летит,— вскричал Еварест,— и каждый миг для нас дорог! Сейчас решайтесь!

Тут бодро выступил из ряда седой старик, раздвинул пейсы и с улыбкой сатаны сказал:

— Братья! что дадите, если я соглашусь один за всех вас собою пожертвовать? Слава милосердному богу! ро-

дители мои давно уже покоятся на лоне Авраама, а жены и детей никогда не бывало. Если перехитрят меня поляки, так тому и быть. Где-нибудь и как-нибудь, а умереть надобно.

Жиды оживились, весело зашумели и начали торговаться с охотником идти на верную почти смерть, как Диомид, подняв руку, торжественно произнес:

— Еварест! с твоего дозволения! Жиды! — продолжал он,— когда вы не можете до сих пор уладить выбором, то мы сами беремся это сделать. Представляемый вами охотник нам ненадобен. Кто не имеет на определенном месте ничего ему драгоценного, для такого бездушника целая вселенная есть отечество, и о слове «клятва» он не имеет истинного понятия. Приближься сюда, молодой человек с заплаканными глазами, изодранным еломком и склоченными пейсами. Как твое имя?

— Осия.

— Есть ли у тебя родители?

— Есть!

— Жена и дети?

— Есть!

— Достаток?

— Посредственный.

— Ты можешь вдруг его утроить!

По данному знаку все прочие евреи отведены в сторону, а Осия остался на месте. Согласно с его желанием, мы дали ему волю действовать в жидовском платье.

— Мне немного надобно притворяться,— сказал он,— чтоб представить горестное лицо беглого, ограбленного жида; ибо корчма, мною содержимая, недалеко отсюда и действительно вашими наездниками превращена в развалины.

— Не печалься, Осия! — сказал Еварест,— от доброго успеха твоего похождения зависит, что выстроишь новую, лучшую корчму и заведешься достаточным хозяйством.

Целый час продолжались наставления Осии, как поступить ему в сем опасном случае. Нам очень хотелось, чтоб он из сего омута выполз с пользою для себя и для нас. Когда уверились, что он урок свой хорошо вытвердил, то, повторив ласки, обещания и угрозы, отпустили. Осия взошел на ближний песчаный холм, натаскал в одну кучу множество всякого дрязгу, разодрал в нескольких местах одежду, лег на землю и начал валяться, посыпая себя песком и пылью от макушки до пят. Когда он сде-

лался похожим на пугалище, то встал и, нисколько не отряхнувшись, пошел прямо к лесу, весьма для нас памятному.

— Что значит эта комедия? — спросил я у Короля.

— Добрый знак,— отвечал он,— из сего поступка Осии заключаю, что он усердно хочет исполнить нашу волю, и уверен, что если в сем ему не посчастливится, то причиною будет не измена, а неопытность, робость или что другое. Он представил себя наверху скорби и сетования и будет молить врагов наших о защите и отмщении.

День прошел в хлопотах и беспокойствах, всегда неразлучных с такими обстоятельствами, каковы были наши. В Батурин послано уведомление, что дела остаются нерешенными и, вероятно, не окончатся прежде, пока поляки не получат из Варшавы, а мы из Москвы ожидаемого вспоможения, почему и должны все оставаться в покое и надеяться на промысел божий, благоразумие вождей и дознанную храбрость воинства.

Я душевно страдал, вспоминая о жене и сыне. Мне хотелось бы только взглянуть на них, обнять, прижать к сердцу и после стремглав броситься в пучину бедствия; но дело было несбыточное. Оставить своих сотрудников на поле славы или смерти, оставить для таких маловажных причин, обнаруживающих более слабость душевную, нежели нежность сердечную, нет! и воспоминание о сем приводило весь состав мой в содрогание! Я дал слово быть воином и должен свято сохранить его.

В глубокие сумерки представлен был пред начальниками Осия.

— Милосердные господа!—говорил он с бодростию,— я сдержал свою клятву и всею кровию моею отвечаю за истину слов моих. Поляки, по одержании некоторого преимущества над малороссиянами, оставили лес, служивший вчера для них засадою, и расположились станом на равнине, верстах в двух от оного, на берегу речки, имени которой не знаю. Я легко обольстил их рассказами о несчастиях, от вас претерпенных. Меня приняли ласково и накормили. Они не возымели никакого подозрения, тем более что я, казалось, не обращал ни на что внимания, а только стенал и плакал, между тем слушал в оба уха и глядел обоими глазами. Ставки киевского воеводы и гетмана малороссийского стоят на берегу реки, и каждая охраняется — по безопасности местоположения — не более, как шестью стражами. Гетман, несмотря на все пред-

ставления, не захотел видеться с воеводою, а тем менее согласиться на требование, чтобы писать всему войску о прежней преданности польскому скипетру. Он один в своей ставке с Куфием. Воевода о торжестве своем послал нарочного гонца в Варшаву с испрашиванием разрешения на дальнейшие подвиги и присылки вспоможения людьми и деньгами. До получения ответа не слышно, чтобы он на что-нибудь хотел отважиться, и очень доволен будет, если только самого не обеспокоят. Вот все, что я мог узнать в продолжение времени от утра до вечера!

Глава V **Наши умудрились**

Король, взяв от Евареста дозволение действовать отдельно, выбрал двадцать человек из своих охотников, кои показались ему ревностнее, отважнее и расторопнее других. Он приказал мне одеться в платье польского всадника, сам облачился в такое же и переодел своих сподвижников. После сего каждый из нас вооружился саблею, кинжалом и парою пистолетов, а сверх того, привесил к поясу баклажку с лучшим пенным вином. Когда мы во всем были исправны, то полководец наш Король, поставя полчище свое в кружок и став посредине, сказал:

— Храбрые витязи! все вы обязались ратовать не по принуждению, а из доброй воли, по одной любви к свободе дорогой отчизны. Все вы уже не школьники, и каждый из вас, кто по собственному опыту, а кто понаслышке, знает, что звание воина ведет к чести или смерти и что там нет никакого права на отличия и почести, где мы достигаем своей цели без всякого усилия, без очевидной опасности. Нам предлежит теперь подвиг важный, даже отчаянный, но — необходимый! Надобно погибнуть или спасти гетмана и Малороссию! Мы идем в стан польский. Дорогою расскажу подробно, как должны мы действовать, дабы достигнуть великого преднамерения.

В безмолвии вышли мы из стана и, следуя путеводительству Осипа, направили шествие к лесу. Во время пути Король подробно вразумил нас, как должен поступать каждый, примечая условленные знаки. Мы прошли уже

поперек леса и—хотя ночь была не самая светлая—скоро завидели ставки польские. Мы представились крепко пьяными и, то бранясь между собою как ни попало, то обнимаясь приятельски, потчевали один другого своими баклагами. В таком прекрасном виде достигли мы передовой стражи и были окликаны.

— Тише, приятель,— сказал Король заикаясь,— пожалуй, говори потише, чтоб кто из старшин не проведал, видишь, мы немного позашиблись.

Между тем, шатаясь на все стороны, добрели мы до часового и увидели, что невдалеке от него, растянувшись на прокатости холма, человек около десяти храпели весьма исправно.

— Вот видишь,— говорил Король часовому, опершись ко мне на плечо,— мы были у жидов в гостях. Какое славное вино, какие милые жидовки! Я уже было с одною и поладил, как вдруг нечистая сила привела в корчму целую сотню проклятых батуринцев, и они же вздумали перебить нам дорогу. Статочное ли дело! Я первый приосамился, обнажил саблю и...

Тут Король с быстротою вихря выхватил саблю; она взвилась, и голова часового пала к ногам его. С возможною осторожностью подошли мы к сонным и всех предали смерти без всякой пощады, хотя с горьким сожалением.

— Таковы жестокие законы войны,— сказал Король с тяжким вздохом,— чье сердце не содрогнется, не оледенеет, когда рука вражия обагряется кровию невинного, беззащитного сочеловека? Но так должно, необходимо должно — убивать или быть убиту!

В глубоком безмолвии, не переставая спотыкаться и пошатываться, пробрались мы сквозь весь стан и вышли на берег речки у шатров гетмана и воеводы. Предварительно разделились мы на два отряда. Король с своими сподвижникам ударился к ставке воеводы, а я со своими—к гетмановой. Шатаясь на стороны, я спросил у часового, где мы можем найти шатры полка Краковского, к которому принадлежим? «Хороши воины! — сказал с досадою часовой,— один стой во всю ночь, не смыкая глаз, мерзни, как собака, а нет тебе никакой награды; другой в это время веселится, бражничает, и нет никакого наказания! Это в одном нашем войске случается!»

— Постой, дружище,— сказал я, стараясь на ногах укрепиться и отстегивая баклагу,— если мы сегодня под-

гуляли, то и приятелей своих не забыли. Ты говоришь, что озяб? Вот тебе полная баклага преславного пеннику. Согрейся, а после попотчуй товарищей. Францишка! отпояшь и свою баклагу и отдай часовому; пускай потешатся за наше здоровье, зато укажут нам дорогу к полку Краковскому.

— Правду говорят,— заметил служивый, втыкая в землю свою саблю и протянув руки к баклаге,— что веселые люди всегда добрее пасмурных!

Он поднес дорогой сосуд к губам; но не успел пропустить в горло и пяти глотков, как голова и баклага полетели на землю, и кровь смешалась с пенником. Тогда стали мы на колени у каждого из пяти спящих стражей и, зажав им дыхание, начали поражать кинжалами. Ни один не мог произнести ни слова; глухое мычание было признаком разлуки с жизнью.

Управясь и с сею стражею, мы, наблюдая почтительное молчание, вошли в ставку гетмана, слабо освещенную лампадою. Высокоповелительный старец сидел на своем ложе, и я не мог вдруг отгадать, собирался ли он опочить, или уже проснулся. Увидя перед собою толпу страшилищ, у коих одежда, лица и руки обагрены были дымящеюся кровию, он несколько смутился, но скоро, приняв обыкновенный свой спокойный вид, спросил равнодушно:

— Что вы за люди и чего от меня хотите?

Я подошел к нему быстро и, встав на колени, сказал:

— Державный гетман! оставь ложе свое и следуй за нами! Познай во мне Неона Хлопотинского, который с избранными, верными, храбрыми сподвижниками решился освободить тебя из плена или погибнуть. Не медли следовать за нами!

Тут я взял его за руку, облобызал ее с благоговением и помог сойти с постели. Мгновенно мы одели его, вооружили (ибо все оружие было у него отобрано) и, подняв спавшего в углу Куфия, вышли из ставки и в безмолвии устремились вдоль берега речки. Я и один из дружины вели гетмана под руки, или, лучше сказать, несли его на руках своих. Когда мы были от польского стана так далеко, что считали себя почти вне опасности, то поворотили к лесу. Там, срубив несколько древесных ветвей и скрепя их поясами, сделали носилки, усадили изнемогшего старца и пустились далее, неся поочередно наше бремя. Еще зари не видно было на восточном небе, как

достигли мы до своего стана. Передовой страже гетман открылся. Поднялся радостный шум и вопль; в несколько минут взгнетены костры дров; все воинство было на ногах, и военачальники со слезами умиления лобызали десницу растроганного повелителя. Он обнимал с нежностию каждого и говорил дрожащим голосом:

— Чувствую, что я счастлив, ибо любим своими собратиями. Да будет благословенно и препрославлено имя господне! Хлопотинский! — продолжал он, обратясь ко мне,— и по разлучении души моей с сим бренным телом не забуду великой услуги твоей, оказанной мне и в лице моем всему отечеству!

— Могущественный гетман! — отвечал я,— в сем подвиге не один я участвовал. У меня есть друг, который предводительствовал, а я был только его товарищем и исполнителем советов.

— Кто он таков? Где? Что я не вижу одного из моих избавителей? — вскричал гетман и с любопытством обращался на все стороны.

Я продолжал:

— Когда половина небольшой дружины нашей под моим предводительством истребляла стражу у твоей ставки, товарищ мой с другою половиною делал то же у ставки воеводы киевского. Если не погиб он в сем замысле, то скоро должен соединиться с нами.

Едва я произнес слова сии, как невдалеке показался Король со спутниками своими; он шел впереди, имея по правую руку незнакомого мне человека в великолепной одежде. Сердце мое затрепетало от радости, и я тотчас догадался, что этот незнакомец есть воевода. Подошед к гетману, Король сказал:

— Воевода киевский делает тебе приветствие в стане твоем!

Гетман, подав руку гостю, произнес:

— Когда я находился у тебя, ты был ко мне довольно снисходителен и вежлив; будь уверен, что и я не уступлю тебе в великодушии. В батуринском дворце моем ты будешь столько же покоен и доволен, как и в своем киевском. Не осуди только, что, может быть, погостишь у меня долее, чем я в твоем стане.

После сего сделано было распоряжение об отсылке воеводы в Батурин. Подведен конь, хотя из предосторожности и не самый лучший; воевода сел и, окруженный пятьюдесятью телохранителями, отправился. При

расставании с гетманом тщетно умолял он о возврате оружия.

— На что оно,— возразил гетман,— если бы кто осмелился причинить тебе хотя малейшее огорчение, то сто рук во всякую минуту готовы защищать тебя! — Надобно было повиноваться.

Заря занялась и рассыпала розовые кудри свои по голубому небу. Гетман сел на зеленом холме, и в полукружии стали пред ним вожди и воины, ибо все нетерпеливо желали видеть своего повелителя и собственными глазами увериться, что он избавлен от поносного плена, могшего дать преднамерениям оборот самый гибельный. По велению гетмана Король был к нему представлен. Тут я порядочно рассмотрел его и увидел, что одежда на нас была во многих местах растерзана, лицо обагрено чужою и своею кровью, которая, смешавшись с песком и пылью, прикипела целыми комьями к щекам его, усам и чубу. Поляки непременно назвали бы его узником, выпущенным из чистилища, дабы показать неверующим, каково обращаются там с преступниками, и тем предохранить живых от грехопадения. Гетман, подав ему правую руку, которую Король облобызал с почтением, сказал с чувствительностию:

— Храбрый воин, обязавший меня и всю Малороссию неограниченною благодарностию за неслыханную предприимчивость и чудесное благоразумие в доведении намерения своего к концу желанному! объяви нам имя твое и звание, дабы я, как глава воинства и народа, придумал, чем должно возблагодарить тебе за услугу, превышающую, впрочем, все награды, коими располагать может земной повелитель!

— Высоковластный вождь всея Малороссии! — отвечал с благородною скромностию Король,— я ношу такое имя, которого никогда стыдиться не буду, хотя оно при дворе твоем и в пределах целого отечества предано было посрамлению! Проступок, за который был я судим и осужден на всегдашнее отдаление от столицы и лишен возможности быть чем-нибудь полезен своим соотчичам, заключался в родственной любви, в дружбе готовой на все пожертвования и необходимости, свойственной молодым летам. Так, державный гетман! пред тобою предстоит теперь, в сем безобразном виде старик, бывший некогда войсковым старшиною, членом твоего совета, предстоит...

Тут Король пал к ногам гетмана и дрожащим голосом произнес:

— Я Диомид Король!

— Король! — вскричал гетман, изменился в лице, вскочил и, сжав обе руки крестообразно на груди, стоял в безмолвии, потупя взоры в землю.

— Король! — воскликнули сановники и толпились вокруг его. «Король!» — раздалось во всем воинстве, и все старались хотя издали его увидеть. Король поднялся, подошел к Евaресту и стал подле него. Гетман продолжал хранить ужасное молчание. Он ходил по вершине холма то скорыми, то медленными шагами. Иногда останавливался, и умиление просиявало в его взорах; потом вдруг блистали в оных гнев, негодование и мщение. Никто не предузнавал, чем кончится буря сия; на лице каждого из взирающих начертаны были то надежда, то отчаяние; один Король был тверд, как утес гранитный во время свистов ветра, нападения волн разъяренных и грозных ударов грома.

Еварест, закрутя усы, разгладя чуб, поправя шапку и приподняв саблю левою рукою, медленно подошел к гетману и сказал:

— Выслушай, что скажет твоему высокомочию человек, никому и ни для чего не произносивший лести и неправды. Честь твоего имени для меня и для всех здравомыслящих драгоценна, потому что в нем хранится честь всей Малороссии. Я не был еще в числе твоих советников, когда осужден Король; иначе, я утвердительно скажу, не бывать бы тому, что было и что продолжается до сего времени. Если известный тебе и большей части из нас, теперь слушающих, поступок Короля есть преступление, то оно относилось только до особы Никодима, отца семейства, нимало не касаясь до гетмана, к коему ни на одну черту не умалены благоговение и покорность. Посмотри на Короля! Он весь облит кровью своею и чужою. Для чего? Чтобы спасти тебя и в лице твоем честь отечества. Для человека, подобного Диомиду, быть лишену возможности служить стране отцов моих есть наказание, лютейшее смерти. Теряя голову, он в одно мгновение избавляется мучения; а при ссыльной жизни с каждым днем казнь его становится мучительнее. При всем том Король, в продолжение более двадцати лет скитавшийся по лицу земли малороссийския, скрывая свое достоинство, теперь, когда отечество в истинных сынах имеет край-

нюю нужду, когда глава народа и воинства подвергся плену и унижению, грозившему унижением всей стране сей,— Король, нимало не медля, ничего не рассчитывая, является на поле брани и предает себя на жертву случая, лишь бы спасти своего грозного властелина. Великий гетман сил малороссийских! благоволи внять совету искреннейшего твоего послушника и перемени несправедливое определение свое о Короле, за двадцать два года перед сим произнесенное!

Военачальники и войско притаили дыхание, дабы не проронить ни одного слова, какое произнесет гетман. Нельзя не удивляться, что на месте, где стояло более десяти тысяч человек, слышно было в траве стрекотание кузнечика. Наконец чело повелителя, подобно месяцу, исторгшемуся из облаков дымчатых на лазоревое поприще небесное, прояснилось, он осклабился, взял Евареста за руку, потряс ее дружески и потом громко воззвал:

— Диомид Король, приближься!

Король ровным, твердым шагом приближился и остановился. Гетман, возвыся к небу десницу, произнес с умилением:

— Благодарю тебя, милосердное провидение, что ты даруешь мне случай в жизни сей исправить свои проступки, последствия гнева и мщения! Дети мои, сыны Малороссии! бывшего войскового старшину полка гетманского Диомида Короля назначаю полковником Хорольской области на место Еливсиппа, за день пред сим падшего в роковом сражении. Повелеваю возвратить ему все хуторы и домы, некогда ему принадлежавшие, и из собственной моей казны выдать денежное жалованье по чину полковника за двадцать два года.

Тронутый во глубине души старец погрузился в объятия Диомида, и слезы их смешались. Воинство произнесло радостный вопль и затмило солнце брошенными вверх шапками. Старики, бывшие в битвах под предводительством Короля, рассказывали о славных подвигах его молодым воинам; сии, исполняясь огня геройского, провозглашали «ура!», и целые тысячи повторяли сие восклицание.

Когда восторг несколько утишился и всякий старался установиться на своем месте, гетман сказал:

— Отныне, Диомид, будем по-прежнему добрыми друзьями, однако под некоторым условием. Я уверен, что тебе известно убежище изменников, забывших права го-

степриимства, права общежития, права природы. Ни одним словом я при тебе не упомяну об них, но и ты не раздражай слуха моего произношением ненавистных имян их. Раздраженный гетман щадит сих преступников, ибо давно уже перестал искать их; но оскорбленный, обманутый отец не простит никогда, ни на краю могилы. Да судит бог между мною и ими!

По велению гетмана назначен военный совет, на который приглашены были одни полковники. Король, будучи в собрании, объявил дружине охотников, что как он обязан уже предводительствовать Хорольским полком, то она может впредь действовать совокупно с полком гетманским.

Глава VI Победа

По окончании совета каждый полковник объявил полку своему решение оного. Все воинство должно было разделиться на три полчища, как и прежде, но действовать каждое особо. Гетман пылал отмщением и никак не согласился на представление Короля и Евареста, чтобы успокоиться и даже возвратиться в столицу. Он решительно захотел предводительствовать серединою воинства и с четырью избранными полками устремился прямо к лесу, взяв уже все предосторожности, чтоб не быть по-прежнему невзначай захвачену неприятелем. С толиким же числом Еварест потянулся вправо, а Каллистрат влево. Гетман и окружающие его чиновники, в числе коих был и я, ехали теперь гораздо с большею бодростию, чем в первый раз, и сей отваге не мало содействовало отсутствие воеводы, коего искусство и личная храбрость были главным щитом для поляков. Медленно осматривались мы на каждом шагу, а особливо вступив в гибельный лес, и проходили оный, так сказать, ощупью. Наконец долина, занятая неприятелем, открылась перед нами; мы построились в боевой порядок и устремились прямо скорыми шагами. Едва открылся издали стан неприятельский, в то же время увидели мы с правой стороны полчища Еварестовы, а с левой Каллистратовы. Чем далее подвига-

лись мы вперед, тем яснее примечали смятение и беспорядок, господствовавшие между поляками. Раздавшийся гром из наших пушек умножил их ужас; им немедленно надлежало сражаться или кинуться в речку и наудачу искать спасения на другом берегу. Некоторые из них, не потеряв еще надежды, начали собираться в ряды и издали грозили нам саблями; зато другие, кои были животолюбивее и звук славы считали обыкновенным пустым звуком, целыми толпами бежали из своего стана, являлись к нам и повергали на землю оружие. Гетман принимал их ласково, однако из предосторожности приказал вязать таковым витязям назад руки и, прикрепляя одного к другому, отводить в лес и стеречь крепко-накрепко. От сих-то переметчиков узнали мы, что пан Бурлинский, великий коронный подкаморий, старик самый неугомонный, принял начальство над войском, одушевил унылых своих ратников и уговорил их стоять за честь свою твердо, если не хотят, чтоб он всех трусов перевешал. «Я дозволю! — говорил он с запальчивостию пасмурным своим сподвижникам,— выщипать себе правый ус, если своими руками не возьму лукавого гетмана в плен и связанного не пошлю напоказ в Варшаву. Нет! От меня не уйдет, как от глупого воеводы!» Слушая сии хвастливые речи, гетман улыбался и, поглаживая чуб, говорил:

— Посмотрим! Но я всегда той веры, что разумный человек не будет хвалиться, идучи на рать.

Воинства сошлись, и начался бой рукопашный; кровь полилась рекою, и болезненные вопли, проклятия, бранные восклицания колебали воздух. С величайшим присутствием духа гетман наносил удары и давал повеления. Я безотлучно, как по долгу звания, так по чувству любви и благодарности, при нем находился и не столько старался поражать неприятеля, сколько отклонять удары, грозившие моему властелину. Надобно признаться, что в начале битвы руки и ноги мои задрожали, сердце забилось, зубы щелкали как во время лихорадочного озноба; но, благодарение промыслу, мой добрый гений в самую пору подоспел ко мне на помощь. Он шептал на ухо: «Стыдись, храбрый бурсак! Отчего ты робеешь и трепещешь? Разве редко, во время твоего риторства и философствования в бурсе, случалось тебе ратовать на кулачных боях с семинаристами? Разве там не проливали токи крови, не летели на воздух зубы, не трещали чубы, усы и пучки? Поверь, друг Неон! ты и теперь на кулач-

ном бою с поляками. Поражай храбро по чему ни попало, и ты останешься победителем».

Сии внушения моего доброго духа разлили в душе необыкновенную бодрость, которая еще умножилась, или, правильнее, превратилась в бешенство, когда увидел собственную кровь, полившуюся из ран, полученных одну в шею, а другую — в правую ляжку. Я уподоблялся тигру, пронзенному стрелою. Вскоре продрался к нам незнакомый неприятельский воин, окруженный многочисленными телохранителями. Позади его развевалось великолепное знамя королевства.

— Ба! — сказал гетман, утверждаясь в стременах,— вот и пан Бурлинский! Надобно по достоинству принять его!

Он дал шпоры коню, исторгся из ряда, и началось единоборство. Из всего видно было, что Никодим в свое время был витязь знаменитый, но также и того нельзя было не видеть, что ему теперь за шестьдесят лет. После третьего оборота саблею она исторглась из слабой руки, и Бурлинский занес убийственный меч над головою изумленного старца. Быстрее луча молнии рванулся я вперед, и меч неприятеля отлетел далеко вместе с рукою; я ударил плашмя супостата и низверг на землю.

— Вперед! — воззвал я с неистовством.

Моя дружина за мною устремилась с победным воплем, и кучи врагов поверженных знаменовали путь наш. С головы до ног мы были облиты дымящейся кровию; кони едва выдергивали ноги из растерзанных членов человеческих; дыхание наше стеснилось, и убийственные руки с трудом погружали мечи в тела неприятельские. В скором времени мы, утомленные, расслабленные, полумертвые, поневоле должны бы остановиться, если б враги, будучи, вероятно, еще в опаснейшем положении, нас не предупредили. Они обратили хребты и предались бегству — прямо к берегу речки; ибо, быв поражаемы с одной стороны Еварестом, с другой — Каллистратом, они не находили другой дороги ко спасению. Те, кои чувствовали себя несколько еще в силах действовать руками и ногами, стремглав кидались в волны; другие же, предчувствовавшие неизбежную погибель во влажной могиле, решились просить пощады. Они повергли на землю остатки оружия, пали на колени и, простерши к нам руки, горестно возопили: «Змилуйтесь, змилуйтесь!» Гетманская труба зазвучала, мы остановились. По данно-

му знаку неприятельские военачальники приблизились и, по кратком совещании, согласились отправиться в Батурин пленными вместе с своими сподвижниками. Все они лишены коней и оружия, и — зачем скрывать истину? — у них отобраны не только золотые и серебряные деньги, но и все то, что хотя немного походило на серебро и золото. После сего они отправлены в стан наш.

Гетман, сошедши с коня, преклонил колена и в безмолвии принес благодарение верховному распорядителю жребия народов. После сего собрались к нему все полковники, войсковые старшины и прочие начальники для поздравления с одержанною победою.

— После господа сил, моего повелителя,— сказал гетман с благоговением,— коего до конца дней моих не перестану славословить за счастливое окончание сей битвы, я обязан благодарностию вам, мои храбрые сподвижники, и в особенности тебе, Хлопотинский! Так, друзья мои! без его отличного мужества вы хотя бы и не лишились победы, но наверное видели бы теперь один бездушный труп вашего гетмана. Неон! по прибытии в Батурин я поищу средств достойно наградить тебя.

— То нечего сказать, Никодим,— воззвал Куфий, стирая пот с лица,— сколько я ни храбр, что весь свет знает, но как скоро перед глазами моими блеснула сабля проклятого Бурлинского на пол-аршина от твоего чуба, то я чуть-чуть с коня не свалился. То-то было бы хлопотливо опять на него взмащиваться при такой ужасной суматохе. Но об этом успеем довольно поговорить в Батурине; а теперь, Никодим, не мешало бы заглянуть в шатры польские. Они не совсем-таки глупые люди и, верно, без хорошего запаса далеко не ходят; а у меня, божусь, от жажды пересохло в горле, а пить из речки воду — боже избави! она теперь перемешана с кровью, и на дне немало всякой падали.

Никодим, осмотрев местоположение, нашел, что оно приятнее и выгоднее, чем избранное нами для своего стана второпях, по одной необходимости. Вследствие сего повелено: первое, не теряя времени, разобрать трупы и предать земле как польские, так и малороссийские особо с подобающим благочинием. Второе, весь стан с находящимся в нем запасом переместить на новое место, у неприятеля отбитое. Третие, поляков, взятых в плен, рассадить в крепости, где удобнее. Четвертое, раненых и больных, как своих, так и неприятельских, со всею со-

хранностию отвезти в Батурин. В ту же минуту началось исполнение по сим повелениям.

Хотя я очень был доволен сам собою, да чего более и надобно человеку, однако, к немалому ужасу, приметил, что нигде не вижу Короля, своего друга. Время проходило, а его не было. Тяжкая скорбь объяла мою душу, неизвестность меня мучила, и при всем том я ни у кого о нем не спрашивал, страшась услышать весть плачевную. В молчании, походящем не безмолвие могилы, бродил я за Еварестом, коему поручено было с полком его разобрать трупы, всматривался в лицо каждого страдальца, в каждом думал найти Короля и — не находил. Нетерпение усилилось и взволновало всю мою внутренность; с судорожным движением схватил я Евареста за руку и спросил диким, дрожащим голосом:

— Где Диомид Король?

Он несколько смутился; но скоро, оправясь, отвечал довольно равнодушно:

— По тайному повелению гетмана он отправился с поля сражения в некоторое место, где и будет находиться в неизвестности до возвращения нашего в Батурин.

— Ты меня обманываешь! — вскричал я с отчаянным видом,— перед сражением, в продолжение оного и после я безотлучно был при гетмане и не мог не знать о малейших его приказаниях; но о Короле не было ни слова. Заклинаю тебя богом и тою дружбою, какую имеешь ты к достойному сему воину, скажи мне, где он и что теперь? Самая ужасная известность отраднее неизвестности!

— Хорошо,— сказал Еварест с кротостию,— я надеюсь, что ты столько же тверд в духе, сколько храбр на брани! Диомид сражался подле меня. Его запальчивость тебе известна. Он врубился один в толпу неприятелей и, конечно бы, погиб, если б я не подоспел ему на помощь. Мне удалось освободить его от смерти или плена; но уже из правого бока его струилась кровь, ноги дрожали, в глазах темнело. Полумертвого велел я отнести в стан наш и вручить Иоаду, первому врачу придворному. Вот все, что я знаю; однако ж, надеюсь, что искусство врача и сложение Диомида будут иметь свою силу!

— Прощай, Еварест! — вскричал я,— мне надобно быть в нашем стане!

Еварест, схватя меня за руку, сказал с важным видом:

— Как, молодой человек? Разве забыл ты, что я непосредственный твой начальник? Можешь ли ты, без позволения моего, оставить вверенных тебе ратников? Стыдись, малодушный! Что поможет Диомиду твое присутствие, твои стоны и вопли? Это более огорчит великодушного нашего друга и умножит болезнь его; а притом не ты ли был сам при гетмане, когда он, между прочим, дал повеление, чтобы раненых со всею бережливостию привезти в Батурин и там доставить им всевозможное пособие. Останься при мне, Неон, и возверзи печаль твою на господа!

Мы пробыли на сем гибельном поле до самого заката солнечного. На четверть версты от стана, на берегу реки, вырыты были две ямы, глубокие и обширные. В одну опущено около двух тысяч малороссиян, а в другую — с небольшим четыре тысячи поляков. Нарочно призванные из ближних селений священнослужители унылым, протяжным пением испрашивали у неба милосердия душам падших на брани, как между тем воины наши покрывали тела их землею. Еварест вздыхал, а я плакал неутешно.

По окончании сего горестного обряда на обеих могилах водружены древесные кресты. Мы поклонились памяти усопших собратий и вместе со священством в глубоком молчании тихими шагами пошли ко стану. Там все было также в готовности. Обоз наш привезен, шатры установлены в порядке; над ставкою гетмана развевалось великое знамя, в прежнем сражении у нас отбитое и ныне опять возвращенное. По возвращении нашем совершено благодарственное молебствие и весь стан окроплен святою водою. Вскоре все умолкло, и я вошел в назначенный мне шатер, опустился на приготовленную Сисоем охапку свежей травы, прося у бога мирного сна в ночь сию после дня столько утомительного.

Глава VII **Великий переворот**

Кажется, я имел на сон неотъемлемое право, но он ни на минуту ко мне не пожаловал; израненный Король и сетующая Неонилла мечтались мне беспрестанно, а сверх то-

го, и свои раны не давали мне покоя. Я чувствовал во всем теле то жар, то озноб; шея распухла так, что едва можно было дышать, рана на левой руке, за два дня полученная, вновь открылась, и я пришел в крайнее изнеможение. Едва появилась заря, как испуганный состоянием моим Сисой бросился к Еваресту, дабы испросить возможную помощь. Благодетельный военачальник вскоре показался в моей ставке вместе с мудрым Иоадом и молодым учеником его Авдоном, тащившим за плечами небольшой ящик. Опытный врач, раздвинув седые пейсы, внимательно осмотрев мои раны, промыл их какою-то минеральною водою, приложив целебные мази, распрямился и сказал Еваресту:

— За выздоровление его могу ручаться, если и сам он поможет мне в пользовании. Это значит, что до совершенного закрытия ран кровь в жилах его должна обращаться сколько можно покойнее; а чтоб сохранить сие правило, надобно ему отречься до времени от свидания с людьми, кои любезны или ненавистны. Для прогнания скуки и уныния, также затрудняющих выздоровление, он может забавляться чтением книг, но отнюдь не польских или латинских, в которых нередко описываются предметы и положения, могущие и здорового старика приблизить к могиле, а тем скорее молодого больного человека. С пользою может читать он Книгу Иова, Плач Иеремии и Екклезиаста.

— Спасибо за совет,— сказал мой начальник,— недалеко от Батурина есть у меня большое село, а подле него маленький хутор, состоящий из господского дома и трех крестьянских хат; обширные сады окружают сие поместье, и я свободное от должности время препровождаю в оном. Там поселен мною старик, смотрящий за садами и за домом; небольшое семейство его составляет работников, коими распоряжает он со всею властию отца древних времен. В сие-то уединение отправлю я Неона, а ты, честный Иоад, отпусти с ним достаточное количество лекарств и одного из учеников твоих, который бы прожил там дня два или три и научил Сисоя и садовника обращению с больным и правильному употреблению врачеваний.

С сими словами Еварест вынул из-за пазухи порядочный кошелек, наполненный золотом, и весьма степенно опустил его в жидовскую шапку. Старик встрепенулся, глаза его заблистали, морщины разгладились.

— Ты преразумно вздумал, господин полковник,— сказал врач, вынимая из шапки деньги и укладывая в карман,— отправим твоего сотника немедленно, а я отпущу с ним на время Авдона, самого понятного и самого опытного из множества учеников моих.

Колымага Еварестова подвезена; меня уложили на мягком пуховике, у ног уселся Авдон с своим ящиком; несколько всадников, назначенных проводить меня до места, вскочили на коней, и мы двинулись. Еварест провожал верхом до выезда из стана, увещевая быть терпеливым и обещая посетить меня с Неониллою и Мелитоном, если прежде моего выздоровления возвратится в Батурин и если Иоад согласен будет на такое посещение. Еварест удалился от меня неприметно, вероятно избегая прощания. Хотя, по словам провожатых, назначенный для меня хутор не далее шестидесяти верст был от стана, однако мы прибыли в оный не прежде как на другой день около вечера. Садовник Пармен встретил меня у ворот, и с помощию Сисоя и нескольких казаков я внесен в самую лучшую комнату в доме, в сад окнами, и уложен на покойной постели; ибо правду сказать, я так ослабел, что с трудом мог сделать сам собою какое-либо движение. Авдону и Сисою приготовлена была небольшая горенка подле моей спальни; и когда я заметил Пармену, что он к принятию меня распорядился так хорошо, как будто бы знал о том прежде, то старик ответствовал:

— Как не знать, когда вчера еще об эту пору прискакал сюда нарочный от Евареста с приказанием, чтоб сколько можно скорее все было готово для помещения больного господина, слуги его и жида лекаря.

Мне ничего не оставалось, как только мысленно возблагодарить милосердного бога за неоставление меня во дни скорби и сетования. По данному знаку все удалились; благодетельный сон начал осенять меня своими крыльями, я опустился на подушки и — забылся.

Когда я проснулся и, не открывая глаз, погружен был в дремоту, услышал невдалеке приятное пение птичек. С удивлением взглядываю и вижу, что на окнах моей спальни висело несколько клеток с жаворонками, чижами, щеглами и синицами. Такое внимание к моему развлечению мне понравилось. Я попробовал привстать и к немалой отраде мог приподняться без ощущения прежней боли; я попытался говорить и довольно явственно произнес: «Любезная Неонилла! ты, верно, теперь гру-

стишь и крушишься о своем Неоне! Потерпи, и мы увидимся! Что-то делает друг мой Король? Миновалась ли опасность его жизни? Боже! продли дни великодушного мужа сего, который один мне отца и мать заменяет!»

Вскоре появились ко мне Пармен, Сисой и Авдон.

— Добрый знак,— сказал последний, подошед к постели и щупая пульс на руке моей,— кто с раннего вечера покойно проспит до позднего утра, тот вне уже опасности.

— Как? — спросил я с удивлением,— неужели теперь утро?

— Утро уже прошло,— отвечал Пармен,— и скоро наступит полдень!

Тут и сам я догадался, что после трех дней беспрестанного волнения крови, движения, трудов, утомления провести полдня в покойном сне есть немалое лекарство. Авдон перевязал мои раны, и по наступлении обеденной поры я поел с довольным вкусом.

Так проведены мною две недели, и хотя немало радовало меня приметное выздоровление, однако я не мог не скучать, лежа в постели, привыкнув с самых молодых лет быть в беспрестанном почти движении. Заниматься чтением по предписанию Иоада мне также наскучило, а слушать пение моих пернатых собеседников мне стало досадно. «Вероятно,— сказал я,— что, если каждый из них не понимает смысла в пении другого, по крайней мере собственное свое ему понятно, и он утешает себя в неволе; я только должен сидеть или лежать в безмолвии и забавлять себя или воспоминанием прошедшего, или воображением о будущем».

По прошествии сего времени мудрому Авдону показалось, что я могу уже, хотя с помощью костылей, пройтись несколько раз по комнате и посидеть у окна на лавке. Я восхищался, рассматривая великолепный сад Евареста. Все деревья были в полном цвете, и легкий ветерок доносил до меня слабый запах; ибо мой врач никак не дозволял открыть окон, а тем упрямее отказал в прогулке по саду.

Вдруг послышался в соседнем покое легкий шум, вскоре отворились двери, и Еварест показался. Я столько объят был восторгом, что, забыв о больной ноге, вскочил, хотел устремиться к нему с распростертыми объятиями; но едва не полетел со всего размаху на пол. Все

бросились ко мне, поддержали и усадили на скамье; после чего Еварест, севши подле меня, сказал:

— Благодарение богу! поход наш кончился, и после известного тебе сражения не пролито уже ни одной капли крови. В самый тот день, как ты отправлен в сей хутор, получили мы от разъездных отрядов два известия: первое, что московская сила идет к нам быстро и прибудет не позже двух дней; второе, что армия варшавская также не медлит и может появиться перед нами следующего утра. Последнее известие привело нас в великое смущение; ибо весьма легко расчесть можно было, что мы успеем быть побиты наголову, пока подоспеет вспомогательное воинство, которому останется одна забота — похоронить нас и отпеть общую панихиду. Собран был совет, и, по обыкновению, начались прения. Иной, надеясь, на собственные силы и мужество, полагал, что и в каждом воине столько же сих преимуществ, а потому думал, что опасаться нечего, и должно, дождавшись неприятеля, ударить на него со всею отвагою. Другой, будучи умереннее, советовал окопаться рвом и со смирением отбиваться от врага, пока не подоспеют московитяне. Словом, сколько было голов, столько голосов, и гетман сидел молча и размышлял, на чей совет склониться будет полезнее. Тогда Куфий, встав с места, вытянулся и важным голосом произнес: «Вижу, что и тут вы, умные головы, без меня не обойдетесь! Если об одной вещи судят десять человек, равных в летах в здоровье и в житейских обстоятельствах, и суждения их совершенно противоречат одно другому, то не должно ли заключить, что из десяти таковых судей один только мыслит и говорит основательно, а прочие девять безумствуют, или же что и все дураки набитые! Положение наше таково: к нам приближаются поляки и русские; одни—чтоб нас поколотить, а другие, чтоб избавить от побоев. Расстояние и тех и других довольно неравное, так что и подлинно прежде, нежели поздороваемся с друзьями, должны будем облобызать родную мать свою землю сырую. К нам идут русские; кто же мешает бежать к ним навстречу? Если мы сейчас двинемся с сего места, то, прошед до вечера, мы приближимся к русским на полдня, они к нам настолько же, что и составит целый день разницы. Пусть поляки завтра поутру прибудут на сие место; им ничего более не останется, как только поклониться могиле своих соотчичей и остановиться там или гнаться вслед за нами. Ес-

ли остановятся, то поступят благоразумно, ибо успеют отдохнуть с дороги и собраться с духом и силами; если же погонятся, то все-таки не прежде настигнут, как по соединении с нашими друзьями, и, сверх того, устанут, как гончие собаки, и мы порядком потешимся над их чубами. Я готов всех вас счесть и всенародно провозгласить глупее ослов и слепее филинов, если сейчас не признаетесь, что мнение мое премудрее всех ваших».

По окончании сей замысловатой речи Куфий отошел в угол ставки и спокойно начал курить тютюн. Гетман подтвердил, что Куфиева мысль не достойна презрения; в скором времени все на оную согласились. Дано повеление, и не более прошло часа, как мы со всем обозом и артиллерией были уже в походе вниз по течению знакомой тебе реки; ибо предуведомлены были, что сим же путем шли к нам и московитяне. На другой день к вечеру оба воинства сошлись, и общая радость была неописанна; костры дров запылали, и станы наши походили на большое селение, в коем жители празднуют свадьбу своего доброго господина; почти вся ночь прошла в игре, пляске и пении.

Наутро мы поднялись и потянулись прежнею нашей дорогою. На другой день, около полудня, увидели мы на другой стороне реки развевающиеся знамена варшавские, и скоро оба воинства сошлись одно противу другого близко, что только одна река оные разделяла. По-видимому, поляки не помышляли, чтобы мы так скоро могли соединиться с союзниками. По их движению и по той торопливости, с какою начали укреплять стан свой, мы догадались, что они в недоумении и даже робости.

Не теряя времени, по велению гетмана, я с приличным числом чиновников и телохранителей переправился на плоту на другую сторону реки и введен в ставку воеводы, начальствующего силами польскими. Я представил ему коротко и ясно право наше на соединение с Россиею, умеренность требований, превосходство воинства и неизбежную погибель сарматов, если отважатся на сопротивление. Воевода ответствовал, что хотя он и совершенно уполномочен от короля и сейма вести войну или заключить мир на условиях, какие признает лучшими, но как дело такой важности стоит зрелого рассуждения и без согласия военного совета решено быть не должно, то и требовал сроку на два дня. Я охотно на сие согласился и с тем прибыл восвояси. Многочисленная стража

поставлена была в приличных местах для примечания всех движений неприятельских. Мы не столько опасались нечаянного от них нападения, как побега; да надобно думать, что и они все единодушно помышляли о последнем, не предвидя ничего доброго от первого.

Вместо двух условленных дней, данных полякам на размышление, прошла целая неделя в беспрестанных спорах, пока наконец кое на чем решились, да и то по твердому слову московского воеводы, что он не намерен более медлить, если в самом скором времени не дано будет согласие на все требования наши. Тогда-то наконец со всех сторон подписаны и утверждены печатьми статьи мира. Король польский отказался навсегда от господства над Малороссией, и река Днепр поставлена границею обоих владений. Гетман обязался царя русского почитать верховным своим повелителем, помогать ему в военное время ратными людьми и платить ту же самую подать, какая доселе платима была Польше. Воевода московский, именем царя своего, утвердил все права и преимущества гетмана, обещая охранять как общие, так и частные пользы его высокомочия и всего войска малороссийского силою своего величества, власти и могущества. На соизволение гетмана предоставлено, оставить ли кого в Малороссии из поляков, а особливо их духовенство, занятое большею частию воспитанием юношества и преподаванием учения, или прогнать их за границу.

По окончании сего великого дела назначено быть и пиршеству немалому. Гетман и московский воевода приглашали в Батурин и воеводу польского; но он с огорченным видом решительно отказался, снял стан и двинулся обратно в отчизну. Мы торжественно прибыли в столицу при громе пушек и звуке колоколов. Пиры следовали за пирами, веселья за весельями, что и продолжалось три дня. Вчера только поутру вождь русский со своим воинством направил путь в области царские, а при дворе гетмана оставил одного боярина с приличным числом дьяков и военных людей. Так-то, любезный друг Неон, кончилось славное наше предприятие. Хотя оно, конечно, многим храбрым и мудрым мужам стоило крови или жизни, а семействам их многих слез, стонов и сетований, но частный вред или польза никогда не должны быть взвешиваемы на одних весах с общим вредом или пользою.

Глава VIII Повышение

По окончании рассказа Еварестова я погрузился в задумчивость. Мне казалось, что при посещении отсутствующего больного мужа, отца и друга сперва надобно бы уведомить его о состоянии особ, для него драгоценных, а потом уже повествовать о предметах, хотя также близких к сердцу его, в коих участие разделяет он с миллионами единоплеменников. Если бы посетил меня полковник Каллистрат и об окончании войны сказал то же, что и Еварест, я слушал бы его внимательно, с соучастием; ибо мне известно, что он не знает, есть ли у меня жена Неонилла, сын Мелитон и друг Диомид; но Еварест, коему особы сии известны совершенно, равно как и моя к ним горячность,— Еварест молчит, и горестное уныние растерзало мое сердце. От взора Еварестова не скрылось болезненное состояние души моей; он пожелал знать тому причину, и я чистосердечно открыл оную.

— Друг мой,— говорил полковник с открытым взором, хотя с некоторым смущением,— хорошо ли я поступил в сем случае, или нет — не знаю, но только я следовал старинной пословице: «De absentibus nihil nisi bene»[1]. Признаюсь, что прежде военные труды, а после придворные пиршества столько меня утомили, что некогда было посетить жену твою; притом же она напала бы на меня с вопросами, на которые я и не мог и не должен был ответствовать. Не довольно ли с тебя, что, выступая в поход, ты оставил жену и сына в совершенном здоровье, в доме безопасном, среди людей, готовых служить им со всем усердием? Что касается до друга нашего Диомида, то осторожный Иоад до сих пор никого к нему не допускает, и я, будучи не менее тебя другом сему почтенному воину, довольствуюсь уведомлением, что он вне опасности, что ему день ото дня становится легче, и я за сие приношу благодарение богу

[1] Об отсутствующем или ничего, или хорошо (*лат.*).

милосердому. Будь терпелив, Неон, и надейся, благой промысел вышнего никогда не дремлет.

После сего Еварест, подозвав Авдона, тщательно расспрашивал о состоянии моего здоровья и о времени, когда я, не подвергаясь опасности возобновить болезнь, могу явиться в люди. Авдон утвердительно отвечал, что через неделю я могу уже по нескольку часов прохаживаться в саду, если погода то дозволит, что спустя еще две недели он дозволит мне понемногу проезжаться верхом, а там еще через две недели — если поможет всемогущий — могу уже и я, раб его [1], отважиться на дальнейшие подвиги.

— Это ужасно,— сказал я с крайним огорчением,— неужели еще более месяца томиться в неволе?

— Что делать, Неон! — прервал Еварест с улыбкою,— врачей столько же надобно слушаться, как и духовных отцов. Одни указывают душе путь ко спасению, а другие направляют тело ко храму здравия.

После сего он меня обнял с ласкою, сунул Авдону в руку горсть злотых и, наказав Пармену довольствовать меня сколько можно лучше и никого не допускать постороннего, кто бы он ни был, удалился.

Авдон был весьма точен в словах своих. Не прежде недели открыты для меня садовые ворота..

Время от времени я становился тверже на ногах и исправнее мог владеть раненою рукою. Рана на голове совершенно очистилась, и остался один только рубец, а на шее хотя несколько и беспокоила, а особливо ночью и в мокрую погоду, но она не мешала говорить и есть, сколько мне было угодно. Когда прошли еще две недели, и я чувствовал себя — по крайней мере так мне казалось — совершенно здоровым, то предложил Пармену достать две каких-нибудь, хотя деревенские, клячи, на коих бы я с Сисоем для укрепления сил мог прогуливаться в окрестностях хутора.

— Достать двух коней,— отвечал Пармен,— дело бы не мудреное, но прогуливаться на них — дело невозможное. Мой господин, уезжая отсюда в последний раз, именно сказал мне: «Пармен, как скоро Авдон признает, что нашему больному можно уже показаться на лошади, то предварительно уведомь о том меня, и до получения от-

---

[1] *Авдон* с еврейского значит *раб судии бога.* *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

вета ворота моего дома должны быть заключены для всякого». Так хочет Еварест, и ты согласишься, что воля его должна быть свято исполняема. Вчера еще послал я в Батурин нарочного с мнением Авдона о твоем выздоровлении и с часу на час ожидаю решения.

Хотя таковая прихоть несколько мне и не понравилась, но нечего было делать. Я принужден довольствоваться прогулкою в обширном саду и слушанием убедительных доказательств Авдоновых, что есть свиное мясо и ходить на войну суть дела самые негодные, богопротивные.

— Припомни-ка,— говорил он с жаром,— что всякий из праотцев наших до потопа прожил не менее пятисот лет! Отчего это? Именно оттого, что они самой нечистой скотины и не видали, а о войне не было у них и слуха.

— Хотя,— возразил я,— твои собратия и теперь не едят свинины, а сражаться не заставишь их и плетью, однако же не думаю, чтобы хотя один прожил долее всякого умеренного христианина.

— Это оттого,— вскричал мой врач,— что злой рок судил нам жить между христианами. Тут против воли наберешься свиного духа и вдоволь наслышишься о кровопролитных драках, а это-то самое и укоратывает нить жизненную.

Прошло еще два дня, и я непритворно начал скучать и задумываться. Пока я был болен, то более всего думал о счастии здоровых людей; а когда оправился, тогда милая Неонилла ни на минуту не выходила из моих мыслей. Воображение рисовало предо мною ее нежный взор, сладкую улыбку; я представлял себя в ее объятиях, и сердце мое трептало. Король, сей верный друг и путеводитель, занимал часто мои мысли, и самый Мемнон с любезным семейством исторгал из груди моей вздохи, что я, столько им обласканный, облагодетельствованный, ничего о нем не слышу и не знаю, счастлив ли сей человек великодушный!

На третий день, рано поутру, когда я прохлаждался еще в постели и Авдон в последний раз, по словам его, прикладывал мази к двум остальным ранам на руке и на ноге, ибо и шейная совершенно очистилась, вошел ко мне Сисой с объявлением, что какой-то молодой есаул полка гетманского с десятью казаками прибыл в хутор и желает меня видеть.

— Хорошо,— отвечал я,— объяви пану есаулу, что как скоро раны мои будут перевязаны, то я оденусь и к нему выйду.

Сисой, исполняя приказание, сейчас возвратился, дабы помочь мне одеться в сотническое платье и мечом препоясаться. Мне не хотелось пред чиновного человека предстать в простом одеянии.

Вошед в большую комнату, в которой обыкновенно угощал хозяин гостей своих, посещавших его в уединении, я увидел молодого, прекрасного мужчину с пламенными глазами. Стан его был прям и гибок, как стебель молодого клена, румяные щеки показывали здоровье; и хотя он был в есаульском наряде, но усы едва начали пробиваться, что и давало ему вид не более двадцатилетнего. Подошед ко мне почтительно, но свободным шагом и с благородным видом, он сказал:

— Высокоповелительный гетман сил малороссийских приказал вручить тебе сию бумагу.

С сими словами подал он мне большой лист; я развернул, пробежал глазами и не смел сам себе верить. Я прочел в другой и третий раз, и все еще казалось, что брежу. Свернув бумагу, я начал ходить по комнате, дабы увериться в бодрственном своем состоянии; после чего, сев на лавку, спросил:

— Известно ли тебе содержание сей бумаги?

— При выезде из дворца,— отвечал есаул,— Куфий подробно обо всем меня уведомил. Прими поздравление мое с новою милостию столько же благосклонно, сколько о сем радуемся я и все мои родные!

— Так,— сказал я, глядя в бумагу,— это грамота на пожалование меня войсковым старшиною в полку гетмана. Но кто ты и кто твои родные, принимающие во мне такое дружеское участие?

— Ты узнаешь о сем из письма,— сказал есаул, подав мне сверток бумаги.

Я развернул и прочел следующее:

«Посылая грамоту его высокомочия на пожалование тебя, Неон, в новое и высокое достоинство, поздравляю. Все друзья твои сему очень рады. Теперь надобно тебе забыть о своей молодости и вести себя так, как прилично опытному мужу. Ты называешься старшиною; молодость не будет уже извинением в проступках. Грамоту и письмо сие вручит тебе молодой есаул Кронид, который будет собеседником твоим в сельском доме и провожа-

тым во время прогулок в полях окрестных. Присланные телохранители должны везде вам сопутствовать, как скоро оставите двор ваш. Не спрашивай ничего: так надобно! Прошу тебя: будь ласков к Крониду и удостой его любви твоей и дружбы. Мне все говорят, даже нелицемерный друг наш Диомид, что молодец достоин любви всякого почтенного человека. Хотя я и не должен таковым лестным слухам верить без разбора, потому что Кронид родной сын мой, а глаза отцовские нередко в таких случаях ослепляются, но, как бы то ни было, и я повторяю просьбу: полюби, Неон, моего сына, ибо и тебя искренно любит отец его.

Еварест».

Я вскочил с места с изумлением, превратившимся скоро в восторг радости.

— Ты сын Евареста? — вскричал я.

— Так,— отвечал молодой человек, бросив на меня величественный взор, который тогда показался мне несколько гордым.

— Я обнял его с нежностью и не мог не вздохнуть тяжко, вспомня, что я лишен сего высокого наслаждения и не могу сказать, кто мои родители. Мысль сия так меня поразила, что и новое достоинство, полученное в столь молодые лета, меня не веселило.

Разговорившись с Кронидом, я тотчас увидел в нем пылкого юношу, который всегда знает, что он — сын вельможи, а пришедши в возраст, смотрел на отца своего как на будущего гетмана. При всем том воспитание, полученное им в глазах родителей, под надзором старого опытного и ученого иезуита, делало его любезным и заставляло забывать, что он слишком молод. Мы условились, чтобы после завтрака ехать верхами подальше за хутор, почему я опять намекнул Пармену о деревенской кляче.

— На что это? — спросил Кронид,— для тебя отец мой прислал одного из лучших коней своих со всем прибором.

Я не мог довольно надивиться великодушию Евареста и возблагодарить за сие в лице его сына. Мы вооружились огнестрельным оружием, сошли на двор, сели на коней и пустились в поле в сопровождении гетманских телохранителей.

По возвращении домой уже вечером, хотя и чувствовал я усталость и расслабление, однако чувства сии име-

ли в себе некоторую приятность, происходящую от мысли: «Я устал, как устают все здоровые люди». В продолжение двух недель связь моя с Кронидом день ото дня делалась прочнее: я ни одним словом, ни одним взглядом не обнаруживал своего пред ним начальства, да и кто я, чтобы без зазрения совести мог чиниться пред сыном первого человека в Малороссии после гетмана? Хотя и меня уверяют, что родители мои — люди благородные, но я и до сих пор не знаю, кто они такие. Наконец время заточения моего миновалось; роскошный червец начал дышать под безоблачным небом, и Авдон отправился в Батурин с донесением, что я опять стал человеком, следовательно, могу иметь с людьми обращение. В тот же вечер прискакал нарочный с письмом от Евареста, причем привезено богатое платье, сообразное с новым моим достоинством. В письме содержалось повеление на другой день поутру ехать в столицу и, никуда не сворачивая, прямо явиться во дворце гетмана. Сборы наши были невелики; с восхождением солнца облачился я в золотистую одежду, все вскочили на коней и полетели. Я чувствовал, что с каждым шагом, приближающим меня к городу, бытие мое оживляется. Мысли о блаженстве, какое вкушать буду, обнимая жену, сына и друга, занимали во всю дорогу душу мою и сердце. Какое-то рассеяние, близкое к упоению, к самозабытию, столько мною овладело, что я ничего не видел, ничего не слышал, что вокруг меня происходило, и не прежде опомнился, как раздался в воздухе звонкий голос Кронида: «Стой!» Я встрепенулся, осмотрелся и, к удивлению, увидел, что мы достигли уже чертогов гетманских. Тут-то вспомнил я приказание, *никуда* не заезжая, явиться прямо во дворце. Я сердечно благодарил Евареста за его предусмотрительность; ибо, если бы подле меня не было его сына и стражи, то, наверное, целый день рыскал бы по городу, не зная сам, где и зачем, а по наступлении ночи очутился бы в реке или буераке.

Вошед в приемную палату, я возбудил всеобщее движение. Все обступили меня с приветствиями, поздравлениями. Иной удивлялся необычайным моим достоинствам, другой — чудесному счастию; сей превозносил великость моего разума, доказанного освобождением гетмана из плена, а тот отдавал преимущество сверхъестественному мужеству, с каким поразил я пана Бурлинского и тем сохранил на плечах гетманову голову. Словом, на

сей раз все сделались самыми красноречивыми витиями, и я начинал уже принимать важную осанку витязя, кидать вокруг величественные взгляды и несколько пасмурно кивать головою,— как пришел в себя, услыша, что отходившие в сторону поздравители, говоря между собою вполголоса, довольно явственно произносили: «Настоящий бурсак!» Как скоро сие магическое слово коснулось моего слуха, вдруг я с превыспренного неба ниспал на землю бренную, на одну минуту задумался и после, неприметно вздохнув, сказал самому себе: «Vanitas vanitatum et omnia sunt vanitas!» [1]

По прошествии довольного времени появился в палате Куфий. Он был очень пасмурен и шел медленно, смотря в пол и перебирая на руках пальцы; но как скоро меня приметил, то, приняв веселый вид, подбежал, обнял и, отведши на сторону, сказал:

— Поздравляю, друг, в новом звании, которое сделало бы много чести и седому воину. Я видел на опыте успехи твоей предприимчивости и мужества; а теперь посмотрю, сумеешь ли остаться великодушным при потере чего-нибудь важнейшего, чем голова наша! Как ты думаешь, Неон, есть ли для человека что-нибудь любезнее жизни? Что ж ты молчишь? Ин я скажу пояснее. Согласен ли ты будешь на предложение: лишиться рук, ног, глаз, ушей и в сем положении остаться жить? Ведь у тебя останется голова и брюхо: чего же более? Рот будет принимать пищу и питье, а желудок переваривать то и другое. Что за пропасть! ты все молчишь, изменяешься в лице, взор твой обнаруживает робость!

В сие мгновение вошел дворцовый старшина и объявил, что его высокомочие меня ожидает.

Глава IX **Важное открытие**

Я шел за старшиною в чрезмерном смущении. Загадочные речи Куфия поразили меня, как ударом грома, и хотя я в полноте не понимал их, но предчувствовал, что

[1] Суета сует и всяческая суета! *(лат.)*

должен буду лишиться чего-то драгоценного. «Что же может быть дороже жизни?» — спрашивал я самого себя. Невидимый голос в глубине души моей шептал: «Потеря свободы, потеря милой, любимой жены и залога любви пламенной!» Дрожь проникла во все составы моего тела; я хотел остановиться, но двери впереди нас растворились, я вошел, взглянул и едва не ослепнул. Хотя я в продолжение почти годичного служения при дворе и гораздо привык к пышности и великолепию, но подобных видеть еще не случалось. Против самых дверей у стены, на возвышении нескольких ступеней, стояли золотые кресла, осеняемые сверху балдахином из малинового бархата, вышитого серебром и золотом; по правую и по левую сторону кресел стояли небольшие столики, из коих на первом лежал обнаженный меч, а на другом — золотая булава, испещренная драгоценными камнями. По обе стороны сего возвышения стояли все находившиеся в Батурине полковники и старшины войсковые; позади великое множество телохранителей. Я стоял неподвижно и терялся в догадках.

Немного времени спустя боковые двери открылись, и гетман вошел в великолепной одежде; за ним последовали Еварест и Диомид, а позади всех тащился Куфий, на сей раз пасмурный, задумчивый. Когда гетман воссел на своем месте и уставились подле него Еварест и Диомид, а Куфий позади кресел, то первый, взяв булаву в правую руку, по некотором молчании, осмотрев величественным взором палату собрания, произнес голосом, хотя не гневным, но довольно строгим:

— Приближься, Хлопотинский!

Действительно, тот из семи мудрецов древности был человек весьма опытный, который за верх ума человеческого поставил *познать самого себя.* Наука сия тем труднее к изучению, чем кажется с первого взгляда легчайшею. Когда я введен был в сию палату, а особливо когда появился гетман с полумрачным взором, с нахмуренными бровями, то я трепетал всем телом, когда же услышал голос судии: «Приближься!» — то некий дух, живущий внутри меня, произнес громко: «Ободрись! разве ты злодей, что колеблешься предстать пред повелителем?» — Нечто животворное проникло все мои составы; мужество разлилось в каждой капле крови, и я, твердыми шагами подошед к седалищу гетмана, повергся на колена.

Несколько мгновений он хранил глубокое молчание; потом, возвыся булаву, прикоснулся ею к моему темени и несколько ласковее произнес:

— Встань и выслушай внимательно; существо дела того стоит.

Я поднялся и, взглянув на своего повелителя взором неробким, отошел к стороне и остановился, опершись обеими руками на свою саблю. Гетман произнес:

— Ты, Хлопотинский, в течение прошедшей маловременной брани оказал много истинных услуг отечеству, за что оно в лице моем и воздало тебе достойную награду. Теперь обвиняют тебя в преступлении, которое прощено быть не может. Не ты ли обольстил дочь Истукария в Переяславле? не ты ли довершил беззаконие, увезши ее с немалым отцовским имуществом, чем разрушил преднамеренный брак ее с достойным мужем? не ты ли, наконец,— к совершенной невозможности поправить семейственное расстройство — женился на беглянке против воли ее родителей, сродников и ближних? Ответствуй, Хлопотинский!

Я ответствовал с видом надежным и со взором негодования:

— Если все обвинения, тебе, державный гетман, против меня сделанные, заключаются в объявленных тобою показаниях, то я считаю себя до такой степени невинным, что остаюсь совершенно покоен. Так, мне нравилась Неонилла, дочь Истукариева; я молод, неопытен и не успел избежать сетей, расставленных для моего обольщения. Я вместе с нею пробирался в Батурин, но не похищал ее, а только не имел сил ее оставить, к чему способствовала — признаюсь пред всеми — и моя к ней склонность, день ото дня возраставшая. Я принужден был на ней жениться, когда она доказала свою беременность и решилась сим единственным средством прикрыть общий стыд наш. Неужели я поступил бы согласнее с законами божескими и человеческими, когда бы, видя несчастную жертву любви и чувственности в столь жалком положении, кинул бы ее на распутье, предоставя честь ее и жизнь на произвол случая и на решение отца жестокосердого?

Кротость изобразилась на лице и во взорах гетмана, все присутствующие были тронуты и, казалось, в мою пользу. После короткого молчания гетман произнес:

— Если верить словам твоим, то ты гораздо менее виноват, нежели как тебя обвиняют. Кто докажет нам справедливость твоих сказаний?

— Я,— воззвал Король, и бледное лицо его побагровело.

— Ты? — спросил гетман с удивлением.— Но какая могла быть связь между пожилым, почтенным мужем и молодым, опрометчивым человеком, а особливо в подобных обстоятельствах?

— Обстоятельства делают весьма много,— отвечал Король,— а часто и совсем изменяют предположенный путь нашей жизни. Если благоугодно тебе выслушать, то я открою нить происшествий, за кои обвиняют Хлопотинского, и докажу, что все сказанное им в оправдание весьма справедливо.

Получив дозволение, Король воспламенился жаром юноши. Он рассказал, как познакомился со мною, как полюбил меня за кротость и чистосердечие, как удостоверился о тайне моего рождения. Он объявил причины, для коих ввел в дом Истукария, и как Неонилла, пламенная, влюбленная Неонилла умела воспользоваться неопытностью молодого, пылкого человека. В заключение рассказал он все обстоятельства моей скоропостижной женитьбы и кончил замечанием:

— Всего для меня удивительнее, что Истукарий, человек уже старый, а потому, думать должно, что опытный и богобоязненный,— я не коснусь здесь до собственного его поведения,— вместо того, чтобы радоваться и благодарить бога, окончившего дело сие, дело греховное, благим освящением церкви, он еще жалуется и не стыдится во всю Малороссию провозгласить свое посрамление, но не в том, что дочь его сделалась законною женою Неона, а что могла сделаться матерью, не будучи женою.

Все удивлены были красноречием, жаром, твердостию Диомида и силою его доказательств. Пользуясь молчанием, он спросил:

— Благоволи теперь, великий гетман, поведать, чего желает от тебя Истукарий?

— Он требует,— отвечал державный старец,— чтобы я дозволил ему дочь свою и с ее младенцем отдать на его волю до тех пор, пока брак ее с Хлопотинским не будет расторгнут; чтобы зять его до того времени содержан был в темнице под строгим надзором, дожидаясь, какое решение последует от духовной власти касательно даль-

нейшего наказания за столь явное нарушение священного права родителей. Признаюсь, мои воеводы и чиноначальники, что желание Истукария, яко отца семейства, кажется мне справедливым. Я сам был некогда отцом и до сих пор чувствую всю великость несчастия, постигшего меня от непокорства дочери, которую любил я более всего на свете и хранил, яко зеницу ока. Теперь я спрашиваю вас: согласны ли вы с моим мнением, которое есть последствие требования Истукариева?

— Нет! — сказал Диомид торжественно.— Я согласен, что дети подлежат неограниченной власти своих родителей, пока их слабость и неопытность того требуют. Но ежели я, старый, дряхлый скряга, дочери своей, цветущей юностию и здоровьем, следовательно, от самого небесного раздавателя благ земных одаренной всеми способами наслаждаться счастием жизни, предложу в мужья такого же старого, дряхлого скрягу, потому только, что он еще богаче меня, неужели я имею тогда право носить на себе священное право родителя? Неужели я сделаюсь угоден милосердному небу за то, что одно из его творений, возросшее с надеждою на счастие, сделаю злополучнейшим на лице земли?

Гетман изменился в лице, но Диомид, как будто того не примечая, продолжал:

— Но пусть я и смягчу свое заключение. Всякий отец и мать дают дитяти своему тело, но душу дарит господь. Если законы не противятся, чтобы родители указывали отрасли своей дорогу ко счастию по их умоначертанию, то зачем вместе с сим отнимать у последней данное богом право следовать внушениям души своей и сердца? Итак, я полагаю: Неониллу, яко дочь Истукария, возвратить отцу одну, без сына, ибо дитя не одной матери принадлежит. Истукарий может надзирать за нею, но со всею скромностию, как прилично с замужнею женщиною, которая, и по словам Святого писания, принадлежит уже мужу, а не родителям, тем менее родителям вздорным, своекорыстным и детей своих почитающим меновым товаром. Пусть власть церкви разрешит будущую участь Неониллы! Что же касается до заключения в темницу и в оковы Неона, то я обращаюсь к тебе, великий гетман, обращаюсь к вам, полковники и старшины воинства, с вопросом: неужели будет справедливо, законно, богоугодно лишать света того мужа, который извлек из плена нашего повелителя? возлагать оковы на те руки,

которые остановили меч, готовый размозжить голову нашего гетмана? заставить томиться в неволе того, который, по благословению неба, дал свободу всему отечеству, поддержал, увеличил власть нашего повелителя?

Безмолвное изумление господствовало в палате, во взорах гетмана сияла нежность и умиление. Король продолжал:

— Итак, я полагаю: Неониллу, дочь Истукариеву, на объявленном мною условии возвратить в дом отеческий. Сына ее отдать отцу, которого и оставить в полной свободе, доколе святая церковь не рассудит между ними.

Гетман, после довольно продолжительного молчания, возвыся булаву, вопросил:

— Что скажут на сие мои советники?

— Согласны! согласны! — раздалось со всех сторон.

Тогда повелитель сказал:

— Надобно выслушать обвиняющего!

Он дал знак, и дневальный старшина быстро устремился к углу палаты, завешенному ковром шелковым. Занавес распахнулся,— и кто опишет общее изумление и мой ужас! На стуле сидел Истукарий, бледный, изможденный. Своими руками щипал он на голове волосы и ерошил усы; пена белелась на губах, и глаза пылали, как у разъяренного зверя; от бешенства он дрожал всем телом и не мог подняться с места. Я отвратил глаза от исступленного изувера. Потеря Неониллы и предание ее в руки изверга затемняли мой рассудок.

Дневальный старшина с несколькими телохранителями взяли почтительно Истукария под руки и подвели к гетману.

— Успокойся,— сказал дружелюбно старец,— мужу в твои лета малодушествовать непозволительно. В третий раз, при собрании уже всего моего совета, предлагаю тебе, простив своих детей, сделать их счастливыми и тем осчастливить последние дни своей жизни.

— Никогда! — сказал Истукарий, скрежеща зубами.

— А если так,— продолжал гетман довольно строго,— то я утверждаю положение моего совета. Да возвращена будет Неонилла отцу своему, а сын ее останется при своем отце; с сим вместе Неон есть войсковой старшина полка моего имени, и особа его неприкосновенна!

— Правосудное небо! — сказал Истукарий задыхающимся от бешенства голосом,— у меня требуют согласия на утверждение союза ненавистного, посрамляющего го-

лову мою срамом неизгладимым; меня убеждают признать своим сыном бурсака безродного!

— Какая кому надобность,— сказал с важностью гетман,— чем я и ты были прежде, нежели почтены настоящими достоинствами? Впрочем, по уверению особ, достойных всякого вероятия, Неон происходит от благородных родителей, а собственные его заслуги то доказывают!

— Все сии уверения достоверных особ,— сказал со стоном Истукарий,— суть личины, посредством коих думают они прикрыть свои злодеяния и остаться ненаказанными!

Глаза у Диомида заблистали, как раскаленные угли.

— Ах! — сказал он, ударя себя по лбу,— доказательства все в моих руках, и я должен молчать о них! Как несносно слышать хулы беснующегося, иметь возможность зажать ему челюсти, окаменить лживый язык — и молчать!

— Говори, Диомид,— сказал торжественно гетман,— буде что можешь сказать в опровержение слов Истукария противу тебя и твоего питомца.

— Великий гетман! — произнес Король, понизя голос,— я не дерзаю сделать сего по крайней мере до удобного времени!

— Можешь ли ты найти к сему время удобнейшее теперешнего? Говори, я приказываю!

— Дай обещание твоего высокомочия, что слова мои будут приняты великодушно, и никакое мщение не поселится в душе твоей!

— Даю, но не простое обещание, а торжественную клятву, что до самой могилы, которая уже для меня разверзает зев свой, ни слух твой, ни зрение, ни одно из чувств оскорблены не будут, и ты навсегда останешься доверенным моим советником!

Король уподобился вдохновенному. Возвыся голос, он произнес:

— Вы слышали клятву повелителя, мужи именитые! Она решает узы языка моего. Итак, знай, великий гетман, что старшина полка имени твоего Неон Хлопотинский, избавивший тебя из плена иноземного, сохранивший на брани жизнь твою, есть — будь великодушен, гетман, как достойно мужу в твои лета с твоим званием,— он есть — еще умоляю тебя собрать всю крепость твоего

духа, всю доброту твоего сердца,— он есть — внук твой, сын брата моего Леонида и дочери твоей Евгении!

Милосердный боже! Какое поражение разлилось в сердце каждого от слов сих. Гетман затрепетал, булава выпала из охладевшей руки его, голова склонилась к груди, глаза закрылись. Диомид и Еварест бросились поднимать его, я туда же устремился; сделал шага три, но колени мои поколебались, голова закружилась, сердце заныло, я сбеспамятел.

Глава X Надежда

Душа человеческая бывает иногда в таком состоянии, что хотя и чувствует бытие свое, но никак не может обнаружить оного посредством телесных членов, более уже ей непослушных. Теперь со мною то же случилось. Пришед в себя, я очень чувствовал, что меня везут; обонял запах крепкого спирта, осязал трение висков и при всем том не мог открыть глаз, не мог пошевелить губами, ниже другим каким-нибудь членом. Наконец тяжелый, продолжительный вздох сделал перелом в телесном составе; сперва я открыл глаза и увидал себя в гетманской колымаге; подле меня стоял на коленях Кронид, держа в одной руке стклянку, а в другой грецкую губу; в ногах сидел знакомец мой велеречивый Авдон, давая наставления, как действовать сими снадобьями. На первый случай я довольствовался возвращением зрения и слуха и дал волю врачам своим действовать, как изволят. Вскоре потом я мог уже положить руку на сердце, и казалось, что трепетание его несколько ослабело; наконец, губы мои открылись, и я мог спросить довольно явственно:

— Куда мы едем?

— В самое покойное место, какое только можно отыскать в Батурине,— отвечал Кронид,— именно в дом полковника Диомида.

— Друг мой! — сказал я с умоляющим взором, взяв его за руку,— прикажи везти меня на край города, в дом черноморца Ермила; там найду я жену и сына, и одно на

них воззрение уничтожит или по крайней мере уменьшит несносную скорбь души моей.

— Мне велел отец мой доставить тебя в дом Диомида,— отвечал Кронид с кротостию,— и я имею причину думать, что он лучше нас обоих знает, как поступать в подобных случаях. Ты скоро увидишься с Королем и можешь сделать ему предложение о перемене места жительства сам от себя.

Мы въехали на пространный двор и остановились у большого дома. Хотя я не чувствовал болезни, даже боли ни в одном члене, но был слаб до изнеможения. Дворецкий встретил нас у самого крыльца и помогал Крониду и Авдону вести меня до покоя, мне назначенного, из чего я заключил, что о прибытии моем дано знать предварительно. По велению Авдона, в таких случаях самовластного, меня раздели и уложили в постель.

— Милосердый боже! — сказал я вслух,— едва избавился я постели, опять меня в ней погребают!

— Что делать,— молвил Авдон,— и праотцы мои, сыны Израиля, народ избранный, едва избавлялись одного плена, смотри — уж попадались в другой, тягчайший. На них находили черные столетия, а на тебя, как видно, нашел черный год; они терпели, потерпи и ты!

— Но они,— заметил я,— дотерпелись до того, что теперь и пейсов своих не могут считать прочною собственностию!

— Успокойся, Неон,— подхватил врач,— я не буду на сей раз мучить тебя лекарствами; все, что я предписываю, состоит в сохранении спокойствия, и если ты в точности исполнишь по рецепту, то завтра поутру будешь столько же здоров, сколько был сегодня до появления во дворце гетмана.

Я отвечал, что с сей же минуты хотел бы начать пользоваться по его советам, и оба мои провожатые удалились.

Оставшись один, я силился привести в порядок мысли, клубившиеся в голове моей подобно слоям густого тумана на долине, на которую нечаянный вихрь со всею силою опрокинулся. Я размышлял: «Итак, Неон, ты внук великого гетмана, следовательно, и малейшие дела твои сочтены будут величайшими отличиями. Без сомнения, тайну сию знали, кроме Диомида, еще Еварест и Куфий, как мне о том и сказано; но гетман не имел в том ни малейшего подозрения, ибо в противном случае он мог дей-

ствовать во вред мне или пользу, не роняя булавы из рук и не лишаясь чувства: следовательно, я получил свои почести за действительные заслуги и не должен стыдиться пользоваться ими. Но в самое то время, когда враждующая судьба, казалось, обратила на меня взор веселый, злой дух мятежа, гордости и мщения посылает сюда ненавистного Истукария и внушает ему мысль отыскивать прав своих, может быть, не совсем неправильных, и я осужден лишиться моей Неониллы! Нет, скорее откажусь я от родства с гетманом, от дружбы с дядею, чем от милой жены, матери моего сына, жены, пожертвовавшей для меня всем, чем только страстная женщина пожертвовать может.

Но почему знать,— продолжал я, повернувшись на другой бок,— может быть, гетман давно уже знал тайну моего происхождения и, намереваясь мщение свое к моим родителям сохранить — по собственным словам его — в пределах самой вечности, согласился возвысить одного меня, и на сей конец в столь короткое время возвел на такую степень, до которой многие поседевшие во бранях и глаз возвести не смеют. Может быть, он сам или по его желанию Еварест, Каллистрат, самый Король посторонним образом подустили надменного глупца Истукария требовать возврата назад своей дочери и заключения меня в темницу! Для чего Король, защищая права мои, довольствуется только избавлением меня от неволи, соглашаясь с первого слова на отдачу Неониллы во власть раздраженного отца ее? Боже! какой свет начинает окружать сумрак души моей! Для чего не хотели отвезти меня во время гибельного помешательства в дом Ермила, где под скромною соломенною кровлею нашел бы я любовь, спокойствие, блаженство, а приволокли в сии пышные палаты, где, кроме тоски, скорби, горестного предчувствия, ничего не вижу, ничего не ожидаю!»

Утвердясь в мыслях, что я не что иное, как игрушка, как жертва честолюбия, своекорыстия и мщения, решился одним мигом прервать сии сети, оставить блеск, пышность, великолепие и, наслаждаясь одним семейным счастием, кончить дни свои так, как и начал: в безопасной неизвестности! На что мне чины и почести, сии обольщения слабоумных? Разве у жены моей нет столько имущества, чтобы, обратя оное в деньги и соединя оные с наличными, завестись в самом уединенном углу Малороссии маленьким домом с садом и огородом? Сам я свиде-

тель, когда дядя мой, Диомид Король, был в Переяславле огородником, он всегда был здоров, весел и в пятьдесят лет казался двадцатилетним; но едва появился в столице, как заразительный воздух оной и его коснулся. Он сражался,— надобно отдать справедливость,— как отличный сын отечества, взошел на высшую степень достоинства, исключая гетманское, и теперь посмотри, кто хочет, на Диомида! Целая переяславская бурса, узнававшая его за версту по одной только бодрой походке, теперь не узнала бы и в двух саженях.

Вследствие сей решимости я встал с постели, оделся, вооружился и вышел на двор. Не успел я пройти и десяти шагов, как дворецкий нагнал меня, стал впереди с распростертыми руками и воззвал:

— Что это, пан Неон? Разве забыл ты наставления многоопытного Авдона?

— Он советовал мне хранить более всего свое спокойствие,— отвечал я,— но могу ли быть спокоен, лежа в постели, в совершенной неизвестности о семье своей?

— Однако ж,— продолжал дворецкий,— пан Диомид наказал мне чрез нарочного, чтобы я имел о тебе неусыпное смотрение, пока не оправишься.

— Ты видишь,— сказал я,— что иду, как человек здоровый, следственно, данное тебе приказание исполнено, и ты можешь заснуть без боязни. Посторонись!..

— Никак! — отвечал верный слуга,— я принял тебя из колымаги гетманской и должен пану своему сдать руками. Почему знать мне, что ты прислан сюда спроста? Может быть, здесь только ждать будут твоего выздоровления, а после обкорнают уши!

— Ты верен своему пану,— сказал я полусердито,— это очень хорошо; но ты крайне глуп, это неладно. Посторонись, или я спихну тебя с дороги!

С сими словами я ударил по ефесу сабли рукою, дворецкий с криком от меня бросился в сторону, и я проворно вышел за ворота.

Великолепный дом Диомидов стоял лицом на один из базаров батуринских совершенно в противоположной стороне, взяв за основание палаты гетманские, от дома Ермилова, и я, дабы избежать всякой встречи с кем-либо из знакомых, взял большой круг и к скромному жилищу моей любезной жены пришел уже незадолго пред закатом солнечным. Может быть, медленность сия произошла оттого, что во всю дорогу я погружен был в сладкие

мечтания, кружившие мою голову и нередко скрывавшие от глаз все мне встречавшееся; ибо сам помню, что не раз стукался головой о заборы или заходил в бурьян, кое-где на пустырях повыросший.

Долго и крепко стучал я в ворота, но не получал никакого отзыва. Я, конечно, мигом перелез бы через забор, ибо ухватки бурсацкие гораздо были еще мне памятны; но как приступить к сему в богатом платье войскового старшины полка гетманского, при дневном свете, в виду соседей и прохожих. Это был бы явный соблазн, и после все сотники и есаулы, не говоря уже о простых казаках, стали бы прыгать через заборы, извиняясь, что к сему побудила непреодолимая страсть одного к жене своей, другого к соседке, третьего к карману ближнего. Итак, по необходимости я ополчился терпением и уселся на лавке в ожидании кого-либо из хозяев или по крайней мере наступления ночи, чтобы без зазрения совести можно было, не входя в ворота, попасть на двор. Хотя положение мое было для нетерпеливого человека в мои лета довольно тягостно, однако не без примеси и удовольствия. «Наверное,— думал я на просторе,— Ермил с сыном, с женою и невесткою по каким-нибудь домашним обстоятельствам все разом отлучились, оставя одну Неониллу с своим малюткою и детьми Мукона. Чтобы не обеспокоил ее какой-нибудь незнакомый посетитель или, и того хуже, знакомый, но неприятный, она заперлась наглухо, и, может быть, я уже не первый, стучавшийся у ворот понапрасну».—Успокоясь сими мыслями, кои казались мне самою достоверною догадкою, я то ходил вдоль забора, то сидел на лавке, попевая и насвистывая веселые песни. Солнце закатилось, и на небе запылала заря вечерняя.

Внезапный шум обратил мое внимание. Оный происходил от толпы военных людей, позади коих ехали две нарядные колымаги, каждая в четыре лошади. Когда толпа сия ко мне приближилась, то я тотчас узнал Диомида, Евареста и Истукария с Епафрасом. За ними следовала гетманская стража.

— Как,— спросил Король с некоторым неудовольствием,— и ты здесь? Зачем?

Такой вопрос показался мне вызовом на сражение, если не саблями, то по крайней мере языками, и я отвечал голосом отрывистым:

— Будучи человек свободный, я думаю, что могу хо-

дить по здешним улицам, где хочу, и отдыхать там, где вздумается.

Король понял состояние моего сердца и, взяв за руку, произнес дружелюбно:

— Я для тебя же хотел сделать лучше, удаляя от Неониллы во время отъезда ее отсюда. Ты слышал мнение совета, утвержденное гетманом; оно непременно должно быть исполнено!

От слов сих пришел я в такое замешательство, которое походило на исступление. Мне мечталось, что впервые слышу о необходимости расстаться с Неониллою; я трепетал всем телом и не мог даже вздохнуть; грудь моя стеснилась. Истукарий сделал движение подойти ко мне, но я отскочил шага на три и быстро опустил руку на ефес сабли, Диомид и Еварест стали между мною и Истукарием, и первый сказал:

— Не безумствуй, Неон, и успокойся! Разве философия твоя не говорит, что всякие намерения наши, как бы они твердыми ни казались, нередко изменяются или совсем исчезают! Ты был счастлив любовию жены своей; потерпи — и опять будешь таким же.

— Неон! — сказал Истукарий, и, к удивлению моему, голосом дружелюбным, даже нежным,— выслушай терпеливо, что скажет человек старый, никогда не забывавший о своем благородстве, приехавший сюда полон гнева и мщения и уезжающий с тишиною в душе и кротостию в сердце! Так! при одной ужасной мысли, что ничтожный бурсак дерзнул вознести преступные взоры на дочь мою, что обольстил ее, увез и женился, я страдал несказанно и жаждал крови. В сем расположении прибыл я в Батурин, предстал гетману, требовал мщения и твердо решился погибнуть, только бы и вас обоих низвергнуть в пропасть бедствия. Когда же узнал я, что кровь твоя не может обесславить крови моей, текущей в жилах Неониллы, когда сими почтенными мужами удостоверен, что ты законный сын знаменитого полковника Леонида и гетмановой дочери Евгении, то гнев мой мгновенно переменился в умиление, и я с радостию, с благодарною слезою к богу, устрояющему и самые проступки наши во благо, даю отеческое благословение дочери моей, тебе и вашему сыну. Но, Неон, с того самого дня, как Неонилла с тобою скрылась, почтенное имя мое предано поруганию. Оскорбленный, разгневанный Варипсав не хотел — сколько я и жена моя его ни умоляли — со-

хранить тайну, и все происшествие, столько для всего дома моего поносное, рассказывал всякому, и думаю, что если бы в городах наших, по примеру польских, устроены были книгопечатни, то стыд моего дома он распространил бы по всей Малороссии. Порчу сию надобно поправить, и в намерении моем согласны оба почтенные мужа сии, которых считать в числе моих приятелей поставлю за особенную честь и удовольствие. Я теперь же возьму с собою дочь, а маленький Мелитон останется в доме Евареста. Неонилла будет жить в девическом тереме, и как скоро она любит и знает, что взаимно любима, то ей не будет тягостно провести несколько недель в разлуке с мужем и сыном, оживляясь каждую минуту надеждою показаться открыто в виде внуки великого гетмана. В это время получу я торжественное посольство от Никодима с просьбою о соединении Неона с Неониллою. Слух сей быстрее молнии разнесется во все концы Малороссии. Не знающие всего предыдущего будут радоваться, нашед случай повеселиться; кому же оно известно, останется в недоумении, и пусть ломают себе головы, добираясь постигнуть истину. Изготовя приданое, пристойное жениху и невесте, я отправлю ее в Батурин в сопровождении друзей моих и сродников, и по прибытии во дворец гетмана последует повсеместное объявление о бракосочетании знаменитых особ в дворцовой церкви, чего, разумеется, не будет, да и быть не должно. Следующие затем пиршества заставят граждан мало думать о причинах, для коих гетман обвенчал своего внука не в соборной, а в своей домашней церкви. Хотя ты, Неон, по всему вероятию, не будешь иметь надобности в имении, но честь моего дома требует, чтобы дочь и зять могли обойтись во всякое время без помощи деда. Да! приданое Неониллы будет ее достойно.

От сих неожиданных утешительных слов грусть моя мгновенно пременилась в восторг радости. С почтением подошел я к Истукарию, стал на колени и облобызал его десницу. Он поднял меня, заключил в объятия и, проливая радостные слезы, сказал:

— Не правда ли, Неон, что сколь ни сладостны утехи любви, но всегда имеют в себе некоторую горечь, пока истинное благословение неба не увенчает их, а сие не иначе случается, как после благословения родительского!

Диомид, Еварест и самый Епафрас, забыв происшествие в Королевом огороде, накануне нашего выезда из Переяславля с ним случившееся, удостоили меня своих объятий.

Когда общий восторг несколько утишился, то Диомид спросил:

— Чему приписать, что Неон вышел из моего дома вопреки лекарского наставления; а пришед сюда, вместо того чтоб резвиться с милою женою, так долго не виданною, и пугать ее описанием богатырских своих подвигов, преспокойно погуливал по улице и напевал казацкие песни?

Я рассказал им, что уже более часа против воли занят был сим упражнением, но что на стук мой, на пение и свисты не получаю никакого ответа. Все крайне изумились и глядели друг на друга, не произнося ни слова.

Глава XI Примирение

Истукарий, доселе надменный, вспыльчивый, мстительный Истукарий, при сих словах моих более всех всполошился. Диомид никогда не был ни мужем, ни отцом; Еварест имел большое семейство, но ему и на мысль не приходило когда-нибудь представлять лицо, подобное Истукариеву, следовательно, оба были довольно равнодушны. Вот что значит хранить порядок! Если хозяин дома его не нарушает, то никто из домашних и подумать о том не осмелится. Мой тесть и сын его околотили руки и ноги, стуча в вороты, но ответа нет как нет, даже ни одна собака не лаяла.

Я почел за нужное прежнюю догадку свою сообщить присутствующим, и все согласились, что Неонилла заперта и не откроется прежде, пока не придет кто-либо из хозяев.

— Этого, может быть, доведется ждать долго,— сказал Еварест и дал повеление; один из телохранителей перелетел через забор и отпер ворота. Мы вошли на двор, и дикая пустота нас окружила. Осмотрев все комнаты дома, нигде и ничего не находили. Сметливый Епафрас

кинулся в сарай и, возвратясь, донес, что ни брички, ни лошадей нет и следа.

Кто может описать тогдашнее наше положение! У Истукария потемнели глаза от выступивших слез и от тяжких вздохов остановилось дыхание. Диомид и Еварест с горестным безмолвием взглядывали друг на друга, и не находя слов, в замену того закручивали усы и потирали то лбы, то затылки. Что касается до меня, то, смотря на одни пустые подставки, на коих расположена была постель Неониллы, на корзину, служившую люлькою моему сыну, я не мог сохранить мужества, не оставлявшего меня в минуты, когда в жестокой битве готовился оставить жизнь и все счастие, меня к ней привязывающее.

— Неонилла! Где ты? — возопил я болезненно, повергся на сосновые доски и зарыдал неутешно. Я слышал, что Истукарий всхлипывал, Король ломал на руках пальцы, Еварест вздыхал и томным голосом произносил:

— Что бы это значило? Куда деться Неонилле и всему семейству Ермилову?

Шурин мой Епафрас на малые дела был человек превеликий. Видя, что ночь наступила, а все мы довольствуемся слезами, вздохами и восклицаниями, он расчел, что такая духовная пища — самый худой ужин. Мы немало подивились, когда, по прошествии двух горестных часов, комната наша вдруг осветилась дюжиной горящих свеч и четыре телохранителя внесли большой стол, уставленный разного рода кушаньями, на конце коего возвышалась просторная корзина с напитками.

— Что это такое? — спросил Истукарий, утирая усы.

— Батюшка! — отвечал сын с улыбкой самодовольствия,— видя вас всех в таком неприятном положении, я вздумал кое-что не худое. Сестры моей здесь нет, но это не значит еще, что ее нигде нет. Она всегда была пылка, нетерпелива, и так не диво, что, сделавшись женою и матерью, стала еще пыльчее, нетерпеливее! Узнав о появлении нашем в Батурине и не предчувствуя ничего доброго, а сверх того, быв в разлуке с мужем и не зная, когда с ним соединится, она поступила так же решительно, как в хуторе, что подле села Глупцова, и уехала в безопасное место в ожидании развязки.

— Ты рассуждаешь нарочито здраво! — воскликнул Диомид,— и стоишь, чтобы старый воин обнял тебя дружески. Точно так! испуганная Неонилла где-нибудь скры-

вается поблизости, а где именно, то хозяева здешнего дома должны знать непременно, а что знают они, то будем знать и мы. Епафрас! ты в этот вечер разумен беспримерно; а если молодой человек устоит твердо там, где старики пошатнулись, то надобно думать, что в нем прок будет.

Слова сии гордому Истукарию, влюбленному в своего сына, крайне показались милы; он дружески пожал руку у Диомида, подал другую Еваресту и, усадив обоих за стол, сел сам и сказал с веселою улыбкою:

— Ну, так и быть; пусть теперь погрустит, пусть поплачет наша Неонилла; тем утешительнее для нее будет, когда узнает, что отец ее ни о чем столько не думает, как устроить ее счастие не по своему уже, а по ее собственному умоначертанию. Спасибо, Епафрас, спасибо, друг мой! По мере любви твоей к сестре и я с матерью расположим к тебе любовь свою. Поступай и впредь сколько можно благоразумнее и ни на одну минуту не забывай, что ты одноутробный брат внуки великого гетмана! Вот,— продолжал он, подавая сыну полную горсть злотых,— отдай это телохранителям, и пусть себе идут, куда знают: а мы, почтенные друзья, и ты, любезный зять, кое-чем за сим столом позаймемся.

Уже с полчаса мы ликовали и всякий на свой вкус строил воздушные замки, как дверь отворилась и пред нами предстал старик Ермил. Не знаю, отчего только все пришли в некоторое замешательство. Вероятно, случилось сие от нечаянности, ибо в сию ночь мы никого уже к себе не ожидали.

— Ба! — вскричал весело Диомид,— откуда ты, Ермил, и где твои домашние?

— Милостивый наш пан! — отвечал Ермил, поклонясь в ноги,— как же я рад, что опять сподобил бог видеть тебя здоровым! Во время болезни я каждый день приходил в дом твой осведомиться; но упрямый жид Иоад наказал строго всем слугам, чтоб никого к тебе не допускали. Сегодня затем же прибрел я в город; завтра поутру был бы у тебя, и...

— Но ты забываешь,— вскричал Король,— отвечать на первый вопрос мой. По всему видно, что ты избрал себе новое жилище.

— Напротив,— отвечал Ермил,— я переселился на старое, где служил тебе лет за двадцать!

— Как! ты опять на моем хуторе? Что тебя к сему принудило?

— Я скажу тебе много нового, но не теперь!

— Ничего, ничего; сей почтенный пан, которого вид, вероятно, оковывает язык твой, сделался нашим другом и охотно признает Неона своим зятем. Расскажи нам все, что знаешь о Неонилле и ее сыне.

Истукарий подтвердил слова Диомидовы и обласкал Ермила, а черноморец сей, сделавшись доверчивее, начал рассказывать следующее:

— По удалении вашем в поход Неонилла только что скучала, впрочем, была здорова и по временам играла с своим сыном. Первая весть, нас поразившая, была о разбитии нашего воинства и пленении гетмана. Неонилла зарыдала, и весь свет ей опротивел. «Если уже и повелитель— говорила она,— не избежал плена, то как может уцелеть простой сотник из числа его телохранителей?» Вскоре появление здесь воеводы киевского поселило в сердцах наших надежду, и мы беспрестанно молились богу о сохранении особ, столько для нас любезных. Прибывшие сюда с израненным Диомидом опять нас встревожили. От них узнал я, что когда отправлялся Король, то сражение еще не кончилось, но по всему вероятию победа должна оставаться на нашей стороне. Так и вышло. Гетман и воинство возвратились в столицу, но Неона не было, и бедная Неонилла впала в отчаяние. Раз двадцать в день бегал я то во дворец, то в дом Диомида, чтобы проведать что-нибудь достоверное; однако ж везде должен был довольствоваться одними догадками и, возвратясь домой, терзаться душевно, смотря на страдания отчаянной Неониллы. Она всегда была одна и даже не допускала Анны, упрекая бедную женщину излишнею ветреностию. Ей казался тогда всякий безмерно веселым, кто не рыдал и не рвался. То-то подлинное горе!

В один день Неонилла сказала: «Добрый Ермил! вот двадцать червонцев; отдай их врачу Иоаду и попроси его ко мне». Я полетел к дому Диомидову, выждал, как жид вышел за ворота, отдал деньги и смиренно просил посетить больную женщину в моем доме. Кого не заманит к себе золото! Почтительно ввел я знаменитого еврея в сию самую комнату, усадил его под образами, и Неонилла предстала к нему с младенцем на руках. «Сын Израилев! — сказала она томным голосом,— благодарю тебя за посещение; но лекарства твои мне ненадобны. Однако слова довольно, чтобы или исцелить меня, или повергнуть

в могилу. Ты пользуешь Диомида Короля, а потому надеюсь, что знаешь участь искренних друзей его, бывших на брани. Скажи мне истину, заклинаю тебя всевышним! Не знаешь ли чего-нибудь о Неоне Хлопотинском, сотнике гетманского полка?» Жид взглянул на нее ласково, улыбнулся и спросил: «А кто дал тебе право о сем любопытствовать?» — «Этот младенец!» — вскричала Неонилла, подняв вверх своего сына, и слезы полились ручьем по бледным щекам ее. «Понимаю,— сказал жид,— и чем могу готов услужить тебе, только и ты лишнего не спрашивай. Так, не только видел я сотника Хлопотинского, но сам перевязывал его раны. Божусь тебе десятисловием, что если муж твой соблюдает наставления мои, то раны его нимало не опасны. Сильный вельможа при здешнем дворе держит Неона под своим покровительством. В одном из загородных его поместьев пользуется больной, и для надежнейшего в сем успеха я отпустил с ним лучшего из учеников моих. Где же именно лечится муж твой, я не знаю, а хотя бы и знал, то не открыл бы ни за пятьдесят червонцев. Ты молода, горячо любишь своего мужа, из чего заключаю, что недавно замужем и брачное состояние вам еще не надоело,— и верно, не утерпишь, чтобы с ним не повидаться, а это-то самое и будет для него гибельно, как некогда в старину свидание Орфея с Евридикою в пропастях ада. Ты умертвишь мужа, а все припишут то неискусству или небрежению Иоада. Уверяю тебя моею честию и клянусь неприкосновенностию пейсов, что сотник Хлопотинский вне всякой опасности; не подвергай же и ты его опасному искушению — сиди дома и нянчись с дитятею».

С сими словами жид, поправя еломок, степенно вышел, и Неонилла оживилась. В несколько дней глаза ее получили часть своего блеска, щеки просияли слабым румянцем; она иногда улыбалась и начала понемногу принимать участие в семейственном удовольствии. Мы все возложили надежду на благость промысла и терпеливо ожидали выздоровления Диомида и Неона, особ столько необходимых для нашего счастия.

Недели две пред сим, или около того, я заметил, что сии паны,— продолжал Ермил, указывая на Истукария и Епафраса,— что-то очень часто похаживают около ворот моего дома и пристально посматривают на окна. «Видно, какие-нибудь знакомцы моих гостей»,— думал я и догадку сию открыл Неонилле, сделав предложение

пригласить пришельцев. Но как же удивился, когда, описав сколько можно точнее приметы обоих любопытных, увидел, что Неонилла побледнела, задрожала и так ослабела, что я выхватил из рук ее дитя, боясь, чтоб она его не уронила. «Милосердый боже! — сказала она томным голосом,— это отец мой и брат! Если бы они прибыли сюда с добрым намерением, то зачем не посетить меня, а бродить скрытно по улицам? Всего вернее, что непримиримый отец, зная об отсутствии моего мужа, выжидает только случая, чтобы слабую, беспомощную женщину похитить и на всю жизнь заключить в каком-нибудь уединении».

Она погрузилась в размышление, а я стоял молча и опустя вниз голову и руки. Мне и самому казалось, что предчувствие Неониллы основательно, но не знал, как избавить ее от угрожающей опасности. Вдруг, к немалому удивлению моему, она бодро встала на ноги, глаза ее заблистали, щеки запылали, и, доселе томная, изнеможенная, теперь сказала твердым голосом: «Ермил! доверши свое к нам доброхотство и отпусти со мною на неделю или на две сына Мукона с невесткою. Мне надобно иметь безопасное убежище, и я такое знаю. Половину моих денег оставлю на твое сбережение, равно как все дорогие вещи и платья. В эту же ночь и отправлюсь отсюда!»

Хотя такое предприятие показалось мне весьма скоро заключенным, мало обдуманным, но, не находя основательных причин противоречить оному, я согласился. В тот же день на данные деньги купил четырех добрых коней,— ибо те, на коих сюда приехали, при самом водворении в сем доме были проданы,— снарядил сына и невестку по-дорожнему и по закате солнца начали укладываться.

Во все продолжение дня Неонилла старалась казаться твердою, веселою; и хотя иногда слезы навертывались на глазах ее, но как скоро примечала, что кто-нибудь из нас то видел, вдруг улыбка появлялась на губах ее, она прижимала к груди сына, и спокойствие просиявало на лице ее.

Настала полночь; Неонилла взяла дитя на руки, усердно помолилась богу, обняла Глафиру и ее внуков и, обратясь ко мне, сказала: «Благодарю тебя, добрый Ермил, за гостеприимство! С возвращением Мукона и Анны ты узнаешь, где я. Как скоро прибудет сюда Неон,

скажи ему, что я должна была искать себе безопасного убежища, надеюсь найти таковое и пробуду там до тех пор, пока он не приищет другого, безопаснейшего». После сего она села с Анною в бричку, Мукон взмостился на козлы, и лошади двинулись. Я решился провожать любезную гостью до самого рассвета, почему с вечера еще приговорил себе в сопутники соседей — кузнеца Аммоса и бочара Луку, и в сем порядке все со двора съехали. Когда я, при занятии зари, поворотил коня назад, то Неонилла, Анна и младенец спали глубоким сном. Мукон взмахнул кнутом, и доселе довольно тихо ехавшая бричка быстро покатилась по дороге к Пирятину.

— Вот все,— продолжал Ермил,— что я знаю; а как возвратится Мукон, то проведаешь что-нибудь и побольше. Вскоре, по возвращении гетмана с воинством из похода в Батурин, всем известно стало, что имение твое, Диомид, поступило опять в твое владение; почему я с женою и рассудили переселиться в прежний наш хутор и до совершенного выздоровления доброго пана всеми мерами стараться поправить то, что в продолжение более двадцати лет порчено было. Теперь, благодарение богу, ты, Диомид, здоров, я тебя вижу и буду ожидать повеления оставаться ли на хуторе или опять переместиться в город.

Ермил замолчал. Мы все посматривали один на другого и, не находя слов, потупляли глаза в землю.

Глава XII Великодушный разбойник

Такое неприятное положение дел разлило прискорбие и уныние в сердцах наших. Казалось, что Ермил рассказом своим умножил беспокойство каждого. Я трепетал об опасностях, какие могут встретиться с Неониллой в дороге. Мукон, конечно, малый честный и добрый, но он хороший огородник и худая защита для женщины, подпадающей опасности. Истукарий вздыхал и морщился, и изо всего нашего общества один Епафрас был так великодушен, что без всякой остановки ел и пил преисправно, как будто бы речь шла не о сестре его, а о какой-ни-

будь китайской принцессе. Король первый прервал молчание вопросом:

— Что же вы, паны, задумались? Разве забыли прекрасное замечание Епафраса, что если Неониллы здесь нет, то это не значит, что ее уже нигде нет! Припомните, что она по своему усмотрению избрала себе убежище и, вероятно, проживает там в совершенном довольстве и спокойствии. Мукон возвратится, мы узнаем всю тайну, и я с Неоном поскачем стремглав утешить унылую красавицу и приготовить ее к свиданию с родителями, возвращающими ей любовь свою, и с прочими людьми, кои не могут уже отказывать ей в должном почтении. Выпьем-ка за здоровье милой беглянки с ее сыном по полному кубку доброй наливки и перестанем задумываться, когда все обстоятельства дают нам повод к веселию.

Предложение сие всем обществом одобрено; мы придвинули к себе сулеи и начали веселиться прямо по-свадебному. Быв сильно заняты своим предметом, мы и не приметили, как солнце осветило чертог пиршества. Тогда, встав из-за стола и принеся господу богу благодарение за ниспослание великих щедрот своих, постановили: Неону поселиться в доме Диомида и, несмотря, что гетман захворал и не допускает к себе никого, кроме Евареста, Иоада и Куфия, на следующий день начать отправление службы и являться во дворце с возможным равнодушием, как будто бы ничего не бывало. Истукарию с Епафрасом жить на своем подворье, посещать кого хотят, но во дворец не являться ни ногою, пока не последует на то особого повеления. Диомиду дожидаться выздоровления гетмана или по крайней мере облегчения, и тогда начать действовать со всею возможною ревностию для приведения всего к желанному концу. Ермилу, согласно с его охотою, расположиться навсегда в хуторе с своею старухою; а как скоро возвратится Мукон из путешествия, то занять ему с семьей своею городской дом и хозяйничать в нем по примеру отца. Наконец, чтобы и Епафрас молодых лет не проводил в праздности, то каждое утро являться ему на гетманский луг и там, под начальством старшины Неона, приготовлять себя заблаговременно ко всем воинским ухваткам. По заключении сих условий мы обняли друг друга и разошлись по своим жилищам.

Я проснулся незадолго до полудня и, узнав, что Король в саду, пошел и сам туда, дабы освежиться возду-

хом и разгулять все последствия пиршественной ночи. Соединясь с своим дядею и другом, я поздравлял его с благополучным выздоровлением от столь опасной раны и желал ему возможного счастия за его ко мне благодеяния.

— Конечно,— отвечал он,— я кое-что доброе для тебя сделал и постараюсь сделать еще более; но советую тебе — не будучи неблагодарным — не слишком выхвалять меня: ибо с того времени, как впервые увидел тебя в доме Мемнона, я действовал уже в пользу твою несколько пристрастно. После вчерашнего объяснения моего с гетманом тайна моя сделалась открытою. Так, отец твой, мой любезнейший друг, есть вместе двоюродный брат мой; и отцу его, почтенному полковнику Калестину, обязан я воспитанием, удачным прохождением службы и всем добрым, если только есть во мне что-нибудь доброе!

— Сколько меня радует,— вскричал я вне себя от радости,— что нахожу в тебе дорогого дядю, но откровенно скажу: для меня отраднее, что прежде открытия родства нашего я имел счастие найти в тебе благодетеля, друга!

— Да,— отвечал Король, обняв меня с нежностию,— я твой дядя, друг, товарищ и на тебе хочу оказать благодарность мою к твоему деду! Твоя правда, я полюбил тебя гораздо прежде, нежели знал, что ты — мой племянник; но когда сие родство сделалось мне известно, то любовь моя усугубилась, и я дал клятву наблюдать за тобой, как за родным сыном. Признаюсь, что связь твоя с Неониллою мне крайне сначала не нравилась, а особливо женитьба; но, рассудя обстоятельство, я утешился, признав, что, видно, судьбе того хотелось, по времени же любезность и множество добрых свойств жены твоей меня совершенно примирили с нею, и я смотрел уже на нее отеческими глазами.

— Неужели и теперь,— сказал я с видом умоляющего,— не удостоюсь я получить достаточное сведение о моих родителях и о тех препонах, кои доселе лишали меня счастия обнять их колена и слышать название сына?

— Ты скоро обо всем будешь уведомлен,— отвечал дядя Король,— но дай мне еще несколько оправиться и мысли свои привести в порядок. Притом согласись, что хотя отец твой двоюродный мой брат и друг, но все не

должен я тайны его, может быть, погрешности и даже пороши вверять другому, хотя бы и сыну. Завтра я пошлю к нему письмо, в коем объясню все настоящее положение наших дел и испрошу согласие на открытие тебе происшествий, кои были для него временно то счастливы, то бедственны. Ты можешь писать к благодетелю твоему Мемнону, ибо мой посланный будет проезжать мимо его хутора.

На другой день я вступил в исправление своей должности. Епафраса, не преминувшего явиться на гетманском лугу, поручил я старому опытному есаулу, который должен был приняться порядком, чтоб сделать из него что-нибудь похожее на человека и на воина. Во дворце виделся я с Куфием и к нелицемерному прискорбию узнал, что хотя гетман и не болен, но и не здоров; что часто вслух произносит имена Калестина, Леонида и Евгении, делается угрюм и по временам восклицает: «Возможно ли? Боже мой!» Когда ему объявлено, что я начал исправлять новую должность с примерным рачением, то он отвечал: «Это хорошо, пусть продолжает, но я не прежде его увижу, пока совершенно не оправлюсь. Такую предосторожность Иоад назвал премудрою. Мне ничего не оставалось, как ждать и на досуге льстить воображению, представляя себе ласки родителей и нежные объятия Неониллы.

На третий или четвертый день после примирения моего с Истукарием, как скоро встали мы с дядею из-за обеденного стола, вошедший слуга объявил, что какой-то незнакомый казак, называющий себя Муконом, желает с нами видеться.

— Мукон! — вскричали мы в один голос,— где он? сейчас введи его!

Мукон был представлен, и недовольный вид его разлил трепет в моей внутренности. Я окаменел и не осмелился сделать ему никакого вопроса. Дядя, который также казался несколько смущенным, но, не имея причины столько тревожиться, как его племянник, велел Мукону подробно уведомить, где и в каком положении оставил он Неониллу.

— Увы! — отвечал сын Ермилов,— я оставил не одну Неониллу, а вместе с нею и мою Анну, а к большей печали — в руках весьма ненадежных. Выслушайте:

Я так исправно ехал, что через три дня миновал Пирятин и, по приказанию Неониллы, пустился по дороге к

Переяславлю. Верстах в тридцати от сего города, к несчастию, ночь настигла нас в поле. Что бы нам тут же и заночевать, свернув немного в сторону с большой дороги, как я и советовал; но Неонилла и Анна решительно велели ехать в селение, находя для себя опасным, а для дитяти вредным проводить ночь под открытым небом на безлюдье. Я пустился далее; ехал, ехал и наконец сам догадался по обширному лугу, где и следа человеческого видно не было, что сбился с дороги. Я задумался, вожжи были опущены, и лошади шли шагом. Не прежде я опомнился, как ужасный голос загремел в ушах моих: «Стой! Что за люди?» Я поднял голову и увидел, что человек с полсотни или и более стояли впереди и держали уже лошадей. Тотчас догадался я, какого звания должны быть сии ночные стражи. Чуб у меня стал дыбом и на сердце легла ледяная гора. «Что у тебя в бричке?» — спросил один из витязей. «Знатная госпожа,— отвечал я голосом, похожим на шипение змеи,— с дитятей и служанкой!» — «Весьма хорошо!» — вскричали все и подняли хохот такой неумеренный, что путешественницы проснулись и Анна высунула голову. «Знатные госпожи не ездят без доброго запаса»,— заметил один, вскочил на козлы, дал мне позатыльщину, от которой я слетел на землю, а сам начал править лошадьми. Первая Анна подняла вопль, и такой, что у меня в ушах зазвенело. Потом я слышал голос Неониллы, ее ободряющей. Я сам непременно зарыдал бы, если б не боялся быть награжден за сие насмешками и оплеухами от своих сопутников. Вскоре показалась Неонилла и кротким голосом спрашивает: «Куда едете?» — «Видишь ты, знатная госпожа,— отвечал один из шайки, по-видимому, начальник сего отряда,— так следует тебя представить также немаловажному господину. У нас такой устав, что всякая находка, хотя бы копеечная, должна прежде представлена быть пану Сарвилу, и он уже или дарит ею кого из нас, или к себе прибирает, как изволит!»

«Сарвилу? — спросила Неонилла довольно равнодушно,— так Сарвилом называется ваш начальник?» — «Ага! видно, и ты о нем наслышалась!» — сказал один из витязей и начал издеваться. Шутки, самые глупые, сыпались у них как из мешков; впрочем, ни один и не подходил близко к бричке, не пялил глаза на сидевших в ней женщин и ни одним словом не приводил их в краску. Сло-

вом, разбойники,— они показались мне довольно благочестивы. Взошло солнце, мы въехали в лес, которому и конца не видно было; шатались со стороны на сторону, то вперед, то назад, и не прежде как спустя около двух часов нахождения в лесу очутились на обширной полянке пред большим шатром. Мы остановились; двое из провожатых тотчас бросились под шатер, а прочие стали в два ряда по сторонам брички. Всего мудренее для меня показалось, что Неонилла не обнаруживала ни малейшего беспокойства, между тем как моя Анна утопала в слезах и задыхалась от вздохов.

Не прежде как через полчаса появился из-под шатра преужасный мужичинище в сопровождении одного молодого человека. Они подошли к бричке, и первый, поклонясь учтиво Неонилле, сказал: «Советую быть покойною и ничего не опасаться. Я прошу посетить мое жилище и разделить мой завтрак». Тут подал он руку Неонилле и пособил ей сойти на землю с сыном, товарищ его сделал такую же честь жене моей, и мы все пятеро вошли в палатку. На лице атамана начал я примечать некоторое беспокойство; он часто взглядывал на Неониллу, потирал себя по лбу, собирался что-то сказать — и молчал. Наконец Неонилла с легкою улыбкою сказала: «Кажется, пан Сарвил начинает узнавать меня!» — «Клянусь моею жизнию,— вскричал он,— что я тебя когда-то видел, но не могу припомнить, где и когда!» — «Ты не забыл еще,— продолжала Неонилла с приятностию,— друга молодости твоей бурсака Неона и приятеля его Диомида Короля, которые без малого за год перед сим...» — «У меня здесь гостили,— заревел Сарвил, ухватился обеими руками за усы и, выпяля глаза, продолжал весело: — Так, теперь узнаю тебя! ты — жена Неонова, а это, верно, дитя твое!» Тут с величайшей учтивостию усадил он гостью на лавку и сказал: «Благодарите все бога, что попались в руки людей моих, и оттого останетесь целы и все ваше с вами. Я проведал, что из Переяславля и Пирятина высланы для поимки нас сильные военные отряды; если бы вы с сими честными господами повстречались, то продолжать бы вам путь свой пешком и — без копейки».

Неонилла коротенько рассказала ему о своих обстоятельствах и просила, чтобы он не отказал ей в провожатых из лесу, которые бы поставили нас на дорогу к Голтве. «На что тебе лучшие проводники, как я сам и этот

есаул Арий? Так! мы сейчас отправляемся в наш женский стан, где и отобедаем. Там я вверю тебе некоторую тайну и буду просить помощи, надеясь, что ты в ней не откажешь».

Когда по приказанию атамана Арий ввел в шатер всех сотников и есаулов, бывших налицо в стане, то он сказал: «Эта особа есть жена моего старинного друга. Вам известно наше положение. Надобно приискать надежное место, которое в случае неудачи могло бы служить для нас крепостию. Для сего отправляюсь я с Арием, а между тем выпровожу сию госпожу из нашего леса. Может быть, я промедлю в своих исканиях сутки или двои, то на сей конец тебя, Урпассиан, назначаю начальником до моего возврата. Объявите о сем всенародно, пока я в стане».

Все, кроме Ария, удалились. Тогда Сарвил продолжал, обратясь ко мне: «Ты, молодец, получишь от меня лошадь, проводника к Пирятину и нужное количество денег на дорогу. По прибытии в Батурин расскажи Неону и Королю, что видел и слышал, и уверь их моим именем, что Неонилла так же у меня безопасна, как бы с ними вместе. Ей нельзя пробыть без служанки, и потому твоя жена на время при ней останется».

После сего он уединился с Арием в особое отделение, где и пробыл около часа, а между тем стол уставлен был кушаньем и напитками. Наконец атаман явился с есаулом, оба вооруженные с ног до головы, и все сели за стол. Сарвил уговаривал Неониллу подкрепить себя пищею, но она решительно отказалась; зато я, промучавшись всю ночь на козлах, чувствовал сильный голод и жажду и, видя такого доброго хозяина, не дожидался приглашения и, поклонясь атаману, принялся за еду; Анна мне последовала.

По окончании сего завтрака Сарвил встал, высыпал на стол изрядную кучу денег золотых вместе с серебряными и сказал: «Вот тебе на дорогу!» После сего все мы вышли на полянку.

Неонилла с Анной сели в бричку, Арий взмостился на козлы. Сарвил взлетел на прекрасную верховую лошадь и сказал мне: «Скажи Неону, что я скоро буду писать к нему, и еще уверь, что его жена на меня не пожалуется». Неонилла раз десять подзывала меня к бричке, наказывая объявить тебе, Неон, чтоб ты не печалился и что она приложит все старания как можно скорее с тобою

соединиться. После сего Сарвил поехал на восток, бричка за ним покатилась. Мне также подвели не худого иноходца; я уселся и поехал на запад в сопровождении двух витязей. Из лесу выехал я скорее, чем въезжал в него, и пустился по указанной дороге. До самой столицы не случилось со мною ничего примечательного. Все золотые деньги и большая половина серебряных у меня в кармане, и вообще я очень был бы доволен своею поездкой, если бы не печалила меня разлука с моей Анною.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I Раскаяние

Повествование Мукона растерзало сердце мое. И подумать даже ужасно: жена осталась в руках разбойничьего атамана! Сколько бы он великодушен ни был, но все разбойник и на пространстве десяти верст окружен такими же собратами. Однако ж он сказал, что будет иметь в Неонилле надобность, и все поведение сего человека во время бытности там Мукона довольно доказывает, что он не есть обыкновенный злодей, а более несчастливец, силящийся выпутаться из сетей, в кои повержен злыми обстоятельствами. Если бы я знал, что он остался на месте, то кто удержал бы меня искать его? При расставанье с Муконом он объявил, что на несколько даже дней оставляет притон свой, и в такое время когда все ожидают нападения со стороны раздраженного правительства,— это много значит. Дядя утешил меня несколько замечанием, что Сарвил не имел никакой надобности так чинно поступать с Неониллою, если бы не расположен был вести себя по христианской совести. Мукону приказано немедленно отправиться в хутор к отцу и не являться в город, пока не будет призван. Разумеется, что происшествие с Неониллою надобно было скрыть от Истукария. В продолжение болезни гетмана Куфий посещал нас нередко, и от него узнали мы, что повелитель все еще не

решился признавать меня за внука, хотя утверждает, что не даст прощения ни зятю, ни дочери.

— Не унывай, молодец! — продолжал весело старик,— если человек не совсем глупый остановится на распутье, чтобы размыслить, идти ли вправо или влево, то наверное выберет лучшую дорогу. Что же касается до дальнейшей участи твоих родителей, то не знаю, что и придумать. У меня в часы скорби, от которой не уйдет и греческий философ, одно утешенье: бог строит все к лучшему! Будем же молиться и надеяться!

Истукарий каждый день навещал нас и осведомлялся о Муконе, но всегда получал отрицательный ответ, морщился и должен был утешаться, гладя по голове Епафраса. Так прошло около двух недель после возвращения Муконова, и в первую пятницу благодатного серпеня [1] получено повеление: полковнику Хорольского полка Диомиду и войскому старшине полка гетманского Неону в следующий воскресный день, по окончании литургии, явиться во дворце гетмана. Известие сие кинуло меня в жар; но Король, со всем хладнокровием посидев несколько минут молча, сказал:

— Это воскресенье или должно кончить все беспорядки, или ход дела запутать столько, что оно не иначе может быть распутано, как смертию. Тогда и я умою руки свои. Приближилось время, в которое ты, Неон, должен быть решительнее, чем на сражении с неприятелями. Ты, конечно, существуешь теперь сам по себе, но никогда не должен забывать о тех, коим обязан жизнию. Они не имеют нужды ни в чем, кроме родительского благословения, а сей недостаток для людей чувствительных, даже и не христиан, велик чрезвычайно, и уничтожить оный можешь только ты или никто! Справедливость требует, чтоб ты знал обстоятельство тех особ, о счастии коих обязан стараться, как о своем собственном или и более. Завтра поутру уединимся мы в одну из беседок моего сада, и там-то узнаешь ты судьбу благородных твоих родителей.

Под вечер того же дня, когда я и дядя Король сидели вместе и рассуждали каждый по-своему о предстоящем свидании с гетманом и о последствиях оного, вошедший слуга объявил, что какой-то незнакомый черноморец стоит у ворот и хочет с нами повидаться.

[1] Старинное название месяца августа. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

— Пусть въедет на двор и войдет сюда,— сказал дядя Король,— здесь лишнего никого нет.

— Но он этого не хочет,— отвечал слуга,— а просит, чтобы вы оба потрудились выйти к нему за ворота.

— Это походит на диковину,— отвечал дядя,— но почему и не так? Пойдем, Неон, открывать таинства. Чем мы плоше старинных богатырей, храбро сражавшихся с ведьмами и оборотнями без всякой цели, из одного только любопытства.

И действительно мы нашли средних лет всадника в черноморском платье, видного собою. Он подъехал к нам, соскочил с коня и, почтительно поклонясь, сказал:

— Меня уверили базарные люди, что в сем доме найду я панов Диомида Короля и Неона Хлопотинского.

— Ты видишь их перед собою!

— Итак, прошу меня выслушать: в пяти или шести верстах отсюда по полтавской дороге несколько в стороне стоит корчма, в которой теперь остановился один проезжий пан с своим приятелем. Он вам обоим давно и весьма знаком: теперь хочет проститься и угостить вас ужином, а сверх того, вверить вам весьма важную тайну и дать достоверное известие о Неонилле.

Может быть, мы поначалу сей речи и поупрямились бы склониться на такое необыкновенное приглашение; но мысль узнать о местопребывании моей любезной жены, которую и сам дядя Король, узнав ее совершенства, полюбил как достойную родственницу, сейчас склонила нас быть витязями ночного свидания. Однако благоразумие моего друга, почти никогда его не оставлявшее, сейчас родило в нем мысли, как можно провести вечер и часть ночи истинно по-философски, то есть: воспользоваться случаем насладиться удовольствием в малом кругу друзей, не оставляя за спиной своей ненавистного мешка с раскаянием, одним из главнейших бичей, созданных для рода человеческого.

— Друг мой! — сказал он черноморцу,— мы согласны на желание твоего пана, но только с непременным условием, что при нас не будет ни шелеха денег, а возьмем с собой двоих слуг, вооруженных подобно нам, как бы на сражение с Ерусланом Лазаревичем.

— Уверяю,— сказал посланный,— не моею честию, ибо незадолго пред сим я считал ее за пустое имя какого-нибудь баснословного божества,— но уверяю честию

моего начальника, с коим путешествую и который пред вами обоими доказал, что честь родилась с ним, а потеря ее произошла от стечения обстоятельств, столько же сильных, как и самая судьба, и оттого, что обстоятельства сии произошли не в свое время, не на своем месте,— уверяю, что не только не нужно вам брать с собою деньги, но что вы от нас поедете с хорошими деньгами, назначенными для некоторых несчастных; относительно же слуг, я полагаю, что открывать многим тайну злополучного, которая вам одним вверяется, едва ли назваться может делом истинной честности!

— Ба! — вскричал Диомид,— ты ораторствуешь как философ переяславской бурсы!

— Не меньше того! — отвечал незнакомец.— Впрочем, не диво,— продолжал он,— что почтенный полковник Король смотрит на меня, как совершенно на незнакомого ему человека. Я не очень часто посещал огород его в Переяславле, а сей промысел возложен был на моих сенаторов, ликторов и целеров! Но для меня кажется задачею, труднейшею трактатов о возможном и невозможном, что и любезный собрат Неон Хлопотинский не узнает старинного начальника своего, консула Далмата, который не один раз щипал его за виски и мял пучок.

— Праведное небо! — вскричали мы с дядею в один голос,— ты Далмат? Какие ветры занесли тебя в Батурин?

— Те самые,— отвечал он,— которые круговращают одушевленные пылинки, людьми называемые. Однако, почтенные друзья! начинает темнеть, и общий приятель нетерпеливо нас ожидает!

Мы приказали подвести коней, вскочили на них и пустились за своим провожатым. Дорогою добивались мы проведать, кто именно нас ожидает, но тщетно; Далмат довольствовался ответом, что скоро сами увидим и будем рады такой встрече. Ночь наступила, но мы не видали еще корчмы, где обещали угостить нас дружески. Наконец, въехав на небольшой луг, увидели костер пылавших дров, возле коего сидели два черноморца, а невдалеке паслись стреноженные их кони.

— Милости просим! — вскричал Далмат, соскочив с коня,— мы на месте!

— Как? — спросил дядя Король,— где же твоя корчма?

— Все равно,— отвечал тот,— было бы только что поесть и попить, а до места нужды мало!

Когда мы спешились, то Далмат взял наших коней, чтобы, стреножа, пустить на траву. Два сидевшие у костра незнакомца вскочили, устремились к нам с распростертыми объятиями; мы также к ним поспешили, приблизились и — окаменели от изумления, узнав атамана Сарвила и его есаула Ария. Они обняли нас с нежностию, и первый сказал:

— Благодарю, друзья, что не обманули в моем ожидании. Но прежде надобно удовлетворить телесным нуждам, а там уже помышлять о душевных. Усядемся вокруг сего костра и насладимся дарами божиими.

После сего огонь разведен был поярче; дорожные кисы принесены, и атаман, подавая дяде Королю баклагу, сказал: «Прошу откушать!» Тут началось пиршество, и мы с дядею должны были признаться, что напитки и кушанья нашли не хуже тех, какими угощены были в лесу, недалеко от села Глупцова.

По окончании сей полевой трапезы Далмат и Арий начали увязывать кисы, а Сарвил довольно времени сидел задумавшись. Он одною рукою потирал лоб, а другою закручивал усы. После сего предисловия, от которого мы и подлинно ожидали чего-нибудь значительного, Сарвил взял у Короля и у меня руки и трогательным голосом сказал:

— Вам обоим вверяю судьбу свою или, лучше, судьбу любимой жены и двух малюток, сына и дочери. Ты правду сказал, Диомид, будучи в моем стане, что жизнь моя весела, но не очень покойна. Такую толпу народа, какая была мне подвластна, удерживать в пределах подчиненности и не допускать до смертоубийств требовало беспрерывной заботы, а между тем в случае поимки я подвергался такому же истязанию, как если бы перерезал целые селения. Мысли сии день ото дня более и более тяготили мою душу; я начал думать о побеге, но не знал, как произвести сие в действо. Если бы я был один, то, конечно, мог бы легко сего достигнуть; но куда денется бедная жена моя, которую сделал я участницею горестной судьбы своей. Она должна остаться на произвол раздраженной сволочи и плачевно лишиться жизни или искупить ее своим позором. Одна мысль сия терзала мою душу, и я открыл сердце свое двум испытанным друзьям — Арию и Далмату, месяцев за пять перед

сим случайно подпавшего моей власти, но которого я — по прежней связи в переяславской бурсе — особенно любил и отличал от прочих. К великой радости моей, я услышал от них признание, что давно уже в том рассуждали, но не смели открыться, опасаясь плачевных следствий. Тут заключили мы, что, вероятно, целая половина шайки одинаких с нами мыслей, и вся связь скрепляется одними узами страха; а в каком обществе — хотя бы оно было целое королевство — соединяются члены страхом, то оно крайне ненадежно и близко к разрушению.

Новое происшествие еще более утвердило нас в намерении оставить жизнь столько опасную и презренную. Знакомец ваш Урпассиан, самый смышленый, самый осторожный из всего братства, истинный отпечаток многоопытного Улисса в греческом стане под Троею, захвачен с четырью товарищами, и все лишились буйных голов в Пирятине. Весть сия привела нас в ужас, и тем более что с разных сторон приходили слухи о приготовлении противу нас целого ополчения. В самое то время привели в стан мой бричку Неониллы. Я тотчас узнал ее и велел со служанкою ввести в мою ставку. Утешительная мысль просияла в душе моей, и сладкая надежда оживила мое сердце. Выслушав от нее признание, что бежит от жестокого отца и намерена скрыться в хуторе одного из благодетелей своего мужа, я сказал: «Неонилла, я окажу тебе сию услугу и провожу с двумя храбрыми товарищами до избранного тобою убежища, только не откажи и ты в моей просьбе. Ты знаешь, что в сем лесу есть у меня жена и дети. Мне самому теперешняя жизнь опротивела; я хочу спастись, но также спасти и мое семейство. Согласись взять сих несчастных в свою бричку, привезти в твое убежище и держать при себе в услужении, пока не получишь от меня известия. В деньгах недостатка не будет». Неонилла дала требуемое согласие. Предприятие имело желанный успех; мы привезли всех на хутор пана Мемнона.

— Как! — вскричали мы с дядею Королем,— Неонилла в хуторе Мемнона? Под кровом сего великодушного мужа? О, провидение!

— Так! — отвечал Сарвил,— но я с товарищами, не зная того пана, поопаслись его видеть. Подвезши бричку к самому крыльцу, быстро выбрались мы из оврага, причем я дал Неонилле слово отыскать тебя, Неон, и вручить от нее письмо, которое теперь и вручаю, а с тем

вместе и сей мешок с золотом, в коем заключен другой с дорогими вещами. Мы отправляемся в Запорожье, как самое безопасное и приличное для нас убежище. Если, добрые люди, чрез пять лет не будет от меня никакого известия, то дайте Серафине позволение выйти замуж; при сем случае вручите ей драгоценности, а деньги оставьте для детей. Неон! Диомид! не откажитесь быть их ангелами-хранителями и не воспитывайте сына моего в бурсе, дабы и он не имел некогда несчастия искать убежища в Запорожье.

Тут Сарвил замолчал и утер усы, по коим текли слезы. Однако ж скоро, усмехнувшись, взял нас опять за руки и сказал:

— Перестанем печалиться и плакать! может быть, и для меня есть еще в мире хотя искра радости!

Глава II Есть надежда

Разумеется, что за такое благодеяние, оказанное Сарвилом жене моей с сыном в столь опасном побеге, я торжественно обязался считать Серафину сестрой, а детей ее своими собственными.

— Добрый путь, любезный друг! — говорил я, обняв его,— будь в Черномории столько же храбр против заклятых врагов наших, крымских татар и турков, сколько был таковым противу единоземцев, и я надеюсь, что бог тебя помилует за прежние непорядки. Уведомляй нас сколько можно чаще о своих подвигах и о месте жительства. Это дело не трудное: ибо как из Батурина в Запорожскую Сечь, так и обратно беспрестанные бывают выходцы.

Дядя Король примолвил:

— Хотя по всему видно, что ты, Сарвил, с товарищами отправляешься в предположенный путь не без денежного запаса, но как и с человеком, на одном месте пребывающим, случаются великие коловратности, то с тобою в таком зыбком болоте, как Запорожская Сечь, и подавно могут произойти непредвиденные противности. В сем случае не только дозволяю, но и прошу с верным

человеком давать мне знать о своих нуждах. Клянусь никогда тебя не оставить!

Тут дядя Король почел за нужное дать кое-какие наставления Сарвилу, а особливо касательно Запорожья. Неприметным образом занялась заря; мы все встали, перекрестились, и Далмат с Арием начали ловить коней, дабы оседлать их в дорогу. Сарвил казал вид пасмурный и тихими шагами похаживал вдоль подле погасшего костра. В утешение его дядя сказал:

— Знаю, что с отечественною стороною тяжело расставаться, хотя бы мы претерпели в ней и много горя. Это испытал я на себе, когда получил некогда повеление оставить пределы батуринские. Но что делать! везде сияет солнце и светит месяц, везде бывает ведро и ненастье. Благоразумие требует, чтоб мы разбивали шатер свой под такою полосою неба, где надеемся укрыться от порыва бури и ударов грома. Но совсем избежать непогоды можно только в областях царствующего над звездами!

Кони изготовлены; мы все обнялись еще раз, сели на своих возниц и поскакали — я с дядею Королем к Батурину, а Сарвил со своею дружиною по дороге к Полтаве. Во время пути мы говорили мало, ибо ночь, проведенная в бессоннице, отяжелила наши головы, а сверх того, и участь Сарвилова с его семейством трогала нас несказанно. Неонилла с своим малюткою также занимала мои мысли.

— Как ты думаешь,— спросил я у дяди,— уведомлять ли Истукария о местопребывании его дочери?

— Не думаю,— отвечал он,— подождем следствий свидания нашего с гетманом, и тогда все само собою разрешится.

Когда мы въехали на двор своего дома, то полный круг солнца блистал уже на небосклоне.

— Теперь надобно несколько часов успокоиться,— сказал дядя Король,— а после приходи в дальнюю садовую беседку, где я исполню свое обещание и уведомлю обо всем, что тебе знать нужно.

Хотя и я отягчен был усталостию, однако не прежде прилег на постелю, как прочитав письмо Неониллы. Оно было следующего содержания:

«Я очень уверена, любезнейший друг, как много обеспокоила тебя весть о побеге моем из Батурина. Причи-

ны, для коих сие сделано, ты, верно, знаешь уже от честного старика Ермила. Могла ли я, не будучи, впрочем, из числа робких женщин, не устрашиться при мысли, что раздраженный отец прибыл на место моего убежища, отец, грозивший мне заточением, а тебе погибелью? Я сейчас вспомнила о добродетельном Мемноне и, слыша весьма часто от тебя и от Короля о его добродушии и кротости, решилась искать у него убежища. «Если он благодетель Неона, думала я, то, верно, не оставит в крайности и жену его».

Из рассказа Муконова известно тебе, как попалась я в руки старого знакомца Сарвила, а из слов сего последнего узнаешь, как прибыли в дом Мемнона. Поступок разбойников, которые, остановя бричку мою у крыльца, в одно мгновенье распрягли лошадей и, предоставя им стоять смирно или бегать по двору, сами во всю конскую прыть бросились прочь, не оглядываясь, встревожил целый дом. Вдруг показался на крыльце в сопровождении нескольких слуг хозяин, что сейчас и безошибочно можно было заключить не столько по нарядному платью, сколько по величественному виду и осанке, и, подойдя к бричке, спросил: «Кто здесь?» — Дозволь прежде сойти мне на землю, и тогда все узнаешь,— отвечала я и с помощию Анны и двух слуг вышла из брички, держа на руках Мелитона. Тогда, приближась к нему, продолжала: — Почтенный муж! мне известно, какие оказал ты благодеяния и продолжаешь оказывать некоему Неону Хлопотинскому. Благоволи теперь дать пристанище беглой жене его с сыном».

Он крайне изумился, протянул было руки, но, вдруг остановясь, спросил с некоторою дикостью: «Ты беглая жена Неонова? Что же принудило тебя оставить своего мужа?» — «Нет, великодушный благодетель! — отвечала я,— как можно мне бежать от отца сего дитяти? Муж мой ушел в поход, и я до сих пор неизвестна о его участи; а между тем раздраженный отец, которого никакою покорностию не могли мы умилостивить, ищет достать меня во власть свою и предать заточению. От него-то бегу я и ищу спасения!» — «О! когда так,— сказал с благосклонностью Мемнон,— то позволь обнять тебя и этого малютку». Тут он обнял меня с нежностию отца, поцеловал Мелитона и спросил: «Кто это еще с тобою и кто такие странные твои провожатые?» Чтобы несчастную Серафину не привести еще в большую робость, я ото-

шла с Мемноном несколько к стороне и коротко уведомила его о великодушном разбойнике Сарвиле и о несчастном его семействе, которому обещала я быть благодетельницею, и что другая женщина есть моя служанка. Я просила у него также позволения написать к тебе письмо, которое Сарвил обещал доставить непременно.

Мемнон, приказав сопутницам моим сойти на землю, повел меня во внутренние покои и представил жене своей и дочери. Как скоро услышали они мое имя, то бросились обнимать с горячностию. Почтенная хозяйка выхватила из рук моих Мелитона и осыпала его поцелуями. «Мелитина! — сказала она,— отведи Неониллу в ту комнату, которая смежна с твоею и которая будет ее спальнею».

Я не могла довольно налюбоваться красотою и любезностию Мелитины. В пять минут нашего обращения мы были уже как родные сестры, росшие вместе с младенчества. Она распоряжала слугами и служанками, приносившими в мою комнату пожитки из брички, и скоро все было в довольном порядке. Жалкую Серафину поместили на время в той комнате, где некогда оттирали тебя снегом и отрезали драгоценный пучок. Анне назначено жить в общей девичьей. Пока приличным образом убирали мою спальню, о чем особенно хлопотала сама хозяйка с дочерью, почтенный Мемнон дозволил мне в своей комнате и на своем столе написать к тебе сие письмо, которое, как скоро готово будет, один из слуг вынесет из хутора и вручит Сарвилу, о чем мы предварительно условились. Сей чудный разбойник дал мне клятвенное обещание отыскать тебя хотя бы с опасностию жизни; ибо, по словам его, он намерен сделать тебе какое-то весьма важное поручение. Ах! как жалка мне Серафина! Приметно, что она была прекрасна; но какого лица не обезобразит такая жизнь, какую вела она противу воли! Она стыдится взглянуть прямо в глаза даже Анне и покрывается краскою, как скоро кто ей скажет: «Серафина!» или одно из детей ее произнесет: «Маменька!» Какое должна она чувствовать страдание, и — невинно! Все меры приложу, чтобы моею искренностию и простотою приближить ее к себе и сделать ручнее. Ее малютки: сын Лолий пяти и дочь Лидия трех лет, прелестны. Они и понятия не имеют о звании отца своего и довольно свободны. Прости, милый друг мой! Теперь ты знаешь место

моего убежища и, верно, найдешь скоро случай меня о себе уведомить. Ах! скоро ли мы опять соединимся?

Твоя навсегда *Неонилла»*.

Прочитав письмо сие, я прижал его к сердцу, поцеловал милое имя жены моей и лег отдохнуть, благодаря бога, что он привел мое семейство в безопасное убежище. Во сне мечталась мне Неонилла, Мелитон и Мемнон со всем домом.

Когда проснулся, то слуги объявили, что старый Ермил прибрел из хутора и желает со мною видеться.

— Может быть, с дядею Диомидом? — сказал я.

— Никак,— отвечал один из слуг,— с паном Диомидом он уже виделся и, узнав, что у тебя есть какое-то письмо, где говорится о его невестке Анне, хочет тебя видеть.

— Понимаю,— сказал я,— введи его.

Ермил явился. На глазах его написано было любопытство, растворенное надеждою.

— Пан Неон! — говорил старик,— мой малый Мукон сходит с ума по своей жене Анне. Хотя он и не войсковой старшина, но не меньше любит жену, как и ты свою. Мне сказали, что ты получил письмо от Неониллы. Неужели она, пишучи о себе, ничего не говорит о своей служанке? Не думаю! Она всегда была так добра к ней, что, верно, если сама уплелась от разбойников, то не оставила в когтях их нашу Анну. Прочти же мне это письмо, чтоб я мог все пересказать Мукону и его утешить. Он, право, теперь как одурелый, только что на стены не лазит.

— Изволь, старик,— сказал я, вынул письмо, развернул и хотел читать, как он проворно схватил меня за руку и вскричал:

— Постой, будь ласков, постой! Я прямо буду глядеть тебе в глаза и сейчас примечу, если ты что-нибудь пропустишь или сочинишь от себя. Читай только то, что написано, а лишнего нам ненадобно!

Я читал, перечитывал, возвращался назад и повторял одно и то же раза три и четыре. Ермил стоял, опершись на посох и не сводя с меня глаз. Иногда улыбался и шевелил усами, а иногда морщился и мял чуб; словом, я вытвердил письмо наизусть, но Ермилу все еще казалось мало, и думаю, что он не отпустил бы меня до вечера, если бы не пришел посланный от дяди Короля звать меня к нему в сад. Тут Ермилу нечего было более делать; он

низко поклонился и вышел, а я поспешил к назначенному месту.

— Что ты до сих пор делал? — спросил дядя,— неужели все спал или забавлялся чтением жениного письма?

— Ты отчасти отгадал,— отвечал я,— я занят был сим чтением, хотя и не очень им забавлялся! Хочешь ли, я прочту его наизусть?

— Что это значит?

Тут я рассказал забавный случай с Ермилом.

Дядя Король улыбнулся и говорил:

— Так-то, друг мой! всякому свое мило! Сколько для величайших властелинов любезны какие-нибудь их Феодоры, Клеопатры, Марианны, столько и для беднейших поселян дороги их Мавры, Марины и Макрины. Ты хорошо сделал, что не оставил доброго Ермила в неудовольствии. Мы еще успеем свое дело кончить.

Тут дядя разложил пред собою довольное число рукописей, облокотился на них левою рукою, а правою разгладя усы, начал свое повествование.

Глава III **Honores mutant mores** [1]

Никодим и Калестин, два первые полковники в малороссийском войске, славились повсюду знатностию породы, воинскими подвигами, богатством и неразрывным дружеством, связывающим их с самого юношества. Калестин имел единственного сына Леонида, а Никодим — единственную дочь Евгению.

— Праведное небо! — вскричал я, не могши удержать сильного движения духа,— я припоминаю нечто странное, в молодости моей случившееся. Не их ли видел я в Переяславле, в саду женского монастыря, первого в виде дьявола, а другую в виде ведьмы, и не мое ли имя упоминали они с таким соболезнованием?

---

[1] Латинская пословица, значит: Почести переменяют нравы. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

— Слушай терпеливо! — отвечал дядя Король,— и не перебивай меня.— Тогда он продолжал:

— Отец мой был старший брат Калестина; но как он в молодых еще летах пал на сражении с турками, а мать умерла с печали, оставя меня по десятому году, то дядя Калестин взял меня, сироту, в дом свой, предположа воспитывать с сыном своим Леонидом, коему было тогда пять лет.

Воспитание наше шло обыкновенным порядком, итак, нечего об нем говорить до того времени, когда в небольшой круг наш замешалась Евгения. Никодим и Калестин, преднамерясь увековечить дружбу свою соединением по времени детей узами брака, не пропускали ни одного случая знакомить их между собою и намерение сие простерли до того, что Калестин приказал семнадцатилетнему Леониду быть учителем десятилетней Евгении. Хотя сию последнюю можно было назвать еще дитятей, однако черты лица ее предвещали редкую красавицу, а разговоры, самые простые, обнаруживали остроту ума и доброту сердца. Леонид, уча ее по-русски и по-польски говорить, читать и писать, проводил с нею половину каждого утра, а преподавая также уроки на бандуре, провождал в доме Никодима почти целый вечер. Так протекло довольно времени, и Леониду исполнилось двадцать два года, а Евгении пятнадцать. Юные любовники, зная намерение о себе родителей, и не думали скрывать взаимной нежности. Хотя Леонид никогда не забывал строгой благопристойности, хотя Евгения, вышедшая уже из отрочества, очень знала, что стыдливость более перлов украшает девицу, но и опытные родители также знали, что может в двух пламенеющих сердцах произвести случай, а любовники имели таковых каждый день множество; к тому же добрые супруги, надзор коих в таких обстоятельствах всего вернее, давно уже покоились сном непробудным. Посему они, предположив не раньше соединить детей, как по совершению одному двадцати пяти, а другой осьмнадцати лет, решились разлучить их на несколько времени, не опасаясь, чтобы короткая разлука сильна была расторгнуть сердца, столько одно к другому прилепленные.

Наилучшим средством признано отправление Леонида в Киевскую академию для прослушания там курса философии, к чему домашним воспитанием он уже довольно был приготовлен. Как я не мог ему сопутствовать,

ибо за несколько лет определен был на службу в полк гетманский, то в сопутники Леониду назначен священник одного из сел Калестиновых, отец Геласий, человек довольно пожилой, нимало не ученый, но примерной честности и добродушия. Сверх значительной денежной награды, определенной Геласию, и весьма изобильного содержания, помещик дозволил ему взять с собою своего сына, записать в академию и держать на общем счете.

Я находился при прощании Леонида и Евгении и не заметил ничего такого, что бы казалось особенным. Хотя, правда, они несколько раз обнимались и пролили по нескольку слез, но не более, и даже когда Калестин сказал: «Полно, Леонид, пора садиться в бричку» — то молодой человек запечатлев поцелуй на пламенеющей щеке красавицы, пожал у нее руку и сказал довольно спокойным голосом: «Прости, милая Евгения!» Провожая его до брички, я сказал, что так прощается самый хладнокровный муж с женой, уезжая дня на два в хутор. «Что же такое? — отвечал Леонид,— я не иначе считаю Евгению, как супругою, и отъезжаю несколько далее, чем на обыкновенный хутор; а что касается до времени, то два года и два дня немного делают разницы». Бедный Леонид! ты не предчувствовал грозы, которая по возвращении изрыгнет на твою голову потоки молнийные!

Два года после сего прошли обыкновенным порядком. Леонид часто писал письма к отцу, ко мне, к Никодиму и Евгении. Под конец начал скучать столь продолжительною разлукою со своею любезною и сам себя утешал тем, что до окончания курса остается не более нескольких месяцев, и он возвратится в Батурин в объятия любви и дружбы.

Вдруг последовало происшествие, хотя весьма обыкновенное, не не меньше того и важное. Старый гетман скончался. Вся Малороссия восшумела. Полковники и войсковые старшины стекались со всех сторон в Батурин, и как скоро земные остатки покойного повелителя с подобающей честию преданы были недрам земли, то все сословие чинов начало думать о избрании преемника. Дворы варшавский, виленский и московский прислали депутатов, которые отличались гостеприимством и великолепием. Полковники малороссийские, которые были знатнее и богаче других, старались силою великих издержек привлечь большинство голосов на свою сторону. Из депу-

татов отличался князь Станислав, сын великого гетмана литовского, как сам по себе, так и по своим пиршествам. Он был лет около тридцати, красив собою, статен, учен и храбр. Из наших полковников превзошли всех Никодим и Калестин, однако первый много брал преимущества. Два месяца прошли в сих совещаниях и, наконец, избрание пало на Никодима; он провозглашен великим гетманом малороссийским, депутаты соседственных дворов подписали согласие своих монархов, и Никодим принял в руки жезл повелительства.

Калестин первый поздравил друга с сим высоким избранием и учредил в почесть ему великолепный праздник. Опять поднялись пиршества и продолжались в течение целого месяца с отличным блеском и общею радостию, и только наступление великого поста могло остановить оные, и в сие-то время, в один день на второй неделе, возвратился Леонид, быв в отлучке от родительского дома около двух лет с половиною.

Дядя мой принял в объятия свои сына с нежностию и сказал: «Радуюсь, Леонид, той великой перемене, какую в тебе вижу. Об успехах твоих в науках и некоторых искусствах уверяет меня ректор академии, а в добром поведении, которое и само по себе делает много чести всякому человеку, а в образованном науками оно бесценно, свидетельствует отец Геласий; я обоим верю и радуюсь несказанно. Тебе известна перемена, происшедшая у нас в правлении: будущий тесть твой избран в высокое звание, а сие-то еще более обязывает тебя быть сколько можно совершеннее. Твоя будущая жена стала противу прежнего прелестнее, умнее, любезнее. Правда, с некоторого времени она сделалась робка, застенчива и даже неприступна, так что и мне не удается видеть ее наедине, а тем менее сказать хотя одно слово; но кто имеет право проникать в сердечные тайны осьмнадцатилетней влюбленной девицы; да и то сказать, что дочь великого гетмана должна быть возвышеннее, степеннее, даже спесивее, нежели дочь полковника. Сегодня же еду во дворец Никодима и посоветуемся о твоем будущем образе жизни, а завтра представлю самого, и, может быть, тогда же ты вписан будешь в число гетманских телохранителей».

Так как я в сем полку был уже сотником, то Калестин, уезжая во дворец, сказал: «Я думаю обедать у Никодима, а потому поручаю тебе, Диомид, учредить праздничный

обед и пригласить на оный всех начальников и прочих чиновников полка гетманского от старшего до младшего и познакомить с ними твоего брата, как будущего сослуживца. Не жалей для сего ни кухни моей, ни погреба: так в подобных случаях поступали деды и отцы наши, и делали недурно. Конечно, и одни достоинства и заслуги могут приобрести нам приязнь от товарищей и благосклонность от начальников; но для чего же не присоединить к сему, буде мы в возможности, некоторого рода приласкания посредством гостеприимства?

По отбытии Калестина я с таким рвением принялся за исполнение воли его, что около полудня все было готово, и в столовой комнате роились гости. Я не удовольствовался приглашением чиновников одного полка гетманского, но призвал и других полков лучших людей, кои известны были или своею храбростию, или способностями, или даже одною приветливостию. Всем вообще и каждому порознь представил я брата своего и друга и просил их быть к нему благосклонными. В особенности поручал я сослуживцу моему, молодому есаулу Еваресту (которого после Леонида любил более всех и на сестре коего Асклиаде располагал жениться по прошествии двух лет, ибо ей тогда было не более семнадцати), полюбить моего брата, ручаясь с своей стороны за его достоинства, дающие право на благоприятство каждого. Замечу теперь мимоходом, что с того дня Еварест и Леонид сделались друзьями и остаются таковыми до сего времени, несмотря на все коловратности счастия.

Нечего и сказывать, что пир наш был самый свадебный. По окончании обеденного стола мы вошли в другую комнату. Там загудели гудки, забренчали бандуры, зазвенели цимбалы. Явившиеся скоморохи и машкары[1] плясали разные пляски: малороссийские, польские и черноморские. Некоторые из гостей, особливо молодые, вмешались в сию забаву и немало всех увеселили; те же, кои не охочи были плясать, тешили себя всякого рода наливками; словом, все до одного были довольны, веселы.

Под вечер весь дом освещен был великолепно, и прибытие Калестина не только не расстроило общего веселия, но еще умножило оное. Лично представляя гостям

[1] *Машкарами* в Малороссии называются замаскированные шуты, которые на ярмарках или при домашних пирушках пляшут и производят разные фокусы. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

своего сына, объявил, что он записан уже в полк гетманский, и просил старшин быть благосклонными к молодому неопытному воину. Разумеется, что звание, богатство и дружба с гетманом делали всякого совершенно готовым к услугам.

Поутру Калестин лично представил сына своего гетману, окруженному многочисленным сонмом чиновников. Никодим принял его приветливо и протянул правую руку в таком направлении, чтоб ее поцеловали. Леонид, привыкший с младенчества обращаться с будущим тестем как с родным отцом, сначала оторопел от сей новости; но вдруг, собравшись с духом, вспомнил, что он теперь повелитель, следовательно, и родные братья его обязаны были оказывать ему сии знаки благоговения к власти его, а не только дети, и посему, подошед почтительно к Никодиму, преклонил колено и облобызал его десницу. «Встань, есаул Леонид! — сказал дружелюбно гетман,— и выслушай, что скажет старинный твой доброжелатель. Ты вступил теперь на службу в полк моего имени, это значит, в такой полк, который всегда у меня пред глазами и где всякий от большого до меньшого должны быть образцами для своего войска малороссийского. Я тебя знаю и уверен, что всегда останусь доволен».

Он дал знак, и Калестин с сыном вышли. У последнего голова кружилась и дрожали колена; он совсем не такого ожидал приема. «Что это значит? — спросил он у отца своего,— это ли Никодим, прежний друг твой, отец моей Евгении?» — «Леонид! — отвечал Калестин,— это не должно удивлять тебя. Подданный, сделавшийся повелителем, по необходимости во многом должен переменить образ своей жизни и при посторонних людях казаться другим человеком, нежели при ближних и домашних! В день изобрания Никодима в гетманы и я — друг его юности, товарищ во всех походах, всегдашний собеседник в советах, должен был — признаюсь откровенно— с крайним отвращением приложить губы свои к руке его наравне с прочими. Но в тот же самый день ввечеру, когда остался он в кругу прежних друзей, я обнимал в нем друга своего Никодима, забыв совершенно об его гетманстве. Надеюсь, что он сам найдет скоро случай, и ты обнимешь его как отца твоей Евгении и опять при общественных собраниях будешь вести себя в отношении к нему как к гетману, даже и тогда, когда сделаешься его зятем».

Хотя такое истолкование и утешило несколько Леонида, но он не утерпел сказать: «Ах! как бы хорошо было, если бы Никодима никогда не выбирали в гетманы!» — «Стыдись, сын мой! — отвечал Калестин довольно строго,— разве ты не слушал философии? Разве надобно избирать то, что хорошо для одного меня, а не то, что составляет благо целого отечества? Конечно, я не хочу уступить Никодиму ни в любви к сему отечеству, ни в уме, ни в личной храбрости,— но он несколько долее меня в службе и несколько богаче, а этого довольно, чтобы дать ему перевес передо мною!»

«Пусть так,— сказал Леонид смущенно,— пусть Никодим ни перед кем не забывает, что он гетман; но я надеюсь, что он не воспретит Евгении оставаться для меня прежнею Евгениею! Где ее покои?» — «Сын! — отвечал Калестин с принужденною улыбкою,— уверяю, что вход в приемную султана хотя и труден, но все легче, чем в преддверие его гарема. Евгения без согласия главной надзирательницы над няньками и девушками, коих у нее теперь более двух дюжин, сорокалетней девицы Филониды, не смеет никого принять к себе, а Филонида, не испрося на то соизволения от родителя, никому не даст своего согласия. Филонида, будучи дворянского происхождения, хотя до вступления в дом гетмана была очень бедна, но зато примерной честности и благонравия. Ясно ли?»

«Понимаю,— отвечал Леонид с изменившимся лицом и дрожащим голосом,— понимаю, что в чертогах, где блистает великолепие и пышность и бродит жалкая принужденность под кротким именем благопристойности, там нет свободы, нет любви,— нет счастия!»

Глава IV Умный дурак

С сего времени Леонид сделался уныл и не таил состояния души своей; однако ж, следуя наставлению отца, тщательно исполнял свою должность. Изредка, и то мимоходом, видал он Евгению; но она, казалось, не обращала на него особенного внимания. Только в церкви имел он случай наслаждаться счастием смотреть на нее

продолжительно, и это счастие — в существе своем — было истинное несчастие, ибо после каждого такого свидания он на несколько дней лишался покоя, терял охоту к пище, и сон целые ночи не смежал веждей его. Иногда просил он отца, чтобы он, продолжая пользоваться дружбою и доверенностию Никодима, исторг из сердца его сию мучительную тайну; но всякий раз Калестин, человек честный, добрый, прямодушный, но вместе с тем благородно гордый и почитающий честь выше всего на свете, всегда отвечал сыну: «Леонид, я и сам примечаю, что тут не без тайны, но стыжусь ее разведывать. Для меня самого крайне было бы неприятно слышать, что кто-нибудь силится проникнуть то, что я скрываю, а по себе сужу и о других. Впрочем, я тут не предвижу ничего для тебя печального. Ты знаешь наше с ним условие, чтобы соединить вас не прежде, как тебе исполнится двадцать пять, а Евгении осьмнадцать лет; но тебе также небезызвестно, что сие время настанет не прежде, как в конце будущего лета, а теперь и весна не началась еще. Но если бы,— продолжал он с некоторым жаром и приподняв саблю,— если бы Никодим и позабыл наше условие, то я столько горд, что никогда не напомяну о нем. Он сегодня гетман, я могу быть таковым завтра. Леонид! ни мое звание, ни древность моего рода, ни мои богатства, нет! ты, сын мой, составляешь предмет моего тщеславия, и руку твою считаю я достойной руки польской королевны. Однако ж подождем. Никодим продолжает обходиться со мною почти по-прежнему, ибо его новое звание, сопряженные с ним заботы, даже пустые предметы депутатов, воевод, знаменитых путешественников,— все сие, без сомнения, отнимает у него много часов во дню, и он не может уже — хотя бы сердечно желал — быть тем же для меня, для тебя, для своей даже дочери, чем был прежде. Без ясной причины я никого не обвиняю, тем более не обвиняю друга моей юности».

Что после сего оставалось Леониду? Терпеть и молчать! Однако ж чего не сильны сделать любовь, дружба и молодость! Мы составили заговор и произвели его удачно в действо. Кто ж эти мы? Леонид, я, Еварест и — Куфий.

В первые недели гетманства Никодимова он умел узнать каждого из чиновников полка своего. Куфий был тогда сотником и имел от роду с небольшим три-

дцать лет,— а более ничего. Он был здоров, весел, замысловат, отважен; но ты его сам знаешь. Теперь Куфий довольно богат, но тогда был беднее всех в целом полку. Это все не укрылось от внимания Никодимова. Он сделал предложение; оно принято безотговорочно, и в скором времени сотник Куфий сделался начальником придворных шутов и скоморохов. Его одели богато, отвели для житья покои во дворце, кормили и поили хорошо; чего ж больше для голодного бесприютного Куфия? Наедине говорил он с Никодимом как человек самый рассудительный, справедливый, преданный пользам своего повелителя; в обществе — под видом шутки — он, указывая на какого-нибудь полковника или старшину, описывал их распутства, лихоимства, хищничества, бесчеловечия. Все смеялись, даже сам гетман; но это не мешало ему послать тайно нарочного осведомиться о справедливости извета Куфиева, находили оный основательным, и виноватые бывали наказаны. Это имело следствием, что всякий начальник, боясь языка Куфиева, боялся делать несправедливости, и преступления, если не истребились, по крайней мере умалились. Куфия дарил гетман, дарили придворные, дарили приезжие, и он начал обогащаться. На сего-то мудреца возложено было исполнение нашего замысла, которое и началось следующим образом.

Куфий стал представляться страстно влюбленным в Филониду и по времени объявлял ей любовь по-своему. Вместо томных взглядов, тяжелых вздохов и прочих примет любовных Куфий, при свидании с своею Дульцинеею, наступал ей на ноги, щипал за руки, трепал по по плечу и, глядя ей в лицо, ласково шевелил усами. Устарелая красавица смеялась от чистого сердца, делала ему ловкие тычки по носу, ерошила чуб, и, словом, каков был вызов, таков и ответ, а дело своим чередом шло далее и далее, и Куфий добрался до того, что, давши любовнице легонький щелчок сзади, когда она оборачивалась, мгновенно хватал ее за уши и целовал в губы. Такие несомненные знаки любви обыкновенно награждаемы бывали пощечинами; но сия малость храброго Куфия нимало не смущала. Он начал закрадываться на женскую половину, что для всякого другого было бы непростительно, да и невозможно, ибо входы охраняемы были стражею; но как Куфия велено пропускать в покои самого даже гетмана во всякое время, то из сего заклю-

чено, что он везде бродить может, и его нигде не задерживали. Посещая свою любовницу временно и безвременно, он иногда находил ее не совсем в порядке; она сердилась, прочие женщины смеялись, после чего и она, также смеючись, выталкивала его вон, а он убегал в другую девичью и, дав ей время исправить такой или другой беспорядок, опять являлся и производил общий хохот. Словом, в скором времени при появлении Куфия ни одна из женщин не приходила уже в смущение, хотя бы он застал ее в постеле, и, считая его каким-то амфибием, всякая исправляла свои нужды, как бы там, кроме женщин, никого не было.

В таких подвигах Куфиевых прошел весь великий пост. В первый день светлого праздника гетман, раздавая награды, пожаловал меня в полковые старшины, а Леонида в сотники. Он продолжал обходиться с ним весьма благосклонно, но Евгения продолжала казаться рассеянною, не обращающею на него внимания, совершенно для него чуждою. Однако ж Леонид заметил, что она время от времени делалась пасмурнее; огонь в глазах ее стал тускнеть; розы на щеках, мало-помалу бледнея, наконец совсем исчезли и уступили место свое поблекшим лилиям. Всякий раз в церкви,— ему нигде более не удавалось ее видеть,— когда она как бы нечаянно на него взглядывала, какое-то смущение разливало туман по прекрасному лицу ее, и взоры медленно опускались на помост храма. Леонид не спускал с нее глаз своих, стенал и терзался. В первый день праздника она также взглянула на Леонида, и ему показалось, что всегда туманные взоры ее просияли искрами нежности, прелестные губы ее легонько двигались, и она шептала: «Христос воскресе!» Взор любовника воспламенился, багровая краска бросилась в лицо, и он машинально начал ломать себе на руках пальцы. Взоры Евгении еще более оживились, и легкий румянец поалил щеки. Леонид не понимал сам своих ощущений.

На другой день праздника под вечер, когда Калестин не возвращался еще из дворца, я с Леонидом сидели вместе, думая и гадая, вдруг ввалился к нам Куфий с веселым видом. После обыкновенных приветствий он сказал моему брату: «Я — человек придворный и даром ничего и ни для кого не делаю! Что дашь, если скажу хорошие вести?» — «Половину жизни моей,— вскричал Леонид,— буде вести сии докажут, что Евгения все еще

меня любит!» — «На что мне такая обуза,— сказал Куфий,— с меня и моих собственных дней едва ли не много! Ну, добро, мы сочтемся! Велите-ка подать доброго вина, так языку моему удобнее будет ворочаться».

Немедленно подана была сулея с лучшим волохским вином; Куфий осушил кубок и начал повествовать: «Вчера, часа за два до благовеста к литургии, дворец гетмана набит был всякого звания христианами в ожидании выхода его высокомочия из своего чертога, дабы поздравить с праздником, приложить свои губы к его руке и подставить свои щеки и лбы к его губам. С величайшею важностию побрел я на женскую половину и нашел всех мамок и девушек в строю. «Что вы тут делаете, красавицы?» — спросил я. «Ожидаем выхода Евгении, дабы поздравить с праздником!» — «А где моя дражайшая?» — «У Евгении!» — «Одета ли Евгения?» «Давным-давно!» — «Дельно! Так я и там поздороваюсь с моей красавицей! Ведь законная любовь, какова, например, моя, не порок! Сопровождаемый насмешками, я вошел в комнату дочери Никодимовой и нашел ее вместе с Филонидою. Поклонясь почтительно Евгении, я оборотился к своей прелестнице: «Что же ты, дражайшая! — вскричал я,— так застенчива! поздороваемся по-христиански!» Я подошел к ней, а она отступила, прося Евгению выгнать бесчинника. «Нет! от меня нигде не укроешься,— сказал я,— сейчас здоровайся!» С сими словами я подошел к ней с таким видом, как будто намереваясь обнять ее покрепче и поцеловать раз десять. Она с криком бросилась вон, а я, пользуясь сею минутою, подбежал к Евгении и вполголоса сказал: «Леонид умирает! Оживи его хотя одним благосклонным взглядом и хотя одною строчкою руки твоей. Не опасайся меня; я — друг его!» — «Приходи сюда завтра перед обеднями,— отвечала она,— мое дело будет задержать здесь Филониду, а твое — выгнать ее отсюда». С сими словами она вышла к своим девушкам, и начались поздравления, а я пошел к гетману сказать, что он излишне изволит мешкать и что жаждущие облобызать дебелую его десницу могут потерять терпение, лишаясь так долго сего блаженства, так грех будет на душе его.

Сегодня поутру, в назначенную пору, я очутился где было надобно и нашел, что девушки заняты были поправлением одна на другой нарядов и пяленьем поочередно пред зеркалами, а про Филониду сказали то же,

что вчера, то есть что она у Евгении. Я сейчас иду туда и нахожу их обеих занятыми рассматриванием перстеней, серег, жемчужных ниток и других драгоценностей. Отдав должное почтение молодой госпоже, я бросился к Филониде и, приняв вид сатира Марсиаса, с которого Аполлон сдирает кожу, сказал плачевным голосом: «Умилосердись, жестокая! Неужели ты некресть татарская, что для таких великих дней не хочешь оказать мне небольшой благосклонности?» Филонида задумалась, а я, испугавшись, чтоб она, склонившись на мое страстное желание, не осталась при Евгении, возопил: «Ах! дражайшая Филонида! что колеблешься сделать меня благополучным? Дозволь мне обнять тебя, как обнимал древний Иксион волоокую Юнону, и облобызать у тебя не только прелестные уста, но и лоб, уши, глаза, щеки, затылок...» — при сем расширил пасть и растопырил руки. «Ай, ай!» — вскричала она и бросилась вон. В ту минуту Евгения отперла ларчик, выхватила письмо и кошелек и сунула мне то и другое в руку. Проворно спрятав приобретение сие в карман, я бросился к женщинам, спрашивая страстно: «Где же Филонида?» Она взяла свои меры — скрылась в угол и выставила впереди себя с дюжину баб и девок. Я представил вид, что не дерзаю сделать нападение противу крепости, защищаемой таким могучим войском, почесал печально чуб и медленно вышел. До сей поры мне нельзя было урваться из дворца. Вот письмо, Леонид, возьми. Оно хотя и без надписи, но я догадываюсь, что принадлежит тебе; кошелек с сотнею червонных также без надписи, но я уверен, что принадлежит мне,— и потому тебе и видеть его нечего: вещь самая обыкновенная!

Леонид трепещущими руками принял письмо, развернул и начал про себя читать. В лице его попеременно видел я нежность, горесть, надежду, негодование. Он бледнел и краснел, улыбался и морщился. Кончив чтение, подал мне письмо и сказал: «Брат! прочти и дай совет, что я должен думать и делать; а я так смущен, так расстроен, что совершенно ничего не понимаю, ничего не чувствую, хотя кажется, более чувствую, нежели когда-нибудь. По-видимому, я могу назвать себя весьма счастливым, ибо Евгения уверяет в непременности любви своей, и вместе с тем злополучным, ибо должен опасаться, чтоб ее у меня не похитили. Прочти, любезный брат, и скажи свое мнение!»

Я взял письмо, прочел с великим вниманием, подумал, еще раз пробежал; потом, положа укромно на стол, задумался и сидел молча, щелкая пальцами по ефесу моей сабли. «Что же скажешь?» — спросил Леонид с нетерпением. «Ничего!» — отвечал я смущенно. «Немного же!»

Куфий, который во время чтения письма и наших суждений, казалось, ничем не занимался более, как узнанием доброты вина, слыша последние слова наши, сказал: «Вижу, что вы оба неразумные парни! Ну, не стыдно ли, что двух молодцов, которые одним движением усов должны обратить в бегство целые полчища татар и турков, молодая, робкая девушка несколькими строчками поставила в тупик так, что и последний польский шляхтич успеет обрить вам усы и головы, прежде нежели вы опомнитесь. Дайте-ка я прочту это волшебное письмецо, и тогда посмотрите, не храбрее ли я вас обоих».— «Сделай одолжение!» — сказал Леонид, подавая письмо, и Куфий прочел вслух следующее: «Неужели добрый, нежный, чувствительный Леонид хотя на одно мгновение мог помыслить, что Евгения способна переменить чувство сердца своего,— Евгения, от самой колыбели привыкшая видеть в нем единственного друга, верного любовника? Так, Леонид! я видела твои страдания и сама не меньше страдала, но не имела возможности тебя о том уведомить, ибо мне и на мысль не приходило, что добрый Куфий в связи с тобой. Я поступала по данному мне повелению; кто повелел, ты сам догадаешься, но для чего — и по сие время наверное не знаю и, соображая обстоятельства, страшусь проникать тайну; однако ж и скрывать от тебя мои догадки считаю непростительным грехом и не хочу, чтобы ты, видя меня погибшею, мог сказать: «Я нашел бы средства спасти ее, но она скрывала от меня бездну, сама пала в нее и меня вовлекла с собою». Догадки мои состоят в следующем,— но заметь, что не более как догадки, и прежде времени не предавайся унынию, которое всегда бесполезно, а иногда и пагубно.

При возглашении отца моего гетманом я пользовалась тою же свободою, как и прежде. Все вокруг меня дышало довольством, радостию. Часто, без всех докладов, виделась я с отцом моим, говорила о скором твоем возвращении, изъявляла радость свою непринужденно, и отец, улыбаясь с нежностию, подавал мне руку, которую осыпала я поцелуями, и говорил: «Будь уверена,

моя Евгения, что твое счастие есть мое собственное!» О! как я благословляла небо, даровавшее мне такого родителя! Но золотое время скоро улетело.

В одно утро, когда явилась я к отцу с обыкновенным поздравлением, то застала его с тремя депутатами соседственных держав и несколькими полковниками нашего войска, в числе коих был и Калестин, отец твой. Облобызав родительскую руку, я хотела удалиться, но получила приказание пообождать конца сей аудиенции, и тогда я получу особенную. Я села у окна и смотрела на площадь, не думая вслушиваться в слова присутствующих, однако ж не могла не заметить, что молодой князь Станислав, сын великого гетмана литовского, отличался от всех ловкостию, остротою в речах и основательностию суждений. Все соглашались с его мнениями, и казалось, что он один был с языком в сей беседе. Нередко, обращаясь ко мне, он спрашивал: «Ты что на это скажешь, прелестная Евгения?» — и я всегда непринужденно отвечала: «Извини, князь, я даже не слыхала, о чем говорено было!» — Это очень нехорошо, дочь моя! —сказал в последний раз отец довольно важно,— надобно быть внимательнее, когда говорят достойные люди!» Я покраснела и не отвечала ни слова.

Когда сия беседа кончилась и все разошлись, то отец, подошед ко мне с важностию прямо гетманскою, сказал: «Евгения, ты должна с переменою обстоятельств и сама совершенно перемениться и навсегда забыть, что была некогда дочерью полковника Никодима. Помни постоянно, что, по воле всеблагого бога, ты можешь теперь равняться со всякою королевною; а чтоб тебе удобнее было соображаться с сею новою обязанностию, то я заблагорассудил устроить при тебе особенный штат, гораздо приличнейший теперешнего. Старая мамка твоя Марина, женщина, конечно добрая и честная, но слишком простая, щедро награждена мною и отослана на родину в Миргород; четыре горничные девки также не остались без возмездия и отправлены по разным хуторам моим. Теперь приготовлены для услуг тебе десять женщин и столько же девушек. Над ними вверил я смотрение Филониде, пожилой девице дворянского происхождения. Без моего дозволения никто к тебе допущен не будет, ибо сего требует приличие нового твоего звания. Ты будешь в своих покоях иметь обеденный стол, пока не прикажу явиться к моему. Иногда и я приду к тебе,— один или

с кем-нибудь из знатнейших особ, при дворе моем находящихся. Теперь покажись новым твоим служительницам».

Со слезами на глазах, колеблющимися ногами пошла я на свою половину. Меня встретила Филонида и что-то говорила приветственное; но я, сказав, что хочу остаться одна, бросилась в свою спальню и, упав в кресла, зарыдала. Увы! куда девалось прекрасное время моего детства и юности, время любви и счастия! Милосердый боже, неужели гетманы необходимы на земли?

Отец мой всякий день навещал меня или призывал к себе. В обоих сих случаях я находила с ним князя Станислава, не перестающего оказывать мне всякого рода учтивости. Всего прискорбнее, что я должна была — так мне приказано — казаться веселою тогда, когда неизреченная горесть терзала мое бедное сердце. К большему мучению, ни одно из окружающих меня существ не произносило при мне имени Леонида, ибо им неизвестно даже было, существует ли таковой человек на свете. Может ли что быть сего несноснее, убийственнее?

Кто опишет чувство, я не знаю, как и назвать его,— растворившее раны сердца моего, когда я в первый раз в церкви тебя увидела! Из одного взгляда твоего поняла я, что несчастие мое тебе известно! Глаза мои помутились, колена задрожали — и я едва-едва не лишилась памяти. С молитвою сердца прибегла я к богу, прося его укрепить меня, слабую, и милосердый услышал безгласный вопль души моей. Надобно думать, что отец не заметил сего беспорядка, ибо никогда не давал мне повода к противным мыслям.

С сего времени дни мои сделались еще горестнее. Ночи мои провождаемы были в слезах, а если когда сон и смежал на несколько минут мои ресницы, то ужасные сновидения меня разбужали. Я трепетала и находила отраду опять в слезах. О! сколько несчастен, кто живет такою отрадою!

Отец, навещая меня по обыкновению, но уже один, ибо князь Станислав отправился в свое отечество, спрашивал о причине такой перемены в моем лице и поступках и, получив ответ, что это происходит от непривычки еще к новому образу жизни, говорил хладнокровно: «По благости божией человек так устроен, что со временем ко всему привыкает».

Итак, мой милый, бесценный друг, из всех описанных обстоятельств заключаю, что отец назначил меня на жертву честолюбию, предав в руки князя Станислава. Дай бог, чтобы я ошибалась; но какое-то тайное, непреоборимое чувство гремит в душе моей: «Несчастная! ты угадываешь истину!» Что, Леонид, если это сбудется? Я вижу, что при одной сей мысли ты трепещешь! Слезы льются из глаз моих, дыхание стесняется! Боже! как мучительно такое состояние! Однако подождем: может быть, я и обманываюсь. Если же нет — выслушай меня внимательно: если я непременно должна буду сделаться супругою князя Станислава и ты не найдешь никаких способов исхитить бедную Евгению из челюстей вечного злополучия, то, прежде нежели приступлю к алтарю,— меня уже не будет, и я—не к брачному ложу, но с растерзанною девическою грудью явлюсь к престолу судьи небесного. Да будет со мною святая воля его!

Твоя или ничья *Евгения*».

Куфий замолчал и, сложа письмо, начал степенно ходить по комнате, закручивая усы. Я сидел в горестном безмолвии; Леонид рыдал горько. Какое мучение!

«И подлинно дело хлопотливое,— сказал Куфий, остановясь у стола и положа на нем роковое письмо,— я сам теперь почти в таком же положении, в каком и вы находитесь. Так! наконец я понимаю!» — «А что ты понимаешь?» — спросили мы с торопливостью. Куфий, усевшись между мною и братом, говорил: «По окончании всех торжеств, бывших по случаю возвышения Никодимова, все депутаты разъехались. Московский и варшавский как в воду упали, и не было об них никакого слуха; один виленский щеголеватый князь Станислав из каждого города и городишка присылал к Никодиму нарочного гонца, а по прибытии в Вильну каждую неделю двух. Но это не все. Недели за две перед пасхою начали убирать все левое крыло дворца великолепным образом. «На что это?»— спросил я однажды у Никодима. «По происшествии светлого праздника,— отвечал он,— я переведу туда Евгению со всем штатом ее, который еще увеличу сообразно с ее достоинством!» Тогда я смеялся такой суетности; но теперь вижу, что он хитрее, чем я думал!»

Леонид покрылся бледностию, закрыл глаза руками и, облокотясь на стол, оставался безгласен. Я почел за

лучшее оставить его в сем положении, отвел Куфия в сторону и сказал: «Кажется, теперь сомневаться нечего!» — «И я тех же мыслей»,— отвечал он. «Что-нибудь, а делать надобно,— продолжал я,— после Леонида мне лучше всех известен нрав Евгении: она, точно, устоит в своем слове и погибнет, а погибель ее, без всякого сомнения, погубит несчастного моего брата. Куфий! постараемся спасти обоих!» — «Но как же, скажи, пожалуй?» — спросил он пошептом. «Стыдись, учитель на все выдумки! — отвечал я,— довольно с тебя, если я во всем готов последовать твоим советам, один я с двумя казаками, преданными мне совершенно и достойными быть в числе лучших учеников твоих. Ты сам видишь, что бедный Леонид подобится теперь младенцу, которого на помочах водить надобно. Окажем ему эту дружбу; иначе он, решившись бегать сам собою, в прах разобьется».—«Хорошо! — сказал Куфий,— завтра под вечер я опять украдусь из дворца, и что до того времени удастся мне выдумать путного, скажу и тебе». С сими словами мы расстались. Леонид походил на помешанного, но я утешил его клятвою, что решился или потерять голову, или соединить его с любезною, в чем и Куфий обязался способствовать.

«Вы здесь сидите и бражничаете,— сказал вошедший Калестин,— а не знаете, что делается вне сего дома. Я сейчас только из дворца. Там такая суматоха, что избави господи! Совсем нечаянно, неожиданно появился в палатах князь Станислав, с огромною, великолепною свитою. Все смотрели друг на друга с удивлением и не знали, что бы это значило, однако были уверены, что не даровое. Когда предстал князю дворцовый старшина, то первый потребовал аудиенции и спустя несколько минут поведен к гетману. Тут приступили мы к предводителю его свиты с вопросами и узнали только, что сын приехал к здешнему двору с важными грамотами от отца своего. Посмотрим, что-то гласят грамоты его литовской светлости! Леонид! что ты так бледен? Ты дрожишь! Неужели боишься объявления войны от литовцев?» — «Я несколько нездоров,— отвечал Леонид,— позволь мне удалиться!» С сими словами он вышел; Калестин, поговоря со мною недолго, также удалился на свою половину, и я остался один в самом мрачном расположении души моей.

Глава V Спасайся, пока можно!

В таковой борьбе с самим собою я провел почти всю ночь, следующий день и часть другой ночи. Калестин все свободное время убивал во дворце, а сын его стенал в своей комнате, и хотя мог еще держаться на ногах, но всякий, взглянув на него, сказал бы, что он болен отчаянно.

Около полуночи вошедший слуга объявил, что незнакомый казак, с большим узлом под рукою, желает со мною видеться. Удивившись такому позднему посещению, я спросил: что ему надобно? «Видеться с тобою!» — «Впусти!»

Как скоро незнакомец вошел, то, оборотясь к слуге, сказал повелительно: «Удались!» Слуга с удивлением повиновался, а гость, кинув свой узел на пол, подошел ко мне и, шаркая ногами по-польски, говорил: «Дай бог здоровья людскому разуму; с ним всего достичь можно!» Рассмотрев пристальнее сего чудака, я, несмотря на всю унылость души моей, вскричал весело: «Куфий! какая ведьма так тебя оборотила?» — «Это могущая ведьма,— сказал Куфий таинственно,— называется дружбою и в силе своей уступает — и то немного, а не всегда — другой ведьме, называемой любовию! — Тут развязал он узел и вынул полный наряд свой, сшитый из разноцветных лоскутьев, и сказал: — Попечению твоему вверяю, чтобы по крайней мере через два дни готово было другое такое же платье по твоему росту. Из всего видно, что свадьбою торопятся, ибо за полчаса пред сим, когда я по обыкновению провожал гетмана в опочивальню, он, потрепав меня по макушке, сказал с улыбкою: «Постой, Куфий! мы скоро поднимем такое веселье, какого ты еще во всю жизнь не видывал. Завтра скажи моим именем казначею, чтобы к следующему воскресенью изготовлено было тебе новое платье из золотой и серебряной парчи и чтобы во всем наряде отвечало одно другому». Если бы не удальство мое, посредством которого достал я письмо от Евгении, столько нас просветившее, помогло в сем случае, то я, наверное, дался бы в обман; но теперь труд-

но меня одурачить. И не Куфий догадается, что в Фомино воскресенье назначено быть роковой свадьбе. Видишь, как надобно дорожить временем! Прежде определенного срока надобно переделать все по-своему, и пусть тогда ахают и охают. Кто готовится смотреть без жалости на чужие слезы, недостоин сожаления, если и сам принужден будет горько плакать».

Поговоря еще довольно времени, мы сделали условие как о наших свиданиях, так и о дальнейших распоряжениях по предмету столько важному, опасному, решительному. Наконец мы расстались, чтоб успокоиться; но я весь остаток ночи провел в креслах, не раздеваясь. Едва лишь начало на дворе брезжить, я поднял принесенный Куфием узел и пошел один к портному жиду, шившему на меня все платья. Дав ему приказание, состоявшее в десяти червонных, изготовить для меня шутовское платье к пятнице и быть молчаливу, буде не желает вопиять под ударами батогов, я возвратился домой и начал размышлять о последствиях наших замыслов. Задумавшись, сидел я долго и не приметил, как вполз ко мне Леонид с мрачным взором, с бледными щеками, с опустившимися усами. Он сел подле меня и потупил глаза в землю.

«Леонид! — сказал я,— ты весьма несправедлив, заставляя нас смотреть на тебя как на приближающегося ко гробу, и в то время, когда друзья отваживают свои головы,— дабы доставить тебе счастие!» — Тут рассказал я о мерах, какие предпринимает Куфий к произведению общего намерения в действо, присовокупя, что любовник, будучи главное лицо, унынием своим может уничтожить все наши надежды. «Надежды? — сказал он со стоном,— легковерные! и вы можете еще льстить мне надеждами?» — «Да,— отвечал я,— несмотря на то, что брак...» — Тут я остановился и замолчал. «Продолжай! — произнес Леонид довольно резко,— какая разница умереть минутою раньше или позже?»

Я не хотел печалить его объявлением о таком скором времени, назначенном гетманом к совершению брака своей дочери, Леонид с своей стороны хотел знать все подробно, и между тем как мы, так сказать, пустословили, солнце было уже высоко, и слуги объявили, что Калестин давно во дворце. Я начал переодеваться, а Леонид решительно отрекся видеть Никодима и умножать собою число рабов его. Когда я был готов, то введенный придворный низшей степени шут кинул на стол письма и

скрылся, как ветер. Развернув обвертку, я нашел две записки. В первой стояло:

«Если Леонид не пошлый дурак, то, прочтя вторую записку, сделается бодр, предприимчив, каким следует быть любовнику: сего только от него и требуется. Евгении весь наш замысел известен; но как я и сам покуда не надумался хорошенько, когда приняться за исполнение, то до времени помолчим. Более всего надобно Леониду быть отважнее. Ведь когда-нибудь, а умирать должно; пусть же умрет он, спасая Евгению. По прочтении сейчас письмо сожги.

Куфий».

«Клянусь всеми святыми,— вскричал Леонид, как будто восставший из гроба,— для спасения моей любезной, когда она именно того требует, буду столько же мужествен, как соименный мне спартанец, и тверд, как гранитный камень! Что же в другой записке?» Я развернул ее и прочел:

«Мне сказывают, Леонид, что ты продолжаешь печалиться и унывать; этим ничего не сделаешь. Соглашаясь с мнением Куфия, я до последнего дня буду казаться веселою; не стану противиться никаким предложениям, на все охотно соглашусь,— но помни — до последнего только дня. Тогда — я опять повторяю прежние слова мои — тогда я — твоя или уже ничья во всей подсолнечной.

Евгения».

Сии немногие строки воспламенили молодого человека мужеством, какого и сам он от себя не надеялся; взоры его заблистали, щеки покрылись румянцем здравия, походка сделалась твердою и все движения непринужденными . «Леонид,— сказал я,— сегодня середа, а спустя три дни настанет суббота; на такое короткое время, кажется, можно ополчиться всеми силами души твоей, когда уже и Евгения имеет столько мужества, чтобы при невозможности быть твоей обручиться со смертию».—«Что ты мне говоришь так много? — вскричал Леонид,— что значит жизнь без Евгении?»

В самое то время услышали мы на улице шум и разные голоса. Подбегаем к окну, и — кто опишет наш ужас и поражение? Калестин, бледный и трепещущий, едва держался на коне; его поддерживали двое войсковых старшин полка его; позади следовало до двадцати кон-

ных казаков. Леонид и я затрепетали и бросились на двор. Едва мы сбежали с крыльца, как подвезли и Калестина. Он снят с коня при наших восклицаниях: «Батюшка, дядюшка! что с тобою сделалось?» — «Мщение! — возопил Калестин ужасным голосом.— Сын! племянник! клянитесь мне грозным мщением клятвопреступному! Друзья мои! — продолжал он, обратясь к старшинам,— войдите в дом мой; стены его не осквернены укрытием бесчестного изменника. Леонид! прикажи выдать каждому казаку по злотому; пусть за мое здоровье повеселятся!»

Мы ввели Калестина в спальню, раздели и уложили в постель. «Мне другого врача не надобно,— сказал он,— кроме спокойствия. Леонид! вынь из кармана моего гнусное писание, но не читай его дотоле, пока старшины не удалятся. Угости их прилично моему званию. Делай, что хочешь, но не мешай мне отдохнуть. Не входи сюда, пока не позову, и никого не допускай».

Мы приказали учредить довольный завтрак и вышли к гостям. «Ради бога,— сказал Леонид,— известите обстоятельно, что привело отца моего в столь жалостное состояние?» — «Это произошло так мгновенно,— отвечал один из старшин, — что никто не видал промежутка между началом и концом. Когда все чиноначальники собрались в приемной палате, ожидая повелений гетмана, то дворцовый старшина, вышед из внутренних покоев с письмом в руке, подал оное Калестину. Как только сей прочел, ужасный сумрак покрыл лицо его. Трепеща весь, свернул он бумагу, положил в карман и хотел закрутить усы; но рука опустилась, он задрожал и, конечно, упал бы на пол, если б не был поддержан. Мы вывели его на двор, усадили на коня и привезли сюда. Более ничего не знаем».

По окончании завтрака гости удалились. Леонид, вынув письмо, сказал: «Я наперед предчувствую, что тут написано, смотреть на один почерк руки гетманской для меня противно. Читай ты». Я прочел вслух сии строки:

«Почтеннейший друг Калестин! тебе известно, что с переменою обстоятельств неминуемо переменяются и наши преднамерения. Сохранять прежнюю к тебе дружбу поставлю за самую святую и приятную обязанность, если и ты согласишься остаться в пределах должной умеренности. Сына твоего люблю по-прежнему и сочту за верх удовольствия доказать то на опыте, возведя его так вы-

соко, как только власть моя дозволит, но — дочери моей за него не отдам. Ты знаешь, что, восшедши на степень гетмана, я перестал принадлежать себе, а сделался отцом всего народа. Сын великого гетмана литовского ищет руки Евгении, отец его настоятельно о сем просит. Посуди, какие последствия могут произойти в случае отказа! Неужели кровию народа, вверенного провидением моему попечению, должен я жертвовать в угодности молодому человеку, который — по обыкновенному ходу природы,— потеряв свою любезную, прежде погрустит, потом успокоится, а наконец — как водится — найдет любезнейшую, и прежняя совершенно забудется. Будь великодушен, Калестин, и на меня не ропщи. Если бы ты избран был главою народа, и тот же литовский гетман предложил бы тебе мир, а твоему Леониду руку своей дочери, скажи по совести, стал ли бы ты колебаться и не была ль бы оставлена моя Евгения? Если бы ты поступил не так, то поступил бы не как гетман, а как обыкновенный отец, следовательно, поступил бы весьма несогласно с общею пользою, то есть поступил бы неразумно. Прости и будь здоров. Ввечеру увидимся и побеседуем.

Никодим».

Сие письмо, которое во всякое другое время и всякому другому показалось бы весьма основательным, не произвело в нас иного впечатления, кроме гнева и негодования. Прежнее письмо Евгении не могло быть забыто. У нас родилась непреоборимая охота поставить на своем и умствующего гетмана постричь в родню Куфию. Три дня прошли в приготовлении к сему важному подвигу. Уютная бричка и лошади стояли в моем отцовском доме. Роковой час настал.

В глубокие сумерки прокрался я в жилище Куфия, где и переоделся в приготовленное мною шутовское платье. Куфий, по заведенному порядку, вертелся во внутренних покоях гетмана и забавлял его своим остроумием. Сей властелин наедине с нареченным зятем занимался распоряжениями к торжествам брачным.

В самую полночь, когда огни везде, кроме покоев гетмана, потушены были, я прокрался на женскую половину, и как часовых, так нянек и мамок оделив щедро золотом, объявил, стараясь сколько можно подделаться к голосу и ухваткам Куфия, что дорогая Филонида назначила мне

свидание и хочет прогуляться на чистом воздухе. Целомудренные девушки и степенные женщины, смеясь тихонько, уверяли, что нельзя лучшего времени выбрать для прогулки, и внутренно были весьма довольны, что и важная начальница их не совсем без житейских слабостей. Евгения, по предварительному условию, с притворною робостию явилась в полном уборе Филониды, и я с ужимкою великого щеголя взял ее за руку и повел куда было надобно. Без всякого приключения пробрались мы в сад, достигли ограды, вышли из оной посредством приготовленного от калитки ключа, и я, отдав милую беглянку Леониду, бывшему уже там с бричкою, полетел домой, а любовники поскакали по пирятинской дороге.

Я стану описывать тебе, Неон, ход происшествий в том порядке, как они случались, не затрудняясь объявлениями, откуда я что знаю.

Вскоре за полночь Филонида за какою-то нуждою вышла из спальни в девичью. Все, кои еще не спали, ахнули от удивления. «Как ты сюда прокралась?» — спросили некоторые. «Я прокралась? — сказала оторопевшая надзирательница,— разве я куда выходила в полночь?» — «А как же? Разве мы не видали тебя вышедшую отсюда с Куфием?» — «Перекреститесь; вы грезите!» — «Не тебе ли что причудилось?»

Спор поднялся не на шутку. Все хотели быть правы, и Филонида стояла твердо, что она ни шагу из спальни не делала и тени шутовой не видала. Няньки и мамки уверяли, что все они при свете месяца очень хорошо рассмотрели ее рыцаря, слышали его голос и получили подарки. Тут устрашенная надзирательница вскричала: «Видно, в моем образе был здесь оборотень! Сейчас посмотрим!»

Она трижды перекрестилась, проворно вошла в комнату Евгении — и окаменела. Постель молодой госпожи была даже не тронута; везде пустота и безмолвие. Болезненный вопль Филониды раздался из угла в угол, испуганные служанки вскочили с постелей и бросились ей на помощь. «Неверные! окаянные! — вопила она,— чего смотрели вы, когда безбожный шут Куфий уводил Евгению? Ах, злодей! Можно ли было только подозревать? Так для того он и подбивался ко мне! Ах, вероломный! Ах, душегубец! Вот подлинно несчастие! Однако терять времени не для чего; их еще догнать можно. О, горе! о, беда!»

С сими словами, растрепав косы и теребя себя по бокам, кинулась она в покои гетмана и застала его на прощанье с нареченным зятем, а Куфий на ту пору, стоя в углу, доканчивал кубок. «Высокоповелительный гетман! — кричала Филонида в отчаянии,— долгом поставлю донести, что злокозненный шут Куфий теперь только увел дочь твою Евгению и оба провалились без вести».

Гетман и князь Станислав поражены были сим доносом. «Куфий? — спросил первый с крайним замешательством,— но когда он успел это сделать, находясь при мне целый вечер и половину ночи?» Куфий, утирая усы, подступил к своей возлюбленной, обошел ее кругом и плачевным голосом промолвил: «Ах, как жаль, что такая молоденькая красавица рехнулась ума! Конечно, ей привиделся домовой в моем наряде! Не печалься, душа моя! Помолись усерднее, и вся сила вражия тебя не одолеет!»

«Пусть так! — вскричал наконец Никодим,— я своим глазам больше верю, чем ушам, и знаю, что Куфий был при мне безотлучно; но куда ж девалась Евгения? О женщины, кто постигнет ваши прихоти? Не она ли казалась совершенно довольною моим выбором, а накануне свадьбы скрывается! Но почему знать; может быть, она пробралась в дворцовую церковь, дабы наедине помолиться господу богу о ниспослании счастия в новой жизни. Не надобно никого винить, не видя ясных причин к обвинению. Поищем ее подле себя, не делая огласки, и я надеюсь, что найдем!» — «Но зачем же,— сказала рыдающая Филонида,— зачем, идучи на молитву, брать в проводники оборотня и надевать мое спальное платье?» — «Твое платье?» — спросил с пасмурною важностию отец, и печальная надзирательница поведала подробно, что сама узнала от служанок.

Теперь нечего было сомневаться, что Евгения не с тем вышла из своей комнаты, чтоб когда-нибудь или по крайней мере скоро в нее возвратиться. Гнев отца, оскорбленного в глубине души, и негодование жениха, коего надменность столько унижена, были неописанны. Тот же час дано приказание делать обыск во дворце и в доме Калестина, ибо многие полагали, что домовой в шутовском наряде был не иной кто, как дерзкий любовник Леонид; сверх всего, отряд из полка гетманского послан объездить все окрестности Батурина, чтобы, буде встретит беглецов, задержать и представить в столицу; словом, все было в сильном движении, в суете, но успеха не

вышло нисколько. Три дня и три ночи прошли в бесполезных поисках и, наконец,— по обыкновению,— все утихло во дворце и городе; литовский князь отправился восвояси, один гетман пребыл в гневе непрерывном. Тщетно Куфий советовал ему простить дочь виновную и объявить о сем во всех концах Малороссии,— нет! он дал клятву искать случаев к примерному отмщению.

Глава VI Похороны

Желая утешить больного, огорченного дядю, утром на другой день после сего я подробно уведомил его об удальстве своем и Леонидовом. «Благодарение небу! — воззвал Калестин,— я умираю не без отмщения, и память моя не будет поругана! Объяви сыну и потомству его мое благословение!» При сих словах он поднял вверх руки, устремил в потолок неподвижные взоры, вздохнул — и его не стало. Ты можешь, Неон, вообразить горесть мою, да и как равнодушно снести в одно время потерю брата и дяди, коим обязан был более, нежели жизнию! Опрятав усопшего с надлежащею честию, уложил в великолепном гробе и поехал во дворец. От придворного старшины настоятельно потребовал свидания с гетманом, был введен в его комнату, где, отдав глубокое почтение, сказал: «Высокоповелительный гетман! письмо твое к дяде Калестину имело наконец свое действие! Он оставил уже все требования на дочь твою для своего сына, остается совершенно спокойным и тебе равномерно желает мира и спокойствия».— «Хотя сын его,— отвечал он,— огорчил, обидел меня несказанно, так что и до гроба не надеюсь быть утешен, но для меня отрадно, что старый друг мой ничего не знал о сем преступном деле! Хотя я Леонида никогда уже не увижу или увижу на эшафоте, но Калестина охотно приму в свои объятия, и он по-прежнему останется моим другом и первым вельможею в совете».— «О гетман! — сказал я с тяжким вздохом,— мой почтенный дядя не имеет уже нужды в земном величии!» — «Как, что это значит?» — спросил гетман протяжно и изменяясь в лице. Вместо ответа я зарыдал, закрыл глаза

руками и отошел к стороне. «Понимаю!» — сказал Никодим и замолк. Горестное безмолвие длилось несколько минут. Когда я утер слезы и взглянул, то увидел, что и он сидел за столом, склоня голову на руки и закрыв глаза. Тогда Куфий, тут же находившийся, подошед к нему, сказал: «Добрый человек! Я знал Калестина и уверен, что он теперь на тебя не ропщет. Мы ненавидим смерть и представляем ее в виде ужасного чудовища, пока душа наша пребывает в теле; но как скоро она избавится от сего тягостного ига, то мы взглянем на нее с любовию, и она покажется нам в образе прелестного благодетельного ангела, и тогда на все земное будем смотреть, как теперь смотрим на самые черные, гнусные вещи».

Умствующий Куфий достиг своей цели: гетман встал, прошел по комнате взад и вперед и, вздохнувши, произнес: «О мудрый сын Давидов! сколько справедливо сказал ты: суета суетств и всяческая суета! — Тогда, подошед ко мне, спросил: — Когда же располагаешься отдать последний долг своему дяде?» — «Послезавтра»,— отвечал я, и мы расстались.

Весь город любил покойного дядю за его честность, добродушие и готовность к помощи. Немало подивился я, когда накануне похорон дворецкий подал список особ, кои, посещая покойного, объявили желание проводить гроб до могилы, а это значит, что приготовились по окончании печального обряда хорошо поесть и попить в его доме. Дядя всегда был запаслив, и угощение великого множества народа не делало остановки; но меня затрудняла мысль, где уместить всех. Подумав о сем обстоятельстве, я решился в столовой комнате угостить духовенство и почетнейших людей, а для прочих разбить на дворе шатры, которые равно пригодны во время дождя и ведра. Я приказал сделать нужные на сей предмет распоряжения.

Поутру, в уреченное время, явились духовные и миряне. Все готово было к начатию отпева, как на улице раздалась унылая, плачевная музыка. Мы бросились к окнам, и общее удивление было немалое, когда увидели гетмана, сопровождаемого знатнейшими чинами военными и целым полком телохранителей. Позади его развевалось знамя Малороссии, последуемое множеством пушек. Все одеяние повелителя было черное бархатное, вышитое серебром; сабля и кинжал вложены были в такие же ножны. Мы все, как духовные, так и светские, стали в над-

лежащий порядок и дали свободный путь высокому посетителю. Он вошел в покой, приблизился ко гробу, облобызал чело покойного и стал у возглавия с такою важностию, с таким спокойствием, с таким даже равнодушием, что подивились все, коим известна была прежняя дружба его с Калестином, а известна она была всем до одного. Но когда томные, унылые гласы провозгласили преставившемуся вечную память и приглашали всех предстоящих к отданию ему последнего целования, гетман не мог более крепиться; он задрожал, припал на труп, обнял гроб обеими руками и зарыдал горько. Все поражены были сим неожиданным явлением, и слезы брызнули из глаз каждого. И действительно, кого не тронет до глубины сердца сколько горестное, столько и — если смею так сказать — величественное позорище видеть человека, превышающего всех в своем отечестве властию и могуществом, уступающего наконец силе природы наравне с последним из рабов своих!

Никто не дерзал прервать сетования Никодимова. Он скоро, однако, укрепился; облобызал чело, губы и руки Калестиновы и в горестном безмолвии отошел от гроба, утирая белым платком глаза свои и щеки. Общее прощание кончилось. Гетман шел с открытою головою позади гроба. По опущении оного в могилу произведена была пальба из пушек и ружей, и, по отдании сей последней чести, все возвратились в дом Калестина, не исключая и гетмана, удостоившего обед наш своим присутствием. Вскоре после стола он, с приличною свитою, отправился во дворец, а прочие гости начали бражничать, ибо его пребывание удерживало всех в границах строгой благопристойности. Не знаю, хорошо или худо установлено, чтобы по предании земле родственника или друга заводить пиршества; но утвердительно говорю, что пиршества такого рода, какие у нас в употреблении, то есть исполненные во всем излишества, отвратительны, следовательно,— никуда не годятся.

Несколько за полночь никого из посторонних не оставалось в доме. Я вздохнул покойнее и лег в постелю, но не мог уснуть: обстоятельства сего трогательного дня беспрестанно представлялись моему воображению, а не меньше того и участь Леонида меня занимала. Пока существовал Калестин, то все еще можно было ожидать, что гетман, рано или поздно, сжалится над дочерью и зятем и дозволит опять сердцу своему дать им имена сии; но со

смертию сего друга такая надежда была бы уже тщетною, и я очень был уверен, что если раздраженный отец откроет убежище Леонида, то погибель его, а может быть и моя, будет наградою за премудрую нашу выдумку и произведение оной в действо.

На третий день, по определению войсковой канцелярии, все имение Калестиново описано на казну, и я должен был переселиться в дом родительский. Как собственного моего имущества весьма достаточно было к хорошему содержанию, то я нимало не печалился о сей потере, которая была началом мщения гетманова. Состояние Леонида и Евгении также меня с сей стороны не беспокоило, ибо я знал, что брат мой запасся на дорогу большою суммою денег, а Евгения, по совету дальновидного Куфия, не опустила взять дорогих подарков, какие по временам получала от отца и родственников.

Должность исправлял я сколько можно ревностнее и всегда доволен был благосклонностию гетмана; но как время стояло мирное, то у меня много было досугов, и я, опасаясь скуки, сего яда душевного, взял в дом к себе ученого иезуита, лишенного в батуринской семинарии должности за некоторые вольные мысли, обнаруженные им при многих слушателях. Прилично ли в самом деле бедному монаху умствовать, и притом в столице, в противность общим мнениям и господствующему исповеданию? Но как я давно уже перестал считать себя мальчиком, то и не боялся еретических умствований и смело его к себе приближил. Время мое текло между исправлением должности и упражнением в науках или, лучше, в повторении того, что знал прежде и что забыто было с течением довольно долгого времени.

Отец Василиск, мой мудрый наставник, был лет пятидесяти. Сколько я ни старался откормить его, но он все походил на усохшую сосну. Это мне не нравилось, ибо, по какому-то предубеждению, я думал, да и теперь даже той веры, что человек совершенно здоровый в хорошей жизни, если не сделается тучен, что означало бы его леность и бездействие, то и тощим не будет; в противном случае я не хочу сомневаться, что в нем нечиста совесть, и это есть единственное причиною его худощавости. Впрочем, сие неудовольствие не мешало мне пользоваться его ученостию и опытами, приобретенными в течение полувековой жизни. Я охотно дозволил сему монаху говорить предо мною все, что ему угодно, но отнюдь не обнаружи-

вать пред моими домашними тех мыслей, за кои выгнали его из семинарии; он также пользовался полною свободою в комнате своей распевать латинские молитвы до усталости. Словом, со всех сторон казалось, что он мною, а я им довольны были, и таким образом прошел целый год. Все, что только смущало меня до крайности, было молчание Леонидово, и я совершенно не знал об участи моего брата.

Наконец, к неописанной моей радости, и сия горесть сердечная рассеяна, уничтожена. В один вечер, когда я и Василиск с довольным жаром беседовали и — как водится между учеными — спорили, не соглашаясь, какому великому философу дать преимущество в положениях о происхождении добра и зла, о свободе или ограниченности нашей воли и проч., слуга, вошед ко мне с письмом, сказал: «Какой-то незнакомый крестьянин, вызвав меня к воротам и отдав сию бумагу для вручения тебе, пошел прочь скорыми шагами и немедленно скрылся. Не считая за нужное его преследовать, я спокойно воротился в дом». Надпись на письме была на мое имя, но рука совершенно незнакома. Разломав печать и взглянув на подпись, я вскочил от радости и воскликнул: «Слава богу! наконец я узнаю теперь, мои любезные изгнанники, о месте вашего пребывания! Не осуди, честный отец!» С сими словами я оставил изумленного иезуита и побежал в свою комнату.

Тут дядя Король взял одну бумагу из лежавших пред ним и прочел следующее:

«Теперь только, мой любезный друг и брат, я нашел случай о себе уведомить, хотя обстоятельства дела и любовь наша к тебе, совокупясь с вечною благодарностию, давно сего от нас требовали.

В самую ту решительную и вместе счастливую ночь, когда ты, в виде Куфия, умел исхитить из неволи и вручить мне Евгению, милую трепещущую Евгению, мы поскакали по пирятинской дороге, и когда начала заниматься заря, то были уже в верстах в тридцати от Батурина. Во все это время нежная моя сопутница плакала беспрестанно; я утешал ее и — также плакал; да и мог ли я удержаться от слез, воспоминая, что оставляю доброго отца и примерного друга, оставляю, может быть, до конца жизни.

Перед восходом солнечным увидели мы впереди недалеко от дороги небольшое селение и услышали звон ко-

локолов. Ты припомнишь, что этот день был воскресный. Я приказал ямщику своему поворотить к молодому перелеску, на правой стороне зеленевшему, и удалился в чащу оного. Тогда, по сделанному условию, моя стыдливая Евгения скинула с себя платье Филониды и оделась в приготовленное мною крестьянское, под пару мне; ибо тебе также памятно, что я в то же время превращался в крестьянина, как ты в шута. Ах! как мила, как прелестна показалась мне Евгения и в сем простом наряде!

Белая, тонкая сорочка, розовая плахта [1] и голубая запаска [2] делали ее прелестнейшею поселянкою. Прочие украшения составляли: две ленты, коими перевиты были косы, сложенные на голове в виде короны, а на пальцах несколько медных колец под фольгою. Я не мог налюбоваться ею и беспрестанно целовал ее руки, ибо большего счастия я не смел ожидать еще от робкой красавицы. Въехав в селение, мы остановились в крестьянской избе, где я сплел о себе хозяевам повесть, какая мне пришла на мысль. После сего дав нужные приказания проворному ямщику своему Андрону, я отправился с Евгениею в церковь. Во все время богослужения мы усерднейше молились господу богу о ниспослании нам в новом роде жизни счастия, какого будем достойны. По окончании заутрени мы обвенчаны, и честный иерей не мог и подумать, кто такие были бракосочетавшиеся, хотя мы и не скрыли подлинных имен своих. Но мало ли на свете Леонидов и Евгений.

Боже! Какое чувствовал я тогда блаженство! с каким умилением слушал литургию и воссылал мольбы свои к богу любви и милосердия! Тогда-то ощутил я превеликую разность между любовию обыкновенною и супружескою. Я и до того времени — ты сам знаешь — страстно любил Евгению и считал ее дороже моей жизни; но с той минуты, когда пред лицом бога священнослужителем его она отдана мне на всю жизнь и в присутствии множества христиан названа частию самого меня, я смотрел на нее — как тебе выразить, мой Диомид? — я смотрел на нее, как на свою душу, душу прелестную, разумную, бессмертную, какою вышла она из рук создателя. Каждый взор Евгении был для меня источником бесконечного блаженства; пожатие руки ее, мне кажется, оживило бы меня и на одре смертном!»

---

[1] Род шерстяной юбки различного цвета.

[2] Шерстяной передник.

— Пришествие Евареста,— говорил дядя,— прервало мое чтение. Но как он знал всю общую тайну и принимал в деле сем немалое участие, то я вознамерился открыть ему и дальнейшие обстоятельства. Прочитав до места, где теперь остановился, я продолжал вслух следующее:

«По окончании священнодействия, когда возвратились мы на квартиру, то нашли, что расторопный Андрон успел уже бричку и двух коней продать корчмарю жиду, а на место первой купить крестьянскую кибитку, в которой удобно поместили постель и баул с пожитками. Хотя крайне хотелось нам отдохнуть в сем месте и провести остаток дня и ночь, но благоразумие требовало сколько можно скорее и дальше удалиться от Батурина; почему, отобедав наскоро, я приказал Андрону впрячь в кибитку остальных двух коней и возвратиться домой, а сам, усадя мою милую крестьянку, взмостился на козлы и пустился в дорогу. Путешествие наше в день сей шло успешно, и было бы еще успешнее, если бы я почти каждую минуту не оборачивался назад, дабы взглянуть на Евгению, поймать ее улыбку и отблагодарить за нее страстным взглядом. Прибыв к ночи на малолюдный хуторок, мы остановились там до восхода солнечного.

Уже пять дней и пять ночей прошло, как мы были в дороге. О! какое счастливое время! Диомид! у меня нет сил описать тебе мое блаженство! Оно так велико, так усладительно, что ничье перо изъяснить того не может! Но ты можешь чувствовать его, мой достойный друг и брат, можешь им наслаждаться, ибо ты, по образованному уму и доброму сердцу, того достоин. Стоит только тебе найти такую девицу, как моя Евгения,— может быть, это хотя отчасти возможно,— и сделаться любезным ей супругом, тогда и ты будешь пить блаженство из той же чаши, из коей ныне пью я!

В середине шестого дня небо начало облекаться тучами, которые, соединяясь вместе более и более, затмили природу и из светлого полудня произвели серый вечер. Заблистали молнии излучистые, раздались ужасные удары грома, посыпался крупный град, и дождь пролился ливнем. Я остановил лошадей, дабы укутать Евгению и избавить ее от воззрения на сии грозные виды, способные и мужчину привести в трепет. Исправляя сие дело, я заметил, что робкая жена моя, бледная, смятенная, закрывала лицо руками и стоны вырывались из колеблющейся

груди ее. «Что с тобою делается, моя милая?» — спросил я в крайнем смущении. «Увы, Леонид! — отвечала она дрожащим голосом,— праведное небо настигло наконец преступников. В сем ярком блеске молнии вижу я раздраженный взор отца моего; в сих грохотах грома слышу грозные речи его, исполненные проклятия; в сих порывах ветра чувствую его тяжкие стоны и в сих дождевых потоках вижу его горькие слезы. О, я несчастная! Для чего наслаждения любви покупаются так дорого?» Тут упала она ниц лицом, и громкие рыдания заглушили голос ее. Сие неожиданное явление растерзало сердце мое. Не отвечая ни слова, да и что мог отвечать я в сем случае, я опустил занавес кибитки, надел свиту [1], накинул на голову торбу [2] и поехал далее шагом.

Гроза была ужасная. Часто от пламенных разливов молнии кони мои останавливались и от громового треска падали на колени. Река дождевая затемняла воздух, и когда по моему расчету наступал вечер, то на небе была уже ночь самая мрачная. Я сбился с дороги и, не надеясь отыскать ее, мало о том и думал, дал волю коням брести, куда хотят, и прислушивался только, не продолжаются ли стоны моей Евгении. Не слыша ничего, я несколько успокоился.

Долго пробыл я в сем несносном, убийственном положении. Опасаясь, чтобы робкие животные не опрокинули повозки в буерак или реку, я сошел с козел и брел, так сказать, ощупью, держа в руках вожжи. С трудом выдергивал я из грязи ноги, и одна пламенная любовь могла только меня поддерживать. «Потерпи, Леонид,— говорил я сам себе,— ты умел блаженствовать в объятиях Евгении, умей теперь для ее спокойствия сносить все, что может представить противного злая судьбина; одна улыбка прекрасной жены твоей достаточно наградит за все труды, за все опасности».

Гроза утишилась, тучи рассеялись, и серебристый месяц покатился по синему небу. Я радостно вздохнул, остановился и загрязненною рукою стирал пот с лица своего. Откинув занавес повозки, я сказал: «Успокойся, милая Евгения, буря прошла в небе, и светлый месяц улыбается. Дозволь, подобно ему, просиять отраде в душе твоей после возмущавшей ее бури! Приподнимись,

---

[1] Верхнее суконное платье у крестьян. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*
[2] Род капюшона у свиты. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

взгляни на небо и благослови того, который дает иногда волю вихрям, громам и молниям свирепствовать, но вскоре после того, в виде лучезарных светил небесных, отечески улыбается к сынам земли!» Евгения привстала, взглянула на безоблачное небо и — улыбнулась. Светлый месяц облобызал алые уста ее, и твой брат, упоенный радостию, побрел далее, брел, брел и, наконец, совершенно выбился из сил.

К великому теперь удовольствию моему, корчмарь, у коего мы в тот день обедали, вместо сдачи на червонец, по неимению — по его словам — мелких денег, почти насильно сунул в повозку несколько булок и сулею с вишневкою! Как я на ту пору благодарил его за мошенничество сего рода! Я, конечно, мог бы еще продолжать путь, сидя на козлах; но, видя, что и кони мои едва волокли ноги, остановился, отыскал сей запас и, принудив жену, также всю обмокшую (ибо, хотя циновка на крыше повозки была новая, но все же не кожа, и не могла, вбирая в себя дождь, не передавать его во внутренность), проглотить несколько капель своего эликсира, истинно на такие случаи спасительного, и поесть булки, принялся насыщаться с такою охотою, которая до того времени была мне незнакома, ибо я во всю жизнь не бывал в подобном переделе.

По насыщении нашем надобно было думать о покое. Евгения кое-как отыскала сухое место и улеглась, но мне нельзя было и подумать к ней приближиться; с головы до ног я облеплен был грязью, а сверх того, казалось опасным оставить лошадей без надзора, хотя я твердо надеялся, что они после претерпенного мучения и не подумают тронуться с места. Подумав о сем обстоятельстве, я привязал вожжи к козлам, а сам, скорчившись в три дуги, на них же улегся. Чтобы не уснуть, я начал припоминать прошедшие случаи моей жизни и рисовать прелестные картины для будущего. Поверишь ли, мой любезный брат, что в тогдашнем положении, конечно, во всех отношениях невыгодном, одна мысль, что я обладаю Евгениею, что она подле меня, что я оставил ее в положении гораздо лучшем, нежели мое, делала меня благополучным. Ведь не всегда же я буду гнуться на козлах в ночную пору: придет время, воссияет солнце светлое, я обсохну, взойдет месяц безоблачный, и я успокоюсь в объятиях моей супруги. Поверишь ли, Диомид, что я в такое,

по-видимому, горестное время считал себя счастливейшим человеком.

Весьма часто высовывал я голову из торбы, чтобы посмотреть, не начинает ли светать; но всякий раз, находя небосклон, покрытый сумраком, вздыхал и опять прятался в торбу. Наконец сон начал одолевать меня, и я, сколько ему ни противился, но неприметным образом уснул. Как я после упрекал себя за сию оплошность! Самое меньшее зло, что лошади могут быть украдены и мы остались бы середи поля одни в ожидании какой-нибудь встречи.

Я проснулся от страшного вопля и шума. Вскакиваю с поспешностью, сажусь на козлах и хватаюсь за вожжи. Опомнясь несколько, осматриваюсь во все стороны и вижу вправе несколько кибиток с парусинными наметами. Они примыкались к густому лесу; перед ними на траве разложен был большой пылающий костер дров и на железном треноге висел огромный котел. Человек с десять мужчин стояли впереди моих лошадей с изумленным видом, ибо, как казалось, они полагали, что в кибитке никого нет, и считали ее благословенною находкою. Несколько мгновений я не знал, на что решиться и за кого счесть лесных обитателей; но, осмотрев их прилежнее, а особливо их жен и детей, сидевших у огня, увидел, что они не что иное, как плащеватые цыгане и что бояться их нечего, а только крайне надобно беречься».

Тут дядя Король, положив письмо на стол, сказал:

— Я уверен, что ты, Неон, худо знаешь людей сего рода, и потому дам тебе краткое о них понятие. Это не что иное, как и обыкновенные цыгане, но только дичее прочих. По селениям живут они только одну зиму, а с начала весны до глубокой осени кочуют у лесов и в самых даже лесах. Летнее жилище каждой семьи, как бы она, впрочем, ни была многолюдна, составляет одна кибитка с парусинным, суконным, войлочным или из всех сих изделий сшитом по лоскуткам навесе, защищающем их от ведра и ненастья. Одежда как мужчин, так и женщин состоит в одном плаще, накинутом на плеча, дети же их до совершенного возраста пресмыкаются вовсе нагие. Промысел их состоит: для мужчин в охоте, для женщин в ворожбе, для детей в пляске перед проезжими, а сверх сего, для всех вообще в воровстве, в коем они величайшие искусники. Пляски их так срамны, так отвратительны, что надобно быть очень бесстыдну, чтобы смотреть на

них без зазрения совести. Жизненные потребности всякого рода исправляют они без малейшего понятия не только о законе, но даже и благопристойности. Родители в таких случаях и не думают стыдиться детей, а дети родителей,— да и чувство родства и крови почти для них незнакомо. Браки между ними также очень просты. Как скоро холостой парень удальством своим, то есть мошенничествами разного рода, приобрел кибитку с навесом, коня со сбруею и пару плащей, сшитых обыкновенно из разноцветных лохмотьев, находимых ими по деревням в сору, то ему дается от атамана позволение выбирать невесту. Тут жених, не объявляя никому, для которой из взрослых девок всего становища назначает он сей завидный жребий, собирает, сколько может, больше приятелей, и все пускаются на промысел. Они у одного крадут что попадется и продают другому, между тем и у сего также крадут и также продают третьему. Словом, проведши в таком упражнении неделю или более, они имеют уже довольно в запасе кур, гусей, уток и поросенков. Иногда удается им стянуть барана и угнать теленка. На приобретенные вышеупомянутою торговлею деньги, а иногда также проворством, запасают они вино в таком количестве, чтоб стало довольно для всего стана, ибо в сих случаях и малые дети за долг поставляют участвовать. Когда же все к пиршеству готово, то перед кибиткою жениха разводится великий костер дров и навешиваются котлы на треногах, а жених идет к атаману и объявляет имя избранной счастливицы. В одну минуту узнает о сем весь стан, невесту ведут к ближнему ручью или озеру и тщательно вымывают, ибо нередко до той минуты бывает она по уши в грязи; после сего с торжеством, состоящим в пении страшных песен и в такой же пляске, подводится она к жениху, который накидывает на нее плащ и обнимает с нежностию сатира. Она садится с ним рядом у костра, выпивают попеременно плошку вина, разбивают ее вдребезги с криком и воплем, и таким образом законный брак заключен по всем правилам. Тут открывается общий пир, и когда все сделаются сыты и пьяны, то молодых укладывают в кибитку и продолжают торжество до тех пор, пока не будет съедено и выпито все припасенное.

Погребение у сих извергов бывает также уродливо. Умершего собрата без дальних церемоний относят нагого на несколько саженей в лес, вырывают мелкую яму, опу-

скают в оную и прикрывают листьями и травою. После сего родственники и друзья покойного пускаются на обыкновенный промысел, и пока не добудут всего нужного, на что иногда требуется дней до десяти, до тех пор труп гниет и нередко бывает приманкою для волков и лисиц, отчего случается, что когда придут все прикрыть его землею, то находят в ней одни оглоданные кости.

— Теперь, Неон,— продолжал дядя Король,— имеешь ты некоторое понятие о плащеватых цыганах.— Потом, взяв прежнее письмо в руки, начал читать.

Глава VII Измена

«Добрые люди,— сказал я,— объявите мне из милости, далеко ли отсюда до какого-нибудь селения?» — «Ах! как жаль,— говорил цыганский атаман,— что ты здесь очутился. Я намерен женить своего сына, и твоя кибитка с конями весьма бы мне пригодилась. Что же касается до твоего вопроса, то я отвечаю, что ближе десяти верст не сыщешь ни одной хаты. Каким образом ты здесь очутился?» — «Пан атаман! — был ответ мой,— как я здесь очутился, до тебя не касается; а если покажешь мне дорогу до первого селения, то в убытке не будешь!» — «Согласен! — вскричал атаман,— но с тем, чтобы ты довез меня до сельца Мигуны, лежащего несколько в стороне между городом Переяславом и селом Хлопотами. Там я имею дом, который намерен продать; ибо он, стоя невдалеке от других хат, весьма неудобен для сбережения животины, которую мне и моим честным собратиям удается достать в свои руки».

По заключению сего торга он сел возле меня на козлы, взял вожжи, и — мы поплелись по полю, ибо не только дороги, но и тропинки не было. На досуге захотел я посмотреть, что делает моя Евгения, и нашел, что она давно уже не спит, что слышала все приключение с цыганами и не показывалась единственно из опасения, чтобы не возбудить нескромного любопытства сих чудовищ, не знающих законов чести и стыдливости. Атаман столько выхвалял передо мною доброту своего дома и сада,

что я вознамерился купить его, как скоро он и Евгении покажется удобным. Я сообщил мысль сию цыгану, и он более прежнего начал выхвалять все изящество сей маетности. «Никогда,— кричал он, ударяя себя в грудь,— никогда не расстался бы с сим райским местом, если бы по грехам моим не жили весьма близко бессовестные соседи. Если иногда, бывало, поможет господь затащить к себе свинью или барана, то хрюканье одной и блеянье другого так слышны, как на улице; лихие соседи опрометью прибегают, ищут, находят — и, кроме хлопот, нет никакой прибыли».

По прибытии в сельцо Мигуны мы остановились в доме цыганского атамана. Строение было хотя не старое, но запущено совершенно; садик наполнен плодовитыми деревьями, одичавшими хуже лесных; огород порос крапивою и репейником. Однако, осмотря все внимательно, мы нашли, что, употребив немного денег и приложа довольно старания, можно будет из сего логовища звериного сделать удобное и приятное жилище человеческое. Нимало не мешкая, мы условились в цене; я выбрал в свидетели священника Гервасия и отсчитал цыгану условленные двести злотых. Тут-то, любезнейший друг, я поселился под званием польского выходца из шляхетства. Отец Гервасий, приметя, что мы люди неубогие, приискал нам батрака и работницу, а сверх того, приказал старшей дочери своей составлять беседу с Евгенией во всякое время, когда только того потребуют.

Запасшись нужными для дома пожитками и орудиями, я принялся с помощию батрака за обработание сада и огорода, и как пора весенняя не совсем миновала, то я в последнем насеял множество разных овощных и цветочных семян и с радостным биением сердца ожидал всхода оных. Каждый день с раннего утра до обеда и с обеда до вечера я занят был работою или в доме, или в саду, или в огороде. Я совершенно был бы счастлив, если бы непрерывного покоя души моей не возмутила печальная новость. У отца Гервасия один сын находится в переяславской бурсе, и он-то сообщил отцу своему разнесшийся слух о похищении гетманской дочери, о неукротимом гневе отца ее и о кончине полковника Калестина. Я и Евгения пролили слезы горести и восслали теплые мольбы к богу милосердия о успокоении души блаженного.

Время все уносит на крилах своих, и наши радости и печали. К скорейшему утешению нашему не мало способствовало состояние Евгении, имевшей несомнительные признаки, что она будет матерью. Ах, Диомид! ты никогда не ощущал сего кроткого усладительного чувства: «Я даю жизнь новому созданию в мире». С каким восторгом смотрел я на *свою* Евгению! Мне казалось, что она теперь сделалась более моею, нежели была прежде. Каждый взор на нее был для меня источником нового блаженства.

За шесть перед сим недель провидение обрадовало меня дарованием сына, которого нарекли мы Неоном. Сколько радости, сколько восторгов! Мне и на мысль не приходила потеря имения, почестей, звания. Я чувствовал, что счастлив в полной мере, чего ж еще более?

Прости, мой любезный друг и брат! Один из мигуновских крестьян по своим нуждам отправляется в Батурин, и я кое-как склонил его доставить тебе это письмо. Сей простой, добросердечный человек так боится чиновных людей, что и смотреть на них даже издали не дерзает; суди же, чего мне стоило уговорить его побывать в твоем доме. Не найдешь ли ты какой-нибудь возможности урваться от дел и несколько дней посвятить мне и моей Евгении? Я уверен, что сии дни не будут для тебя потерянными. Если вздумаешь писать к нам, то сыщи сам человека верного, ибо моего посланного селянина едва ли ты увидишь. Твой навсегда

Леонид».

Дядя Король, окончив чтение письма, продолжал повествование.

— Я и Еварест чрезвычайно были веселы, получив такое сведение о нашем общем друге; мы были счастливы его счастием.

Спрятав письмо в лежавший на столе Патерик [1], я отправился с Еварестом, дабы провести вечер с его семьей, ибо за месяц перед тем я сговорен был на сестре его Асклиаде, и до брака оставалось ждать недолго. Домой возвратился я очень поздно и лег в постелю с самыми приятными мыслями. Я надеялся быть скоро столько же счастлив, как и Леонид, или еще более, ибо меня не от-

[1] Одна из церковных книг, в коей описывается житие киевских древних угодников. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

равляла горестная мысль, что счастие мое есть похищенное.

Поутру я лежал в постеле в положении полусонного, как вбежавший в спальню испуганный слуга разбудил меня. Не успел я спросить о причине сего замешательства, как появился Еварест в сопровождении пяти слуг. Он был бледен и трепетен. «Вставай, Король, сию минуту вставай и спеши в свою учебную комнату». Он схватил меня за руку, стащил с постели, накинул на плеча черкеску и поволок за собою. Я находился в самом странном положении и не знал, шутку ли играет друг мой, или в самом деле опасность мне угрожает. Когда я вовлечен был в памянутую комнату, то Еварест грозно сказал: «Если ты не хочешь оставаться совершенно нищим и жить от сострадания других, то подавай сейчас все твои деньги и дорогие вещи». Я изумился, смотрел на него с вопрошающим взором и не знал, что отвечать. «Где письмо Леонидово?» — вскричал Еварест. Я бросился к столу, раскрыл Патерик и остолбенел, не найдя рокового письма. «Не трать по-пустому времени,— сказал томно Еварест, взяв меня за руку,— письмо сие находится теперь в руках гетмана».— «Боже! — сказал я с трепетом,— неужели брат мой погибнет? О, я несчастный!»

«Да,— говорил Еварест,— ты действительно несчастлив, что приближил к себе еретика Василиска; он твой Искариот. Но отдавай мне на сохранение все твои деньги и лучшие вещи. Тебя спасти я не в силах; но что могу, то сделаю».

Я и сам очень ясно видел, что каждая минута приближает мою погибель. Тот же час на слуг Еварестовых навьючены были мешки с серебром, золотом, дорогою посудою и оружием. Я оставил при себе один кошелек с несколькими стами червонных и ожидал, чем кончится сей странный случай. Весь дом узнал об угрожающей опасности, и смятение, плач, вопль, стоны поколебали стены. «Итак, Леонид, беспечный и счастливый брат мой, погибнет!» — вскричал я, ломая на руках пальцы. «Будь рассудительнее,— сказал с важностию Еварест, похаживая по комнате.— Неужели думал ты, что сбережение твоего серебра и золота озаботит меня более, нежели спасение нашего друга? Как скоро благородный Куфий известил меня об угрожающей опасности, то я в ту же минуту снарядил самого надежного из слуг своих скакать сломя голову в сельцо Мигуны и обо всем известить

Леонида, дабы он к спасению своему мог принять надлежащие меры. Сколько нам всем известно, то гетман не посылал еще погони для задержания счастливых супругов, следовательно, мой посланный целым полуднем успеет раньше прибыть к ним и обо всем уведомить».

Еварест поспешно удалился, и я, приняв наружно вид совершенно спокойного человека, остался ожидать разрешения судьбы своей. Всякое покушение к побегу казалось мне весьма неразумным, ибо, вероятно, на всех заставах приказано уже задержать меня, и я поступком сим умножил бы только гнев гетмана и вину свою.

Через час после сего полковник стародубовского полка, почтенный старец и хороший приятель моего покойного дяди, прибыл ко мне в дом в сопровождении двадцати гетманских телохранителей. «Друг мой Диомид! — сказал он с горькой улыбкою,— для меня крайне прискорбно, что теперь, посещая тебя, должен быть твоим стражем. Что делать! я человек подвластный и обязан исполнять повеления старшего. Впрочем, будь доволен, что на меня пал жребий охранять тебя. Всякий другой на моем месте постарался бы угодить раздраженному гетману и стеснил бы твою свободу; но я сего не сделаю. Мне известны твои правила, и ты, наверно, погубить меня не захочешь. Делай, что знаешь, но только не выходи из дому и не высылай из оного никакого имущества до разрешения войсковой канцелярии, в которой произведено будет следствие о похищении дочери гетмана. Я полагаю, что самое величайшее зло, какое тебя постичь может, будет не более, как лишение звания и имения, а наконец изгнание из Батурина».— «Разве этого мало?» — спросил я, тяжко вздохнувши. «Друг мой! — ответил старик,— ведь и потеря дочери также чего-нибудь стоит!»

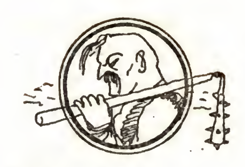
Три дня провел я в ужасной неизвестности; друзья и знакомые меня оставили; одни Еварест и Куфий скрытно посещали дом мой. Наконец вышло определение, какое предрекал страж мой и которое тебе, Неон, уже известно. С стесненным сердцем, с растерзанною душою сел я на коня и выехал из Батурина. Первая мысль моя была посетить сельцо Мигуны, хотя и твердо был уверен, что не найду уже там ни Леонида, ни Евгении. Так и вышло. Отец Гервасий повестил меня, что искомые мною супруги неизвестно по каким причинам мгновенно скрылись, оставя дитя свое на воспитание вдовой попадье,

его невестке. Я бросился к сей особе и, к немалому ужасу, узнал, что младенец неизвестно кем похищен. Что мне оставалось делать? Я был совершенно один во всей природе, и мрачная пустота тяготила душу мою. Не имея никакого занятия, не предположа никакой цели, я бродил из одного места в другое; везде видел лица незнакомые, везде чувствовал сердца чуждые, холодные. Я старался питать алчущих, поить жаждущих, не жалел денег там, где только примечал бедность; но ничто не веселило сердца моего, ибо везде находил обман, своекорыстие, неблагодарность. Расстройство души имело сильное влияние на здоровье тела. Силы начали приметно умаляться, а наконец, совсем исчезли; изнеможение разлилось по всем суставам, и я походил на едва движущийся остов. Так провел я десять лет кочующей жизни, которую и жизнью назвать не должно, и приблизился ко гробу, давно мною желанному.

В сие время борьбы остатков жизни со смертию случилось мне проживать в Переяславле на квартире в шинке знакомой тебе Мастридии. Видя меня в сей крайности, она вместо лекаря призвала ко мне из монастыря инока Герасима, который славился своею ученостию, красноречием и благочестивою жизнию и который вскоре потом в награду за сии достоинства возведен был в степень ректора семинарии. Ты его довольно знаешь.

Разумный Герасим умел скоро приобрести всю мою доверенность, и я не усомнился открыть ему обстоятельства всей жизни моей. Выслушав внимательно, он сказал: «Друг мой! источник твоей болезни есть бездействие души и тела. Если хочешь — при помощи господней — возвратить прежнее здоровье, то найди себе постоянную работу, и ты сам увидишь, что скоро все примет другой вид. Подле квартиры твоей есть продажный домик с небольшим садом и пространным местом для огорода. Теперь самая удобная пора для сельских работ. Начни трудиться, не отлагая времени, помолись богу, и он тебе во всем поможет. В часы, посвященные для отдыха, приходи ко мне. Я могу снабжать тебя из монастырской библиотеки книгами всякого рода, и ты никогда не будешь знать самой мучительной болезни, скукою называемой».

Я послушал сего благого совета, привел его в исполнение, и уже садовничал и огородничал два года, как поймал тебя на воровстве. Ты сам знаешь, как я был здоров тогда и крепок.



Глава VIII **Великая потеря**

— Во все сие время,— продолжал дядя,— я не имел ни малейшего сведения о брате Леониде. Я начинал думать, что его нет более в живых, иначе, как бы не найти случая известить о себе лучшего своего друга. Иногда и то приходило мне на мысль, что он не знал моего местопребывания, хотя я и не имел причины таить своего имени. Словом, я не знал лучшего способа к утешению, как работать в огороде, а во время досугов и во дни праздничные читать духовные книги или беседовать с отцом Герасимом, который со времени совершенного моего исцеления взирал на меня с таким же удовольствием, с каким я смотрел на возращенные мною арбуз или дыню. Какое различие находил я между сим кротким, богобоязненным иноком и между моим надменным, неблагодарным иезуитом!

В один осенний вечер, лишь только возвратился я из города и вошел в свою светелку, как незнакомый черноморец бросился ко мне на шею, и горючие слезы его оросили мои щеки. Сначала я крайне изумился; но кто опишет мое поражение, когда в незнакомце узнал любезного друга и брата! «Леонид! — вскричал я с восторгом,— тебя ли обнимаю? Какими судьбами ты опять возвращен мне? С тобою ли твоя Евгения? с тобою ли сын твой? Где они? Введи их сюда скорее!» — «О Диомид,— отвечал брат с новыми слезами на глазах,— благодарение милосердному небу, Евгения опять со мною, но, увы! первенец любви нашей погиб невозвратно. Я простился с женою до завтрашнего вечера и буду иметь довольно времени уведомить тебя о главнейших происшествиях, во время бегства моего из сельца Мигунов случившихся».

Услышав с несказанною радостию, что брат пробудет у меня целые сутки, я принес из погреба добрую сулею наливки и довольное количество разных овощей, а между тем, желая попотчевать милого гостя ужином на городскую стать, я велел батраку заказать в корчме несколько кушаньев по-праздничному. Распорядясь таким

образом, мы уселись возле сулеи, осушили по кубку, и Леонид начал свое повествование:

«Ты согласишься, любезный друг, в каком ужасном исступлении были мы, когда гонец Еварестов объявил, что письмо мое к тебе попало в руки непримиримого гетмана, что место пребывание наше открыто и что с часу на час надобно ожидать нарочных, которые нас задержат и представят на суд гонителя. Что предпринять в сей крайности? Куда деваться с малюткою? Не сделается ли он добычею непогод небесных, даже самого солнечного зноя? Да и как прокормит его мать, находящаяся в беспрестанной тревоге, подверженная неизбежным огорчениям! К счастию — мы так тогда думали — пришла нам на мысль знакомка наша Рипсима, вдовая попадья, родственница Гервасиева. Она незадолго до смерти мужа родила и была так дородна и здорова, что, казалось, без всякого изнурения прокормить может двух младенцев. Мы прибежали к ней с своим Неоном, и я, показав ей кошелек с червонными, весьма легко склонил принять на себя новую обязанность, а в случае, буде бы она почувствовала, что ее для двоих детей недостаточно, то дозволялось приискать для нашего сына особую кормилицу и платить ей из сих денег. Я обещался скоро о ней проведать и вновь прислать вспоможение.

Согласившись во всем, я написал записку, в коей объяснил о законности рождения Неонова, снял с руки своей и Евгениной обручальные кольца, связал их снурком, уместил все в шелковую сумку и повесил на шею малютки. После сего, омыв его слезами и поручив господу богу, выбежали из дому Рипсимы. Я запрег повозку,— ибо она и пара коней всегда у меня на всякий случай оставались в целости,— уклал самое необходимое, взмостился на козлы — и повез свою милую куда глаза глядели. Евгения и теперь проливала слезы, подобно как при побеге из Батурина. «Неужели я рождена для одних только потерь и горестей»,— говорила она и стенала. Я не смел и подумать об утешении терзающейся матери.

С сего времени вели мы кочевую жизнь, пробираясь ближе и ближе к Запорожью. Мне казалось, что жить на тамошних хуторах было всего безопаснее[1]. Но как

---

[1] В Запорожской Сечи строго запрещалось иметь жен и вообще женщин, и те из казаков, кои имели случай жениться, должны были жить на хуторах, занимаясь скотоводством и рыбною ловлею. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

сии одичалые люди и для своих собратий, а особливо семейных, не совсем были безопасны, то я избрал себе новым местом жительства небольшую усадьбу на берегу Днепра по сю сторону порогов, которая состояла из десяти хат, населенных малороссиянами, упражнявшимися в рыболовстве. В короткое время за небольшие деньги состроили и мне уютную хату; я нанял парня и девку и запасся сетями для ловли рыбы. Тут-то уже я думал быть вне всякой опасности, ибо никому из знакомых не намерен был открывать места своего пребывания, ниже тебе, любезный брат, хотя бы случай и открыл мне твое убежище; ибо я твердо был уверен, что в Батурине тебе не жить более после обнаружения нашего заговора. Таким образом, среди легких трудов, сердечной любви, душевного спокойствия и жизненного довольства провели мы четыре года, и Евгения подарила меня дочерью, которую в ближнем селении окрестили и назвали Мелитиною. У меня было небольшое стадо овец, за которым смотрел работник, несколько коров и достаточное число птиц дворовых. К концу каждого лета приезжали к нам чумаки, привозили муку и соль и меняли произведения сии на сухую и соленую рыбу. Мы ни в чем не имели недостатка, были здоровы, не зная лекарств, веселы без больших собраний и пиршеств; и так протекли еще шесть лет.

Тут начала тревожить нас горестная мысль о будущей судьбе нашей дочери. «Что будет с Мелитиною? — говорил я своей супруге,— судя по законам природы и образу нашей простой жизни, мы должны пережить отца своего, если не будем столько счастливы, чтобы и прежде его смерти получили забвение нашего поступка. Мы возвратимся в отчизну, можем получить назад свое имение; но что начнем с дикою, необразованною, а может быть — одна мысль сия леденит кровь мою — с распутной девкою? Сколько бы тщательно мы ни берегли ее, но как устережем, чтоб она не видалась с своими подругами, чтобы не переняла от них всего, что только есть подлого, предосудительного. Самая благонравная из наших девушек показалась бы в городе извергом бесстыдства».

Обдумав предмет сей с надлежащею осторожностию, я решился подвергнуть себя величайшей опасности, лишь бы спасти Мелитину. Когда я сообщил мысли свои Евгении, то она ахнула и побледнела, ибо мне необходимо надобно было оставить ее одну на довольно долгое время.

Однако ж мои доводы и любовь ее к милой дочери наконец ее преклонили. Она отерла слезы и сказала с нежною улыбкою: «Так и быть! поезжай с богом и возвращайся счастливо». В скором времени я собрался, простился с Евгенией и поехал с Мелитиною по направлению к Батурину. Двухнедельная дорога была счастлива, и я, остановясь в одном из хуторов Еварестовых, послал к нему нарочного с запискою: «Один из ближайших друзей твоих желает с тобою видеться». На другой день, рано поутру, прискакал Еварест в хутор. Я не в силах описать тебе его радости, когда узнал меня, и того восхищения, с каким бросились мы в объятия один другого. «Еварест!—сказал я по утешении первых сердечных волнений,— вот дочь Леонида и Евгении! Я вручаю сие драгоценное перло тебе и твоей супруге. Заклинаю нашею дружбою, заклинаю самим богом, прими мою Мелитину и воспитай как дочь свою, так, чтобы она достойна была своих предков. Вечная благодарность наша и ее собственная будет сопровождать каждый шаг твой».

Еварест снова меня обнял и дал торжественную клятву содержать и воспитывать Мелитину под именем своей племянницы. Весь день тот провели мы вместе с несказанным удовольствием и поздно уже ввечеру расстались. Мы не могли удержать слез своих, малютка рыдала. Я вырвался из их объятий, вскочил в повозку и поскакал во всю мочь конскую. Обратная поездка моя была также благополучная и скорее прежней, ибо никто уже меня в пути не задерживал.

Как радостно забилось сердце мое, когда я издали увидел свою хату! Я летел, а не ехал. Подъезжая поближе, я свистал и сколько было сил кричал на лошадей, дабы дать знать Евгении о прибытии ее друга; однако ж никто не показывался. Въезжаю на двор, шумлю, бурлю — нет никого. Сначала сердце мое окаменело, но быстрая мысль меня успокоила: конечно, она пошла в сей лесок рассеять тоску свою или на берегу Днепра покоится. Я начал хладнокровно распрягать коней. Вдруг является мой работник — и бледнеет. Холодный пот выступил на лбу моем, и глаза покрылись мраком.

«Где хозяйка?» — спросил я дрожащим голосом, ухватясь за повозку, дабы не свалиться на землю. «Ах! — отвечал малый со слезами,— уже боле двух недель, как ее нет здесь».— «Где же она?» — спросил я с судорожным движением. Он говорил: «В одну ночь, когда мы все на-

ходились в глубоком сне, вдруг разбужены были шумом и стуком. Я и работница вскочили и бросились в светелку, где спала хозяйка. Там, при свете фонаря, увидел я человек пять черноморцев, из коих главный говорил: «Ты должна повиноваться, и всякое сопротивление теперь не у места». Евгения упала на колени, умоляла о помиловании, но напрасно; злодеи брсились на нее, завязали платком рот, схватили на руки и вынесли на двор. Там стояла уже бричка. Ее уложили весьма бережно; один сел на козлы, а прочие бросились на коней, и все поскакали. Более мы ничего не знаем!»

Ты можешь, Диомид, хотя несколько чувствовать весь ужас тогдашнего моего положения: но я не в силах выразить страдания, какое ощущал в то злополучное время. Целая гора обрушилась на мое сердце, весь ад свирепствовал в душе моей!

Я столько был расстроен, утомлен, обессилен в немногие минуты страдания, что не иначе, как с помощью батрака и подоспевшей работницы мог доплестись до своей комнаты, где и уложен в постелю. Трои сутки пробыл я или в совершенном бесчувствии, или в сумасбродстве. Мысленно сражался я с безбожными похитителями, побеждал их, возвращал свободу моей Евгении и в сем положении приходил в себя, чувствовал свою бедность и беспомощность и снова погружался в забытье. Наконец — благодарение милосердному промыслу — крепость моего сложения взяла верх, а надежда возвратить когда-либо свою великую потерю довершила мое воскресение. Через неделю я мог уж, хотя дрожащими ногами, бродить по комнате и начал понемногу употреблять пищу. Первое дело мое по выздоровлении было осмотреть наши деньги и пожитки, и я, к немалому удивлению, нашел, что все было цело и на своем месте. Из сего всякий заключить может, что мнимые разбойники при похищении жены моей имели в предмете приобретение ее одной, а не имущества. Новая горесть, новое поле к печальным догадкам!

Когда я столько оправился, что мог довольно твердо стоять на ногах, то взяв к себе деньги и лучшие вещи, остальное все запер в светелке и, дав батраку довольно денег, наказал ему беречь усердно мой дом и стадо во все время моей отлучки, хотя бы продолжалась оная несколько месяцев и даже лет, обещая по возвращении наградить его щедро. После сего, взмостясь на коня, я от-

правился прямо в Запорожскую Сечь. По прибытии в сию чудовищную столицу свободы, равенства и бесчиния всякого рода тотчас явился я к войсковому писарю, объявил желание быть черноморцем, тут же вписан в книгу под именем Леона Рукатого, и в одном из куреней отведено мне место длиною в сажень и шириною в полтора аршина, которое должно служить мне ночлегом. Получив таким образом право гражданства, то есть высокое право похабничать, забиячить и даже разбойничать (последнее дозволяется только вне пределов запорожских), я исправно оделся по-казацки, вооружился и, дав куренному атаману денег, дабы сделать на них пирушку моим сокуренникам, пустился на коне осмотреть все хуторы запорожские, где жили казаки женатые и дозволялось привитать шинкаркам беззамужним.

В странствии сем пробыл я более недели, но напрасно. Под разными предлогами заглядывал в каждую хату, но и тени Евгении нигде не видно было. Я медленно возвращался домой, и сердечная тоска была неразлучною мне сопутницей.

Мне пришло на мысль, что, может быть, мои достойные сослуживцы, по давно заведенному обычаю, сделавшемуся уже законом, получив во власть свою Евгению, продали ее туркам, татарам или полякам. Такие случаи между ними весьма не редки. Посему я твердо решился осмотреть все сопредельные к Запорожью стороны.

Удовлетворя и сему желанию, я оставался безутешен, ибо нигде не находил своей потери. Я участвовал во многих походах и сражениях противу татар и турков и сделался известен моим сослуживцам так, что к исходу года пожалован в есаулы. Весьма завидная участь для Леонида без Евгении!

Глава IX **Надежное пристанище**

Из всех сподвижников моих на полях брани отличал я и приближил к себе казака Реаса, который телом и ухватками совершенно походил на Адрамелеха[1], а душою

[1] Злейший и упорнейший из дьяволов. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

на херувима. Никогда робость не разливала трепета в сердце его; но оказать побежденному врагу защиту и помощь было для него необходимостию. Он полюбил меня, сражался всегда возле, и я не один раз обязан был ему свободою и жизнию.

Зима прошла в бездействии, и самым важным занятием была рыбная ловля. Как скоро весна показалась, то мы с Реасом не знали, за что приняться, ибо мирное время не дозволяло нашему оружию быть в действии.

Однажды, когда Реас рассматривал полученную им в разные времена добычу, состоящую в дорогих вещах и оружии всякого рода, то я сказал, что сабля, на ту пору бывшая в руках его, отменной доброты. «Твоя правда,— отвечал Реас,— но когда я ни взгляну на нее, то на душе у меня туманится. Ах! может быть, эта вещь стоит жизни двух существ невинных. За тайну могу открыть тебе, как досталась мне сия дорогая сабля; но, чур, никому ни слова». Я дал обещание быть молчаливым, и он, севши подле меня, начал так: «До прибытия в Запорожскую Сечь я служил в полку Полтавском хорунжим и был негодяй из негодяев. Некоторая надобность привела меня в Батурин, и на пущую беду — во время ярмарки. Теперь тому около двух лет. Всем известно, как ярмарки для молодого казака соблазнительны. В три дни прогулял я все бывшие со мною деньги, коня и платье, так что остался в одной сорочке. Когда в сем неприятном положении сидел я в шинке подгорюнившись, вдруг вошел дворцовый старшина, которого знал я и был им несколько знаем. Он взял меня за руку, ввел в особенную горенку и сказал: «Стыдись, Реас! прилично ли такому храброму казаку печалиться из безделицы? Ты лишился всей одежды? Это ничего! Сослужи верно одну службу, и ты сегодня же будешь одет, получишь доброго коня и много денег». Я дал христианскую клятву свято исполнить его поручение, хотя бы понадобилось лезть в горло самого беса, и старшина продолжал: «Знай, Реас, что у гетмана нашего была дочь Евгения и с небольшим за тринадцать лет пред сим похищена сотником гетманского полка Леонидом. Тщетно раздраженный отец искал беглецов более года; наконец, нашел, дал повеление захватить их; но они ускользнули и до сих пор пропадали без вести. Незадолго пред сим некоторые из батуринских чумаков, возвратившиеся из Запорожья, открыли своим женам, что они признали Леонида и Евгению; жены по-

ведали о сем кумам, а кумы — сватам, так что вскоре прослышали о том придворные паны, а наконец, и сам гетман. По рассказам чумаков, так их отыскать нетрудно. Они имеют постоянное жилище в рыбачьем стану по сю сторону второго днепровского порога. Воля гетмана состоит в том, чтобы достать беглецов и с малолетнею их дочерью в свои руки. Тут силою ничего нельзя сделать без опасности раздражить запорожцев, ибо помянутый стан находится на их земле; надобно употребить осторожность, разум. Возьмешь ли ты на себя сие дело?» — «Не только возьму,— вскричал я отважно,— но сверх того, даю клятвенное обещание исполнить его в точности!» — «Хорошо,— сказал старшина, подавая мне большой кошелек с серебряными деньгами,— вот тебе на первый случай; повеселись, да смотри, никому ни слова. Я скоро сюда буду».

Легкая одежда, состоявшая, как сказал я, в одной сорочке, не мешала мне приняться за веселье. Я уставил стол сулеями с разными напитками и блюдами со съестными припасами и принялся за дело. Под вечер явился ко мне старшина и внес целый узел, в коем нашел я полное запорожское платье и оружие. Когда я оделся и вооружился, то старшина сказал: «Не пренебрегай этою саблей, даром что она не очень казиста; ее дарит тебе гетман из своей оружейной палаты, и такой подарок для храброго человека дороже золота. Приищи себе трех или четырех товарищей. Бричка в три лошади стоит здесь на дворе. Вот тебе на дорогу кошелек с золотыми деньгами и это письмо. Как скоро пленишь ты помянутую семью, то скачи прямо в Переяславль. Отдай письмо игуменье девичьего монастыря и тогда же вручи ей Евгению. После сего с Леонидом и его дочерью поспешай в Батурин и явись ко мне. Более всего смотри, чтоб не ускользнул Леонид; он лукав и затейлив».

Имея кучу денег, мне нетрудно было подговорить четырех товарищей, от коих, однако, в силу данного мне наставления, я скрыл подлинные имена будущих наших пленников. Мы отправились в путь и благополучно прибыли к цели путешествия. Тщательно осведомился я о жилище Леонида и, к крайнему неудовольствию, тут же узнал, что его с дочерью нет на месте. Посоветовавшись с друзьями, что нам делать, большинством голосов решили похитить покуда одну Евгению и доставить в Переяславль, а давши о сем отповедь знакомцу моему стар-

шине, пуститься за Леонидом, буде присутствие его в Батурине покажется гетману необходимо нужным.

Предприятие наше имело желанный успех. Евгения весьма бережно доставлена в Переяславль и отдана игуменье. Мы прибыли в Батурин и уведомили старшину о всем происшедшем. Он крайне встревожился и вскричал грозным голос: «Безумные! неужели не могли вы размыслить, что приобретение похитителя-зятя было бы для оскорбленного отца отраднее, чем похищенной дочери? Сейчас ступайте обратно и не смейте возвращаться без Леонида».

С сими словами он вышел со гневом. Мы крайне подивились такому приему, какого отнюдь не ожидали. Что нам оставалось другое, как не отправиться скорее в жилище Леонидово; но как объяснить тебе наше огорчение, когда, прибыв на место, узнали, что он был там, но за несколько дней пред нами отправился неизвестно куда, а по всему видно, что надолго или и навсегда. Подумав, погадав, мы приняли самое благоразумное намерение не возвращаться никогда не только в Батурин, но даже и в Малороссию, а пуститься в Запорожье и сделаться братьями храбрых людей. Мы по сему исполнили, и ты, зная меня довольно давно, не мог не приметить, как иногда в кругу товарищей, веселящихся после одержанной победы, я, смотря на свою саблю, вздыхал и чуть не плакал. Ах! это было мучительное раскаяние, для чего я сию спасительницу жизни моей приобрел погибелью двух любящихся супругов!»

Так окончил Реас повесть свою, замолчал и, утирая глаза, начал укладывать в порядке разнородную свою добычу.

Ты легко представишь, любезный брат, чувствования, потрясавшие душу мою и терзавшие сердце. Если бы Реас обратил на то внимание, то он не мог бы не заметить, что я трепетал во всем теле; блуждающие глаза мои устремлены были на рассказчика и дыхание спиралось в груди моей. «Бедная Евгения! — сказал я сам себе, пришед несколько в чувство,— итак, ты в заточении? Итак, томишься ты под мрачными сводами монастырскими? Ах! твое состояние горестнее моего! Хотя мы оба разлучены с детьми и друг с другом, но я пользуюсь свободою, а ты лишена и сего утешения. Бедная мать! бедная супруга! надобно спасти тебя, хотя бы это стоило жизни моей!»

Подумав несколько минут о своем предприятии, я сказал: «Реас! ты вверил мне тайну, хотя она собственно не твоя, а чужая; я, напротив, намерен вверить тебе мою собственную, драгоценную тайну и надеюсь, что если ты не согласишься помогать в моем намерении, то и мешать мне не будешь. Убийственная и даже бесчестная жизнь, нами в Запорожье провождаемая, мне наконец опротивела; да и чего впредь должны ожидать мы, как не погибели? Рано или поздно, а которая-нибудь из соседних держав обрушится на нас всеми силами, и — что из Сечи останется? Кучи золы и громады черепов казацких. Не покойнее ли, не счастливее ли нас живет беднейший селянин в Малороссии? Разве мало у нас имущества? Почему не выбрать нам какого-нибудь уютного жилища подалее от Батурина? Если жива еще жена, тобою оставленная, ты возьмешь ее к себе; если же нет ее более, ты найдешь другую и будешь жить в тишине, в довольстве, в счастии».

Реас уставил на мне неподвижно глаза свои и после, вздохнувши, спросил: «Если бы я и согласился кинуть такую поганую жизнь, которая несравненно хуже цыганской, то как это сделать? Разве не известно тебе, чему подвергается всякий, осмеливающийся сделаться изменником своей клятве?» — «Что значит такая клятва? — говорил я хладнокровно,— если бы ты обещался медведю вечно жить в его логовище, куда завела тебя злая судьба твоя, то неужели не воспользовался бы первым случаем уйти от чудовища, чем каждую минуту опасаться растерзания?» Словом, я так расположил свои доводы, говорил так убедительно, что наконец совершенно преклонил Реаса на свою сторону, а он в жару восторга обещался подговорить еще человек пять, шесть из самых завзятых. Он сдержал свое слово. Скоро помянутые храбрецы к нам пристали, и в моем курене, за баклагами вина, заключен союз освобождения от добровольной неволи.

Вследствие общего условия мои будущие сопутники, под видом посещения хуторов для закупки вина, мяса и хлеба, мало-помалу начали скрытно выносить пожитки в недальний лес на берегу Днепра и прятали их в потаенных трущобах. Когда все таким образом было в готовности к побегу, мы, по обыкновению, испросили благословение от атамана напасть на некоторое малороссийское селение, жители коего будто бы некогда угнали из такого-то хутора несколько овец с ягнятами. Под вечер

выехали мы из Сечи, запасшись несколькими заводными конями. При въезде в лес, хранилище наших сокровищ, мы расположились станом и пробыли до заката солнечного, а тогда начали навьючивать коней и, при заре вечерней переправясь на приготовленном пароме через Днепр, пустились по направлению к Полтаве. Я столько выхвалял пределы переяславские и непременное намерение мое поселиться в окрестностях оного, что все спутники пожелали за мною и Реасом последовать, ибо сей витязь испросил у меня дозволения жить и умереть вместе со мною. Наконец, достигли мы Переяславля, и тут-то открыл я Реасу важнейшую мою тайну относительно Евгении. Он немало сему подивился, просил прощения в учиненном злодействе и дал клятву приложить все силы к освобождению моей пленницы. Из предусмотрительности я остановился с Реасом в одной корчме, а прочие в других по одному, и всякий занялся, чем хотел, ожидая дальнейших от меня приказаний.

С сего времени начали мы с Реасом разъезжать по всем окрестностям Переяславля, допытываясь, не продается ли где-нибудь хутор; но поиски наши целую неделю были тщетны. Наконец, провидение сжалилось надо мною. В один день, обедая в селе Млинах, мы изъявляли сожаление свое корчмарю жиду Хаму, что не можем найти себе продажного места, где могли бы в шести семьях поместиться. «Я могу в сем случае услужить тебе,— сказал Хам,— и если ты не такой гуляка, как большая часть твоих товарищей черноморцев, то будешь доволен предлагаемым мною хутором. Целая половина села сего принадлежит пану Агафону; но он любил провождать жизнь, а особливо летом, за пять верст отсюда в хуторе, расположенном в большом овраге. Там находится пространный господский дом с обширным садом, а по сторону — до десяти хат для служителей. Дно оврага оканчивается пространным лугом, посередине коего протекает ручей, усаженный липами, ивами и ракитником. На поверхности половина оврага окружается дремучим лесом, а другая — нивами. Пока жив был пан Агафон, то он, весьма любя сие место, украшал его сколько умел и проживал в нем со всеми домашними большую половину года; но как скоро умер, чему уже около десяти лет, то жена и дети, жившие там из одного принуждения, как в плену вавилонском, перебрались в село и кинули навсегда ненавистную для них юдоль плачевную».

Я прельстился таким описанием и пожелал тотчас видеть сие прекрасное место, как будто нарочно для меня устроенное. Жид за несколько злотых дал нам проводника; мы достигли оврага, спустились на дно оного на конях довольно удобно, осмотрели все и не могли налюбоваться. Конечно, десятилетнее время положило во многих местах печать разрушения; но все, при помощи нескольких рук, хутор сей привести в прежнее устройство было легче, чем некогда в сельце Мигунах цыганское логовище сделать удобным для пребывания людей. В тот же день жид Хам привел меня ко вдове Агафоновой; она не дорожилась местом, совсем для нее ненужным, а я с своей стороны не скупился, и мы сейчас заключили торг. Она приняла от меня деньги, а я взял от нее запись на владение сим поместьем и, под именем Мемнона, сделался обладателем оного.

Три дня прошло, пока все мы кое-как устроились. В господском доме сделал я каждой комнате назначение и отвел особливую для Реаса. Пожитки мои, состоящие в золотых и серебряных вещах, в драгоценных камнях и перлах, а равно в великом множестве оружия и платья разных народов уложены были надлежащим порядком. Чтобы жене моей — которой настоящее имя и состояние известно было одному Реасу и которую я при прочих товарищах называл Евлалией — не оставаться совершенно одной между столькими мужчинами, я, по предстательству жида Хама, в селе Млинах нанял двух работников с их женами и детьми и поместил их в двух пустых хатах. После сего запаслись мы на довольное время житейскими припасами, и когда все было готово, тогда я начал уже думать об освобождении жены моей из плена».

— В сие время батрак мой,— продолжал дядя Король,— принес из корчмы сытный ужин; Леонид отложил продолжение повести своей до утра, и мы, благословясь, начали насыщаться. По окончании трапезы я спросил: «Для меня одно непонятно, друг мой! Ты купил поместье, устроил оное, водворил своих сопутников, а не подумал справиться о своем сыне, когда я, будучи только его дядею, почел сие непременною обязанностью».— «Увы! — отвечал Леонид с тяжким вздохом,— я не хотел возмущать сердца твоего в сии минуты радостные. Знай же: на другой день по прибытии моем в Переяславль я полетел в село Мигуны и прямо в дом ко вдове попадье.

Каким громовым ударом я поражен был, услыша, что уже более пяти лет, как она преставилась. Бегу к отцу Гервасию, объявляю о себе и спрашиваю: «Где сын мой?» — «Ничего не могу сказать,— отвечал иерей с пасмурным видом.— Мы долго считали его похищенным теми людьми, кои и тебя с женою здесь искали; но покойная невестка моя, борясь со смертию и не стерпя мучений совести, при конце дней своих призналась, что она, не могши противиться искушению сатанинскому, ослепилась золотом, данным тобою на содержание сына, пожалела тратить оное и, сокрыв дитя в корзину, вынесла на большую дорогу, ведущую от Переяславля к Пирятину, и там оставила. Что дальше последовало с бедным малюткою, и сама покойница не знала». С растерзанным сердцем я возвратился в город.

Глава X **Дьявол**

На другой день поутру Леонид продолжал повествование следующими словами:

«Устроя новое жилище свое, сколько по краткости времени можно было лучше, я отправился с Реасом в Переяславль, наказав остающимся в хуторе, чтобы не беспокоились, если мы несколько дней пробудем в отлучке. Приехав в город и остановясь в корчме недалеко от монастыря, прежде всего купил я покойную бричку и уложил в ней хорошую постелю, ибо я, со времени поселения в Запорожье, не знал другой, кроме войлока или рогожи. Стараясь от приходящих в сию обитель веселия сколько можно подробнее узнать о населяющих другую обитель благочестивых стариц, я, к неописанной радости, проведал, что монастырский привратник, столько нужная для меня особа, был бы старик порядочный, если бы не предавался излишней веселости.— «Сколько мне известно,— сказал церковный сторож со злою улыбкою,— то честный собрат мой Ариан имел бы изрядный достаток, если бы всего, что ни получит от доброхотных дателей, не оставлял здесь, в сем омуте бездонном. Ба! да вот и он сам»,— вскричал сторож, указав на вошедшего лысого

старика с багровыми щеками и красно-синим носом. — «Жид! — возопил новый пришлец, севши возле меня на лавке,— подавай кварту вишневки» — «Давай же деньги!» — «Завтра!» — «Завтра и вишневку пить будешь!» — «Этакой несговорчивый!» — сказал со вздохом привратник и с неудовольствием шевелил усами. Я не преминул воспользоваться сим случаем. «Жид! — вскричал я в свою очередь и притом довольно сурово,— ты крайне неучтив и не умеешь различать людей. Сейчас поставь пред нас сулею запеканной водки да кварту вишневки и пару булок; а как приближается пора обеденная, то приготовь похлебку с курицею, лапшу с уткою и изжарь молодую индейку: вот тебе червонец!» Жид и Ариан глядели на меня с удивлением, не говоря ни слова; однако сын израилев скорее образумился, выхватил из руки червонец и скрылся.— «Так,— сказал я, трепля по плечу привратника,— с первого взгляда я полюбил тебя, честный Ариан, и прошу пообедать со мною и одним приятелем, который скоро сюда будет».— Ариан благосклонно принял приглашение, наговорил множество учтивостей, и когда поставлены были заказанные сулеи, то после нескольких истинно отеческих лобызаний с кубком глаза его заблистали как раскаленные угли, и он, понизя голос, спросил: «Не могу ли и я, смиренный, чем-нибудь отблагодарить за такое угощение?» — «И очень можешь! — отвечал я,— но о том побеседуем после!» — «О! только бы требование твое не простиралось далее стен монастырских, а то все возможно!» — «Именно не далее простирается!»

Между тем явился Реас, отлучившийся для нужных покупок; обед подан, и мы были весьма довольны жидовскою стряпнею. По окончании стола собрат мой опять вышел, и я остался один с восхищенным Арианом. «В чем же состоит твое требование?» — спросил он, уминая свое чрево. «Друг мой! — отвечал я,— мне также хочется спросить тебя: имеешь ли ты такой достаток, чтобы каждый день высушивать здесь по доброй сулее запеканной и есть жареных индеек, не прося ничего в долг?» — «Нет! как можно об этом и подумать!» — «Хочешь ли быть в возможности?» — «Какой дурак не захотел бы!» — «Так пособи мне».— «Говори скорее, в чем состоит дело!» — «У вас есть в монастыре женщина лет в тридцать, прекрасная собою, с возвышенным станом, с черными пламенными глазами».—«Знаю, знаю! она года за два заперта в келье и сидит, как горлица в клетке. То-то жизнь ху-

же привратничьей. Никто, кроме игуменьи, не знает, кто она; но мы все вообще зовем ее бедною, томною красавицей, ибо она беспрестанно грустит и часто плачет».—«Видишь, любезный друг,— продолжал я,— как наша пленница страдает; неужели мы не поможем ей? Ибо знай: я — самый близкий ее родственник!»

Ариан всполошился, отступил шага на два и смотрел на меня недоверчиво. Я продолжал: «Коротко да ясно: если ты поможешь мне увезти ее сегодня, то дарю тебе этот кошелек с двумястами злотых и клятвенно обещаюсь присылать к тебе по стольку же каждогодно».— «Ах! — сказал Ариан, погладя лысину,— конечно, иметь такую кучу денег весьма не худо, но трудно заслужить их. Знаешь ли ты, что нашу томную узницу беспрерывно стерегут две старицы? К окну ее в сад приделана железная решетка, которую и сто рук не скоро отломают».— «Однако ж,— подхватил я,— ваши старицы на стражу к ней не сквозь решетчатые дыры пролезают?» — «Конечно,— сказал Ариан,— они входят в ее келью обыкновенными дверьми из коридора».— «Ну, так и она,— вскричал я торопливо,— в эти же двери выйти может!» — «Конечно; но об этом надобно подумать, да и подумать!» — «Ну! так приходи завтра в корчму, как скоро можно будет; мы хорошо попируем и вместе подумаем».

С сими словами мы расстались, и я отпустил с Арианом добрую сулею наливки, дабы ему удобнее было делать выдумки. Я и с своей стороны провел всю ночь без сна, строя, как говорится, воздушные замки и вмиг расстраивая оные.

Поутру, едва отошли заутрени, предстал перед меня Ариан с веселым лицом и, поставя на стол пустую сулею, сказал: «Прикажи-ка, друг, наполнить эту вещь опять, так я скажу нечто приятное». Желание сие мигом было исполнено. Старик, осуша кубок, говорил: «Куда как, право, догадлив ты, что вчера отпустил меня домой не с пустыми руками! Как скоро улегся я на войлоке и принялся думать о средствах к освобождению твоей родственницы, как тяжелый сон начал на меня обрушиваться, однако я не поддался: тотчас схватил сулею, приложил к губам, и сон отлетел от меня, как отлетает нетопырь в щель свою при восходе солнечном; таким же образом оборонялся я от нападков его в другие разы; думал, думал и выдумал следующую мудрость: помогать другу своему в беде очень хорошо, но надобно это делать так,

чтоб самому в беду не попасться! Можешь ли ты к ночи приготовить дьявольскую одежду, то есть такую, чтоб сколько можно более походить на черта?» — «Почему же именно к сей ночи?» — «А вот почему. Наши инокини бывают на страже у заключенной по очереди. Сегодня, по окончании обеденной трапезы, придут к ней сестры Манефа и Мамельфа. Они обе стары и примерно благочестивы; но в молодых летах столько понесли нападков от злых духов, что и до сих пор страшатся их безмерно. После заката солнечного я проведу тебя с твоим нарядом и с хорошим запасом на сон грядущий в свою конуру, где и пробудем до полночи; тогда нарядишься ты как следует. Мы прокрадемся коридорами до самых дверей твоей родственницы, и я впущу тебя в келью. Там делай ты, что знаешь, а я брошусь назад, отопру калитку в сад и уплетусь на покой. Твое уже дело будет найти средство перебраться через ограду и ускакать с своею находкою куда изволишь. Ну, какова кажется тебе моя выдумка?»

«Премудрая! — вскричал я, обнимая Ариана,— и вот тебе сто злотых за одну выдумку, а обещанные двести получишь тогда, когда отворится для меня келья пленницы. Но, любезный друг! — сказал я подумав,— ты забыл одно обстоятельство, которое может все расстроить, а именно: когда я с тем войду в келью, чтоб своим видом, голосом и ухватками перепугать благочестивую стражу и сделать ее безгласною и неподвижною, то кто уверит меня, что и бедная родственница моя не придет от страха в такое же положение и не сделается неспособною следовать за своим избавителем? Тогда все пропало!» — «И подлинно так!» — сказал пасмурно Ариан и сел молча на лавку. Пробыв несколько минут в безмолвии с устремленными горе очами, он вдруг вскочил как исступленный, осушил кубок наливки и сказал вполголоса: «И это препятствие исчезает! В обители нашей, в числе послушниц, находится моя племянница. Она девка весьма сметливая; ее настрою обо всем искусно родственницу твою предуведомить, и она, конечно, тебя уже не струсит!» — «Прекрасно! — сказал я, подавая своему другу еще кубок,— только не забудь натвердить своей племяннице, дабы она объявила заключенной, что родственник, который в виде злого духа придет к ней для освобождения, называется Леонидом. Это нужно для того, что у нас есть еще много родни, которой она не совсем доверяет».

С сим мы расстались. Солнце между тем взошло высоко. Приказав Реасу изготовить веревочную лестницу, я бросился в лавки и купил кусок черного сукна, а у записного машкары маску, и с сим снадобьем возвратился в шинок. Запершись в своей комнате, я изрезал сукно в лоскутья так, что когда сшил его на живую нитку, то оно походило несколько на куртку и шаровары. После сего отправился я в мясные ряды и запасся бычачьими рогами. По возвращении домой я прикрепил рога к маске. Возвратившийся Реас уведомил, что лестница его готова и уложена в бричку. «Теперь все улажено! — сказал я вздохнувши,— боже милосердый! даруй, чтоб и окончание дела сего было так же удачно, как и начало!»

Пообедав наскоро, уложили мы в бричку добрый запас съестного и напитков, ибо я уверен был, что моя любезная Евгения после двухгодичного заточения, конечно, ослабела в силах, и ей приятно будет подкрепить себя во время довольно продолжительной дороги. Мы обошли монастырские стены раз пять и наконец, выбрав место, казавшееся нам удобнейшим для приступа, возвратились домой. Как билось мое сердце, то от радости при мысли скорого соединения с предметом нежнейшей любви моей, то от сомнения при воображении, что Ариан, удовольствовавшись сотнею злотых, ни за что полученных, не захочет уже подвергать себя опасности для получения двухсот обещанных. Еще был я колеблем страхом и надеждою, как честный привратник обрадовал меня своим появлением. Он поведал, что родственница моя все уже знает и с распростертыми объятиями встретит меня, хотя бы предстал пред нее в виде самого Вельзевула. Я пустился потчевать сего друга столь усердно, а он так охотно принимал сии потчевания, что в глазах у него потемнело, и едва лишь закатилось солнце, он уверял, что на дворе ночь уже глубокая. Общими силами едва мог я с Реасом доказать ему противное, прося поукротить свою ревность.

Наконец и в самом деле небо потемнело. Реас впряг в бричку четырех коней, ибо мы при выезде из хутора взяли по одному заводному; я щедро расплатился с жидом, взял под мышку бесовский снаряд и пошел с Арианом в его обиталище; сопутник мой не забыл уложить к себе за пазуху две сулеи с жизненною силою, а Реас между тем поехал к условленному месту.

Когда я поверх бывшего на мне казацкого напутал бесовское платье, то Ариан, осматривая меня кругом,

крестился, ахал и тянул вишневку. Он потчевал и меня, но мне было не до того. Ожидаемый час настал. Монастырский сторож пробил клепалом полночь, и сердце мое затрепетало, руки и ноги задрожали. «Вот час,— сказал я,— который или возвратит мне похищенное блаженство, или уже невозвратно меня погубит». Ариан вел меня по длинным, узким коридорам, слабо освещаемым тусклыми лампадами.

Проходя мимо одной двери, Ариан сказал: «Это калитка в сад; заметь ее хорошенько».— «Отопри теперь,— говорил я,— и оставь настежь. Второпях мне не мудрено будет ошибиться и пробежать мимо!» Он начал было противоречить, представляя, что, покуда я буду пугать монахинь, кто-нибудь может пройти мимо и, видя беспорядок, поднять тревогу; но я приказал вновь, и он повиновался. Для придания ему бодрости я сунул в руку его кошелек, набитый злотыми; он радостно встрепенулся и повел далее. В конце того же коридора он остановился и, сказав тихо: «Вот дверь от кельи твоей родственницы; ступай с богом!» — поспешно пошел назад, а я вступил во святилище. Перед образом горела лампада, и две старые инокини, сидя за налоем, дремали. Едва появился я, как Евгения, окутанная в простыню, поспешно встала с постели и начала пробираться к дверям. Я только лишь успел сказать: «Калитка в сад открыта, спеши!» — и Евгения скрылась за двери. Тут одна из стражей подняла голову и открыла глаза. В то же мгновение я подскочил к ней, защелкал зубами, зарычал неистово; она застонала и покатилась на пол. Соседка ее вскочила, но также свалилась с ног. Тут я бросился за двери и запер их бывшим в замке ключом. Прибежав в сад, я скоро соединился с Евгенией. Она так была слаба, что едва могла держаться на ногах, и потому я должен был более нести ее, пока прибыли к назначенному месту. Какого труда стоило мне взвести свою подругу по веревочной лестнице на ограду! Оттуда принял ее на руки Реас и усадил в бричку. Я по той же лестнице спустился со стены, кинулся к Евгении, и помчались во всю прыть конскую.

Ах, какое счастие! какой восторг! какое блаженство! Тот только поймет меня, кто любил страстно и был любим взаимно; кого насильственно разлучали с предметом страсти его, но он, по милости небес, опять с ним соединялся.

Глава XI **Свобода**

При темноте ночной, покрывавшей небосклон, я выпутался из демонского облачения и уложил оное в бричку для памяти моему потомству; после сего сел лицом к Евгении, дабы при первых лучах зари утренней насладиться воззрением на прелести моей любезной. Я воображал себе, что она и теперь такова же, какою за два года оставил у порогов днепровских. Заря заблистала, я взглянул и обомлел от удивления. Я увидел бледное, тощее лицо, мрачные, впалые глаза, тонкие, высохшие руки. Сначала представилось мне, что Ариан сам обманулся и жестоко обманул меня и что похищенная женщина совсем не жена моя. Но тут же другая мысль мгновенно меня образумила; в монастырском саду я называл ее по имени, и она меня также; она плакала о потере сына Неона; звук голоса ее довольно знаком моему сердцу; так! это она — но долговременные страдания изнурили ее, обезобразили. Любовь моя, мои старания возвратят ей прежнюю бодрость, крепость и прелести.

Евгения отгадала причину моего смущения и улыбнулась, как улыбается невинность, стоя у своей могилы и устремляя взор к вечности. Она подала мне руку и сказала: «Неужели, друг мой, мог ты ожидать, что Евгения не потеряет своей наружности, пробыв два года в мрачном затворе, не видя никого, кроме очередных монахинь, которые, вместо утешения, каждую минуту терзали ее сердце, увещевая покориться воле неумолимого родителя».— «Но чего он от тебя требовал?— спросил я,— говори, ничего не опасаясь. Везущий нас казак есть друг мой, и ему известны все важнейшие обстоятельства жизни нашей. Говори, милая Евгения, чего еще мог требовать отец твой?»— «Рассказ мой будет весьма короток,— отвечала Евгения и говорила следующее:— Как скоро ввели меня в ужасное жилище, из которого ты исхитил, то явилась игуменья и подала сверток бумаг, прося прочесть. Я развернула и прочла следующее:

«Недостойная, но все еще любезная дочь!

Наконец ты опять в моей власти, и надеюсь, что бесстыдный оскорбитель моей и твоей чести в третий раз не увлечет тебя с собою. Высокое духовенство соглашается на развод твой, но не прежде, как ты подпишешь прилагаемую при сем бумагу. В ту же минуту, в которую исполнишь сию волю мою, получишь совершенную свободу, и с нею и звание моей дочери; в противном случае ты найдешь во мне судию неумолимого!»

Приложенная бумага была не что иное, как бесстыдная жалоба на тебя от моего имени и буйное, бесчестное требование на развод для вступления в новый брак. Гнев и негодование мое были безмерны; я изорвала гнусное писание в мелкие лоскутки и кинула их к ногам игуменьи. «Это ответ мой!»— сказала я и отошла к окну. Игуменья удалилась, оставя при мне для присмотра двух монахинь. Через две недели она опять показалась и, положа на налой какую-то бумагу, спросила: «Не надумалась ли ты, красавица! и не подпишешь ли сей бумаги, присланной сегодня из Батурина на место изорванной тобою? Это слово в слово та же самая, но рвать ее не советую, ибо от сего по-пустому будет проходить время в переписках. Буде и сию уничтожишь, то прислана будет третья, десятая, сотая и так далее. Воля отца твоего непременна!»

С сего времени в каждый полдень, когда являлись ко мне очередные монахини на смену прежних, то, ставя пищу на стол, имели приказание говорить: «Подпишешь ли эту бумагу?» Не отвечая ни слова, я садилась и обедала. Во время ужина была та же церемония, и в таком утомительном единообразии протекли два мучительные года. Неужели и теперь, Леонид, будешь удивляться, что твоя Евгения столько переменилась?»

Вместо ответа я схватил ее руку, осыпал поцелуями и облил слезами благодарности за ее непоколебимую верность. Солнце воссияло, и мы были уже у спуска в мой хутор. Все домашние встретили нас с восторгами радости; мы вышли из брички, и я повел Евгению в свое жилище. Будучи уже на крыльце, она зачем-то оглянулась, затрепетала и прижалась к груди моей. «Боже мой! казак, сидящий на козлах, так ужасен — лицо его, убийственный взор — так! я его видела; он! праведное небо! где я?» —

«Успокойся, милая Евгения!— сказал я.— Ты действительно некогда видела моего Реаса; но наружность не-

редко бывает обманчива. Он человек самый честный и добродушный, а что важнее всего, ему обязан я освобождением Евгении, ему обязан сим бесценным счастием. Я после расскажу тебе обстоятельства, познакомившие тебя и меня с Реасом».

Я ввел жену в дом свой и показал устройство оного. Уединенное место сие представилось ей весьма многолюдным и шумным в сравнении с монастырскою кельею. Мы прожили тут около двух недель, и Евгения приметно начала отправляться. Для обзаведения вещами, столько необходимыми для деятельной женщины, я довольно часто бывал в Переяславле, и сегодня случилось мне пристать в шинке соседки твоей Мастридии.

Под конец моего обеда показался видный бурсак, потребовал вишневки и, наливши кубок, вскричал: «Я философ Далмат! Предаю душу вечному пламени, если не отомщу проклятому Королю за друга своего Сарвила!»

Я вслушался в сии речи. Чтобы приласкать к себе бурсака, я сказал: «Конечно, этот Король не честный человек, что не полюбился почтенным бурсакам! Желал бы я знать, что это за особа? Между тем прошу сделаться моим товарищем в еде и питье!»

Бурсак не отказался от предложения. «Этот Король,— говорил он, опоражнивая одну чарку за другою,— есть не что иное, как простой огородник, и зовут его Диомидом. Впрочем, он так лукав, что редко нашему брату бурсаку удается полакомиться его овощами. Надобно думать, что он знается с бесом! Несколько дней назад захотелось нам отведать дынь и арбузов; предосторожности все взяты; но, как на беду, он в самую полночь очутился на огороде с кучею народа и переловил всех наших витязей».

Ты можешь, любезный брат, представить радость, какую ощутил я, узнав, что могу соединиться с тобою и остаток жизни провести в объятиях любви и дружбы. Одна мысль — и мысль горестная — отравляла в те минуты мое восхищение, и сия мысль была о потере моего первенца».

— С сего времени,— продолжал дядя Король,— я поставил правилом два раза в неделю посещать хутор моего брата и находить удовольствие в его счастии. За три года перед сим привезена Мелитина в объятия родителей; ты не забыл еще случая, приведшего и тебя в сей хутор. Кто опишет восторг, посетивший душу Леонида, когда из рассказов твоих он познал своего сына, столь долго

оплакиваемого. Известить тебя о себе он не имел возможности, ибо и самое существование его не было обезопасено. Мне поручено было дальнейшее твое образование, ибо проведенное время в бурсе не могло сделать тебя достойным того сана, к какому порода призывала.

Сим окончил дядя свое повествование. Весь день прошел в тишине и мире, и я, получив наставление, как должен действовать на завтрашний день, провел вечер у любезного друга моего Кронида. В сей самый вечер испытал я радость, доселе для меня незнакомую радость — одолжать других.

— Неон! — сказал мне Кронид, — я должен наконец вверить душе твоей тайну, самую драгоценную, священную. Сего только утра узнал я, что ты — сын Леонида и Евгении. Друг мой! неужели мог ты подумать, что в течение девяти лет видеть сестру твою в доме отца моего и не полюбить ее страстно есть дело возможное для человека моих лет и сложения! Так, Неон! я обожаю прекрасную, и чувства мои от нее не скрыты. Отец мой и мать видели пламень, клубившийся в груди моей и с каждым днем возраставший, — они сие видели и для неизвестных причин сокрыли ее от глаз моих. Если в тебе, Неон, есть столько человеколюбия, чтобы снизойти на просьбу страстнейшего из любовников, то открой мне убежище твоих родителей, при коих, без сомнения, находится Мелитина. Для меня ничего нет невозможного! Найду способ упасть к ногам ее и снова принести клятву в вечной верности. От тебя, любезный друг, ожидаю содействия, чтобы и родители твои не отказали мне в сем благополучии.

Ответ мой согласен был с его ожиданием. Я и сам не мог не сознаться, что могу найти любезнейшего друга и брата, а сверх того, зная, сколько родители мои обязаны Еваресту за воспитание своей дочери, я почти не сомневался о согласии их осчастливить дочь свою союзом со столь достойным супругом. Могло оставаться одно только сомнение в согласии гетмана, если он удостоит примириться со своею дочерью и зятем. Какое ощущал я биение сердца, встречая восходящий месяц! Завтра, завтра должна решиться участь моих родителей и моя собственная! Они, конечно, виновны, — этого я не могу скрыть от самого себя, — но правосудие земных владык красится милосердием. Будем терпеть и надеяться — общая участь бедного человечества!

Глава XII **Победа природы**

Солнце воссияло на небосклоне батуринском, и я был уже с дядею Королем во дворце гетмана. Куфий встретил нас с распростертыми объятиями и сказал:

— Надежда — хотя и женщина, но не всегда обманывает! Я употребил все, что зависело от Куфия, и, кажется, дело идет на лад. Неон! я полагал, что от твоей устойчивости должно зависеть счастие твое собственное и твоих родителей; на деле выходит гораздо простее, и я наперед поздравляю тебя с неожиданным счастием. Рано или поздно, но природа берет права свои!

Целительный бальзам разлился в моих жилах, и я существовал счастием моих родителей. В то время ни Неонилла, ни Мелитон меня не занимали.

Настал роковой час, и дворцовый старшина ввел нас к гетману. Державный старец сидел в глубоком безмолвии; Куфий, облокотясь на окно, стирал слезы с усов своих. Я бросился к ногам гетмана и обнял его колена; он закрыл руками глаза свои и пробыл довольно времени в безмолвии. После сего, простерши ко мне правую руку, сказал:

— Встань, сын моей Евгении, дочери преступной, но никогда не перестававшей быть драгоценною для родительского сердца, встань и приближься к сердцу деда, который никогда не забудет заслуг твоих.

Я встал, пал в его объятия, и горячие слезы мои оросили чело повелителя. Видя сии несомненные знаки чувствительности родительской, дядя Король быстро подошел к гетману, пал на колени и облобызал края его одежды. Куфий приблизился к трону и воззвал:

— Да здравствует Никодим, победитель над злейшим врагом — над самим собою! Прощение, примирение, счастие!

Никодим, указав места для меня и дяди Короля, произнес:

— В воздание тебе, Неон, которому обязан я свободою и возможностию исполнить любимое намерение свое — передать Малую Россию в материнские недра Ве-

ликой,— забываю непомерную дерзость отца твоего и матери. Дядя твой Король показал собою пример непамятозлобия. Я обидел его чувствительнейшим образом, и он поддержал мою славу. Король! считай меня в числе искренних друзей своих.

Дядя Король снова припал к стопам гетмана, и сей, подняв его, продолжал:

— Чрез два дня все отправимся в жилище Леонида и Евгении; но строго запрещаю всякому извещать хозяев о моем намерении. Я хочу со словом «прощаю!» дать им почувствовать всю великость сего слова. Уже сделаны распоряжения к сей поездке, и вся Малороссия не иначе сочтет ее, как путешествием гетмана для личного осмотрения полков своих.

Кто опишет наше общее блаженство! Я и дядя Король обедали за столом повелителя и расстались ввечеру в надежде совершенного примирения. Приготовление к пути со стороны нашей производилось с возможною поспешностию. На третий день начался поход по дороге к Переяславлю. Каждый шаг гетмана ознаменован был правосудием и щедротою. Чуть не забыл сказать, что восхищенный Истукарий с сыном были в числе наших спутников.

В десятый день пути шатры гетманские разбиты на краю леса, граничащего с оврагом, вмещавшим в себе жилище моих родителей, на том самом месте, где я некогда умирал от озноба. Дано повеление приготовить обед самый великолепный, и в ожидании оного гетман решился повидаться с детьми после двадцатитрехлетней разлуки.

Спускаясь с косогора на долину, гетман почувствовал слабость. Простерши обе руки ко мне и дяде, он произнес дрожащим голосом:

— Поддержите меня. Я мог весьма долго питать в сердце своем гнев и мщение, не ощущая расслабления телесного; но теперь, когда готовлюсь примириться с природою, освятить права ее и опять назваться отцом семейства, какое-то непонятное чувство разносит во мне состав от состава, и я истаиваю!

Я и дядя Король поддерживали старца под руки; огромная великолепная свита нас провожала, и в сем порядке приблизились все к господскому дому. Приметная мрачная суета наполнила сию обитель спокойствия. Едва вступили мы на крыльцо, как мои родители, поддержи-

ваемые Мелитиною и Неониллою, показались и дрожащие колена преклонили пред державным старцем. Несколько мгновений он оставался в прежнем положении, заключен будучи в мои и дядины объятия; наконец простер руки к небу и воззвал:

— Отец любви и милосердия! благослови сих чад моих, как я благословляю! Познаю премудрый промысел твой! Не для того сохраняешь ты свое создание, чтобы властелины земли разрушали оное.

Тут гетман прослезился и пал на руки отца моего и матери. Неонилла с сыном на руках довершила сию трогательную картину. Истукарий обнял ее с нежностию и сказал:

— Я охотно последую примеру высокоповелительного гетмана и с такою же готовностию прощаю тебя, дочь моя, с какою он простил свою. Обе вы равно виновны и — равно наказаны угрызением своей совести, а вместе с сим подаете пример, что насилие над сердцами человеческими не производит ничего доброго. Да будет благословен и препрославлен бог, который и самые погрешности наши устрояет во благое!

Какое счастие озарило лица всего семейства! Гетман введен в дом и усажен в покойных креслах. Никогда не казалось лицо его столько величественно: оно сияло лучами горней радости, бывающей уделом одной непорочности. Гетман не мог налюбоваться прекрасною Мелитиною.

— Дитя мое,— говорил он, облобызав чело ее,— каким случаем нахожу тебя дочерью моей дочери, когда много раз видел тебя в доме Евареста и знал под именем его родственницы?

— Дружба не менее могущественна, как и любовь,— сказал Еварест, преклонившись пред повелителем,— и если ты удостоишь своим благословением, то прелестная Мелитина в скором времени назовется моею дочерью.

— Если будет на то соизволение вышнего,— отвечал гетман,— то и мне противиться не для чего.

Среди такого упоения радости, самой чистой, блаженной радости время летело на крилах быстротечных. При мирном завтраке Куфий, налив кубок меду, возгласил:

— Сей напиток очень сладок; но клянусь, Никодим, что для меня еще сладостнее смотреть на кроткое, испол-

ненное любви и благости лицо твое! Если ты весьма долго лишал себя счастия, то по крайней мере теперь вполне насладись оным, по своей доброте ты сего достоин.

Все многочисленное семейство торжествовало сей радостный праздник обедом в шатре гетмана. Звуки бубнов и кимвалов раздавались в воздухе и умножали блеск веселия. Гетман пробыл семь дней в поместье своего зятя и признавался, что редко пользовался таким здоровьем, следовательно, и счастием.

В течение сего времени я имел случай подробно рассказать отцу и деду о несчастной судьбе бывшего товарища моего, философа Сарвила. Ах! кого бы не подвиг на сожаление один взор на томную, изнеможенную Серафину и прекрасных ее малюток! Гетман, узнав обстоятельно о великодушии помянутого разбойника, сказал:

— Постараемся сколько-нибудь уподобиться богочеловеку, который, быв пригвожден ко кресту, простил висевшего подле него злодея и обещал ему царствие небесное!

По особенному распоряжению гетмана двое нарочных отправились в Запорожье с письмом к воинскому атаману для отыскания Сарвила и присылки в Батурин: милостивое прощение торжественно было обещано. Сей убитый роком предстал пред судию и преклонил голову под меч правосудия, которое на сей раз было милующею матерью. Он включен в число гетманских телохранителей и скоро сделался примером честности и терпения. Теперь, когда я сие пишу, он служит уже сотником, и если бы случай открыл военные действия, то — сколько нам известно — гетман не усомнился бы наречь его старшиною.

Само собою разумеется, что отцу моему не только возвращено было родовое имение, но и тесть присовокупил к тому часть от своих поместьев. Спустя два месяца после примирения Мелитина соединена с Кронидом. Умный дядя мой Король, расположась навсегда остаться одиноким, поселился в одном доме с другом и братом. Мир и спокойствие, сии неоцененные дары провидения, осенили наши семейства. Все прославляли бога, делали добро другим по мере возможности и были счастливы.

ГАРКУША, МАЛОРОССИЙСКИЙ РАЗБОЙНИК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1 Повод к мести

Повествователи необыкновенных происшествий! Всегда ли и все ли вы старались вникнуть в первоначальную причину оных? Ах, как горестно для всякого, не говорю уже для чувствительного человека, видеть, что погибает сочеловек, по промыслу божию снабженный от природы весьма достаточными дарованиями, а потому неоспоримым правом на счастье! Источники злополучия его крылись, с одной стороны, в нем самом, с другой — в предметах, его окружающих.

В прекраснейшей стране под российским небом, в пределах украинских, в помещичьем селении жил молодой пастух Гаркуша. Он был статный, дородный молодец и самый сильный из всей деревни. Все девушки загляды-

вались на Гаркушу, видели румяные щеки его, черные кудрявые волосы, широкие плечи, крепкие мышцы и не могли не отворачиваться, смотря на его свиту [1], всю в лохмотьях, украшенную дегтярными пятнами, прильнувшими к ним клочками овечьей шерсти, и на постолы [2], кои казались рыжее глины [3]. Он был сирота и беднее всех из деревни. Несмотря на то, самые даже мужчины имели его в почтении. Никто не мог превзойти его в ловкости на кулачных боях, в проворстве на плясках и в звонкости голоса во время песен. Он играл на гудке и волынке не хуже одноглазого деревенского музыканта, который считался чудом искусства во всей округе.

В Малороссии — так, как и во всем свете,— всякий и всякая, идучи в церковь, наряжаются сколько можно великолепнее; а как у бедного Гаркуши и самое праздничное платье было хуже, чем у других будничные, то он редко посещал храм божий, а довольствовался во время священнодействия стоять на паперти и со смирением мытаря творить свои молитвы. От природы, подобно всем малороссиянам, не побывавшим еще на Руси, был он набожен и свято соблюдал правила, переданные ему родителями. Он почитал за великий грех по постам есть скоромное, красть, ласково смотреть на пригожую жидовку-шинкарку и тому подобное.

В конце сентября распустил он стада свои, собрал условленную плату, состоящую в съестных припасах, достаточных на прокорм его и двух бодрых псов чрез целую зиму, да деньгами два рубли, и скрылся в уединенную свою хату. К великому его злополучию,— невольный вздох при воспоминании о сем вылетает из груди моей,— к величайшему его злополучию, скажу я, настал день его рождения и — в день воскресный. Ему исполнилось двадцать пять лет. Гаркуша, как стал себя помнить, всегда посвящал его на славословие божье, служил молебен и после отлично угощал — псов своих, ибо никто из людей не удостоивал его посещением, да он нисколько о том и не печалился.

---

[1] С в и т а — верхнее шерстяное платье домашней работы. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] П о с т о л ы — род кожаных лаптей, употребляемых частью народа, для которого сшить сапоги дорого. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[3] В Украине у простолюдинов почитается за щегольство, чтоб обувь сколь можно чаще вымазана была дегтем, а особливо в праздничные дни. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

И на сей раз Гаркуша не отступил от своего правила. Он чисто-начисто выбрился, закрутил усы, намазал постолы дегтем, надел довольно чистую свиту и отправился в церковь. Он стал у самого крылоса, ибо никого еще там не было, и начал молиться, как умел. Мог ли он подумать, что с того дня, столько для него святого, начнутся его бедствия? Ах! Лучше, стократно было бы лучше, если б он остался дома и готовил обед для себя и косматых своих собеседников!

Мало-помалу церковь начала наполняться народом, наполнилась, и священнодействие началось. Когда Гаркуша со всем усердием творил земные поклоны, то некто из народа толкнул его в спину столь небрежно, что он плотно стукнулся лбом об пол. Поднявшись, он видит подле себя Карпа, племянника своего старосты.

— Посторонись!— сказал тот надменно.

— Некуда!— отвечал Гаркуша.— И всякий имеет такое же право сего от меня требовать, как и ты.

— Ба!— сказал племянник старосты,— так я равен тебе, негодный?

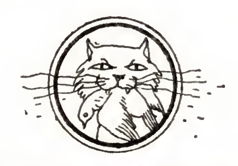
— Я такой же христианин,— отвечал сей и продолжал молиться; но соперник его шепнул что-то на ухо дьяку Якову Лысому, и сей знаменитый сановник, сошед с крылоса, взял Гаркушу за руки, повел по церкви, потом, выведши за двери, сказал:

— Оставайся здесь, невежа, когда не умеешь смиренно стоять во храме, иначе — ты меня знаешь: покайся во грехе и смирись!

Несмотря на проливной дождь, ветер, град, словом, на все собравшиеся октябрьские непогоды, Гаркуша смиренно простоял на паперти до окончания службы, выждал всех людей и уж хотел вступить в церковь для отслужения молебна, как показался священник со своим причтом. Сколько ни умолял его Гаркуша воротиться, удвоивал и утроивал обыкновенную плату, тщетно! «Для чего не сказал заранее»,— был ответ, и скоро все скрылись.

С стесненным сердцем, со слезами на глазах воротился Гаркуша в свою хижину, и в первый раз ласки верных псов не могли развеселить его. Он отобедал без вкуса, пасмурно сел на скамье, и — мщение представилось воображению его в прелестном виде добродетели или сознания своего внутреннего достоинства. «Виноват ли я,— сказал он с видом презрения,— виноват ли, что никто из

предков моих не был не только старостою, но даже ни сотским, ни десятником? Виноват ли, что я молился господу богу в смурой и старой свите, а противник мой в белой и новой свите толкнул меня в спину? И за то лишать меня лучшего удовольствия отслужить молебен ангелу-хранителю? О, это не пройдет вам даром — тебе, пан дьяк Яков Лысый, и тебе, Карп, племянник старосты! И я сумею лишить вас любимых предметов!» Долго рассуждал он о роде отмщения и о способах к достижению оного. Наконец утвердился в мыслях и произвел в действо свое предприятие.



Глава 2 Мщение

У пана дьяка Якова Лысого была в саду голубятня, и в ней,— как известно было всему селению,— водились лучшие голуби, и Яков Лысый любил охоту сию более всего и охотнее лазил на голубятню, чем вступал в чертоги жида, содержащего шинок, хотя и туда ходил он охотнее, чем на крылос. Чтобы удовлетворить своему вкусу, то он располагал время так: в воскресный или праздничный день—по необходимости—бывал он на крылосе, а после посещал прихожан; и как проживал у него отставной капрал, обучавший крестьянских детей грамоте, то посещениям пана дьяка везде были рады. В понедельник лазил он на голубятню, чистил, выметал перья, переменял корм и питье, сплетал новые соломенные гнезда или чинил старые и любовался, смотря на круги, делаемые козырными в воздухе, или слушая их воркованье. К вечеру собирал своих любимцев, запирал храмину их деревянною задвижкою и спускался наземь. Во вторник с утра входил он во храм жидовский, толковал собравшимся посетителям затруднительные места в ежедневных молитвах, рассказывал о подвигах угодников, о проказах злых духов и о прочем тому подобном, а за то во весь день ел и пил на счет благочестивых слушателей. Такое препровождение времени пана дьяка Якова Лысого известно было всему селению, а потому и Гаркуше, и на сем-то сведении — покамест — основал он свое мщение.

В числе имущества Гаркуши были у него доморощенные кот и кошка. Сии-то орудия ко мщению запер он в пустой чулан, решившись твердо продержать там три дня, не давая ни куска хлеба. Сколько бедные твари ни кричали, так звонко, так жалобно,— он пребыл непоколебим в своем слове, говоря им в утешенье: «Поститесь, друзья мои, хорошенько! Скоро я доставлю вам богатое разговенье!»

В сумерки третьего дня, когда глубокий мрак покрыл природу, Гаркуша изловил своих великопостников, запрятал в кулек и пошел, куда надобно. Для него ничего не значило перелезть забор и взобраться на голубятню. С трепетом сердца отпер он дверь, впустил туда голодных супостатов, запер, сошел на низ и прибыл домой. Он не мог налюбоваться сам собою за такую замысловатую выдумку. Рассуждая о сем долее, он нечаянно попал на мысль, чтобы к довершению своего удовольствия быть свидетелем поражения дьякова при виде разорения.

Поутру на другой день отправился он к жиду, где застал уже велеречивого витию, рассказывающего о каком-то чудесном похождении Асмодея. Гаркуша нечувствительно завел речь о голубях и с таким жаром, с таким восторгом превозносил сию охоту, что Яков Лысый умилился. Они попотчевали один другого, и Гаркуша предложил: не продаст ли он пару ему, дабы и он со временем мог наслаждаться подобным благополучием? Хотя и не скоро, однако, видя неотступные просьбы, а особливо двойную плату, ибо Гаркуша давал гривну, когда везде можно было иметь пару за пять копеек, Яков склонился.

— Хорошо!— сказал он, принимая в задаток целый пятак.— Только не сегодня, ибо я по сим дням обыкновенно до ночи не выхожу отсюда. Завтра поутру приходи ко мне, вместе взлезем на голубятню, и ты выберешь.

Того-то и надобно было Гаркуше. Рано поутру посетил он дьяческие палаты, запасшись сверх платы полною сулейкою. Ему хотелось привести хозяина в состояние, в котором всякое впечатление чувствуемо бывает несравненно живее, поразительнее. Яков Лысый был немаловажный политик. Видя запас Гаркуши, он поставил на стол пироги, и оба принялись за дело, безумолкно беседуя о голубях. Настал день — и наши охотники отправились за добычею. Дверь голубятни открыта. Не только мое, но и Мейснерово перо слабо описать весь ужас, поразивший Якова, когда увидел, что две большие кошки

бросились к нему под ноги, каждая держа во рту по трепещущему голубю. Они спустились вниз и скрылись в кустарниках. Окаменелый Яков неподвижными глазами смотрел вслед за ними, потом обеими руками ударил себя по лысине и громко возопил:

— О блаженный Исаакий! Возможно ли? Уж не дьяволы ли в образе кошек пришли сюда соблазнять меня? Неужели и я праведен, что они приняли на себя труд сей? Посмотрим!

Трепещущими — Яков от горести, а Гаркуша от удовольствия — стопами вошли они в голубятню. Пол покрыт был опрокинутыми гнездами, разбитыми яйцами, издохшими голубятами и перьями. Из возрастных — иные были загрызены, другие изувечены: кто без ноги, кто без крыла, кто без хвоста. Яков, видя сие бедствие, зарыдал велегласно.

— Это не даровое,— вопиял он,— конечно, какой-нибудь потаенный злодей сочинил мне сию пакость, да приимет его сам сатана в свои объятия! Ни одного голубя нет в целости! Ну, приятель! Вот твой пятак назад! Видишь — не моя вина, что отступаюсь от своего слова!

— Очень вижу,— отвечал Гаркуша, хладнокровно принимая свой задаток.

Они спустились: Гаркуша пошел к своей хате, а Яков,— коему нечего уже было делать на голубятне,— печально побрел в шинок, где с пролитием многих слез поведал о злосчастии, сделанном ему демонами, конечно, в отмщение за богоугодную жизнь его!

— И я видел на обратном пути отсюда,— сказал племянник старосты Карп,— это было третьего дня в глубокие сумерки, одного демона, лезущего через забор твоего сада. Я подошел ближе и узнал его. Он держал в руках кулек с маленькими демонами, которые ужасно мяучили. Любопытство заставило меня остановиться. Этот рослый демон прошел твой сад и взлез на голубятню, а что там делал, не знаю. Демон сей попросту, то есть по-нашему, называется Гаркушею, а малые демоны по голосу совершенно походили на наших кошек.

Кто изобразит ярость, злобу, бешенство, покрывшие пространное чело Якова Лысого? Пришед в себя, он бросился в дом старосты, поведал ему свой убыток, свое отчаяние и — требовал должного правосудия!

Дело само по себе было такой важности, что необходимо должно было произвести немедленное исследова-

ние. Староста течет в сборную хату, созывает десятских и выборных, объявляет им о доносе пана дьяка на Гаркушу и повелевает пред судилище свое представить обвиняемого. Выборные вскоре явились с Гаркушею, донеся, что они застали его хохотавшего, смотря, как коты его забавлялись голубями, причем и сих страдальцев показали, заключив, что и законопротивные кошки были бы также преданы суду, если бы не ускользнули от рук их.

Гаркуша противу таких свидетельств ничего не мог представить в оправданье, посему, яко голубубийца, тать, нарушитель тишины, по мирскому определению изрядно был выстеган лозами и принужден заплатить Якову Лысому в вознаграждение убытка рубль деньгами.

Глава 3 Вдвойне наказан

Это не то уже для Гаркуши, что быть выведену из церкви. После истязания и заплаты денежной пени он, оставшись один, погрузился в мрачную задумчивость. Темное чувство *справедливости* вперяло ему, что он, конечно, не прав, обидя дьяка самым чувствительным образом; но ему также казалось, что в вознаграждение убытка довольно было взять с него только рубль; а потому стегание лозами было лишнее, и он считал его неправосудным, а потому достойным отмщения. На сем чувствовании он опять остановился.

В самую мрачную осеннюю ночь Гаркуша вторично переправился в сад дьяка, осмотревшись прежде внимательно, нет ли где опять свидетеля его подвигов. С возможным старанием трудился он в продолжение всей ночи и уже на рассвете воротился в хату свою благополучно. Что же он делал? Он подпилил все лучшие деревья, оставя их на пнях, так сказать, на нитке. Яблони, груши и все, что стоило труда,— истреблено было. Одни кустарники смородины, крыжовнику и прочие пощажены были. Как в такую пору года никто не занимается садом, а особливо в Малороссии, где на попечение одной природы оставляют сады на зимнее время, то и пану дьяку Якову

в голову не приходила новая пакость, мщением ему сделанная.

Довольно времени прошло со всех сторон покойно, и Гаркуша терпеливо ожидал исполнения своей мести. В ноябре месяце поднялась сильная буря. Яков Лысый с несколькими гостями сидели в теплой храмине, окнами в сад, и громко рассуждали о чертях и оборотнях. Вдруг раздается в саду ужасный треск, как бы целый дом обрушился. С трепетом все вскочили с мест, перекрестились и бросились в сад. Кто опишет общее поражение, а особливо хозяина! Лучшая яблоня, валившись с корня, обрушилась на голубятню и ее стащила с собою на землю. Все стояли разинувши рты, как повалилась груша, там опять другая яблоня и еще другая груша, а в скором времени и все деревья попадали на снег. Пан дьяк дрожал от ужаса, жалости и недоумения, которое тем более его поражало, что в соседних садах нигде не видно было подобного опустошения. Он покушался думать, что тут не без вражьей силы,— как один из гостей посмелее других пошел далее, смотрел одно дерево, там другое, третье, наконец все и, воротясь к изумленным, сказал:

— Видно, пан дьяк намерен завести винокурню, что столько запас дров. Мудрено ли, что деревья падают, когда он подпилил их?

— Как так?

— Посмотри сам!

Все с любопытством бросились смотреть и увидели, что деревья действительно были подпилены.

— Вот задача!— Яков задрожал; глаза его помутились, щеки побледнели.— Кто ж бы это со мною сделал?— возопил он болезненно.— Беда за бедою! Недавно бездельник истребил голубей моих, а теперь и голубятня на земле!

— Почему знать,— заметил один из гостей с таинственным видом,— может быть, и это его же дело!

На сем замечании все остановились. Начались словопрения, соглашения и противоречия, а все кончилось тем, что клялись как можно внимательнее примечать за Гаркушею; примечали, но ничего особенно не могли приметить.

Может быть, да и вероятно, многие прежде меня заметили, что праздность и любовь родные сестры. Что делать пастуху в зимнее время? Когда он сыт, согрет, одет и обут, то непременно надобно любить. Многие любите-

ли пастушеской жизни повествуют в стихах и прозе, что весна есть самое удобное, самое природное время любви. Может быть, это и правда вообще, но порознь — нет! Кто каждое утро до рассвета должен оставить деревянное ложе свое, собрать блеющих и мычащих собеседников наступающего дня, в течение которого должен внимательно смотреть за ними, оберегать от волков и следствий собственной ревности, тому по возвращении домой ничто на ум нейдет, кроме насыщения и сна. Но зимою — совсем иначе!

Гаркуша из всех девушек в селении привязался к дочери ткача Марине; не потому, что она была недурна собою и достаточная невеста, но потому, что была невеста Карпа, племянника старосты. Опять ввязалось проклятое мщение, ибо Гаркуша никак не мог забыть, что сей племянник обидою, сделанною ему в церкви, был первою причиною настоящего его несчастья.

Марина была девушка сметливая. Она не хотела отказаться от неуклюжего Карпа, поелику он был богат; но также уклониться от статного, сильного Гаркуши казалось ей неразборчивостью. Да и для чего умная хозяйка не может иметь необходимого в доме своем запаса?

Дело пошло на лад. Взоры Гаркуши были красноречивы, слова сладки, а уверения так обольстительны, что Марина недолго колебалась. Он сулил ей золотые горы и представлял картину счастливой любви, сопровождаемой спокойствием и довольством, так красноречиво, что в один из тех часов, в которые и строгие отшельники, чтобы удобнее противиться бесовскому наваждению, должны смотреть на сухой остов, есть один хлеб и запивать водою,— что в один из роковых часов Марина, не имевшая понятия об остовах и диете, не могла воспротивиться приманчивому демону плоти и отверзла пламенному Гаркуше все, что только могла отверзть ему. Молчаливый овин был торжественным храмом любви и куча мягкой соломы жертвенником, где принесла она сей богине первую жертву.

Где есть начало, там по обыкновенному ходу природы должны быть продолжение и конец. Начало сделано под благотворным звезд влиянием, продолжение шло наилучшим образом, а конец был — самый обыкновенный. Из сего небольшого предисловия всяк догадается, что посещения овина были не бесплодны, и Марина через несколько недель с плачем повестила своего любезного, что но-

сит уже под сердцем молодого Гаркушу, между тем как свадьба назначена в первый воскресный день.

— Чего ж тут плакать?— воззвал Гаркуша.— Ты таки и выходи с богом!

— Ах, муж мой тотчас обо всем догадается!

— Да, он сметливый парень!

— Он меня будет бить!

— А я его побью, и за каждую пощечину получит добрую поволочку.

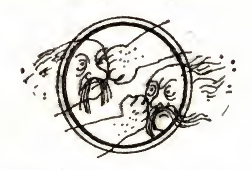
— Но что из того будет?

— Что всегда бывает! Кто охоч бить других, тот и сам должен готовиться быть битым!

— Он спросит об имени моего любовника.

— От тебя будет зависеть, объявить о том или умолчать!

После сего разговора и некоторых взаимных утешений любовники положили до окончания свадьбы оставить овин, дабы в остальное время невеста могла сколько-нибудь исправить беспорядок.



Глава 4 Шила в мешке не утаишь

Гаркуша употребил всю свою политику, дабы Карп пригласил его на свадьбу в числе бояр [1], на что сей более склонился, зная удальство его в игре и пляске. Праздничный день настал и кончился. Жених и невеста — стали мужем и женою, и пир поднялся огромный. Большая половина лучших людей из селения тут присутствовали. Гаркуша играл на гудке, как второй Орфей, и вероятно искуснее фракийского, и плясал запорожские пляски. К полуночи, когда мед, пиво и вино ошеломили собеседников и собеседниц, то последние отвели молодую в опочивальню, раздели и уложили в постель; после чего молодой своею собратиею тоже разоблачился, и одни гости воротились продолжать торжество. С четверть часа

[1] Боярин у малороссиян есть холостой детина, жениха приятель, сопровождающий его во время свадебных обрядов. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

продолжалось в храмине новобрачных глубокое молчание, как вдруг раздался пронзительный крик, вопль, плач и глухой гул от наносимых полновесных ударов. Гости и гостьи опрометью бросились к дверям и стали прислушиваться; а Гаркуша, видя, что в случае неустойчивости Марины будет ему беда неминучая, укрался на двор и пустился бежать — без сомнения домой, чтобы обдумать следствия своего поступка и поискать способов выплестись из опасности? Совсем не то! В Малороссии — да, думаю, и во многих местах нашей империи — есть поверье, что отец и мать молодой не участвуют в свадебном пире. Они сидят запершись в своем доме, читают молитвы и ждут, как страшного суда, извещения от зятя или его домашних, какою найдена дочь их. Если в надлежащем порядке, то они дарят вестника, или и двух, щедро потчевают и в радости сердца дожидаются утра; ибо лишь молодые встанут и явятся обществу, то вся ватага идет с торжеством к отцу невесты — и пир снова поднимается. По сему-то обычаю почтенный ткач с супругой и ближними родственниками сидели в своей хате в глубоком молчании. При малейшем шуме они прислушивались, не идет ли желанный вестник. Немного за полночь послышался сильный стук у дверей; все вздрогнули и вскочили. Ткач перекрестился, отпер двери, и Гаркуша явился с величественным видом. После обыкновенных приветствий он сказал ткачу с улыбкою:

— Хозяин! Если ты хорошенько попотчуешь гостя, то он скажет тебе весть, за которую очень благодарен будешь.

Обрадованный хозяин бросился в другую горницу и вынес оттуда новую шапку. Он подарил ее Гаркуше, а хозяйка поднесла кубок наливки.

— Добрые люди,— сказал Гаркуша,— если вы любите дочь свою Марину, то не теряя времени — бражничать и после можно — спешите к ней на помощь; иначе злодей муж с родством своим убьет ее до смерти! Тогда будете плакать, да поздно!

Окаменелые родители и родственники неподвижными глазами смотрели друг на друга, а Гаркуша, вышед из дому, пустился своею дорогою, не могши нарадоваться успехом своего мщения. Ему и очень жаль было Марины, но он в оправдание свое говорил: «Нет, ничего! Хоть ее и побьют, но дело пойдет своим чередом. Она скоро забудет побои и утешится; но проклятый Карп всякий

раз, взглянув на первое дитя жены своей, вспомнит Гаркушу, и кусок хлеба выпадет у него изо рта».

Рано поутру посетил его приятель, пастух Фома, бывший также на свадьбе, и поведал следующее:

— Гости, потеряв терпение дожидаться окончания побранки между молодыми, выломали двери в опочивальне и все туда ринулись. Они увидели бедную молодую, растянувшуюся на полу, и мужа ее, не щадящего над нею ни рук, ни ног своих. Увидя гостей, он остановился ратовать, дабы перевести дух; после обстоятельно рассказал о своем несчастии и в доказательство сего представил лоскутья от жениной рубахи.

— Она же,— возопил он,—не хочет открыть и имени моего злодея.

Гости и гостьи подняли ужасный крик, а оттого и не слыхали, как вошла другая толпа на двор, а там и в горницу. Мы не прежде опомнились, как услышали позади себя также вопль, оглянулись и ахнули. То был свирепый ткач со своими провожатыми. Первый он поднял дубинку и поразил зятя по макушке, от чего тот растянулся подле своей супружницы. Тут последовало всеобщее поражение. Матери молодого и молодой, не теряя времени на пустое болтанье, дали одна другой по доброй пощечине и вцепились в волосы, отцы тому подражали, а мы все — их примеру. Волосы трещали, чубы сделались кармазинного цвета, из глаз текли слезы, а из носов кровь. Бог весть, чем бы это кончилось, если бы премудрый дьяк Яков Лысый не угомонил их речью, какой я отроду не слыхивал. Он из писания доказал, что дело уже сделано и пособить нечем, кроме как сохранением ненарушимой тайны; причем заметил, что дабы обеспечить тайну сию надежным залогом, то родители молодой обязаны дать двойное приданое ее мужу и одарить всех гостей, которые поклянутся не выносить из избы сору. Марина же с своей стороны, дабы доставить мужу случай отмстить за обиду, должна объявить имя своего обольстителя.

Все одобрили спасительный совет Якова Лысого. Муж первый подал согласие, там сваты и сватьи, а наконец и прочие. Одна молодая долго хранила упорное молчание. Ропот опять начал подниматься, и молодой заблагорассудил было нагнуться, дабы опять вцепиться в косы, как ткач, остановив его, сказал:

— Не трудись, дорогой зять! Если сия негодница не скажет нам правды, то я первый ощиплю у нее до последнего волосы.

После сего приступили к ней все: кто с угрозами, кто с ласковыми обещаниями, и — она сдалась. Когда дрожащими губами произнесла она имя Гаркуши, то у всех остатки волос стали дыбом. Муж побледнел, отцы побагровели, все пришли в такое исступление, как будто бы объявила она, что имела любовную связь с крокодилом или Змеем Горынычем.

— Ах, он, проклятый! — вскричали и гости и хозяева изо всей силы.

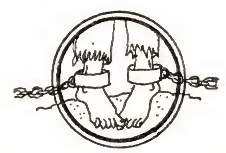
— Возможно ли? — возопил пан дьяк, ударив себя по лысине.— Злодей лишил меня целой голубятни, а тут еще злее напроказил!

Староста, подняв руки вверх, воззвал:

— Не будь я староста, если при первом рекрутском наборе не упеку разбойника!

Словом: ни одного мужчины и ни одной женщины не было, которые бы не предали тебя проклятию; но сколько я мог заметить, то сие было действием зависти. Каждый мужчина, смотря на Марину, досадовал, для чего не он избран был ею к разрешению уз девства, и каждая из женщин помышляла: для чего не я была на месте Марины?

Мало-помалу все успокоилось. Молодых снова уложили, а сами принялись за веселье, которое и продолжалось до сих пор; теперь же все ринулись на двор ткача продолжать пир и получить подарки; а я бросился к тебе объявить по дружбе все виданное и слышанное. Прощай!



Глава 5 Наказанная оплошность

Гаркуша, оставшись один, вместо того чтобы подумать об опасностях, ему угрожающих, не мог нарадоваться мыслью сделаться когда-либо воином. Это состояние нравилось ему преимущественно, но не было никакого способа достичь предмета своих желаний. До сих пор он

вел себя так, что помещик его пан Кремень не имел на него никаких жалоб.

Прошел месяц и более после замужества Марины. Начала появляться весна с ее заботами. Нетерпеливый Гаркуша каждую ночь поджидал свою любезную в овине, но тщетно. Хотя связь сию начал он из шалости, но после сила привычки и время от времени возрастающее чрево Марины поселили в сердце его какую-то нежность и непреодолимое желание обладать ею — если не исключительно, по крайней мере пополам с другим. В церкви, на базаре, где только мог встретиться с прелестницею, делал ей прежние условные знаки глазами и руками — все напрасно! Марина худо на него и глядела. Она или боялась мужа, или нашла в нем нечто такое, чего не имел любовник; как бы то ни было, Гаркуша лишился ее благосклонности и, заметив то обстоятельство, решился,— злой дух опять поймал его в свои сети,— решился отмстить за мнимую сию обиду.

В свободное время, ходя по улицам, по базару или сидя в шинке жида, повествовал он всякому любопытному и нелюбопытному, что он не только был доступным любовником Марины во время ее девичества, но что она и матерью будет его дитяти, а не Карпова.

Таковые речи недолго кроются в народе. Они скоро достигли мужнина слуха и жестоко оный возмутили. Снова пристал он к жене с допросами, но храбро был встречен противоречием, ругательством и другими женскими орудиями, употребляемыми с немалою пользою в подобных случаях. Карпу и всему родству ничего более не оставалось, как терпеливо дожидаться времени родин. Мир опять водворился в семействе — но надолго ли? И великие люди на некоторых пунктах делают важные ошибки, то пастуху ли Гаркуше остеречься на всяком случае? В одну из ночей, проведенных им в объятиях Марины в скромном овине, он вздумал усилить любовь ее к себе, рассказав подробно удальства свои и хитрые замыслы. При сем случае главное место занимало истребление голубятни и сада дьякова. Мог ли он подумать, что таковое хвастовство будет для него гибельно?

В надлежащее время Марина — после семимесячного супружества — благополучно родила здорового мальчика, который, как говорится, был вылитый Гаркуша. Что теперь делать бедной матери, что делать оторопелому мужу, что делать всем родственникам и знако-

мым? Все чесались в затылках, вздыхали и не знали, за что приняться. Побоями тут уже ничего не сделаешь; одно средство, которым несколько можно поправить порчу,— есть отмщение обидчику. Но как к нему приступиться? Преждевременные роды и сходство лица дитяти с лицом Гаркуши для него ничего не значат. Мало ли что бывает на свете.

Марина — как сказано выше — была женщина сметливая, что в просторечии значит то же, что в дворянском слоге изобразится словом: была женщина политик. Она вдруг нашла способ отвратить от себя наступающую бурю и отмстить Гаркуше за его злодейскую нескромность. По ее зову собираются к ложу роженицы муж, отец, свекор, свекровь и все ближние. Сим-то, пылающим мщением, открывает она, что если хотят достойно покарать своего обидчика, то она знает к тому вернейший способ. Тут объясняет, что истребивший голубятню и сад у дьяка Якова есть один и тот же Гаркуша и сие она готова утвердить в суде под присягою. Слышавшие сие несказанно обрадовались. Тотчас послали за Яковом Лысым, и когда он предстал к сонмищу, Марина и ему то же поведала. Дьяк несколько времени пребыл в великом недоумении, а после, ухватив себя за уши, вскричал:

— Дозволю последнему цыгану оторвать оба уха с корнем, если примерно не отмщу проклятому разбойнику Гаркуше. Возможно ли? Голубятня истреблена, сад попорчен, Марина — и того более!

Посланные десятские схватили ничего не знавшего о том подвижника и в мирской избе приковали к столбу, расположась на другой день произвести суд нелицемерный.

Месяц июль блистал во всем блеске своем. Тщетно бродящие кучи баранов и овец, козлов и коз с ранним утром ожидали своего пастыря, который бы проводил их на пажить. Гаркуша с унынием сердца смотрел в открытое окно на прежних своих собеседников и — стенал; не о том, что он прикован, что постился около суток, но что некоторое неба или ада вдохновенье — он не мог постигнуть того отдельно — говорило в душе его, что скоро, очень скоро он должен будет представить из себя нечто большее, нежели пастуха Гаркушу. Думаю, что никто не постигает в самом начале следствий первых своих ощущений и тогда познает их сколько-нибудь основательно,

когда на пути его представится огромная скала, запрещающая идти сим путем далее. Он должен или воротиться назад — путем обыкновенным, или карабкаться на гору — путем трудным, опасным, необыкновенным, который должен быть для него источником счастья или злополучия. Гаркуша решился лезть на гору, хотя точно предчувствовал, что рано или поздно должен оборваться и низринуться в пропасть.

Мирские судьи собрались. Староста, занявший место председателя, открыл присутствие красивою речью, сочиненною дьяком Яковом Лысым.

Гаркуша слушал против себя обвинение совершенно спокойно, подобясь человеку, которого приговор к казни уже подписан. Когда заседание кончилось тем, что тяжесть преступления не может быть достойно наказана определением мира [1] и должно все дело представить на благоусмотрение помещика пана Кремня, дабы он по своей власти назначил казнь, достойную заслугам, тогда územковали Гаркушу и торжественно повели ко двору панскому, стоявшему на выгоне.

Глава 6 **Примерный помещик**

Хотя нам до пана Кремня нет теперь особенной надобности, но как он образом жизни своей имел непосредственное влияние на судьбу Гаркуши, то надобно и об нем сказать несколько появственнее. Это был помещик селения, случайно вышедший, как говорится, в люди из толпы тех, кои сделались теперь его рабами. Этот Кремень, по обычаю всех нищих, сделавшихся богачами, был низок пред высшими его, зато пред своими несчастными подданными злодей, коему подобного вся тамошняя округа не видала. Он был зол, корыстолюбив, мстителен и дерзок до излишества. Не полагаясь на верность крестьян своих, он основал жилище вне селения подле густого леса, обнес его высоким забором, верх которого обшил терновыми снопами. В число служителей его со-

[1] Решением мирской сходки. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

браны были развратнейшие мужчины и распутнейшие девки. Слугами управлял бесчестный сын его, Иван, позор человечества, а служанками—Авдотья, дочь его, до такой степени безбожная, что, будучи двадцати пяти лет, превзошла в мерзостях самых опытных римлянок второго и третьего века. Старший сын сего пана был урожденный дурак, а меньшой очень еще молод и только начинал кое в чем подражать брату Ивану. Из сего всякий видит, что дом пана Кремня был Содом, давно достойный пожерт быть пламенем и земным и небесным.

К сему-то могущему пану представлен был на суд несчастный Гаркуша. Пан Кремень сидел на уступах крыльца в китайчатом халате и курил трубку. Толпа крестьян, держа посередине своего связня, окружила властелина. Яков Лысый, как обиженная особа, красноречиво и подноготно рассказал все злодеяния Гаркуши, свое разорение и требовал наказания и удовлетворения. Староста, десятские и выборные велегласно вопияли, что не могут ужиться с таким злодеем и развратником, а потому он, яко пан их, приложил бы попечение избавить достояние свое от губителя. Пан Кремень, внимательно выслушав обвинения, повелел замолчать. Долго осматривал Гаркушу с ног до головы и, видя его совершенно спокойным, спросил протяжно:

— Правда ли, что на тебя сии доносят?

— Правда!

Пан Кремень приведен был в удивление такою искренностью; ибо ни один обвиняемый так скоро не признавался в вине своей. Тогда он, нахмуря брови, сказал к собравшемуся народу:

— Приходите сюда завтра об эту пору. Я подумаю о способах удовлетворить вашим требованиям; а между тем Гаркуша останется в доме моем под здешним надзором!

Просители, хотя и неохотно, удалились. Пан Кремень, оставшись наедине с Гаркушею, спросил:

— Чего достоин ты по собственному рассуждению?

Гаркуша. Особенной от тебя награды! Я о делах твоих столько наслышался, что решился хотя несколько тебе уподобиться. Подобно тебе, не терплю я обид и готов мстить, сколько окажется во мне силы. Дьяк Яков Лысый и племянник старосты Карп меня чувствительно обидели; я отмстил и тем с ними расквитался.

Пан Кремень (*про себя*). Этот молодец по моему вкусу: он имеет дух благородный. (*Вслух*). Но если ты и подлинно столько храбр на деле, как на словах, то чувствуешь ли себя способным произвести что-нибудь поважнее, нежели пускать кошек в голубятни, подпиливать деревья и беременить девок?

Гаркуша. На все готов отважиться, если только совесть зазирать не будет!

Пан Кремень. А что разумеешь ты под словом совесть?

Гаркуша. Чувство, что я мщу за обиду, а не сам обижаю, накликаюсь на мщение.

Пан Кремень. Хорошо! Я сегодня же доставлю тебе случай быть мстителем, и за меня. Хоть я самовластный властелин твой и могу располагать тобою по своей воле, но я хочу, чтобы мне повиновались доброхотно, а не по принуждению. Если ты поручение мое исполнишь с честью, то не только свободен будешь от всякого наказания, но еще приобретешь мою особенную доверенность. Выслушай, в чем состоит дело. Верстах в десяти отсюда есть селение, принадлежащее пану Балтазару. Этот помещик из немцев. Владения наши река Псел разделяет. Лет пять тому назад стая гусей его и уток заплыла на мою воду и — не справедливо ли поступил я, велевши загнать их в мои сараи! Дерзкий Балтазар озлобился, нашел случай и из стада моего отбил десять овец с двумя баранами. Долго будет говорить о всех его нападках, в коих оказывал противу меня свою злобу, и простер ее до того, что, дабы подорвать мои доходы, он на реке Пселе устроил выше моей мельницы о четырех колах свою о двенадцати. Понимаешь ли всю важность обиды? Итак, я на отважность твою возлагаю достойное отмщение. При наступлении ночи, взяв человек шесть из дворовых людей моих, отправишься ты к мельнице обидчика и раскопаешь плотину в удобном месте, дабы и следа обеих не осталось. Мое дело будет вооружить всех вас достаточно.

Гаркуша с восторгом принял предложение и клялся, что произведет мщение в действо, хотя бы по сту чертей оберегало каждый кол и хотя бы мельник был крестным сыном водяного дедушки.

Начало смеркаться. Пан Кремень поднес Гаркуше и шести выбранным головорезам по стакану водки и, вручив по сабле и по паре пистолетов, отпустил с благословением, увещевая как можно стараться, чтоб никто не

проведал о их предприятии, ни даже из жителей своего селения. Они, запасшись сверх оружия ломами, заступами и топорами, отправились на свой подвиг.

В первый раз в жизни Гаркуша увидел себя из предводителя быков, козлов и баранов предводителем людей. Гибельное чувство властолюбия, подобно электрической искре, потрясло в основании душу его. Кровь закипела в жилах, глаза запылали. Я уверен, что и Александр Македонский не с большим самонадеянием оставлял свои пределы, дабы вторгнуться в персидские. К несчастью, сие чувство, поселясь единожды в душе человека, редко его оставляет и почти всегда сопровождает до самой могилы. Если бы Гаркуша был в числе бродяг, прибывших первоначально в новооткрытую Америку, то едва ли бы уступил, если не перещеголял еще знаменитых разбойников Кортеса и Пизарра.

Глава 7 Первое удальство

Около полуночи остановился Гаркуша на берегу реки. Мельница Балтазарова была уже в виду. Тут по приказанию его все спутники натерли лица и руки принесенною сажею, пришили в приличных местах к платью бычачьи хвосты и отправились на промысел. Все было тихо, везде покойно. Они перешли плотину до половины и главный запор вынули. Вода, будучи доселе наравне с берегами, хлынула с ужасным стремлением. Колеса, жернова, все задвигалось, затрещало, все пошло вверх дном. Устрашенный мельник, выскочив на плотину, крестился и читал громогласно молитвы для прогнания демонов, ломающих мельницы. В то время Гаркуша с товарищами стояли уже на своем берегу реки, радуясь первой удаче и разрывая весьма усердно плотину, что, так сказать, в один миг и исполнили.

На сей неслыханный шум и треск несколько крестьян, привезших по вечеру хлеб для помолу и спавших в ближнем перемехе, прибежали к берегу и, видя там более полдюжины дьяволов, окаменели от ужаса. Гаркуша спросил их охриплым, сиповатым голосом: что они за тва-

ри, что в такое время и в таком месте, которое искони принадлежит собственному ему с товарищами, осмелились предстать пред ними? Бедные крестьяне, собравшись с духом, бросились от них опрометью вдоль берега, прося помощи у всех святых. Гаркуша для наведения на них большего страха погнался с товарищами вслед за ними, крича, свистя, каркая, блея и лая. И самый несуеверный крестьянин пришел бы в трепет от такой адской музыки. Скоро увидели они подле набережных кустарников несколько телег, накладенных хлебом, и стреноженных лошадей, вблизи пасущихся. Гений Гаркуши воспламеняется. Он приказывает троим товарищам продолжать погоню с прежними завываниями по крайней мере на версту и после как можно поспешнее возвратиться; а сам между тем с другими тремя бросились к лошадям, переловили, впрягли и ожидали возвращения прочих. А чтобы удостоверить более, что дело сие не есть человеческое, они с каждого воза сняли по мешку, разрубили их на части и на довольное пространство рассеяли рожь и пшеницу, лоскутья мешков бросили у берега, а несколько в воду. Также у лошадей подстригли несколько хвостов и грив и с частями сих украшений то же сделали. Преследователи, возвратясь, донесли, что они загнали беглецов в тростники, буераки и трущобы, откуда, вероятно, до рассвета они не вылезут. После сего, севши на телеги, спокойно отправились окольною дорогою к дому своего пана.

Что касается до представления из себя водяных чертей, то это был обдуманный план Гаркуши; но поступок с крестьянами, о которых он нимало и не думал, должно приписать творческой силе воображения, присутствию духа и дерзости. Чего можно ожидать от теперешнего новичка Гаркуши, когда он сделается настоящим искусником в своем деле?

На рассвете дня витязи ввалились на задний двор панский. Пан Кремень, яко деятельный человек, редко просыпал зарю утреннюю. Узнав о прибытии исполнителей справедливой воли его, он поспешил на гумно. Увидя их в таком наряде, он немало подивился. Но когда Гаркуша с жаром и красноречием рассказал по порядку происшествие и указал на четыре воза с хлебом и на стольких же коней, то пан Кремень так восхитился, что едва удержался, чтобы не обнять изобретателя сей новости. Он обещал им вскорости прислать сытный завтрак и по-

зволил спать до самого вечера, в которое время явиться для принятия дальнейших приказаний. Уходя в свою комнату, он произнес со вздохом:

— Жаль, что такой храбрый и расторопный малый не дворянин! Хотя бы он был беднейший из наших шляхтичей, я не усомнился бы выдать за него дочь мою Авдотью. Чего бы не наделал я с таким зятем?

Глава 8 Правосудие

Вскорости бдительный дьяк Яков Лысый со вчерашнею сволочью явился во дворе панском, представлен пред судию грозного, произнес вчерашнюю речь и по-вчерашнему требовал правосудия и удовлетворения.

— Это дело,— отвечал пан,— рассмотрел я подробно, вошел во все обстоятельства и считаю Гаркушу не столько виновным, как вы показываете, а напротив, еще обиженным, и удивляюсь, что он не требует от меня должного над вами правосудия. *Во-первых:* ты, бездельник Карп, толкнул Гаркушу в церкви. Знаешь ли, какой это тяжкий грех? Вместо того чтобы смиренно просить извинения, ты начал невежничать и браниться. Ты же, корыстолюбивый дьяк Яков Лысый, вместо того чтобы по долгу своему вывести из храма зачинщика брани Карпа, ты вывел невинного Гаркушу? Знаешь ли, что сказано в писании? Не взирайте на лица богатых и бедных не обидите! *Во-вторых:* все вы знаете, что и маленький щенок огрызается, когда его дерут за ухо, а большой кобель и укусит. Как же можно было Гаркуше не отмстить за себя в обиде, всенародно ему нанесенной? Видите все, что дьяк Яков Лысый сам был причиною опустошения своей голубятни. *В-третьих:* Карп, видя таковое похвальное дело Гаркуши, вместо того чтобы сохранить должное молчание и радоваться, что не ему отмстили, донес о том по начальству, и Гаркуша был наказан вдвойне, телесно и душевно, ибо умные люди считают деньги другою душою в человеке. Судите сами, справедливо ли это? *В-четвертых:* Гаркуша разрешил узы девства у невесты Карповой! Это похвально! Истинная экономия требует, чтобы не запу-

скать долгов; ибо они пропасть могут, и так они только расквитались. Но дьяк Яков Лысый оставался еще в долгу, и довольно важном. Гаркуша подпилил деревья в саду его; сего требовала строгая справедливость. Ведь чего-нибудь стоят спина Гаркуши и рубль денег! Вы теперь все квиты, и я строго запрещаю — под опасением моего гнева и моих арапников — возобновлять вражды и неустройства. Я думаю, что и сам царь Соломон не иначе рассудил бы это дело.

Произнесши слова сии с величайшею важностью, он вышел. Долго просители стояли безгласны, смотря друг на друга и не веря своему слуху. Наконец, утерши пот, в который их бросило, и почесавши затылки, побрели они с панского двора повеся головы. К пущему их бешенству Гаркуша в самый полдень, имея *бриль* набекрень, разгуливал по селению, попевал весело и громко посвистывал.

Перенесемся теперь в село Балтазарово. С великим недоумением слушал он повесть мельника о ночном ратоборстве ночных дьяволов с его мельницею. Прочие крестьяне с плачем то же подтверждали, доказывая, что те же злые духи поели их лошадей, хлеб и самые телеги, что видеть можно было из огрызков.

По довольном обдумывании пан произнес со вздохом:

— Неужели я в целой здешней округе грешнее всех дворян, что нечистая сила на меня одного обрушилась? Хотя я и не смею назваться праведником, ибо это дело закрытое, однако могу по сущей справедливости сказать, что сосед мой Аврамий Кремень грешнее всякого грешника! О тезоименитый мне угодник! Какой луч разумения поразил меня прямо по лбу? Не от злобы ли сего заклятого я терплю новые пакости? Так! И сомневаться нечего! Много ли, по-вашему, было нечистой силы?

— Тьма-тьмущая! Целый берег наполнен был — с нами крестная сила! Какие же страшные. Черны, как сажа, а хвосты — о господи — совершенно бычачьи!

Пан Балтазар вторично задумался, и как он был от природы более молчаливого, нежели болтливого свойства, то не менее как через четверть часа произнес следующее:

— Готов побожиться, что страх удвоил или утроил всякий предмет в глазах ваших. Чтобы нам узнать настоящую истину, приказываю тебе, мельник, и всем вам, оби-

женным, запасшись на три дня кормом, тихомолком идти в лес, окружающий вертеп пана Аврамия, и как можно внимательнее примечать, не перенесли ли туда дьяволы чего-нибудь от хлеба, телег и лошадей ваших? Если предвещание мое сбудется, то уверяю вас панскою честью, что все мы не останемся без отмщения!

Глава 9 Не так вышло, как думалось

Два дня прошли, и подданные пана Балтазара, сидя в трущобе недалеко от дома пана Аврамия, ели, пили, спали и, проснувшись, недоумевали, почему они ничего особенного не видят? Мельник, будучи по обыкновению догадливее прочих, с важностью заметил, что, по-видимому, они вместо трех назначенных дней просидят и три месяца, если волк или медведь не заманят туда охотников, и что, не вышедши на свет, они в потемках ничего не увидят. Таковое замечание принято было с должным уважением, и наши лазутчики, оставя на своем логовище одного с ружьем для охраны припасов от зверей и хищных птиц, пошли украдкою к выходу из лесу. Едва они высунули носы из-за деревьев, как невдалеке увидели кучу верховых и стаю собак. Мгновенно прилегли они в кустарнике, в надежде, что охотники скоро проедут. Когда те приблизились на такое расстояние, что можно было отдельно различать предметы, то пораженные соглядатаи узнали страшного пана Кремня, окруженного псарями, и под некоторыми из последних — своих коней. Хотя хвосты и гривы были у них пристрижены, однако бедняки не могли ошибиться в прежних своих сотрудниках. Они бы подняли сильный вполь, а может быть, и целое сражение, если бы то был не всеужасный пан Кремень с своими витязями, коих считали могущественнее чертей, а особливо когда ими *сам* предводительствовал,— так обыкновенно они изъяснялись, говоря о пане Аврамии, который славился удалее самого Вельзевула. Посему удовольствовались тяжким вздохом; мельник дал знак, и все, прилегши ниц, притаили дыхание. Таковая мудрая предосторожность не послужила им на сию пору в пользу. Резвые собаки, иг-

рая по сторонам дороги, нашли лазутчиков и подняли страшный лай и вой. Вдруг охота остановилась, и пан Кремень, взводя курок, сказал:

— Ребята! Будьте осторожны. Может быть, дикий зверь! Какое же счастье!

Однако, сколько собаки не приставали, дичина не являлась, пока одна из них не укусила мельника в ногу. «Чип!»[1] — заревел сей, и пан Кремень вскричал:

— Разбойники! Смотрите, чтоб не ушел ни один!

Витязи окружили кустарник и только лишь хотели спешиться, как притаившиеся, видя, что молчанием не отбояриться, встали, распрямились, сделали земной поклон пану и только разинули рты, чтобы промолвить слово, другое, как грозный Аврамий воззвал:

— Свяжите бездельников; впредь воровать не станут!

Пленники были скручены и с торжеством ведены на задний двор панский, где обыкновенно производились дела, требующие особливой тайности. Тут-то пан Кремень, окруженный толпой псарей, воссел на ячменный сноп и голосом Пилата вопросил:

— Где же вы разбойничали? Много ли у вас товарищей? Сколько накраденных денег и вещей? Где все то хранится? Где и кто атаман ваш?

— Высокомочный пан! — отвечал мельник с трепетом.— Мы не разбойники, а подданные пана Балтазара. После того как я, мельник, донес ему о разорении мельницы и пропаже хлеба и коней сих бедняков, что все мы приписали—ибо мы православные—злобе водяных бесов, пан нас разуверил, приписывая всю пакость сию тебе, и приказал подстеречь, не окажется ли чего из пропавших животов у тебя. Он пророчил правду. Этот гнедой мерин точно принадлежит вот этому Кузьме; эта пегая кобыла — этому Фоме; этот буренький...

— Бездельник! — вскричал пан Кремень с гневом.— Как смеешь ты передо мною сплетать такую ложь? Все ли вы здесь?

— Нет! — отвечал устрашенный мельник.— Там, в лесу, стережет наши дорожные кисы товарищ Демьян.

— Приведите и его сюда со всем разбойничьим снаряжением, какой при нем сыщете!

Четверо псарей, провожаемые одним из пленных, отправились в лес, а между тем Аврамий приказал всех

---

[1] То же, что цыц. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

остальных обыскать старательно. Чего искать? На каждом из них было по рубахе, портах, постолах и гаману[1] с тютюном. Пан Кремень и сам очень знал, что более ничего не сыщет, но он был великий политик и ни одного случая не опускал, где бы можно было извлечь свою пользу! Скоро привели оберегателя лесной трущобы и принесли ружье, нож, кису со съестным запасом и мешок с верхним платьем.

— Ба, ба! — вскричал пан Кремень.— Видно, вы не на короткое время расположились разбойничать в моих местностях? Какое же ружье! Словно добрая пушка! А нож! Настоящий палаш!

Тут началось следствие по форме. Узники чистосердечно поведали все, что знали. Аврамий, выслушав их с притворно недоверчивым видом, сказал, оборотясь к псарям:

— Как бы нам добраться правды?

— Если рабу твоему дозволено будет промолвить слово,— отвечал Гаркуша с низким поклоном,— то я надеюсь скоро узнать правду с некоторою прибылью. Вели мне и человекам пяти из псарей отправиться к границам владения Балтазарова. Мы возьмем с собою мельника, а прочие останутся здесь вместо закладу. Сии добрые люди пусть поручат ему взять со двора каждого должный выкуп. У кого не сыщется пяти рублей денег, тому дозволено будет выставить дородного бычка или бодрую лошадку, кто что имеет лишнего. Впрочем, мельник должен ведать, что если хотя малейше изменит нам, то со всем имуществом его поступлено будет хуже, чем с мельницами пана Балтазара, и товарищи его околеют в хлебных ямах[2].

Пан Кремень милостиво одобрил представление нового любимца; пленные с охотою согласились пожертвовать частью своего имущества за искупление свободы, мельник с своими провожатыми отправился в путь, а прочие, по обыкновению, заперты в овин.

---

[1] Гаман — кожаная сумка, в коей хранится табак, трут и огниво. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

[2] В Малороссии за недостатком леса к построению амбаров для сохранения разного рода хлебных семян вырывают в земле просторные ямы, обшивают соломою и обмазывают глиною. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

Глава 10 **Другая ошибка**

Когда сии пешеходы достигли берега реки, прямо против селения Балтазарова, мельник оставил их, подтвердив клятвенно в самой скорости воротиться с выкупом; а наши собиратели пошли и полегли в кустарнике. Солнце начало клониться к своему закату, а мельника нет; оно совсем склонилось, а мельника нет как нет! Витязи наши начали беспокоиться, а Гаркуша сильно досадовал, что оплошал и не запасся орудием в случае нужной обороны. Уйти так, с пустыми руками, значило подвигнуть пана на праведный гнев и сделаться посмешищем целого двора его, а особливо быв до сего времени предметом общего уважения за первый подвиг, сделавшийся всем известным. Месяц показывал уже время около полуночи, а в лесу и перелесках, на воде и на поле все тихо, все спокойно. Один долгоногий бусел[1] ревел в болоте. Тут послышался разговор невдалеке, там ближе и ближе, а вскоре предстал перед ними и мельник в сопровождении молодого парня, обремененного ношею.

— Не взыщите, молодцы,— сказал мельник,— что я против воли заставил вас прождать лишний час времени. Теперь был день рабочий: кто в поле, кто в лугу, кто на огороде. В самые сумерки собрались миряне. Пока уговорил одного, другого, ан и ночь на дворе. Однако, думаю, будете мною довольны. Вместо того чтобы затруднять себя, как предполагал ты, Гаркуша, быками и лошадьми, я умел собрать надлежащий выкуп деньгами, которые весьма уютно лежат теперь у меня за пазухой. А как вы постились немало времени, то сын мой принес с собою коечего, чем мы можем позабавиться и после отдохнуть до зари, а там с божиею помощью пустимся в дорогу и, верно, прибудем в ваше селение прежде, нежели пан Кремень откроет глаза свои.

С общею радостью принято было сие предложение, все уселись кружком, и мельник, растянув кису, вытряхнул на траву множество всякой всячины. Все прельстились

---

[1] Бусел — род цапли. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

услужливостью угостителя и принялись за работу с такою ревностью, что около получаса общее молчание нарушаемо было только чавканьем и клокотаньем. Тут начались балясы, острые поговорки и молодецкие замыслы.

— Мне слышится, как будто что-то шумит в лесу,— сказал Гаркуша, прислушиваясь.

— И мне тоже,— подхватил его товарищ.

— Чему быть об эту пору? — возразил хладнокровно мельник.— Разве заблудившийся баран или овца! Однако я посмотрю! — С сими словами он встал и пошел прямо на шум, который становился ближе, ближе, а через минуту Гаркуша и его сподвижники увидели себя окруженными целою толпою народа, и притом вооруженного. Мудрено ли, что десятка два мужчин, обдумавших заранее свое дело, без малейшего труда связали шестерых гуляк, ничего не опасавшихся. Всем им скрутили назад руки и, опутав одною веревкою, привязали к иве; сами развели огонек, начали продолжать пир и в глаза насмехаться бедным узникам.

— Неужели, глупые,— возглашал мельник, величавшийся беспримерным удальством своим,— неужели вы думали, что я променяю доброго своего пана, даром, что он немец, на вашего бездельника, душегубца! Как же я рад! О беззаконники! Приняли вид богопротивных чертей, разломали мельницу, увели скотину с хлебом. О, это даром не пройдет вам, иначе — последует преставление света!

Рано поутру узники представлены пред пана Балтазара, и красноглаголивый мельник подробно донес о всех обстоятельствах и о всей замысловатости, коей полонил таких разбойников, которые не устрашились представить из себя дьяволов. Пан, погладя себя по брюху и распахнувши халат, достойно похвалил удальство мельника и, обратясь к узникам, спросил:

— Как осмелились вы, послушавшись своего пана злодея, пуститься на такое богопротивное дело, которое, быв исследовано правительством, должно быть очищено не менее, как кровью и вечною ссылкою?

Ответчики молчали. Иной бледнел, другой трясся, и сам Гаркуша стоял в безмолвии. Но не надобно забыть, что в ту ужасную пору, когда в глазах всех пленных едва мерцал свет угасающего угля, взоры Гаркуши издавали тусклый блеск зажженного молниею дуба. Пан осматривал их долго и каждого порознь и улыбался, видя их ро-

бость, заключая из того, что он человек немаловажный. После сего, подумав несколько, произнес протяжно:

— Теперь докажу вам, мои подданные, что я настоящий немец, следственно, благоразумен и миролюбив! Этого (указывая пальцем на Гаркушу и его совоителей), и этого, и этого, и этого — посадите в гумно и заключите там до утра, не давая ни есть, ни пить; сей час исполните мое повеление!

Оно было исполнено частью слуг его в ту же минуту, и храбрую дружину повели в гумно, заперли и приставили кустодию, из старого хромого десятского состоящую, который и начал ковылять взад и вперед около дверей.

В половине дня по панскому приказу представлен был из гумна один пленник по имени Охрим. Балтазар возвал:

— Ты ступай к своему пану и скажи, что если он хочет избавиться моего мщения, и мщения примерного,— ибо я сам примерный человек,— то пусть исполнит немедленно следующее: за разоренную им мельницу, за пограбленных лошадей и за телеги с хлебом пусть заплатит немедленно тысячу рублей; пусть освободит невинных моих подданных с честью и тем докажет, что он, а не я, неправ!

Бедный узник, пребыв несколько времени в унынии, отвечал с робостью:

— Мой пан—я его очень знаю—не поверит, чтобы кто-либо осмелился делать ему подобные предложения, а назовет меня оскорбителем своей чести.

— О! Этой беде очень легко пособить можно!—отвечал пан Балтазар.— Я сделаю знак, по которому он, увидя тебя за версту, сейчас догадается, что ты не выдумщик, а именно мною отправленный вестник!

Тут он шепнул что-то на ухо одному из слуг, и вестника схватили, посадили на скамью, сжали и увещевали быть терпеливым и неподвижным, если не хочет оросится своею кровью. Тут надменно выступил один из служителей, держа в одной руке конечный отломок косы, а в другой горшок с теплою водою [1]. Он намочил голову и усы неподвижного пленника и чисто-начисто выбрил левый ус и правую сторону головы.

---

[1] У малороссийских крестьян для бритья употребляется отломок косы вместо бритвы. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

— Ступай с богом,— сказал пан Балтазар, весьма довольный своею выдумкою.— Немецкие головы весьма способны к изобретениям! — говорил он, набивая трубку табаком, и весело улыбался.

Когда поднесли к лицу печального Охрима кусок зеркала, то он заплакал и вышел, проклиная внутренно всех панов на свете. Вошед в чащу леса, он предался отчаянию, лег под ракитником и не знал, должно ли ему в таком постыдном виде явиться к своему пану или умереть голодною смертью, избегая неслыханного позора.

Глава 11 Не безделица

Между тем как он размышлял прямо по-малороссийски, то есть: лежа на боку, обратимся к Гаркуше с его товарищами. Полет времени всегда ровен, плавен; но творения всякого рода, безногие, двуногие и многоногие, меряют его по своим ожиданиям.

Пан Балтазар, наслаждающийся всеми возможными благами, и не приметил, что на дворе ночь. А как верные служители донесли, что он не тверд уже на ногах, то пан, поверя их совести, опустился в постель и уснул богатырским сном. Весь дом тому же последовал.

Гаркуша с унылою душою, с тощим желудком, с запекшеюся гортанью сидел на соломе повеся голову. Глубокое молчание царствовало в хлебной обители. Неподвижными глазами смотрел он на воробьев, кои, пролезая сквозь щели забора, составляющего гуменные стены, угнезживались в соломенной крыше, или на мышей, выставляющих голову из снопов пшеничных. Вдруг воспрянул гений его от усыпления. Он встал, и протянув правую руку к соучастникам своей неволи, сказал:

— Товарищи! Клянусь вам моими усами, что скоро освобожу вас, если только вы согласитесь меня слушаться. Где пролезет воробей или мышь, там может пролезть и бык, если робость и уныние не превратят его в осла. У нас отобраны ножи, но не отрублены руки. Этого мало, что я освобожу вас; надобно *отмстить,* надо показать бусурману, что он не в Немеции. Слушайте моих приказаний!

Тут вскарабкался он на скирду ржи и приказал товарищам кидать к нему снопы из другой. Он мостил их в виде пирамиды и менее чем в час успел подойти к самой крыше. Тогда начал он разгребать солому в крыше, выламывать прутья, служащие стропилами, и все скоро увидели небо сквозь дыру, в которую человек легко пролезть может. Сошед вниз, он потребовал от всех пояса и, связав концы с концами, нашел, что их достаточно для спуска со стены гуменной. Тут все полезли наверх. Он спустил каждого поодиночке и, приказав как можно скорее переправиться за реку и его дожидаться, сам спустился на низ, выломил из стены два сухие прута и начал тереть их один об другой. Он трудился до пота лица и к неописанному удовольствию сперва почувствовал запах дыма, а вскоре увидел и огонек. Он поджег местах в десяти солому и, видя, что успех отвечал его ожиданию, бросился вверх, вылез, спустился вниз и, подобно оленю, бросился бежать. Какое-то смутное чувство его преследовало; он не прежде осмелился оглянуться, как перешед реку и соединясь с своими товарищами. Тут опомнился он и, оборотясь, увидел, что гумно пана Балтазара багрело в пламени; клочки соломы, извиваясь в воздухе, падали на крыши крестьянских домов, ветерок пособлял действию, и вскоре большая половина селения превратилась в огненное озеро. «Так мстит Гаркуша»,— сказал он с улыбкою, но улыбка сия не была уже для него отрадною. Неизвестный голос говорил ему: «Это уже не шутка! Это другое дело, чем истреблять голубей и сад дьяка Якова Лысого! Зажигатель!» Он дал знак, и все молча пошли путем своим, на каждом шаге останавливаясь и посматривая на пламя, нимало не уменьшающееся. В эту минуту—он сам после признавался—согласился бы своими слезами и кровью потушить пламя. Ему и на мысль не приходило обидеть жалких крестьян, отмщевая их помещику. Сердце его на части разрывалось. Прошед несколько сотен шагов, они услышали в стороне шорох, приблизились и нашли бедного Охрима в жалком состоянии. Узнав от него всю подробность, Гаркуша вскричал:

— Клянусь, что я сделал доброе дело, зажегши гумно! И крестьяне проклятого Балтазара участвовали в его преступлении, во-первых, поймав нас так лукаво, а во-вторых, обидев столь чувствительно Охрима. Ветерок недаром повеял на селение, а не в поле; жаль только будет, если дома пана и мельника уцелеют!

Изнурены будучи голодом и усталостью, они не прежде явились к своему пану, как по восходе уже солнечном. Пан Аврамий ахнул, увидя их, а особливо Охрима; и когда выслушал подробно донесение, вскричал:

— Очень хорошо, что вы так строго наказали нечестивого Балтазара, но то худо, что вы, помня о самих себе, забыли о своем пане! Вы отмстили за свое оскорбление—так, но разве я не обесчещен в лице вашем? Разве нельзя было, пользуясь общею суматохою, ворваться в дом Балтазара, где, вероятно, никого не было, разломать шкапы и кое-чем меня потешить. Ах, Гаркуша! Я не ожидал сего от твоей сметливости! Но так и быть! В другой раз будь благоразумнее. Подите теперь в мою поварню, утолите голод и жажду и отдохните после трудов!

Гаркуша едва мог понимать, за что пан Аврамий недоволен; однако клятвенно обещался, что впредь к пользам его будет усерднее.

Когда они удалились, пленные Балтазаровы были выведены из овина. Им всем обрили головы и усы, сняли свиты, настегали спины добрым порядком и отпустили с миром восвояси. Прошло несколько дней в совершенном покое, и дело казалось забытым.

В один поздний вечер пан Кремень, сидя на крыльце, курил трубку; а Гаркуша, не будучи им примечен, дремал в углу сеней в ожидании, когда пан отправится в опочивальню. Вдруг прискакала дорожная повозка, и из нее вылетел Иван, сын помещика. После обыкновенных приветствий он уселся подле отца, и между ими произошел разговор, из которого Гаркуша не проронил ни одного слова. Он был бы гораздо счастливее, если бы оглох на ту пору.

Отец. Ну, каково дела наши идут в городе? Хотя одно приближается ли к окончанию?

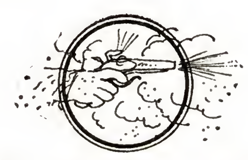
Сын. Напротив! Одним делом оно умножилось. Проклятый немец подал прошение, в котором ясно и обстоятельно изобличает тебя в разорении своей мельницы и в сожжении селения. Имена участников в сем деле, начиная с Гаркуши, означены. Я советовался с другом нашим Кохтем, секретарем суда, и он, пожав плечами, сказал: «Очень плохо! Велика будет милость господня, если вы отделаетесь потерею дворовых людей, в беззаконии сем уличаемых; да и они счастливы, что я для отца твоего беру в них родственное участие. Все искусство приложу в их пользу и полагаю, что большей беды не будет, как

только что их добрым порядком выстегают и сошлют в каторжную работу».

Отец. Спасибо! Пан Кохоть мужик добрый и умный.

Сын. Завтра чуть свет прискачет сюда исправник с командою для захвачения обвиняемых.

Отец. Милости просим! Как скоро увижу, что не будет способа отбояриться легче и дешевле, то Гаркушу с товарищами обвиню одних во всем и отдам обеими руками: пусть съедят их хоть с костями. На место их есть у меня ребята удалые!



Глава 12 **Ужасная крайность**

После сего разговор продолжался несколько времени; настала полночь, и они разошлись, отец в свою спальню, а сын — на девичью половину. Темнота ночная препятствовала им приметить Гаркушу. Он выполз из сеней бледен, как смерть; чуб его стоял дыбом; холодный пот с бровей струился на усы. Все движения лица его изображали гнев, негодование, ужас и злобу. В короткое время собрал он шестерых товарищей в своих последних подвигах, привел их на гумно и, став посередине, сказал твердым голосом:

— Друзья-сотрудники! Мы служили своему пану с верностью собак и надеялись получить пользу. На поверку выходит противное. Он, как и другие паны, горд перед нами, робок перед высшими. Заставляет нас быть орудиями его лихоимства и мщения и, в случае нужды, не умеет или не хочет защитить нас. Это есть неблагодарность, достойная *мщения,* и не наказанною не останется. Все мы считаем себя рабами панов своих: но умно ли делаем? Кто сделал их нашими повелителями? Если господь бог, то он мог бы дать им тела огромнее, нежели наши, руки крепче, ноги быстрее, глаза дальновиднее. Но мы видим противное. Если бы можно было, вы бы увидели пана Кремня, растянувшегося у ног моих от одного удара! И при всем том — этот человек неблагодарен!

Тут Гаркуша со всем витийством рассказал им намерение пана их выдать. Все ахнули и опустили головы.

— Не печальтесь, друзья, прежде времени,— воззвал Гаркуша.— Я знаю средство самому спастись и вас избавить от гибели. Ничего от вас не требую, кроме мужества, терпения и непременного повиновения воле моей; но клянусь вам, что воля моя единственно обращена будет к пользе каждого и общей. Давно слышал я[1], что на границах китайских есть область, мало кем населенная. Там реки полны рыбою, леса всякой дичью; сады беспрестанно цветут и приносят плоды; поля и огороды, не быв ни вспаханы, ни засеяны, сами собою приносят пшеницу, тютюн и всякие овощи. Посудите, каково жить там! Не станем знать ни панов, ни панщины; будете только водить стада, пить вино и пиво, курить тютюн и делать, что кому заблагорассудится! Хотя я и не знаю настоящей туда дороги, но язык доводит и до Киева; надобно все идти к востоку. А как в дороге понадобятся оружие и деньги, то благоразумие требует запастись и тем и другим заблаговременно. Что скажете, друзья мои?

Храбрые слушатели развесили уши и разинули рты при описании прелестной стороны Китайской. Да и что в самом деле для украинца может быть сладостнее, как, лежа на боку, пользоваться всеми дарами роскошной природы? Все единогласно приняли предложение, дали присягу в сыновнем послушании своему предводителю, а он им в любви братской и защите. По его наставлению залезли они в кладовую и оружейную пана, взяли, что могли взять из ножей, кортиков, пороху, пуль и денег. Обритого Охрима навьючили съестным и питейным снадобьем и пустились в путь первою встретившеюся дорогою. Они были верстах в десяти от селения, как начала показываться заря утренняя. Они своротили с дороги к перелеску и расположились завтракать. Мужество Гаркуши ободрило наших путешественников. Одни наперерыв хвалили землю Китайскую, другие делали уже предложения, как будут там веселиться.

Тут увидели, что на дороге повозка, окруженная четырьмя конными, остановилась прямо [у] их лагеря. Гаркуша посмотрел пристально, разгладил усы и сказал хладнокровно:

---

[1] Ложный слух, распространившийся в Украине, что всем дозволено населить прекрасную землю Китайскую, был причиною, что многие семейства, даже целые селения с женами, детьми и имуществом сбирались в путь. Правительство должно было употребить воинские команды для остановления заблуждающихся. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

— Божусь, что это исправник с солдатами, и идут, чтоб забрать нас в город. Но не пугайтесь! Уберите скорее харч и питье в сумы и ни о чем не заботьтесь; я один за всех отвечать буду.

— Если же он захочет употребить насилие? — возразил мудрый Охрим.

— Насилие? — сказал Гаркуша с улыбкою князя преисподней.— Посмотрим!

Они встали. Гаркуша, опершись на свое ружье, спокойно, по-видимому, ожидал приближения исправника, ибо и подлинно это проезжий был исправник и шел, окруженный всадниками, к храбрецам, показавшимся ему почему-то подозрительными. Он подошел, осмотрел всех внимательно и, видя, что ни один, по примеру своего коноводца, не снимает бриля, спросил с грозным видом:

— Что вы за люди?

Гаркуша. Казаки и вышли теперь на охоту. Но кому какая до нас нужда?

Исправник. Право? Исправнику нет нужды знать, что кто делает в уезде? В здешних местах и не слыхали о волках или медведях, а вы все вооружены, как будто готовясь против турка!

Гаркуша. На всякий случай надобно быть готову!

1-й из команды. Позвольте доложить, что я сих панов охотников всех знаю. Они подданные пана Аврамия Кремня.

2-й из команды. Я то же утверждаю.

3-й из команды. И я то же.

Исправник. Так нечего и думать долго. Их надобно забрать с собою на всякий случай. Возьмите их!

Гаркуша. На всякий случай, думаю, ничего не надобно делать, а особливо людям, называющим себя панами.

Исправник. Мне мешкать нечего. Сегодня же должен представить присутствию все следственное дело к суждению. Возьмите их и перевяжите.

Гаркуша. Милостивый господин! Не заставляй нас сделаться против воли великими преступниками! Не скрою от тебя, что мы все подданные пана Аврамия, но оставь нас в покое, как мы оставляем свою родину и отправляемся к стороне Китая. Намерение наше твердо, и — позволь доложить и не гневайся — ружья заряжены пулями, и тесаки отпущены.

Услышав последнее замечание, исправник шага на три отскочил назад; но, вспомня свою должность и устыдясь команды, которая и не пошевелилась, вскричал:

— Посмотрим, кто осмелится оказать мне ослушание! Ребята, берите их!

— Не гневи бога,—сказал Гаркуша с диким взором,— заставляя нас сделаться злодеями!

— Вздор! — вскричал исправник и первый выступил вперед с распростертыми руками.

— Ну, да будет один бог судьею между мною и тобою!—вскричал свирепо Гаркуша и, произнеся:—Друзья, за мною! — выпалил в несчастного исправника.

Товарищи ему последовали, и в один миг исправник и двое из команды разлеглись на земле; двое остальных, в коих, вероятно, метил Охрим, ударились бежать, и никто их не преследовал.

Подобно Каину по убиении брата Авеля, стоял Гаркуша бледный и трепещущий над издыхающими трупами. В первый раз сделавшись убийцею, он не понимал, существует ли на здешнем свете или с последним издыханием убиенного и он переселяется в обители преисподния!

Я полагаю, что в таком случае Александр Македонский, Надир Персидский, Атилла Гунский и Тамерлан Татарский не могли бы удержаться от трепета.

Такое производит действие впервые пролитая кровь, хотя бы даже кровь преступника. Что же убийца невинного человека должен чувствовать? Что — кроме ада в душе своей, в сердце, в теле, в мозгу, во всем своем составе? Положение ужасное, достойное всякого сожаления, но — ах! — и наказания.

Глава 13 Жребий вынут

По прошествии нескольких минут ужасного, убийственного молчания Гаркуша первый получил порядочное ощущение своих чувствований, взглянул на небо, перекрестился дрожащею рукою и, опершись о дерево,— ибо колени его тряслись, как тростник во время вихря,— пре-

рывающимся голосом сказал к окаменелым своим товарищам:

— Друзья мои! Видите ли вы эти ручьи пролитой крови? Это огненная река, отделившая нас навсегда от прочих человеков. Возвратиться в прежнее состояние — значит прежде времени погубить себя и телесно и душевно. Ужасный начин сделан. Успокоить души наши уже невозможно. Остается одно средство быть еще сколько-нибудь не без утешения, и это средство есть — заморить совесть, так, чтобы она не имела ни сил, ни времени напоминать нам прошедшее. Как это сделать, спросите вы? Идти вперед дорогою, которую теперь бог указал нам. Будем мстить злым людям, а особливо так называемым благородным, из числа которых этот кровожадный волк, алкавший нашей гибели, принудил нас,— всевидящий бог и вы, друзья мои, были свидетелями, сколько просил я, чтоб он оставил нас в покое и не накликался на смерть,— принудил нас сделаться убийцами, сделаться злополучнейшими людьми, которых когда-либо освещало солнце божие! Не может быть, чтобы дело сие [осталось] без самого внимательного, самого строго исследования. Нас будут искать с двух сторон: со стороны оскорбленного правительства и со стороны бездушного пана Аврамия. Продолжать путь до границ Китая было бы безрассудно. Надобно дождаться, пока дело это хотя несколько позабудется и жар преследователей утихнет. Итак, мы отправимся в самую густую, непроходимую часть сего бора. Пока у нас есть порох и дробь, мы голодать не будем. Я слыхал, что лес сей наполнен дичью и в середину его самые отважные проникать не осмеливаются; одни — боясь злых духов, а другие разбойников, третьи же волков и медведей. Там-то мы покудова оснуем наше жилище, а в случае оскудения в житейских припасах один из нас вечернею порою будет входить в ближнее селение и запасаться всем нужным. Жребий бросим, кто и когда должен подвергаться опасности для общей пользы. Самого себя не исключаю в сем случае от выемки жребия. Но как в теперешнем нашем положении не только нужен, но даже необходим порядок и строгая подчиненность, иначе мы непременным образом погибнем, подобно червям древесным, и как вы уже избрали меня своим начальником, то я в присутствии бога и вас всех клянусь для вашей безопасности не жалеть последней капли крови моей; клянусь не прежде проглотить каплю воды, пока не уви-

жу, что имеете довольно для утоления жажды; не прежде возьму ломоть хлеба в руки, пока не уверюсь, что вы все сыты будете; не прежде предамся сну, пока не рассмотрю и не устрою, чтоб все вы спали безопасно и покойно. В утверждение клятвы моей целую ружье в дуло, прося бога-мстителя разрешить его и поразить меня, если клялся не от чистого сердца. После от вас того же потребую!

После сей речи Гаркуша заряжает ружье пулею, взводит курок, ставит у дерева и, произнесши: «Боже праведный! Внемли клятве моей!» — с величайшим благоговением целует его в дуло. Отошед несколько шагов, он продолжает:

— Теперь каждый из вас клянись: беспрекословно исполнять все мои повеления, отнюдь не спрашивая, для чего я то или другое приказываю. Помощником себе избираю Артамона, коему в случае моих отлучек повиноваться точно, как самому мне. От стана, который изберу я для нашего временного укрытия, никто не смеет отойти далее пятидесяти шагов без моего позволения. У нас все должно быть общее, так как участь наша есть общая. Когда рассужу я напасть на проезжих или даже на панов в хуторах их, всякая добыча, самая маловажная, должна быть представлена на мой произвол. Я один буду знать, что причислить в общую казну или что подарить кому. Вражда, ссоры и прочие неистовства не будут терпимы между нами. Всякий, преступивший мои повеления, будет наказан по важности вины своей. Себе предоставляю в случаях важных, как то: в измене, побеге, трусости и тому подобных, наказать смертию виноватого. Согласны ли, друзья?

По некотором молчании вся дружина диким голосом возопила:

— Клянемся жить и умереть с тобою! Клянемся повиноваться тебе, как отцу и пану!

После сей клятвы каждый с трепетом благоговения подходил к ружью и целовал в дуло.

По окончании обряда Гаркуша приказал троим из товарищей зарядить ружья пулями на случай встречи с диким зверем, ибо людей они не ожидали: а троим дробью, чтобы по дороге не пропустить случая запастись зайцами, тетеревами и прочею дичью. Устроя таким образом, взвалили Охриму на плечо ношу и пустились в чащу леса.

Они шли по течению солнца. Чем далее подвигались во внутренность бора, тем казался он непроходимее. Необъятной величины дубы, сосны, вязы и тополы нередко на довольное пространство времени скрывали от них образ солнца. Им встречались глубокие болота и пространные топи, из коих некоторые они вброд переходили, а другие должны были обходить кругом. Солнце совершило уже две трети своего течения, а беглецы и не думали остановиться. Гаркуша, в душе которого пылало адское пламя, шел вперед и не чувствовал усталости. Его лицо, облитое потом и кровью, ибо он нимало не остерегался и шел напролом, представляло улыбку, которая ужасала самых его товарищей. За час до заката солнечного прибрели они к краям не очень просторной, но ужасной бездонной пропасти. Ее точно можно бы счесть бездонною, если бы не мелькал на дне густой древний осинник, которого серебристые листья беспрестанно колебались. Внимательно посмотрел Гаркуша вниз, долго рассматривал со стороны правой и левой, потом голосом тихим сказал:

— Видите ли, братья, как милосердный бог печется и о грешных несчастных тварях своих! По наружности судя, так эта пропасть будет колыбелью дальнейших подвигов наших. Сядем здесь и подкрепим силы свои пищею, а после постараемся сойти вниз. Хотя с первого раза кажется это и невозможно, но так обыкновенно представляются нам все опасности, пока они вдалеке, как скоро же приближатся, то надобно быть великим трусом, чтобы затрепетать перед ними. Мы должны быть готовы по роду избранной жизни испытывать это каждую минуту.

Глава 14 **Пустыня**

Утоля голод и жажду, мучившие наше товарищество, они поднялись и пустились обозревать драгоценную для них, но неприступную пропасть. Путь их был сопряжен с довольными трудностями. Им попадались костры огромных дерев, ниспроверженных бурею или расщепленных молниею. Нередко встречались глубокие рытвины, по дну которых извивались быстрые ручьи и с шумом низверга-

лись в пропасть. Таковые маловажные препятствия ни на минуту не могли остановить Гаркушу и его сопутников. Прежде нежели туманные сумерки покрыли дубраву непроницаемым покровом, они обошли вокруг прелестной бездны, останавливались — так сказать — на каждом шаге, разглядывали в двенадцать глаз, но все тщетно. Края пропасти почти со всех сторон заросли шиповником, терном, волчьими ягодами и прочими дикими растениями. Куда ни взглянут, везде отвесные стены, везде неприступность. Они возвратились на прежнее место с тем же успехом и не могли не вздохнуть, взглянув один на другого.

— Не для чего крушиться,— сказал Гаркуша.— Одна настигшая ночь причиною, что мы не отыскали сходу в блаженное убежище. Не будь я атаман ваш Гаркуша, если завтра не будем обедать в вожделенном месте!

В первый раз еще — и то почти невзначай — назвал он себя атаманом и невольным образом затрепетал. Мысль, к чему обязывало его сие звание, во всю ночь не давала ему покоя. Товарищи, заключив, что титло сие ему нравится, во всю жизнь не называли его другим именем.

Опустошив все без остатка, что было в суме Охрима, шайка расположилась под ветвистыми деревьями, и в скором времени все захрапели. Вероятно, никакая мысль о завтрашнем дне их не беспокоила. Зато Гаркуша ворочался на зеленой траве и не мог сомкнуть глаз. Прошедшее его терзало; настоящее было так незнакомо, что мысли и ощущения души его точно так же блуждали в головном мозгу, как сам он блуждал в сей пустыне. Будущее было для него не что другое, как привидение, укутанное частым покровом. Он не знал, прелестный ли образ увидит, сдернув покрывало, или ужасное страшилище. Заря утренняя застала его в таком мучительном состоянии. Он встал, подошел к пропасти и, севши на краю оной, смотрел на густой туман, в пространстве ее колебавшийся. Время от времени заря становилась багрянее, а вскоре воссияло лучезарное солнце. Бесчисленное множество диких птиц подняли свои поздравительные крики, глухие тетеревы клоктали на густых ветвях ольхи; лесные голуби ворковали над его головою; со дна пропасти отзывались креканья диких уток и гоготанье гусей. Мимо ног его пробежало несколько пар резвящихся зайцев. Гаркуша, все это видя и слыша, умилился, со-

творил молитву и сказал: «Здесь нельзя умереть с голоду: надобно только иметь запас в хлебе, соли, порохе и дроби».

Рассматривая пропасть при свете ярких лучей солнечных, увидел он, что половина дна ее покрыта непроницаемым лесом, а другая высокою зеленою травою, испещренною бесчисленными цветами. Такой вид еще более воспламенил желание его овладеть прекрасною пустынею. Когда он мечтал о сем час от часу с большим жаром, увидел на противолежащей стороне пропасти лисицу, которая в саженях двадцати от края скрылась в терновник, таща задавленного гуся. Это сначала не обратило его внимания, но он вскочил с места с пылающими глазами, когда весьма скоро потом увидел, что зверь тот на дне пропасти добычей своей потчует двух молодых щенков своих. Сердце его билось так сильно, что колени дрожали и он едва держался на ногах. Несколько успокоясь, поднял он своих товарищей и с неописанным восторгом поведал им о своем открытии. Все подняли радостный вопль, бросали вверх шляпы, прыгали и считали себя людьми преблагополучными. Когда порывы неожиданной радости укротились, Гаркуша заметил, что в общественной кисе совсем пусто и надобно подумать о ее пополнении. Вследствие сего он приказал Артамону с Охримом готовиться в дорогу для добычи продовольствия всей дружине. Он весьма хорошо знал характеры своих товарищей. Ему известно было, что Артамон во всякое время готов сразиться хотя с сотнею дьяволов; а Охрим, по-видимому трусливый Охрим, на хитрые выдумки, плутовства разного рода, притворство и способность без кровопролития присваивать себе стяжание ближнего был удалее всех из шайки. Он в состоянии был провести польского жида и итальянского монаха. Посему-то атаман сделал его купчиною и казнохранителем и особенно уважал за такие общеполезные дарования. Дабы сколько-нибудь узнать положение мест, окружающих избранное ими становище, Гаркуша взлез на верх самой высокой сосны и с четверть часа рассматривал окрестности со всех сторон. Спустясь с дерева, он сказал товарищам:

— Дремучий лес сей к востоку и закату солнечному кажется бесконечным, зато ширина его не так обширна. Если не обманывает зрение, то по правую руку простирается не далее десяти верст. Там синеются верхи церкви и колокольни, и наверное полагать можно, что боль-

шое селение снабдит нас всем необходимым. Артамон и Охрим! Ступайте с богом! Держитесь средней дороги между восходом и захождением солнца. В селе скажитесь егерями пана Каракаша; объявите, что он сам на охоте уже около недели, что домашний запас весь изошел и что вы посланы запастись еще на неделю. Вот вам десять рублей денег. Пан Каракаш так прославился удальствами разного рода, или, лучше сказать, головорезничеством, что всякий опасется вам не верить и в чем-либо отказать.

Глава 15 **Надежное убежище**

Купчины отправились, а Гаркуша с остальными четырьмя удальцами пошел искать сходу в пустыню. Так он назвал и другим велел называть известную провалину. Они дошли до того места, где скрылась лисица, и ничего более не видали, кроме переплетшихся шиповника, терну, коровьяку[1] и крапивы. Один из свиты сделал предложение, чтобы, не теряя времени, начать саблями срубать кусты и тем очистить дорогу, но Гаркуша сейчас заметил им, что по истреблении сей ограды и самая пустыня потеряет свою цену, потому что тогда откроется всякому вход свободный.

По его приказанию и примеру срубили они длинные еловые шесты и, разводя ими сцепившиеся иглистые сучья, вступили в сей перелесок. Они двигались медленно и на каждом шаге вперед тщательно рассматривали по шву земли, жадничая увидеть что-нибудь похожее на спуск. Около часа прошло времени, что они проползли три или четыре сажени, и атаман, который взял за правило всегда и везде быть впереди, первый увидел у ног своих пространную расселину. Он радостно вскричал; товарищи сколько могли, к нему поспешили и, то же увидя, так же воскликнули. Они легли ниц у сей норы и жад-

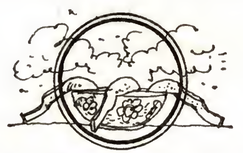
---

[1] Растение ветвистое в средний рост человеческий, на коем плоды род орехов, усыпанных острыми иглами; внутри семена. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

ными глазами глядели внутрь ее. Она шла косвенно, а потому на несколько аршин была слабо освещаема лучами солнца, и далее следовала мгла непроницаемая. Присутствие духа не оставляло Гаркушу никогда. Он сейчас приказал нащепить сухих сосновых лучин, которых на каждом шаге было великое множество, чтобы, зажегши по пуску, пуститься в расселину. Приказание его было исполнено так скоро, как только обстоятельства позволяли. Посредством гаманных огнив развели они огонек, каждый зажег по большому пучку лучины, а по другому взял в запас, и, опираясь на свои шесты, вступили в пропасть. Атаман, по обыкновению, шел впереди. Прошед шагов десять, потеряли они свет дневной. Они заметили, что расселина сия сделана в давние времена или текшим тут постоянным ручьем, или сильным напором снежной воды, только не руками человеческими. Она была так высока, что человек среднего роста мог проходить не нагибаясь; была довольно обрубиста, однако с помощью шестов наши землеоткрыватели шли мало спотыкаясь и весьма редко должны были прыгать вниз на аршин или полтора. Путешествие их было крайне медленно, ибо осторожный коноводец не прежде делал шаг вперед, как обстоятельно рассмотрев по крайней мере пространство шага на два дальше. Прошло более двух часов, и к неописанной их радости, увидели брезжущий свет дневной. Дыхание у них остановилось, ноги задрожали. Они шли, не говоря ни слова, и весьма в недолгое время увидели себя под светлым небом в прекраснейшей долине. Гаркуша первый сделал три земных поклона, и прочие ему последовали. Распрямясь, он сказал им:

— Наконец главное желание наше господь бог услышал! Мы достигли такого пристанища, которое по всему кажется довольно безопасным. Вход в сию пустыню показался нам трудным с первого только взгляда. Уверяю, что кто пройдет им раз десять, тот уже без огня может выйти и спуститься в четверть часа. Купчин наших прежде вечера ожидать нельзя, а я чувствую позыв на еду. Пойдем в тот лес, в коем должны мы основать прочное свое жилище, разведем огонь, и хотя у нас нет ни хлеба, ни соли, но и без сего мы обойтись постараемся. У нас довольно зайцев, тетеревей и куликов. Изжарим на вертеле и — покамест будем сыты. Велика власть господня!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Глава 1 Час от часу глубже

Наши несчастливцы пошли к лесу и на пути не могли не останавливаться, видя во многих местах сверху и из середины стен своей пустыни низвергающиеся ручьи, кои все стремились в середину леса. Они решились следовать по течению одного из них и скоро вступили в самый лес, состоящий большею частью из ольховых, сосновых и осиновых дерев. Сей, так сказать, преисподний лес не был так запущен, как верхний. Валежнику было мало, и везде проход свободный. Они прошли примерно четвертую часть версты, как приведены были в приятное удивление, увидя у ног своих довольно обширный пруд, в который втекало более пяти потоков. Не успели они вымолвить по одному слову, как окаменели от поражения, увидя против себя на другом берегу пруда, между орешником, с полдюжины хат. Несколько времени стояли они подобно истуканам и, получив употребление чувств, лишены еще были языка. Гаркуша протянул руку к хижинам и указал на них пальцем со взором, спрашивающим: «Видите ли?» Товарищи в знак ответа пожали плечами. Вторичное молчание. Гаркуша, получив первый разрешение языка, сказал:

— По всему видно, что пустыня сия обитаема; только для меня удивительно, что вчера при солнечном еще сиянии, обходя кругом сие место, мы не заметили и следа ноги человеческой. Жить здесь дровосекам или угольщикам совсем не для чего; во-первых, что наверху лес крупнее и бесчисленно раз его более, чем здесь; во-вторых, вынос отсюда всякого изделия так затруднителен, что один безумный ремесленник здесь поселится. Непременно это притон разбойников!

Товарищи его задрожали, помертвели. Гаркуша продолжал:

— Чего же вы испугались? Разве мы не с тем вошли в сию дубраву, чтобы рано или поздно познакомиться с

людьми сего рода, подружиться, войти в один состав и действовать под общим знаменем? Пойдем теперь же, друзья, и посетим хижины.

Он насыпал свежего пороху на полки ружья и двух пистолетов; прочие сделали то же, и все бодро пошли освидетельствовать хижины. Они остановились у самой большой, имевшей в длину саженей десять, стояли довольно времени, прислушивались, но ничего не слыхали, кроме писку мышей.

Обошед кругом, они заглядывали в каждое окно, из коих половина была выбита, но ни одного существа живого не видали. Наконец осмелились войти. Весь дом состоял из трех обширных комнат. Первая — по виду — была поварня. Тут нашли они несколько деревянной, чугунной и железной посуды, мало уже годной к употреблению. В углу на полке разбросано было несколько ломтей хлеба, по которому можно было судить, что он лежит тут не один месяц. Там же валялся кулек с крымскою солью — зеленою, какую в Малороссии дают лизать овцам и коровам, чтобы придать им охоты к еде и тем молоко улучшить. Вторая и третья комнаты были совершенно пусты, однако последняя обведена у стен широкими лавками, и в одном углу лежало несколько кулей полугнилой соломы. Оставя сии чертоги, они обошли все прочие; нашли одну пустоту, обветшалость и умно рассудили, что хозяева по каким-нибудь причинам оставили — и притом давно — сию обитель; посему они имели законное право, яко одного ремесла люди, завладеть сим наследством. Они возвратились в первую избу, которую тогда же нарекли атаманскою, скинули свои вооружения, которые на себе имели более двадцати четырех часов, и, по приказанию атамана, Харько, который был поваром на кухне пана Аврамия, принялся за стряпню; заплесневелые корки хлеба были тщательно собраны и опущены в ближнюю копанку, и Гаркуша с остальными товарищами сел на берегу пруда в тени пушистой ивы и предался рассуждению. По долгом со всех сторон молчании Гаркуша промолвил:

— Правду говаривал сельский наш священник, что милосердный бог все на свете сем устроил прекрасно! Посудите сами: не выведи меня дьяк Яков Лысый из церкви, я и не подумал бы истравить голубей его кошками; не сделай этого, не был бы сечен и ограблен; без сего — не истребил бы сада дьякова и в целый век не был бы в

числе дворовых удальцов пана Аврамия. Непременно надобно было разломать плотину, сжечь полдеревни пана Балтазара и, наконец, застрелить исправника и двух драгунов, чтоб сподобиться овладеть такою прекрасною пустынею. Ах, друзья мои! Какая разница рыскать по полям и лесам за зайцем или лисицею, подвергаясь каждую минуту опасности сломить себе шею — а для чего? Чтобы за осторожность на панской конюшне не содрали арапниками кожи от пят до макушки; или охотиться с тем, чтобы иметь удовольствие и товарищей и себя попотчевать дичью? Но как праздная, ленивая жизнь нам не властна, то я, по должном соображении и нужном осведомлении как об окрестных, так и отдаленных местах, выведу вас на дело, и вас и меня достойное. Вострепещут гордые властелины в кругу своих челядинцев и внукам своим с ужасом рассказывать станут, каков был Гаркуша и друзья его!

Он умолк, но взоры его пылали огнем убийственным. Товарищи с благоговением на него смотрели и клятвенно уверяли снова, что нигде и ни для чего не отстанут от такого храброго человека.

Наконец Харько кое-как сладил с своим обедом. Когда все в третьей комнате (которую с сего времени будем называть спальнею) сели на полу в кружок, он поставил перед ними пару жареных зайцев, пару глухих тетеревей и несколько куликов. Хотя все это сходнее было бы назвать сушеным, а не жарким, но они напали с такою жадностью, какая прилична молодым, здоровым, усталым, проголодавшимся людям. По окончании сей братской трапезы они разложили кули с соломою, заперли изнутри двери и — предались покою. Немало подивились они, проснувшись, когда увидели, что светлая серебристая луна отражалась на стене в головах их.

Первая мысль, их поразившая, была об отсутствии Артамона и Охрима. Опрометью бросились они из хижины к пруду, прислушивались, притаивши дух, но ничего не слышно было. Большую часть ночи просидели они у пруда, делая каждый свои заключения.

— Если они сбились с пути,— заметил Гаркуша,— и заночевали в дубраве, то беда не велика; завтра при утреннем свете найдут дорогу. Если же, от чего боже сохрани, они признаны и попались в когти земской полиции, то весьма плохо. На Артамона я надеюсь, как на са-

мого себя, он скорее околеет в пытке, чем откроет убежище друзей своих; но Охрим не таков.

— Ты худо знаешь Охрима, атаман!— возразил Харько с самонадеянием.— Божусь тебе, что если они попались, то Артамона более опасаться надобно. Охрим и не допустит себя до пытки. Он поведет сыщиков, обещая открыть наше убежище, будет водить по лесу взад и вперед до тех пор, пока найдет случай обмануть их и скрыться.

— Дай бог,— сказал Гаркуша,— чтоб он не имел нужды оказывать пред полициею свой разум; да, кажется, в простом селе трудно быть узнану.

Он отправился в свой дом, а за ним и все. Ужин не пошел им на ум, и они ринулись на кули свои.

Глава 2 Полезное знакомство

С появлением зари все товарищество было уже у пруда. Молча поглядывали они на высокие стены, окружавшие их обитель. Как наверху, так и в долине — везде тихо, глухо. Взошло солнце лучезарное, и они со стороны прежнего своего логовища услышали громкий свист. Быстро вскочили с мест и хотели поднять радостный вопль, но атаман сурово запретил подание малейшего голоса, пока условный знак выполнен не будет.

Вскоре раздался второй и третий свист, и они услышали клокчанье глухого тетерева. Гаркуша выстрелил из пистолета, сверху отвечали двумя таковыми же выстрелами. Тут атаман воззвал: «Наши! Берите лучину, идем наверх!»

Нечего описывать общей радости при свидании друзей-сотрудников. Домоседы немало удивились, увидя, что Артамон и Охрим навьючены были каждый с головы до пояса, но при них была еще клячонка, так обремененная поклажею, что едва держалась на ногах. Они все трое были освобождены от тягости, которую другие, не исключая и атамана, разделили по себе и начали спускаться в пустыню. Все кончилось благополучно, даже и кляча сведена была и пущена на траву, а витязи с радостными восклицаниями сложили ноши у пруда и начали их рас-

сматривать. Когда все было выложено на траву, Охрим, погладя голую голову, ибо волосам некогда было еще отрасти после памятной операции, сделанной над ним паном Балтазаром, с улыбкой произнес:

— Видишь атаман, и вы, братья, что мы в покупке были гораздо осмотрительны. Тут нет ни куска мясного, ибо в нем мало надобности. Эти два мешка, которыми был я навьючен, наполнены баклагами с добрым вином; лошадь волокла мехи с хлебом, мукою, крупою, солью и ветчинным салом — вещами для нас необходимыми; Артамон же нагрузил свою ношу котлом железным, сковородами, деревянными чашами, ложками и прочею нужною мелочью. Не знаю, как вы, а мы ужинали плохо; итак, пусть досужий Харько состряпает сытную кашу, а я между тем кое-что порасскажу о вчерашнем происшествии.

С радостью принято было предложение, и Харько, чтобы не лишиться рассказов сладкоглаголивого Охрима, тут же на берегу поставил треног и начал свое дело, а Гаркуша, попотчевав из новой баклаги себя и каждого из братии, ожидал повествования, которое и началось следующими словами:

— Хотя мы были и налегке, однако дорога отсюда в правую сторону столь же затруднительна, как и до сих мест всеми нами пройденная. Столько же валежнику, такие же озерки, топи и болота; а сверх того мы остерегались, чтобы не оцарапаться и не подать жителям дурных о себе мыслей, почему и должны были останавливаться почти на каждом шаге для сделания охотничьими ножами заметок на деревьях. Когда выбрались мы на чистый обширный луг и село представилось глазам нашим не далее версты, то уже был полдень. Мы удвоили шаги и скоро очутились на базаре, где, к нашему счастью, был торговый день и народу сила несметная. Никто не только не вздумал спросить нас, что мы за люди, но и не глядел. Всякий занят был или куплею, или продажею. Для освежения ослабевших сил зашли мы к шинкарке, молодой веселой бабе; познакомились с нею и упросили уступить на короткое время уголок в шинке для складки товаров, кои искупить намеревались, пока не подъедет наша подвода. Тут пустились мы в куплю. Артамон крепко торговался, хлопотал, усовещивал дорожащихся продавцов; а я на досуге искусным образом брал придачу и относил на место складки. Коротко сказать: когда каждый

из нас по три раза воротился с базара, то ахнул, увидя товары другого. Мы чувствовали, что не в силах снести и половины, а денег у нас оставалось еще весьма довольно. Так-то прибыточен был мой промысел. Когда мы не знали, что делать, я нечто вспомнил, взял товарища за руку, и опять пошли на базар. Там в некотором отдалении от толпящегося народа стояла телега, запряженная в одну лошадь. Подле сидел средних лет мужик, повеся голову и кидая вокруг мутные взоры. Он тяжело вздыхал и с унынием ломал на руках пальцы.

— Молодец!— сказал я.— И с лица (которое было совершенно баранье) кажешься ты честным человеком! Не болен ли ты?

— Поневоле будешь болен, когда придет беда!

— Об заклад бьюсь, что ты не имеешь денег!

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что с великою завистью посматриваешь на этот шатер, в котором разливается пенник! Скажи-ка нам всю правду да сделай небольшое одолжение, так и будешь с деньгами, а сверх того не худо попотчеван. Ты видишь, что мы егери, следовательно, на базар не ходим.

Мужик посмотрел на нас, как на ангелов-хранителей, и после рассказал, что зовут его Иваном, что он подданный пана Яцька, которого хутор и дом верстах в пяти от села; что имеет злую жену, по жалобам которой много раз уже отведывал он панских арапников; что жена послала его на базар, наложив в телегу разного рода круп, гороху, яиц и проч., велела все продать и на вырученные деньги купить горшков, соли, мыла и проч. Что он вчера ввечеру все это сбыл весьма выгодно за четыре злотых; что дьявол, в образе кума, к нему подсуседился и они вдвоем променяли все злотые на несколько кварт пенника!

Окончив свое повествование, он спросил дрожащим голосом:

— Чем могу оказать вам услугу?

Мы объявили, что столько накуплено у нас товару, что не сможем донести до своей телеги, стоящей за селением; а потому если он ссудит на самое малое время своей лошадью, то мы охотно дадим ему целый рубль, а сверх того по уговору хорошо попотчуем. Кто бы на его месте не согласился на такое лестное предложение? В один миг отпряг он свою клячу, телегу поручил смотрению соседа, мы отправились к шинкарке, навьючили лошадь и самих себя, и все трое пустились в дорогу.

Глава 3 **Наружность обманчива**

— Судя по взорам и ужимкам нашего нового знакомца, нельзя было наверное заключить, что́ ему скорее хотелось: получить ли в свои руки рубль или приложиться к баклаге.

— Пан егерь!—сказал он, обратясь ко мне,—у тебя в мешках что-то сильно болтается. Нельзя посмотреть, что такое?

— Как только дойдем до того перелеска—видишь,—то отдохнем и заглянем в свои мешки!

— До перелеска? Да это дремучий непроходимый бор, в который подальше не ходит ни одна душа человеческая. Там с давних лет постоянно живут одни черти да разбойники!

— Мы далеко не пойдем! Разве мы не христиане и не честные люди, чтоб не бояться чертей и разбойников? Однако согласись: не посреди же дороги остановиться!

— И то правда!

Болтая всякую всячину, нечувствительно вступили мы в лес и, прошед несколько шагов, остановились, ибо Иван никак не соглашался идти далее, представляя очевидные опасности. Мы развьючили лошадь и, привязав к дереву, пустили на траву, а сами, рассевшись в тени, принялись за баклагу, хлеб и сало. Сохраняя сами возможную умеренность, мы не только не удерживали Ивана, но еще поощряли почаще лобызаться с прекрасною баклагою, и это было ему весьма мило. Когда молодец полуодурел, то я с видом простосердечья сказал:

— Надо думать, что ваш пан Яцько человек весьма бедный!

— А почему?

— Потому, что вы, горемыки, не имеете свободной чарки вина!

— Не то! Он богаче всех жидов вместе в нашем околотке, но только так скуп, что сам едва не околевает с голоду. Кроме денег, он у нас берет всякою всячиной. Сохрани боже, если в праздничный день поутру кто-нибудь

не принесет ему хотя пятка яиц. Как раз придерется — и поминай себя, как звали!

— Много ли вас всех в хуторе?

— Только десять хат, но зато у него в целых трех селах много подданных, много поля и много лесу. Деньги со всех сторон плывут в сундуки его, а оттуда уже никуда не выплывают. Он постоянных слуг не держит, чтобы — говорит — избавиться лишнего расходу. Из нас два мужика и две бабы или девки в доме его на очереди всякий день днюем и ночуем, а обед и ужин приносим с собою. У него есть жена, возрастный сын и дочь, которые все в скряжничестве ему не уступают.

Между тем как Иван рассказывал многие примеры скупости панов своих и беспрестанно промачивал горло, солнце спустилось за лес, рассказчик растянулся на траве и захрапел. Зная, что он нескоро будет в силах подняться, мы положили в карман его рубль денег, чтобы сдержать честное слово, навьючили лошадь и пустились в дальнейший путь. Мы не прошли и третьей доли дороги, как поднялся туман, глубокие сумерки объяли все темнотою, и мы никак уже не могли распознавать значков, насеченных нами на деревьях. Хотя мы очень об вас крушились, представляя ваше беспокойство, но пособить было нечем, и мы решились провести ночь в лесу. Своротя несколько вправо, выбрали местом ночлега маленькую равнину у корня древнего развесистого дуба. Сложив с себя и с лошади ноши, мы разлеглись на траве и, раскуривши трубки, спокойно ожидали приближения сна.

Глава 4 Безбородый атаман

— Не успели мы выкурить по другой, как услышали в довольном расстоянии свист, крик, ауканье, хохот и такой вообще содом, что волосы у Артамона стали дыбом, а я стал дрожать как в лихорадке. Видно, знакомец наш Иван говорил правду, что лес этот весьма не пуст. Вскоре показался дым, и мы основательно заключили, какого рода должны быть сии ночные путешественники. Вместо прежнего страха напало на меня непреоборимое

любопытство увидеть поближе лесных панов и, сколько Артамон ни представлял мне о неблагоразумии тех, кои подвергаются опасности без нужды, я не утерпел и, помолясь соименному мне блаженному Охриму, пополз на брюхе сколько можно осторожнее, следуя на голоса, которые ни на минуту не умолкали. С терпением все преодолеть можно. Сколько ни затруднительно было мое положение, однако я продолжал, и хотя рак мог бы опередить меня, но я дополз до своей цели. Прилезши к калиновому кустарнику, я остановился. За кустом непосредственно следовала довольно просторная лужайка, посредине которой на разведенном огне варилось и жарилось кушанье. Человек двадцать, исправно вооруженных, находились там в разных положениях. Одни лежа пели песни; другие молча курили трубки; третьи боролись; четвертые пили.

Особенное внимание мое привлек на себя молодой красивый человек, сидевший у огня с обнаженною правою рукою, облитою кровью. Около его с приметным усердием и заботливостью увивался высокий, плечистый усач. Он обмыл рану вином, приложил какой-то мази, обвязал и, с улыбкою закручивая усы, сказал:

— Уверяю, атаман, что через шесть дней ты так же проворно и легко будешь владеть саблею, как и до сего неприятного случая.

Едва не ахнул я, услыша, что атаманом величают молодца без усов и без следа бороды, но еще более удивился и оторопел, когда услышал следующий разговор.

Атаман. Через шесть дней, говоришь ты, Сильвестр, а не прежде могу я владеть саблею? Какая досада!

Сильвестр. Что же делать! Кто бы мог подумать, что мы, нападши на купеческий обоз, встретим такую задорную оборону? Правда, глупцам изрядно досталось: они большею частью побиты или ранены и лишились многих хороших вещей, но и мы потеряли двух храбрых товарищей *(весьма тихо)*, и ты, прекрасная Олимпия, ранена! Твоя драгоценная кровь...

Атаман *(прерывая его, так же тихо, но сурово)*. В последний раз говорю тебе, чтобы никогда не называл меня сим ненавистным именем. Вольно было природе подшутить надо мною, произведя на свет девкою. Я перемогла, поставила на своем, и для всех вас не что другое, как Олимпий, атаман ваш!

Тут атаман встал, подошел к толпе пирующих и принял участие в их празднестве. Сильвестр поднялся, бормоча что-то сквозь зубы, и соединился с прочими. Еда поспела, и когда они опорожнили все из котлов и фляг, атаман сделал вопрос: «Чай, храбрые наши товарищи давно уже дома с купецкими пожитками!»

1-й разбойник. Надобно думать! Только позволь сказать, атаман, что прежнее наше жилище мне и до сих пор больше нравится.

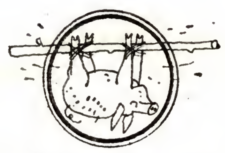
2-й разбойник. Там мы не знали расставлять часовых. Спи себе на здоровье, сколько хочешь, и ухом не веди. А теперь не задремли!

3-й разбойник. Сколько там в пруде рыбы! Сколько, бывало, на зиму насушим мы яблоков, груш и терну!

Атаман. Кажется, вы все неглупые люди, а судите по-ребячески. И я не говорю, чтобы в старом нашем провалье было худо, когда нас было не более двадцати человек и когда мы считали себя довольными, если имели что есть и пить. Но когда общество наше начало умножаться достойными членами; когда понадобились нам лошади, телеги, запас без малого для пятидесяти человек, то не вы ли сами видели невозможность сделать все порядочно в захолустьи? Самая же главная неудобность состоит в том, что если земская полиция о нас пронюхала, то для нас довольно было пяти человек, поставленных у выхода; и нашей дружины целая сотня должна по временам или околеть с голоду, или быть перебита, как хомяки, выгоняемые из нор своих вливаемою туда водою. Теперь, напротив, мы при виде первой неудачи имеем пять выходов; а притом и пожитки наши хранятся по равной части в трех разных местах. Выкурят из одного — у нас еще останется два приюта. Довольно об этом! Хотя для меня крайне неприятна эта рана, но быть так! Послушаем опытного Сильвестра и целые шесть дней посвятим покою. Как скоро же я выздоровею, то, не теряя времени, выберу человек двадцать и поведу на хутор богатого скряги пана Яцька. Надобно его избавить от лишнего беспокойства. Теперь отправимся к своему лагерю. К рассвету мы там будем.

После сих слов все скоро убрались и, затянув походную песню, удалились. Я до тех пор лежал, пока доходили до меня голоса их; как же скоро все утихло, я встал и без труда нашел Артамона, бодрственно меня дожидавшегося. Меж тем как я рассказывал товарищу о виден-

ном и слышанном, как делали свои замечания, а более всего дивились, нашед атамана над полусотнею храбрых мужчин молодую девку, чего прежде ни в одной сказке и слыхом не слыхивали, взошла заря, а вскоре и солнце показалось. Мы, навьюча лошадь и сами себя, пустились в путь и — как видите — совершили оный благополучно.



Глава 5 Важное предприятие

— Теперь я понимаю,— сказал Гаркуша,— отчего не оказали вы ни малого удивления, увидя здесь пруд и хижины. Благодарю тебя, Охрим, за твое усердие и расторопность. Мое будет дело употребить в пользу собранные тобою сведения. Мы не постыдим себя и не допустим, чтобы девка нас перещеголяла. Я уверен, что судьба предоставила нам проучить пана Яцька и облегчить сундуки его. Дело это произведем мы в действо на пятую ночь, дабы тем более досадить безусому атаману. А как у нас мясной провизии не далее станет, как на сей только день, то мы после обеда и отдыха, оставя здесь Охрима и Харька, отправимся на охоту на двое суток.

— Почему же я,— возразил Охрим,— не гожусь вместе с вами сражаться с зайцами, драхвами или даже с одичавшими свиньями? [1] Вот когда пойдете на пана Яцька, то, пожалуй, я и останусь здесь на часах. С ночлегов, которые, вероятно, не будут отдалены, я буду приносить всю добычу на край пустыни и кидать ее с места первого нашего притона. Харько будет подбирать и на досуге чистить, солить и вообще предохранять от порчи.

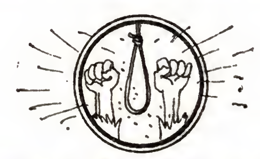
Все согласились на сие требование, и, когда солнце перекатилось гораздо за половину дневного пути своего, охотники выбрались из пустыни в дубраву.

Во время двухдневного их странствия по лесу ничего достопамятного ни в пропасти, ни в лесу не случилось.

---

[1] В Малороссии есть обычай, чтобы сохранить экономию, в начале весны выгонять в леса целые стада свиней, гусей и уток; а в глубокую осень собираются загонять в домы. Ни одного разу не проходит, чтобы не оставалось в лесу третьей части. Они со временем совершенно дичают. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

Охотники набили великое множество двух- и четвероногой дичи и, между прочим, добыли две свиньи, что более всего их тешило. Охрим все это время от времени перекидывал в пустыню, а Харько подбирал и, как знал, приготовлял впрок. Наконец в условленное время витязи возвратились в свое жилище и другие два дня провели в еде, питье и спанье, дабы собраться с силами, нужными для побеждения пана Яцька и овладения его сокровищами. Наконец настал и пятый день, и сердца их затрепетали. От страха или радости? Они и сами не знали!



Глава 6 **Явление кстати**

Надобно заметить, что у прозорливого Гаркуши не одна охота была поводом к выходу из пропасти. Охота сама по себе, но ему хотелось вместе с тем обстоятельно осмотреть хутор пана Яцька и его окрестности; хотел назначить место приступа самое удобное, дабы успех был несомнительнее. Посему на другой день после полдень, спрятав съестные припасы в заметном месте, приказал он Охриму выводить из лесу. Некоторые из товарищей осмелились возразить, что такое предприятие производить днем опасно; но Гаркуша с важностью отвечал, что если они будут бояться дневного света, то никогда не достигнут той великой цели, до которой предположил он достигнуть сам и довести всех их. Он присовокупил, что как обиды, деланные им и бесчисленному множеству подобных им несчастливцев, совершались и совершаются открыто, явно, то справедливость требует, чтобы и отмщение, или, лучше, мздовоздание, было так же—если не теперь, когда силы их еще слабы, то после, когда они укрепятся присоединением к ним храбрых людей, в которых недостатка не будет,— было открыто, явно—пред людьми и пред богом!

Никто не смел ему возражать, хотя ни один не чувствовал в себе той твердости, того огня, которые одушевляли атамана. Он в короткое время умел так приковать их к себе, к образу чувств своих и мыслей,— не знаю, можно ли так выражаться,.— что они, хотя с трепетом, по

одному мановению начальника готовы кидаться в огонь и в воду. Итак, Охрим, привеся к поясу полную баклагу и спрятав в торбу кое-что съестное, повел их по догадкам к выходу, и они часа через два или три увидели сквозь редкий березняк луг, поле и селение. Сим березняком пошли они в правую сторону, следуя рассказам Ивана, и в самом деле, прошед с небольшим пять верст, увидели хутор (без сомнения, пана Яцька), расположенный на холме, вокруг которого зеленели сады, а в долине протекала речка.

Солнце было еще очень высоко и жар весьма ощутителен, почему и без того утомленные пешеходы решились отдохнуть в тени. Они вошли подальше в лес и разлеглись на мягкой траве. Запас благоразумного Охрима весьма пригодился. Они довольно рассуждали о средствах, как удобнее пленить пана, и об употреблении богатства, которое, без сомнения, им достанется, как услышали невдалеке легкий шум, сопровождаемый тяжкими вздохами. Они протянули головы и увидели крестьянина, севшего под осиною весьма от них близко.

— Клянусь ангелом-хранителем, это Иван, базарный наш знакомец,— сказал Охрим тихо; Артамон подтвердил то уклонкою головы.— Посмотрим, что-то он тут делать будет!

Иван посидел молча и, повеся голову, полез за пазуху, вытащил изрядную флягу, осушил половину, не переводя духа, и опять задумался. Потом встал, вынул из кармана веревочные вожжи и полез на осину. Он прикрепил их к самому толстому суку, сделал порядочную петлю, спустился с дерева, сел, кончил расчет с флягою и, крепко вздохнувши, произнес следующие слова:

— Надобно признаться, что свет этот для нашего брата никуда не годится! Одно мученье, и — каждый день! Посмотрю, каков-то другой! Если и он таков же, опять повешусь и пойду в третий и до тех пор буду вешаться, пока на котором-нибудь не сделаюсь паном! И в самой вещи—куда это годится? За всякую малость — пан бьет, жена бьет, сын и дочь матери помогают. Ах, как жаль, что не увижу исполнения последних моих желаний; а я очень уверен, что они исполнятся, ибо поп в селе не раз говаривал, что завещание умирающего человека должно быть неотменно исполнено. Итак, желаю: чтоб пан Яцько со всем семейством дочиста были ограблены: злее этой муки для них не придумаю. Далее: чтоб дом мой сгорел

вместе с женою; чтоб сын сделался разбойником, перерезал бы шеи множеству панов, а после был пойман и предан в руки полиции, а там уже будут знать, что с ним сделать; чтоб дочь моя — чего бы пожелал сей негоднице? Чтоб дочь моя вышла замуж за ревнивого старика, который бы мучил ее лет десять каждую минуту и, наконец, ощипавши все волосы, ни одного не оставя, утопил бы или задушил ее! Вот последнее желание умирающего Ивана.

Глава 7 **Отчаянный**

Сказав сии слова, Иван перекрестился, поклонился на восток солнца и вторично полез на осину.

— Этот человек,— сказал Гаркуша,— сверх нашего чаяния, нам весьма пригодится!

Он вскочил, все за ним и бросились к отчаянному. Увидя их, он так испугался, что свалился с дерева, зажмурил глаза и притаил дух. После узнали они, что он счел их за лесных чертей, пришедших за его душою. Немалого труда стоило им уверить его, что они люди, и барыша честного люди, и христиане, готовые оказать ему всякую помощь, только бы и он не отрекся сделать им с своей стороны некоторую услугу. Иван, ободренный их словами, согласился засесть с ними около баклаги и, проглотив добрый прием, развеселился и поведал следующее:

— Без сомнения, эти почтенные паны (указав на Артамона и Охрима) объявили уже вам, в каком положении оставили меня при входе в лес, когда увели мою лошадь. Проснувшись, я долго не мог догадаться, вечер ли то был или утро. Видя множество крестьян, идущих в село для продажи лишних изделий, я утвердился на последней мысли. Встав, я почувствовал в пустом кармане тяжесть, опускаю руку и—вынимаю деньги. С великой радостью пересчитываю и, нашедши целый рубль, не знал, что с ним и делать. Я мало печалился, не видя своей лошади, и пошел прямо в село. Я думал один злотый оставить в шатре, а на четыре искупить все, что жена прика-

зала. Опять нечистый дух наслал на меня соседа, под сбережением коего оставил я свою телегу. Коротко сказать: мы пробыли до ночи и—я започивал. Пробудясь, немало подивился, видя, что лежу на лубке—в сарае,—я задрожал, осмотревшись,—в сарае пана Яцька и прикован к стене железной цепью. Не успел я опомниться, как вошел ко мне сосед и самым печальным голосом поведал, что вчера, видя меня в плохом состоянии, не решился оставить на базаре, а взвалив на телегу, повез домой в хутор. Жена, вышедшая на стук за ворота, видя, что я на чужой телеге, что со мною нет ни денег, ни ожидаемых покупок, не пустила на двор, а потому он решился отвезти меня на двор панский, где я тотчас и был припрятан. Едва сосед вымолвил последние слова, как явился сам пан Яцько с другим моим соседом. Он начал расспрашивать о телеге, о лошади и о деньгах, вырученных за проданные снадобья. А как я отвечал, что черти меня соблазнили и я совсем не знаю, куда что делось, то он с умильным набожным видом отвечал:

— О друг мой! Ты теперь-то видишь, как грешно, как опасно связываться с нечистою силой. Я — из христианской любви—тебе открою, как можно ограждаться от наваждения бесовского!

Он дал знак, усердные соседи на меня бросились, в три мига разоблачили, оставя на ногах одни постолы, и по другому панскому знаку начали наделять батогами [1]. Я вертелся и кричал, пока был в силах кричать и вертеться, а лишась их, замолчал, и лежал спокойно. Когда увидел пан, что я еле жив, велел перестать и сказал ласково:

— Ну, голубчик, ни на кого не пеняй, как на себя! До будущего утра ты останешься здесь в покое; но как в твоем положении отягощать желудок очень опасно, то не велю давать тебе ни куска хлеба; воды же получишь целое ведро, пей на здоровье, сколько хочешь!

Он вышел с моими соседями, которые скоро принесли воду, поставили подле меня, дали дружеский совет не грустить и вышли, заперши за собою дверь. И самая говорливая шинкарка не в силах будет рассказать вам о мучении, какое претерпел я во весь день и во всю ночь. Поутру явился пан с соседями.

— Иван! — сказал он.— Ты с сего часа свободен на целые два дня. Что хочешь, то и делай, но только чтобы

[1] Батог — коим погоняют быков и лошадей. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

к вечеру другого дня ты был на дворе моем с телегою, с лошадью и деньгами; если же не так, то советую тебе лучше утопиться или повеситься, потому что я велю тебя угощать каждое утро так, как угощал вчера, пока не отыщешь своей пропажи.

Меня расковали; я оделся и, поклонясь пану за ласку, вышел из сарая, со двора, из хутора и пошел куда глаза глядят; но они глядели к гибельному для меня селу, и — я опять очутился на базаре.

По словам соседа, я сейчас нашел свою телегу; но что мне с нею без лошади делать? Я ходил по всему селению, думая, не забрела ли она из лесу туда,— все по пустякам. На мои вопросы отвечали насмешками. Одурь взяла меня. Избитый, голодный, усталый, бросился я в густой бурьян у одного забора и провел ночь хотя покойнее, чем прежнюю на лубке, но все же бессонную. Воображение будущего истязания кидало меня то в жар, то в озноб. Я был болен, пока не решился принять последнее лекарство — умереть. Вдруг горесть моя исчезла; взошло солнце, и я выполз из своего ночлега, пошел к сберегателю моей телеги и ему же ее продал за два таляра[1]. Умирающему человеку житейское на ум нейдет; а потому без дальних размышлений очутился под шатром и начал душу свою приготавливать к походу на тот свет. Путь неближний, и хороший запас нужен. Целого таляра не стало. Я ощутил в себе несказанную решимость. Душа так и рвалась из тела вон! Не теряя времени, оставил я базар и село, и как не было глубокой речки ближайшей, то я и побрел к хутору. Отсюда видно на берегу несколько ветвистых ив. Там совершенный омут. Я разделся, помолился и опустился на дно. К несчастью, я сызмальства великий искусник в плаваньи. Едва коснулся ногами дна, как опять очутился наверху, и, вместо того чтобы тонуть, я исправно плавал. Меж тем мало-помалу приобретенная храбрость души моей выпарилась, и я опять очутился на берегу, оделся—и, вспомня, что еще остается один род смерти, пошел обратно в село. Зная на опыте, как трудно умирать с тощею душою, и имея желание повиснуть в сем лесу против самого хутора, чтоб скорее меня увидели и казнились мои убийцы, я купил флягу, наполнил ее добрым вином и решился не дотрагиваться до него, пока не приду на свое место смерти. Я так и сделал; душа моя,

[1] Таляр — называется 60 коп. медною монетою. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

вспомня о батогах, которыми терзали бедное тело и обещались терзать еще более, готова была его оставить, как вы, паны, помешали мне,— не знаю—к счастью ли моему или горшему несчастью!

Глава 8 Условия

В сем месте повествования Иван замолчал, вздохнул и опустил голову к груди. Гаркуша с жаром протянул к нему руку и сказал:

— Клянусь тебе, что к счастью, только ты сам не должен от него бегать, пока оно тебе улыбается. Понимаешь ли ты, что значит великое сладостное чувство, называемое мщением?

— Нет!

— Я тебе скажу пояснее, и ты, без сомнения, поймешь меня, иначе — ты не человек, а ком движущейся грязи! Отвечай откровенно: если бы какие добрые духи или сильные люди отдали тебе в руки пана Яцька со всем родом и жену твою с детьми и сказали: «Иван! Делай с сими злодеями, что изволишь. Жена не пустила тебя к себе на двор, от того пан узнал твой промах, содрал с тебя кожу и обещал задирать всякий раз, как скоро она подрастать станет». Что бы ты с ними сделал?

— Да этому быть нельзя!

— Представь, что это уже сделалось; и—клянусь отречься навсегда от милосердия ко мне царя небесного, если через три дня сего не будет,— отвечай, что ты тогда сделаешь?

Иван помертвел; с робостью смотрел в глаза Артамону и его собратий; и опять мысль: не с чертями ли он беседует, потрясла все телесное и душевное существо его. Он молчал, потупя глаза в землю. Гаркуша сейчас понял мысль бедного человека; почему, дабы вывести его из жестокого недоумения, он сотворил молитву и перекрестился; товарищи его то же сделали. Иван мало-помалу ободрился и весело сказал:

— Вижу, паны, что вы совсем не черти. Теперь скажу вам, что с паном Яцьком и его семьею, равно как с моею

женою и с детьми, поступил бы точно так, как желал им, готовясь удавиться!

— Браво! — вскричал Гаркуша.— Знай же, что это чувство, тобою ощущаемое, называется *мщением,* и в ком нет его, в том нет и любви к самому себе; в ком же и сие чувство угасло, тот перестань называть себя человеком. Слушай, Иван, внимательно: лошадь твоя в нашем кочевьи, в котором мы для охоты пробудем еще довольно долго. Пойдем с нами. Возьми свою лошадь и сверх того пять рублей денег. И то и другое представь своему пану. Скажи ему, что на ярмарке во время твоего сна один знакомый весельчак, желая подшутить, увел лошадь с телегою; узнав же теперь, что ты за такую шутку его вытерпел тьму ударов, возвратил все и сверх того дал еще деньгами. На выкуп же твоей телеги и на закупку вещей, женою тебе наказанных, возьми еще пять рублей—с тем, однако, чтобы в роковом шатре не засиживаться! Доволен ли?

Бедный Иван растянулся у ног атамана и едва со слезами на глазах мог пробормотать кое-что о благодарности.

— Благодарность твоя будет состоять в следующем: в третью после сего ночь ты непременно должен быть на дворе панском; если нельзя явно, так хотя скрытно. Как скоро услышишь ты, что филин прокричит за воротами три раза, отопри их как можно тише. Там будем мы и поможем тебе отмстить. А до тех пор — ни одной душе о сем ни слова, иначе...

Словцо *иначе* выразил Гаркуша таким тихим, протяжным, дребезжащим голосом, что Иван задрожал, прервал его и клялся сколько мог усерднее, что все приказания исполнит в точности, то есть не засидится под шатром, сохранит тайну и отопрет ворота.

Склонясь на сие так охотно, Иван ни за что не соглашался идти далее в лес. Почему братство удовольствовалось дойти с ним до того места, с которого Охрим увел его лошадь. А как он места сии знал обстоятельнее прочих, то и послан был атаманом за лошадью, а во время его отсутствия все занялись особенно расспросами о великости имения пана Яцька, об образе его жизни, привычек, о храбрости и пр. Солнце было далеко от заката, как Охрим возвратился с лошадью и отдал ее восхищенному Ивану. Гаркуша, вручив ему первые пять рублей, велел поспешать на ярмарку, взять обратно телегу и, искупив

все, что жена наказывала, сколько можно поспешнее возвратиться назад за другими пятью рублями. Иван взмостился на своего иноходца и полетел к селу. Он честно сдержал свое слово и воротился так проворно, как его и не ожидали. Может быть, страх прогневить таких милостивых панов или опасение лишиться обещанных пяти рублей проворно выгнали его из-под гибельного шатра. Гаркуша, осмотрев его покупки, был доволен, отдал деньги, благословил и, отпуская восвояси, напомнил о его обязательстве. Когда Иван поворотил к хутору, атаман с дружиною тихими шагами пошли к своей пустыне, куда и достигли благополучно и где праздные два дня провели прямо по-праздничному, как сказано выше. Настал третий, роковой день.

Глава 9 Несчастный мечтатель

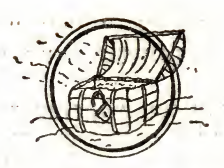
С появлением дня всякий принялся за работу. Кто чистил ружье, кто оттачивал саблю, кто пробовал в цель из пистолетов. До самого полудня вся дружина занята была приготовлением к самой лучшей стычке, и хотя все работали усердно, но внимательный Гаркуша не мог не заметить, что товарищи его были пасмурны, мало что один с другим говорили, и казалось, каждый приготовлялся на смерть. Ах! Если б они тогда еще могли опомниться! Но Гаркуша не допустил до того. Обедом поторопили, и когда он готов был, атаман — в первый раз своего господства — почти принуждал собратию почаще прикасаться к баклаге. Бодрость — или, правильнее,— самозабытие разлилось в душе каждого, и они, разлегшись отдыхать под тенью дерева, хвастали один перед другим, рассказывая о будущем удальстве своем. Один Гаркуша, уединясь в самую густую часть леса в своей лощине, говорил сам с собою. «Итак, настал наконец день, в который выступлю я из общего круга, для человеков назначенного! Доселе был я постепенно: шалун, обманщик, зажигатель, убийца — и все против моей воли. До сего доводили меня злость и корыстолюбие! Теперь уже я сам собою решаюсь сделаться—милосердный боже!—сделаться разбойником!

Почему же так? Кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пан, который за принесенное в счет оброка крестьянкою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержать на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит изобличенному в бездельстве компанейщику: «Что дашь, чтобы я оправдал тебя?» Не тот ли священник, который, сказав в церкви: «Не взирайте на лица сильных», в угодность помещику погребает тихонько забитых батогами или уморенных голодом в хлебных ямах? О беззаконники! Вы забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя? Так! Я мститель и не признаю себе другого имени!» Так-то мечтал несчастный, которого необразованная душа не могла привести в порядок ощущений, рожденных бурею страстей его! Ах, как жаль, что природа, одарившая сего погибающего столь щедро прекрасными дарами духа и тела, для чего не была она на то время в дружеской связи с судьбою, которая,— поставив его в лучшем кругу общественном,— подарила бы отечеству, а может быть, и всему свету благотворителя смертных, вместо того что он выходит ужасный бич их, тем опаснейший, что мечтает быть исполнителем горней воли!

Закатывающееся солнце краем круга своего коснулось уже небосклона, как Гаркуша с братством своим достигли перелеска против самого хутора пана Яцька и расположились в том самом месте, где они познакомились с Иваном. Время текло для них весьма медленно, и храбрецы легко бы опять призадумались, если бы атаман не умел зажечь их своими рассказами о будущей их покойной, счастливой жизни.

— Несколько удачных опытов,— говорил он,— и мы богаты; отправимся в места самые отдаленные, где бы мы были совершенно незнаемы, обзаведемся хозяйством, не будем знать над собою никаких начальников, кроме бога и царя, и под ними собственно избранные нами. Кто тогда может быть нас благополучнее?

Таковы речи атамана и воспламененное от вина вображение вновь раздули угасающие искры мужества слушателей, и вся шайка, хотя и малолюдная, казалось, составляла одного человека. Настала ночь глубокая. Гаркуша с товарищами отправился к панскому дому, перешел через мостик речку, и скоро все очутились у ворот.



Глава 10 Разбойник

Охрим, который был великий искусник подражать голосу многих зверей и птиц, по условленному знаку три раза прокричал филином. В непродолжительном времени ворота отворились, и явился бодрственный Иван. Витязи немедленно его обступили, благодаря за сдержание своего слова.

— Паны!—сказал Иван.— Вы пришли очень кстати.— При сих словах он надел бриль на сторону головы.— Все панство спит, и в хуторе нет никого, кроме нас с соседом, а все в поле на панской работе и не прежде придут, как завтра к вечеру. Сказывайте, что я должен делать?

— Вести сейчас в панскую опочивальню,— сказал Гаркуша,— а предварительно снабдить нас веревками и фонарем!

Иван бросился в конюшню и мигом воротился с требуемыми вещами. После сего все вместе сколько можно тише вошли в дом, а там и в спальню. Пан Яцько, нимало не предчувствовавший имеющейся постигнуть его судьбины, покоился глубоким сном подле своей паньи. Шайка разделилась. Трое бросились на пана, а двое на его супругу; Иван усердно присвечивал. Прежде нежели сонные могли хорошенько опомниться, уже были крепко-накрепко скручены по рукам и по ногам. Пан Яцько, зная, что из мужчин, стоящих назваться сим именем, никого нет дома, не почел за нужное кричать и сохранял голос свой для нужнейшего времени; зато жена его, хотя также знала, что все люди в поле, а на двух очередных девок мало было надежды, однако так завопила, что у всех завяли уши. На вопль ее прибежали полунагие сын и дочь и вмиг были схвачены, скручены и положены на полу рядом. Поднялся двойной крик, подобный крику журавлей, когда хитрый охотник подкрадется и по целому стаду выстрелит. Гаркуша, видя, что увещевания его не пугаться совсем не действуют, вероятно оттого, что никто из них не мог слышать слов его, вынул из-за пояса пистолет, взвел курок и сказал:

— Если вы не уйметесь, паньи, и ты, молодой пан, то я принужден буду однажды навсегда остановить язык ваш и заткнуть горло.

Сия краткая речь, проговоренная с приличным взором и движением, подействовала успешнее, чем Цицеронова за Милона.

— Пан Яцько! — воззвал Гаркуша.— Мы проезжие люди и посбились в дорожном запасе. Слыша же, что ты заживной человек и притом весьма ласковый, зашли к тебе отужинать.

Пан Яцько *(с тяжким вздохом)*. Ах, честные паны! Вам, видно, злодеи наши донесли ложно. Мы люди крайне небогатые, и от одного дня к другому почти ничего не остается.

Гаркуша. Мы неприхотливы и малым довольны будем. Но чтоб тебя не беспокоить, то мы сами потрудимся поискать чего-нибудь. Где твои ключи? Подай сюда!

Пан Яцько. Я никогда при себе не держу их, да и не от чего. Они всегда у жены.

Жена. Я отдала их дочери.

Дочь. Я, гуляя повечеру в саду, уронила в траву и никак не могла найти.

Под густыми черными бровями Гаркуши заблистали глаза, подобно двум свечам, являющимся страннику в ночь темную на местах топких. Но он вдруг удержал себя и произнес, по-видимому, довольно равнодушно:

— Мы для того и путешествуем, чтоб научиться переносить всякие неудобства. Ты, Кузьма, и ты, Охрим, останьтесь здесь для соблюдения покоя, а прочие ступайте со мною.

Они зажгли несколько свечей, оставили часть с кустодиею, а с прочими пошли по указанию Ивана. Что значили запоры и замки панские пред орудиями разбойников? Как гнилая ветошь, все расползлось под их ломом, и внутренность прельстительного сундука отверзлась. Все ахнули от радости, видя дородные кошельки, серебром начиненные; а в одном шелковом довольное количество цельных голландцев. Осмотрев другие сундуки, не нашли ничего, кроме платья, белья и мелких потребностей пана, жены его, сына и дочери.

— Иван! — сказал Гаркуша.— Подведи к крыльцу две лучшие лошади из конюшни с четырьмя крепкими переметными сумами.

В ожидании Ивана они начали осматривать покои пана, нашли изрядный запас в добрых наливках и начали лакомиться, послав к Охриму и Кузьме полную сулею, дабы и тем не скучно было глядеть на вздыхающих узников. На стене где-то найдены большие серебряные часы и представлены атаману. Гаркуша взглянул на них, пришел в смущение и сказал:

— Поспешим! Скоро займется заря! (В короткое время пребывания его в доме своего пана Аврамия успел он выучиться различать по часам время, хотя еще не дошел до того, чтоб мог продлить их движение.)

Когда он хотел послать к Ивану с приказанием поторопиться, тот, вошед, объявил, что лошади готовы; почему, нимало не медля, все имущество пана Яцька переклaдено из сундуков в переметные сумы; серебро, платье, белье, даже убранство женское казалось им неизлишним. Золото атаман припрятал к себе. Тогда, сменя Охрима Исаком, велел первому немедленно с тремя другими поспешать с сокровищем в пустыню, что в ту же минуту и предпринято. Оставшись сам-третей, атаман явился в храмине скорби и сетования, сказал самым важным голосом:

— Согласись, пан Яцько, что все на свете сем подвержено беспрестанным переменам, быстрым, неожиданным. Ты это неотменно знал, ибо уже полусед; или, по крайней мере, должен был знать, ибо ты родился, рос и начал стариться паном и христианином. Для чего же ты мучил каждодневно людей, поставленных судьбою к твоим услугам? Разве не довольно с тебя было — в праздности, неге, совершенном бездействии, лежа,— как говорится,— на боку, есть, пить, курить тютюн и спать? Для чего ты мучил самого себя, не пользуясь самым необходимым и подвергаясь чрез то истощению сил и болезням? Разве теперь приятно будет тебе видеть крепкие сундуки свои опустошенными совершенно? Не походишь ли ты на того богача, которому сказано было: «Безумный! Ты собираешь богатства, не зная, кому что после тебя достанется!» Ну, пусть так! Лишением серебра и золота, выплавленного — можно сказать — из крови, поту и слез твоих подданных, ты и семья твоя уже наказаны; но все еще остаетесь в долгу относительно к беднякам, которых вы называли *своими,* и долг этот так запущен, что может сделаться неоплатным, если я теперь же не возьму на себя труда по-

квитать вас. Сим поступком исполню я волю правосудного неба, рано или поздно карающего беззакония, и сделаю вас счастливыми. Поверь мне, пан Яцько, с сегодняшнего утра ты можешь наслаждаться жизнию. Кто запрещает тебе быть бережливым, домостроительным, степенным человеком, каковых есть довольно,— это добродетель, приятная и самому и другим; но неумеренная скупость, постыдное скряжничество есть порок гнусный, отвратительный, недостойный терпим быть в обществе человеческом! От этого-то порока постараюсь я отучить всех вас...

Он дал знак — и пана Яцька мигом сволокли с постели на пол; а догадливый Иван в минуту явился с пребольшой вязанкою лоз. Начался урок — единственный в своем роде. Несмотря на вопли мужа, жены, сына и дочери — Гаркуша хладнокровно говорил:

— Сему никогда не бывать бы, если бы вы помнили, что вы состоите из такой же плоти и крови, как ваши подданные. Вы этого не хотели знать, не верили. О! Справедливость требует уверить вас в сей истине! Продолжайте, почтенные наставники! Продолжайте как можно ревностнее; добрые люди сии того стоят!

Пан Яцько перестал вопиять и клясться, что впредь будет отцом своих подданных и самым чивым человеком. Дан знак — и его перестали увещевать, а принялись за панью, а напоследок за достойные отрасли знаменитого дома. Когда же все весьма достаточно были наставлены, как должно вести жизнь прямо панскую, Гаркуша сказал:

— Я сам, пан Яцько, медицину знаю не плоше тебя и кажется, поступлю основательно, когда тебя и семью твою оставлю в сем положении до возвращения с поля крестьян твоих. До тех пор вам вредно было бы что-нибудь есть или пить. Оставайтесь с миром — и помните Гаркушу!

Он вышел с своею свитою — и прямо на двор Ивана. Там тоже досталось жене его, сыну и дочери, да и с лихвою. Разумеется, что разъяренный Иван не жалел ни рук своих, ни ног, ни языка. После сего все простились с хутором, не прежде, однако ж, пока Кузьма и Исак не понаведались еще раз в панскую кладовую и не взяли на дорогу кое-чего, утоляющего алчбу и жажду.

Глава 11 **Новый собрат**

Когда вступили они в пределы леса и Иван, отчасти догадавшийся, какого рода были новые его знакомцы, благодетели и мстители, начал балясничать со всею веселостью свободного человека, предполагая наверное, что и он за оказанную им услугу будет принят в товарищи сего прекрасного общества, чего ему хотелось от чистого сердца,— Гаркуша, остановясь, сказал хотя ласково, но весьма важно и решительно:

— Иван! За оказанную тобою нам услугу ты должен быть награжден. Тебе ни воротиться к пану, ни следовать за нами невозможно. На границах Китая есть места, где люди ведут жизнь пресчастливую. Я отсчитаю тебе пятьдесят червонцев, и сих денег на первый случай весьма для тебя достаточно, а между тем и мы все не замедлим прийти туда же и жить будем по-братски.

Атаман вынул кису с золотом и начал считать, как Иван, переменившись в лице и со слезами на глазах, сказал ему:

— Благодарю за щедрость! С меня довольно будет и одного червонца, чтобы купить веревку и столько запасти жидкой силы для придачи храбрости душе своей, что надеюсь повиснуть на дереве без малейшего страха! Да и куда пойду я с деньгами? На заставе меня спутают, а увидя золотые деньги, запропастят навеки. Притом же я не только не знаю дороги до Китая, но в первый раз об нем и слышу! Всего лучше умереть добровольно и на своей родине. Мне ничего не осталось желать на сем свете. Пан Яцько с своею семьею и жена моя с своею не скоро забудут друга своего Ивана.

Такие речи опечаленного Ивана тронули и самого Гаркушу, а Исак и Кузьма — хоть были свирепейшие головорезы изо всей шайки — явно взяли сторону обманувшегося в своих надеждах и представили атаману, что отпустить его от себя значит предать на жертву очевидной погибели.

— Может быть, и так,— отвечал Гаркуша,— но я обязался пещись о безопасности целого братства. Кто из вас

поручится мне, что тот, кто изменил своему господину и предал его в неизвестные руки, не скорее, не охотнее сделает то же и с нами?

Исак, отведши его на сторону, сказал:

— Разве мы не то же бы самое сделали с вероломным паном Аврамием, хотевшим пожертвовать нами для своей безопасности, если бы только были в возможности? Мы изменили ему побегом; при всем том — думаю, надеюсь, уверен,— что нет нигде общества дружнее нашего, радетельнее к общим пользам, вернее в своих клятвах!

— Иван! — воззвал Гаркуша, подошед к нему.— Ты хочешь быть членом нашего общества! Знаешь ли, к чему обяжет тебя исполнение сего желания? Ты должен будешь отказаться от многих привычек, которые, вероятно, превратились в тебе в самую природу; должен будешь сохранить умеренность во всем, хотя с первого раза, может быть, покажется тебе, что в нашем братстве все позволено; ты должен будешь приучить себя с величайшим терпением сносить холод, зной, голод, жажду и бодрствовать тогда, когда все в мире покоится. Строг и взыскателен был пан твой Яцько; но клянусь тебе общим судьею нашим, что я, поставленный провидящим небом в начальники нашего общества, еще строже, еще взыскательнее. Я всякому отец, друг и брат, пока он того достоин; в противном случае — судья самый неумолимый. Малейший вид раскаяния, уныния, покушения к измене наказан будет мучительнейшею казнью!

— Хотя бы эта казнь была ужаснее казни адской,— отвечал Иван решительно,— я желаю быть вашим собратом. В чем мне раскаиваться, когда из раба делаюсь свободным? От чего приходить в уныние, когда не буду видеть более ни скряги пана, ни злобной жены своей с безбожными детьми ее? В чем изменит тот, который решается или быть вами принят в свое общество, или умереть насильственной смертью? Что же касается до перенесения с терпением холода, голода и жажды, то обойди всю Украину, божусь, нигде и никого не сыщешь столько к тому привычными, как подданные нашего пана Яцька!

— Когда так,— сказал Гаркуша величаво,— то и я согласен. Поздравляю тебя; ты наш собрат!

После сего, непосредственно по приказанию атамана, Иван приведен был Исаком к присяге на верность; обло-

бызал десницу атамана и ланиты новых собратий и с великим восхищением следовал за ними. Однако Гаркуша, хотя и совершенно был уверен в его к себе преданности, не хотел оставить правил осторожности и потому, приближаясь к пустыне, когда еще и краев ее не видно было, приказал завязать Ивану глаза, и что в тот же миг было исполнено, и ему не прежде их открыли, как на берегу пруда у своих хижин. Новый собрат был представлен остальным членам почтенного общества, и все единодушно были тем довольны.

Глава 12 Успешная дерзость

Излишним будет сказывать, какое поднялось торжество по случаю одержания победы. Едва ли и удальцы безграмотного атамана Пизарра столько тщеславились, получив вероломством в плен и задушив добродушного Аталибу, монарха Квитского, как величались безумцы наши, рассказывая один другому то, что все они видели, слышали и делали и что поэтому всем было известно. Они превозносили кротость, милосердие и бескорыстие атамана и клялись, что каждый из них на его месте поступил бы суровее. Гаркуша на лесть сию, нимало ему не льстившую, отвечал:

— Видите ли, братья, сколько один удачный опыт переменил вас? Не вы ли, вступая за мною в ворота панские, не только казались, но и в самом деле были смущенны, робки, оторопелы? Из сего каждый заключи, что атаман лучше знает ваши способности, нежели вы сами! Каждый из вас до сих пор спал — в течение тридцати лет и более,— теперь надобно умеючи разбужать вас! Пусть день сей и другой посвящены будут совершенному покою; а после я с несколькими из вас отправлюсь дня на три или и более в ближний город для закупки свинца и пороха и надлежащего обозрения недальних хуторов и осведомления о их помещиках. Сделав сие, мы рассудим вообще, как, когда и на кого обратим гнев и мщение или пощаду и милость!

Не распространяясь подробно в описании всех дел атамана Гаркуши и его шайки, которые с увеличением успехов придавали ему более и более дерзости, воспламеняли и без того буйное, не знающее границ полету своему воображение и уверяли, что он действительно избран небом быть судьею над неправосудием, над жестокостью и вообще над несправедливостью, скажем, что по окончании осени он разграбил более десяти хуторов и свирепствовал над помещиками оных, простирая жестокость свою до того, что нескольких умертвил мучительною смертью. После каждого нового нападения шайка его умножалась приметно. Лишенные за распутную жизнь звания своего церковники, здоровые нищие, лишившиеся всего имущества своего от лени, пьянства и забиячества, избалованные слуги господские, которым всякая работа казалась несносным отягощением, беглые рекруты, не нашедшие себе нигде надежного приюта,— все таковые были принимаемы в сообщество Гаркуши, только бы имели они крепкие руки и ноги. Когда он увидел себя неограниченным повелителем сотни бездельников, готовых сразиться с целым адом, то дерзость свою простер до того, что напал на большое селение. Там встретили его порядочно; вышло кровопролитие, с обеих сторон падали ратающие, и хотя крестьяне сражались за свое имущество, за безопасность семейств своих, за самую жизнь свою, но будучи вооружены только кольями, цепами и косами с редкой заржавленною рогатиною, которою ратовали предки их с ведьмами, оборотнями и вовкулаками, могли ли устоять против большой толпы отчаянных злодеев, которые очень знали, что если попадутся в плен, то погибнут позорною смертью, и если отступят, то тут же падут под ударами атамана или своих начальников, ибо он из шести земляков своих, бежавших с ним от пана Аврамия, пятерых пожаловал в есаулы и всю шайку разделил им в управление, предоставляя себе власть неограниченную над всеми. Разбойники одержали совершенную победу, выгнали крестьян из селения, разграбили домы, не пощадив даже и двух церквей, взяли все, что только им приглянулось, и кончили тем, что по приказанию своего властелина зажгли село местах в двадцати, покидали в пламя трупы убитых своих товарищей и крестьян и с неописанным торжеством отправились в свою пустыню. Когда достигли оной и в атаманском доме сложили свою добычу впредь до раздела, Гаркуша

велел всем выстроиться у пруда и, ставши на середине, произнес следующую речь:

— Надобно сказать правду, храбрые друзья мои, что мы в течение лета и осени довольно потрудились, столько, что [без] нарекания совести можем провести в покое наступающую зиму. Последний поход наш в годе сем — будет венцом наших подвигов. До наступления весны всякий из вас может заняться тем, что ему более нравится. Все позволяю: но только с тем, чтобы в обществе нашем не было ни ссор, ни ябед; тем менее зависти и злости. Если кто-либо изобличен будет в сих преступлениях, жестоко накажется. Всякой необходимой потребности для нашего общества — если не ошибаюсь — будет достаточно до самого лета. Мы будем сыты и согреты. Бог никогда не оставляет людей, чтущих и исполняющих волю его. До сих пор били мы злых людей и обогащались их достоянием. Теперь будем бить волков и медведей и обогащаться теплыми их шкурами, а сии звери в лесах то же самое, что между нами дворяне. Однако без моего ведома никто да не осмелится сделать хотя шаг из нашей пустыни. Когда же дождемся весны и дубрава наша опушится снова густыми, непроникаемыми листьями, а озера и болота растают и сделаются непроходимыми, тогда, сверша господу богу надлежащее благодарение за успехи в минувших опасностях и испрося от него благословения для будущих, выступим из сего зимовья на дело, и я надеюсь, что в течение будущего лета возьмем приступом столько сел, сколько в сию кампанию взяли хуторов. Я почту себя счастливым, если правосудный бог услышит и удовлетворит умеренному моему желанию, состоящему в том, чтобы военные действия следующего года кончились взятием какого-либо города. Но как для этого надобно непременно удвоить число нашей собратии, то у меня взяты уже к тому надлежащие меры. Впрочем, уверяю вас, что прежде поступившие в службу мою всегда будут иметь преимущество пред последнепринятыми, если только всегда будут храбрые, честные люди. Может быть, некоторых из вас соблазняет сегодняшний случай, что я, не пожалев крови человеческой, сжег в пламени многих старцев, жен и младенцев и что не усомнился разорить две церкви. Всякий из вас, о сем недоумевающий, пусть припомнит, что дело мое и дело общее — есть мщение за обиды, причиняемые сильными слабым. Не посылал ли я к священникам с повелением объявить всем жителям се-

ления, что я иду к ним с миром, а потому и они приняли бы меня как гостя и друга? Не довольствовался ли я одним требованием выдать мне панов своих с семействами и совершенно положиться на правосудие мое и кротость? Вы сами были свидетелями, что вместо исполнения умеренных моих желаний высокомерные и вместе подлые пастыри воспламенили умы словесных овец своих буйством и ожесточением. Ослепленные поселяне вместо принятия нас с распростертыми объятиями как своих избавителей выступили противу нас как врагов своих и — были наказаны за свое неразумие. Что же принадлежит до церквей, то им давно известно, что они сооружены осмью панами, живущими в селе том, на складочные деньги, вымученные у бедных подданных и полученные от гнусной, беззаконной торговли дочерьми тех несчастных, сынами и братьями. Согласитесь все, что таковые памятники людского беззакония не должны быть терпимы тем, кто праведным небом избран быть мстителем беззаконий!

Глава 13 Разбойничье зимовье

Так умствовал несчастный исступленник и так развратных послушников своих делал еще развратнее. Однако, истребляя в них мало-помалу последние чувства человечества, с истреблением благоговения к предметам священным, он всячески старался ни на волос не ослабить своего самовластия. Спокойно слушая насмешки и хулы над святынею и ее служителями, он не оставил бы без строгого взыскания и малейшее против особы своей невыгодное слово; да и примера не было, чтобы как тогда, так и после хотя один из шайки осмелился даже в его отсутствии сделать о поступках его какое-либо противное суждение. Все были уверены, что каждый их шаг, каждое слово совершенно известны атаману.

В течение прошедшего лета и половины осени все свободное время посвящено было на построение жилищ для умножающейся братии. Чтобы не разредить пустынного леса, они рубили годные деревья наверху и низвергали

вниз. За работниками и материалами дело не останавливалось, ибо в шайке были искусники во всяком роде рукоделий. К означенному времени, когда объявлен всем зимний отдых, у них готовы были с дюжину просторных хат, вокруг пруда расположенных, а для атамана выстроен домик на таком месте, что он из окон своих мог видеть, кто выходил, где был и когда возвращался; прежние же хаты обращены в магазейны для поклажи хлеба, соли, вина, всего мясного и рыбного, разного рода вооружений и одеяний всех состояний, не исключая даже нищенского и монашеского. Деньги хранились в доме атамана, а порох, пули и дробь в особом подземном погребе.

Не должно оставить в молчании, что Гаркуша с первого своего подвига против пана Яцька при всяком случае не упускал объявить своего имени. Было ли это глупое тщеславие, или ребяческая ветреность, или непомерное самонадеяние, или все вместе, определительно сказать нельзя. Вероятнее же заключить можно, что таковым поступком, совершенно неупотребительным между людьми его промысла, хотел он устрашить умы жертв своего неистовства, дабы они тем скорее покорялись воле его; к подкреплению же планов сей политической уловки он, не подражая никому из прежде бывших бичей человечества, а внушенный собственным дарованием, или — как он изъяснялся — своим ангелом-хранителем, имел, где только почитал за нужное, шпионов, через которых узнавал мнения о себе народа и правительства. Шпионы сии являлись в разных одеяниях; шатались по церквам, базарам и шинкам и рассказывали легковерному народу о своем атамане чудеса, которые приводили всех в трепет. Они за несомненную истину рассказывали, уверяя, что слышали от самих очевидцев, что Гаркуша имеет у себя шапку-невидимку, с которою может быть везде и во всякое время, видеть и слышать все, не будучи сам ни видим, ни слышим; что никакая пуля его не возьмет; а если кто хочет в него потрафить, то должен стрелять не в него, а в тень его. К сим нелепостям присовокупляли они великое множество других, суеверные крестьяне вздыхали и не знали, что думать и делать; они пожимали плечами и сквозь слезы говорили: «Видно, так угодно богу; видно, мы много грешны, что он наслал на нас беду тяжкую!»

Настала зима с своими спутниками — снегами, морозами, ветрами и метелями. Дубровье сделалось еще непроходимее. Кроме свиста бурь, реву медведей и завывания волков — ничего не слышно, кроме обнаженных дерев с седыми ветвями, кроме бугров снега, день от дня увеличивающихся, ничего не видно. Однако в пустыне много тише и покойнее. Высокие обрубистые стены и густота леса около хижин защищали их от ветров. Разбойники провожали время в еде, питье, спанье и картежной игре; и как атаман до сих пор не давал никому собственно денег, кроме как для нужд общественных, то они играли в простые игры; и сим способом предусмотрительность атамана избавила шайку от ссор, драк и легко могшего произойти убийства. Чем же занимался сам атаман в своем уединении? А уже известно, что беспокойный дух его не мог провождать продолжительное время зимнее в праздности; делить же беседу и забаву своих подчиненных он считал за нечто низкое, могущее обесславить имя его и поколебать власть и господство. Он окружил себя пятью есаулами (как сказано выше, ибо Харько в военные дела вовсе не мешался, а с помощником своим Иваном знал только атаманскую поварню); с ними проводил утра за трубками тютюну при рассуждениях о прошедшем и предприятиях насчет будущего. Скоро, однако, нового собрата нарек он есаулом, приобщил к лику избранных и, нашед в нем столько же приятного собеседника во время мира, сколько прежде находил храброго наездника во время войны, подарил полною своею доверенностью, а мало время спустя и прочие есаулы увидели, что он того стоил, и полюбили от всего сердца. Вся шайка не могла не одобрить такого выбора атаманского.

Глава 14 Есаул Сидор

Новый любимец сей назывался Сидором. Все, в чем мог он жаловаться на природу, обидевшую его при рождении, было то, что он вышел на свет с ногами, похожими на букву «S», и головою, похожею на сомовью. Он был

единственный сын сельского священника Евплия, а потому чадолюбивый отец заблаговременно начал приспособлять его к занятию некогда своего места.

До пятнадцатилетнего возраста Сидор рос, как растет жеребенок, не знающий за собой никакого дела. Едва мог он кое-как по складам прочесть однажды в сутки трисвятое и господню молитву. О сем пекся заботливый дядя Макар, отставной капрал, меньшой брат Евплия, а отец никак не решался мучить ребенка. Когда же сей суровый дядя указал родителям, что ребенок их начинает мешать девкам полоть огород, то они взяли то в рассуждение и с пролитием обильных слез отвели его в школу к пану дьяку Сысою, человеку, правда, суровому, но зато первому грамотею в селении. Менее чем в две недели прозорливый дьяк увидел, что ученик его ничего не знает; а потому, чтобы не потерять доверенности, принялся, вопреки сильным увещаниям родителей Сидора, наставлять его по своей методе. За каждую букву, ошибочно произнесенную, ударял он его по спине деревянною колотушкою; такой способ научения мудрости показался родителям крайне неудобным, и они хотели взять сына обратно, но воинственный дядя его, который, вероятно, не одну стойку выдерживал каждодневно, весьма обстоятельно и сильно тому противился, доказав *a postereori*[1], что если они возьмут сына из школы, то отец должен будет иерейство свое передать в чужой род, ибо законом-де запрещено постригать безграмотных. Притом — представляя себя в пример — говорил: «За одного битого двух небитых дают, да и тут не берут»,— и что «ученье свет, а неученье тьма». Таковыми доводами убеждены были родители совершенно и, вместо того чтобы взять сына домой, решились поручить дяде его высечь, дабы впредь учился прилежнее, а не жаловался на учителя пана дьяка Сысоя. Дядя охотно и ревностно исполнил сию их волю, и Сидор в первый раз ощутил на себе действие лоз и ловкость замашек дядиных. С тех пор перестал он жаловаться на пана дьяка, но учился по-прежнему, а потому и колотушка почти не сходила со спины его. Так прошел год, так прошел и другой, и родители Сидора, к неописанной радости, услышали, что сын их выучил многотрудный часослов и совокупными силами принялся за многотруднейшую псалтырь и рукописание. Торжество

[1] На основе опыта (*лат.*).

сие скоро умалилось несчастным происшествием. Сидор, на беду свою, прельстился на спелые большие дули, росшие в саду дьяка Сысоя. Избрав время, когда все ученики твердили свои уроки во все горло, а учитель бегал от одного к другому с плетью, Сидор отпросился за нуждою из школы и — прямо в сад, а там и на грушу. Когда он вдоволь насыщался вкусными плодами, проснулась дьячиха, недалеко спавшая в гороховой борозде своего огорода, и, увидя вора, закричала: «А что ты делаешь?» У Сидора опустились руки, косые ноги одна от другой — как от электрической силы — бросились в разные стороны, и он — по вечным законам природы — полетел вниз головою. Растянувшись у корня древесного, он кричал ужасным образом, стенал и катался по земле. Дьячиха бросилась повестить о том мужа, который, услыша, опрометью побежал к недужному, и вся школа за ним последовала. Сидора нашли едва дышащего. По надлежащем осмотрении нашли, что он лишился навсегда левого глаза, который и увидели вскоре висевшим на остром сухом суке дерева. У него также переломлена была правая нога, и весь избит до крайности. Оторопелый дьяк не нашел ничего лучше, как отнести его к родителям, что исполня с помощью жены и нескольких учеников, объявил отчаянным, что Сидор, воровски влезши на грушу, оборвался и был сам причиною своего несчастья.

— Точно так, батюшка! — подхватила дьячиха,— Я, увидя его на дереве, ни слова более не сказала, как только: *а что ты делаешь?*

— Так ты его испугала,— вскричала попадья, отвешивая ей пощечины.

— Так он не сам собой сорвался,— заревел дядя Макар, вцепясь одною рукою в пучок пана дьяка Сысоя, а другою со всего размаху стуча по голове его, спине и ребрам.

Горестное зрелище сие кончилось тем, что пан дьяк с женою были избиты, измяты, исковерканы от макуш до пят и выброшены за ворота с угрозами искать на них в Консистории. Ученики, помогавшие нести к отцу Сидора или только из любопытства за ним следовавшие, довели кое-как дьяка с сожительницею в дом их и уложили в постель, в которой пролежали они целую неделю.

Глава 15 **Удар за ударом**

К счастью Сидора, дядя Макар был несколько лет службы своей лазаретным прислужником, а потому пластыри и примочки гораздо ему примелькались. Он принялся пользовать племянника, и когда в первый раз надобно было натереть Сидора спиртом, то он, к великому своему недоумению, на спине его приметил изрядный нарост, простиравшийся между крыльцами во всю спину. Изумленный дядя начал разглядывать, ощупывать сию прибыль и скоро уверился, что это зародыш будущего горба. «Вот тебе и колотушки учительские!» — думал и решился ничего не говорить о сем родителям. Мало-помалу Сидор начал оправляться и через три месяца совершенно выздоровел, а горб с каждым днем увеличивался. Родители то заметили и зарыдали и плакали бы долго, если бы красноречивый дядя Макар не уверил их совершенно, что горб нимало не попрепятствует племяннику его быть попом, ибо всякие ризы делают такого покроя, что хотя бы кто имел горб верблюжий, приметно не будет!

Сидор остался в доме родительском и сам себя совершенствовал в науках читать псалтырь, требник, жития угодников и писать с титлами, словотитлами, ериками и кавыками. Более трех лет все шло успешно; как неожиданное ужасное происшествие поколебало навсегда покой святительского дома и погрузило оный в бездну злополучия.

Подобно громовому удару, мгновенно ниспадающему на предмет своего поражения, получен был отцом Евплием циркулярный указ из Консистории, коим предписывалось, чтобы он в самоскорейшем времени представил сына своего в семинарию, ибо-де сделано постановление, чтобы все перворoдные священнические сыновья, долженствующие занять места отцов своих, непременно были люди ученые. Отец и мать ахали и крестились, но разумный дядя Макар произнес с важностью:

— Чего же вы испугались? Разве наш Сидор неграмотен? Поезжай с богом в город; пусть там испытают его

во всякой учености; я порукою, что он лицом в грязь не ударит!

Когда настал день отъезда в город, то Макар сказал своему брату:

— Недавно вошла мне в голову предорогая мысль, которая как не совсем еще созрела, то я не прежде тебе ее открою, как по прибытии в город, и для того-то я с вами еду.

Приехав на место и отдохнув от дальнего пути, Макар сказал:

— Послушай, брат! Если ты представишь сына своего ректору семинарии, то делу твоему и конца не будет; я на людей сих довольно насмотрелся. Он пошлет тебя по всем мытарствам; ты должен будешь на каждом шагу развязывать мошну свою, исправно вытряхивать, и все будет казаться мало. Мысль моя, о которой говорил тебе еще в селе, состоит в том, чтобы затесаться прямо к преосвященному, представить ему Сидора, челобитье в руку и просить приказания испытать в науках сына и дать в том свидетельство, дабы ты мог быть благонадежен, что священство от него не ускользнет.

— Но ты забыл, братец,— отвечал со вздохом Евплий,— что значит доступ к архиерею для нашего брата!

— Ничего! — возразил Макар.— Ты-то забыл, что я последние два года службы провел с полком в сем городе; знакомых у меня много, а в числе их один из келейников его преосвященства; малый пожилой, веселый, гуляка. Когда ему сунешь в руку красную да письмецо от друга его Макара, так позолоченные двери мигом для тебя отворятся.

Отец Евплий послушался благого братского совета; начали приуготовлять писание общими силами, а Сидора заставили с утра до ночи потеть над минеями, патериком и проч. и писать каракули под титлами и с кавыками. Когда все было изготовлено, отец Евплий, предварительно отправившись один на святительский двор, отыскал по надписи нужного ему человека, и когда тот прочитал письмо и прилежно рассмотрел вложенную в оное красную бумажку, то принял его ласково и, не откладывая дела вдаль, назначил другой же день для представления Сидора его преосвященству. Хотя на таковые обещания архиерейских келейников столько же полагаться должно, как на обнадеживание губернаторских секретарей, однако сей муж был — не ручаюсь, может быть,

первый раз в жизни — устойчив в своем слове и на другой день во время, близкое к полудню, ввел в письменную комнату владыки отца Евплия с сыном. Архипастырь уставший — как приметно было — от умственных упражнений, в простом комнатном одеянии ходил взад и вперед, и сия-то простота одежды придала бодрости нашим поселянам.

Архиерей *(осмотрев пристально обоих, а особливо сына)*. Чего ты, честный иерей, от меня хочешь?

Евплий *(земно кланяясь)*. Прошу всеуниженно удостоить прочтением сие рукописание! *(Подает ему просьбу.)*

Архиерей *(прочитав с недоумением)*. Этот молодец — сын твой?

Евплий. Единородный!

Архиерей *(к Сидору)*. И ты так сведущ в науках, как в просьбе сей написано?

Сидор *(отважно)*. Не хвастовски сказать, редкий меня перещеголяет!

Архиерей. В каких же особенно ты упражнялся?

Сидор. Во всех!

Архиерей. Это уже слишком много! Будь со мною как можно чистосердечнее и не скрывай сил своих и не бери на плечи лишней ноши сверх возможности снести. Которая часть философии тебе более нравится и которою ты преимущественно занимался?

Сидор. Такого имени отродясь и не слыхивал; а есть у нас в селе одна Софья, дочь нашего знахаря; но я не занимался ею, и она мне не нравится: такая рябая, такая косая.

Архиерей *(удивленный)*. Не столько ль же знаком ты и с богословией?

Сидор. О нет! С Софьею я знаком; а о боге и об ослах только что читывал!

Архиерей. Прекрасно!

Евплий *(низко кланяясь)*. Милостивейший архипастырь!

Архиерей *(к отцу)*. А сколько лет твоему сыну?

Евплий. Двадцать два невступно.

Архиерей. Не вини меня, честный отец, что непременно должен отказать в твоей просьбе. Если бы сын твой и не был такой невежда, каков он есть, то все же я не властен рукоположить его. Всмотрись-ка в приятеля хорошенько! Разве забыл ты, что священнослужитель не должен иметь никакого порока на своем теле?

Евплий. Святитель божий! Чем виноват бедный сын мой, что из утробы матерней вышел косолапым? Что злобный учитель дьяк Сысой за всякую ошибку стучал его колотушкою в спину, от чего он сделался горбат? Что коварная дьячиха его испугала, и он, оборвавшись с груши, лишился глаза?

Архиерей. Понимаю! Чистый ли и звонкий имеет он голос?

Евплий. Да такой-то чистый и звонкий, что его дальше слышно, чем звон самого большого колокола в селе нашем. Притом же у него не один голос: он ржет жеребцом, мычит быком, лает собакой, мяучит кошкою.

Архиерей. Довольно, довольно! Вижу дарования твоего сына и в удовольствие твое и сего родственника твоего *(указывая на келейника)* я готов согласиться, чтобы он был дьячком в селе вашем. Это все, что только я могу для вас сделать. Ступайте с миром!

Он вышел в другой покой, а остолбенелые просители простояли бы долго на одном месте, если бы путеводитель их не указал им дороги, не свел с лестницы, а там и со двора.

Отец и сын, утирая кулаками пот, едва переводили дыхание от горести, гнева, бешенства и отчаяния. «Проклятый дьяк! Злокозненная дьячиха! — Черт велел мне послушаться брата! И отдавать тебя мучителю Сысою! Тогда б ты был с глазом — и без горба! — Был бы попом! — И собирал ховтуры [1]. Он назвал тебя невеждою! — Поэтому и ты в глазах его такой же невежда; ибо всему свету известно, что я читаю и пишу почище твоего! — Ах, горе! Хоть в воду кинуться!»

Глава 16 Мщение дьячка

Так восклицали отец и сын, идучи к своему подворью. Дядя Макар, узнав все происшедшее, чуть не взбесился; он проклинал всех, кто только приходил ему на ум, и

[1] Сим словом называется доход церковнослужителей, получаемый от свадеб, похорон, крестин и проч. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

клялся отмстить за увечье, сделанное его племяннику и тем удалившее его от законной чести.

Прибыв домой, хотя еще довольно времени тосковали, но зная, что пособить нечем, принялись за обыкновенные дела свои. Один Сидор, будучи уверен, что затверживание святцев и пролога ему более не нужно, дабы не быть в праздности, которые единогласно порицали отец его и дядя, лежа в саду или в огороде, начал посещать сельский шинок и затверживать новую науку — забывать житейское горе. Он так был прилежен, что редкий день обходился без увещаний отца, чтоб посократил к науке сей ревность.

Прошло лето и осень, и настала зима, время отдыха после трудов сельских. Хотя Сидор сам чувствовал, что он с косыми лапами, с горбом и об одном глазе, прибавя к тому сомовью голову с рыжими курчавыми волосами и лицо, усеянное веснушками, наружным видом способен более пугать, нежели прельщать миловидных девушек, однако, следуя влечению природы, он не пропускал ни одного вечера, чтобы не присутствовать на посиделках. Чтобы видеть к себе по крайней мере равнодушие, а не отвращение, то он никогда не ходил туда с пустыми руками. Всякий раз, когда он там появлялся, молодцы ожидали доброй попойки, а девушки пряников, орехов и других лакомств. У Сидора был и свой доход. Как Сысой и жена его были главною виною всего несчастия, постигшего дом пастыря, то, чтобы не оставить того *без отмщения,* первоначально отец Евплий воспользовался дозволением преосвященного и просил по форме наречь сына его в дьяки к своему приходу, что и было сделано. Итак, при всяких требах, куда призывали Евплия, он, оставляя в покое пана дьяка Сысоя, брал с собою сына, которому и доставался весь доход дьяческий. Скоро прозорливый Сысой приметил ущерб своих доходов, и если бы не поддерживало его ученье ребят, то ему оставалось бы приняться за соху и борону, о чем без трепета не мог он и помыслить.

Сидор, располагавший самовольно доходом нового своего звания, скоро узнал на опыте, что его крайне недостаточно для угощения посиделочных приятелей и приятельниц. В сем случае прибегнул он к двум вспомогательным средствам: у матери выменивать, а у отца красть. В том и другом мало-помалу сделался он великим искусником.

Хотя во время таковых его упражнений наш Карамзин едва ли знал склады азбучные, следовательно, и общество ничего об нем не знало, однако пан дьяк Сидор поступил почти так, как поступал за несколько веков *счастливый Карла,* чем и сделался любезным *Прекрасной царевне* и воссел на троне после тестя своего *царя Доброго Человека.* Сидор догадался, что рассказывание былей и небылиц, повестей о разбойниках, колдунах, мертвецах, ведьмах и оборотнях весьма нравилось сельским красавицам, хотя иглы и веретена выпадали иногда от страху из рук их и они громко вскрикивали, когда затейливый Сидор, описывая влюбленного сластолюбивого лешего, целующего сонную пастушку, пришедшую в лес за грибами, подкрадывался к той, которая была к нему ближе других, и прикладывал к щеке ее свои губы. На сей конец — то вымениванием, то менок, то куплею, то кражею в короткое время собрал он довольно книг по своему вкусу и читал их в досужее время с жадностью.

Настало время весеннее, и поселяне с обновленными силами принялись за работу. У всех хозяев поля подобились коврам зеленым, распещренным яркими цветочками. Каждого огород, блестя в бесчисленных цветах и видах, веселил зрение и хозяина и постороннего. Все видели в нем прокормление во дни осени и зимы. В сие время вздумалось кому-то из родственников пана дьяка Сысоя, в ближнем селе обитавшего, жениться. Дьяк приглашен был на свадьбу со всем родом и племенем; а как сего звания люди за тяжкий грех считают отказаться от подобного зова, то и он, распустив школу на три дня, отправился со всем семейством, поручив смотрение дома старому батраку своему. По прошествии трех суток гуляки возвратились в свою обитель. Дьяк лег отдыхать, а дьячиха пошла посмотреть огороды. Она ахнула и всплеснула в отчаянии руками, увидя горестное состояние оного. Вся зелень поблекла и лежала на земле. Ее тыквы, огурцы, арбузы, дыни, капуста и проч. представляли вид глубокой осени, когда все, возраставшее весною и созревшее летом, превращалось в гниль безобразную и — исчезало. Она подошла к ульям (которых в конце огорода было до десятка) и видела изредка пчелку, печально жужжащую на листке ближнего растения. Бледная, плачущая, отчаянная дьячиха, ломая руки и трепля себя за уши, вбежала к храпевшему дьяку, разбудила его своим визгом и возопила:

— Ты здесь спишь, а не посмотришь, что там делается! У нас нет более огорода!

Дьяк. Куда ж он девался? Уж не поехал ли на свадьбу?

Жена. Безумный лежебок! Поди взгляни только, и твой пучок станет дыбом, как хвост у кургузой собаки.

Дьяк. Посмотрю завтра, погляжу и подумаю.

Жена. Все растения лежат на грядках и завяли. Нет целой ни одной репки!

Дьяк. Все поправится, я тебе в том порукою! Видно, батрак или совсем не поливал, или поливал очень много. Завтра, завтра...

Жена. Около ульев твоих порхает не более десяти пчелок и...

Дьяк. Ай, беда! Видно, разлетелись. Солнце еще не закатилось!

Жена. На всех трех грядах твоих ни одного стебелька тютюну нет в целости!

Дьяк. *(вскочив)*. Как так? С нами бог! *(Убегает, за ним жена.)*

Дьяк скакал с гряды на гряду, ни на что не обращая внимания. Добежав до своих гряд с тютюном, он остановился, смотрел на них помертвелыми глазами и наконец, возведши их горе, произнес со стоном:

— Чем я прогневал тебя, господи, что ты покарал меня так жестоко во глубине души моея?

С горьким плачем поднимал он каждый стебелек, некоторые выдергивал с корнем, но не мог ни по чему домыслиться, что было бы причиною сего опустошения. Подошед к ульям, увидел, что жена говорила правду. Осматривая прилежно, они увидели наверху каждого несколько небольших просверленных дырочек; подняли один, другой, все — и нашли во всех пчел мертвых и соты растопленные.

Первая дьячиха, яко баба разумная, догадалась, что беда сия произошла не от чего другого, как от кипятка, налитого в ульи злоумышленным недругом!

— Так от того-то и огород пропал,— вскричал дьяк, ибо он был весьма прозорлив.— Посмотри на корень этой моркови, этого пастернаку, гляди — не точно ли они вареные?

Утвердясь на сей мысли, они не могли домыслиться, кто бы такой был им злодеем, и по долгом размышлении заключили, что некому больше, кроме проклятого урод-

ливого Сидора, который в самой церкви не упускал случая дразнить его и делать возможные пакости. Но как это доказать? Кто мог это видеть? Кому он об этом скажет? Ах, горе! Ах, беда!

Глава 17 **Кто бабке не внук?**

Хотя дьяк Сысой и каждый воскресный и праздничный день громогласно читал в церкви о кротости, терпении и непамятозлобии, однако не хотел отстать от своей собратии и решился — *отмстить*. Он поступил довольно хитро, ибо, не разблаговещивая о своем намерении, он тихомолком принялся с батраком перекапывать гряды; устроил все по-прежнему, засеял новыми семенами и насадил рассады. Он был уверен, что путного ничего не выйдет, ибо в других огородах все почти уже отцвело, однако утешался мыслью, что сим распоряжением соблазнит злодея ко вторичному беззаконию, какое прежде сделано. Когда поднялись растения, то дьяк тайну свою под страшным заклятием молчания вверил двум своим соседям и уговорил их проводить с ним и батраком его ночи в огородном сарае, где хранились заступы, грабли и прочая утварь, необходимая к возделыванию земли. Он обещал, что они ни разу не заснут с сухим горлом, а сверх того в каждый служебный день будет дарить им по освященной просфоре.

Читатель, думаю, давно догадался, что опустошение Сысоева огорода было дело пана дьяка Сидора. Вдобавок скажу, что не одного. Дядя Макар, отчаявшийся видеть дорогого племянника своего в святительских ризах, поклялся непримиримым *мщением виновникам* сего несчастия. Как скоро проведали они — в селах обыкновенно всякий шаг каждого всем известен,— что дьяк отлучился в другое селение, то умели весьма искусно батраку его подложить целый рубль денег. Бедняк как скоро их увидел, то счел кладом, посланным ему от бога; а будучи человеком благочестивым, положил употребить находку на дела душеполезные. Он отложил целый пятак, чтобы в первое воскресенье поставить к образам свеч-

ки; две копейки роздал нищим, а на остальные, запасшись вином, заперся в доме, занявшись надлежащим употреблением своей покупки. Все это не ушло от внимания мстителей. Они запаслись котлом и, вскипятя воды, закрались в огород, полили исправно гряды и просверленные ульи и в полном торжестве возвратились домой. Немало дивились они, что дьяк совершенно никому не жаловался, и обрадовались, увидя, что он в другой раз засеял и насадил огород, предположив истребить и сей, как прежний.

Когда растения расцвели и показались плоды, то дьяк и жена его начали сами даже думать, что к осени хотя половина созреет и будет обращена в прок.

Злодеи расположились иначе. Они ожидали только первой темной, дождливой ночи, дабы предприятие свое извести в действо. Ожидание их исполнилось. Приблизился день пророка Ильи; воробьиная ночь настала с ужасною грозою; проливной дождь низвергался с мрачного неба; гром ревел со всех четырех сторон; молния, убивающим огнем своим раздирая тучи, освещала пасмурную, унылую природу. Это не устрашило наших мстительных витязей. Как с кипятком лазить через забор затруднительно, да дождем и сыростью истребило бы силу, то дядя Макар запасся острым тесаком, а Сидор косою. С сим вооружением очутились они в огороде и начали свое упражнение.

Караульщики, не спавшие как от звуку грома, так и занятия около дьяковой квартиры, услышали сперва легкий, а после довольно приметный шум в огороде. Они мгновенно вскочили, перекрестились и начали внимательнее прислушиваться.

— Это точно,— сказал тихонько дьяк,— как будто что рубят!

— Нет! — возразил сосед,— точь-в-точь как будто косят!

— Выйдем же!

— А если это дьяволы, которые — известно — боятся грому и, может быть, прячутся под твои растения!

— Хорошо вам, что огород не ваш, а я не побоюсь и дьяволов!

Сказав это, он первый вышел из сарая; пристыженные соседи и батрак за ним последовали. Они стояли у дверей — и не дерзали двинуться вперед. Вдруг разлилась в небе — подобно речке — огненная молния и осве-

тила все поприще. Дьяк и сподвижники его ясно и отдельно увидели ратоборцев и в один голос воскликнули:

— Пан Макар с паном Сидором! Доброе дело! Честные люди! Посмотрим, что-то скажет земский суд, а думаю, что без награды не оставит!

Паны Макар и Сидор, увидевшие также дьяка и его товарищей, воспользовались темнотою, опять мгновенно наставшею, и обратились в бегство. Избавясь опасности быть пойманными, они трусили последствий просьбы дьяковой. Проклиная его тысячекратно за хитрость, обмоклые и прозябшие прибрели домой, и сон от них удалился. Помолчав несколько, Макар сказал:

— Прослужа в поле более двадцати пяти лет, я привык быть на ногах: у тебя хотя ноги и не прямы, но, кажется, здоровы, а горб отважному детине не помеха; да и одним глазом глядя, можно хорошо видеть. Признаюсь, что жить у брата и за каждый кусок хлеба кланяться мне надоело; зная же и тебя, уповаю, что при мысли провести жизнь в дьячках твои курчавые волосы расправляются. Согласись со мною, что за мщение наше дьяку Сысою с нас взыщут весь убыток и — бог знает, что сделают со мною; а тебя, наверное, Консистория года на два засадит в монастырскую тюрьму, где просидишь ты на хлебе и воде, будешь толочь воду, сеять муку и весьма исправно каждый вечер получать в спину на сон грядущий дюжины две-три сухими воловьими жилами.

При сем описании Сидор задрожал. Тогда дядя сделал ему полную доверенность, объявив, что всего лучше и безопаснее обобрать родителя до последней копейки, одеться сколько можно исправнее и пойти на волю божию — сколько можно подальше.

Племянник на сей раз был послушнее всех разов. Они заперли снаружи храмину, в коей опочивали родители, и без всякого труда взяли приступом сундук, в коем хранилось серебро и золото; ибо отец Евплий был гораздо неубог, жил неторовато, охотно ходил в гости и весьма неохотно принимал к себе. Наклав в карманы сей жизненной эссенции, они туго набили мешочек бельем и обувью и — перекрестясь — оставили дом и селение, несмотря, что гроза не совсем еще утихла. Вероятно, что и отец Евплий с своей подъяремницею от стуку громового и молнийного блику всю ночь не спали, потому что проснулись довольно поздно. Работница, подошедши к дверям, удивилась, видя, что они снаружи накинуты петлею. Она при-

ложила ухо и услышала, что хозяева там и уже встают; почему, постучавшись легонько, советовала выйти, потому что гости дожидаются; после чего, сняв петлю, пошла в свою кухню. Сколько удивился отец Евплий, увидя в светелке своей дьяка Сысоя с женою, батраком и двумя соседями! Дьяк, прокашлявшись, начал говорить затверженную речь, в которой объяснил о прежнем истреблении своего огорода и пчельника и о случившемся в прошлую ночь, в которую и деревьям, особливо молодым, порядком досталось от тесака и косы. Не обинуясь, объявил он имена губителей, причем представил свидетелей-очевидцев и требовал удовлетворения, угрожая в противном случае принести жалобу земскому суду, который, надеется он, не оставит оказать ему законное правосудие!

Отец Евплий крайне подивился, слыша такую новость. Он велел тотчас позвать сына и попросить брата; но работница, выведши его в сени, объявила, что обоих и следа нет, и когда сделала свои догадки о накинутой петле, то слушатель, схватя себя за бороду, опрометью бросился к сундуку, нашел его в жалком состоянии, заглянул во внутренность и, как сноп, повалился наземь. Прибежавшая на крик работницы хозяйка, видя причину мужнина поражения, подняла такой вопль, такие проклятия, что дьяк Сысой, сочтя, что в нее в ту пору вселился нечистый дух, со всеми своими опрометью бросился вон. Несколько дней прошло в объяснениях между ими, в спорах и жалобах, а кончилось тем, что отец Евплий совершенно отрекся от сына и брата и объявил дьяку, что буде он возьмет на себя труд поискать беглецов и посчастливится ему поймать их, то он охотно предаст бездельников в его руки и отнюдь вступаться не станет. Сим кончилась преднамереваемая тяжба; теперь обратимся к нашим странникам.

Глава 18 Промышленники

Я думаю, что судьбу сих беглецов всякий предузнает, ибо она общая беспутным людям, не полагающим буйству своему никаких пределов. Пока продолжалось лето

и велись деньги, они ничем не занимались, кроме одними веселостями, и не прежде подумали о способах провести безнуждно зиму, как увидели на головах своих снег, почувствовали в теле дрожь от морозу, проникавшего сквозь дыры их кафтанов, и нашли карманы свои совершенно пустыми. Что теперь делать? За что приняться? У обоих великая была охота попытаться искать счастия в искусстве тихомолком присваивать себе чужие вещи, но дядя был уже довольно стар, а племянник тяжел на ногу. При первом опыте они были захвачены и так допрошены, что оставили и село, в коем находились, и вместе сию хлопотливую промышленность.

Прибившись в другое селение, они выдали себя за нищую братию, на что очень и походили,— и начали распевать про Лазаря у окон благочестивых крестьян и крестьянок. Сим средством они предохранили себя от голодной и холодной смерти, но не могли сами себе не признаться, что под кровом дома отца Евплия было гораздо уютнее. Воспоминание о том погружало их в уныние, но при мысли возвратиться — они содрогались. Претерпеть стыд раскаяния — было в головах их ужасное мучение. Так-то ожесточены были сердца сих *несчастливцев!*

Деревня не город. Скоро все, слышавшие мурлычание наших виртуозов, сопровождаемое бренчанием на бандуре, вытвердили наизусть песнь о Лазаре, и крестьянские мальчишки и девчонки, сопровождавшие их целыми стаями, наперед еще затягивали пение; и пристыженные Амфионы с открытыми ртами замолкали и отходили от окошка. Хохот взрослых приводил их в отчаяние, и они оставили сие село, вознамерясь никогда уже пред бессмысленною чернью не выказывать великих своих дарований.

В городе — куда прибило их ветром — поприще действия их расширилось, но встретились также и неудобства, которые они могли бы легко предвидеть, именно: они были не одни; и все им подобные, снискивавшие себе кусок хлеба оказанием дарований в музыке и пении, были их искуснее. Шатаясь из улицы в улицу, от одного дома к другому, в один вечер прибрели они к стенам девичьего монастыря и по умильной просьбе были пущены в ограду, получили ночлег в коровнике и довольную пищу от трапезы благочестивых сестер.

На другой день отперли их не рано и повели представить честной матери игуменье. Она была полная, дородная женщина лет под сорок; имела свой собственный доход с поместья, ей принадлежащего, и употребляла его как умела, не заботясь, что в ней тучность, душа или тело. Она была веселого нрава и особенно любила таких же подруг своих; а старых, брюзгливых, набожных стариц не могла терпеть и явно насмехалась над их богохульством, так называла она наружное смирение, и доказывала,— из чего заключить надобно, что была не последняя философка,— что не надобно уподобиться лживым фарисеям, которые всегда являлись народу с постными рожами.

Когда вошли в келью ее наши странники, она сидела на мягкой софе, окруженная пятью или шестью молодыми пригожими сестрами с румяными щеками, огненными глазами, смеющимися губами. Перед ними на столе стоял сытный завтрак. Осмотрев их внимательно с головы до ног, она подняла такой сильный хохот, что окна задрожали; сестры духовные ей усердно подтянули, и вышел такой шум, крик от полувыговариваемых слов и невнятных восклицаний, что Макар и Сидор покушались думать, что они зашли в дом веселых сумасшедших. Насмеявшись досыта, мать настоятельница пожелала знать, что они за люди, чем питаются и где имеют пристанище?

Сидор удовольствовал ее любопытство, рассказав — разумеется, пополам с ложью — свою и дядину историю, и приметил, что тронул тем чувствительные сердца игуменьи и ее собеседниц!

— Когда то справедливо,— сказала она, выслушав повесть Сидорову,— что ты нам о себе рассказал теперь, то, видно, счастливая звезда вела вас невидимо к нашей обители. Если вы имеете одну только добродетель, но добродетель необходимую, то с сего же часа можете благословлять благость провидения, столь много о вас пекшегося!

При ужасном слове: *добродетель* — Макар и Сидор вздрогнули и побледнели, ибо наслышались об ней много кое-чего такого, что было им крайне не по вкусу и что мать Маргарита не оставила бы, конечно, без замечания, если бы смотрела тогда им в глаза, а не в серебряный кубок с медом.

— Какая же это добродетель? — спросил Сидор, понизя голос и опустя руки.

— Она называется,— отвечала мать,— *скромность,* или *молчаливость,* и для сметливого человека соблюдать ее уставы ничуть не тягостно. Она столько необходима как в светском, так и в духовном звании, что человек, преисполненный всех достоинств, а не имеющий скромности,— есть человек пропащий! Состоит она в том, чтобы язык твой был в совершенном повиновении рассудку; чтобы он отнюдь не осмелился за монастырскими стенами промолвить хотя полслова о том, что внутри оных глаза твои видели, уши слышали, руки осязали, нос обонял — и он сам чувствовал вкусного или противного! Находите ли себя способными следовать правилам сей добродетели?

— О,— воззвал дядя Макар с бодростью,— если не более потребует от нас сия добродетель, то я как за себя, так и за своего племянника ручаюсь, что будем предобродетельными людьми на свете!

— А когда так,— отвечала мать Маргарита,— то с сей минуты вы не имеете нужды морозить пальцы, бренча на бандуре, и подвергаться опасности ослепнуть, деручи горло из-за куска хлеба. Твоя должность, старик, будет блюсти врата обители. Попросту — ты будешь привратником и должен особенно знать, кого и когда впустить и выпустить и кому отказать. Мы живем мирно и лишних гостей не принимаем. Мать Аполлинария, правящая должность привратницы, все растолкует тебе обстоятельно! Ты же, молодец, будешь у нас звонарем, ибо теперешний весьма стар и хил и для него взойти на вышнюю лестницу нашей колокольни так тяжело, что бедный едва не задыхается. Пора дать ему отдых!

Честная двоица сия с того же дня вступила в отправление должностей своих. Им отведены пристойные жилища: привратнику в избушке подле ворот, а звонарю в подвалах колокольни. Дядя понятлив был к наставлениям матери Аполлинарии и с удивительным прилежанием вытверживал условные знаки, которыми должен был окликать толкущих в двери, и вслушивался в ответы, по коим догадывался, отверзть ли оные или нет. В короткое время он — как говорится — так въелся в свою должность, что учительнице стоило только намекнуть, он уже понимал и никогда не делал ошибки. Должность сия и потому казалась ему прелестною, что почти ни одна впускаемая особа не проходила ворот без того, чтобы бдительному сторожу оных не сунуть в руку нескольких

сребреников, и как с утра до самого вечера ворота были отверзты для всех, то Макар свободно шатался по городу, заходил, куда влекли его голод или жажда, и сколь усердно он утолял обоих, всегда помнил о монастырской добродетели и никогда не изменил ей ни одним нескромным словом.

Смиренномудрый звонарь Сидор не менее был доволен своим состоянием. С малых лет привыкши лазить по лестницам, размахивать коромыслом и действовать веревками на колокольне родителя, он принялся и здесь с таким усердием и искусством, что веселые инокини покушались иногда плясать под его вызванивание.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1 Затем

Таким-то образом прошла зима, весна, лето — и целые три года. Сидор днем звонил и спал — и чего же еще более?

Я уверен, что, взяв все четыре части света, все сословия, начиная от скиптрадержца до водоноса, не сыщется человека, который бы всегда был доволен настоящим своим положением. Иногда и корона так же бывает тяжела для головы ее носящего, как пятиведерный кувшин с водою для плеч имеретинца в Тифлисе. Итак, весьма вероятно, что и на Сидора находили минуты, когда он зевал, не чувствуя охоты ко сну. Природные склонности его созревали постепенно, а монастырская принужденность, с каковою — сперва по необходимости, а после и по привычке — весьма искусно скрывал он движения чувств своих, усовершенствовала в нем склонность к увертками, хитростям, обманам, всякого рода притворству во взорах, словах, речах, движениях и даже поступках, которые в часы размышления, ибо и Сидор начал уже размышлять, уверила его, что он рожден к чему-то большему, виднейшему, чем лазить на колоколь-

нию и вызванивать разные звоны. Такие мысли занимали его иногда долго и сильно впечатлевались в его воображение, которое время от времени делалось стремительнее и тем беспокойнее, что не имело цели, предмета, обладание которым могло бы несколько остудить его. Я думаю, что если бы в то время встретился с ним опытный, честный, благонамеренный человек и принял бы на себя труд вывести бедного, заблудшего Сидора на тропинку, ведущую к добру и чести, то он мог бы еще сделаться путным человеком и, следственно, счастливым, но судьба иначе распределила.

Сказано выше, что свободное от должностей или отдыха время дядя и племянник, шатаясь по городу и заседая в шинках, где — как известно — собираются праздные люди всяких состояний, возрастов и склонностей, убивали часы свои. На ту пору слух об успешных подвигах Гаркуши носился уже в тех окрестностях и наполнял умы и воображение пустомелей всякого рода. Уже более пяти хуторов лучших помещиков были разграблены, а хозяева отчасти бесчеловечно истерзаны или даже замучены до смерти. О таковых злодействах всякий судил по-своему, соображаясь с своими чувствами и обстоятельствами. Чернь рассуждала о нем более со стороны выгодной, как о своем отмстителе, а прочие, которые известны там под названием полупанков[1], предавали его проклятию и пророчили, что рано или поздно, а получит казнь достойную; словом, на базарах и в шинках столько тогда было простых и жарких споров, доходивших даже до брани и драки, о делах и будущей участи (ибо язва политики, зашедшая к нам по большей части от немцев, из коих некоторые за свои дипломатические суждения достойны окончить жизнь в доме сумасшедших, распространилась по городам и селам) Гаркуши и его собратии, сколько спустя половину столетия говорено и писано было о Наполеоне Буонапарте.

В одном из таких заседаний случилось, между прочим, сойтись двум великим спорщикам: уездного суда повытчику и ближнего села атаману[1], который считал себя в сословии дворян, потому что многие ему равные то же делали, и присваивали титло пана, которое в Мало-

---

[1] Сим именем зажиточные паны называют панов бедных. (*Прим. В. Т. Нарежного.*)

россии дается мужу, облаченному в синюю черкеску, как в Испании дон — имеющему при бедре саженную шпагу, или в Великой России барин, которым все бородатые величают небородатых. После жаркой замысловатой речи, в которой повытчик доказывал, что Гаркуша преполезный человек на свете, подобный хорошему хозяину, истребляющему в саду своем репейник и крапиву, дабы помочь заглушенным растениям оправиться и принести ожиданный плод,— атаман, не нашед приличных выражений к опровержению доводов соперника, прибегнул также к сравнениям и с видом надменности, свойственным дворянину в отношении к разночинцу, сказал:

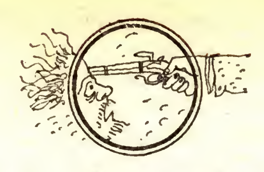
— Гаркуша твой не что другое есть, как вор, кроющийся от всего света, и до сих пор никто хорошенько не видал его. Прочти-ка ты историю о нашем Ваньке Каине или о французском Картуше! То-то были настоящие мастера своего дела! Они никого не боялись и среди белого дня в славных столицах, в многолюдных собраниях и театрах — не только являлись, но и производили лучшие удальства свои!

Повытчик в свою очередь не нашелся, что отвечать. Ему отроду не случилось слышать ни о Ваньке Каине, ни о Картуше. Словопрение кончилось, и всякий принялся за дело, для которого пришел в шинок. Один Сидор поражен был словами атамана. Он так много наслышался о Гаркуше, так высоко ценил его достоинства, что, слыша о людях и его превосходивших, не знал, что и подумать. В нем родилось мгновенно страстное желание узнать об них покороче; а потому, отозвав рассказчика в другую комнату и представя к услугам его кварту вишневки, просил сказать ему что-нибудь о тех великих людях, о коих повествовал он так витиевато. Сей добрый человек объявил, что их нет уже на свете, а остались только описания их подвигов, и он может от приятеля своего завтра же доставить их на некоторое время.

Он сдержал обещание, и Сидор получил в свои руки драгоценную книгу, в коей описаны подвиги упомянутых витязей.

---

[1] Атаман есть в свободном селе староста. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*



Глава 2 **Понятный ученик**

Сидор перенес книгу под самую главу колокольни — и в первое досужее время принялся читать с таким исступленным жаром, с такою ненасытною жадностью, с каковою обыкновенно нововоспитанный молодой человек, вышедший только из-под власти франко-наставника, совершенно новый в любовных таинствах, закравшись в будуар старшей сестры или матери, читает гнусные сочиненьица французские, украшенные приличными виньетами и картинками. Последствия одни — погибель — если случай или провидение не подадут скорой спасительной помощи.

Звонарь наш почти наизусть вытвердил жизнеописания своих героев, которые прельщали его более, нежели Александра Ахиллес и Карла Александр. Немного приводило его в смятение и даже в замешательство окончание тех несчастливцев, но Сидор приписывал то собственной вине их. «Если бы,— говорил он сам себе,— не столько дерзости, надежды на удачу, а более осторожности, скромности и недоверчивости к постоянству счастья, не быть бы одному на колесе, а другому под кнутом. Если же, как тут пишется, такие дела грешны, беззаконны, то разве у нас нет покаяния? Мало ли что делали другие, о коих читывал еще дома, а как раскаялись — все как с гуся вода! Так сделаю и я! Потружусь лет десяток, полтора — соберу хороший достаток, чтоб после с седыми волосами не лазить по лестницам колоколен и не быть за бессилие выгнану, как сделано с моим предшественником, и не торчать целые ночи у ворот, подобно дяде моему Макару,— а после, оставя все суеты мира сего, выберу убежище подальше от родины, переменю имя и раскаюсь в прежних делах своих, буду жить по-пански. У меня будет по крайней мере один музыкант и один машкара да две или три красавицы, которые не будут бояться дневного света, подобно монастыркам. Непременно иду к Гаркуше и сделаюсь ему собратом. Не у всякого охотника разрывает ружье и его убивает; не всякий кузнец сожи-

гает пальцы об раскаленное железо; не всякий рыболов утопает! Попытаем счастья!»

Странный случай способствовал намерению сего сумасброда и ускорил его исполнением.

Под вечер одного сентябрьского дня, к великому недоумению задумавшегося Сидора, вполз на колокольню дядя Макар и сказал ему:

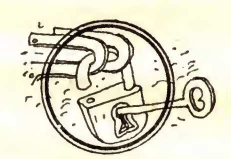
— Давно заметил я, племянник, что тайная тоска грызет твое сердце. Я молчал, потому, что не люблю выведывать того, что другие скрывают, а сверх того боялся проступиться против монастырской добродетели. Теперь вышел у меня такой казус, что никак не могу скрыть его перед тобой. Слушай: сего дня после обеденной трапезы отправился я по обыкновению к шинкарке. Когда я забавлялся там, чем бог послал, и рассуждал с прихожими о том, о сем, что только не нарушало правил нашей добродетели, в речь мою ввязался молодой мужчина и, повидимому, шляхтич. Скоро к нему пристало еще человека четыре, и беседа сделалась общею. Противу всех шинкарных обыкновений, вместо того чтобы начать спором, потом дойти до ссоры, а кончить поволочкою, новые знакомцы мне только подтакивали, взапуски потчевали добрыми наливками и совсем не держались нашей добродетели в рассыпании мне похвал. Все, что ни вспадало мне на ум, было весьма разумно, и, по их словам, я малым чем был глупее пророка Наума. Когда мы — или лучше я — довольно понабрались веселого духу, то шляхтич приказал шинкарке кое-что изготовить к полднику, а в ожидании оного предложил прогуляться за городом. Я приглашен вместе с прочими и, ничего не предчувствуя, пошел за ними. Как скоро очутились мы в ближнем перелеске, шляхтич остановился и, вмиг из веселого товарища сделавшись совершенно важным, вытащил из-за пазухи одною рукою пистолетище величиною с карабин, а другою кошелек и, взведши курок, сказал:

— Пан привратник! Я имею нуждицу поговорить с тобою откровенно и начну уверением, что пистолет заряжен пулею и что в кошельке ровно десять империалов. Не робей, дружище, и, выслушав меня с таким же вниманием, с каким выслушиваешь, стоя ночью у ворот своих, условные знаки, скажи откровенно, что ты из двух выберешь, услужить ли мне и взять это золото, или, в случае измены, иметь пулю в голове своей. Ты нигде от меня не спрячешься!

Видя роковую перемену в поступках и словах шинкарного моего друга, я задрожал; а он, увещевая меня быть храбрым, продолжал:

— Я урожденный шляхтич и имею неподалеку отсюда неубогое поместье. С малых лет начал я любить прекрасную Анюту, дочь одной шляхтянки, нашей соседки. Ах! как была она прекрасна в дни своей невинности. По смерти родителей, оставшись двадцати лет и сделавшись самовластным паном над имением и над собою, я открыто предложил руку свою милой Анюте. Как я был гораздо их богаче, то мать дала полное свое согласие, к чему немало способствовало незадолго полученное ею известие, что единственный сын ее, любимый матерью страстно, служащий в нашем губернском городе и имевший в руках своих все бумаги на имение, по случаю женитьбы своей на выезжей польской актрисе один из двух хуторов продал, а другой заложил. О дочери и говорить нечего. Когда все готово было к моему счастью, злые духи принесли в дом моей невесты старую тетку, монахиню из здешнего монастыря, которая вздумала весьма жестоко мстить демону плоти за его неистовства, оказанные над нею во время ее молодости. Не знаю, что ведьма та болтала дочери и матери, только за неделю до свадьбы через нарочного мне объявлено, чтобы я не беспокоился посещать более дом их, ибо,— и теперь едва могу выговорить от гнева и бешенства,— ибо Анюта идет в монахини! Нечего тебе описывать тогдашнее мое состояние. Ты не шляхтич, так у тебя другая кровь и другое сердце; ты не поймешь меня. Все старания мои увидеться с Анютою, которая после отказа казалась мне гораздо прекраснее, чем прежде, остались тщетные. В самый тот день, когда назначено было венчать нас, она произнесла роковую клятву — увы! — совершенно отличную от предполагаемой мною. Целый месяц считали меня сумасшедшим и держали взаперти; после я опомнился и плакал тоже месяц. Начало выхода моего было в монастырскую церковь. Я увидел Анюту в черном платье, и незалеченная рана раскрылась. Всякий день я видел ее и всякий день становился влюбленнее. Казалось, что она меня и не видела, и глаза ее вечно или смотрели к небу, или обращены были в землю. Наскуча роковым состоянием, столько меня мучившим, я осмелился написать к Анфизе — новое имя ее — записочку, которая состояла не менее как из семи с половиною строк и которую сочинял я не более

как семь дней. В ней живо описана была безмерность страсти моей, непомерное биение сердца, клокотание крови, кружение головы и трясение рук и ног. Мне удалось подкупить одну из старых сестер, и записка была верно доставлена. Посуди о моем восхищении, когда получил ответ руки моей любовницы, в котором писала она, чтоб я успокоился, что она должна была уступить докукам тетки и матери, а слыша о кротком, снисходительном, ангельском нраве матери Маргариты, решилась произнести клятву и надеть черную рясу. Она назначила мне свидание на кладбище монастырском, где, упоенная любовью, ободренная чистым сиянием месяца, единственного свидетеля обниманий наших,— забыла Анюта безрассудную клятву свою и — сдалась — о! Как опишу тогдашнее счастье, блаженство, оживлявшее сердце, душу, все бытие мое! Сия вожделенная жизнь продолжалась два года и теперь — теперь только пресеклась, и я — или возвращу ее, или перестану существовать. Ровно теперь один месяц и три дня как обожаемая Анюта перестала внимать моим воздыханиям, разделять мои страстные восторги. Тщетно делал я условленные знаки — тщетно ржал ослом, хрюкал свиньею и завывал филином. Адские врата не отверзались,— и я должен был заключить, что ты имеешь приказание не впускать меня в часы, назначенные для любви и блаженства.



Глава 3 Решительный

— Ко всему мною сказанному,— продолжал любовник,— прибавлю, чтобы ты, впустя меня с одним из друзей, ничего не опасался. Самая важная беда, могущая постичь тебя, когда проведают о твоей ко мне услужливости, состоять будет в том, что выгонят из обители шелепами. Плюнь на все! Я дам тебе в своем владении убежище, снабжу всем, что только нужно для покойной и довольной старости, ибо уверен, что хотя ты и не молод, но жизнь еще не надоела. Выбирай теперь же, кого ты хочешь во мне видеть, убийцу ли своего или друга и благодетеля.

Так проговоря, уставил он на меня глаза свои, которые в самом деле были весьма страшны или мне так казалось. Видя неминучую, я недолго колебался и, приведши на память, что сам человек военный, выпрямился и отважно сказал:

— Государь мой! Было бы тебе известно, что я не всегда отправлял должность привратника. В свою очередь и я служил в полках и отставлен капралом; а потому всякий догадается, что я мужик не трусливый и если теперь избираю кошелек, а не пулю, то это единственно из угождения тебе, из желания услужить — ибо человек, берущий взятки, может-таки что-нибудь сделать, а с размозженною головою никуда не годится. Из сего прошу заключить, что я принимаю деньги; но, принимаясь оказать вам услугу насчет моей совести, я, кажется, имею некоторое право спросить, что вы намерены сделать, как скоро впущены будете во внутренность обители.

— Я и сам теперь не знаю,— отвечал он,— ибо ход происшествий в таких случаях назначает нам продолжение и конец. Надобно быть ко всему готовым и сохранить присутствие духа; надобно прежде все нужное видеть, слышать, понять — потом уже сказать: так или не так!

Находя себя в необходимости на все с ним соглашаться, ибо — между нами сказано — и в самом деле жизнь мне еще не совсем надоела, я взял деньги, условился в знаке и бросился к тебе, любезный племянник, спросить совета: ум хорошо, а два лучше.

Сказав сие, дядя задумался; племянник в том подражал ему. Молча смотрели они один на другого и время от времени отрывисто произносили: «Ну! — Что? — Надумался ли? — Не ладится? — Экая беда! — Целое горе!»

Погодя немного Сидор изменился в лице. От сильного волнения крови оно вдруг побагровело, веснушки сделались черны, курчавые волосы еще более съежились, и он, выпуча глаз свой и ударя кулаком в лоб, произнес:

— Я решился, и пусть черт возьмет меня с телом и душою, если не исполню своего намерения!

Отставной капрал задрожал, услыша такую клятву, каковой не слыхивал отроду, но еще в больший пришел ужас, когда услышал, что намерение Сидора состоит в том, чтоб своею особою умножить число Гаркушиных послушников.

— На что похожа теперешняя жизнь наша,— продолжал он, выслушав дядины возражения.— Ты уже дож-

дался развязки и будешь убит, как неверный турка, или выгнан из монастыря с нечестием, и — вероятно — заставив прежде несколько месяцев попоститься в здешней юдоли и вытерпеть несколько сотен ударов в спину. Но у тебя есть прибежище—хутор твоего шляхтича; а случись со мною подобное — я погиб! Словом — я решился и ни для чего не переменю своих мыслей!

После долгого прения дядя и племянник согласились, чтобы, не рассуждая много о будущем, положить всю надежду покамест на нового знакомца шляхтича, а чтобы не смотреть ему всегда в глаза, то не худо заглянуть в сундуки церковные. Им весьма не трудно было исполнить свое намерение, ибо церковные ключи были у звонаря и он всегда имел беспрепятственный туда вход и оттуда выход, а обходиться с запертыми сундуками было для них не первоучинка. Они, запасшись всем нужным на дорогу, легко могли бы уйти и одни, но, опасаясь погони, поимки и ужасных от того последствий, с нетерпением ожидали своего покровителя.

Усердный к новому своему знакомцу привратник Макар, чтобы угодить ему в полной мере, во весь вечер отказывал всем ночным посетителям, увещевая их приходить на другой день в ту же пору. Честные сестры, видя, что у них пусто, немало тому дивились, но как часы пробили полночь, то они зажали до утра смеющиеся рты, затушили огни и, рассуждая, как отмстить своим поклонникам, обманувшим их в надежде свидания, опустили руки, куда которой рассудилось, и скоро сомкнули вежды, а все это сказать попроще — заснули.

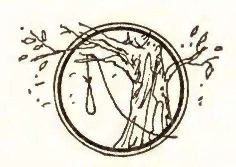
Как видно, то сего только ожидал нетерпеливый шляхтич. Когда отперта была калитка, то, к удивлению дяди и племянника,— вместо условленных двух человек ворвалось около двадцати. Они окружили звонаря и привратника, и шляхтич сказал:

— Я догадываюсь, Макар, что сей посторонний детина есть твой племянник, а потому вместо подозрения в измене я еще рад, что, не искавши, его вижу. Надобно тебе признаться, что в продолжение нескольких часов склонность моя переменила предмет свой. Я хочу госпожу Анфизу оставить в покое, а вместо того поздороваться с другою. Пан звонарь! Проводи нас в церковь, да как можно тише, скромнее. Иначе — слыхали ли вы о Гаркуше? Он перед вами!

При сем роковом имени дядя затрясся всем телом, а племянник, будучи поражен не меньше,— от испугу, радости и беспамятства, совокупно в нем подействовавших, получил — удивительное дело! — необыкновенную силу разумения и, сделав около себя правой ногою полкруга, стал на колено и хотя не очень твердым, однако внятным голосом произнес:

— Величайший из всех обитавших под солнцем! Давно сердце мое избрало тебя своим наставником, повелителем, владыкою! Сегодня дал я святую, ненарушимую клятву служить тебе рабски, если удостоишь назвать меня собратом храброй твоей дружины! Ты видишь нас готовых к дороге, и эта дорога вела к тебе. Хотя глупые и злые люди утверждали, что ты не можешь сравниться с Ванькою Каином и Картушем, однако я не верю им и считаю обоих в сравнении с тобою обыкновенными *шишиморами!*

Гаркуша, шляхтич, Макаров знакомец, был действительно атаман и отвечал, что о таком предложении подумает, и приказывал вести себя в церковь, что и было сделано с величайшей услужливостью.



Глава 4 **Изуверы**

Ничего не было священного для сих извергов; чего не могли унести с собою, то было перепорчено. По выходе из храма Гаркуша велел на дверях оного написать свое имя и время посещения.

Макар, выпустя всех и вышед сам из ограды, запер ворота тщательно и побрел с племянником вслед за шайкою, которая в знак бодрости распевала веселые песни. До самого рассвета шли они полями и перелесками, а тогда очутились в довольно частой роще и выбрали ее местом отдыха.

Атаман приказал представить к себе дядю и племянника. Осмотрев обоих внимательно, он произнес:

— Ты, дядя Макар, уже стар и бессилен, а потому для меня бесполезен. Ты неосторожно сделал, что оставил мирную обитель. Сидор! Твой стан, взор и все лице-

начертание мне полюбились. С первого на тебя взгляда увидеть можно, что ты рожден храбрым человеком и предназначен умножить собою число подвластной мне дружины. Но прежде, нежели удостою тебя сей чести, ты должен выдержать испытание, какое назначу!

Сидор поклялся, что он не откажется исполнить все, что только будет в его возможности, и атаман продолжал:

— Что ты сделаешь с сапогами ветхими, которых уже носить не можешь?

— Я их кидаю!

— Точно так поступать надобно и со всякой всячиной, как то: со скотами двуногими и четвероногими. Дядя твой прожил гораздо долее, нежели сколько нужно, чтобы быть кому-либо полезным! На этом дереве теперь же повесь его, а я на этом же месте назову тебя своим собратом!

Хотя пан Сидор и приготовился быть храбрейшим человеком, однако, услыша такое предложение, изменился в лице, а о дяде Макаре и говорить нечего. Он едва мог удержаться на ногах; Гаркуша хранил холодное молчание, а шайка подняла громкий хохот. Всех любопытные взоры были обращены на Сидора.

Если кто представит себе человека, колеблемого разными, но равно жестокими страстями, не знающего, куда обратиться, ибо везде очевидная погибель неизбежна, тот представит себе чудовищного Сидора, с помертвевшим лицом, стоявшего неподвижно с устремленным вниз глазом и опущенными руками. Пот градом лился с лица его, и одно колебание колен показывало, что он еще не в могиле. Гаркуша продолжал:

— Вижу, что иногда нечаянность происшествий может поколебать твердость и самого отважного человека, но такое потрясение должно быть мгновенное. Врожденное чувство великости опять вступает в права свои, и — герой опять является героем. Подайте веревку пану дьяку Сидору! Я уверен, что он выдержит сей опыт и сделается достойным нашего собратства!

Подобно глиняной статуе, оживленной огнем Прометеевым, пан дьяк Сидор встрепенулся, бледность уступила место багровой краске, глаз воспламенился огнем ужасной решимости, и эта решимость не была в нем следствием отчаяния, нередко производящего такие подвиги, на какие размышляющий о причинах, их ходе и

окончании никогда не отважится. Нет! Сидорова решимость была настоящая готовность сделаться злодеем и на первом испытании — одним скачком, так сказать,— перескочить половину пути своего. Он произнес громовым голосом:

— Великий атаман! Ты во мне не ошибаешься! Если я от слов твоих позамялся, то это, точно, была минутная слабость! Дядя Макар! И подлинно ты пожил довольно на свете, и уповаю, что расстанешься с ним без особенной скорби. Я знаю, что ты наделал достаточное число грехов всякого рода, за которые не избежал бы дьявольских объятий на том свете, если бы время службы твоей в монастырской обители не давало тебе некоторого права к сопротивлению власти вражьей. Ты так верно служил избранному стаду смиренных отшельниц, что они, конечно, не забудут тебя в своих молитвах. Итак — прежде нежели нагрешишь снова, не выгоднее ли, будучи полуправедным, затесаться в обители вечной веселости? Честнейший дядя Макар! На котором дереве желаешь вознестись в вечность? Я надеюсь, что снисходительный атаман позволит тебе таковой выбор!

Дядя, получивший в свою очередь употребление чувств, начал доказывать свою невинность, свою услужливость, свою старость, которая и без веревки не замедлит спихнуть его в могилу, тщетно: атаман был непреклонен, дал знак, и мужественный Сидор накинул петлю на выю дяде Макару, который, видя, что сопротивление продлит только страдание, смиренно шел по направлению веревки.

Уже все приготовления к воздвижению дяди Макара были готовы, и племянник с непоколебимым мужеством готов был приступить к самому делу, как атаман еще сделал знак остановиться и сказал торжественно:

— Браво, пан дьяк Сидор! Теперь ясно видим, что монастырская жизнь не развратила врожденных в тебе достоинств. С сей минуты ты собрат наш! Макар будет жить; я и ему найду должность!

Сидор произнес клятву в верности обществу и атаману, принял поздравления и — пил из общей баклаги. Достигнув своей пустыни, они несколько дней пировали, а после Макару — названному инвалидом — поручено было смотрение над чистотою во всей обители, а Сидор с первой вылазки начал служить в поле. Во время осад он превосходил всех жестокостью, буйством и остервенени-

ем, что между братиею называлось храбростью и твердостью духа. Равномерно в низших плутовствах не было ему подобного. Прежде нежели атаман нападал на какой-нибудь хутор или панский дом, Сидор бывал там в различных видах, одеянии, звании. Особливо с неподражаемым искусством представлял он нищего. Все крестьяне сожалели, слыша басни, им о себе рассказываемые, а заунывные песни его отворяли ему двери в домах панских. Он все высматривал, подслушивал, делая местные соображения, сообщал все атаману, который, по тому уже расположась, нападал на неосторожных, грабил, жег и мучил помещиков, имевших несчастье не понравиться кому-либо из крестьян своих. Такими-то достоинствами пан дьяк Сидор, мало-помалу входя в любовь и почтение великого своего атамана, сделался, наконец, особливым его наперсником, и вся шайка оказывала ему явное преимущество. В сем-то положении дел застигла их зима в пустыне, как сказано выше.

Глава 5 Чудное посольство

Всякое другое общество, проводя зиму в подобном месте, быв в веселостях своих ограничено начальником, всего боящимся, везде подозревающим, почло бы себя близким к аду; но буйная сволочь сия отнюдь не унывала и утешала себя представлением будущей весны и сопутствующих ей вольности, или, лучше, своевольства, и возможных увеселений по вкусу каждого.

Наконец и весна воскресла. Снега растаяли; ручьи зажурчали в тесных берегах своих; ранняя трава показалась, и почки с каждым днем более распускались и зеленели.

Атаман, собрав к себе есаулов, говорил им:

— Вожделенное время настало, и мы могли бы уже, испрося благословение от неба, начать свои подвиги, однако я имею основательные причины отложить открытие оных до конца сего месяца. Время сие препровождено может быть по-прежнему, но не запрещаю охоты. Каждый из вас может увольнять на сей промысел вдруг двух и

трех из подвластных ему работников, но с тем, чтобы они к ночи возвращались и отнюдь не дерзали выходить из пределов леса. Уверьте их, что мною давно обдумано, что, как, когда и кому делать!

Отпустя прочих, он оставил при себе Охрима и Сидора. Он сказал им:

— Верные друзья мои! Вы, которых мужество и расторопность испытаны мною во многих важных случаях, вы слушайте меня и судите, пекусь ли я о благосостоянии вверенной мне промыслом собратии. Вы согласитесь, что чем кто преднамеревается к важнейшему делу, тем более должен укрепить свои силы. Вам известны планы действий наших в наступающее удобное время, а потому не станете противоречить, что непременно должно, по крайней мере, удвоить наше людство. Набирать из тех, коих приводит к нам скудость, претерпеваемые угнетения, опасение народной казни и другие подобные случаи, весьма неудобно. Не говорю, что тут крайне осторожну надобно быть против измены, другие препятствия отяготительны. Приучать каждого к действию ружьем и саблею, знакомить с неизвестным им послушанием, придавать бодрости в опасных обстоятельствах — хотя трудно и скучно, но все-таки возможно; но кто даст изворотливость истукану; кто вперит ум в чугунную голову; кто одушевит сердце каменное? Это выше сил человеческих и — следственно наших! Для сего-то я нашел средство — если бы только удалось оно — вдруг братство наше увеличить присовокуплением сотни храбрых опытных молодцов, которым ничто уже между нами дико не покажется; а сверх того, судя по общим слухам, они должны быть недальними нашими соседями. Думаю, что многоопытный Охрим меня понимает!

— Давно понял, великий атаман,— вскричал Охрим,— о каких людях говоришь ты; но не отгадываю найденного тобою средства к соединению двух храбрых сословий.

— Средство это,— отвечал Гаркуша,— состоит в соединении. Разве не соединены две особы, когда только одни их руки скованы между собою цепями неразрывными? Разве не соединятся между собою два общества, когда атаманы их соединены будут узами любви? Так, друзья мои! Для общего блага я готов пожертвовать своею свободою и женюсь на Олимпии, хотя бы даже — чего я, однако, не ожидаю — она была на то и не соглас-

на. Вас обоих, и только одних — а для всех других из дружины сие мое намерение до времени должно быть тайною,— избираю на сие важное дело! На ваш разум полагаясь, предоставляю вам самим найти дорогу к обиталищу Олимпии, явиться к ней в виде послов моих и предложить ей руку мою. В палате моей выберите одежду и оружие, какие заблагорассудите, и возьмите казны, сколько пожелаете. Благословение мое денно и нощно будет вам сопутствовать.

Выслушав такое предложение, Охрим и Сидор наполнились некоторым восторгом, похожим на вдохновение. Они торжественно клялись употребить все способности душ своих, чтобы в точности исполнить его желание. Запасшись всем нужным в сию дорогу и посоветовав атаману нимало не беспокоиться, хотя бы целую неделю не видал их возвращение, в самый полдень вышли они на поверхность — и пустились в дорогу.

Глава 6 Дальновидные

Дальновидные послы наши очень знали, что если они бродя по ужасному лесу, будут отыскивать нареченную невесту своего атамана, то могут прошататься даже целый год, а все выйдет по-пустому; почему пробрались прямо в знакомое село, где хотя слух о их подвигах весьма распространился, но как по политике атамана никто из них не сделал там никому обиды, то,— по всему вероятию,— если бы и вся шайка в один раз туда нагрянула едва ли обратили бы на себя подозрение в обывателях Они затеяли, чтобы каким-нибудь образом признать хотя одного из почтенных рыцарей лесной невесты и посредством его узнать ее обиталище. На сей конец соглядатаи бродили по шинкам, базарам и церквам, но, к неудовольствию, нисколько не успели в своем предприятии Они везде встречали обыкновенные лица, не имеющие на себе никаких особенных отпечатков, и так провели три дня. Четвертый был день базарный. Сидор и Охрим отправились на сборное место, условясь смотреть внимательно на каждого из продающих и покупающих, и пер-

вый присовокупил, что он и одним глазом надеется более увидеть, чем многие другие двумя.

Проходя ряды, где торговали всякой всячиной, они и действительно не пропускали ни одного мужчины, чтобы не обратить на него самых внимательных взоров; но, к большому их негодованию, до самого вечера всех их созерцания были бесполезны. Наконец надежда их оживилась. В последнем ряду они приметили двух казаков, кои покупали чугунные и железные вещи, порох, дробь и свинцовые прутья, а между тем двое нищих терлись позади их и оказывали великое искусство в проворстве рук своих.

— Сидор! — сказал тихонько Охрим.— Протри-ка глаз свой и рассмотри вот этих четырех занимательных особ! Что ты об них скажешь? А мне кажется, что одного из сих казаков я уже видел в качестве лекаря!

Пан Сидор, оборотясь к нему, с надменною улыбкою произнес:

— Что ты говоришь, дорогой собрат! Разве не знаешь, что я, набираясь некогда премудрости у проклятого дьяка Сысоя, нажил горб и лишился глаза? Из сего заключи, что я не плоше твоего вижу, слышу и чувствую. Теперь-то начнем действовать во славу божью и во спасение людям!

После сего они не выпускали уже из виду означенных людей, и когда сии, нагрузясь всем нужным, удалились с места торжища, а потом и из села, то и наши посланники следовали за ними. Первые, несколько раз оглядываясь назад и видя подозрительных последователей, недоумевали, что надобно думать и делать. Когда же они, вступая в известный лес, то же видели, то сделали наскоро совет, остановились и, дождавшись приближения нахальных незнакомцев, с суровыми взорами их окружили. Тогда один из них — теперь скажем, что догадка мудрого Охрима была на сей раз весьма справедлива: это и действительно был несколько уж нам знакомый Сильвестр,— он спросил:

— Приятели! Что вы за люди и чего от нас хотите, что следите по пятам нашим?

Тут Охрим распрямился и, завернув шапку набекрень, сказал:

— Не подивись, приятель, если услышишь нечто новое: я тот, который без малого за год пред сим имел честь самолично видеть твое искусство, с каковым ты в

одну ночь в сем же лесу перевязывал рану на руке атамана-девки.

Кто опишет всю великость удивления, поразившего умы Сильвестра и его сопутников? Они раскрыли рты, делали разные движения руками и все, устремя изумленные взоры на Охрима, не отвечали ему ни слова. Охрим, немаловажный наблюдатель сердец человеческих, пользуясь таким их онемением, с большею отвагою продолжал:

— Вижу, что вы по нечаянности моего слова несколько оторопели. Чтобы привести вас, столь достойных удальцов, в положение, вас и нас достойное, скажу, что я и сей достойный собрат мой Сидор служим есаулами под славными знаменами знаменитого атамана Гаркуши, о коем, наверное, вы довольно наслышались и от коего отправлены полномочными послами к храброму атаману Олимпию, о подвигах коего с достойною дружиною и мы весьма известны. Общая польза обоих обществ требует личных соглашений, а от того весьма много зависеть будет. Посему именем своего атамана просим представить нас пану Олимпию и надеемся, что просьба Гаркуши, объявляемая его послами, без исполнения не останется.

Разумеется, что после такого предисловия Сильвестр и его сопутники начали дружески обнимать Сидора и Охрима и по требованию последних тут же повели их в стан Олимпия. Подвиги Гаркуши в течение одного года новой его жизни произвели то, что всякий из подобных ему извергов считал за честь видеть его, слушать и даже ему повиноваться.

Глава 7 **Что-то будет?**

Сидор, яко многоученый человек, взял на себя обязанность сочинить мысленно речь и проговорить ее пред атаманом Олимпием, почему во всю дорогу не вмешивался в разговоры новых друзей своих; зато усердный Охрим неумолкно повествовал о подвигах атамана Гаркуши и всего братства. Сильвестр не хотел унизить славы и сво-

его атамана, и таким образом все не приметили, как достигли становища. Они увидели довольно обширную долину, окруженную древними дубами, соснами и елями. Посередине сей лощины разбито было до двадцати палаток, из коих одна отличалась своею обширностью и вышиною. По обе стороны сего холстяного городка расставлены были разного рода телеги и повозки, между коими находились в довольном количестве лошади, быки, овцы, бараны и даже свиньи. Все же становище обнесено было сплошными рогатками.

Когда к сей крепости путники приблизились, то Сильвестр, обратясь к Сидору и Охриму, сказал:

— Братцы! По нашему уставу, я не смею вести вас далее без дозволения атамана: побудьте здесь, а я постараюсь возвратиться поскорее.

Он с сопутниками своими вошел за ограду, а посланники начали на досуге рассматривать стан. Многие из обитателей оного глядели любопытно на пришельцев, но видя, что они пришли с их братиею, не беспокоили их неуместными вопросами. Местах в пяти разведены были большие огни, у коих на треногах висели огромные котлы. Хозяева занимались различными потехами. Сильвестр воротился и объявил, что атаман еще со вчерашнего вечера с двадцатью храбрецами отправился в дальний поход на важный промысел и, вероятно, до будущего утра домой не будет.

— Однако старший есаул, из уважения к славному имени Гаркуши, дозволяет вам провести ночь в сем стане. Итак, милости просим. Мы вас сытно накормим, а вы переночуете в моей палатке с пятью подвластными мне богатырями.

Как сказано, так и сделано.

Глава 8 **Сватовство в лесу**

Едва занялась заря утренняя, как все становище зашевелилось и вскочило на ноги. Громкие голоса людей, раздававшиеся с разных сторон, ржание коней, мычание быков и блеяние овец представляли из сего разбойничь-

его гнезда селение в дни ярмарки. Взошло солнце, Сидор и Охрим вылезли из своего шатра и увидели, что огни пылали во многих местах и готовился завтрак. Разбойники заняты были различными упражнениями: одни чистили ружья и пистолеты, другие оттачивали ножи и сабли, а некоторые, не имея за собой никакого дела, валялись на траве, курили трубки и — калякали.

Как уже всему стану известно стало, что в нем находятся два есаула Гаркуши, прибывшие от него послами к их атаману, то многие из шайки их окружали и почтительно приветствовали. Особливо есаулы весьма старательно расспрашивали о нраве и образе жизни Гаркуши, о законах, какие дал он обществу, и о способах, какими он ведет войну. Разумеется, что всякий посол всемерно должен стараться о возвеличении чести его пославшего, а посему и Сидор наговорил о Гаркуше столько необыкновенного, чудесного, что все слушатели разинули рты и притаили дыхание. Хотя они и по общему слуху удивлялись отважности, уму и счастью сего атамана, но, по словам Сидора, Гаркуша был отважнее Еруслана Лазаревича, разумнее Картуша и счастливее мальчика в семимильных сапогах.

Когда кашевары объявили, что завтрак готов, то есаулы-хозяева пригласили в кружок свой есаулов-гостей. Они уселись около огромного котла с кашею, приготовленною с бараниной и свиным салом. Сначала пошла кругом изрядной величины баклага, гостям поданы большие деревянные ложки, и все начали насыщаться.

Как скоро котлы и баклаги сделались пусты, то в некотором отдалении раздался пронзительный свист, а вскоре послышался пистолетный выстрел. Вся шайка вскочила на ноги, и в молчании — казалось — чего-то ожидали. Другой свист и другой выстрел. Разбойники стояли в прежнем положении. Третий свист и третий выстрел. «Наши, наши!» — воскликнули все и бросились за рогатку. В непродолжительном времени показалась ватага, человек из десяти состоящая. Домоседы встретили их радостным воплем и поздравляли с победою.

— Не очень радуйтесь,— сказал атаман: его сейчас можно было узнать по тому, что из всей шайки у него одного не было усов,— вы видите, что я привожу людей половиною меньше, нежели сколько повел на промысел. Нас так встретили, как мы никогда и не ожидали. Из се-

го основательно заключаю, что тут не без измены. Все меры приложу открыть преступника, и — о боже! — и адские мучения ничего не значат пред теми, какие ему назначу!

Он вступил за рогатку и, приметя незнакомых людей в Сидоре и Охриме, обратясь к старшему есаулу, спросил:

— Это что за пришельцы? Наружность их кажется мне подозрительною!

— Никак! — отвечал есаул.— Они честные и храбрые люди, ибо служат под начальством Гаркуши в почтенном звании есаулов и присланы от своего атамана к тебе с какими-то важными предложениями!

Атаман Олимпий приметно удивился.

— От Гаркуши — ко мне — с предложениями,— сказал он протяжно.— Какие же предложения может сделать мне атаман ваш? — спросил он у посланников.

— Великий атаман! — отвечал Сидор, распрямясь сколько ему было можно.— Дело, за которым к тебе мы присланы, такой важности, что можем сообщить о нем одному только тебе!

Атаман, опять осмотрев их внимательно, сказал:

— Хорошо! Я согласен! Но не спавши две ночи сряду и проведя полторы сутки в беспрестанных трудах и в движении, я имею нужду в отдыхе. Подождите в моем стане. Вы будете в обеденную пору исправно накормлены, а там я позову вас и выслушаю!

Сказав сии слова, атаман простился с есаулами и скрылся в шатре своем. Несколько за полдень Сидор и Охрим позваны были к атаману и нашли его лежащего на кожаном тюфяке, на траве разостланном. Всю домашнюю утварь составляли два ружья, три пары пистолетов, две сабли, два большие ножа и с десять деревянных обрубков, служащих на место седалищ. На сделанный ими поклон атаман привстал, сел на тюфяке и сказал ласково:

— Садитесь, паны, и объявите, в чем состоит предложение, которое через вас хочет сделать мне храбрый атаман ваш?

Пан Сидор разгладил чуб, протер глаз и, выставя правую ногу вперед, а правую руку подняв вверх, раздувши ноздри, произнес:

— Знаменитый атаман! Начальник наш атаман Гаркуша желает тебе здравия и долгоденствия! Он наслы-

шался о великих твоих подвигах и надеется, что и его дела не уклонились слуха твоего. Ты имеешь довольное число храбрых витязей под своим начальством, но и его дружина достаточна была — ты сам это неоднократно слышал — к разорению многих богатых хуторов, к наказанию панов их за гордость и бесчеловечие; она достаточна была — согласись, высокоименитый атаман, что ты с своею дружиною отнюдь не отваживался на подобный подвиг, хотя в военном деле упражняешься уже около пяти лет,— на осаду целого селения и на победу над оным! Уединясь на глубокую осень и на зиму в свою пустыню, которую некогда занимал ты со своим братством, мы предались покою после трудов летних, но душа Гаркуши не могла терпеть праздности: с позволения его мы — есаулы — каждый день по нескольку часов должны были проводить в его доме, где беседовали о подвигах, какие намеревались предпринять с наступлением весны.

Наконец солнце стало ярче, дни яснее и продолжительнее. Снега начали таять, и на проталинах запели птички. С обрубистых краев нашего становища полилась вода в тысяче местах и, сливаясь в малые ручьи, погружалась в озеро. Несколько дней назад поутру Гаркуша велел позвать к себе меня и сего друга Охрима. Когда явились мы, он сказал: «Братья! В прошлогодний поход мы довольно отличились, но могли бы отличиться и более, если бы посильнее были. Хотя я надеюсь, что в этом со временем, наверно, успеть можно, но вы знаете, сколько я нетерпелив, и ждать долго приближения времени к отличию — для меня несносно! Думая о сем и день и ночь, я — к услаждению моего сердца — нашел, наконец, средство, по коему можем теперь же силу свою удвоить. Вы все знаете, что в сих сторонах, и всего вернее, что в сем же лесу, обитает многочисленная дружина, предводимая атаманом — девицею Олимпией! Отправьтесь как можно скорее к ней, объясните о моих мыслях и желаниях, предложите ей мою руку и собранные богатства и просите о согласии на соединение обоих храбрых обществ. О! Если только сия мужественная девица склонится на мое предложение, то чего мы с нею не наделаем! Теперь трепещут нас хутора и села, а тогда затрепетали бы целые города с пригородками!» Что скажет мужественный атаман, прекрасная Олимпия, на сие предложение?

Сидор низко поклонился, умолк и багровый глаз свой уставил на лицо Олимпии. Она довольно времени погру-

жена была в задумчивость, потом, тяжело вздохнув, встала и, подошед к послам, произнесла:

— Чудное дело, сколько я ни старалась скрывать пол свой, эта тайна дошла уже до ушей Гаркуши! Не скрою, что предложение вашего атамана действовать соединенными силами — мне нравится; но сделаться его женою — это сопряжено со многими затруднениями! Ах! Было время, и время пагубное, когда я испытала тяжкое иго рабства, испытала насилье и бесчеловечие, и потому настоящая свобода для меня прелестна. Впрочем, я уверена, что Гаркуша, если бы когда и увидел меня своей женою, никогда не покусится и подумать, что я раба его. В таком важном случае есть о чем подумать! Прежде, нежели скажу что-нибудь решительное, мне нужно видеться и поговорить с Гаркушей. Если он поклянется устоять и сохранить условия, какие предложу ему, то, может быть, и я упрямиться не стану. Я позвала бы его сюда, но некоторые из дружины много раз уже делали мне подобные предложения, итак, в глазах их производить свадебные переговоры значило бы — по моим мыслям — оскорблять их нежность и разборчивость. Если чему быть, так пусть сбудется то в его стане. Я весьма хорошо знаю дорогу и сказываю, что если теперь отправиться, то до самой ночи не поспеем на место, а это было бы неприлично. Итак, переночуйте здесь, и рано поутру пустимся в путь; между тем я сделаю нужные распоряжения насчет моей отлучки. Вы угощены будете по-пански. Прогуливайтесь по стану и даже за оградою, но далеко не заходите, ибо места совершенно вам незнакомые и дело идет к ночи. О предложении вашего атамана настоящей истины никому ни слова. Завтра вы будете призваны в шатер мой! До свиданья!

Глава 9 **Встреча невесты**

Паны есаулы Сидор и Охрим, вышед из ставки атамана Олимпии, встречены были всеми чиновными людьми ее дружины. Все любопытствовали знать, о чем шло дело с атаманом? Посланники были так хитры, что отбояривали всех объявлением о намерении своего атамана, соединя

оба ополчения, напасть на город, который к тому способнейшим покажется, для чего и нужно сделать особенное распоряжение, и что их атаман Олимпий отложил дать решение свое до утра на другой день.

Есаулы и отважнейшие из шайки Олимпииной ахнули, услыша о таком ужасном намерении, каковое им до сих пор и в голову не входило. Посланники это приметили, сейчас приняли на себя надменный вид, раздули щеки и ноздри, и все начали ласкаться к ним, как к людям особенного достоинства. Всякий из есаулов наперерыв желал иметь их на ночь в своей палатке; но они, из благодарности к первому из шайки сей знакомцу, Сильвестру, склонились на его усиленную просьбу и шатер его назначили местом своего ночлега.

Едва взошло солнце, Охрим пробудился и, не видя подле себя товарища, почел, что он вышел за какою-нибудь нуждою. Одевшись, он сам вышел из шатра, но, к великому удивлению, нигде не видал Сидора. У кого из шайки о нем не спрашивал, всякий отвечал, что он лучше других должен о том ведать, проведя ночь в одной ставке. Вскоре нарочный позвал его к атаману, и Охрим пошел с крайним смущением, которого никак не мог рассеять и тогда, когда предстал к нему. Первый вопрос его был:

— Где же собрат твой?

— Ничего не знаю! — отвечал есаул печально.—Даже не знаю, что и думать!

Олимпия, помолчав несколько, сказала с улыбкою:

— Я догадываюсь, где он. Всего вернее, что усердный есаул, не дожидаясь твоего пробуждения, пустился к своему стану, дабы предуведомить атамана о моем прибытии. Я все приготовила к моему отсутствию дня на три или и более; ибо если предложение Гаркуши и не исполнится, то все-таки мне хочется познакомиться с Гаркушею и погостить у него несколько времени и, буде можно, перенять несколько отважных ухваток! Я из своих никого не беру, да и не нужно. Путь неближний. Подкрепим силы завтраком и пустимся в дорогу.

Когда мы в самом начале сей повести уведомили читателя о наружности и дарованиях Гаркуши, то справедливость требует хотя в нескольких словах показать, какова была его невеста. Кто может представить женщину около двадцати пяти лет, росту несколько выше обыкновенного для ее пола, с большими черными пламенными глазами, сверкавшими из-под густых бровей, с приятным лицом, но

выражающим гордость, самовластие и непокорность, женщину с широкими плечами, с возвышенной грудью, с полными крепкими руками — тот несколько представит в воображении своем атамана Олимпию.

Позавтракав по-разбойничьи, то есть наевшись на целый день, они оставили становище. Неудивительно, что Олимпия, прожившая в сих местах около пяти лет, весьма твердо знала дорогу; при всем том, когда прибыли они ко спуску в пустыню, солнце было уже почти на половине дневного течения. Охрим приметил, что грудь у Олимпии начала подниматься выше обыкновенного и загорелые щеки ее побагровели. Они спустились вниз и вступили в долину. Первый предмет, им встретившийся, было зрелище особенного рода. Вся шайка разделена была на пять ватаг, и впереди каждой стоял есаул ее. Сидор начальствовал передовою и, прохаживаясь рядом с атаманом взад и вперед, несмотря, что был об одном глазе, первый приметил прибытие желанной невесты, надвинул шапку набекрень, схватил атамана за руку, оборотил его к идущим и произнес громко: «Она!» — махнул рукою, и в тот же миг передовая ватага дала ружейный залп. Гаркуша, одетый в запорожское кармазинного цвета платье, опоясанный дорогою саблею, сняв шапку, пошел навстречу гостье. Залпы из всех пяти ватаг кончились, и начался беглый огонь из ружей и пистолетов.

Подошед к своей воинственной нимфе, Гаркуша произнес:

— Я считаю себя весьма счастливым, что вижу в сей прелестной области мужественного атамана — прекрасную Олимпию! Из сего доброго начала я дозволю себе предсказывать, что и конец надежды моей будет желанный!

— Я и сама не менее рада,— отвечала Олимпия, устремив на него пламенные глаза,— что имею случай видеть близ себя человека, которому во всей округе нет подобного в храбрости и замыслах.

После сих обоюдных учтивостей они обнялись по-братски и с нежностью поцеловались. Гаркуша, взяв гостью за руку, повел к жилищам, где увидела она на берегу пруда обширный шатер. Посередине оного стоял стол, прибранный на десять человек. Тарелки были оловянные, а ложки серебряные, что доказывало заживность, вкус и щегольство хозяина. Шайка, встречавшая гостью, расположилась позади шатра. Гаркуша с почтительной нежностью уса-

дил невесту за стол и сам сел подле нее. Есаулы уместились по обе стороны, и, к удивлению Олимпии, в скором времени уместилися противу их священник и дьячок. Пиршество было такое, какого ни у одного из окольных панов не бывало ни в именинные дни. Под конец, когда хозяин, взявши в руку серебряную стопу с наливкою, возгласил: «За здравие храброй Олимпии!» — шайка опять подняла пальбу и продолжала до тех пор, пока не встали из-за стола. Есаулы и прочие гости, чувствуя себя не твердыми на ногах, кое-как побрели к своим хатам, все со стола было собрано, разбойники расположились невдалеке на лужайке обедать и бражничать, и в шатре остались одни — жених и невеста.

Глава 10 Девка-витязь

Гаркуша, взяв Олимпию за руку и смотря на нее умильно, сказал:

— Храбрая девица! Если что-нибудь из военных дел моих дошло до твоего слуха, то ты везде со стороны моей видела быстроту и решительность в действиях. Мое всегдашнее правило было и будет, чтобы, если что доброе можно сделать сегодня, того отнюдь не откладывать до другого дня. Итак, любезная Олимпия! Если предложение, объявленное моими есаулами, тебе не противно, то зачем медлить? Священник с дьячком заманены в стан мой; скажи одно слово: «Я согласна!» — и мы в сию же минуту сделаемся мужем и женою!

— Гаркуша! — отвечала Олимпия, сжав его руку.— Я от природы чистосердечна, а теперь и подавно не имею надобности скрытничать. Итак, скажу, что по слуху о твоих успехах в своем звании я тобой пленилась, а теперь, видя и твою наружность, я одобряю прежние о тебе мысли. Однако можно быть хорошими знакомцами, мало зная один другого, но между мужем и женою—это не годится. Расскажи мне без всякой утайки главнейшие обстоятельства своей жизни; я сделаю то же; и если тогда признаем, что можем ужиться между собою, то я подам

тебе руку, и пусть священнослужитель благословит союз наш!

Гаркуша с удовольствием принял предложение и со всей искренностью рассказал важные случаи его жизни, или, лучше, случаи прошлых полутора лет, ибо до того времени жизнь его была так единообразна, как жизнь быка или барана, и Гаркуша не прежде проснулся от душевного сна, как увидя, что дьяк Яков Лысый тащит его за ворот из церкви, и почувствовав, что делает сие несправедливо и достоин отмщения. Олимпия слушала рассказ своего любовника с великим вниманием. Несколько раз она улыбалась, а еще чаще глаза ее воспламенялись гневом и щеки покрывались густым румянцем негодования и готовности к мщению. Когда Гаркуша дошел до настоящей минуты и замолчал, то Олимпия, взглянув на него пасмурными глазами, сказала со вздохом:

— Сколько я могу судить, ты ничего не сделал такого, за что бы могла угрызать тебя совесть: ты или защищался сам, или защищал других от злобы и насилия, наказывал беззаконных. Но со мною был один несчастный случай, который до самой могилы не перестанет терзать душу мою и приводить в содрогание сердце. Выслушай повесть мою и суди, могу ли я постоянно сохранить свое спокойствие и можешь ли ты быть счастлив в объятиях женщины, мне подобной?

Я родилась подданной богатого пана Гуржия, проживавшего на хуторе в двадцати верстах от ближнего отсюда селения. У пана все семейство состояло из одного сына Турбона, который был годами пятью меня старше. Когда я начала себя чувствовать, то, вместо того чтобы участвовать в играх равнолетних мне девочек, я вмешивалась в кучи мальчишек, ездила на них верхом или допускала на себе ездить, смотря на чьей стороне был выигрыш, а к вечеру, перед возвращением в домы, мы забавы свои оканчивали кулачным боем, и я нередко являлась к отцу и матери окровавленная, с общипанными волосами. Отец мой, походя нравом и ухватками на своего вздорного пана, был у него дворецким, следовательно, имел возможность удовольствовать свое и панское лихоимство, злость и прочие страсти. Он сквозь пальцы смотрел на сомнительное поведение жены своей, а моей матери, которая почти без всякого закрытия своевольно обходилась с паном, и по всему дому

носился слух, что в бытии моем дворецкий не имел ни малейшего участия. И действительно: пан одевал меня гораздо наряднее, нежели прочих девчонок, живших в доме; почти каждодневно призывал к себе, делал небольшие подарки, но вместе с тем и строгие увещания, чтобы не вмешивалась в игры совсем не девичьи. Он даже к словам присовокуплял иногда угрозы и побои, но ничто не помогало. Я терпеть не могла обходиться с девчонками и везде искала мальчиков, заводила между ими ссоры и драки и не могла налюбоваться, смотря на текущую из носов кровь и на клочья волос, летающих по воздуху. Иногда случалось, что они, проникнув мое лукавство, кидались на меня по два и по три. Я отнюдь не робела, встречала их храбро, и поволочка начиналась изрядная. Конечно, я возвращалась домой вся в крови, но и нахалы оставались не в лучшем состоянии.

Поверишь ли, Гаркуша, что такой род жизни провела я до девятнадцатилетнего времени. Тщетно мать — отца давно уже не было на свете — учила меня шить, прясть, вышивать,— я ничего понимать не хотела. Когда она подходила ко мне с поднятым кулаком, я вставала с лавки и также поднимала кулак. Что оставалось ей делать? Она обыкновенно жаловалась пану, я была призываема, получала добрые пощечины и палочные удары в спину, но это ни на минуту не переменяло моих поступков. Вместо того чтобы, получа достаточное истязание, с плачем воротиться в хату, я бодро выбегала на улицу и до тех пор бежала не останавливаясь, пока не нагоняла или не встречала какого-нибудь возрастного мужчины (с мальчиками давно перестала связываться), и тогда останавливала его или звонкою пощечиною, или исправною подзатыльщиною. Пока пораженный мог опомниться, я успевала наделить его дюжиною ударов. Я так прославилась уже по всему хутору удальством, что многие, почувствовав силу кулаков моих, бросались от меня бежать, как от бешеной собаки, но многие, стыдясь поддаться девке, приосанивались, между нами начинался жестокий бой, крик и брань, и все продолжалось до тех пор, пока кто-либо из проходящих не разнимал нас, кидая издали в лица пыль, грязь или снег, что случалось, судя по времени года. Мать моя, надеясь, что может быть, я, живучи между комнатными девушками, мало-помалу отстану от своих воинственных привы-

чек и стану походить на настоящую девку, попросила своего благодетеля мне назначить небольшой чулан в панском доме, куда я и переселилась.

Глава 11 Злодеяние

— За шесть лет перед сим, также в весеннюю пору, пан Гуржий разболелся и посланный в город нарочный привез сына его Турбона, который служил писцом в сотенной канцелярии, и хотя он почти каждогодно на несколько дней навещал отца, но я, живучи в своей хате, не имела ни разу случая вблизи его видеть. Теперь зато виделась почти беспрестанно, и по прошествии двух недель бытности его на хуторе я заметила, что он отличает меня от прочих дворовых девок. Однажды, встретясь со мною в дверях, он стал впереди и с улыбкою сказал:

— Олимпия! Я наслышался, что ты храбрая и сильная девка! Это мне приятно! Я также детина не трус и не бессилен, так мы легко поладим. Дай только мне уложить старика в могиле!

После сих благопристойных речей он с наглостью схватил меня за руку, но я сурово рванулась, отскочила назад и ушла прочь.

Вскоре после пасхи пан Гуржий упокоился. В доме поднялась суматоха по случаю приготовления наряда, в коем не стыдно было бы мертвецу опуститься в землю. Двое нарочных посланы в город за гробом и за духовенством. В сумерки того же дня, видя, что комната, в коей лежал покойник, весьма освещена, мне захотелось посмотреть, каков он и во что одет. Вошед туда, я увидела одного Турбона, который, поправляя на отце саван, насвистывал казацкую песню. Усмотрев меня, он сказал весело:

— А красавица! Ты пришла полюбоваться, глядя на старого мертвого своего пана? Пустое! Гораздо выгоднее любоваться, смотря на живого и молодого!

Тут он подошел ко мне с распростертыми руками и хотел обнять, но я так сильно толкнула его в грудь, что

он отлетел на несколько шагов назад и затылком стукнулся об стену. Оправясь от удара, он поправил взъерошенный чуб и смотрел на меня зверски, однако скоро улыбнулся и сказал:

— Олимпия! Ты весьма непристойно шутишь с своим паном! Тебе нельзя не знать, что здесь на хуторе есть конюшня, а в ней — арапники!

С сими словами он опять подошел ко мне с прежниним намерением, но я такую отвесила ему пощечину, что он попятился в правую сторону и, не удержавшись на ногах, упал боком на труп отцовский. Не дожидаясь, когда он оправится, я вышла, уединилась в свой чулан и проспала до утра весьма спокойно.

На другой день прибыли из города посланные, привезли для пана последний дом, а для провожания его до землянки священника и дьячка. Все было сделано надлежащим порядком, пан Гуржий засыпан землею, Турбон сытно угостил прибывших посетителей и к вечеру остался в панском доме один с слугами и служанками, для которых назначен был праздничный ужин, за коим господствовало изобилие в пище и напитках. Заступивший место отца моего дворецкий принудил меня выпить два кубка меду. Вскоре почувствовала несбыкновенную наклонность ко сну, ушла в свой чулан и, не успевши даже порядочно раздеться, бросилась на постель и сейчас же заснула крепко-накрепко.

Не знаю, долго ли пробыла в сем положении, только начала чувствовать, что меня душат. Через минуту я поняла — даже во сне — что не душат, а, напротив, ласкают особенным образом. Чувствуя причиняемое мне насилие, я стенала, но не могла проснуться, так сильно было действие сонного зелья, данного мне в меду проклятым дворецким. Наконец я пробудилась от сна, но — увы! — когда злодеяние в полной мере было уже исполнено. При свете горящих свеч я увидела гнусного Турбона. Первое ощущение мое было бешенство; первое стремление задушить его или, по крайней мере, вырвать глаза, но, ах! Я ощутила, что руки мои и ноги крепко привязаны были к четырем концам постели. Я прилагала все усилия, чтобы разорвать свои оковы,— тщетно! Мое неистовство забавляло злодея.

— Олимпия! — сказал он с улыбкою.— Ты девка в поре, а столько не сметлива! Вместо того чтоб [проводить] дорогие часы сии с паном в удовольствии, ты су-

масшествуешь, но поверь, что сим увеличиваешь только мои утехи! Скрипи себе зубами, проливай слезы злости, вертись во все стороны, это, право, по новости своей весьма забавно!—Сказав сии слова, он сошел к постели, приблизился к столу, осушил целый кубок вишневки и потом, наливши в другой раз, подошел ко мне и сказал:—Суровая Олимпия! Я за твое здоровье выпил, выпей и ты за мое!

— Чудовище! — вскричала я с яростью и стиснула губы и зубы.

— О! — говорил он, поставя кубок на постели. — Есть средства укрощать зверей самых сердитых!

Он отошел к окну и в ту же минуту возвратился с деревянным клином, и сколько я ни усиливалась зажимать зубы, но не могла, он открыл мне рот столько, что можно было цедить в него жидкость хотя из бочонка. Тогда он начал вливать в меня свою вишневку, и я должна была глотать, если не хотела захлебнуться. Когда в кубке не осталось уже ни капли, то он поставил его на стол, а сам по-прежнему обратился ко мне. К чему я, несчастная, должна была обратиться, чтобы избежать дальнейшего мучения? Видя, что усилиями ничего не могу сделать, я прибегла к просьбе и со слезами сказала:

— Беззаконник, богоотступник, изверг! Разве не внушали тебе с малолетства, что душа всякого покойника до шести недель по кончине, не оставляя земли, блуждает около своего жилища? Посуди, что должна чувствовать душа отца твоего, видя такое твое неистовство! Что будет с тобой, если он каждую ночь станет тебе являться или душить тебя?

— Глупенькая! — отвечал Турбон насмешливо, продолжая ласкать меня.— Если душа отца моего затеет мне явиться, то я в городе отслужу по нем панихиду; а буде начнет озорничать, то велю на могиле его вколотить целую осиновую сваю!

Что мне отягощать тебя,— продолжала Олимпия, взяв Гаркушу за руку,— описанием мерзостей, коим ночь та была свидетельницею? Не только вся ночь, но и большая часть утра проведена в одном и том же беззаконии. Второй кубок влит в меня также насильственно, как и первый, но третий, четвертый и так далее пила я добровольно, испытав, что сопротивление лишит меня зубов, а пользы нисколько. Наконец мы оба от утомления и силы выпитой вишневки совершенно обессилели. Турбон,

сколько ни был нетверд на ногах, мог еще развязать мне руки и ноги и, идучи около стены ощупью, вышел из комнаты и запер за собою двери. Я скоро погрузилась по-прежнему не в сон, а некоторого рода бесчувствие.

Глава 12 **Порок приманчив**

Проговоря слова сии, Олимпия бросила испытующий взор на своего собеседника и, увидя во взорах его и во всем лице признаки злобы, бешенства и жажду крови, упала на грудь его и обняла с горячностью.

— Видишь ли, друг мой,— говорила она томным голосом,— до чего довели нас злые, развратные люди — тебя пан Аврамий Кремень, а меня пан Турбон Гуржий! Слушай далее и услышишь больше.

Когда я несколько опомнилась от пагубного самозабвения, то приподняла голову, привстала и, сидя на постели, взглянула в окно. Солнце было уже гораздо за полдень. Я спустилась с постели и хотела подойти к окну и, открыв его, вздохнуть свежим воздухом; но колени мои затряслись, голова закружилась, и я, не могши вступить вперед ни шагу, опять опустилась на постель. Тяжкие вздохи меня задушали, и горькие слезы лишали зрения. Вдруг дверь моего чулана отворяется, и входит жена дворецкого.

— Здравствуй, Олимпия! — сказала она весело, садясь у ног моих.— Я раз двадцать прислушивалась у сей двери, но, ничего не слыша, не смела войти, ибо пан Турбон, уезжая в город, именно приказал мне иметь о тебе попечение и ничем не беспокоить, а довольствовать, чего только душа пожелает. Какой же нежный обед для тебя приготовлен! Как, право, счастлива ты, Олимпия, что, даже будучи девкою, по одной только наружности удостоилась такой чести от молодого пригожего пана. Много у нас в доме девушек, которые по всему могут назваться девушками, а он на них и не смотрит. Такой затейник!

О! Если б была я на ту пору в обыкновенном своем положении, дорого бы сей бездельнице стоили бесчестные слова ее. В знак негодования и презрения я отворо-

тилась к стене и не отвечала ни слова. Долго болтала несносная баба всякий вздор, но, не получая никакого ответа, вышла и по прошествии некоторого времени воротилась в сопровождении одной горничной девки, принесшей обед. Склонясь на их убеждения чего-нибудь отведать, а к тому же почувствовав некоторый позыв на еду, я попросила придвинуть стол к постели и подкрепила пищею истощенные свои силы. Что распространяться в рассказывании о несносном состоянии, в каком я находилась. Коротко скажу, что по прошествии трех суток я столько оправилась, что могла довольно твердо ходить. Пан Турбон не возвращался еще из города, и я не прежде его увидела, как по прошествии двух недель после пагубной ночи. День клонился к вечеру. Лишь только услышала я на дворе стук проезжавшей повозки, то бросилась в свой чулан и заперлась. По прошествии довольно времени я послышала у дверей моих стук, но не дала ответа. Стук повторен с удвоенною силою,— я молчала. Тут, по некотором молчании, Турбон сурово воззвал:

— Олимпия! Сейчас отопрись, или я велю выломать дверь! Ты меня довольно знаешь!

Видя, что против властного изувера упорством ничего не сделаю, я отперла дверь и отошла к окну. Турбон вошел, сопровождаемый двумя дюжими слугами, несшими большие корзины. Пан, севши на лавке подле меня и видя, что слезы из глаз моих капали на пол, ласково сказал:

— Перестань печалиться, Олимпия! Я тебя отлично люблю и впредь любить не перестану, если ты добровольно соответствовать будешь моим желаниям. Посмотри сии корзины, и ты найдешь в них довольно разного рода материй — бумажных, шелковых и шерстяных. Я привез с собою из города портного жида, который с завтрашнего дня и начнет шить для тебя обновы. А между тем я сейчас пришлю к тебе несколько пар праздничных платьев моей матери. Сего вечера ты ужинаешь у меня. Прощай покудова! — Он встал, обнял меня и поцеловал.

Я стояла, как окаменелая, и не понимала ни одного своего чувства. Это его более ободрило. Он прижал меня к груди и поцеловал меня с нежностью. Видя, что я стояла в прежнем положении, он сыпал — так сказать — поцелуями и не прежде унялся, как я, легонько высвобо-

дясь из рук его, отступила назад. Тогда он, пожав мне руку, вышел.

Я села на лавку и задумалась, но ничего решительного не могла придумать. «Что мне делать? — говорила я сама себе.— Сопротивляться? Конечно, можно,— но только до некоторого времени, а все кончится тем же, чем началось! Как может бедная подданная девка избегнуть хитростей или даже и явного насилия от своего пана? Не в полной ли я состою у него власти?» Я опять задумалась, но вскоре ободрилась и сказала вслух: «Что ж такое? Если это будет грех, то не я в нем виновата! Кому приятно страдать и мучиться, а пан над телом моим имеет полную волю! Не лучше ли покориться своей доле и пользоваться на часок довольством?»

Остановясь на сей отрадной мысли, я успокоилась, вздохнула в последний раз, отерла последнюю слезу и подошла к корзине с подарками. Там нашла я несколько кусков разных шелковых и других материй и мелких золотых вещей. Не успела я налюбоваться сими гостинцами, как в каморку мою вошла Лукерья, пожилая девка, прислуживавшая покойной панье и ею любимая.

— Олимпия! — сказала она, положив на лавку узелок.— По приказанию молодого пана Турбона я с сей минуты стану тебе прислуживать, как прежде служила матери его до самой ее кончины. Пойдем теперь же в овин, где для тебя приготовлено довольно горячей и холодной воды. Ты более двух недель не радела о чистоте, а знаешь, как это вредно!

Я не противилась, и мы с Лукерьей отправились на место очищения. Она несла с собою узел. Дело известное. Меня обмыли со всевозможным тщанием с головы до ног, одели в сорочку и ситцевое платье покойной пани, в ее чулки и башмаки, и, в сем торжественном облачении вышед из овина, увидела, что глубокие сумерки покрывали уже землю и что в панской спальне мелькал огонь. Едва вступила я в сени, как жена дворецкого встретила меня ласково и, взяв за руку, проводила в опочивальню пана. Он казался обвороженным, видя меня в том уборе. Коротко да ясно: мы отужинали вместе, и я не прежде проснулась, как рев пастушьей трубы, собирающей вверенное ему стадо, раздался несколько раз вокруг двора панского,

Глава 13 Сего и ожидать должно было

— В упоении чувств протекло более полугода, и я к неописанному ужасу удостоверилась, что во внутренности своей ношу залог преступления. У меня потемнело в глазах, и холодный пот полился со лба. Известно, что человек, видя приближение к себе какого-нибудь несчастья, старается всячески себя обманывать и не прежде удостоверяется в бедствии, как когда оно сядет ему на шею. Так и со мною. Мне хотелось уверить себя, что приметы мои обманчивы и что когда-то нечто подобное случалось со мною и прежде. Я не говорила никому о своих догадках, и так прошло около двух месяцев. Тогда-то нечего было уже сомневаться или догадываться. Движение младенца было весьма ощутительно. С горьким плачем я уведомила о сем Турбона, он, обняв меня с горячностью, сказал:

— О чем же печалишься? Разве я так беден, что дитя может быть для меня в тягость? Успокойся, Олимпия! Посмотрим, что бог пошлет нам, а там и подумаем, каким образом устроить счастье будущего нашего гостя или гостьи.

Я успокоилась и с того времени равнодушно смотрела на работу Лукерьи и двух горничных, занятых приготовлением белья для дитяти. Время текло в приятном единообразии, и хотя тогда была весьма суровая зима, но я не чувствовала ее жестокости. Быв одета в богатую заячью шубу, я в хорошие дни прогуливалась по хутору с кем-либо из дворовых девушек, ибо мне казалось стыдно и совестно гордиться своим преимуществом. Турбон нередко уезжал на охоту, или к кому из окольных шляхтичей, или в город. Как по введенному обычаю и дом наш был весьма нередко посещаем, а мне неприлично было казаться на глаза посторонним, то чуланчик мой прибран довольно нарядно, и главное украшение его составляла пышная постель покойной паньи. Надо сказать правду, что хотя я и лишена уже была главного удовольствия бороться и драться с мужчинами, однако же проводила время свое весьма нескучно.

Так прошло окончание зимы, так прошла весна и начало лета. Я чувствовала, или, лучше сказать, верила многоопытной Лукерье, что месяца через два, или ближе, разрешусь от удручающего меня бремени. Турбона не было дома уже недели с две, и как он — по словам его — щадил мое положение, с некоторого времени меня уже не беспокоил, то я мало и заботилась о долговременной его отлучке.

В одно прекрасное утро в начале июня, когда я, освободясь от сна, нежилась в мягкой постели и любовалась трепетанием дитяти, вдруг послышала в дому сильную тревогу, громкий говор людей и всеобщую суматоху. Я не иначе сочла, как что Турбон из поездки своей возвратился, и потому ожидала его к себе с полунетерпением. Однако вместо пана быстро вошла ко мне Лукерья с изменившимся лицом и, подошед к постели, сказала:

— Ах, милая Олимпия! Что я должна сказать тебе? Весьма худые вести! Собери врожденную тебе крепость телесную и душевную! Знаешь ли что?

— Ах! Говори скорее,— сказала я вполголоса, севши на постель.— Что еще за новое бедствие мне угрожает? Я ко всему готова!

— Милая дочь моя! — продолжала Лукерья со вздохом.— Правду нам, девкам, твердили ежечасно матери и бабки, что панская к нам любовь мягче вешнего снега. Сейчас растает и наделает только грязи. Ты слышала теперь возню в сем доме: это был знак, что привезли приданое и его по удобности размещают, ибо наш пан за неделю перед сим женился на какой-то вдове Евфросии и к вечеру будет сюда со всем новым родством и знакомыми. Пан Турбон хочет, чтоб ты с получения о сем вести тотчас из панского дома перебралась в хату к своей матери, причем дозволяется тебе взять с собою все, что ты получила от пана во время годичного с ним знакомства!

О Гаркуша! Мне показалось, что земля подо мною расступилась и дитя, во мне трепетавшее, превратясь в тяжелый камень, тянет меня в бездонную пропасть. Однако ж — благодарение небу! Я недолго пребыла в сем адском положении.

Бодрость моя возобновилась: гнев и мщение волновали грудь мою, и я, скрежеща зубами, вскочила с постели, накинула на себя прежнее тиковое платье и босыми ногами бросилась вон из гибельного дома. Мать

моя, услужливыми людьми еще прежде обо всем уведомленная, встретила меня с рыданием и, повиснув на шее, возопила:

— Ах, Олимпия! Ах, дочь моя! Что из нас будет?

Не отвечая ни слова — ибо я не в силах была разнять челюстей — я вырвалась из рук ее, вбежала в светелку и кинулась на скудную постель.

Глава 14 Важный оборот в деле

Пробыв довольно долго в полубесчувствии, я, наконец, пришла в себя, и, размыслив, что сего рано или поздно, а ожидать надобно было, я несколько утешилась, привстала и немало удивилась, увидя на полу три большие коробки, а мать свою, сидящую на полу и с довольным видом выкладывающую из них мое белье, лучшие платья и разные золотые украшения, коими даровал меня Турбон при всяком возвращении из города. Это привело меня снова в неописанный гнев; я вскочила с постели, бросилась в сени и, возвратясь с топором, намеревалась все вещи превратить в мелкие лоскутья. Мать, бросясь ко мне на шею, вскричала:

— Безумная! Что ты хочешь делать? Если эти вещи тебе не надобны, то они мне пригодятся! Кому угрозишь ты, причиняя сама себе убыток, и притом добровольно? По милости покойного пана я запаслась порядочным достатком, который от продажи сих украшений еще умножится. Здешний дворецкий мне приятель и по моей просьбе назначен в сию должность на место покойного отца твоего. Через него выпрошу я, чтоб нам отвели хату вне панского дома. Живущий в ближнем селе олупанок[1] Захар, не один раз будучи свидетелем твоей храбрости, пленился тобою и охотно на тебе женится, как скоро сделаешься свободна от двух тяжестей, то есть от Турбона и дитяти. Это он часто мне сказывал. Посуди, как это хорошо будет! Турбону должно быть стыдно, если не отпустит тебя на волю; ежели ж он такой бездельник, то я за

[1] Шляхтич, не имеющий крестьян, то же, что однодворец. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

тебя и за себя внесу выкупу, сколько ему угодно, ну хотя бы пятьдесят рублей!

Говоря сию речь, мать укладывала имение мое в свои сундуки, а я, сидя на лавке у окна, неподвижными глазами смотрела на двор. Мать собралась и пошла в панский дом и скоро возвратилась. Пришла обеденная пора, и я по просьбе матери несколько поела. С каждым проходящим мигом я делалась покойнее, а к вечеру довольно хладнокровно слушала стук колес, а после смотрела на въехавшие колымаги и нарядные повозки. Правда, что сердце мое трепетало, когда Турбон вышел из колымаги и стал на крыльце с молодою женою, но оно успокоилось, когда они скрылись в доме, и я с некоторым уже любопытством рассматривала приехавших гостей, жен их и детей. В самые сумерки вошел к нам дворецкий с веселым видом. Положа перед матерью на стол изрядной величины кожаный мешок, он сказал:

— Это все серебряные деньги, и пан Турбон дарит его вам обеим за оказанные услуги — одною отцу, а другою сыну. Однако благодеяния его сим не ограничатся. Дня через два или через три, когда поразъедутся гости, он велит лучшую хату на хуторе очистить для вас и постарается — сколько теперь ему можно будет — сделать жизнь вашу веселою. Вам в новом жилище прислуживать будут работник и работница. Прощайте!

Мать моя с восхищением считала и пересчитывала деньги и не могла довольно прославить щедроту панскую. Три дня прошли в обыкновенных занятиях, то есть: я спала, сидела у окна или бродила из светелки в кухню и обратно, ела и опять спала; мать поутру стряпала, а после обеда работала иголкою. Исстари заведенное обыкновение с панской кухни приносить в нашу хату говядину, домашних птиц и вообще все съестное и теперь исправно было исполняемо, с тою разницею, что прежде делалось было открыто, а теперь весьма скрытно, и только в глубокие сумерки нам доставляем был запас для будущего дня. Через приносившего мы узнали, что наша панья была безобразная, злая, своенравная вдова, но зато весьма богатая. Это решило Турбона принять ее руку, ибо она сама начала за него свататься в отмщение детям за то, что сын тайно женился на самой бедной шляхтянке, а дочь также тайно вышла замуж за молодого есаула из полупанков. Мало-помалу гости и гостьи разъехались, и к исходу третьего дня в доме, кро-

ме хозяев и служителей, никого не осталось. Еще прошли три дня, но мы о выводе нас из панского двора ничего не слыхали. Около полудня на третий день пришедший дворецкий объявил с печальным видом, что он теперь ничего более в доме не значит. «Сегодня поутру,— говорил он,— когда уже все готово было к отъезду наших панов для посещения всех тех, кои были у них на свадьбе и после здесь гостили, панья сделалась вдруг нездорова, и до такой степени, что слегла в постель. Что оставалось делать пану Турбону? Он сел в повозку один — и поехал. Как скоро панье сказано было, что повозка скрылась уже из виду, то панья, проворно соскочив с постели, позвала меня, потребовала ключей и велела следовать за собою с одним из пожилых служителей, привезенных еще в числе прочих из своего поместья. Мы осмотрели кладовые и погреба, и при взгляде на каждую вещь панья ахала и качала головою. Тут уже почувствовал я, что дело добром не кончится. По возвращении в хоромы я нашел в столовой комнате всех слуг и служанок, половину коих составляли приехавшие с нею. «Рабы и рабыни! — воззвала панья, звеня ключами.— Обозрев домашнее устройство моего мужа, я нашла его в самом жалком положении, а всему причиною то, что Турбон, будучи еще молод и неопытен, оставил в качестве дворецкого сего плута, бездельника, расточителя, которого в сию важную должность выбрал старый глупый отец его. Я избираю Луку (продолжала она, указывая на сопутствовавшего нам при осмотре) в сию должность. Повинуйтесь все приказаниям его, как моим собственным, ибо он будет передавать вам мои повеления!» Она дала знак, и все разошлись, а я прибрел к вам, чтобы о сей новости уведомить и сказать, что вы уже не можете ожидать от меня ни малейшей помощи».

Глава 15 Несчастная

— Едва он окончил слова сии, как дверь быстро отворилась и в комнату вошла незнакомая панья в сопровождении трех дюжих слуг. Она была высокого роста,

смугла лицом, имела впалые глаза, блестящие огнем злобы и неистовства. Я сейчас догадалась, что это пугалище была наша панья Евфросия, и из почтения привстала с лавки. Осмотрев меня внимательно, и в особенности мою дородность, она обратилась к прежнему дворецкому и, по-видимому холоднокровно, спросила:

— Ты, голубчик, зачем здесь?

Бедный служитель оторопел и отвечал одним молчанием.

— Вижу,— говорила панья с злобной улыбкою,— что ты здесь заговорился до того, что забыл и выход. Укажите дорогу сему доброму человеку!

Тут мгновенно двое слуг бросились на дворецкого, впились руками в его чуб и поволокли к дверям, а третий со всего размаху бил кулаками марш по спине его. Страдалец вопиял изо всей силы, но сей торжественный ход не прежде кончился, как выволокли его из сеней во двор, где, дав несколько пинков, предоставили ему на волю бежать или остаться на месте, а сами возвратились к нам в светелку. Сердце мое трепетало от негодования, я смотрела на злобную женщину с ужасом и омерзением.

— Так это та ведьма,— воззвала она, указывая на меня пальцем,— которая околдовала дурака Турбона, нажила от него прибыль, расточала его имение и верховодила в доме, как законная жена и урожденная шляхтянка! О! господи! Долго ли попустишь ты греху и несчастью возносить кичливый рог свой? Как дерзнула ты износить платье покойной паньи твоей? Как дерзнула ты, нечестивая, спать на ее постели? Как дерзнула ты — я начинаю задыхаться от праведного гнева и бешенства! Поступите с сею беззаконницею так, как я приказала!

Тут трое слуг возвысили руки, вооруженные нагайками, и со всех сил поразили меня по чему ни попало. Сначала глаза мои потемнели, все существо взволновалось, но — благодаря бога — я в ту же минуту опомнилась, а особливо получа вторичные удары. Я как отчаянная бросилась на одного из бездельников, вырвала из рук его нагайку и, вскричав:

— Безбожная панья, чертоподобная Евфросия! Неужели ты ни за что считаешь терзать незащитную? — с сими словами я — сколько было в руке моей силы — огрела ее нагайкою по макушке, в другой раз, в третий — и она с ужасным воплем и воем опрокинулась на землю.

— Убейте до смерти сию злодейку,— вопияла она, скрежеща зубами и катаясь по полу,— растерзайте ее на части; я за все отвечаю!

Видя, что мне не житье там более, я распрямилась (несмотря что удары нагаек сыпались на меня градом), перекрестилась перед образом, поклонилась рыдающей, отчаянной матери и — побежала. Мучители гнались за мною, произнося наглые насмешки, ругательства и не переставая поражать нагайками. Уже далеко отбежала от хутора, но они от меня не отставали и, может быть, не унялись бы до ночи, если бы не увидели ехавшего вдали какого-то пана с псарями. Это остановило бесчеловечных, и они поспешно обратились к хутору, а я, страшась кому-либо показаться на глаза в столь расстроенном виде, бросилась в сторону и, залезши в высокую рожь, легла в борозде. Пан проехал мимо с своим людством, и я несколько успокоилась. Тогда первые мои мысли были: «Что я? Где я? Куда я?» Все соединенные чувствования души и ощущения сердца ответствовали: «Ты несчастная! Ты на распутьи без пищи и покрова! Одна судьба знает будущие пути твои!»

Став на ноги, я обозрелась вокруг и, нигде никого не видя, пустилась далее. На дороге встретила я хутор, там село, там еще хутор и не решилась никуда зайти, стыдясь представить из себя нищую, когда незадолго была настоящею паньею. По случаю — на дороге нашла я на целое семейство, собиравшее на ниве горох. Я отнеслась к сим добрым людям о своей крайности и получила целый хлеб, кусок свиного сала и несколько луковиц. С сим запасом пустилась я далее и продолжала путь до глубокой ночи, не зная сама, где и чем окончится мое путешествие. Заночевала я в одном перелеске, в густом орешнике. На другой день рано поутру отправилась я в дальнейший путь, несмотря, что черные тучи покрывали все небо. Встретив при дороге большое село, я только напилась воды из протекавшей там речки и прошла мимо. До самых сумерек брела я, и ноги стали отказываться. Вдруг полился дождь, засверкала молния, и раздались ужасные удары грома. Я была почти в отчаянии и если бы в то время встретила какой-нибудь бездонный буерак, то непременно бы в него стремглав бросилась. К особенному моему счастью, случилось, что я находилась тогда при входе в сей лес. Видя его чащу, необозримость, я произнесла: «Слава богу! Здесь умру я без свидетелей!»

Перекрестясь, я пошла напролом. Дождь — по густоте дерев — не столько уже меня беспокоил, но блески молнии и удары грома постепенно увеличивались. Ужасный мрак покрывал небо и землю, платье мое на каждом шагу трещало; ветви били меня по лицу; кровь, смешавшись с дождевою водою, с потом и со слезами, ручьем текла по щекам моим, но я пробиралась далее и далее. Вдруг почувствовала я,— при сей мысли и теперь еще дрожь разливается по всему телу и рассудок теряется,— вдруг почувствовала я приближение родов! Ноги мои подогнулись, и я опустилась на траву под ветвистою елью. В сии решительные минуты я занята была двумя предметами: читала вслух молитвы, какие знала, и предавала проклятию себя и виновника настоящего моего злополучия. Несколько времени сносила я несказанные мучения и, наконец, родила. До сих пор сама не знаю, какого пола был младенец. Едва раздался в окрестности болезненный вопль несчастного дитяти, я наполнилась незнакомым дотоле мне бешенством и отчаянием, привстала и произнесла: «Бедное, отверженное небом творение! Зачем явилось ты на свет? Что я теперь буду с тобой делать? Не гораздо ли лучше не существовать тебе, нежели провождать такую же презренную жизнь, какую провождает злополучная мать твоя? Мати божия! Прости мое невольное прегрешение!» С сими словами я схватила кричащего младенца на руки и — в один миг задушила!

Гаркуша побледнел, и глаза его помутились. Он молча склонил голову на обе руки и оперся на стол; Олимпия, унылая, трепещущая Олимпия приняла такое же положение. Глубокое молчание господствовало в шатре. Одни слезы, текущие сквозь пальцы, показывали, что они — не два оледеневших трупа!

Глава 16 От первой встречи — все

Мало-помалу ужасное волнение крови у жениха и невесты начало умаляться. Гаркуша первый раскрыл глаза

и, устремив их на несчастную, не мог удержаться от содрогания. Она лежала грудью на столе и — стенала.

— Милосердный и правосудный боже! — сказал атаман вполголоса.— Ты видишь мучение твоих творений — сжалься над ними! Так, Олимпия! Ты имеешь основательную причину горько плакать! Много пролил я крови человеческой, но клянусь, что совесть меня не зазирает, ибо кровь та была — кровь преступников и губителей; но лишать жизни творение столь невинное — о, Олимпия! Чувствую, сколь положение твое было ужасно, и удивляюсь, как не пала ты под ударами бедствия, тебя постигшего!

Олимпия навзрыд рыдала, и Гаркуше немалого труда стоило сколько-нибудь ее успокоить. Когда открыла она глаза и распрямилась, то Гаркуша, взяв ее за руку и обняв с умилением, говорил:

— Ты знаешь, что я человек неученый; но по особенному содействию промысла уже более полугода имею в стане своем преученого человека, которого за сие возвел в почтенное звание есаула, удостоил своей доверенностью и каждодневно пользовался его разумными суждениями. Его видела и ты, милая Олимпия, в виде моего посла к тебе с одним глазом во лбу и с горбом на спине. От него-то понабрался я довольно познаний и теперь скажу тебе, что хотя грех, тобою сделанный, весьма велик, но он был непроизволен, и если бы за день перед тем бесчеловечная Евфросия так безбожно с тобою не поступила, то и ты не имела бы побуждения лишать жизни создание, от тебя же жизнь получившее. Я совершенно извиняю твой отчаянный поступок, ибо уверен, что и без того младенец погиб бы неотменно, промучившись бытьем своим несколько лишних часов. Продолжай, Олимпия, свое повествование. Уверяю тебя моею любовью, почтением и общею пользою, что случившееся с тобою бедствие нимало не уменьшает моих к тебе страстных чувствований и главному делу отнюдь не будет помехою!

Олимпия отерла слезы, вздохнула и продолжала так:

— Удрученная отчаянием, расслабленная в теле и в духе, изнеможенная от усталости, от голоду и холоду, я свернулась на сырой траве и мысленно молила бога скорее согнать меня с лица земли. В непродолжительном времени я услышала подле себя легкий шорох, и тут же раздался грозный голос: «Кто здесь?» Я не удержалась,

чтоб не вздрогнуть, но не отвечала ни слова. Вопрос повторен — но ответа не было. Тут послышала я, что высекают огонь, и в скором времени увидела зажженный фонарь в руках пожилого человека в синем казацком платье. На поясе висел у него длинный кортик, а за поясом заткнута была пара пистолетов и большой нож в ножнах. Подле него стоял другой, несколько помоложе, точно так же одетый и так же вооруженный.

Старший подошел ко мне, осветил со всех сторон, осмотрел внимательно и, увидя подле меня оледеневшего младенца, отступил в сторону с приметным ужасом. Он кидал то на меня, то на дитя дикие взоры и наконец, подступя ближе, спросил вполголоса:

— Скажи мне правду, кто ты, несчастная? Может быть, я могу помочь тебе!

— Мне помочь? — сказала я полумертвым голосом, приподнявшись на руку.— Сострадательный человек! Оставь злополучную умереть здесь от изможения и голода! Ты сделаешь мне истинное благодеяние, когда меня приколешь!

— Боже мой! — вскричал незнакомец.— Мне уже за пятый десяток; много претерпел я всякого горя, но никогда не имел несчастия, чтобы видеть при себе человека, умирающего с голоду или имеющего нужду, чтобы приколоть его для избавления от продолжительного страдания! Марко! Набери побольше сухих сосновых и еловых сучьев и разведи огонь, а я сейчас назад буду.

Всякий исполнил свое дело. Марко начал кортиком обрубать сучья, а старик, взяв дитя мое на руки, стал пробираться сквозь густые кустарники и скоро скрылся. Марко в несколько минут развел большое пламя у ног моих; старик также скоро возвратился с кожаною сумою и двумя суконными свитами. Он сел подле меня, помог привстать и, говоря: «Подкрепи, бедная, свои силы!» — развязал суму, вынул хлеб, кусок сала и баклагу. Налив дубовый кубок вина, он дал мне выпить и, отрезав хлеба и сала, просил покушать.

Ах! Все избранные яства за столом Турбона никогда не казались мне столько вкусными, крепительными. Я приметно оправилась и мысленно благодарила бога, пославшего мне в пустыне вместо ожидаемой смерти неожиданную помощь. Когда огонь совершенно разгорелся, то Марко по приказанию старика вынул из сумы боль-

шой кусок жареной баранины и, вздев на ореховый сук, стал разогревать. В течение сего времени я, ободренная ласками незнакомцев, рассказала старику коротенько всю причину злополучия и последствия оного. Выслушав меня внимательно, он воскликнул:

— О паны, паны! Какое может быть бедствие, какого не наделали бы вы между своими подданными? Не будь я Дохиар, если не отмщу проклятому пану Турбону и безбожной жене его за сию несчастную жертву изуверства одного и бесчеловечия другой! Боже! Обрати грех сей на нечестивые их головы!

Насытясь горячим жарким и обогревшись возле огня, я почувствовала новую жизнь и от всего сердца благодарила великодушного Дохиара за благовременную его помощь.

— Дочь моя! — отвечал старик.— Что я для тебя теперь сделал, то должен бы делать всякий человек, а особливо христианин. Подожди! Утро вечера мудренее. Может быть, мне удастся сделать для тебя что-нибудь и большее. Тебе весьма нужно успокоенье: вот тебе свита. Ты, Марко, разложи вновь побольше костер дров, и мы оба переночуем подле нашей бедной гостьи, одевшись другою свитою.

Я улеглась у корня древесного; добрые незнакомцы одели меня свитою, я скоро заснула весьма крепко, а когда проснулась, то солнце блистало уже выше вершин самых высоких сосен. Приподнявшись, я увидела, что угостители мои сидели уже у огня и завтракали.

— Я очень рад,— сказал с видом непритворного удовольствия Дохиар,— что теперь вижу тебя гораздо спокойнее и здоровее, нежели какою видел с вечера. Придвинься к огню, поешь и приготовься к дороге неближней. Я, занимаясь охотою, имею свое становище в сем лесу и, будучи паном, содержу при себе двадцать охотников. Из вчерашнего твоего рассказа знаю, что ты на всей земле божией не имеешь надежного пристанища. Уверяю, что у меня в стане тебе будет покойнее, чем в доме изменника Турбона.

Чувствуя себя совершенно оживленною в силах, я встала, оделась в свиту, и все трое пошли в дальнейший путь.

Глава 17 **Разбойница**

— Мы проходили местами, кои, казалось, до того времени никем из людей посещаемы не были. Инде должны мы были перелазить через великие бугры дерев, наваленных одно на другое, а после идти по колени в тине или обходить необозримые топи. Товарищи мои нимало не теряли своей бодрости и шли, разговаривая о веселых предметах. Дохиар, как скоро замечал следы хотя малейшего уныния или усталости, то останавливался и в утешение мое говорил: «Будь смелее, любезная дочь! После трудов — отдых бывает приятнее! Прежде полудня мы будем на месте моего стана».

Ты согласишься, Гаркуша, что после всего случившегося со мною накануне такая проходка была для меня крайне обременительна, едва возможна, и я готова была в изнеможении упасть на землю. Дохиар то приметил, и вместо того чтобы на меня вознегодовать, он сжалился, посадил на траву и, сказав Марку нечто на польском языке, начал посекать кортиком ивовые ветви, а Марко, сидя на земле, приводил их в порядок и переплетал одну с другою и концы связывал скрученными травяными веревками. Дохиар присоединился, и в скором времени поспели носилки, на каких у нас на хуторе вынашивали всякий сор с заднего панского двора. Они меня бережно усадили, подняли на плечи и весьма проворно пустились далее. Прежде я одна задерживала ход их. Я не знала, чему приписать такое доброхотство, и, узнав на опыте, сколь вероломны люди, начала питать некоторое подозрение, однако ж оно оказалось несправедливым.

Незадолго до полудня мы очутились на довольно обширной равнине. Ношаки мои остановились и опустили носилки на землю.

— Олимпия! — сказал Дохиар.— Войдем в наше становище. Проход туда, конечно, мрачен, но зато когда дойдешь до жилищ, то тебе покажется, что очутилась в раю господнем.

Что много говорить? Я в крайнем изумлении очутилась на сем самом месте, где теперь сидим, увидела этот лес, этот пруд, эти хаты, кои ты поновил и число их гораздо приумножил. Навстречу нам выбежало до двадцати полуодетых мужчин, однако у каждого на опояске висел большой нож. Все радостно воскликнули:

— Здорово, атаман! Добро пожаловать!

Тут-то догадалась я, в чьих руках нахожуся, и трепет разлился в каждом суставе моего тела. Дохиар то приметил, но притворяясь, что ничего особенного не видит, с веселою улыбкою обратился к окружавшей шайке и произнес:

— Братцы! До сих пор мы погубили много беззаконных душ, не хотевших удовольствоваться дарами божьими, ниспосылаемыми на них туне, а всегда алкавших более и более. Кто поручится, что в числе тех беззаконных не погубили мы души кроткой и убогой? Теперь провидение посылает нам случай загладить грех свой, буде он сделан. Вот девица, которую вам представляю,— девица храбрая, отважная, сильная (вы не смотрите на теперешнее ее бессилие: оно случайное и скоро пройдет), есть дочь моя, наследница моей власти, моей славы и имущества. Принесите ружье мое, зарядите пулею и присягните ей в верности, в послушании и неограниченной покорности!

Естественно, что вся шайка пришла в крайнее недоумение и раздался ропот. Я со слезами на глазах упала к ногам его и стонущим голосом произнесла:

— Сжалься над тою, которой спас ты жизнь! Зачем без нужды погублять меня?

Дохиар с пламенеющими взорами поднял меня одною рукою и прижал к себе, а другою простерши к шайке, громоподобно возгласил:

— Кто сию же минуту не повинуется повелению своего атамана, тот личный враг его!

Все вздрогнули от сих ужасных слов. Один разбойник опрометью бросился к атаманской хате и возвратился с заряженным ружьем. Он поставил его у сей самой ивы и отошел в сторону. Пока он был в отлучке, то по его приказанию баклаги ходили проворно из рук в руки; итак, не диво, что к возвращению его лица всех покрылись румянцем и глаза заблистали дружественною любовью. По порядку каждый подходил к ружью, читал себе отходную в случае измены, крестился и целовал в ду-

ло. Когда обряд сей кончился, то Дохиар, обняв меня со всею родительскою нежностью, произнес:

— Олимпия! Отныне — ты милая дочь моя, утешение моей угрюмой старости! Были у меня и собственные дети, но те же паны разными образами меня их лишили. Забудем об этом! Марко! Отведи моей дочери спальню в моем доме, где ей полюбится, и из кладовой моей выдай полную пару лучшего казацкого платья со всем вооружением. С сего времени ты, дочь моя Олимпия, будешь называться сыном моим Олимпием, и надеюсь, что в стыде меня не оставишь!

Я пошла за степенным Марком, выбрала себе на чердаке чулан с маленьким оконцем, оделась, вооружилась и пошла к сословию витязей. Я сама не могла разобрать ни одного из чувств своих. Я знала, к чему новое звание меня обрекало, содрогалась и, однако ж, была довольнее, нежели в доме Турбона. Мысль — иметь некогда возможность отмстить за все бедствия, насилием мне причиненные, вливала в душу мою такую отраду, которая видна была в каждом моем шаге, в каждом взоре, в каждом движении. Вся шайка и сам Дохиар, видя таковую во мне веселость, не могли не восхищаться. Опять поднялись обнимания и посыпались поздравления; обед был самый панский, и атаман для такого радостного дня всю шайку удостоил приглашением к столу своему.

В коротких словах сказать: прошло три года жизни моей в сем приволье, и я успела отличиться противу всякого из братства в неустрашимости и замыслах. Во всех стычках на дорогах и при осадах хуторов — старый Дохиар не дерзал и подумать о чем-либо важнейшем — я всегда была подле него, прикрывала его своим телом, нередко бывала ранена, излечивалась и опять безбоязненно пускалась туда же. Дохиар почти боготворил меня, и не раз мне приходило на мысль, нет ли и здесь сетей на меня бедную, но проходящие месяцы и годы, в кои, кроме родительской ласки, я ничего от атамана не видала, удостоверили меня, что могу обходиться с ним как с самым чадолюбивым отцом. Хотя он — будучи уже стар, следовательно, угрюм и подозрителен, не хотел и слушать, чтоб хотя одним человеком умножить наше общество, однако — в угодность мне — дал дозволение принять в оное еще до десяти человек, что я и исполнила с наистрожайшим испытанием.

Время течет и приносит с собою то радости, то печа-

ли. За два года пред сим я и Дохиар, накупивши кое-каких нужных для нас вещей в городе, в сопровождении десяти товарищей приближались уже к лесу, настигнуты были командою земской полиции. Началось сражение, мы разбили сопротивных, разогнали их, но Дохиар был тяжело ранен. На свите мы донесли его до сего места, где он, приняв от всего братства вторичную присягу на верность мне в неограниченном повиновении, скончался. Видишь ли у того мшистого утеса огромный ясень, у корня коего устроена церковная насыпь? Может быть, ты не однажды отдыхал на том дерне,— так знай, что ты отдыхал на могиле Дохиаровой!

Что говорить об остальном времени? Я надеюсь, что ты столько же наслышался о делах атамана Олимпия, сколько ему врезались в память подвиги атамана Гаркуши! Теперь душа моя, мое сердце, мои мысли тебе столько известны, что можешь тотчас распределить, чему быть и чему не бывать.

— Любезная Олимпия,— отвечал Гаркуша, припавши к груди ее,— дело решено, и будет то, что угодно богу, а мы...

Он свистнул, и вмиг явился Охрим.

— Проводите невесту в мою кладовую,— сказал атаман.— Прошу тебя, моя любезная, на время, какое пробудешь здесь, одеться в платье, более свойственное твоему полу; ты окажешь тем несказанное для меня удовольствие.

Олимпия улыбнулась и пошла за Охримом. Гаркуша, оставшись один, погрузился в глубокую задумчивость. Сам есаул Сидор, желавший с ним поговорить, видя издали властелина своего в сем замысловатом положении, не решился его беспокоить, а лучше ждать, пока прекрасная невеста выведет его из оного.

Глава 18 **Брак двух разбойничьих атаманов**

Пан Сидор, видя, что Гаркуша не переменяет пасмурного вида, прибегнул к единственному средству его рассеять. Он начал свистать и петь так звонко, что вся шай-

ка, бывшая в некотором отдалении, подняла ужасный хохот. Атаман, подозвав сего певчего, спросил:

— Что за причина такой неумеренной веселости?

— Что за новость? — воззвал Сидор.— Где же и повеселиться, как не на весельи [1]?

— Это правильно,— сказал Гаркуша.— Однако веселиться можно только тогда, когда нет за нами никакого особенного дела. Хорошо ли ты все устроил и будем ли мы довольны вечерним угощением, равно как и все братство?

— О господи! — воскликнул Сидор, всплеснув руками.— Да если бы пожаловало к нам все шляхетство с пяти соседних хуторов с женами и детьми, то все были бы довольны и пищею и напитками, а о братстве и говорить нечего. Как скоро солнце спустится за бор, то человек двадцать примутся за стряпню, а между тем в ожидании ужина я кое-чем вас позабавлю.

— Кстати,— воззвал Гаркуша.— За суетами мне не удалось тебя спросить, каким искусством ты затащил сюда священника с причтом?

— Самое простое дело,— отвечал Сидор.— Получив от тебя приказание достать священника и ввести его сюда с возможною осторожностью, я взял четырех удальцов из своего отряда и прямо отправился на известный тебе луг, где пасутся наши лошади. Отделив пару, пустились мы к выходу, где в непроницаемой трущобе хранится несколько повозок. Впрягши коней в одну из них и приказав товарищам дожидаться меня лежа на траве, проворно поехал я в наше село и прямо завернул на двор попа Ериомы. Вошед в светелку, я с печальным видом сказал:

— Честнейший иерей! Пан Яцько находится при смерти и имеет набожное желание покаяться в своих прегрешениях. Благоволи, всечестный отец Ериома, сесть со мною в кибитку и с дьяком Ерохой, потому что пан Яцько хочет прежде отслужить молебен, и если не будет помощи, тогда уже прибегнуть к исповеди,— и отправимся на хутор.

Пан задумался и после сказал:

— Это очень хорошо, что пан твой при смерти, ибо без того никогда бы не вздумал раскаиваться. Но вот, мой

---

[1] В Малороссии весельем называется свадьба. *(Прим. В. Т. Нарежного.)*

свет, что очень плохо. Я довольно наслышался о пане Яцьке и несколько знаю его лично. На хутор его путь не ближний, и прогуляться по-пустому, право, невесело. Поди-ка, дружок, к товарищу моему отцу Варсонофию; он меня помоложе и легче на подъем; а я послужу дома и посмотрю, не пошлет ли милосердный бог на кого-либо из здешних прихожан лихой немощи,— так это будет поздоровее!

— О велелебный отец Ериома! — сказал я со слезами на глазах.— Тебе нельзя не знать, как приближение смерти переменяет людские нравы! Пан Яцько теперь настоящий мот, если только не грешно сим именем назвать умирающего. Вот тебе и ясное тому доказательство! — Я вытащил из кармана мошну и, отсчитав пять рублевиков, а в сторону отложив два, сказал: — Это только задаток, отец Ериома, тебе, а это дьяку Ерохе!

У Ериомы радостью заблистали глаза. Он, с улыбкою уложив свою добычу под образами, сказал:

— Вижу, что пан Яцько не лишился еще благодати! Пожди немного, сейчас явится и дьячок Ероха.

Он и в самом деле скоро воротился с гостем.

— Вот тебе, пан дьяк,— говорил он, указывая на рублевики,— за будущие труды, и сей молодец сказывает, что это только задаток!

— Уверяю моею честью и совестью,— говорил я набожно,— что под подушкою у пана Яцька отложено уже для твоего превелебия пять рублевиков, а для твоей чести — три.

— О, когда так! — вскричал пан дьяк с восторгом, пряча в карман деньги,— то я готов хотя за тридевять земель. Думаю также,— продолжал он, разглаживая усы,— что домой с пустыми желудками не отпустят.

— Статочное ли дело! — вскричал я.— Вам столько предложено будет всякого съестного и питейного, что дай только всевышний силу со всем управиться!

Скоро уселись мы в кибитку, я взял вожжи, приударил коней, и они поскакали из села в поле. Отец Ериома, видя, что я, вместо того чтобы ехать по дороге в хутор, переехал ее и пустился напрямик к синевшемуся лесу, спросил торопливо:

— Хорошо ли ты знаешь дорогу?

Я отвечал, что битая дорога от весенней воды так перепорчена, что непременно опрокинемся и переломаем се-

бе шеи; а я намерен ехать целиком. Говоря слова сии, я усердно погонял коней. Отец Ериома молчал, но дьяк Ероха был неугомонного десятка.

— Дружище! — вскричал он.— Ты и не думаешь сворачивать к хутору, а едешь все к лесу. Уже едва видна наша колокольня, а лес как на ладони. Сейчас сворачивай, или я тебе сверну шею!

Я не отвечал ни слова, а приударил лошадей и поскакал с новою силою.

— Ну, честный отец! — сказал пан Ероха вполголоса.— Чуть не в западню ли мы попались! Сворачивай! — вскричал он с бешенством.— Разве ты — треокаянный — везешь духовных особ в омут, на съедение волкам, а может быть и нечистой силе?

Я засмеялся громко и, въезжая в перелесок, хотел было начать над ними издеваться, как почувствовал сильный удар по уху; шапка далеко от головы отлетела, и обе руки дьяческие впились в мой чуб. Поп Ериома, ободренный храбростью своего дьяка, подсел ко мне и со всего размаху начал стучать по горбу. Мне, конечно, досадна была такая их невежливость, но что ж делать? Одно другого нужнее. Ни на что не смотря, я продолжал пробираться сквозь лесняк, который, час от часу становясь гуще, делал дорогу с каждым шагом затруднительнее; седоки мои, видя, что дерганьем за чуб и ударами по горбу ничего не сделают, начали силиться, чтобы вырвать у меня из рук вожжи и самим уже поворотить назад. Они и действительно — хотя и не легко — могли бы успеть в своем намерении; но, к счастью, трущоба наша была уже не далее пятидесяти сажен. Я остановил лошадей, напряг всю крепость груди и так отчаянно свистнул, что у самого в ушах зазвенело и едва не свихнул челюстей. Вдруг привстали мои товарищи, я дал знак, и они опрометью ко мне бросились. Иерей и дьяк, догадавшись, у кого они в руках, пришли в несказанный ужас, забились в самую глубь кибитки и зажмурили глаза. Храбрецы приблизились, а на вопрос: что сделалось и для чего я остановился, я коротко объявил о нахальстве, надо мною произведенном. Они хохотали и вели лошадей далее. Я, оборотясь к пленникам, с великою важностью произнес:

— Ты, честный отец Ериома, сделал великую горбу моему обиду; ты достоин наказания и был бы строго наказан, если б я не был так великодушен и мягкосердечен,

а более всего подвигает меня к снисхождению то, что и мой родитель есть такой же иерей, как и ты. Но что касается до тебя, высокоименитый пан дьяк Ероха, то тебе такое потворство грешно сделать. Я сам довольное время был дьяком, так ты мне равный, а от равного терпеть обиды, и притом невинно — как-то совестно! — Проговоря сии слова, я взял его бережно за пучок и наклонил голову к своим коленям; потом с расстановкою начал стучать кулаком по спине, как молотом по наковальне. Я приговаривал: — Вот видишь, честный дьяк Ероха, что значит озорничать?

Я не прежде унялся от своего занятия, как повозка остановилась у трущобы. Тогда — по совету нашему — Ериома и Ероха сошли на землю, кибитка спрятана, и мы пустились домой. Когда достигли луга, где паслись кони, то своих туда же пустили, гостям завязали глаза и, взяв каждого под руки, прибыли сюда.

Лишь только Сидор окончил рассказ о своем утреннем похождении, как показалась у крыльца атаманского дома Олимпия, шедшая к шатру в сопровождении Охрима. Она одета была в розовое штофное платье; на шее висела цепь жемчужная, а черные косы, сложенные на голове в виде венца, переплетены были золотыми и серебряными лентами. Когда она вошла в ставку Гаркуши и с улыбкою к нему приблизилась, то он не мог на нее насмотреться, не мог удержаться, чтоб не обнять с нежностью, и не поцеловать страстно.

Солнце коснулось небосклона, и невдалеке от хат разбойничьих местах в десяти запылали костры высокие, и человек с тридцать принялись за стряпню. Священник с дьяком явились под навесом. Поднялась суматоха немалая. Стол накрыт большою скатертью, на конце коего поставлено с дюжину горящих свеч. Полы ставки опущены; отец Ериома облачился и спросил: «Где же у вас венцы и вино?» Все стали в тупик, даже сам Гаркуша, который отроду не бывал ни при крещеньи, ни при венчаньи. Он пасмурно посмотрел на есаулов, вокруг его стоявших, и спросил с негодованием:

— Чего от меня еще хотят? Всякого волошского вина у нас довольно; но какие то венцы?

— Не тревожься, атаман,— воззвал Сидор,— разве я сам не дьячествовал при отце моем? Разве не знаю, что нужно бывает при каждой духовной требе? Отец Ериома! С помощью божиею начинай свое дело, а я сейчас назад буду!

Он выбежал вон. Священнослужитель поставил сочетающихся у стола, на коем с сего конца лежал образ, требник, кольца и горели две большие свечи. Не успел он прочесть второй молитвы, как Сидор явился с салфеткою в левой руке и со стаканом красного вина в правой. Уложа и уставя и то и другое посередине стола, он раскрыл салфетку, и присутствующие увидели два пренарядные венца, сделанные из разноцветной фольги, перевязанной розовым шелком с такими же клеточками. Благосклонный взор атамана отблагодарил его. Священный обряд приближался к концу, и Сидор начал уже задыхаться, ибо он во время бракосочетания так нещадно драл горло, что во всем провалье слышно было. Когда Гаркуша поднес к губам стакан с вином, Сидор, приподняв полу ставки и высунув голову, закричал: «Ребята!» В один миг раздалось пятьдесят голосов: «Виват! виват!» — и залп из пятидесяти ружей потряс воздух. После сего начался беглый огонь из пистолетов.

Гаркуша, облобызав — следуя словам священника — трижды свою молодую, принимал торжественно поздравления от двух духовных и от пяти есаулов. Он, вынув из кармана два сафьяновых мешочка и подавая один отцу Ериоме, сказал:

— Вот тебе за труды, честный иерей, двадцать рублевиков,— а другой дьяку Ерохе: — Вот тебе десять. Сегодня неудобно будет моим богатырям проводить вас восвояси. Подождем до утра. Здесь проведете вы ночь не менее покойно, как в домах своих. Что же, пан есаул Сидор, ты обещался в ожидании ужина кое-чем нас позабавить!

— Что обещал есаул Сидор своему атаману,— отвечал сей, делая левою ногою около себя полкруга,— того без исполнения никогда не оставит. Милости прошу за мною!

Когда все вышли из ставки, то Гаркуша с душевным удовольствием увидел саженях в десяти другую, с поднятыми полами. Она освещена была великим множеством свеч. Посередине стоял стол, весь уставленный лотками с великим множеством различных сушеных плодов и разноцветными сулеями. Вне ставки сидело до двадцати певчих и музыкантов, которые, опорожнив уже одно из стоявших перед ними трех ведер вина, с несказанным рвением подняли вопль и зазвенели на разных инструмен-

тах. Прочие члены шайки, усевшись несколько поодаль, поставили между собой целый чан охлаждающего и веселящего напитка и скоро всем ужасным хором запели свадебные песни. Таковое веселье и после великолепный ужин продолжались до самой полуночи; после чего все собеседники, чувствуя большую потребность во сне, нежели в продолжении веселья, и пользуясь теплым весенним воздухом, разлеглись на траве, где кому случилось; Гаркуша, взяв за руку молодую жену, отправился в дом свой, и всеобщая глубокая тишина распространилась по всей пустыне.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1 Брачное торжество

Всякий легко догадается, что такое великое происшествие, каковое было бракосочетание двух разбойничьих атаманов, через целые три дня шайкою Гаркуши торжествовано было в пустыне самым блистательным образом. С восходом солнца торжество открывалось ружейными и пистолетными выстрелами, что и заставляло новобрачных оставить свое ложе и являться к друзьям и братьям. Едва Гаркуша с Олимпиею показывались на крыльце атаманского дома, как все толпившиеся около оного пять есаульств поднимали шумный радостный вопль и производили громкие рукоплескания. Тут в разных местах начиналось приготовление завтрака, а между тем усердные подчиненные старались увеселить своего начальника с его молодою женою музыкою, пением, пляскою, борьбою и кулачными боями. Увеселения сии с самого утра до поздней ночи непрерывно продолжались в пустыне, и для шайки ничего не могло быть приятнее, как видеть, что не только атаман Гаркуша, но и жена его без дальних околичностей вмешивались в общие игры и на кулачных боях без малейшего неудовольствия сносили пощечины и подзатыльщины: зато и сии дерзкие нахалы,

попавшись в руки Олимпии, не вырывались из них с целыми носами и ушами. Такое досужество ее несказанно тешило Гаркушу.

К ночи третьего дня брачных торжеств дано было общее приказание, чтобы поутру с восходом солнца вся шайка была под ружьем и готовилась провожать молодую жену атамана с такою же почестью, с какою встречала ее за три дня в виде невесты. В урочное время Гаркуша с своею женою, одетою уже по-прежнему в мужское платье с пышным вооружением . . . .
. . . .
. . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

СЛАВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА

Цикл повестей «Славенские вечера», а точнее первая его часть, впервые издан в 1809 году. В него входили восемь повестей: «Кий и Дулеб», «Славен», «Рогдай», «Велесил», «Громобой», «Ирена», «Мирослав» и «Михаил».

Несколько позднее в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» № 11, 12 за 1818 год была опубликована повесть «Любослав». В том же году в журнале «Украинский вестник», № 4 вышла под названием «Песнь на могиле Игоря» повесть «Игорь». И, наконец, в 1826 году увидел свет полностью весь цикл, в который, кроме вышеназванных, вошла еще повесть «Александр».

Текст повестей публикуется по изданию: Нарежный В. Т. Избранное. М.: Советская Россия, 1983.

С. 25. *На величественных берегах моря Варяжского...*— древнее название Балтийского моря.

С. 27. *Световид...*— языческое божество древних славян. Здесь имеется в виду поэтическое название солнца.

Перун — бог-громовержец.

С. 34. *...потомки братоубийцы Ромула...*— Ро́мул — легендарный основатель и первый царь (VIII в. до н. э.) г. Рима. В ссоре убил своего брата-близнеца Рема.

С. 42. *Ярополк лестию и коварством любимца сразил брата своего, Олега...*— Свенельд, любимый воевода Ярополка Святославовича, спровоцировал столкновение его с братом Олегом, склонив Ярополка к убийству Олега с целью захвата его княжества. В битве, происшедшей в 977 году, Ярополк разбил Олега, тот бежал в город Овруч, где был задавлен конями на городском мосту.

...в терему красот Севера...— Имеется в виду Новгород, слывший одним из красивейших городов Древней Руси.

...взошел Владимир на трон полуночи...— В 980 году Владимир, узнав, что Ярополк убил Олега, обратился за помощью к варягам и при их содействии сел на княжение в Новгороде. Северные княжества Древней Руси назывались полуночными княжествами. Отсюда и трон полуночи.

С. 72. *Давно бы постигла тебя участь Глеба и Бориса...*— Борис (? —1015), князь ростовский и Глеб (? —1015), князь муромский убиты по приказу их брата Святополка, стремящегося захватить киевский престол. Канонизированы русской церковью.

С. 93. *...неистового Нерона...*— Нерон (37—68) — римский император (54—60), прославившийся жестокостью и лицемерием.

...безумного Калигулу... — так называли Гая Юлия Цезаря (12—41), римского императора (37—41), который, по свидетельству современников, страдал «помраченностью ума» и, сознавая это, помышлял удалиться от мирских дел.

...свирепого Тамерлана...— Тамерлан (Тимур, Тимурленг; 1336—1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир с 1370 г. Отличался необычайной жестокостью по отношению к населению порабощенных им стран.

...бесчеловечного Аттилу... (?—453) — вождь гуннского союза племен, известный своей жестокостью.

...подобно древнему Македонцу...— Александр Македонский (356—323 до н. э.) — царь Македонии с 336 года до н. э., один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира.

С. 107. *Скудельное изображение* — могильное изображение, от скудель, что означает — кладбище.

ЗАПОРОЖЕЦ

Первая публикация: сборник «Новые повести» (Спб., ч. III, 1824). В этой повести В. Т. Нарежный не заботился о полной исторической достоверности описываемых событий, а стремился создать на основе народных рассказов и преданий картины из жизни Запорожской Сечи. Рецензент «Отечественных записок», исследуя творчество В. Т. Нарежного, писал в 1862 году о «Запорожце»: «...Произведение Нарежного имеет тот наивный характер, какой носят на себе романы, предшествующие Вальтеру Скотту. Это не бытописание и нравописание... это просто замысловатая сказка».

С. 115. *...богатейшего помещика в Лангедоке...*— имеется в виду историческая область и экономический район на юге Франции, расположенный к западу от нижней Роны между Центральным массивом, побережьем Средиземного моря и Пиренеями.

С. 120. *...геркулесова наружность...*— Геркулес (Геракл) — самый популярный из древнегреческих героев, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Отличался красотой и необычайной физической силой. Был продан в рабство царице Омфале, которая жестоко издевалась над ним.

С. 124. *...питая грудью сына твоего Аргуса.*— Аргус (Аргос) — сын богини Геи, многоглазый великан, часть глаз которого всегда бодрствовала. Отсюда в переносном смысле — неусыпный страж.

С. 128. *...штофный халат...*— халат из шелковой ткани с крупным узором.

С. 138. *Гераклит* (ок. 530—470 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, представитель античной диалектики.

С. 143. *Юнона* — римская богиня брака, материнства, супруга Юпитера. Подобно Гере, изображалась в виде величавой женщины, иногда в короне.

Иксион — царь лапифов, отец Пирифоя, супруг Дии; коварен и вероломен. Обещал большой выкуп за свою жену, но, когда тесть потребовал от него обещанных подарков, вероломно убил его.

...сам Пигмалион не мог бы одушевить Дианы! — Имеется в виду легендарный царь Кипра, живший одиноко и сторонившийся женщин. Он сделал из слоновой кости статую прекрасной женщины Галатеи и, влюбившись в нее, обратился с мольбой к Афродите, чтобы богиня вдохнула жизнь в статую. Афродита выполнила просьбу, и Галатея стала женой Пигмалиона.

БУРСАК

Малороссийская повесть

Впервые — «Бурсак, малороссийская повесть, сочинение Василия Нарежного». М., 1824. Ч. 1—4. В собрании сочинений (Романы и повести. Сочинения Василия Нарежного, Спб., 1835—1836) — «Бурсак» напечатан в первых двух томах. В советское время переиздавался в 1933, 1956, 1983 годах в различных сборниках произведений В. Т. Нарежного.

С. 173. *Федоров* Василий Михайлович — поэт и драматург. В 1803 году была поставлена его драма «Лиза, или Следствие гордости и обольщения» на сюжет повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза».

Клирос (в тексте — крилос) — место для певчих в церкви перед алтарем по правую и по левую сторону царских врат.

С. 174. *Келейник* — в данном случае имеется в виду прислужник при ректоре.

С. 181. *Бриль* — шляпа.

С. 183. *Киса* — кожаный или суконный мешок, затягиваемый шнуром.

С. 184. *...сделаешься нарядным плутом* — т. е. плутом по поручению (по наряду).

С. 192. *Дуля* — груша.

С. 197. *...а иногда и проворили.* — Здесь: проворить значит воровать.

С. 199. *...доводит отца моего до вод Стигийских?* — Стигийские воды — воды реки Стикс, которая, по древнегреческой мифологии, протекает в царстве мертвых.

С. 243. *...оборачивая хартию на все стороны...* — Здесь: хартия — письмо.

С. 248. *...влюбленная Артемида... дошед до кущи пастуха Эндимиона.*— Артемида — одна из самых почитаемых божеств Древней Греции; дочь Зевса и богини Лето, целомудренная богиня-дева, покровительница животных, богиня плодородия, помощница при родах. Перед замужеством девушки приносили Артемиде искупительную жертву. Лишь один миф говорит о любви Артемиды к прекрасному юноше Эндимиону. В древнеримской мифологии ей соответствует Диана.

...под тихим помаванием зефиров.— Зефир (древнегреч. миф.) — бог западного ветра, олицетворение теплого ветра, приносящего дожди.

С. 267. *...подобно древнему Юпитеру.*— Юпитер (древнеримск. миф) — могущественный властитель неба, олицетворение света, грозы, бури, верховный владыка богов, отождествленный с греческим Зевсом.

С. 270. *...высуслил... чарки две.*— Здесь: высуслить — выпить.

С. 273. *...тень Евридики от певца Орфея.*— Орфей (древнегреч. миф.) — фракийский певец. По наиболее распространенному мифу, Орфей изобрел музыку и стихосложение. Жена Орфея, нимфа Эвридика, погибла от укуса змеи. Орфей отправился в подземное царство, своим пением очаровал богов. Богиня Персефона разрешила вернуть на землю Эвридику, но поставила одно условие: Орфей не должен был оглядываться на тень своей жены и разговаривать с ней на протяжении всего пути из подземного царства. В мифологии существуют два варианта: по первому — Орфей не выполнил условие, оглянулся и навсегда потерял жену, по-второму — он возвратил ее на землю. В. Т. Нарежный имеет в виду первый вариант.

С. 275. *Еломок* — шапочка у евреев, ермолка.

С. 276. *...подобна жалкой участи дочери Рагуиловой.*— В дочь Рагуила Сарру, по библейскому преданию, влюбился демон.

С. 285. *...Мафусаиловы лета.*— Древнееврейский патриарх Мафусаил, согласно библейскому преданию, прожил 969 лет.

С. 305. *Минеи-Четьи* — «Ежемесячные чтения», сборники церковно-религиозной литературы: житий святых, «слов», поучений, сказаний, легенд, расположенных в порядке дней каждого месяца. «Минеи-Четьи» предназначались для назидательного чтения с целью воспитания слушателей в духе официального мировоззрения православной церкви.

С. 322. *...сын Евера.*— Считалось, что слово «евреи» происходит от имени Евера, прародителя патриарха Авраама.

...подобно уязвленному вепрю.— Вепрь — дикий кабан.

С. 324. *...подобилась купели Силуамской* (Силоамской).— В Евангелии от Иоанна сказано, что в купальню Силоамскую в Иерусалиме по временам сходил ангел и «возмущал воду, и кто первый входил

в нее по возмущении, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью».

С. 325. *...на лоне Авраама.*— Авраам (Абрам) — мифический родоначальник евреев.

С. 351. *Червец* — июнь.

С. 353. *...из семи мудрецов древности...*— в древнегреческой мифологии семь мудрецов: Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон.

С. 381. *...сражение с Ерусланом Лазаревичем.*— Еруслан Лазаревич — герой старинной русской народной сказки.

С. 401. *...приняв вид сатира Марсиаса, с которого Аполлон сдирает кожу.*— Здесь: принять вид страдальца, ибо, по древнегреческому мифу, Аполлон, игравший на кифаре, победил в состязании Марсия, игравшего на флейте, и в наказание велел с него живого содрать кожу.

...обнимал древний Иксион волоокую Юнону.— Иксион — царь лапифов, приглашенный на Олимп, стал добиваться любви Геры, супруги Зевса (в древнеримской мифологии ей соответствует Юнона). Зевс создал призрак Геры или (по другому мифу) подменил Геру нимфой Нефелой.

С. 409. *...столько же мужествен, как соименный мне спартанец...*— имеется в виду спартанский царь Леонид, отличавшийся мужеством и отвагой.

С. 433. *...приезжали к нам чумаки.*— Чумак — протяжной извозчик на волах.

С. 437. *Херувим* — высший ангельский чин в православной церкви.

С. 448. *...сторож пробил клепалом полночь.*— Клепало — досска, в которую стучат сторожа.

...сидя за налоем. — Налой — род столика или поставца на ножках с пологою столешницею.

ГАРКУША, МАЛОРОССИЙСКИЙ РАЗБОЙНИК

Впервые роман издан в Харькове, в издательстве «Рух» в 1931 году, на украинском языке. На русском впервые издан в 1950 году в сборнике «Русские повести XIX века 20-х и 30-х годов», М., 1955. Т. 1.

С. 468. *Кармазинный* — красный.

С. 475. *... знаменитых разбойников Кортеса и Пиззара.*— Кортес Эрнан (Фернандо, 1485—1547) — испанский конкистадор, в 1519—1521 гг. возглавил завоевательный поход в Мексику. Писарро Франсиско (1475—1541) — испанский конкистадор, участвовал в завоевании Панамы и Перу.

С. 484. *...приставили кустодию...*— В данном случае имеется в виду стража.

С. 491. *Надир Персидский* (1688—1747) — персидский шах (1736—1747), прославился грабительскими походами в Азербайджан, Армению, Грузию, установил в стране жестокий деспотичный режим.

С. 509. *Драхвы* — степные птицы.

С. 520. *Голландцы* — здесь: золотые монеты.

С. 525. *...добродушного Аталибу, монарха Квитского...*— Аталиба — последний царь Перу, задушенный по приказу Ф. Писарро в 1532 году.

С. 538. *...как поступал за несколько веков счастливый Карла, чем и сделался любезным Прекрасной царевне...*— имеется в виду произведение Н. М. Карамзина «Прекрасная царевна и щасливый карла», где рассказана история о царевне, которая полюбила горбатого карлика — прекрасного рассказчика.

С. 544. *Амфион* — сын Зевса и фиванской царевны Антиопы, брат Зета. Братья-близнецы были в младенчестве брошены на произвол судьбы и воспитывались пастухами. Возмужав, они захватили Фивы и убили злого правителя Лика и его жену Дирку, отомстив за жестокое обращение с их матерью Антиопой. Оба брата отличались исключительной силой. Амфион, кроме того, обладал большим музыкальным талантом.

С. 550. *...прельщали его более, нежели Александра Ахиллес и Карла Александр.*— Известно, что Александр Македонский считал непревзойденными доблесть и мужество легендарного древнегреческого героя Ахиллеса, а римский император Карл III, в свою очередь, ценил за эти качества Александра Македонского.

С. 557. *Подобно глиняной статуе, оживленной огнем Прометеевым...*— один из самых ярких образов греческой мифологии, Прометей похитил у олимпийских богов огонь и, делая людей из глины, оживлял их с помощью этого огня. Выражение «прометеев огонь» стало означать стремление к достижению высоких целей, к борьбе с засильем зла.

Нарежный В. Т.

Н 28 Славенские вечера / Сост., вступ. ст. и прим. Н. Ф. Шахмагонова; Ил. и оф. А. Анно.— М.: Правда, 1990.— 608 с., ил.

ISBN 5—253—00161—1

В сборник произведений русского писателя В. Т. Нарежного (1780—1825) включен цикл исторических повестей «Славенские вечера», в которых прославляется героическое прошлое русской земли, повесть «Запорожец», романы «Бурсак» и «Гаркуша, малороссийский разбойник».

Н $\frac{4702010100-1998}{080(02)-90}$ 1998—90 84 Р 1

Литературно-художественное издание

НАРЕЖНЫЙ Василий Трофимович

СЛАВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА

Составитель
Шахмагонов Николай Федорович

Редактор
Е. М. Кострова

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

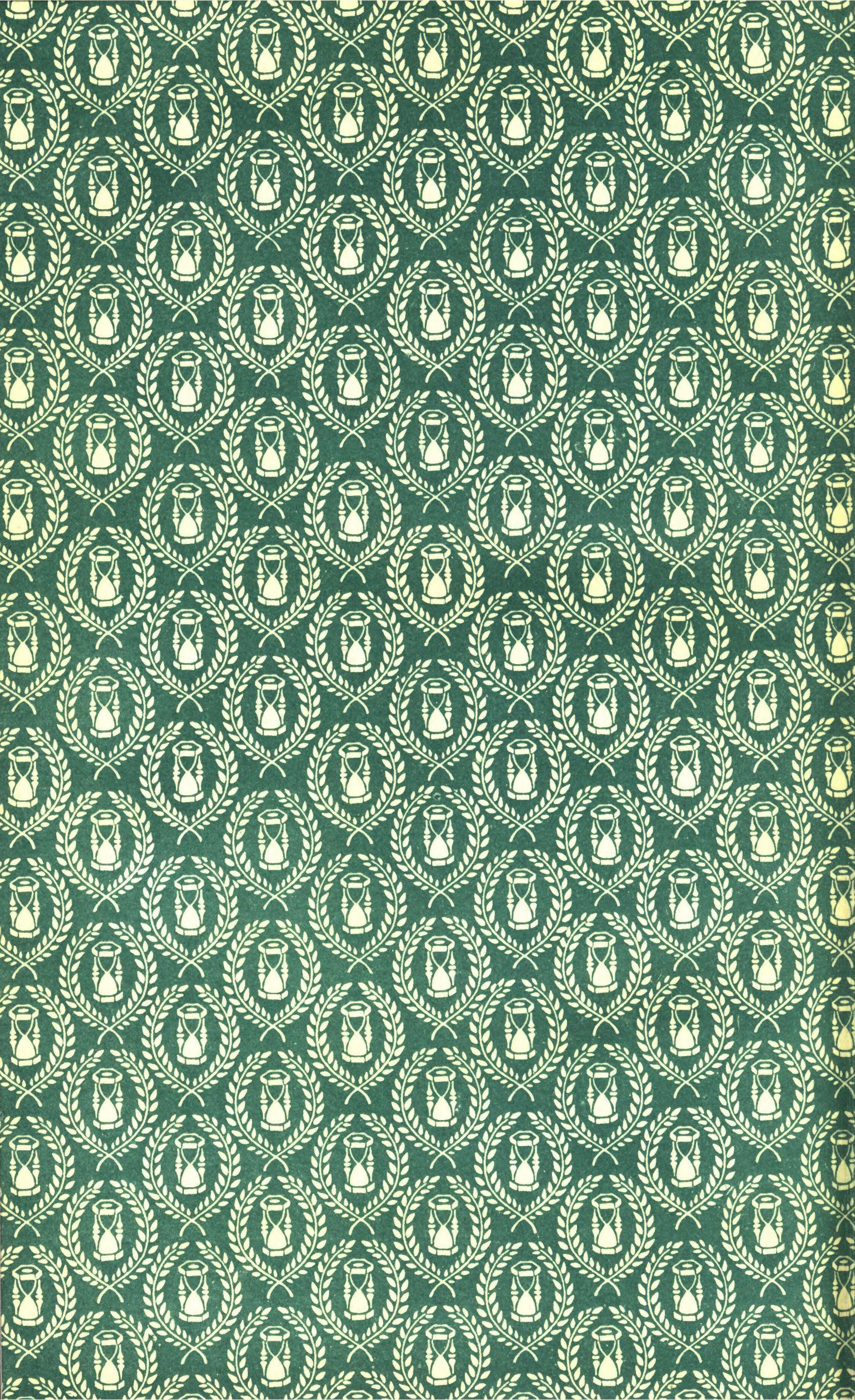
Технический редактор
К. И. Заботина

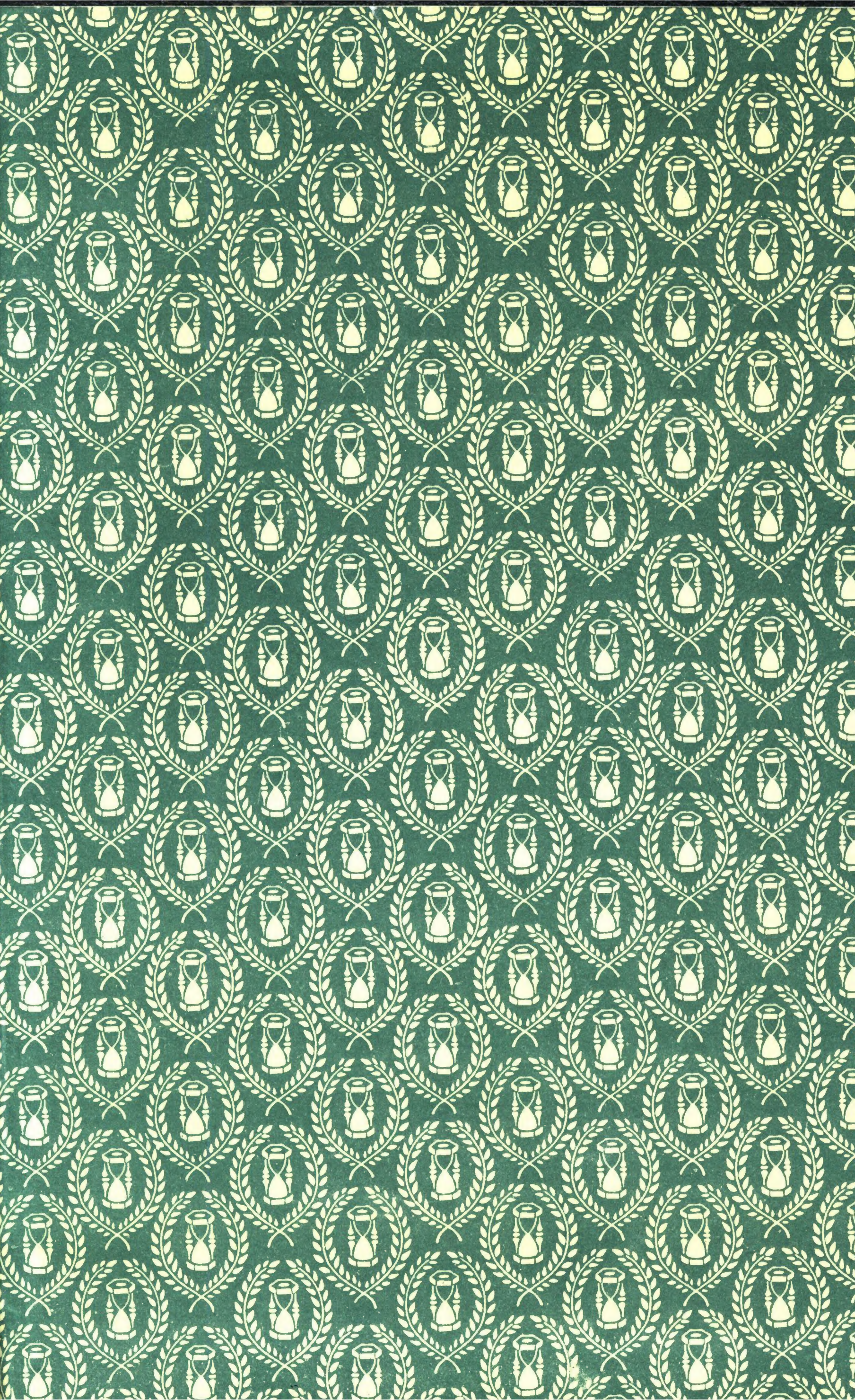
ИБ 1998

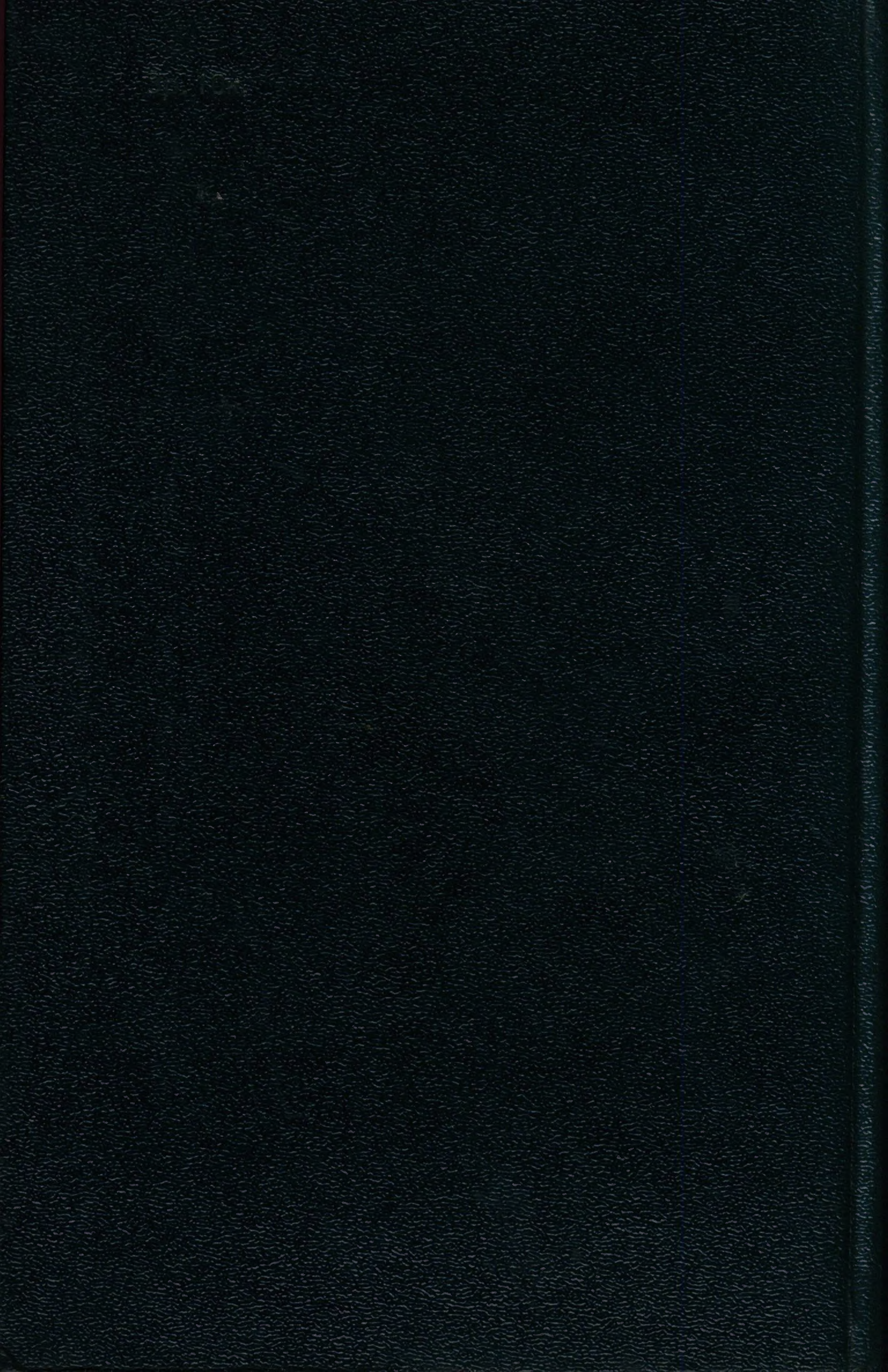
Сдано в набор 29.08.89. Подписано к печати 19.05.90. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага для глубокой печати. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 32,34 Уч.-изд. л. 33,44. Тираж 300 000 экз. (1-й завод: 1—150 000). Заказ № 3754. Цена 3 руб. 10 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Советское Зауралье», 640627, г. Курган, ул. Карла Маркса, 106.







В. Т. НАРЕЖНЫЙ

Славенские вечера